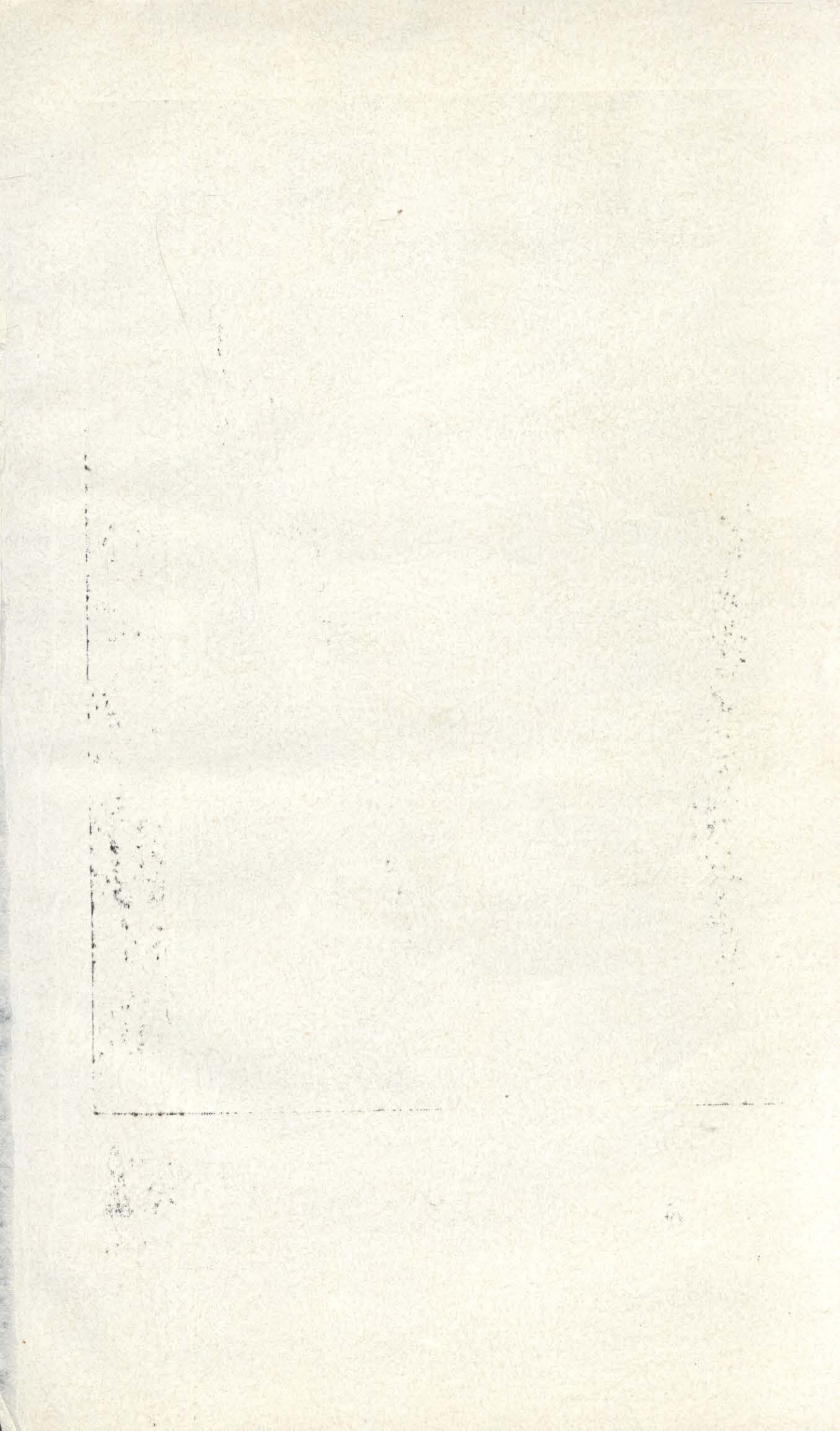
А. Фадеев

А. ФАДЕЕВ

1





БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КЛАССИКА

А. ФАДЕЕВ

Собрание сочинений
в четырех томах

ТОМ
1

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1979

Составление и общая редакция
Ст. Заики

Иллюстрации художника
О. Верейского

ХУДОЖНИК ОБНОВЛЕННОГО МИРА

Не каждому писателю, даже талантливому, суждено создать в своих произведениях единое духовное целое. Фадееву же удалось. Очень хорошо, с обычной своей проникновенностью, сказал об этом Константин Федин:

«Александр Фадеев — писатель революции. Мне кажется, его книги представляют собой единство, своего рода одну тему, многосложную внутренне, но монолитную по выражению, как героическая былина.

От рассказа «Против течения» к роману «Разгром», от романа «Последний из удэге» к роману «Молодая гвардия» звучит основной, все время ярко слышимый лейтмотив, несущий композицию произведений: человек в борьбе за коммунизм» [1].

В словах Константина Федина раскрыто характерное свойство дарования выдающегося советского художника — органическая слитность творческих устремлений с идеалом нового времени. А. Фадеев писал о том, что было выстрадано им самим — юным большевиком, подпольщиком, комиссаром бригады. Его тридцатилетняя литературная деятельность являла собою творческое воплощение принципов социалистического искусства, изображение в сложном, преобразующемся бытии личности нового типа — борца за торжество на земле добра и красоты. Сегодня, сквозь даль пройденного, такую личность во многом олицетворяет для нас сам Фадеев — писатель, воспитанный в битвах революции и посвятивший утверждению ее идеалов всю свою жизнь.

---

[1] К. Федин. Собр. соч. в десяти томах, М., 1973, т. 9, стр. 142—143.

1

Александр Александрович Фадеев родился 24 декабря 1901 года (по новому стилю) в большом приволжском селе Кимры бывшей Тверской губернии, ныне Калининской области, в семье сельского учителя, ссыльного революционера А. И. Фадеева. Отца Саша лишился рано: в 1905 году Александр Иванович оставил семью, отца заменил отчим — Глеб Владиславович Свитыч, сын писателя-народника В. Свитыча-Иллича, «политически неблагонадежный», член социал-демократической партии. С появлением Г. В. Свитыча, человека веселого, доброго и чуткого, в семье Фадеевых установилась атмосфера взаимопонимания, заботы друг о друге и в то же время был сохранен характерный для русской демократической интеллигенции дух подвижничества. Мать Саши, Антонина Владимировна, помогала Г. В. Свитычу в его подпольной работе, делила с ним жизненные невзгоды. Много лет спустя А. Фадеев отметил «исключительную роль» Антонины Владимировны в духовном становлении детей: «Осколок давно ушедшей эпохи, воспитанная на Чернышевском и в 90-х годах пришедшая к марксизму, она всю свою жизнь была тем беспартийным активом, который большевики имели в народе еще в условиях нелегальной борьбы... Необыкновенно дельный человек, выдержанный по своим моральным устоям и (даже в одежде!) по заветам своей юности, она была народной фельдшерицей по глубокому идейному призванию и проработала около 50 лет в глухих деревнях и в рабочих районах» [1]. Как и в прежние годы [2], семья Фадеевых переезжала с места на место, из Вильно перебралась в Уфу, а в 1908 году Антонина Владимировна, Глеб Владиславович и трое детей уехали на Дальний Восток. В дальневосточном крае прошли отроческие и юношеские годы Александра Фадеева. Несколько лет он учился в сельской школе деревни Саровка Иманского уезда, а в 1910 году поступил в старший приготовительный класс Владивостокского коммерческого училища. Мать и отчим с 1911 года работали в таежном селе Чугуевке. Александр жил у Марии Владимировны Сибирцевой, старшей сестры А. В. Фадеевой. Жизнь во Владивостоке — знаменательный этап в гражданском становлении А. Фадеева. Юноша рос и мужал все в той же атмосфере передовых веяний времени. В доме Сибирцевых часто собиралась революционно настроен-

---

[1] А. Фадеев. Собр. соч. в семи томах, М., 1969—1971, т. 7, стр. 419. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием в скобках тома и страницы.

[2] Антонина Владимировна вышла замуж за А. И. Фадеева в Шенкурске, где Александр Иванович находился в ссылке. После ссылки молодая чета жила в Путилове, Кимрах, Курске, затем в Вильно.

ная молодежь города; дети Марии Владимировны — Всеволод и Игорь,— ставшие потом активными участниками партизанского движения в крае, оказали решающее влияние на формирование мировоззрения А. Фадеева. «Как большевик,— писал он впоследствии,— я воспитан в этой семье (Сибирцевых.— *Ст. З.*) в не меньшей мере, чем в собственной семье» (VII, 306).

За отвагу и быстрое мужание Александра Фадеева и его близких друзей называли «соколятами». Начав с деятельности во владивостокском «Союзе учащихся», Александр Фадеев становится активистом «Союза рабочей молодежи», а в пятнадцать лет уже выполняет поручения подпольной партийной организации. Занятия в училище он совмещает с работой в нелегальном «паспортном бюро», где изготовлялись документы для «неблагонадежных»; юный Фадеев расклеивает по городу отпечатанные в нелегальной типографии прокламации, сопровождает членов партийного комитета на явки, несет дежурство у конспиративных квартир и т. п. Осенью 1918 года Александр Фадеев вступает в партию большевиков и берет партийную фамилию Булыга.

Одновременно шло интенсивное развитие литературных склонностей, которые проявились уже в первые годы занятий в коммерческом училище. Александр Фадеев пишет стихи и рассказы, помещает их в рукописных журналах «Общий внеклассный труд» и «Давайте занавес»; позже сотрудничает в газетах «Трибуна молодежи» и «Красное знамя». Последняя являлась органом партийного комитета большевиков. В ней 12 апреля 1918 года А. Фадеев опубликовал статью «Интеллигенция и пролетариат» (написанную, как полагают, в соавторстве с Игорем Сибирцевым). В газете «Вестник учащихся» была напечатана повесть А. Фадеева «Апачи и команчи». Пародируя произведения Ф. Купера, юный автор в сатирических тонах изображал борьбу «апачей» — педагогов коммерческого училища и «команчей» — вышедших из повиновения учеников седьмого класса. По воспоминанию современника, публикация имела резонанс: начальство распорядилось изъять тираж газеты, а ученики объявили забастовку, поддержанную общегородским «Союзом учащихся» [1].

Далеко не все, написанное Александром Фадеевым в юности, дошло до наших дней; в личном архиве писателя имеется папка с материалами 1918—1919 гг., среди которых — эскизный набросок рассказа «К свету», очерк «В Улахинской долине», начало повести «Зимний лагерь». Ранние опыты А. Фадеева не претендуют на литературные достоинства, но по ним уже можно судить о творческих склонностях будущего писателя: сквозь книжную экзотику пробивался интерес к ре-

---

[1] Арк. Колбин. Забытая страничка биографии А. А. Фадеева. «Красное знамя», Владивосток, 11 июня 1960 г.

альной героике, обрисовке острых ситуаций, тяготение к нравственным проблемам.

Литературные занятия не были временным увлечением. А. Фадеев не оставил их и с наступлением крутого поворота событий. Весной 1919 года по решению нелегальной Дальневосточной партийной конференции в охваченные восстанием районы Приморья были направлены С. Г. Лазо, М. И. Губельман, И. М. Сибирцев. С ними уходила и группа молодых коммунистов, в том числе Фадеев-Булыга. Миновав заградительные кордоны колчаковцев, группа прибыла на Сучан, а оттуда пробралась во Фроловку — штаб партизанского движения. Началась полоса боевой жизни. По свидетельству соратников, Фадеев-Булыга участвовал в выпуске «Партизанского вестника», вел дневник, читал на привале не только стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова, но и «кое-что из своих сочинений»[1]. Творческий дар Фадеева привлек внимание С. Лазо[2].

История формирования А. Фадеева как будущего писателя отнюдь не проста, она полна внутреннего драматизма. Будучи личностью романтического склада, Александр Фадеев прошел нелегкий путь проверки возникших ранее представлений суровой явью боевых партизанских дней. В годы ранней юности его идеал прекрасного испытывал, как это часто бывает, влияние писателей-романтиков. Но нередко при столкновении с действительностью возвышенные представления терпят крах. Не случайно мотив «мечты и реальность» становится довольно устойчивым в творчестве писателя. С ним, в частности, связан образ Мечика из романа «Разгром». Крушение романтических иллюзий этого «партизана на час» влечет за собой и его нравственное падение. Но далеко не всегда духовное развитие романтической по своему складу личности заканчивается столь печально. Вспомним: другому герою этого произведения — Левинсону тоже в свое время пришлось пережить разочарование в сказке «о красивых птичках», которые должны «откуда-то вылететь». Надо быть «крепким парнем», чтобы пережить столь тяжелое для человека разочарование. Здесь полное тождество взглядов Левинсона и создателя этого образа — А. Фадеева.

Романтическое восприятие жизни, душевная мягкость — эти человеческие качества никогда не ставились Фадеевым под сомнение. Они были свойственны ему самому. Не случайно автобиографические черты автора просматриваются прежде всего в Сереже Костенецком, одном из главных действующих лиц романа «Последний из удэге». Юный, наивный в житей-

---

[1] А. Фадеев. «Письма дальневосточникам. А. Фадеев в воспоминаниях». Владивосток, 1960, стр. 447.
[2] Там же, стр. 397.

ских вопросах, Сережа многое — и борьбу, и людей, и вообще жизнь — представлял в романтическом свете. Были у Сергея и минуты горького разочарования, когда действительность ставила размашистый крест на некоторых его иллюзорных представлениях. Но только на иллюзорных, а не на тех, что соответствовали правде повседневной борьбы.

Революция содействовала раннему созреванию и мужанию человека, оказавшегося в гуще невиданной схватки. За два года партизанской борьбы Фадеев прошел путь от рядового бойца до комиссара бригады. Наступление на Сучанскую железнодорожную ветку, агитационный поход по таежным селам в период подготовки первого повстанческого съезда трудящихся Ольгинского уезда, кровопролитные сражения в районе Молчановки — Монакино — Вангоу, тяжелое ранение в бою с японцами с 4 на 5 апреля 1920 года, полные опасности рейсы на пароходе «Пролетарий» по Уссури и Амуру, атаки под шрапнельным огнем в Забайкалье — все это не только вехи боевого пути партизана и политработника, но и время внутреннего становления писателя А. Фадеева. Перед его глазами прошли десятки человеческих судеб, многие из которых были ярким образцом мужества, стойкости, верности боевому содружеству. «...Нет более великого чувства,— скажет потом писатель, вспоминая эти дни,— чем дружба смелых и сильных людей во время опасности, когда каждый верит своему товарищу, когда каждый может отдать за него свою жизнь и знать, что товарищ не пощадит своей» (IV, 23).

Победа добывалась ценою высочайшего напряжения. В боях погибли лучшие друзья-соратники, выдающиеся организаторы масс, среди которых были и учителя А. Фадеева в школе большевизма. В ноябре 1918 года интервенты убили председателя Владивостокского Совета Константина Суханова, в мае 1920-го трагически погиб Сергей Лазо. Вместе с Лазо в паровозной топке был сожжен его помощник, двоюродный брат А. Фадеева — Всеволод Сибирцев. Уже будучи в Москве, А. Фадеев узнал о гибели в бою под Хабаровском Игоря Сибирцева.

Боевая жизнь внесла решительные коррективы в поэтическое ви́дение А. Фадеева: юношеский романтизм сбрасывал абстрактные, книжные формы, облекался в плоть и кровь земных человеческих поступков, ибо теперь не книга, а жизнь стала его питательной средой. Это и определило впоследствии яркое своеобразие художественной манеры Фадеева: с одной стороны, отражение действительности во всех ее разительных противоречиях, а с другой — поиски органического взаимопроникновения светлой мечты и суровой яви.

В феврале 1921 года конференция военных комиссаров, политработников и членов РКП(б) Народно-революционной армии Дальневосточной республики избирает А. Фадеева делега-

том на X съезд партии. С делегацией дальневосточников Александр Александрович уезжает в Москву, рассчитывая вскоре возвратиться в Приморье и принять участие в окончательном разгроме интервентов и белогвардейцев.

В дни работы X съезда партии вспыхнул контрреволюционный мятеж в Кронштадте. Вместе с 300 другими делегатами Фадеев участвует в штурме мятежной крепости. Это был его последний бой. В ночь на 17 марта 1921 года во время наступления на льду Финского залива он получил тяжелое ранение и попал на несколько месяцев в госпиталь. Здесь, впервые будучи вырванным из вихря походов и атак, Фадеев оказывается во власти воспоминаний. На Дальнем Востоке еще шли бои, но исход борьбы уже был предрешен. В свете близящегося окончания гражданской войны и перспективы мирного строительства глубже открывался смысл героической борьбы приморских рабочих и крестьян.

Жизненный материал был огромным. Пережитое при всей его неизбежной пестроте восстанавливалось в творческом воображении как мозаичная, но внутренне единая картина разбуженного революцией Приморья. Мечта Фадеева-художника, родившаяся в дни раздумий и вынужденного физического бездействия, была мечтой о романе-эпопее, способном запечатлеть широкий размах борьбы, воссоздать как стихию народного движения, так и его сознательные начала. Вспоминая через много лет свои первые литературные шаги, писатель подчеркнул, что первое произведение, над которым он собирался работать, был роман-эпопея «Последний из удэге».

Случайности здесь не было. В первоначальной сосредоточенности Фадеева на замысле большого эпического произведения кроется существенная черта его своеобразия как художника. «Я в силу своего творческого склада,— сказал писатель на одном из пленумов РАПП,— тяготею к такому роду творчества, которое требует больших обобщений, к большим синтетическим произведениям с большим количеством действующих лиц» [1]. Автокомментарии не всегда соответствуют реальным фактам творческой биографии, но в данном случае признание Фадеева действительно выражало его индивидуальную творческую позицию, проявившуюся на самом раннем этапе: накопленный материал он рассматривал как основу большого замысла. Суть этого замысла — осмысление подготовки, свершения революции и событий гражданской войны как могучего исторического сдвига, освободившего энергию масс повсеместно, от больших наций до самых маленьких народностей, вызвавшего необратимый процесс переделки человеческого сознания. Правда, реализовать задуманное писатель смог лишь после того, как приобрел определенный литературный

[1] Рукописный отдел ИМЛИ.

опыт; поэтому замысел, созревая, давал отпочкования, раскладывался на ряд произведений, которые, обладая известной самостоятельностью, несли на себе печать общей авторской концепции.

Первым таким отпочкованием и одновременно литературным крещением А. Фадеева стала написанная в 1923 году повесть «Разлив». Название произведения в какой-то степени метафорично. Описание событий, связанных с разливом таежной реки, занимает одну главу из десяти, но во всех идет речь о разливе, то есть пробуждении к активному действию низов — русских крестьян села Сандагоу и живущих в Уссурийском крае гольдов, корейцев и других национальных меньшинств.

Автор обращается к типичной для дальневосточной деревни ситуации, сложившейся после Февральской революции. Из истории Дальневосточного края известно, что здесь почти не было помещичьего землевладения. Основными массивами земли владели кулаки, старожилы-стодесятники. Сельская буржуазия приветствовала устранение в ходе Февральской революции бюрократических рогаток царского режима, но отстаивала лишь одну свободу — свободу частного предпринимательства и, таким образом, решительно воспротивилась дальнейшим революционным переменам. С приходом Октября кулачество стало главной опорой белогвардейщины. Тем важнее было накануне решающих битв овладеть сознанием масс, подготовить их к последующему этапу революционных преобразований. За это борется главный герой повести Иван Неретин, сумевший не только завоевать доверие односельчан, но и внушить им уверенность в собственных силах. Раньше крестьяне мирились с разгулом Улахэ, затоплявшей во время паводка поля и уносившей человеческие жизни; теперь же Неретин противопоставил слепой стихии организованные действия односельчан. На реквизированных у лавочника Копая лодках крестьяне спасают от верной гибели десятки людей, застигнутых бедой в низовьях разбушевавшейся реки.

Иван Неретин — образ первого большевика в творчестве А. Фадеева — не вполне удался автору: внутренний мир этого персонажа обрисован слишком бегло. Вместе с тем молодой художник верно наметил черты подлинного коммуниста: идейную убежденность, воздействие личным примером, дух новаторства, дух обновления жизни, силу прозрения (Неретин все рассматривает как бы при свете завтрашнего дня). Эти особенности человека партии получат глубокую психологическую мотивировку в последующих произведениях Фадеева.

Если говорить о других художественных сторонах «Разлива», то нельзя не отметить, что автору еще не хватает образных средств для раскрытия темы. Еще заметней перенасыщен-

ность повести интереснейшим, но «плохо организованным» материалом. Отсюда композиционная неслаженность произведения. Отсюда и тематическая пестрота, которая, впрочем, свидетельствовала и о высоком потенциале молодого писателя. В этом переплетении сюжетно-тематических линий уже мерцают идеи, которые будут занимать воображение автора в работе над последующими вещами. Помимо стержневой проблемы руководства массой, подготовки к близящимся битвам за власть Советов, автор уже задумался о диалектике личных устремлений и общественного долга; несколькими сюжетными линиями намечена тема межнациональных отношений, говорится о будущности Уссурийского края и т. д. И по тематике и по времени действия повесть «Разлив» — не во всем удавшаяся, но широкая по диапазону — предваряет произведения А. Фадеева, непосредственно посвященные событиям гражданской войны.

Прямым вступлением в эти события стал рассказ «Против течения», написанный вскоре после окончания «Разлива». Посвященный памяти Игоря Сибирцева, рассказ отражает тот напряженный момент в истории гражданской войны на Дальнем Востоке, когда весной 1920 года части Народно-революционной армии и партизанские отряды вынуждены были отступать под натиском вероломно нарушивших договор японцев. Большевики прилагали огромные усилия, чтобы устранить дезорганизацию партизанской вольницы, внедрить в войсках твердую дисциплину. В этом главная цель деятельности героев повести коммунистов Челнокова, Соболя, Селезнева. «...Раз я поставлен комиссаром,— говорит Соболь павшему духом командующему армией,— я должен им быть: не спать ночей, стрелять дезертиров, ругаться с полками, реквизировать хлеб, бороться до тех пор, пока меня самого не сволокут в придорожную канаву... Я начинаю и кончаю свой день с этой мыслью. Я подвинчиваю себя каждый день невидимыми гайками до последней степени, до отказа... Я все время иду против течения и тащу за собой всех, кого только можно тащить...»

В рассказе значительно углублен характерный для Фадеева мотив, зазвучавший еще в «Разливе»: умение человека партии действовать на пределе возможностей. Это отнюдь не культ подвига одиночек, ибо конечная победа — результат борьбы многотысячных масс; однако очень важно, чтобы в критический момент люди, идущие в авангарде, были способны сделать максимум того, что требуют обстоятельства. Тогда осечка в одном месте компенсируется умелыми действиями в другом. Комиссар Челноков не сумел удержать 22-й Амгуньский полк на позиции. Отогнав отчаянную мысль о самоубийстве («...тебя все равно расстреляют»,— думает Челноков), он принимает единственно верное решение — предупредить о слу-

чившемся штаб фронта. Наступает черед комиссара фронта Соболя, который использует все свои полномочия, чтобы спасти положение, возвратить полк в ряды Народно-революционной армии. А в кульминационный момент исход задуманной операции зависел уже не от Соболя или Челнокова, но от точно рассчитанных действий коменданта парохода «Пролетарий» Никиты Селезнева. И Никита, несмотря на душевное смятение, вызванное сложностью создавшейся ситуации, делает почти невозможное — спасает нагруженный динамитом пароход от взрыва и не только не допускает самовольного ухода 22-го полка за Амур, но и вызывает у «усталых, растерянных и обманутых людей» сомнение в принятом сгоряча решении. Бойцы начинают осознавать ошибочность своих действий и возвращаются на позиции.

Уже будучи автором «Разгрома», А. Фадеев охарактеризовал «Разлив» и «Против течения» как вещи слабые. Отдавая должное самокритичности автора, следует заметить, что он был не совсем прав, безоговорочно отрицая свои ранние произведения. Литературный процесс начала 20-х годов — это широкие, многообразные поиски художественного освоения революционно-преобразующегося мира, овладение материалом, с которым не имел дела ни один писатель прошлого. Разработка темы революции и гражданской войны привела к интенсивному развитию малых эпических жанров. Наряду с повестями и рассказами Л. Сейфуллиной, А. Неверова, Вс. Иванова и других писателей «Разлив» и «Против течения» А. Фадеева являются неотъемлемой частью идейного и эстетического становления молодой советской литературы.

Для самого писателя его первые выступления стали важным этапом на пути к творческому самоопределению. Они помогли молодому художнику обрести уверенность в своих силах. Уже в «Разливе» можно обнаружить устойчивые приметы «литературной походки» писателя. Они видны в умении зримо описать предмет, во внимании к бытовым деталям, а также в яркой метафоричности пейзажных зарисовок. В рассказе «Против течения» отчетливо проявилось стремление автора овладеть психологическим анализом, диалектикой душевных движений.

2

Жизнь А. Фадеева в мирное время была столь же стремительна и насыщена переменами, как и в недалеком партизанском прошлом. Едва оправившись от ранения, он едет в Москву и успешно держит экзамены в Горную академию. «И вот я из военкомбригов в студенты!» — радостно сообщает он другу юности. Таким образом, одновременно с пробой сил на литературном поприще А. Фадеев «зарывался», по его словам,

«с ногами и руками во всевозможные геодезии, анализы,.. горные искусства» и одновременно с не меньшим увлечением брался за общественную работу как секретарь партийной организации факультета, член партбюро академии, активист Замоскворецкого райкома партии.

В 1924 году Центральный Комитет партии направляет писателя в распоряжение Кубано-Черноморского облисткома. Так, не успев окончить Горную академию, А. Фадеев становится кадровым партийным работником. Сначала работает в Краснодаре инструктором обкома, затем его избирают секретарем 1-го краснодарского городского райкома партии. Осенью 1924 года по предложению секретаря Северо-Кавказского крайкома партии А. И. Микояна А. Фадеев был переведен в Ростов-на-Дону, где заведует отделом партийной жизни в краевой газете «Советский юг».

«Одним из самых счастливых» называл А. Фадеев ростовский период жизни. Это были годы не только напряженной партийной и журналистской деятельности, но и плодотворной литературной работы.

Писатель по-прежнему находится во власти большого эпического замысла. В 1924 году появляются первые главы произведения, названного автором «Последний из тазов». Два года спустя эти главы публикуются в северокавказской краевой комсомольской газете «Большевистская смена». Хранящаяся в ЦГАЛИ рукопись этого варианта, с подзаголовком «Смерть Ченьювая», и газетная публикация под названием «Хунхузы» [1] дают наглядное представление о переплетении в одном замысле мотивов и образов будущих произведений — «Разгрома» и «Последнего из удэге». К «Разгрому» вариант близок персонажами. Здесь мы встречаемся с Левенсоном. Детали портрета командира партизанского отряда напоминают нам Иосифа Левинсона из «Разгрома»: «глаза у Левенсона — не мутнеющие озера. Они вбирают человека вместе с унтами» [2]. А поведение Морозки, который рассказывает потешную историю о «вшиных гонках», фамильярно хлопает по спине китайца и залезает в его кисет «чуть ли не с ногами» [3], заставляет вспомнить непутевого левинсоновского ординарца. По содержанию же отрывок «Смерть Ченьювая» близок «Последнему из удэге». В нем развивается поднятая еще в «Разливе» мысль о праве народностей Дальневосточного края на независимость, на духовное и физическое возрождение. Левенсону врезается в память рассказ отрядного кашевара о зверствах китайских хунхузов в корейской деревушке. Кроме

---

[1] «Большевистская смена», Ростов-на-Дону, 1926, № 42—44.
[2] ЦГАЛИ, Архив А. А. Фадеева.
[3] Там же.

борьбы с белогвардейщиной, задача отряда состоит в том, чтобы в развернувшейся схватке уберечь от гибели селения «инородцев-корейцев, гольдов, тазов». «Это будет самое прекрасное из того, что мы... сделаем» [1],— заключает один из героев Фадеева.

Таким образом, в 1924 году писатель еще был уверен, что дальнейшая реализация замысла потребует одной книги. Однако же происходит новое «расщепление»: с весны 1925 года А. Фадеев сосредоточивается исключительно на теме «Разгрома». Вышедший в 1927 году отдельным изданием этот роман был оценен критикой как выдающееся достижение литературного года. Произведение Фадеева привлекло внимание А. М. Горького, причислившего автора к числу тех представителей молодого писательского поколения, которые создали «яркие работы», «вместе... дали широкую, правдивую и талантливейшую картину гражданской войны» [2].

Сам писатель так определил главную идею «Разгрома»: «...в гражданской войне происходит отбор человеческого материала, все враждебное сметается революцией, все неспособное к настоящей революционной борьбе, случайно попавшее в лагерь революции отсеивается, а все поднявшееся из подлинных корней революции, из миллионных масс народа, закаляется, растет, развивается в этой борьбе. Происходит огромнейшая переделка людей.

Эта переделка людей происходит успешно потому, что революцией руководят передовые представители рабочего класса — коммунисты, которые ясно видят цель движения и которые ведут за собой более отсталых и помогают им перевоспитываться» (V, 117—118).

Историки литературы правомерно ставят роман А. Фадеева рядом с такими шедеврами прозы 20-х годов, как «Чапаев» Д. Фурманова и «Железный поток» А. Серафимовича. Налицо и безусловная связь между этими произведениями и определенная преемственность в освещении событий гражданской войны, в отражении идейного содержания революции. Вместе с тем, будучи по времени создания третьим в этом ряду, «Разгром» знаменовал собою новый этап литературного развития. Масштаб эпохальных перемен раскрыт в этом произведении «изнутри», через духовный мир участника революционных событий, путем глубокого психологического исследования сдвигов в человеческом сознании.

«Разгром» покоряет читателя естественностью реалистической манеры письма. Вопреки бытовавшим в некоторых произведениях той поры ложноромантическим штампам А. Фадеев сознательно отказывается от соблазна эффектного живописа-

---

[1] ЦГАЛИ, Архив А. А. Фадеева.

[2] М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах, т. 25, стр. 253.

ния боевых действий дальневосточных партизан. Даже сам выбор материала кажется очень уж «невыгодным»: автор описывает мытарства партизанского отряда в период, когда революционное движение в крае временно шло на спад. Отряд стремится уйти от преследователей, но в конце концов попадает в засаду, несет огромные людские потери. Тем не менее из-под пера А. Фадеева вышло произведение, насыщенное подлинной романтикой борьбы за мир новых человеческих отношений.

Среди живых характеров, выписанных с большой художественной убедительностью, два образа выдвигаются на авансцену действия — Левинсон и Морозка. Командир отряда и рядовой партизан, руководитель и руководимый, убежденный, знающий свою цель большевик и только пробивающийся к постижению свершающихся событий выходец из низов. Автор не столько сопоставляет, сколько сталкивает эти два характера, которые являются ключевыми в развитии темы целенаправленного воздействия на массы большевистских идей, роста революционной сознательности пролетариата.

Что отличает Левинсона как коммуниста от его предшественников из ранних произведений А. Фадеева? Прежде всего дар воспитателя, влияющего на подчиненных ему людей силой убеждения. Автор «Разгрома» сделал значительный шаг вперед в развитии своей гуманистической концепции. В одном из своих выступлений 1927 года Фадеев отметил, что молодые писатели еще не научились создавать образы большевиков, равные по силе эстетического воздействия образам классической литературы; в книгах современных авторов доминирует «прежде всего... тип так называемого железного коммуниста в кожаной куртке или без нее, с челюстью железной, или не совсем железной, но около этого» [1].

Эта «традиция» Фадеевым преодолена.

Здесь необходимо уточнение. Идя по горячим следам отгремевших боев, писатели 20-х годов стремились показать в людях партии то, без чего была бы невозможной победа,— несокрушимую твердость духа, несгибаемую волю, решимость. Отсюда образы «железных коммунистов». Дело, однако, не в том, что образы таких большевиков мало походили на своих реальных, жизненных прототипов, а в том, что одни и те же изобразительные принципы кочевали из произведения в произведение и стали своего рода литературным клише; примелькавшаяся «кожаная куртка» заслоняла главное — горячее сердце большевика, его обращенную к людям душу. Не сама по себе установка на героическое,— установка, диктуемая са-

[1] А. Фадеев. На каком этапе мы находимся. «На литературном посту», 1927, № 11—12, стр. 6.

мой жизнью, диктуемая историческим процессом,— но схематизм в подходе к материалу действительности вызывает возражение А. Фадеева.

Качеств, присущих вожаку восставшей массы, Левинсону не занимать. Уже с первых глав «Разгрома» мы видим, какой у него сильный характер, как велики организаторские способности, военный талант. И в то же время до чего же не похож этот человек на традиционного «железного» командира! А. Фадеев стремится раскрыть прежде всего богатство внутреннего мира Левинсона, работу пытливой, ищущей мысли. Автор далек от того, чтобы убеждать читателя в изначальности присущих Левинсону высоких моральных качеств. Напротив, путем частых экскурсов в прошлое он показывает постепенный процесс формирования в своем герое черт гражданина и борца. Бесспорный авторитет Левинсона среди партизан зиждется на духовном начале, глубоком осознании революционной цели.

С образом Левинсона связана в романе А. Фадеева важная для всей советской литературы проблема самовоспитания, преодоления героем личных слабостей, устранения возможного разлада между порывом чувства и требованием долга. В повседневности боевой жизни Левинсон вынужден переступать через «не могу» — заглушать приступы застарелой болезни, превозмогать огромную усталость, сохранять выдержку и спокойствие в критических ситуациях. Такое самообладание далось не сразу. Левинсону пришлось пройти через многие разочарования, пришлось избавляться от наследия «ущемленных поколений», прежде чем под влиянием революционных событий он пришел к трезвому, но мудрому принципу всей своей последующей жизни: «Видеть все так, как оно есть,— для того, чтобы изменять то, что есть, приближать то, что рождается и должно быть». Стремление к должному — доминанта его возвышенной душевной настроенности. С особенной четкостью она проступает, когда Левинсон остается один. Это бывает ночью, во время проверки караульной службы. Левинсон, строгий на людях, действующий, если того требуют обстоятельства, и силой диктата, оставляет в покое не в пору уснувшего дневального (хотя и прячет в стог его шапку), испытывает «чувство тихого, немножко жуткого восторга» при виде «доброй, детской улыбки» замечтавшегося у костра партизана и проходит мимо «еще тише и аккуратней», чтобы не спугнуть эту улыбку. Поведение командира отряда — под стать его думам, которые в такие минуты устремлены в будущее, ибо, замечает автор, «жила в нем огромная, не сравнимая ни с каким другим желанием жажда нового, прекрасного, сильного и доброго человека».

Сколь тернист, нелегок и в то же время исторически обусловлен путь к такому человеку,— об этом свидетельствует

судьба Морозки. Сюжетными линиями Левинсона и Морозки начинается повествование; затем они то расходятся, то через несколько глав пересекаются вновь, наконец, развиваются параллельно и венчают повествование. Для раскрытия образа Левинсона — личности во многом сложившейся к началу описанных в «Разгроме» событий — автору достаточно нескольких ударных моментов; история же Морозки потребовала целой серии эпизодов. Двенадцать из семнадцати глав так или иначе связаны с последовательным раскрытием перемен, которые, назревая в чувствах и мыслях бывшего шахтера, ведут к развитию его самосознания и духовному возрождению.

Исключительная важность поднятой А. Фадеевым проблемы состоит в том, что Морозка — представитель широких народных масс, вовлеченных революцией в переделку не только мира, но и самих себя. Он один из тех множеств, которые еще вчера находились во мраке прошлого, были, как писал В. И. Ленин, «воспитаны капитализмом, им испорчены, развращены, но зато им и закалены к борьбе» [1]. Груз старых привычек и наклонностей несет в себе этот бесшабашный парень с сучанских угольных копей. В то же время Морозке присущи безошибочный классовый инстинкт, безотчетная преданность родному «угольному племени». Поэтому, совершая в повседневной жизни много нелучших поступков, он безошибочно действует в боевых условиях: храбр в бою, готов пожертвовать собой ради товарища, не мыслит жизни вне отряда и т. д.

Следуя бытовавшей в прозе 20-х годов традиции, автор «Разгрома» мог бы показать Морозку как активного участника жарких сражений, дерзких партизанских операций — это должно было бы самым благотворным образом сказаться на его гражданском росте и нравственном выпрямлении. Однако А. Фадеев ставит своей целью проникнуть в суть изображаемого характера. Лишь в первой главе описывает он находчивые, смелые действия Морозки, который буквально из самого пекла вытащил раненого Мечика, а затем надолго уводит своего героя с батальной колеи. Стремясь к точному психологическому рисунку, художник шаг за шагом прослеживает изменения в чувствах и мыслях Морозки, которые ведут к духовному перелому.

Два вроде бы не связанных между собой толчка извне, последовавших почти одновременно, послужили началом нравственной драмы Морозки. Это товарищеский суд за кражу дынь в огороде Рябца и внезапно возникшая ревность к Мечику, приглянувшемуся Варе. Казалось бы: ни в первом, ни во втором случае нет решительно ничего, что могло бы за-

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 38, стр. 54.

ставить Морозку задуматься. Баловство в чужом баштане сызмальства свойственно ему (как, впрочем, и многим его сверстникам), и даже с точки зрения потерпевшего оно кажется не стоящим внимания пустяком; к «вольному» же поведению Вари Морозка всегда относился «с полным безразличием», да «и сам никогда не чувствовал себя женатым человеком». И вдруг такое смятение чувств!

Фадеев-художник мастерски воссоздает атмосферу нового нравственного климата, возникающего в партизанском отряде, климата, в котором то, что ранее казалось неотъемлемой приметой безрадостной повседневности, даже ее нормой, теперь обнаруживает всю свою неприглядность, представляется отжившим. «...Старые законы не годятся, нужен какой-то особый подход»,— рассуждают крестьяне на совместном с партизанами собрании. Для Морозки же поиск особого подхода означал мучительную переоценку и самого себя и жизни вообще, жизни, которая прежде виделась ему «простой, немудрящей, как кругленький муромский огурец с сучанских баштанов».

Самое важное в новом состоянии Морозки — ощущение того, что недостаточно быть «исправным солдатом», держать лошадь в порядке, сбрую «крепко зачиненной», винтовку вычищенной, «как зеркало» и т. д. Полуинстинктивные сомнения в правильности прежней жизни постепенно приводят к стремлению, все более сознательному, к внутренней перестройке, к освобождению от груза прошлого. Теперь уже не хочется «для смеху» попугать толпу у парома нашествием японцев,— наоборот, едва ли не впервые Морозка чувствует удовлетворенность от того, что высмеял россказни дезертиров, навел порядок на переправе. Заново осмысливает он отношения с женой и, к удивлению своему, обнаруживает, что Варя «вовсе не так безразлична ему, как это казалось раньше»; под напускной грубостью скрывалось теплое чувство к ней. Знаменательны сопоставления, возникающие у Морозки в ходе тяжких дум: все чаще и чаще вспоминает он Левинсона как «человека особой, правильной породы», Бакланова, Дубова, Гончаренко и других партизан, идущих в авангарде. Конечно, ему только кажется, что он «всю жизнь, всеми силами» старался попасть на прямую ясную дорогу, которой идут эти люди, «но кто-то упорно мешал ему в этом». Морозка еще не до конца понимает, что «кто-то» — это он сам, путь его по-прежнему нелегок, борьба с самим собой не всегда бывает успешной, но главное свершилось — созрело твердое желание выйти на правильную колею жизни.

Под конец повествования мы расстаемся со смертельно усталым героем, когда перед желанием отдыха отступают назад «даже самые важные человеческие мысли», но именно в эти минуты Морозка предстает личностью, до конца со-

знающей свой высший партизанский долг. Потому так естествен его трагически прекрасный подвиг: посланный в головной дозор Морозка ценою собственной жизни предупреждает отряд о казачьей засаде.

Морозка совершил то, что обязан был сделать ехавший впереди него другой дозорный — Мечик. Вот он-то вроде бы располагал большими возможностями для воспитания в себе качеств революционера и стойкого бойца. Мечик грамотен, а это позволяло быстрее осмыслить происходящие события, он лишен многих морозкиных недостатков, к партизанам пришел с романтическим желанием борьбы и подвигов и т. д. и т. п. Тем не менее партизанская его карьера кончилась гнусным предательством и бегством.

Таким образом, проблема «человек и революция» предстает в связи с образом Мечика еще в одном важном ракурсе. В период решающей схватки двух миров происходит не только отбор, переделка человеческого характера, но и решительный отсев из пролетарского лагеря инородного материала. Вопрос о формировании личности, о том,— если можно так выразиться,— состоится ли она, решается в немалой степени самой личностью. А. Фадеев не случайно делает и Левинсона и Мечика выходцами из мелкобуржуазной среды: тем разительнее контраст между ними. Левинсон «не только многого хотел», он — «многое *мог*». Последнее слово не случайно выделено А. Фадеевым. В гуманистической концепции писателя определяющее значение отводится волевому настрою, преданности человека нравственной идее. Мечика же привело в лагерь революции только тщеславие. Нельзя сказать, что на первых порах Мечику не хотелось стать хорошим партизаном, но ему и в голову не приходит, что этого возможно добиться лишь упорной внутренней работой, искоренением ячества, воспитанием в себе черт коллективиста. Первое же препятствие в образе «слезливой скорбной кобылы» Зючихи оказалось для него непреодолимым, заставило забыть «о новой жизни», которую он хотел было начать, вернувшись в отряд из госпиталя. История Мечика — история мелкобуржуазного индивидуалиста, оказавшегося на поверку ленивой и безвольной личностью, пустоцветом, который случайно прилепился к революционному организму и был отторгнут им.

Левинсон, Морозка, Мечик. Три разных образа, три непохожие человеческие судьбы. Тонкий психолог, Фадеев не вмешивается в естественное развитие создаваемых характеров, не спешит дать им оценку от автора, но измеряет их достоинства и недостатки самым высоким критерием — прочностью связей личности с коллективом.

У Мечика такая связь отсутствует вовсе. Коллектив в лице Бакланова, Левинсона, Вари искренне шел ему навстречу, однако Мечик не воспользовался благоприятными обстоя-

тельствами. Находясь среди партизан, он ни одного дня не был духовно с ними, «новенький» так и не стал в коллективе своим человеком, и его падение было неизбежным.

А между тем коллективизм — нравственная основа личности, залог ее успешного развития. Ясно, что, например, Морозке с его непутевостью и «греховными» привычками никогда бы не дойти до критического осознания своих поступков, не будь рядом людей родного, «угольного племени», которые в трудные минуты поддерживают, даже спасают бывшего ординарца от возможной кары и одновременно предъявляют ему строгий счет. Неспроста Морозка отпрашивается у Левинсона рядовым во взвод тогда, когда невмоготу становится от личных переживаний. Сама повседневность быта в шахтерском взводе является целебной, успокаивает, придает силы. И если случалось Морозке оступиться («поминки» по убитому коню), то возникало чувство вины прежде всего перед «своими», перед Гончаренко, обретенным другом, который его «за человека» считает.

Что же касается Левинсона, то вряд ли он смог бы так естественно и, как казалось непосвященным, легко нести груз своих обязанностей, сохраняя в столь тяжелый для отряда период репутацию почти единственного человека, «который еще не разучился смеяться» — не питайся его волевой импульс током коллективной энергии. Это прежде всего энергия людей пролетарской закваски, таких, как Дубов, Бакланов, Сташинский, Гончаренко. Они костяк коллектива, они ведут за собою остальных, оказывают решающее влияние на положение дел в отряде.

Примечательная особенность романа: за исключением боевых эпизодов, когда командир и в прямом смысле становится «человеком, всегда идущим во главе», мы большей частью видим Левинсона в плотном людском окружении — на крестьянском сходе, за игрой в городки или беседой с партизанами. Сказывается не столько необходимость быть в гуще массы, чтобы знать ее психологию, сколько потребность приобщиться к ее живительной силе. Она воплощена в юном Бакланове, верном помощнике Левинсона, в том же Морозке, в бывшем пастухе Метелице. Метелица, замечает автор, нравился Левинсону за «необыкновенную физическую цепкость», за «жизненную силу, которая била в нем неиссякаемым ключом и которой самому Левинсону так не хватало».

Влияние, идущее от личности к коллективу и обратно, А. Фадееву удалось показать как органический, ни на минуту не прекращающийся процесс. Обратимся к примеру. От первой и до последней страницы «Разгром» пронизан напряженной мыслью Левинсона, пропитан его титаническим усилием сохранить «боевую единицу», спасти отряд. Левинсон в посто-

янном, целенаправленном действии, и его энергия, воля, собранность передаются отряду, материализуются в делах и подвигах партизан. Но хоть физически слабый Левинсон и представляется взводному Кубраку «двужильным», а все же наступает минута, когда командир осознает, что он просто не в состоянии руководить людьми, «и только сами они еще не знали этого и покорно тянулись за ним, как стадо, привыкшее к своему вожаку». Переход через трясину, кажется, отнял последние силы, и Левинсон начинает сдавать. Лишь после подсказки Бакланова распоряжается он выслать дозор, сквозь сон воспринимает едущих рядом партизан и их действия. «Ему показалось что-то неправильное в том, что Мечик едет в дозор, но он не смог заставить себя разобраться в этой неправильности и тотчас же забыл об этом». Когда же Левинсон услышал условные выстрелы и залп по Морозке из казачьей засады, то «беспомощно оглянулся, впервые ища поддержки со стороны... сделал такой жест рукой, точно искал и не нашел, за что бы ухватиться...». И вдруг... «И вдруг он совершенно отчетливо увидел перед собой простое, мальчишеское, немного даже наивное, но черное и погрубевшее от усталости и дыма лицо Бакланова. Бакланов, держа в одной руке револьвер, а другой крепко вцепившись в лошадиную холку, так что на ней явственно отпечатались его короткие мальчишеские пальцы,— напряженно смотрел в ту сторону, откуда прозвучал залп. И его наивное скуластое лицо, слегка подавшееся вперед, выжидая приказа, горело той подлинной и величайшей из страстей, во имя которой сгибли лучшие люди из их отряда». Вот она — левинсоновская искра, на какие-то мгновения потухшая в нем самом! «Левинсон вздрогнул и выпрямился, и что-то больно и сладко зазвенело в нем. Вдруг он выхватил шашку и тоже подался вперед с заблестевшими глазами.

— На прорыв, да? — хрипло спросил он у Бакланова», напряженно ожидающего приказа; Левинсон обращается к нему, как бы удостоверяясь в верности того единственно возможного решения, которое он прочел на лице своего помощника. «Бакланов... круто обернулся к отряду и крикнул что-то пронзительное и резкое, чего Левинсон уже не мог расслышать, потому что в это мгновение, подхваченный той внутренней силой, что управляла Баклановым и что заставила его самого поднять шашку, он помчался по дороге, чувствуя, что весь отряд должен сейчас кинуться за ним...

Когда через несколько минут он оглянулся, люди действительно мчались следом, пригнувшись к седлам, выставив стремительные подбородки, и в глазах у них стояло то напряженное и страстное выражение, какое он видел у Бакланова».

Символичен финал «Разгрома». В боях с белоказаками погибли лучшие люди, опора Левинсона. Из последнего прорыва вышли лишь девятнадцать. Они спускаются в залитую солнцем долину, сулящую не только хлеб и отдых, но и пополнение отряда. В борьбу включаются новые Баклановы и Морозки. Процесс переделки человека в горниле революции продолжается.

Роман А. Фадеева «Разгром» стал одним из убедительных примеров того, сколь плодотворно усвоила молодая советская литература традиции классического наследия. Стиль фадеевского произведения, углубленность психологической характеристики персонажей, внимание к их внутреннему миру свидетельствовали о творческом наследовании автором традиций реалистического письма Л. Толстого, что неоднократно подтверждал в своих выступлениях и сам А. Фадеев. В то же время в «Разгроме» отчетливо проявилось влияние новаторских достижений М. Горького — прежде всего в изображении раскрепощения трудящихся масс, духовного роста человека из народа, развития социалистического сознания личности.

3

Огромный успех, выпавший на долю «Разгрома», вдохновил писателя на дальнейшую работу. Наконец-то А. Фадеев почувствовал в себе силы для цельной реализации крупного эпического замысла — романа «Последний из удэге». Позади был напряженный этап творческих исканий. За шесть-семь лет писатель прошел большую литературную школу, он быстро постигал секреты художественного мастерства, мужал от произведения к произведению. Роман «Разгром» выдвинул А. Фадеева в первые ряды советской литературы. Значительно вырос он и как общественный деятель. Возвратившись осенью 1926 года в Москву, Александр Александрович принимает самое активное участие в литературной жизни, становится членом бюро и секретариата Всесоюзной ассоциации пролетарских писателей, входит в руководство РАПП и редколлегии «Октября», «На литературном посту», со временем возглавляет журналы «Красная новь» и «На рубеже». К своим общественным обязанностям А. Фадеев относился столь же ответственно, как и к творческой работе, он быстро завоевал авторитет принципиальностью, партийным подходом к задачам строительства новой культуры. Вскоре обнаруживается еще одна грань его таланта — дар литературного критика. Писатель включается в идейно-эстетические искания конца 20 — начала 30-х годов. В пылу литературных баталий ему, как и многим другим, не удалось избежать ошибок, но в целом статьи и доклады А. Фадеева играли важную роль в становлении принципов социалистического реализма.

То видение целей и задач литературы, которое было присуще А. Фадееву как организатору писательских сил и критику, плодотворно сказывалось на его творческой практике. В данном случае — на романе-эпопее «Последний из удэге».

Как уже говорилось, замысел этого произведения восходит к истокам творчества писателя. Идеи, реализованные им к середине 20-х годов, в определенной мере были своего рода ручейками общего замысла, который обретал теперь новую жизнь, разворачиваясь в широком русле романа-эпопеи.

В обращении А. Фадеева к монументальной форме проявилась и объективная тенденция — характерная для литературы 30-х годов устремленность к созданию крупных художественных полотен о периоде, когда завоевания революции отстаивались в смертельных схватках с врагом. Дистанция времени уже делала события гражданской войны историей, но историей не столь отдаленной. Многие писатели сами были ее участниками. Форма крупного эпического полотна влекла не одного А. Фадеева. В эти же годы М. Шолохов успешно работает над «Тихим Доном», А. Толстой — над «Хождением по мукам». Будь в живых Д. Фурманов, он, видимо, продолжил бы осуществление своего грандиозного замысла — «Эпопеи гражданской войны».

По идейно-тематической многоплановости «Последний из удэге» А. Фадеева — одно из сложнейших произведений советской литературы. Говоря словами Л. Н. Толстого, в нем художник стремился «захватить все» [1]. В картине борьбы двух миров он хотел показать, с одной стороны, героические партизанские будни, лагерь буржуазии, городское подполье, оккупацию края американо-японскими войсками и борьбу рабочего класса в условиях интервенции, а с другой — приобщение к революционным преобразованиям удэге — лесных людей, которые благодаря революции получают возможность вступить, минуя несколько общественно-исторических формаций, на путь социализма.

Отсюда же необычный для предшествующего опыта А. Фадеева размах действия: события происходят во Владивостоке, в охваченных восстанием районах — Сучане, Ольге, таежных деревнях, стойбище удэге; по мере необходимости они переносятся во вражеский стан — салон в доме крупного буржуа, отряд китайских хунхузов, белогвардейский застенок и т. д. Широки и хронологические рамки произведения. Основное время действия падает на весну 1919 года — разгар партизанского движения, но истоки поднятых в «Последнем из удэге» проблем во многом шли от прошлого.

---

[1] Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 13, М., ГИХЛ, 1949, стр. 53.

В романе А. Фадеева развернута панорама политической жизни Приморья накануне первой мировой войны, освещается период Февральской революции; время от времени автор прибегает к экскурсам в далекое прошлое удэгейской народности, в историю освоения Дальневосточного края и даже революционного движения в Корее.

Приступая после «Разгрома» к осуществлению столь грандиозного замысла, А. Фадеев, возможно, и не подозревал, какая долгая работа ему предстоит. Создание романа-эпопеи, первые главы которого были опубликованы в 1929 году, заняло десятки лет; из задуманных шести частей (книг) автор успел написать четыре и несколько глав пятой. Выходя с интервалом в три-четыре года, книги «Последнего из удэге» свидетельствовали о все возрастающей изобразительной силе Фадеева-художника. В то же время на работе сказывались трудности композиционного порядка: поиск лучшей организации многопланового действия, установление органической сюжетной связи между тематическими линиями. Писателю приходилось неоднократно возвращаться к ранее напечатанным главам, существенным образом реконструировать первые две части, дополнять последующие публикации новым материалом. В результате «Последний из удэге» обретал более четкую композиционную структуру, первый том (две части) стал своего рода огромной эпической экспозицией. Здесь раскрыты процессы, происходившие в разных слоях общества в период революционного предгрозья и самой революции. Второй том — эпическая картина партизанской борьбы, в ходе которой ярко проявились коренные тенденции многонационального движения.

«Последний из удэге» Фадеева удивительно созвучен времени, в которое создавался. Об участии в революции народностей Дальнего Востока автор писал в дни, когда титаническими усилиями всех национальностей Страны Советов закладывались основы социалистического общества. Днепрогэс, Магнитка, Кузнецк... Стахановское движение. Несомненно, воочию увидеть результаты освобожденного труда и творчества народа — значило глубже осознать величие борьбы рабочих и крестьян в годы гражданской войны, когда в боях не только ковалась победа, но и зрели силы для будущих преобразований. Отсюда жизнеутверждающий пафос и героические мотивы «Последнего из удэге», насыщенного драматизмом классовых битв, и преисполненного веры в исполинские, не знающие предела возможности трудовых масс.

Напряженное, но уверенное биение пульса народной жизни ощущается с первых же страниц романа-эпопеи. Лена Костенецкая, впервые попав в рабочие кварталы города, сталкивается с миром, который «был велик и разнообразен и до краев наполнен человеческой деятельностью». Ей еще

трудно представить, что и арестованные во дворе богача Гиммера незнакомые люди в грубых одеждах, и демонстранты, и пленные — это представители одной семьи, спаянной единой судьбой, трудом, чаяниями. «Неужели это те самые люди?..» — думает она, столкнувшись лицом к лицу с рабочими во время выборов в думу. Один за другим следуют эпизоды, раскрывающие неистощимость энергии народа, его умение бороться в любых условиях. Голосуют восемь человек из семьи кузнеца Наболдина, вслед за ними на участок приходит рабочий-литейщик с «пышными прямыми рыжими усами и могучей эспаньолкой», похожий «на солдата из «Лагеря Валленштейна». За литейщиком идут другие, и хотя уже перевалило за полдень, «в числе избирателей не было еще ни одного лавочника или конторщика, все рабочие и рабочие». Народ единодушно проголосовал за список профессиональных союзов. Даже Гиммер в припадке гнева вынужден признать, что таким ошеломляющим единством «народ... дал им (буржуазии.— *Ст. З.*) коленкой под зад, харкнул им прямо в р-рожу, прямо в р-рожу!..». Столь же сплоченно выступают трудящиеся и во время новых выборов в думу. «...Если первые... были сорваны поголовным участием в них рабочих, то вторые — грозным и нерушимым бойкотом. Дума шиберов и спекулянтов собралась, избранная едва тридцатью процентами населения».

«Последний из удэге» — первое в творчестве Фадеева произведение, в котором собирательный образ народа достигает как бы физической ощутимости в массовых сценах: шествие пленных красногвардейцев; траурная демонстрация в день похорон защитников крепости; пение бастующими под землей шахтерами песни и др. Поэтически-возвышенный тон, присущий подобным эпизодам, накладывает отпечаток и на индивидуальные образы, на портреты людей из народа. Вот Игнат Васильевич Борисов. Во внешности, да и в духовном обличье этого крестьянина есть что-то от былинного богатыря. Под стать ему Дмитрий, его сын — храбрый партизан, не теряющий мужества и человеческой красоты даже в последние минуты жизни. Добродушием и силой веет от исполинской фигуры Антона Гладких, бывшего охотника, а ныне командира отряда. Рабочие представлены в романе шахтерским вожаком Яковом Бутовым, «бесстрашным, веселым, в осенних кудрях» Провом Саенко, «непреклонным» Семеном Городовиковым и мечтающим о мировой революции Никоном Кирпичевым...

При всем их глубоком своеобразии созданные Фадеевым народные характеры имеют одну объединяющую черту. Им присуща отмеченная в народе еще Н. Некрасовым «привычка к труду благородная». Новый, отстаиваемый в борьбе мир означает для героев «Последнего из удэге» прежде всего мир свободного, созидательного труда. Читателю глубоко понят-

ны, например, мучительные и в то же время удивительно благородные переживания Якова Бутова, который сердцем никак не может смириться с необходимостью взрыва угольных подъемников: шахтеру хотелось сохранить их до времени, когда, по его же словам, можно будет «жить и работать по своей воле и разуму». Великим тружеником предстает Дмитрий Борисов. Незыблемый авторитет этого партизана заслужен спокойствием и бесстрашием человека, который «один ходил на медведя, на тигра», всю жизнь «трудился он над землей, над травами, деревьями, ветрами, реками, камнями... и был он хорошим товарищем в труде». Плоть от плоти народа-труделюбца Марья Фроловна — исполненная благородства и величия русская крестьянка «с орлиными глазами», могучая и в любви и в работе. Неистребимо-оптимистическое понимание жизни присуще Нестеру Борисову. Каждый «атом» души этого крестьянина связан с природой, с богатством ее красок. В мирное время Нестеру впору быть пчеловодом, агрономом или врачом, так тонко он чувствует все живое вокруг себя, с полуслова понимает состояние человека.

Изображая гражданскую войну как могучий водоворот, захватывающий сотни и тысячи человеческих судеб, затрагивающий интересы всех слоев общества, даже самых консервативных, Фадеев особенно внимательно следит за участием в схватке русской интеллигенции. Если герои «Разгрома» — Левинсон и Сташинский — показаны в период, когда они, давно приняв революцию, отстаивают ее, то теперь писатель получает возможность углубиться в сам процесс становления характеров. Широкий замысел романа-эпопеи позволил Фадееву показать во всех переходах, на всех стадиях, во всей сложной динамике процесс воспитания человека-борца, выходца из интеллигентской среды.

О том, сколь не прост путь обретения смысла жизни, говорит история Лены Костенецкой, дочери врача, натуры ищущей и испытавшей в поисках истины много горьких разочарований. Параллельно прослеживается формирование, мужание Сережи Костенецкого. Ему было значительно легче, нежели сестре, сделать выбор, но предстояло еще пройти большую школу политической и духовной зрелости. Лене и Сереже Костенецким во многом противостоит образ Всеволода Лангового, блестящего офицера, убежденного в правильности своей жизненной линии. Реальные события раскрыли, что его понимание «долга» ложно, и уготовили этому индивидуалисту «ужасную и жалкую роль палача», привели его к моральному краху.

В стихии народной жизни художник видит не только светлую сторону. В «Последнем из удэге» немало сцен, в которых обнаруживается ненормальность многих явлений. Среди рабоче-крестьянской массы были и такие, как Бусыря,

Иосиф Шпак по прозвищу Боярин, Сумкин — люди малосознательные, изуродованные тяжелой жизнью. Однако сквозь контрастные сопоставления «света» и «тени» пробивается вера художника в здоровые начала народа, в его возможности. Роман-эпопея раскрывает процесс осознания массовой своей силы. Особой силы этот процесс достигает в грандиозном восстании, которое «не нуждалось в развертывании — оно само неудержимо распространялось вширь, как лесной пожар».

Восставшему народу противостоят армия Колчака, белогвардейские банды атамана Калмыкова и Семенова, японо-американская интервенция. Буржуазия, стремясь спасти старый режим и накопленные при нем богатства, шла на все. Но не в ее силах было остановить ход событий. Правда, история знает немало примеров, когда стихийные движения масс, несмотря на широкий размах, все же терпели поражение. Поэтому, показывая могучий разлив народных сил, автор одновременно акцентирует внимание читателя на мысли: да, партизанское движение не нуждалось в развертывании, но оно нуждалось в руководстве.

Фадеев раскрывает многосторонность проблемы целенаправленного воздействия большевиков на массу, управления силами революции. Дело не только в военном руководстве. Борьба с белогвардейщиной и интервенцией осложнялась тем, что героям произведения — руководителям восстания — приходилось наряду с военными делами заниматься и так называемыми делами гражданскими. Надо было, не ожидая окончательной победы, сделать так, чтобы народные массы ощутили благотворное воздействие революционных перемен. Ревком стремится охватить своим влиянием всю восставшую территорию края, берет курс на создание централизованной власти, занимается земельным вопросом, делами национальных меньшинств и народностей. Фадеев рисует напряженнейшую ситуацию: размах восстания требовал от коммунистов глубоко продуманной линии и единства действий, а между тем командование и областком по-разному представляли себе основные принципы ведения партизанской войны.

В истории гражданской войны на Дальнем Востоке имел место подобный конфликт, только он был быстро исчерпан. Писатель же счел необходимым его заострить, ибо это было типично жизненным противоречием, когда сталкиваются директива и живая практика, предписание и действие, подсказанное реальной ситуацией. Анализируя создавшееся положение, художник ставит вопрос о поведении коммунистов-руководителей в той ситуации, когда нет единого мнения по поводу тактики борьбы, но зато есть огромная ответственность «и перед мужиками, и перед своей партией, и перед собственной совестью». В произведении раскрыта характерная черта людей партии — умение предвидеть ход событий, мужественно отка-

заться от своих, даже выстраданных мыслей, если они не подтверждаются практикой, и действовать так, как подсказывают обстоятельства.

Масштабы рисуемых в «Последнем из удэге» событий позволили автору показать коммунистов на более широком фоне практической деятельности, чем это удавалось в предыдущих произведениях. Фадеев сделал значительный шаг вперед в раскрытии духовного облика большевика, создал целую галерею образов тех, кто идет в авангарде. Критика 30-х годов безоговорочно признала характеры коммунистов — героев «Последнего из удэге» большим творческим достижением автора.

Прежде всего была отмечена полнокровность созданных фигур, присущее им обаяние. Руководители партизанского движения — это самые что ни на есть живые, во плоти и крови, люди. Живописуя их характеры, писатель совершенно естественно вторгается в такие сферы жизни, как быт, дружба, любовь. Он не скрывает своей симпатии к героям и в то же время показывает не только их сильные стороны, но и человеческие слабости. В итоге единые в главном — в преданности революционному делу, твердой решимости до конца нести в массы идеи партии,— коммунисты предстали перед читателем каждый в своем, многогранно и колоритно выписанном, неповторимом облике.

Вот Филипп Мартемьянов, заместитель председателя ревкома. «...Человек уже пожилой, виски у него... совсем седые». Ходит «по-стариковски, налегая на пятки». «Не очень далекий», но «крепко убежденный... в главном», в то же время добродушный и непосредственный. Любит поучать несознательных. В минуты «нотаций» глаза Мартемьянова, «добрые синеватые глаза с простодушной пестринкой», светились «такой наивной важностью... что никто на него не обижался».

Иного склада Петр Сурков, председатель ревкома. Суровый, несмотря на молодость, идущий к намеченной цели без всяких отклонений, подавляющий спорящих силой убежденности в своей правоте. И, однако, у этого внешне угрюмого человека, с детства испытавшего жестокость жизни,— большое нежное сердце, которое хранит память о матери, признательность к когда-то близкому человеку, несет в себе неутоленную жажду понимания со стороны любимой женщины.

Прямая противоположность Суркову — его соратник и друг Алеша Маленький, личность сангвинического темперамента. Общительный, ироничный Маленький, представитель областкома, умеет быстро расположить к себе окружающих, овладеть вниманием слушателей, уверенно чувствует себя в самых неожиданных ситуациях. Вместе с этим писатель не

преминул заметить, что Алеша — неважный наездник, что он не прочь «поспать после обеда» и предаться другим земным утехам. Юмористическая нота здесь налицо, но она не только не снижает образ, а делает его еще более обаятельным и живым.

Творческий успех Фадеева во многом обусловлен его ранее достигнутыми завоеваниями. Однако использование предшествующего опыта означало прежде всего дальнейшее развитие принципов изображения человеческого характера в свете авторского идеала. «Последний из удэге» свидетельствовал об известной эволюции этических и эстетических воззрений писателя. Некоторые страницы этого произведения можно даже считать полемическими по отношению к «Разгрому». Так, в «Разгроме» читаем: Левинсон «знал... многие свои слабости и слабости других людей и думал, что вести за собой других людей можно, только указывая им на их слабости и подавляя, пряча от них свои». Правда, на практике Левинсон отступал от этой своей «хитрости», стремясь к всемерному развитию инициативы у рядовых партизан. Но Фадеева уже не устраивает даже то, что это было у Левинсона хотя бы и в виде раздумья. В «Последнем из удэге» он создал образ коммуниста Сени Кудрявого и, так сказать, оспорил убеждение героя «Разгрома». Что позволило Сене Кудрявому стать «первым и главным среди двенадцати тысяч забастовавших рабочих?» «Может быть,— спрашивает автор,— он умел незаметно выпятить личные свои достоинства и подчеркнуть в других людях их слабости?..» Нет, он «сам был среди людей, всегда на виду, со всеми своими слабостями и достоинствами, никем не умел и не хотел «казаться». Образом Кудрявого, человека тонкой душевной организации, мягкого и спокойного, Фадеев подтвердил идущую еще от «Разгрома» мысль: не «каменный подбородок» и не «стальные глаза» определяют сущность коммуниста; в то же время он раздвинул границы творческого поиска, добиваясь органического сочетания в образе большевика мужества с нежностью, доверием к людям, естественностью поведения.

В романе-эпопее заметно проявилась тенденция автора к воплощению идеала гармонически развитой личности. в «Разгроме» сила духа Левинсона контрастирует с его физическими данными. Подобная раздвоенность шла скорее от реального прототипа, нежели от авторского принципа. Во всяком случае, в этом произведении чувствуется творческая неудовлетворенность художника. Его идеал цельной личности как бы распадается надвое: духовная мощь ярко выражена в Левинсоне, физическая — в Метелице. В «Последнем из удэге» А. Фадеев значительно приблизился к своему идеалу. Образы Петра Суркова и Алеши Маленького раскрыты в гармоническом сочетании нравственной красоты и физического обаяния.

* * *

В одном из своих выступлений Фадеев так объяснял замысел «Последнего из удэге»: «Мало сказать, что в этом романе я хотел дать более широкую картину и гражданской войны, и жизни людей того периода,— это само собой. Мне хотелось еще... выразить вот какую идею: вопреки тому, как писали много лет художники из буржуазного и помещичьего мира,— те из них, кто чувствовал противоречия эксплуататорского общества,— выход из этих противоречий лежит не в том, чтобы возвратиться вспять, чтобы возвратиться к предыдущему этапу, а в том, чтобы перейти на более высокую ступень развития, завоевать и построить социалистическое общество» (V, 122). Идея подсказана автору самой жизнью: в бытность свою партизаном Фадеев бывал в удэгейских поселениях, сохранивших уклад «едва ли не первобытного коммунизма» [1]. Обращение к теме удэге поневоле влекло автора если не на прямой, то на косвенный спор как с куперовской традицией изображения первобытных племен, так и с руссоистской теорией возврата к «естественному» состоянию человека среди природы.

События романа развиваются в крае, где не одни удэгейцы, а более двадцати народностей находились на ранних этапах развития человеческого общества. Здесь воочию пересеклись две эпохи — пролетарской революции и первобытнообщинного строя. Вместе с русскими дорогой партизанской борьбы и революционных преобразований шли орочи, гольды, тазы, гиляки и другие народности. Наконец, за оружие брались корейцы, составлявшие «до двадцати процентов населения». Таким образом, проблема сохранения удэгейской народности звучала как часть темы всеобщего национального возрождения.

Возможность обновления жизни нецивилизованных народностей ставится Фадеевым в прямую зависимость от исхода развернувшегося в крае сражения. Болезни, межплеменная вражда, засилье китайских купцов — цайдунов, грабительские набеги хунхузов, а также притеснения со стороны зажиточных русских старожилов — стодесятников,— все это в недавнем прошлом губительно действовало на малую народность. Надо, чтобы «лесные люди» забыли закон «великого Онку»: «жить и умирать в тайге» — и вышли на широкий фронт всенародной борьбы.

Поборником нового выступает в романе удэгеец Сарл — человек ищущей, пытливой мысли. В нем немало общего с Дерсу Узала, героем одноименной книги Арсеньева. И Сарл и

---

[1] А. Фадеев. «Письма дальневосточникам. А. Фадеев в воспоминаниях». Владивосток, 1960, стр. 534.

Дерсу — истинные сыны своего народа, носители высокой нравственности и гуманизма. Они — непревзойденные следопыты, умеющие читать живую книгу тайги. Но по существу это разные люди. Дерсу Узала живет по завету удэгейской легенды: «счастье — сама жизнь». Сарл же считает завет устаревшим. Не просто жить, а изменять жизнь к лучшему — вот к чему стремится талантливый удэгеец. Сарл вырос в тех же условиях, что и Дерсу, в замкнутом мирке первобытной общины. Однако на долю Сарла выпали большие общественные дела. Ветер назревших революционных перемен донесся и до удэгейских стойбищ. Юность Сарла пересеклась с тревожной молодостью русского крестьянина Мартемьянова, будущего большевика,— таково следствие объективно развивающихся событий.

Знаменательно, что судьбу Сарла напоминает биография первого удэгейского писателя Джанси Кимонко, который в своей автобиографической повести говорит о красных партизанах, указавших удэге дорогу к новой жизни [1]. У самого Джанси, как и у Сарла, тоже был русский друг — охотник и партизанский командир Иван Жарков, сыгравший большую роль в его становлении.

Пытаясь приобщить свой народ к земледелию, заменить юрты фанзами и т. д., Сарл убеждается, что для коренных материальных и духовных сдвигов необходимо преодолеть дремучий консерватизм Масенды, Кимунки, Есси Амуленки и других сторонников старого уклада. Революционная борьба — это борьба не только с врагами, но и с отсталым сознанием. Вот в каком направлении должно было идти развитие образа Масенды в пятой части «Последнего из удэге»: участие старейшего из рода Гялондика в «большом совете», то есть крестьянском съезде, борьба Масенды с хунхузами и, наконец, гибель в бою вместе с Мартемьяновым, первым большевиком, подавшим руку помощи удэгейцам,— таков путь «выпрямления» этого человека, путь, который писатель наметил и предполагал развить.

«Тема удэге», как можно судить по записным книжкам, должна была звучать сильным заключительным аккордом всего произведения. Писателя увлекла возможность показать, как строителями новой жизни станут люди первобытного коммунизма, сумевшие, невзирая на натиск капиталистической цивилизации, сохранить высокие нравственные достоинства.

В 1940 году в «Литературной газете» было опубликовано начало пятой части — четыре главы, посвященные описанию детства Масенды [2]. Это были последние прижизненные пуб-

---

[1] Джанси Кимонко. Там, где бежит Сукпай. М., 1951.
[2] «Литературная газета», 29 сентября 1940 г.

ликации новых страниц «Последнего из удэге». Автор продолжал работу над произведением, надеясь вскоре завершить его. Осмысление проблематики романа в свете опыта Великой Отечественной войны и победы советского народа над фашизмом еще больше укрепило уверенность писателя в том, что, изображая исторические судьбы коренных жителей Дальнего Востока, подвиг русских переселенцев, показывая руководящую роль партии в движении многонационального края к новой жизни, он решал глубоко патриотическую тему.

Фадеев стремился показать исполинскую мощь народа, способного преодолеть любые трудности и создать форпост Советской страны на Тихом океане. Художник внимательнейшим образом изучает книгу Н. М. Пржевальского «Путешествие в Уссурийском крае». Среди подробных комментариев Фадеева к этой книге особенно характерен следующий.

«Замечательно говорили Пржевальскому,— пишет Фадеев,— наши мужики-дальневосточники, перебравшиеся сюда из России через Сибирь без железной дороги, когда путешествие длилось два-три года:

«Правда, сначала, особенно дорогой, было немного грустно, а теперь бог с нею, с родиной (здесь — в смысле места рождения, а не в смысле отечества, государства.— *А. Ф.*).

Что там? Земли мало, теснота, а здесь видишь, какой простор, живи, где хочешь, паши, где знаешь, лесу тоже вдоволь, рыбы и всякого зверья множество, чего же еще надо? *А даст бог, пообживемся, поправимся, всего будет вдоволь, так мы и здесь Россию сделаем...»*...

Я воспринимаю это не в корыстном мещанском смысле: «где хорошо, там и отечество», а в очень русском благородном смысле, в каком Лев Толстой говорил о русском народе как о «силе завладевательной», то есть способной распространяться в необозримую ширь, с полным уважением к другим нациям, с необычайной верой в возможность преодоления любых невзгод и лишений и верой в мощь свою, своего труда, когда везде, где бы ни появился русский человек, можно сделать Россию, ту *родину,* которую русский человек всюду приносит с собой.

«Мы и здесь Россию сделаем», то есть распространим сюда ту большую, настоящую Россию, которая везде с нами, которую мы имели в своей душе и там, на родине, хотя там «земли мало, теснота». Оттуда мы ушли; отсутствие земли, теснота *заставили* нас уйти, но большую настоящую Россию мы унесли с собой и верим в то, что здесь ее «сделаем». И сделали! Сделали везде, куда только ни проник русский человек с его революционным размахом» (VI, 497—498).

Эта заметка А. Фадеева не просто отражает тональность темы народа в «Последнем из удэге», но и свидетельствует о

высокой душевной настроенности писателя перед завершением своего замысла. К сожалению, это была одна из последних подробных записей, раскрывающих идею романа-эпопеи.

Несмотря на незавершенность, «Последний из удэге» Фадеева занял неоспоримое место в ряду лучших произведений социалистического реализма. Наряду с «Тихим Доном» М. Шолохова, «Хождением по мукам» А. Толстого роман-эпопея А. Фадеева и поныне остается художественно убедительным примером воплощения темы революции и гражданской войны. Названные здесь монументальные полотна сближает то, что в основу их положено общенародное событие,— сюжетом движет не конфликт личного порядка, а водоворот истории.

Неплодотворным было бы брать какое-либо из этих произведений в качестве эталона романа-эпопеи. Спору нет, «Тихий Дон» Шолохова — одна из художественных вершин советской литературы. Но это ни в коей мере не снижает важности других творческих решений, к которым располагает сама природа неисчерпаемого по своим возможностям монументального эпоса. В поле зрения писателей попал один и тот же период истории, но из-под их пера вышли совершенно самобытные по своему художественному облику произведения.

М. Шолохов изобразил в «Тихом Доне» путь казачества в революции. В психологически глубоком образе Григория Мелехова, вокруг которого в основном сгруппировано действие романа-эпопеи, художник показал трагедию одаренной личности, потерявшейся в вихре переломных событий. Сочетание в произведении исторического, бытового и личного планов позволило Шолохову создать ярчайшую и правдивую картину гражданской войны на Дону.

В романе-эпопее А. Толстого «Хождение по мукам» события развиваются на огромном пространстве России. Автор воссоздает главнейшие этапы гражданской войны, через которые идет к новой жизни русский народ. Но в буре революции А. Толстой с особенным вниманием стремится проследить судьбы русской интеллигенции. Само название трилогии во многом отражает путь Рощина, Телегина, сестер Булавиных, их хождение по мукам больших испытаний, поиски едва не утраченной родины.

«Последний из удэге» Фадеева по своей художественной структуре заметно отличается от полотен М. Шолохова и А. Толстого. Сами по себе эпизоды партизанской борьбы на Дальнем Востоке интересуют Фадеева меньше, чем влияние социальных сдвигов на человека, его приобщение к истории. Иными словами, автор стремится к постижению философской сущности исторических перемен, к решению проблемы нравственного освобождения личности. Многоплановое содержание

«Последнего из удэге» Фадеева проникают две органически взаимообусловленные темы — народа и партии, руководительницы всенародной борьбы. Эти темы раскрываются художником в неразрывном единстве, способствуют целенаправленному звучанию идеи произведения.

Для самого Фадеева «Последний из удэге» стал тем этапом творческого пути, на котором были приумножены его достижения 20-х годов и созданы многие предпосылки нового творческого подъема в 40-е годы. В романе-эпопее значительно углублена психологическая разработка характеров, обогащена стилевая палитра, ярко проявилось стремление писателя к художественному синтезу, контрастному изображению необычного и бытового, философски-глубокого и утилитарно-прозаического, яркого и повседневного. Наконец, в «Последнем из удэге» проявились те черты творческой индивидуальности Фадеева, которые связаны с художественным исследованием и прославлением положительных начал в жизни и новом человеке и которые потом были так полно раскрыты в «Молодой гвардии».

4

«Истинный художник, который в дни великих испытаний думает и чувствует вместе со своим народом, не может не раскрыть во всем, что он делает, лучших сторон своей души. Так осеняет его Муза, вдохновенная, суровая и прекрасная Муза его народа, и в огне войны рождается большое искусство»,— писал А. Фадеев в одной из статей, посвященных анализу произведений советской литературы периода Великой Отечественной войны (V, 376). Он подчеркнул высокое моральное состояние художников слова, с первых же дней войны занявших активные позиции в общенародной борьбе с фашизмом. Сказанное в полной мере относилось и к автору статьи.

Возможность новой схватки с врагами первого в мире социалистического государства Фадеев, как и многие советские писатели, ощущал уже со второй половины 30-х годов. Прошедшую грозу гражданской войны он осмысливал как в свете нынешнего дня, так и в перспективе предстоящих испытаний. Фадеев работает в это время не только над романом-эпопеей, но и над очерками, киносценариями на военно-историческую тему. В 1937—1938 годах он пишет очерки о руководителе дальневосточных партизан Сергее Лазо, о бойцах Особого коммунистического отряда, полководце М. В. Фрунзе, сценарий «Перекоп» (в соавторстве с Л. Никулиным) и другие произведения. Ведущая идея этих работ — воспевание героизма и доблести революционеров, отдавших все свои силы для защиты нового рождающегося мира.

Летом 1937 года А. Фадеев выезжает в борющуюся республиканскую Испанию, где принимает участие в работе Второго конгресса Международной ассоциации писателей для защиты культуры. В составе участников конгресса писатель побывал на Гвадалахарском фронте, встречался с бойцами интернациональных бригад. Следуя горьковской традиции, Фадеев в своих публицистических выступлениях разоблачал звериную сущность фашизма, несущего с собой «гибель культуры и возрождение инквизиции» (V, 199).

С первых дней Великой Отечественной войны писатель принимается за активную работу по мобилизации литературных сил на борьбу с врагом. Президиум Союза советских писателей, ответственным секретарем которого был Фадеев, стал руководящим центром перестройки творческих организаций в соответствии с требованиями времени. Немало литераторов отправилось на фронт, в армейские газеты с рекомендацией Фадеева.

Наряду с работой в Союзе писателей он с декабря 1941 года редактирует газету «Литература и искусство», выступает со статьями и докладами по актуальным вопросам литературного развития в военное время. Большая загруженность не мешает Фадееву систематически выезжать на фронт в качестве военного корреспондента «Правды» и Совинформбюро. В годы войны он по нескольку раз бывал на Калининском, Западном, Центральном, Третьем Украинском фронтах, дважды вылетал в осажденный Ленинград. Очерки этого периода «Летный день», «Великие Луки», «Братство, скрепленное кровью», «Ленинград в дни блокады» и другие — результат зорких наблюдений писателя, его встреч и бесед на передовой с пехотинцами, летчиками, танкистами, моряками — мужественными защитниками непокоренного Ленинграда. Бригадный комиссар Фадеев был свидетелем массового героизма советских людей, которые в годину тяжелейших испытаний продемонстрировали всему миру духовное величие человека социалистического общества. Во многом от фронтовых наблюдений берет начало мысль Фадеева о том, что Великая Отечественная война «подняла на гребень, как великую, могучую, непреоборимую силу, все самое истинно прекрасное, что было воспитано в советском человеке двадцатью пятью годами советского строя». «Показать это самое прекрасное,— продолжает далее писатель,— как великую, непреоборимую силу во всемирной схватке с самыми мрачными, зверскими, античеловечными силами в развитии человечества — ...историческая миссия советского искусства» (V, 384).

Летом 1943 года Центральный Комитет комсомола пригласил Фадеева для беседы, во время которой ему были переданы собранные специальной комиссией материалы о деятельности краснодонской подпольной организации «Молодая

гвардия». Как вспоминает Борис Дьяков, договора о том, что работать над произведением о молодогвардейцах станет именно Фадеев, не было: «Писатель ссылался на фронтовые дела, на свое нездоровье», но обещал «переговорить» с Николаем Тихоновым, Борисом Горбатовым... и вскоре предложить «верную кандидатуру» [1].

Ознакомившись с предоставленными в его распоряжение документами, Фадеев взялся за книгу сам. И не мог поступить иначе. История краснодонского подполья оказалась тем «материалом» действительности, который был созвучен внутреннему настрою, творческому и жизненному опыту художника, а главное — его эстетическому и нравственному идеалу.

Фадеев тщательно готовился к работе над произведением. Он месяц жил в Краснодоне, «обошел все семьи молодогвардейцев», беседовал «с родителями, свидетелями, товарищами по школе» и, в дополнение к документам комиссии, собрал «огромный материал, изобиловавший не только основными фактами деятельности молодогвардейцев, но почти всеми данными об их характерах и наружности».

Роман «Молодая гвардия» написан Фадеевым с несвойственной ему ранее быстротой — за год и девять месяцев. К созданию такого произведения Фадеев, можно сказать, готовился всем своим предшествующим творчеством. Мечта о прекрасном человеке, выраженная в «Разгроме» и вдохновлявшая писателя в работе над «Последним из удэге», воплощалась теперь в образах поколения, выросшего в мирных условиях. Для писателя важно было показать, насколько прочные всходы дали семена новой морали, за которую в свое время боролись Левинсон и Морозка, Игнат Борисов и Гладких, Метелица и Бутов.

«Я очень охотно взялся за роман,— рассказывал Фадеев на одной из встреч с читателями,— чему способствовали некоторые автобиографические обстоятельства. Собственную юность я начинал тоже в подполье (1918 год). Судьба так сложилась, что первые годы юности проходили в шахтерской среде. Потом пришлось учиться в Горной академии. И, наконец, в 1925—1926 годах много пришлось работать в соседнем с Краснодоном шахтерском округе. Поэтому быт Донбасса и шахтерский быт были мне хорошо известны» [2].

---

[1] Борис Дьяков. Незабываемое. «Литература и жизнь», 17 октября 1962 г.

[2] Александр Фадеев. Материалы и исследования. М., 1977, стр. 130.

Остро чувствуя «связь времен», Фадеев привносил в произведение воспоминания о молодости своего поколения, о юных героях владивостокского подполья, «которые явились первыми молодогвардейцами» в «давно прошедшие дни ожесточенной борьбы...» [1].

Успешная работа над «Молодой гвардией» во многом обусловливалась также радостной атмосферой, которую создавал победоносный перелом в войне, близящийся разгром гитлеровской Германии. Наступило время художественно осмыслить подвиг советского народа во всем его эпохальном значении; героика краснодонского подполья была ярким примером стойкости и мужества советских людей, борьба которых с врагом в условиях оккупации способствовала приближению всеобщей победы.

Материал, с которым работал писатель, «мог бы,— по его признанию,— камень расплавить!.. Будь ты хоть семи пядей во лбу и как бы ты ни был талантлив, выдумать это или домыслить — невозможно» (V, 482). Факты и события, легшие в основу «Молодой гвардии», требовали особых красок. И они в художественной палитре Фадеева были. Проявившаяся в «Последнем из удэге» тенденция к синтезу изобразительных средств, совмещению реалистических и романтических стилевых пластов получила теперь дальнейшее развитие.

В то же время создание такой книги, как «Молодая гвардия», было сопряжено с преодолением ряда объективных трудностей. Роман о краснодонцах Фадеев писал в соответствии с реальным ходом действительных событий. Это, разумеется, не отменяло права автора на вымысел: Фадеев создавал не документальную хронику, а художественное произведение. Но в отличие от произведений, основанных на чисто творческой фантазии, роман Фадеева был максимально приближен к фактам краснодонского подполья, и это, кроме несомненных плюсов, имело и свою незаметную постороннему глазу сложность.

В 1946 году «Молодая гвардия» вышла в свет отдельным изданием, вызвав огромный читательский интерес и высокую оценку литературной критики. В том же году А. Фадееву за роман «Молодая гвардия» была присуждена Государственная премия первой степени. По роману был снят кинофильм, сделаны театральные постановки. Однако наряду с несомненными идейно-художественными достоинствами романа стали обнаруживаться определенные просчеты в его содержании. В произведении Фадеева не получила должного освещения деятель-

[1] А. Фадеев. «Письма дальневосточникам. А. Фадеев в воспоминаниях». Владивосток, 1960, стр. 437.

ность старшего поколения — коммунистов, возглавлявших работу всего подполья в Краснодоне. «В романе Фадеева,— говорилось в редакционной статье газеты «Правда»,— есть отдельные большевики-подпольщики,— нет большевистского подпольного «хозяйства», нет организации» [1].

Как ни богаты были факты, собранные комиссией ЦК ВЛКСМ и самим Фадеевым,— они оказались неполными. Приступая к работе, писатель полагал, что молодежь боролась одна, поскольку подпольщики-коммунисты были выявлены врагом, погибли (см. IV, 103) и в городе «никого не осталось от краснодонского подполья» [2]. На самом деле появившиеся вскоре в печати материалы свидетельствовали о том, что в Краснодоне действовало большевистское подполье, которое осуществляло и руководство молодежной организацией [3].

Понятно, А. Фадееву не легко далось осознание критических замечаний, среди которых были и не совсем справедливые, но внутренний голос требовал от писателя доработать роман. Фадеев отдавал себе отчет в том, что обратился к сюжету, основные ходы которого сделаны самой жизнью. За редким исключением автор вывел своих героев «под их собственными именами и фамилиями» [4] и бережно относился к каждому фактическому эпизоду.

Необходимо также заметить, что с самого начала замысел романа выходил за рамки молодежной темы. Выступая 10 апреля 1946 года на конференции областных писателей, Фадеев обратил внимание аудитории на то, что тема молодежной подпольной организации является частью задуманного произведения, которое «гораздо шире» и в котором большое значение имеет изображение «взрослого подполья» [5]. «...Я не ставил цели дать историю Молодой гвардии,— заявил Фадеев на заседании секции прозы Союза писателей СССР, посвященном обсуждению романа «Молодая гвардия»,— а хотел показать советского человека в оккупации — в аспекте молодежном, через молодежь, но дать разрез общества всего и — молодежь как будущее этого общества, как первый показатель его несомненного торжества» [6].

---

[1] «Молодая гвардия» в романе и на сцене». «Правда», 1947, № 322, 3 декабря.

[2] Выступление А. Фадеева на заседании секции прозы Союза писателей СССР 4 февраля 1947 года. «Литературная Россия», 1967, 22 сентября.

[3] См. статью Р. Новоплянской «Новое о героях Краснодона. Как коммунисты руководили деятельностью «Молодой гвардии». «Комсомольская правда», 1948, № 232, 30 сентября.

[4] Александр Фадеев. Материалы и исследования. М., 1977, стр. 131.

[5] «Встречи с прошлым», М., 1972, стр. 245.

[6] «Литературная Россия», 1967, № 39, 29 сентября.

Показательно, что уже в первоначальных наметках плана шла речь о широком развитии темы «молодежная организация — подпольщики-коммунисты». В плане читаем:

«Володя Осьмухин, работающий в мехцехе,— Лютиков — связь с взрослым подпольем. Осьмухин — Жора — Земнухов — Кошевой...

Сюжетно очень важно: Оля и Нина Иванцовы, с одной стороны, и Любка Шевцова — с другой,— имеют конкретных людей из областного взрослого подполья, с которыми они по работе связаны» [1].

Однако, не располагая в то время фактическим материалом о работе старших товарищей, Фадеев в первой редакции оставил эту линию неразвернутой. Мог ли писатель некоторое время спустя пройти мимо обнаруженных фактов, позволяющих показать деятельность взрослого подполья и тем самым полнее раскрыть замысел романа, углубить идею преемственности и взаимоотношения поколений? Сколь ни трудным было дополнительное введение в органически цельное произведение новых глав — Фадеев осуществляет переработку романа. «Мужество художника,— писал К. Федин,— черта, свойственная Фадееву... Он умеет найти в себе энергию, оживить в себе чувство новизны труда, когда надо добиться от этого труда высшего качества» [2].

«Одной из самых благородных и поэтичных книг о днях Великой Отечественной войны» назвал «Молодую гвардию» в ее новом издании Константин Симонов [3]. Характерный для первого варианта романтический дух молодости, не покорившейся врагу, был сохранен и во второй редакции, но обрел более прочную реальную основу. Шире стало само действие: локальный по своим масштабам материал о молодежном подполье вписывался в широкую картину поднятой и возглавленной большевиками всенародной борьбы, партизанского движения, действий Красной Армии.

Впервые в художественной практике Фадеева появилось произведение, в котором от начальных и до последних глав эпическое повествование проникнуто лирикой, реалистически-бытовое органично сочетается с эмоционально-возвышенным. Доминирующая мысль романа — несовместимость двух социальных систем: светлого мира социализма и фашистского «орднунга». Символично уже начало «Молодой гвардии». Стайка девушек на берегу реки, любующаяся, не-

---

[1] Цит. по статье Апухтиной в кн.: А. Фадеев. Собр. соч. в семи томах, М., 1970, т. 3, стр. 665—666.

[2] К. А. Федин. Собр. соч. в десяти томах, М., 1973, т. 9, стр. 146.

[3] «Литературная газета», 1951, № 151, 22 декабря.

смотря на перекаты орудийных выстрелов, речной лилией, небом, донецкой степью, воспоминание о безоблачных мгновениях детства — всё это сливается в единый образ довоенной жизни, которая кажется немыслимой, невозможной из-за приближения фашистских войск. И всё же: немцы заняли города, поселки, села Донбасса, их дивизии двинулись дальше, на восток, а мир советских людей остался. Он ушел в себя, замкнулся, но сохранился и продолжал жить внутренней жизнью. Его черты несут в себе не только основные герои, но и эпизодические персонажи вроде деда-возчика или майора — случайного спутника Вани Земнухова и Жоры Арутюнянца. Характерное для всех общее состояние хорошо выражено во внезапном монологе усатого майора, молча наблюдавшего в пути за Ваней и Жорой и поразившегося их оптимизму. «Вы, ребята... вы даже не знаете, какие вы, ребята!.. Не-ет! Такое государство стояло и будет стоять! — вдруг сказал он и с ожесточением погрозил кому-то в пространство коротким черным пальцем.— Он думает, он у нас жизнь прекратил! — с издевкой в голосе продолжал майор.— Нет, брат, шалишь! Жизнь идет, и наши ребятишки думают о тебе, как о чуме или холере. Пришел — и уйдешь, а жизнь своим чередом — учиться, работать! А он-то думал! — издевался майор.— Наша-то жизнь навеки, а он кто? Прыщ на гладком месте,— сковырнул, и нет его!.. Ничего! Я в этом проклятом госпитале сам было пал духом,— неужто ж, думаю, на него и силы нет, а как я к вам пришвартовался и иду, у меня полное обновление души...»

Первое движение души при появлении немцев — несколько наивная демонстрация автономности своего положения. «В конце концов какое ей дело до немцев! — думает про себя Валя Борц, устроившись с томиком Стивенсона в саду под ветвистой акацией.— У нее своя духовная жизнь. Пусть кто хочет изнывает от ожидания и страха, но не она, нет».

Но это лишь один ряд мыслей. Параллельно ему идет другой, более глубокий и тревожный: что делать, как оказать сопротивление нашествию? Он в определенной степени и организует композицию «Молодой гвардии». Первый том книги — это вызванная коренной переменой обстоятельств перегруппировка активных сил, их поиски друг друга, установление связи с коммунистами, сплочение в единую организацию. Второй — непосредственное действие — борьба с врагом самыми разными методами. Ход событий здесь значительно убыстряется, сюжет изобилует острыми ситуациями, в которых раскрывается героизм и бесстрашие юных подпольщиков.

«...Как никто из нас — прозаиков, Фадеев обладает чудесной особенностью глубоко и взволнованно писать о молодежи,— говорил М. Шолохов,— и в «Молодой гвардии» в пол-

ную меру раскрылась эта черта его большого таланта»[1]. Писателя всегда влекло к образу юной, пылкой личности, беззаветно преданной революционному делу. Достаточно вспомнить Бакланова и Метелицу в «Разгроме», Сеню Кудрявого и Сережу Костенецкого в «Последнем из удэге». «Разработанность» молодежной темы у Фадеева порою служила поводом для «умозаключений», которые решительно оспаривал сам писатель. На одной конференции он привел следующее суждение, высказанное ему «со стороны литераторов»: «Фадеев вспомнил собственную молодость и молодых людей своего времени перелицевал и изобразил в современной действительности»[2]. Конечно, память о собственной юности вдохновляла писателя в работе над «Молодой гвардией»,— об этом сам он говорил неоднократно. Но вместе с тем настойчиво подчеркивал и новизну оказавшегося в его руках материала. Молодогвардейцы, в большинстве своем дети шахтеров, воспитаны советским обществом, им свойственно «ясное, а не стихийное революционное сознание», они были образованными, «интеллигентными людьми»[3]. В своем романе Фадеев дает обобщенную характеристику новому типу молодежи:

«Самые, казалось бы, несоединимые черты — мечтательность и действенность, полет фантазии и практицизм, любовь к добру и беспощадность, широта души и трезвый расчет, страстная любовь к радостям земным и самоограничение,— эти, казалось бы, несоединимые черты вместе создали неповторимый облик этого поколения».

Из-за своей фактической основы роман населен значительно большим числом действующих лиц (около двухсот), чем того требуют законы жанра. Поэтому, по словам автора, показать всех своих героев «полнокровно» он не имел «ни возможности, ни места» (V, 450). Тем не менее Фадееву удалось создать галерею одухотворенных образов нашей замечательной молодежи.

Вот обаятельный, приветливый юноша, иногда по-детски наивный и непосредственный, но вместе с тем обладающий способностью глубоко, ясно мыслить, умением проявить необходимую трезвость в ответственные минуты. Это Олег Кошевой. Его не спутаешь с Сережей Тюлениным — человеком действия, живым, неугомонным, отчаянно храбрым, жаждущим подвигов и свершающим их. Под стать ему Люба Шевцова — озорная, «легкая как огонь» и вместе с тем сметли-

---

[1] Михаил Шолохов. Собр. соч. в восьми томах, М., 1975, т. 8, стр. 255.

[2] «Встречи с прошлым», М., 1972, стр. 244.

[3] Александр Фадеев. Материалы и исследования. М., 1977, стр. 130.

вая девушка. Порою она действует рискованно, но тем не менее блестяще выполняет задания «взрослых» и штаба молодогвардейцев. Иного плана Ваня Земнухов, прозванный за свою эрудированность профессором. Этот образ пленяет богатством духовной жизни, поэтичностью мироощущения. Не отличающийся броской внешностью, Земнухов обладает большой силой воли, хладнокровием и поразительной выдержкой; он напоминает Сеню Кудрявого из «Последнего из удэге», сочетавшего в себе твердый характер с душевной тонкостью натуры. Романтичен облик Ульяны Громовой: «высокая, стройная девушка с тяжелыми черными косами, с глазами, то брызжущими ясным сильным светом, то полными таинственной силы, скорее молчаливая, чем озорная, скорее ровная, чем страстная, но и та и другая вместе».

Герои «Молодой гвардии» ни в коей мере не являются исключительными натурами. Это типичные представители советской молодежи, выхваченные художником из массы им подобных и обрисованные с большой любовью. А. Фадеев двумя-тремя штрихами набрасывает десятки портретов других молодогвардейцев, духовный мир которых столь же богат и красив. Благородством и мужеством веет от фигур Ивана Туркенича и Сергея Левашова, Володи Осьмухина и Николая Сумского; читатель хорошо представляет себе словоохотливого, компанейского Степу Сафонова, «сердитого» Женю Мошкова, несколько комичного Жору Арутюнянца с его педантичной манерой речи и многих других героев романа. Непреходящее достоинство «Молодой гвардии» Фадеева заключается в обрисовке духовного единства молодежного коллектива и вместе с тем яркого многообразия составляющих его индивидуальностей. Здесь что ни лицо — то характер.

Они готовились к мирному, созидательному труду — эти юноши и девушки, но судьба предназначила им испытание войной. «Учились в школе, видели перед собой такой широкий, ясный путь жизни, и вот чем вынуждены заниматься!.. И выхода другого нет...» Такое признание вырывается у Виктора Петрова после того, как он снял часового у барака с военнопленными. Голос долга, память о погибшем отце взывали к мести, и Виктор справился с заданием, хотя тут же обнаружилось, сколь далек он по своей натуре от того, что приходилось делать... Нужны большие духовные силы, чтобы юным, не имеющим военного опыта, не дрогнуть в борьбе с жестоким и коварным врагом.

Что же помогает выстоять? Фадеев не дает декларативных ответов на этот вопрос. Он тонко показывает, что в душе его героев живет иной, светлый мир. Не случайно операции освобождения военнопленных предшествуют созерцание безлунной звездной ночи и воспоминания о довоенной безмятежной юности. Побыть в другой, человечной, реальности хочется после

акта возмездия над Фоминым и Сереже Тюленину, на которого нахлынули «желание начисто вымыться горячей водой и необыкновенная жажда чудесного дружеского разговора о чем-то совсем-совсем далеком, очень наивном, светлом, как шепот листвы, журчание ручья или свет солнца на закрытых утомленных веках...».

Молодогвардейцы сильны острым ощущением родины, связью с традициями предшествующего поколения, наконец, опорой на старших товарищей, оставленных партией для борьбы в тылу врага. В силу причин, о которых шла речь ранее, в первой редакции романа тема большевистского подполья не получила достаточно полного освещения. Одним из ее кульминационных моментов была трагическая история коммунистов Валько и Шульги, попавших в жандармский застенок, когда немцы взяли Краснодон.

Во второй редакции деятельность большевиков как главной силы, организующей сопротивление, показана более широко. Это позволило автору выдвинуть на передний план и глубже разработать образы представителей старшего поколения — руководителя штаба партизанского движения Проценко, секретаря подпольного райкома Лютикова, его помощника Баракова, связной Соколовой. Самые значительные дополнения связаны с образом Филиппа Петровича Лютикова. По сути, этот образ создан заново, ибо в первой редакции романа Лютиков показан эпизодически. В согласии с нововыявленными фактами Филипп Петрович изображен как опытный руководитель подполья. От Лютикова молодогвардейцы получали моральную поддержку, практические советы по конспирации и ведению подпольной работы. Молодежная группа постоянно чувствовала добрую руку своего старшего наставника. Вместе они боролись — вместе подошли к последней черте.

Человек на пороге жизни и смерти. Подобная трагическая ситуация встречается уже в фадеевском «Разгроме» — в эпизодах гибели Морозки и Метелицы. За мгновение до смерти герои ощущают неразрывную связь с людьми, ради которых они жертвуют жизнью. То же чувство владело и Игнатом Саенко по прозвищу Пташка в романе «Последний из удэге», когда он попал в лапы белогвардейцев за хранение динамита в своей квартире. Мысль о спасении ценою выдачи товарищей была, замечает автор, «так же неестественна для него, как неестественна была бы для него мысль о том, что можно облегчить свою судьбу, если начать питаться человеческим мясом».

Характерно, что в творчестве Фадеева нет изображения подвига, совершаемого на горячей волне азарта, упоения схваткой. Художник всегда оставляет своим героям время для нравственного выбора. Как правило, это время положи-

тельный персонаж использует для вящего утверждения в преданности коллективу, во имя которого человек жертвует своей жизнью. Что касается «Молодой гвардии», то ее последние девять глав — своего рода хроника мужества, гимн нравственной красоте советских людей, оказавшихся в фашистском застенке. Впервые Фадеев показывает жизнь и гибель целого коллектива, который, приближаясь к роковой черте, действовал как один человек, моральный дух которого остался несломленным.

Вопрос об идейной убежденности и нравственной силе — главный в определении ценности личности. Менее всего способен выдержать испытание исключительными обстоятельствами тот, чья плоть и кровь поражена бациллами индивидуализма. Таким выведен в романе Евгений Стахович.

Образ Стаховича — еще одно звено в разоблачении психологии бескрылого индивидуализма, в разоблачении, которое писатель начал еще в «Разгроме» (Мечик) и продолжил в «Последнем из удэге» (Семка Казанок, Ланговой). Как и Павел Мечик, Стахович оказывается перед выбором: либо верность коллективу ценою жизни, либо предательство. Страх перед пытками сделал его предателем.

Как известно, человека с фамилией «Стахович» не было в организации. Сейчас уже нет надобности углубляться в историю создания этого образа. Необходимо лишь подчеркнуть: Стахович — лицо вымышленное, собирательный образ малодушного отщепенца, так же, как был собирательным образом и его «предшественник» Павел Мечик. Именно в смелом художественном обобщении, направленном против жизненной «философии» индивидуализма, заключаются суть и значение образа Стаховича.

Содержание заключительных глав «Молодой гвардии» отмечено нарастающей напряженностью действия. Сколь ни жестоки пытки — молодогвардейцы остаются коллективом, способным и в застенке оказывать сопротивление врагу всеми доступными средствами. Злоба и неистовство фашистов бессильны. Им не удается поставить юных подпольщиков на колени, а между тем близится час расплаты: все слышнее по ночам гул приближающихся боев, и вот уже расположения немцев в Краснодоне бомбит советская авиация. Эмоциональная насыщенность повествования позволяла завершить произведение высоко звучащей романтической нотой. Однако художник здесь по справедливости уступил место историку.

«Я мог бы закончить роман патетически, дать ему пафосную или лирическую концовку, которая, возможно, оставила бы более глубокое впечатление,— говорил А. Фадеев на одной из встреч с читателями.— Но я, как видите, заканчиваю перечнем *всех* фамилий погибших участников «Молодой

гвардии», потому что чувствую внутреннюю обязанность хотя бы таким образом перечислить их всех — из уважения к их памяти» (V, 450).

В творческой эволюции Фадеева «Молодая гвардия» в известной мере итоговое произведение. В этом романе художнику удалось воплотить концепцию гармонически развитой, прекрасной личности с той полнотой, которая была невозможна в вещах, созданных на материале гражданской войны.

5

Еще во время работы над второй редакцией «Молодой гвардии» Фадеев высказывал мысли о будущих творческих планах. Писатель полагал, что по завершении романа о молодогвардейцах «на очередь встанет окончание «Последнего из удэге», и даже собирался в 1951 году навестить родные края, поскольку продолжать работу над этим произведением «без освежения памяти, без соприкосновения с Дальним Востоком было бы невозможно» (VII, 247). Однако вскоре после окончания «Молодой гвардии» писатель начинает собирать материал для романа «Черная металлургия».

Для Фадеева столь решительная корректировка планов была скорее необходимостью, нежели случайностью. Крупный государственный и общественный деятель, выдающийся художник, он поверял свои творческие замыслы движением самой жизни. Наделенный чувством высокой ответственности, писатель прислушивался к голосу своей эпохи, требованиям времени. «...Когда мы имеем дело с нашей действительностью,— говорил он,— мы вполне можем выбирать, что нужнее нашему народу, и об этом писать в первую очередь» (VI, 188). Поэтому Фадеев счел нужным повременить с окончанием «Последнего из удэге» и обратиться к теме рабочего класса — оплота Советского государства, создателя его индустриальной мощи.

Необходимость такого произведения определялась не только задачами послевоенного восстановительного периода и перспективой будущего. Свою печать на замысел «Черной металлургии» накладывали и события недавно отгремевшей войны. Вот как отозвался писатель о выпущенной в 1942 году книге американского журналиста Вернера «Восточный фронт», в которой было сказано: «весь мир является свидетелем драматической борьбы магнитогорского металла с металлом всей Европы, мобилизованным Гитлером для ведения войны на Востоке». «Весь мир,— дает свой комментарий А. Фадеев,— явился свидетелем того, как в этой драматической борьбе

Гитлер, вооруженный металлом всей Европы, был разгромлен магнитогорским металлом наголову...» [1].

Стремление к изображению будней социалистического строительства было характерно для Фадеева и прежде. В середине 20-х годов писатель работал над набросками к роману «Провинция» — о борьбе старого и нового в жизни одной из окраин страны; в 30-е годы опубликовал рассказы «О бедности и богатстве» и «Землетрясение», затрагивавшие ту же тему; к концу 30-х годов относится план пьесы «Маленький человек», наконец, в начале 50-х годов Фадеев делился со своими корреспондентами замыслами романа о колхозной деревне и рассказов о молодежи. Большинство начинаний оказалось по разным причинам нереализованным, но, вне сомнения, предварительная работа, проведенная Фадеевым, не пропала даром, она стимулировала сложнейший, грандиозный замысел «Черной металлургии» — романа «листов на 50—60» (VII, 329), романа — это писатель подчеркивал — «не только о металлургах», но «о советском обществе наших дней» (VII, 346). Испытывая, как и на первых этапах своего творческого пути, влечение к монументальному полотну, Фадеев собирался вложить в него все лучшее из «собственного жизненного опыта, все, что... передумал и перечувствовал за 50 лет своей жизни...» (VII, 346). «...В связи с судьбами отдельных героев» писатель хотел «показать и прошлое и заглянуть в будущее» (VII, 466).

Художник с большим увлечением работал над новым произведением. Он много ездил по индустриальным центрам страны, немало времени проводил на металлургических заводах, жил в семье молодого магнитогорского металлурга В. А. Захарова. По его собственным словам, он проникся жизнью своих будущих героев настолько, что предполагал завершить роман в течение двух-трех лет.

Однако работа над «Черной металлургией» сопровождалась разными, в том числе и непредвиденными, осложнениями. Выбивало писателя из творческой колеи и сильно пошатнувшееся здоровье. Впрочем, вынужденные перерывы случались у Фадеева и раньше, за многие годы писатель выработал в себе привычку возвращаться к перу и бумаге при малейшей возможности; над романом «Черная металлургия» он работал даже в больнице, и постепенно воплощение замысла продвигалось вперед. Гораздо большие затруднения вызвало обнаруженное через несколько лет несоответствие основного конфликта произведения и реальной тенденции действительности. Драматизм сложившейся ситуации охарактеризовал в одном из писем сам автор: «То, что было заду-

---

[1] Цит. по книге: Сергей Преображенский. Недопетая песня. М., 1977, стр. 43.

мано и сочинено и уже начало писаться в 1951—52 гг., оказалось во многих своих гранях устарелым и даже неверным в наши дни. В борьбе за некоторые технические открытия, называвшиеся тогда «революцией в металлургии», оказались правыми не «новаторы» (ибо это были раздутые лженоваторы), а «рутинеры» (ибо они оказались просто честными и знающими людьми). Это не сняло основной темы борьбы за технический прогресс — наоборот, она стала еще более животрепещущей,— но надо менять объект. Те, кого объявляли тогда врагами (именно в металлургической области и на том *послевоенном* этапе развития), оказались просто оклеветанными.

Теперь для части положительных героев моих «нет работы», и приходится «переключать» их на борьбу... с бюрократической косностью. По-новому стоит вопрос о технической учебе у Запада, чтобы «догнать и перегнать»; по-новому выглядит роль иностранных специалистов в огляде историческом на первую пятилетку (не все же были и тогда проходимцами!). Одним словом, одни персонажи у меня «погорели», возникли новые — и приходится перерабатывать всю первую книгу. Был период, когда я испытал некий нравственный шок» (VII, 502—503).

Неудачу с первоначальным замыслом «Черной металлургии» кое-кто объяснял тем, что Фадеев якобы положил в основу романа чисто техническую проблему. Глубокая ошибочность подобного мнения убедительно доказана в монографии В. Озерова [1]. Писатель работал над произведением широкого гуманистического диапазона. Роман строился на пересечении драматически складывавшихся человеческих судеб, на столкновении, противоборстве сложных характеров. Главный критерий личности — труд на благо общества, поэтому индустрия, естественно, была одной из основных сфер, в которых раскрывались образы «Черной металлургии». И то, что технологическая проблема, представляющаяся на первых порах важной, даже решающей, оказалась несостоятельной, нельзя ставить в вину автору, нельзя объявлять художественным просчетом, которого заранее можно было избежать.

О целенаправленности творческого поиска Фадеева свидетельствует начало «Черной металлургии» — восемь глав, опубликованных при жизни писателя. Судя по всему, они являются лишь завязкой одной из многих сюжетных линий романа, но завязкой весьма примечательной. Уже в этих главах отчетливо слышен пульс большого произведения о нравственных, социальных проблемах советского общества в 50-х годах. Тема раскрывается через мир личных переживаний ге-

---

[1] См.: В. Озеров. Александр Фадеев. Творческий путь. М., 1976, стр. 407—409.

роев — молодого сталевара Павла Кузнецова, его жены Христины, рабочих металлургического комбината Юры Гаврилова, Вассы Ивановой, Прасковьюшки. Как в никаком другом произведении А. Фадеева, в начальных главах «Черной металлургии» проступают те черты авторского стиля, которые связаны с исследованием малейших движений человеческой души, исследованием, сопровождаемым детальным описанием поведения героя и окружающей его обстановки. В 30-е годы писатель считал подобный способ изображения обременительным. Он и во время работы над «Черной металлургией» жаловался на «излишнюю детализацию» (VII, 455), однако же не уходил от нее, и в этом был свой резон. Роман о 50-х годах, о мирном созидательном труде советских людей требовал прежде всего аналитического подхода. Подробности, к которым прибегает автор, создавая характеры Павла и Тины Кузнецовых, окупаются созданием образов, выразительных до физической осязаемости, раскрытием связи духовного мира личности с укладом советского строя, точной передачей образа жизни нашего общества.

К сожалению, о проблематике произведения в целом можно судить лишь по сохранившимся в архиве писателя заметкам к плану, наброскам и подготовительным материалам. Широк размах предполагавшегося действия и географии романа — города Урала, колхозная деревня, Москва, Ленинград. Заметки на производственную тему перемежаются рассуждениями о личном счастье, о положении женщины, быте, воспитании молодежи и т. д. и т. п. Существенное место занимают проблемы технической и творческой интеллигенции, вопросы искусства. Тематическое многообразие «заготовок» — свидетельство огромной разветвленности замысла. И все эти материалы пронизывает господствующая авторская идея, так сформулированная в одной из заметок: «Черная металлургия» — роман о великой переплавке, переделке, перевоспитании самого человека, превращении его из человека, каким он вышел из эксплуататорского общества — и даже в современных молодых поколениях еще наследует черты этого общества, — превращении его в человека коммунистического общества» (IV, 390).

Работу над «Черной металлургией» оборвала смерть писателя. Своей «большой, настоящей песней» называл этот роман Фадеев (VI, 187). Законченные главы и фрагменты свидетельствуют о том, что творческие силы автора с годами не ослабели. Более того, зорче, проницательнее становился взгляд, отточеннее — мастерство. В завершенном виде «Черная металлургия» могла стать новым словом в творчестве Фадеева, выдающимся произведением советской литературы.

* * *

Александр Фадеев — одна из романтически-светлых страниц становления и развития многонациональной социалистической культуры. Время не властно над именем художника, умевшего с подкупающей искренностью говорить о счастье революционного преобразования действительности, о больших чувствах и мыслях человека нового мира. Его романы «Разгром», «Последний из удэге», «Молодая гвардия» волнуют современного читателя так же, как и в годы первого выхода в свет. Духовный мир, созданный А. Фадеевым, побуждает все новые поколения к славным делам, учит их благородному и прекрасному. Образы фадеевских героев властно действуют на душу. Их жизнь продолжается и в театральных постановках, кинофильмах, музыке.

Станислав Заика.

РАЗГРОМ

Роман

I. МОРОЗКА

Бренча по ступенькам избитой японской шашкой, Левинсон вышел во двор. С полей тянуло гречишным медом. В жаркой бело-розовой пене плавало над головой июльское солнце.

Ординарец Морозка, отгоняя плетью осатаневших цесарок, сушил на брезенте овес.

— Свезешь в отряд Шалдыбы,— сказал Левинсон, протягивая пакет.— На словах передай... впрочем, не надо — там все написано.

Морозка недовольно отвернул голову, заиграл плеткой — ехать не хотелось. Надоели скучные казенные разъезды, никому не нужные пакеты, а больше всего — нездешние глаза Левинсона; глубокие и большие, как озера, они вбирали Морозку вместе с сапогами и видели в нем многое такое, что, может быть, и самому Морозке неведомо.

«Жулик»,— подумал ординарец, обидчиво хлопая веками.

— Чего же ты стоишь? — рассердился Левинсон.

— Да что, товарищ командир, как куда ехать, счас же Морозку. Будто никого другого и в отряде нет...

Морозка нарочно сказал «товарищ командир», чтобы вышло официальней: обычно называл просто по фамилии.

— Может быть, мне самому съездить, а? — спросил Левинсон едко.

— Зачем самому? Народу сколько угодно...

Левинсон сунул пакет в карман с решительным видом человека, исчерпавшего все мирные возможности.

— Иди сдай оружие начхозу,— сказал он с убийственным спокойствием,— и можешь убираться на все четыре стороны. Мне баламутов не надо...

Ласковый ветер с реки трепал непослушные Морозкины кудри. В обомлевших полынях у амбара ковали раскаленный воздух неутомимые кузнечики.

— Обожди,— сказал Морозка угрюмо.— Давай письмо.

Когда прятал за пазуху, не столько Левинсону, сколько себе пояснил:

— Уйтить из отряда мне никак невозможно, а винтовку сдать — тем паче.— Он сдвинул на затылок пыльную фуражку и сочным, внезапно повеселевшим голосом докончил: — Потому не из-за твоих расчудесных глаз, дружище мой Левинсон, кашицу мы заварили!.. По-простому тебе скажу, по-шахтерски!..

— То-то и есть,— засмеялся командир,— а сначала кобенился... балда!..

Морозка притянул Левинсона за пуговицу и таинственным шепотом сказал:

— Я, брат, уже совсем к Варюхе в лазарет снарядился, а ты тут со своим пакетом. Выходит, ты самая балда и есть...

Он лукаво мигнул зелено-карим глазом и фыркнул, и в смехе его — даже теперь, когда он говорил о жене,— скользили въевшиеся с годами, как плесень, похабные нотки.

— Тимоша! — крикнул Левинсон осоловелому парнишке на крыльце.— Иди овес покарауль: Морозка уезжает.

У конюшен, оседлав перевернутое корыто, подрывник Гончаренко чинил кожаные вьюки. У него была непокрытая, опаленная солнцем голова и темная рыжеющая борода, плотно скатанная, как войлок. Склонив кремневое лицо к вьюкам, он размашисто совал иглой, будто вилами. Могучие лопатки ходили под холстом жерновами.

— Ты что, опять в отъезд? — спросил подрывник.

— Так точно, ваше подрывательское степенство!.. Морозка вытянулся в струнку и отдал честь, приставив ладонь к неподобающему месту.

— Вольно,— снисходительно сказал Гончаренко,— сам таким дураком был. По какому делу посылают?

— А так, по плевому; промяться командир велел. А то, говорит, ты тут еще детей нарожаешь.

— Дурак...— пробурчал подрывник, откусывая дратву,— трепло сучанское.

Морозка вывел из пуни лошадь. Гривастый жеребчик настороженно прядал ушами. Был он крепок, мохнат, рысист, походил на хозяина: такие же ясные, зелено-карие глаза, так же приземист и кривоног, так же простовато-хитер и блудлив.

— Мишка-а... у-у... Сатана-а...— любовно ворчал Морозка, затягивая подпругу.— Мишка... у-у... божья скотинка...

— Ежли прикинуть, кто из вас умнее,— серьезно сказал подрывник,— так не тебе на Мишке ездить, а Мишке на тебе, ей-богу.

Морозка рысью выехал за поскотину.

Заросшая проселочная дорога жалась к реке. Залитые солнцем, стлались за рекой гречаные и пшеничные нивы. В теплой пелене качались синие шапки Сихотэ-Алиньского хребта.

Морозка был шахтер во втором поколении. Дед его — обиженный своим богом и людьми сучанский дед — еще пахал землю; отец променял чернозем на уголь.

Морозка родился в темном бараке, у шахты № 2, когда сиплый гудок звал на работу утреннюю смену.

— Сын?.. — переспросил отец, когда рудничный врач вышел из каморки и сказал ему, что родился именно сын, а не кто другой.

— Значит, четвертый...— подытожил отец покорно.— Веселая жизнь...

Потом он напялил измазанный углем брезентовый пиджак и ушел на работу.

В двенадцать лет Морозка научился вставать по гудку, катать вагонетки, говорить ненужные, больше матерные слова и пить водку. Кабаков на Сучанском руднике было не меньше, чем копров.

В ста саженях от шахты кончалась падь и начинались сопки. Оттуда строго смотрели на поселок обомшелые кондовые ели. Седыми туманными утрами таежные изюбры старались перекричать гудки. В синие пролеты хребтов, через крутые перевалы, по нескончаемым рельсам ползли день за днем груженные углем дековильки на станцию Кангауз. На гребнях черные от мазута барабаны, дрожа от неустанного напряжения, на-

матывали скользкие тросы. У подножий перевалов, где в душистую хвою непрошенно затесались каменные постройки, работали неизвестно для кого люди, разноголосо свистели «кукушки», гудели электрические подъемники.

Жизнь, действительно, была веселой.

В этой жизни Морозка не искал новых дорог, а шел старыми, уже выверенными тропами. Когда пришло время, купил сатиновую рубаху, хромовые, бутылками, сапоги и стал ходить по праздникам на село в долину. Там с другими ребятами играл на гармошке, дрался с парнями, пел срамные песни и «портил» деревенских девок.

На обратном пути «шахтерские» крали на баштанах арбузы, кругленькие муромские огурцы и купались в быстрой горной речушке. Их зычные, веселые голоса будоражили тайгу, ущербный месяц с завистью смотрел из-за утеса, над рекой плавала теплая ночная сырость.

Когда пришло время, Морозку посадили в затхлый, пропахнувший онучами и клопами полицейский участок. Это случилось в разгар апрельской стачки, когда подземная вода, мутная, как слезы ослепших рудничных лошадей, день н ночь сочилась по шахтным стволам и никто ее не выкачивал.

Его посадили не за какие-нибудь выдающиеся подвиги, а просто за болтливость: надеялись пристращать и выведать о зачинщиках. Сидя в вонючей камере вместе с майхинскими спиртоносами, Морозка рассказал им несметное число похабных анекдотов, но зачинщиков не выдал.

Когда пришло время, уехал на фронт — попал в кавалерию. Там научился презрительно, как все кавалеристы, смотреть на «пешую кобылку», шесть раз был ранен, два раза контужен и уволился по чистой еще до революции.

А вернувшись домой, пропьянствовал недели две и женился на доброй, гулящей и бесплодной откатчице из шахты № 1. Он все делал необдуманно: жизнь казалась ему простой, немудрящей, как кругленький муромский огурец с сучанских баштанов.

Может быть, потому, забрав с собой жену, ушел он в восемнадцатом году защищать Советы.

Как бы то ни было, но с той поры вход на рудник был ему заказан: Советы отстоять не удалось, а новая власть не очень-то уважала таких ребят.

Мишка сердито цокал коваными копытцами; оранжевые пауты назойливо жужжали над ухом, путались в мохнатой шерсти, искусывая до крови.

Морозка выехал на Свиягинский боевой участок. За ярко-зеленым ореховым холмом невидимо притаилась Крыловка; там стоял отряд Шалдыбы.

— В-з-з... в-з-з...— жарко пели неугомонные пауты.

Странный, лопающийся звук тряхнул и прокатился за холмом. За ним — другой, третий... Будто сорвавшийся с цепи зверь ломал на стреме колючий кустарник.

— Обожди,— сказал Морозка чуть слышно, натянув поводья.

Мишка послушно оцепенел, подавшись вперед мускулистым корпусом.

— Слышишь?.. Стреляют!..— выпрямляясь, возбужденно забормотал ординарец.— Стреляют!.. Да?..

— Та-та-та...— залился за холмом пулемет, сшивая огненными нитками оглушительное уханье бердан, округло-четкий плач японских карабинов.

— В карьер!..— закричал Морозка тугим взволнованным голосом.

Носки привычно впились в стремена, дрогнувшие пальцы расстегнули кобуру, а Мишка уже рвался на вершину через хлопающий кустарник.

Не выезжая на гребень, Морозка осадил лошадь.

— Обожди здесь,— сказал, соскакивая на землю и забрасывая повод на луку седла: Мишка — верный раб — не нуждался в привязи.

Морозка ползком взобрался на вершину. Справа, миновав Крыловку, правильными цепочками, разученно, как на параде, бежали маленькие одинаковые фигурки с желто-зелеными околышами на фуражках. Слева, в панике, расстроенными кучками метались по златоколосому ячменю люди, на бегу отстреливаясь из берданок. Разъяренный Шалдыба (Морозка узнал его по вороному коню и островерхой барсучьей папахе) хлестал плеткой во все стороны и не мог удержать людей. Видно было, как некоторые срывали украдкой красные бантики.

— Сволочи, что делают, что только делают...— все больше и больше возбуждаясь от перестрелки, бормотал Морозка.

В задней кучке бегущих в панике людей, в повязке из платка, в кургузом городском пиджачишке, неумело волоча винтовку, бежал, прихрамывая, сухощавый парнишка. Остальные, как видно, нарочно применялись к его бегу, не желая оставить одного. Кучка быстро редела, парнишка в белой повязке тоже упал. Однако он не был убит — несколько раз пытался подняться, ползти, протягивал руки, кричал что-то неслышное.

Люди прибавляли ходу, оставив его позади, не оглядываясь.

— Сволочи, и что только делают! — снова сказал Морозка, нервно впиваясь пальцами в потный карабин.

— Мишка, сюда!.. — крикнул он вдруг не своим голосом.

Исцарапанный в кровь жеребчик, пышно раздувая ноздри, с тихим ржанием выметнулся на вершину.

Через несколько секунд, распластавшись, как птица, Морозка летел по ячменному полю. Злобно взыкали над головой свинцово-огненные пауты, падала куда-то в пропасть лошадиная спина, стремглав свистел под ногами ячмень.

— Ложись!..— крикнул Морозка, перебрасывая повод на одну сторону и бешено пришпоривая жеребца одной ногой.

Мишка не хотел ложиться под пулями и прыгал всеми четырьмя вокруг опрокинутой стонущей фигуры с белой, окрашенной кровью повязкой на голове.

— Ложись...— хрипел Морозка, раздирая удилом лошадиные губы.

Поджав дрожащие от напряжения колени, Мишка опустился на землю.

— Больно, ой... бо-больно!..— стонал раненый, когда ординарец перебрасывал его через седло. Лицо у парня было бледное, безусое, чистенькое, хотя и вымазанное в крови.

— Молчи, зануда!..— прошептал Морозка.

Через несколько минут, опустив поводья, поддерживая ношу обеими руками, он скакал вокруг холма — к деревушке, где стоял отряд Левинсона.

II. МЕЧИК

Сказать правду, спасенный не понравился Морозке с первого взгляда.

Морозка не любил чистеньких людей. В его жизненной практике это были непостоянные, никчемные люди, которым нельзя верить. Кроме того, раненый с первых же шагов проявил себя не очень мужественным человеком.

— Желторотый...— насмешливо процедил ординарец, когда бесчувственного парнишку уложили на койку в избе у Рябца.— Немного царапнули, а он и размяк.

Морозке хотелось сказать что-нибудь очень обидное, но он не находил слов.

— Известно, сопливый...— бурчал он недовольным голосом.

— Не трепись,— перебил Левинсон сурово.— Бакланов!.. Ночью отвезете парня в лазарет.

Раненому сделали перевязку. В боковом кармане пиджака нашли немного денег, документы (звать — Павлом Мечиком), сверток с письмами и женской фотографической карточкой.

Десятка два угрюмых, небритых, черных от загара людей по очереди исследовали нежное, в светлых кудряшках, девичье лицо, и карточка смущенно вернулась на свое место. Раненый лежал без памяти, с застывшими бескровными губами, безжизненно вытянув руки по одеялу.

Он не слыхал, как душным темно-сизым вечером его вывезли из деревни на тряской телеге, очнулся уже на носилках. Первое ощущение плавного качания слилось с таким же смутным ощущением плывущего над головой звездного неба. Со всех сторон обступала мохнатая, безглазая темь, тянуло свежим и крепким, как бы настоянным на спирту, запахом хвои и прелого листа.

Он почувствовал тихую благодарность к людям, которые несли его так плавно и бережно. Хотел заговорить с ними, шевельнул губами и, ничего не сказав, снова впал в забытье.

Когда проснулся вторично, был уже день. В дымящихся лапах кедровника таяло пышное и ленивое солнце. Мечик лежал на койке, в тени. Справа стоял сухой, высокий, негнущийся мужчина в сером больничном ха-

лате, а слева, опрокинув через плечо тяжелые золотисто-русые косы, склонилась над койкой спокойная и мягкая женская фигура.

Первое, что охватило Мечика,— что исходило от этой спокойной фигуры — от ее больших дымчатых глаз, пушистых кос, от теплых смуглых рук,— было чувство какой-то бесцельной, но всеобъемлющей, почти безграничной доброты и нежности.

— Где я? — тихо спросил Мечик.

Высокий, негнущийся мужчина протянул откуда-то сверху костлявую, жесткую ладонь, пощупал пульс.

— Сойдет...— сказал он спокойно.— Варя, приготовьте все для перевязки да кликните Харченко...— Помолчал немного и неизвестно для чего добавил: — Уж заодно.

Мечик с болью приподнял веки и посмотрел на говорившего. У того было длинное и желтое лицо с глубоко запавшими блестящими глазами. Они безразлично уставились на раненого, и один глаз неожиданно и скучно подмигнул.

Было очень больно, когда в захосшие раны совали шершавую марлю, но Мечик все время ощущал на себе осторожные прикосновения ласковых женских рук и не кричал.

— Вот и хорошо,— сказал высокий мужчина, кончая перевязку.— Три дырки настоящих, а в голову — так, царапина. Через месяц зарастут, или я — не Сташинский.— Он несколько оживился, быстрей зашевелил пальцами, только глаза смотрели с тем же тоскливым блеском, и правый — однообразно мигал.

Мечика умыли. Он приподнялся на локтях и посмотрел вокруг.

Какие-то люди суетились у бревенчатого барака, из трубы вился синеватый дымок, на крыше проступала смола. Огромный черноклювый дятел деловито стучал на опушке. Опершись на посошок, добродушно глядел на все светлобородый и тихий старичок в халате.

Над старичком, над бараком, над Мечиком, окутанная смоляными запахами, плыла сытая таежная тишина.

Недели три тому назад, шагая из города с путевкой в сапоге и револьвером в кармане, Мечик очень смутно представлял себе, что его ожидает. Он бодро насвисты-

вал веселенький городской мотивчик,— в каждой жилке играла шумная кровь, хотелось борьбы и движения.

Люди в сопках (знакомые только по газетам) вставали перед глазами как живые — в одежде из порохового дыма и героических подвигов. Голова пухла от любопытства, от дерзкого воображения, от томительно-сладких воспоминаний о девушке в светлых кудряшках.

Она, наверно, по-прежнему пьет утром кофе с печеньем и, стянув ремешком книжки, обернутые в синюю бумагу, ходит учиться...

У самой Крыловки выскочило из кустов несколько человек с берданами наперевес.

— Кто такой? — спросил остролицый парень в матросской фуражке.

— Да вот... послан из города...

— Документы?

Пришлось разуться и достать путевку.

— «...При... морской... о-бластной комитет... социалистов... ре-лю-ци-не-ров...»,— читал матрос по складам, изредка взбрасывая на Мечика колючие, как бодяки, глаза.— Та-ак...— протянул неопределенно.

И вдруг, налившись кровью, схватил Мечика за отвороты пиджака и закричал натуженным, визгливым голосом:

— Как же ты, паскуда...

— Что? Что?..— растерялся Мечик.— Да ведь это же — «максималистов»... Прочтите, товарищ!

— Обыска-ать!..

Через несколько минут Мечик — избитый и обезоруженный — стоял перед человеком в островерхой барсучьей папахе, с черными глазами, прожигающими до пяток.

— Они не разобрали...— говорил Мечик, нервно всхлипывая и заикаясь.— Ведь там же написано — «максималистов»... Обратите внимание, пожалуйста...

— А ну, дай бумагу.

Человек в барсучьей папахе уставился на путевку. Под его взглядом скомканная бумажка как будто дымилась. Потом он перевел глаза на матроса.

— Дурак...— сказал сурово.— Не видишь: «максималистов»...

— Ну да, ну вот! — воскликнул Мечик обрадован-

но.— Ведь я же говорил — максималистов! Ведь это же совсем другое...

— Выходит, зря били...— разочарованно сказал матрос.— Чудеса!

В тот же день Мечик стал равноправным членом отряда.

Окружающие люди нисколько не походили на созданных его пылким воображением. Эти были грязнее, вшивей, жестче и непосредственней. Они крали друг у друга патроны, ругались раздраженным матом из-за каждого пустяка и дрались в кровь из-за куска сала. Они издевались над Мечиком по всякому поводу — над его городским пиджаком, над правильной речью, над тем, что он не умеет чистить винтовку, даже над тем, что он съедает меньше фунта хлеба за обедом.

Но зато это были не книжные, а настоящие, живые люди.

Теперь, лежа на тихой таежной прогалине, Мечик все пережил вновь. Ему стало жаль хорошего, наивного, но искреннего чувства, с которым он шел в отряд. С особенной, болезненной чуткостью воспринимал он теперь заботы и любовь окружающих, дремотную таежную тишину.

Госпиталь стоял на стрелке у слияния двух ключей. На опушке, где постукивал дятел, шептались багряные маньчжурские черноклены, а внизу, под откосом, неустанно пели укутанные в серебристый пырник ключи. Больных и раненых было немного. Тяжелых — двое: сучанский партизан Фролов, раненный в живот, и Мечик.

Каждое утро, когда их выносили из душного барака, к Мечику подходил светлобородый и тихий старичок Пика. Он напоминал какую-то очень старую, всеми забытую картину: в невозмутимой тишине, у древнего, поросшего мхом скита сидит над озером, на изумрудном бережку, светлый и тихий старичок в скуфейке и удит рыбку. Тихое небо над старичком, тихие, в жаркой истоме, ели, тихое, заросшее камышами озеро. Мир, сон, тишина...

Не об этом ли сне тоскует у Мечика душа?

Напевным голоском, как деревенский дьячок, Пика рассказывал о сыне — бывшем красногвардейце.

— Да-а... Приходит это он до меня. Я, конешно, си-

дю на пасеке. Ну, не видались давно, поцеловались — дело понятное. Вижу только, сумный он штой-то... «Я, говорит, батя, в Читу уезжаю».— «Почему такое?..» — «Да там, говорит, батя, чехословаки объявились».— «Ну-к что ж, говорю, чехословаки? Живи здесь; смотри, говорю, благодать-то какая?..» И верно: на пасеке у меня — только што не рай: березка, знаишь, липа в цвету, пчелки... в-ж-ж... в-ж-ж...

Пика снимал с головы мягкую черную шапчонку и радостно поводил ею вокруг.

— И что ж ты скажешь?.. Не остался! Так и не остался... Уехал... Теперь и пасеку «колчаки» разгромили, и сына нема... Вот — жизнь!

Мечик любил его слушать. Нравился тихий певучий говор старика, его медленный, идущий изнутри, жест.

Но еще больше любил он, когда приходила «милосердная сестра». Она обшивала и обмывала весь лазарет. Чувствовалась в ней большущая любовь к людям, а к Мечику она относилась особенно нежно и заботливо. Постепенно поправляясь, он начинал смотреть на нее земными глазами. Она была немножко сутула и бледна, а руки ее излишне велики для женщины. Но ходила она какой-то особенной, неплавной, сильной походкой, и голос ее всегда что-то обещал.

И когда она садилась рядом на кровать, Мечик уже не мог лежать спокойно. (Он никогда бы не сознался в этом девушке в светлых кудряшках.)

— Блудливая она — Варька,— сказал однажды Пика.— Морозка, муж ее, в отряде, а она блудит...

Мечик посмотрел в ту сторону, куда, подмигивая, указывал старик. Сестра стирала на прогалине белье, а около нее вертелся фельдшер Харченко. Он то и дело наклонялся к ней и говорил что-то веселое, и она, все чаще отрываясь от работы, поглядывала на него странным дымчатым взглядом. Слово «блудливая» пробудило в Мечике острое любопытство.

— А отчего она... такая? — спросил он Пику, стараясь скрыть смущение.

— А шут ее знает, с чего она такая ласковая. Не может никому отказать — и все тут...

Мечик вспомнил о первом впечатлении, которое произвела на него сестра, и непонятная обида шевельнулась в нем.

С этой минуты он стал внимательней наблюдать за ней. В самом деле она слишком много «крутила» с мужчинами,— со всяким, кто хоть немножко мог обходиться без чужой помощи. Но ведь в госпитале больше не было женщин.

Утром как-то, после перевязки, она задержалась, оправляя Мечику постель.

— Посиди со мной...— сказал он, краснея.

Она посмотрела на него долго и внимательно, как в тот день, стирая белье, смотрела на Харченко.

— Ишь ты...— сказала невольно с некоторым удивлением.

Однако, оправив постель, присела рядом.

— Тебе нравится Харченко? — спросил Мечик.

Она не слышала вопроса — ответила собственным мыслям, притягивая Мечика большими дымчатыми глазами:

— А ведь такой молоденький...— И спохватившись: — Харченко?.. Что ж, ничего. Все вы — на одну колодку...

Мечик вынул из-под подушки небольшой сверток в газетной бумаге. С поблекшей фотографии глянуло на него знакомое девичье лицо, но оно не показалось ему таким милым, как раньше,— оно смотрело с чужой и деланной веселостью, и хотя Мечик боялся сознаться в этом, но ему странно стало, как мог он раньше так много думать о ней. Он еще не знал, зачем это делает и хорошо ли это, когда протягивал сестре портрет девушки в светлых кудряшках.

Сестра рассматривала его — сначала вблизи, потом отставив руку, и вдруг, выронив портрет, вскрикнула, вскочила с постели и быстро оглянулась назад.

— Хороша курва! — сказал из-за клена чей-то насмешливый хрипловатый голос.

Мечик покосился в ту сторону и увидел странно знакомое лицо с ржавым непослушным чубом из-под фуражки и с насмешливыми зелено-карими глазами, у которых было тогда другое выражение.

— Ну, чего испугалась? — спокойно продолжал хрипловатый голос.— Это я не на тебя — на патрет... Много я баб переменил, а вот патретов не имею. Может, ты мне когда подаришь?..

Варя пришла в себя и засмеялась.

— Ну и напугал...— сказала не своим — певучим бабьим голосом.— Откуда это тебя, черта патлатого...— И обращаясь к Мечику: — Это — Морозка, муж мой. Всегда что-нибудь устроит.

— Да мы с ним знакомы... трошки,— сказал ординарец, с усмешкой оттенив слово «трошки».

Мечик лежал как пришибленный, не находя слов от стыда и обиды. Варя уже забыла про карточку и, разговаривая с мужем, наступила на нее ногой. Мечику стыдно было даже попросить, чтобы карточку подняли.

А когда они ушли в тайгу, он, стиснув зубы от боли в ногах, сам достал вмятый в землю портрет и изорвал его в клочки.

III. ШЕСТОЕ ЧУВСТВО

Морозка и Варя вернулись за полдень, не глядя друг на друга, усталые и ленивые.

Морозка вышел на прогалину и, заложив два пальца в рот, свистнул три раза пронзительным разбойным свистом. И когда, как в сказке, вылетел из чащи курчавый, звонкокопытый жеребец, Мечик вспомнил, где он видал обоих.

— Михрютка-а... сукин сы-ын... заждался?..— ласково ворчал ординарец.

Проезжая мимо Мечика, он посмотрел на него с хитроватой усмешкой.

Потом, ныряя по косогорам в тенистой зелени балок, Морозка еще не раз вспоминал о Мечике. «И зачем только идут такие до нас? — думал он с досадой и недоумением.— Когда зачинали, никого не было, а теперь на готовенькое — идут...» Ему казалось, что Мечик действительно пришел «на готовенькое», хотя на самом деле трудный крестный путь лежал впереди. «Придет эдакой шпендрик — размякнет, нагадит, а нам расхлебывай... И что в нем дура моя нашла?»

Он думал еще о том, что жизнь становится хитрей, старые сучанские тропы зарастают, приходится самому выбирать дорогу.

В думах, непривычно тяжелых, Морозка не заметил, как выехал в долину. Там — в душистом пырее, в диком, кудрявом клевере звенели косы, плыл над людьми

прилежный работяга-день. У людей были курчавые, как клевер, бороды, потные и длинные, до колен, рубахи. Они шагали по прокосам размеренным, приседающим шагом, и травы шумно ложились у ног, пахучие и ленивые.

Завидев вооруженного всадника, люди не спеша бросали работу и, прикрывая глаза натруженными ладонями, долго смотрели вслед.

— Как свечечка!..— восхищались они Морозкиной посадкой, когда, приподнявшись на стременах, склонившись к передней луке выпрямленным корпусом, он плавно шел на рысях, чуть-чуть вздрагивая на ходу, как пламя свечи.

За излучиной реки, у баштанов сельского председателя Хомы Рябца, Морозка придержал коня. Над баштанами не чувствовалось заботливого хозяйского глаза: когда хозяин занят общественными делами, баштаны зарастают травой, сгнивает дедовский курень, пузатые дыни с трудом вызревают в духовитой полыни и пугало над баштанами похоже на сдыхающую птицу.

Воровато оглядевшись по сторонам, Морозка свернул к покосившемуся куреню. Осторожно заглянул вовнутрь. Там никого не было. Валялись какие-то тряпки, заржавленный обломок косы, сухие корки огурцов и дынь. Отвязав мешок, Морозка соскочил с лошади и, пригибаясь к земле, пополз по грядам. Лихорадочно разрывая плети, запихивал дыни в мешок, некоторые тут же съедал, разламывая на колене.

Мишка, помахивая хвостом, смотрел на хозяина хитрым, понимающим взглядом, как вдруг, заслышав шорох, поднял лохматые уши и быстро повернул к реке кудлатую голову. Из ивняка вылез на берег длиннобородый, ширококостный старик в полотняных штанах и коричневой войлочной шляпе. Он с трудом удерживал в руках ходивший ходуном нерет, где громадный плоскожабрый таймень в муках бился предсмертным биением. С нерета холодными струйками стекала на полотняные штаны, на крепкие босые ступни разбавленная водой малиновая кровь.

В рослой фигуре Хомы Егоровича Рябца Мишка узнал хозяина гнедой широкозадой кобылицы, с которой,

отделенный дощатой перегородкой, Мишка жил и столовался в одной конюшне, томясь от постоянного вожделения. Тогда он приветливо растопырил уши и, запрокинув голову, глупо и радостно заржал.

Морозка испуганно вскочил и замер в полусогнутом положении, держась обеими руками за мешок.

— Что же ты... делаешь?..— с обидой и дрожью в голосе сказал Рябец, глядя на Морозку невыносимо строгим и скорбным взглядом. Он не выпускал из рук туго вздрагивающий нерет, и рыба билась у ног, как сердце от невысказанных, вскипающих слов.

Морозка опустил мешок и, трусливо вбирая голову в плечи, побежал к лошади. Уже на седле он подумал о том, что нужно было бы, вытряхнув дыни, захватить мешок с собой, чтобы не осталось никаких улик. Но, поняв, что уже теперь все равно, пришпорил жеребца и помчался по дороге пыльным, сумасшедшим карьером.

— Обожди-и, найдем мы на тебя управу... найдем!.. найдем!..— кричал Рябец, навалившись на одно слово и все еще не веря, что человек, которого он в течение месяца кормил и одевал, как сына, обкрадывает его баштаны, да еще в такое время, когда они зарастают травой оттого, что их хозяин работает для мира.

В садике у Рябца, разложив в тени, на круглом столике, подклеенную карту, Левинсон допрашивал только что вернувшегося разведчика.

Разведчик — в стеганом мужицком надеване и в лаптях — побывал в самом центре японского расположения. Его круглое, ожженное солнцем лицо горело радостным возбуждением только что миновавшей опасности.

По словам разведчика, главный японский штаб стоял в Яковлевке. Две роты из Спасск-Приморска передвинулись в Сандагоу, зато Свиягинская ветка была очищена, и до Шабановского Ключа разведчик ехал на поезде вместе с двумя вооруженными партизанами из отряда Шалдыбы.

— А куда Шалдыба отступил?

— На корейские хутора...

Разведчик попытался найти их на карте, но это было не так легко, и он, не желая показаться невеждой, неопределенно ткнул пальцем в соседний уезд.

— У Крыловки их здорово потрепали,— продолжал он бойко, шмыгая носом.— Теперь половина ребят раз-

брелась по деревням, а Шалдыба сидит в корейском зимовье и жрет чумизу. Говорят, пьет здорово. Свихнулся вовсе.

Левинсон сопоставил новые данные с теми, что сообщил вчера даубихинский спиртонос Стыркша, и с теми, что присланы были из города. Чувствовалось что-то неладное. У Левинсона был особенный нюх по этой части — шестое чутье, как у летучей мыши.

Неладное чувствовалось в том, что выехавший в Спасское председатель кооператива вторую неделю не возвращался домой, и в том, что третьего дня сбежало из отряда несколько сандагоуских крестьян, неожиданно загрустивших по дому, и в том, что хромоногий хунхуз Ли-Фу, державший с отрядом путь на Уборку, по неизвестным причинам свернул к верховьям Фудзина.

Левинсон снова и снова принимался расспрашивать и снова весь уходил в карту. Он был на редкость терпелив и настойчив, как старый таежный волк, у которого, может быть, недостает уже зубов, но который властно водит за собой стаи — непобедимой мудростью многих поколений.

— Ну, а чего-нибудь особенного... не чувствовалось?

Разведчик смотрел не понимая.

— Нюхом, нюхом!..— пояснил Левинсон, собирая пальцы в щепотку и быстро поднося их к носу.

— Ничего не унюхал... Уж как есть...— виновато сказал разведчик. «Что я — собака, что ли?» — подумал он с обидным недоумением, и лицо его сразу стало красным и глупым, как у торговки на сандагоуском базаре.

— Ну, ступай...— махнул Левинсон рукой, насмешливо прищуривая вслед голубые, как омуты, глаза.

Один он в задумчивости прошелся по саду, остановившись у яблони, долго наблюдал, как возится в коре крепкоголовый песочного цвета жучок, и какими-то неведомыми путями пришел вдруг к выводу, что в скором времени отряд разгонят японцы, если к этому не приготовиться заранее.

У калитки Левинсон столкнулся с Рябцом и своим помощником Баклановым — коренастым парнишкой лет девятнадцати, в суконной защитной гимнастерке и с недремлющим кольтом у пояса.

— Что делать с Морозкой?..— с места выпалил Бакланов, собирая над переносьем тугие складки бровей и

гневно выбрасывая из-под них горящие, как угли, глаза.— Дыни у Рябца крал... вот, пожалуйста!..

Он с поклоном повел руками от командира к Рябцу, словно предлагал им познакомиться. Левинсон давно не видал помощника в таком возбуждении.

— А ты не кричи,— сказал он спокойно и убедительно,— кричать не нужно. В чем дело?..

Рябец трясущимися руками протянул злополучный мешок.

— Полбаштана изгадил, товарищ командир, истинная правда! Я, знаешь, нерета проверял — в кои веки собрался,— когда вылезаю с ивнячка...

И он пространно изложил свою обиду, особенно напирая на то, что, работая для мира, вовсе запустил хозяйство.

— Бабы у меня, знаешь, заместо того, чтоб баштаны выполоть, как это у людей ведется, на покосе маются. Как проклятые!..

Левинсон, выслушав его внимательно и терпеливо, послал за Морозкой.

Тот явился с небрежно заломленной на затылок фуражкой и с неприступно-наглым выражением, которое всегда напускал, когда чувствовал себя неправым, но предполагал врать и защищаться до последней крайности.

— Твой мешок? — спросил командир, сразу вовлекая Морозку в орбиту своих немутнеющих глаз.

— Мой...

— Бакланов, возьми-ка у него смит...

— Как возьми?.. Ты мне его давал?! — Морозка отскочил в сторону и расстегнул кобуру.

— Не балуй, не балуй...— с суровой сдержанностью сказал Бакланов, туже сбирая складки над переносьем.

Оставшись без оружия, Морозка сразу размяк.

— Ну, сколько я там дынь этих взял?.. И что это вы, Хома Егорыч, на самом деле. Ну, ведь сущий же пустяк... на самом деле!

Рябец, выжидательно потупив голову, шевелил босыми пальцами запыленных ног.

Левинсон распорядился, чтоб к вечеру собрался для обсуждения Морозкиного поступка сельский сход вместе с отрядом.

— Пускай все узнают...

— Иосиф Абрамыч...— заговорил Морозка глухим,

потемневшим голосом.— Ну, пущай — отряд... уж все равно. А мужиков зачем?

— Слушай, дорогой,— сказал Левинсон, обращаясь к Рябцу и не замечая Морозки,— у меня дело к тебе... с глазу на глаз.

Он взял председателя за локоть и, отведя в сторону, попросил в двухдневный срок собрать по деревне хлеба и насушить пудов десять сухарей.

— Только смотри, чтоб никто не знал — зачем сухари и для кого.

Морозка понял, что разговор окончен, и уныло поплелся в караульное помещение.

Левинсон, оставшись наедине с Баклановым, приказал ему с завтрашнего дня увеличить лошадям порцию овса:

— Скажи начхозу, пусть сыплет полную мерку.

IV. Один

Приезд Морозки нарушил душевное равновесие, установившееся в Мечике под влиянием ровной, безмятежной жизни в госпитале.

«Почему он смотрел так пренебрежительно? — подумал Мечик, когда ординарец уехал.— Пусть он вытащил меня из огня, разве это дает право насмехаться?.. И все, главное... все...» Он посмотрел на свои тонкие, исхудавшие пальцы, ноги под одеялом, скованные лубками, и старые, загнанные внутрь обиды вспыхнули в нем с новой силой, и душа его сжалась в смятении и боли.

С той самой поры, как остролицый парень с колючими, как бодяки, глазами враждебно и жестоко схватил его за воротник, каждый шел к Мечику с насмешкой, а не с помощью, никто не хотел разбираться в его обидах. Даже в госпитале, где таежная тишина дышала любовью и миром, люди ласкали его только потому, что в этом состояла их обязанность. И самым тяжелым, самым горьким для Мечика было чувствовать себя одиноким после того, как и его кровь осталась где-то на ячменном поле.

Его потянуло к Пике, но старик, расстелив халат, мирно спал под деревом на опушке, подложив под голо-

ву мягкую шапчонку. От круглой, блестящей лысинки расходились во все стороны, как сияние, прозрачные серебряные волосики. Двое парней — один с перевязанной рукой, другой, прихрамывая на ногу,— вышли из тайги. Остановившись около старика, жуликовато перемигнулись. Хромой отыскал соломинку и, приподняв брови и сморщившись, словно сам собирался чихнуть, пощекотал ею в Пикином носу. Пика сонно заворчал, поерзал носом, несколько раз отмахнулся рукой, наконец громко чихнул к всеобщему удовольствию. Оба прыснули со смеха и, пригибаясь к земле, оглядываясь, как нашкодившие ребята, побежали к бараку — один бережно поджимая руку, другой — воровато припадая на ногу.

— Эй ты, помощник смерти! — закричал первый, увидев на завалинке Харченко и Варю.— Ты что ж это баб наших лапаешь?.. А ну, а ну, дай-ка и мне подержаться...— заворчал он масленым голосом, садясь рядом и обнимая сестру здоровой рукой.— Мы тебя любим — ты у нас одна, а этого черномазого гони — гони его к мамаше, гони его, сукиного сына!..— Он той же рукой пытался оттолкнуть Харченко, но фельдшер плотно прижимался к Варе с другого бока и скалил ровные, пожелтевшие от «маньчжурки» зубы.

— А мне иде ж притулиться? — плаксиво загнусил хромой.— И что же это такое, где ж это правда, и кто ж это уважит раненого человека,— как это вы смотрите, товарищи, милые граждане?..— зачастил он, как заведенный, моргая влажными веками и бестолково размахивая руками.

Его спутник устрашающе дрыгал ногой, не подпуская близко, а фельдшер хохотал неестественно громко, незаметно залезая Варе под кофточку. Она смотрела на них покорно и устало, даже не пытаясь выгнать Харченкову руку, и вдруг, поймав на себе растерянный взгляд Мечика, вскочила, быстро запахивая кофточку и заливаясь, как пион.

— Лезут, как мухи на мед, кобели рваные!..— сказала в сердцах и, низко склонив голову, убежала в барак. В дверях защемила юбку и, сердито выдернув ее, снова хлопнула дверью так, что мох посыпался из щелей.

— Вот тебе и сестра-а!..— певуче возгласил хромой. Скривился, как перед табачной понюшкой, и захихикал — тихо, мелко и пакостно.

А из-под клена, с койки, с высоты четырех матрацев, уставив в небо желтое, изнуренное болезнью лицо, чуждо и строго смотрел раненый партизан Фролов. Взгляд его был тускл и пуст, как у мертвого. Рана Фролова была безнадежна, и он сам знал это с той минуты, когда, корчась от смертельной боли в животе, впервые увидел в собственных глазах бесплотное, опрокинутое небо. Мечик почувствовал на себе его неподвижный взгляд и, вздрогнув, испуганно отвел глаза.

— Ребята... шкодят...— хрипло сказал Фролов и пошевелил пальцем, будто хотел доказать кому-то, что еще жив.

Мечик сделал вид, что не слышит.

И хотя Фролов давно забыл про него, он долго боялся посмотреть в его сторону — казалось, раненый все еще глядит, ощерясь в костлявой, обтянутой улыбке.

Из барака, неловко сломившись в дверях, вышел доктор Сташинский. Сразу выпрямился, как длинный складной ножик, и стало странным, как это он мог согнуться, когда вылезал. Он большими шагами подошел к ребятам и, забыв, зачем они понадобились, удивленно остановился, мигая одним глазом...

— Жара...— буркнул наконец, складывая руку и проводя ею по стриженой голове против волос. Вышел же он сказать, что нехорошо надоедать человеку, который не может же заменить всем мать и жену.

— Скучно лежать? — спросил он Мечика, подходя к нему и опуская ему на лоб сухую, горячую ладонь.

Мечика тронуло его неожиданное участие.

— Мне — что?.. поправился и пошел,— встрепенулся Мечик,— а вот вам как?.. Вечно в лесу.

— А если надо?..

— Что надо?..— не понял Мечик.

— Да в лесу мне быть...— Сташинский принял руку и впервые с человеческим любопытством посмотрел Мечику прямо в глаза своими — блестящими и черными. Они смотрели как-то издалека и тоскливо, будто вобрали всю бессловесную тоску по людям, что долгими ночами гложет таежных одиночек у чадных сихотэ-алиньских костров.

— Я понимаю,— грустно сказал Мечик и улыбнулся так же приветливо и грустно.— А разве нельзя было в деревне устроиться?.. То есть не то что вам лично,—

перехватил он недоуменный вопрос,— а госпиталь в деревне?

— Безопасней здесь... А вы сами откуда?

— Я из города.

— Давно?

— Да уж больше месяца.

— Крайзельмана знаете? — оживился Сташинский.

— Знаю немножко...

— Ну, как он там? А еще кого знаете? — Доктор сильнее замигал глазом и так внезапно опустился на пенек, словно его сзади ударили под коленки.

— Вонсика знаю, Ефремова...— начал перечислять Мечик,— Гурьева, Френкеля — не того, что в очках,— с тем я незнаком,— а маленького...

— Да ведь это же все «максималисты»?! — удивился Сташинский.— Откуда вы их знаете?

— Так ведь я все с ними больше...— неуверенно пробормотал Мечик, почему-то робея.

«А-а...» — хотел сказать как будто Сташинский и не сказал.

— Хорошее дело,— буркнул сухо, каким-то почужевшим голосом и встал.— Ну-ну... поправляйтесь...— сказал, не глядя на Мечика. И, как бы боясь, что тот позовет его обратно, быстро зашагал к бараку.

— Васютину еще знаю!..— пытаясь за что-то ухватиться, прокричал Мечик вслед.

— Да... да...— несколько раз повторил Сташинский, полуоглядываясь и учащая шаги.

Мечик понял, что чем-то не угодил ему,— сжался и покраснел.

Вдруг все переживания последнего месяца хлынули на него разом,— он еще раз попытался за что-то ухватиться и не смог. Губы его дрогнули, и он заморгал быстро-быстро, удерживая слезы, но они не послушались и потекли, крупные и частые, расползаясь по лицу. Он с головой закрылся одеялом и, не сдерживаясь больше, заплакал тихо-тихо, стараясь не дрожать и не всхлипывать, чтобы никто не заметил его слабости.

Он плакал долго и безутешно, и мысли его, как слезы, были солоны и терпки. Потом, успокоившись, он так и остался лежать неподвижно, с закрытой головой. Несколько раз подходила Варя. Он хорошо знал ее сильную поступь, будто до самой смерти сестра обязалась

толкать перед собой нагруженный вагончик. Нерешительно постояв возле койки, она снова уходила. Потом приковылял Пика.

— Спишь? — спросил внятно и ласково.

Мечик притворился спящим. Пика выждал немного. Слышно было, как поют на одеяле вечерние комары.

— Ну, спи...

Когда стемнело, снова подошли двое — Варя и еще кто-то. Бережно приподняв койку, понесли ее в барак. Там было жарко и сыро.

— Иди... иди за Фроловым... я сейчас приду,— сказала Варя.

Она несколько секунд постояла над койкой и, осторожно приподняв с головы одеяло, спросила:

— Ты что это, Павлуша?.. Плохо тебе?..

Она первый раз назвала его Павлушей.

Мечик не мог разглядеть ее в темноте, но чувствовал ее присутствие так же, как и то, что они только вдвоем в бараке.

— Плохо...— сказал он сумрачно и тихо.

— Ноги болят?..

— Нет, так себе...

Она быстро нагнулась и, крепко прижавшись к нему большой и мягкой грудью, поцеловала его в губы.

V. МУЖИКИ И «УГОЛЬНОЕ ПЛЕМЯ»

Желая проверить свои предположения, Левинсон пошел на собрание заблаговременно — потереться среди мужиков, нет ли каких слухов.

Сход собирался в школе. Народу было еще немного: несколько человек, рано вернувшихся с поля, сумерничали на крыльце. Через раскрытые двери видно было, как Рябец возится в комнате с лампой, прилаживая закопченное стекло.

— Осипу Абрамычу,— почтительно кланялись мужики, по очереди протягивая Левинсону темные, одеревеневшие от работы пальцы. Он поздоровался с каждым и скромно уселся на ступеньке.

За рекой разноголосо пели девчата; пахло сеном, отсыревающей пылью и дымом костров. Слышно было, как бьются на пароме усталые лошади. В теплой вечер-

ней мгле, в скрипе нагруженных телег, в протяжном мычании сытых недоенных коров угасал мужичий маятный день.

— Маловато чтой-то,— сказал Рябец, выходя на крыльцо.— Да многих и не соберешь седни, на покосе ночуют многие...

— А сход на что в буден день? Аль срочное что?

— Да есть тут одно дельце...— замялся председатель.— Набузил тут один ихний,— у меня живет. Оно, как бы сказать, и пустяки, а цельная канитель получилась...— Он смущенно посмотрел на Левинсона и замолчал.

— А коли пустое, так и не след бы собирать!..— разом загалдели мужики.— Время такое — мужику каждый час дорог.

Левинсон объяснил. Тогда они наперебой стали выкладывать свои крестьянские жалобы, вертевшиеся больше вокруг покоса и бестоварья.

— Ты бы, Осип Абрамыч, прошелся как-нибудь по покосам, посмотрел, чем косят люди? Целых кос ни у кого, хучь бы одна для смеху,— все латаные. Не работа — маета.

— Семен надысь какую загубил! Ему бы все скорей,— жадный мужик до дела,— идет по прокосу, сопит, ровно машина, в кочку ка-ак... звезданет!.. Теперь уж, сколько ни чини, не то.

— Добрая «литовка» была!..

— Мои-то — как там?..— задумчиво сказал Рябец.— Управились, чи не? Трава нонче богатая — хотя б к воскресенью летошний клин сняли. Станет нам в копеечку война эта.

В дрожащую полосу света падали из темноты новые фигуры в длинных грязно-белых рубахах, некоторые с узелками — прямо с работы. Они приносили с собой шумливый мужицкий говор, запахи дегтя и пота и свежескошенных трав.

— Здравствуйте в вашу хату...

— Хо-хо-хо!.. Иван?.. А ну, кажи морду на свет — здорово чмели покусали? Видал я, как ты бежал от их, задницей дрыгал...

— Ты чего ж это, зараза, мой клин скосил?

— Какой твой! Не бреши!.. Я — по межу, тютилька в тютильку. Нам чужого не надыть — своего хватает...

— Знаем мы вас... Хвата-ет! Свиней ваших с огорода не сгонишь... Скоро на моем баштане пороситься будут... Хвата-ет!..

Кто-то, высокий, сутулый и жесткий, с одним блестящим во тьме глазом, вырос над толпой, сказал:

— Японец третьего дня в Сундугу пришел. Чугуевские ребята баяли. Пришел, занял школу — и сразу по бабам: «Руськи барысня, руськи барысня... сю-сю-сю». Тьфу, прости господи!..— оборвал он с ненавистью, резко рванув рукой наотмашь, словно отрубая.

— Он и до нас дойдет, это уж как пить...

— И откуда напасть такая?

— Нету мужику спокою...

— И все-то на мужике, и все-то на ем! Хотя б уж на что одно вышло...

— Главная вещь — и выходов никаких! Хучь так в могилу, хучь так в гроб — одна дистанция!..

Левинсон слушал, не вмешиваясь. Про него забыли. Он был такой маленький, неказистый на вид — весь состоял из шапки, рыжей бороды да ичигов выше колен. Но, вслушиваясь в растрепанные мужицкие голоса, Левинсон улавливал в них внятные, ему одному тревожные нотки.

«Плохо дело,— думал он сосредоточенно,— совсем худо... Надо завтра же написать Сташинскому, чтобы рассовывал раненых, куда можно... Замереть на время, будто и нет нас... караулы усилить...»

— Бакланов! — окликнул он помощника.— Иди-ка сюда на минутку... Дело вот какое... садись поближе. Думаю я, мало нам одного часового у поскотины. Надо конный дозор до самой Крыловки... ночью особенно... Уж больно беспечны мы стали.

— А что? — встрепенулся Бакланов.— Разве тревожно что?.. или что? — Он повернул к Левинсону бритую голову, и глаза его, косые и узкие, как у татарина, смотрели настороженно, пытливо.

— На войне, милый, всегда тревожно,— сказал Левинсон ласково и ядовито.— На войне, дорогой, это не то, что с Марусей на сеновале...— Он засмеялся вдруг дробно и весело и ущипнул Бакланова в бок.

— Ишь ты, какой умный...— завторил Бакланов, схватив Левинсона за руку и сразу превращаясь в драчливого, веселого и добродушного парня.— Не

дрыгай, не дрыгай — все равно не вырвешься!..— ласково ворчал он сквозь зубы, скручивая Левинсону руку назад и незаметно прижимая его к колонке крыльца.

— Иди, иди — вон Маруся зовет...— хитрил Левинсон.— Да пусти ты, ч-черт!.. неудобно на сходке...

— Только что неудобно, а то бы я тебе показал...

— Иди, иди... вон она, Маруся-то... иди!

— Дозорного, я думаю, одного? — спросил Бакланов, вставая.

Левинсон с улыбкой смотрел ему вслед.

— Геройский у тебя помощник,— сказал кто-то.— Не пьет, не курит, а главное дело — молодой. Заходит третьеводни в избу, хомута разжиться... «Что ж, говорю, не хочешь ли рюмашечку с перчиком?» — «Нет, говорит, не пью. Уж ежели, говорит, угостить думаешь, молочка давай — молочко, говорит, люблю, это верно». А пьет он его, знаешь, ровно малый ребенок — с мисочки — и хлебец крошит... Боевой парень, одно слово!..

В толпе, поблескивая ружейными дулами, все чаще мелькали фигуры партизан. Ребята сходились к сроку, дружно. Пришли наконец шахтеры во главе с Тимофеем Дубовым, рослым забойщиком с Сучана, теперь взводным командиром. Они так и влились в толпу отдельной, дружной массой, не растворяясь, только Морозка сумрачно сел поодаль на завалинке.

— А-а... и ты здесь? — заметив Левинсона, обрадованно загудел Дубов, будто не видел его много лет и никак не ожидал здесь встретить.— Что это там корышок наш набузил? — спросил он медленно и густо, протягивая Левинсону большую черную руку.— Проучить, проучить... чтоб другим неповадно было!..— загудел снова, не дослушав объяснений Левинсона.

— На этого Морозку давно уж пора обратить внимание — пятно на весь отряд кладет,— ввернул сладкоголосый парень, по прозвищу Чиж, в студенческой фуражке и чищеных сапогах.

— Тебя не спросили! — не глядя, обрезал Дубов. Парень поджал было губы обидчиво и достойно, но, поймав на себе насмешливый взгляд Левинсона, юркнул в толпу.

— Видал гуся? — мрачно спросил взводный.— Зачем ты его держишь?.. По слухам, его самого за кражу с института выгнали.

— Не всякому слуху верь,— сказал Левинсон.

— Уж заходили бы, что ли ча!..— взывал с крыльца Рябец, растерянно разводя руками, словно не ожидал, что его заросший баштан породит такое скопление народа.— Уж начинали бы... товарищ командир?.. До петухов нам толочься тут...

В комнате стало жарко и зелено от дыма. Скамеек не хватало. Мужики и партизаны вперемежку забили проходы, столпились в дверях, дышали Левинсону в затылок.

— Начинай, Осип Абрамыч,— угрюмо сказал Рябец. Он был недоволен и собой и командиром — вся история казалась теперь никчемной и хлопотной.

Морозка протискался в дверях и стал рядом с Дубовым, сумрачный и злой.

Левинсон больше упирал на то, что никогда бы не стал отрывать мужиков от работы, если бы не считал, что дело это общее, затронуты обе стороны, а кроме того, в отряде много местных.

— Как вы решите, так и будет,— закончил он веско, подражая мужичьей степенной повадке. Медленно опустился на скамью, просунулся назад и сразу стал маленьким и незаметным — сгас, как фитилек, оставив сход в темноте самому решать дело.

Заговорили сначала несколько человек туманно и нетвердо, путаясь в мелочах, потом ввязались другие. Через несколько минут уж ничего нельзя было понять. Говорили больше мужики, партизаны молчали глухо и выжидающе.

— Тоже и это не порядок,— строго бубнил дед Евстафий, седой и насупистый, как летошний мох.— В старое время, при Миколашке, за такие дела по селу водили. Обвешают краденым и водют под сковородную музыку!..— Он наставительно грозил кому-то высохшим пальцем.

— А ты по-миколашкину не меряй!..— кричал сутулый и одноглазый — тот, что рассказывал о японцах. Ему все время хотелось размахивать руками, но было слишком тесно, и от этого он пуще злился.— Тебе бы все Миколашку!.. Отошло времечко... тю-тю, не воротишь!..

— Да уж Миколашку не Миколашку, а только и это

не право,— не сдавался дед.— И так всю шатию кормим. А воров плодить нам тоже не сподручно.

— Кто говорит — плодить? Никто за воров и не чепляется! Воров, может, ты сам разводишь!..— намекнул одноглазый на дедова сына, бесследно пропавшего лет десять тому назад.— Только тут своя мерка нужна! Парень, может, шестой год воюет,— неужто и дынькой не побаловаться?..

— И что ему шкодить было?..— недоумевал один.— Господи твоя воля — благо бы добро какое... Да зайди б ко мне, я б ему полную кайстру за глаза насыпал... На, бери — свиней кормим, не жаль дерьма для хорошего человека!..

В мужичьих голосах не чувствовалось злобы. Большинство сходилось на одном: старые законы не годятся, нужен какой-то особый подход.

— Пущай сами решают с председателем!..— выкрикнул кто-то.— Нечего нам в это дело лезти.

Левинсон поднялся снова, постучал по столу.

— Давайте, товарищи, по очереди,— сказал тихо, но внятно, так что все услышали.— Разом будем говорить — ничего не решим. А Морозов-то где?.. А ну, иди сюда...— добавил он, потемнев, и все покосились туда, где стоял ординарец.

— Мне и отсюда видать...— глухо сказал Морозка.

— Иди, иди...— подтолкнул его Дубов.

Морозка заколебался. Левинсон подался вперед и, сразу схватив его, как клещами, немигающим взглядом выдернул из толпы, как гвоздь.

Ординарец пробрался к столу, низко склонив голову, ни на кого не глядя. Он сильно вспотел, руки его дрожали. Почувствовав на себе сотни любопытных глаз, он попробовал было поднять голову, но наткнулся на суровое, в жестком войлоке, лицо Гончаренки. Подрывник смотрел сочувственно и строго. Морозка не выдержал и, обернувшись к окну, замер, упершись в пустоту.

— Вот теперь и обсудим,— сказал Левинсон попрежнему удивительно тихо, но слышно для всех, даже за дверями.— Кто хочет говорить? Вот ты, дед, хотел, кажется?..

— Да что тут говорить,— смутился дед Евстафий,— мы так только, промеж себя...

— Разговор тут недолгий, сами решайте! — снова загалдели мужики.

— А ну, старик, мне слово дай...— неожиданно сказал Дубов с глухой и сдержанной силой, смотря на деда Евстафия, отчего и Левинсона назвал по ошибке стариком. В голосе Дубова было такое, что все головы, вздрогнув, повернулись к нему.

Он протискался к столу и стал рядом с Морозкой, загородив Левинсона большой и грузной фигурой.

— Самим решать?.. боитесь?! — рванул гневно и страстно, грудью обламывая воздух.— Сами решим!..— Он быстро наклонился к Морозке и впился в него горящими глазами.— Наш, говоришь, Морозка... шахтер? — спросил напряженно и едко.— У-у... нечистая кровь — сучанская руда!.. Не хочешь нашим быть? блудишь? позоришь угольное племя? Ладно!..— Слова Дубова упали в тишине с тяжелым медным грохотом, как гулкий антрацит.

Морозка, бледный как полотно, смотрел ему в глаза не отрываясь, и сердце падало в нем, словно подбитое.

— Ладно!..— снова повторил Дубов.— Блуди! Посмотрим, как без нас проживешь!.. А нам... выгнать его надо!..— оборвал он вдруг, резко оборачиваясь к Левинсону.

— Смотри — прокидаешься! — выкрикнул кто-то из партизан.

— Что?! — переспросил Дубов страшно и шагнул вперед.

— Да цыц же вы, го-споди...— жалобно прогнусил из угла перепуганный старческий голос.

Левинсон сзади схватил взводного за рукав.

— Дубов... Дубов...— спокойно сказал он.— Подвинься малость — народ загораживаешь.

Заряд Дубова сразу пропал, взводный осекся, растерянно мигая.

— Ну, как нам выгнать его, дурака? — заговорил Гончаренко, вздымая над толпой кудрявую, опаленную голову.— Я не в защиту, потому на две стороны тут не вильнешь,— напакостил парень, сам я с ним кажен день лаюсь... Только и парень, сказать, боевой — не отымешь.

Мы с ним весь Уссурийский фронт прошли, на передовых. Свой парень — не выдаст, не продаст...

— Свой...— с горечью перебил Дубов.— А нам он, думаешь, не свой?.. В одной дыре коптили... третий месяц под одной шинелькой спим!.. А тут всякая сволочь,— вспомнил он вдруг сладкоголосого Чижа,— учить будет!..

— Вот я к тому и веду,— продолжал Гончаренко, недоуменно косясь на Дубова (он принял его ругательство на свой счет).— Бросить это дело без последствий никак невозможно, а сразу прогонять тоже не резон — прокидаемся. Мое мнение такое: спросить его самого!..— И он увесисто резанул ладонью, поставив ее на ребро, будто отделил все чужое и ненужное от своего и правильного.

— Верно!.. Самого спросить!.. Пущай скажет, ежели сознательный.

Дубов, начавший было протискиваться на место, остановился в проходе и пытливо уставился на Морозку. Тот глядел, не понимая, нервно теребя сорочку потными пальцами.

— Говори, как сам мыслишь!..

Морозка покосился на Левинсона.

— Да разве б я...— начал он тихо и смолк, не находя слов.

— Говори, говори!..— закричали поощрительно.

— Да разве б я... сделал такое...— Он опять не нашел нужного слова и кивнул на Рябца...— ну, дыни эти самые... сделал бы, ежели б подумал... со зла или как? А то ведь сызмальства это у нас — все знают, так вот и я... А как сказал Дубов, что всех я ребят наших... да разве же я, братцы!..— вдруг вырвалось у него изнутри, и весь он подался вперед, схватившись за грудь, и глаза его брызнули светом, теплым и влажным...— Да я кровь отдам по жилке за каждого, а не то чтобы позор или как!..

Посторонние звуки с улицы толкнулись в комнату: собака лаяла где-то на Сниткинском кутку, пели девчата, рядом у попа стучало что-то размеренно и тупо, будто в ступке толкли. «Заводи-и!..» — протяжно кричали на пароме.

— Ну, как я сам себя накажу?..— с болью, но уже значительно тверже и менее искренне продолжал Мо-

розка...— Только слово дать могу... шахтерское... уж это верное будет — мараться не стану...

— А если не сдержишь? — осторожно спросил Левинсон.

— Сдержу я...— И Морозка сморщился, стыдясь перед мужиками.

— А если нет?

— Тогда что хотите... хоть расстреляйте...

— И расстреляем! — строго сказал Дубов, но глаза его блестели уже без всякого гнева, любовно и насмешливо.

— Значит, и шабаш! Амба!..— закричали со скамей.

— Ну вот, и делов-то всех...— заговорили мужики, радуясь тому, что канительное собрание приходит к концу.— Дело-то пустяковое, а разговоров на год...

— На этом и решим, что ли?.. Других предложений не будет?..

— Да закрывай ты, ч-черт!..— шумели партизаны, прорвавшись после недавнего напряжения.— И то надоело уж... Жрать охота,— кишка кишке шиш показывает!..

— Нет, обождите,— сказал Левинсон, подняв руку и сдержанно щурясь.— С этим вопросом покончено, теперь другой...

— Что там еще?!

— Да, думаю я, нужно нам такую резолюцию принять...— Он оглянулся вокруг...— А секретаря-то у нас и не было!..— засмеялся он вдруг мелко и добродушно.— Иди-ка, Чиж, запиши... такую резолюцию принять: чтоб в свободное от военных действий время не собак по улицам гонять, а помогать хозяевам, хоть немного...— Он сказал это так убедительно, будто сам верил, что хоть кто-нибудь станет помогать хозяевам.

— Да мы того не требуем!..— крикнул кто-то из мужиков.

Левинсон подумал: «Клюнуло...»

— Цыц, ты-ы...— оборвали мужика остальные.— Слухай лучше. Пущай и вправду поработают — руки не отвалятся!..

— А Рябцу мы особо отработаем...

— Почему особо? — заволновались мужики.— Что он за шишка?.. Невелик труд — председателем всякий может!..

— Кончать, кончать!.. согласны!.. записывай!..— Партизаны срывались с мест и, уже не слушаясь командира, валили из комнаты.

— И-эх... Ваня-а!..— подскочил к Морозке лохматый, востроносый парень и, дробно постукивая сапожками, потащил его к выходу.— Мальчик ты мой разлюбезный, сыночек ты мой, сопливая ноздря... И-эх!..— вытаптывал он на крыльце, лихо заламывая фуражку и обнимая Морозку другой рукой.

— Иди ты,— беззлобно пхнул его ординарец.

Мимо быстро прошли Левинсон и Бакланов.

— Ну, и здоровый этот Дубов,— говорил помощник, возбужденно брызгая слюной и размахивая руками.— Вот их с Гончаренкой стравить! Кто кого, как ты думаешь?

Левинсон, занятый другим, не слушал его. Отсыревшая пыль сдавала под ногами зыбуче и мягко.

Морозка незаметно отстал. Последние мужики обогнали его. Они говорили теперь спокойно, не торопясь, точно шли с работы, а не со сходки.

На бугор ползли приветливые огоньки хат, звали ужинать. Река шумела в тумане на сотни журливых голосов.

«Мишку еще не поил...» — встрепенулся Морозка, входя постепенно в привычный вымерянный круг.

В конюшне, почуяв хозяина, Мишка заржал тихо и недовольно, будто спрашивая: «Где это ты шляешься?» Морозка нащупал в темноте жесткую гриву и потянул его из пуни.

— Ишь, обрадовался,— оттолкнул он Мишкину голову, когда тот нахально уткнулся в шею влажными ноздрями.— Только блудить умеешь, а отдуваться — так мне одному...

VI. ЛЕВИНСОН

Отряд Левинсона стоял на отдыхе уже пятую неделю — оброс хозяйством: заводными лошадьми, подводами, кухонными котлами, вокруг которых ютились оборванные, сговорчивые дезертиры из чужих отрядов,— народ разленился, спал больше, чем следует, даже в караулах. Тревожные вести не позволяли Левинсону сдвинуть с места всю эту громоздкую махину: он

боялся сделать опрометчивый шаг — новые факты то подтверждали, то высмеивали его опасения. Не раз он обвинял себя в излишней осторожности — особенно, когда стало известно, что японцы покинули Крыловку и разведка не обнаружила неприятеля на многие десятки верст.

Однако никто, кроме Сташинского, не знал об этих колебаниях Левинсона. Да и никто в отряде не знал, что Левинсон может вообще колебаться: он ни с кем не делился своими мыслями и чувствами, преподносил уже готовые «да» или «нет». Поэтому он казался всем — за исключением таких людей, как Дубов, Сташинский, Гончаренко, знавших истинную его цену,— человеком особой, правильной породы. Каждый партизан, особенно юный Бакланов, старавшийся во всем походить на командира, перенимавший даже его внешние манеры, думал примерно так: «Конечно, я, грешный человек, имею много слабостей; я многого не понимаю, многого не умею в себе преодолеть; дома у меня заботливая и теплая жена или невеста, по которой я скучаю; я люблю сладкие дыни, или молочко с хлебцем, или же чищеные сапоги, чтобы покорять девчат на вечерке. А вот Левинсон — это совсем другое. Его нельзя заподозрить в чем-нибудь подобном: он все понимает, все делает как нужно, он не ходит к девчатам, как Бакланов, и не ворует дынь, как Морозка; он знает только одно — *дело*. Поэтому нельзя не доверять и не подчиняться такому правильному человеку...»

С той поры как Левинсон был выбран командиром, никто не мог себе представить его на другом месте: каждому казалось, что самой отличительной его чертой является именно то, что он командует их отрядом. Если бы Левинсон рассказал о том, как в детстве он помогал отцу торговать подержанной мебелью, как отец его всю жизнь хотел разбогатеть, но боялся мышей и скверно играл на скрипке,— каждый счел бы это едва ли уместной шуткой. Но Левинсон никогда не рассказывал таких вещей. Не потому, что был скрытен, а потому, что знал, что о нем думают именно как о человеке «особой породы», знал также многие свои слабости и слабости других людей и думал, что вести за собой других людей можно, только указывая им на их слабости и подавляя, пряча от них свои. В равной мере он никогда не пытал-

ся высмеивать юного Бакланова за подражание. В его годы Левинсон тоже подражал людям, учившим его, причем они казались ему такими же правильными, каким он — Бакланову. Впоследствии он убедился, что это не так, и все же был очень благодарен им. Ведь Бакланов перенимал у него не только внешние манеры, но и старый жизненный опыт — навыки борьбы, работы, поведения. И Левинсон знал, что внешние манеры отсеются с годами, а навыки, пополнившись личным опытом, перейдут к новым Левинсонам и Баклановым, а это — очень важно и нужно.

...В сырую полночь в начале августа пришла в отряд конная эстафета. Прислал ее старый Суховей-Ковтун — начальник штаба партизанских отрядов. Старый Суховей-Ковтун писал о нападении японцев на Анучино, где были сосредоточены главные партизанские силы, о смертном бое под Известкой, о сотнях замученных людей, о том, что сам он прячется в охотничьем зимовье, раненный девятью пулями, и что уж, видно, ему недолго осталось жить...

Слух о поражении шел по долине с зловещей быстротой, и все же эстафета обогнала его. Каждый ординарец чувствовал, что это самая страшная эстафета, какую только приходилось возить с начала движения. Тревога людей передавалась лошадям. Мохнатые партизанские кони, оскалив зубы, карьером рвались от села к селу по хмурым, размокшим проселкам, разбрызгивая комья сбитой копытами грязи...

Левинсон получил эстафету в половине первого ночи, а через полчаса конный взвод пастуха Метелицы, миновав Крыловку, разлетелся веером по тайным сихотэалиньским тропам, разнося тревожную весть в отряды Свиягинского боевого участка.

Четыре дня собирал Левинсон разрозненные сведения из отрядов, мысль его работала напряженно и ощупью — будто прислушиваясь. Но он по-прежнему спокойно разговаривал с людьми, насмешливо щурил голубые, нездешние глаза, дразнил Бакланова за шашни с «задрипанной Маруськой». А когда Чиж, осмелевший от страха, спросил однажды, почему он ничего не предпринимает, Левинсон вежливо щелкнул его по лбу и ответил, что это «не птичьего ума дело». Всем своим видом Левинсон как бы показывал людям, что он прекрасно

понимает, отчего все происходит и куда ведет, что в этом нет ничего необычного или страшного, и он, Левинсон, давно уже имеет точный, безошибочный план спасения. На самом деле он не только не имел никакого плана, но вообще чувствовал себя растерянно, как ученик, которого заставили сразу решить задачу со множеством неизвестных. Он ждал еще вестей из города, куда за неделю до тревожной эстафеты уехал партизан Канунников.

Тот явился на пятый день после эстафеты, обросший щетиной, усталый и голодный, но такой же увертливый и рыжий, как до поездки,— в этом отношении он был неисправим.

— В городе провал, и Крайзельман в тюрьме...— сказал Канунников, доставая письмо из неведомого рукава с ловкостью карточного шулера, и улыбнулся одними губами: ему было совсем не весело, но он не умел говорить без того, чтобы не улыбаться.— Во Владимиро-Александровском и на Ольге — японский десант... Весь Сучан разгромлен. Та-бак дело!.. Закуривай...— и протянул Левинсону позолоченную сигаретку, так что нельзя было понять — относится ли «закуривай» к сигаретке или к делам, которые плохи, «как табак».

Левинсон бегло взглянул на адреса — одно письмо спрятал в карман, другое распечатал. Оно подтверждало слова Канунникова. Сквозь официальные строки, полные нарочитой бодрости, слишком ясно проступала горечь поражения и бессилия.

— Плохо, а?..— участливо спросил Канунников.

— Ничего... Письмо кто писал — Седых?

Канунников утвердительно кивнул.

— Это заметно: у него всегда по разделам...— Левинсон насмешливо подчеркнул ногтем «Раздел IV: Очередные задачи»,— понюхал сигаретку.— Дрянной табак, правда? Дай прикурить... Ты только там среди ребят не трепись... насчет десанта и прочего... Трубку мне купил? — И, не слушая объяснений Канунникова, почему тот не купил трубки, снова уткнулся в бумагу.

Раздел «Очередные задачи» состоял из пяти пунктов; из них четыре показались Левинсону невыполнимыми. Пятый же пункт гласил:

«...Самое важное, что требуется сейчас от партизанского командования — чего нужно добиться во что бы

то ни стало,— это сохранить хотя бы небольшие, но крепкие и дисциплинированные боевые единицы, вокруг которых впоследствии...»

— Позови Бакланова и начхоза,— быстро сказал Левинсон.

Он сунул письмо в полевую сумку, так и не дочитав, что будет впоследствии вокруг боевых единиц. Где-то из множества задач вырисовывалась одна — «самая важная». Левинсон выбросил потухшую сигаретку и забарабанил по столу... «Сохранить боевые единицы...» Мысль эта никак не давалась, стояла в мозгу в виде трех слов, писанных химическим карандашом на линованной бумаге. Машинально нащупал второе письмо, посмотрел на конверт и вспомнил, что это от жены. «Это потом,— подумал он и снова спрятал его.— Сохранить боевые е-ди-ни-цы».

Когда пришли начхоз и Бакланов, Левинсон знал уже, что будут делать он и люди, находящиеся в его подчинении: они будут делать *все*, чтобы сохранить отряд как боевую единицу.

— Нам придется скоро отсюда уходить,— сказал Левинсон.— Все ли у нас в порядке?.. Слово за начхозом...

— Да, за начхозом,— как эхо повторил Бакланов и подтянул ремень с таким суровым и решительным видом, будто заранее знал, к чему все это клонится.

— Мне — что, за мной дело не станет, я всегда готов... Только вот, как быть с овсом...— И начхоз стал очень длинно рассказывать о подмоченном овсе, о рваных вьюках, о больных лошадях, о том, что «всего овса им никак не поднять»,— словом, о таких вещах, которые показывали, что он ни к чему еще не готов и вообще считает передвижение вредной затеей. Он старался не смотреть на командира, болезненно морщился, мигал и крякал, так как заранее был уверен в своем поражении.

Левинсон взял его за пуговицу и сказал:

— Дуришь...

— Нет, правда, Осип Абрамыч, лучше нам здесь укрепиться...

— Укрепиться?.. здесь?..— Левинсон покачал головой, как бы сочувствуя глупости начхоза.— А уж седина в волосах. Да ты чем думаешь, головой ли?

— Я...

— Никаких разговоров! — Левинсон вразумительно подергал его за пуговицу.— В любой момент быть готовым. Ясно?.. Бакланов, ты проследишь за этим...— Он отпустил пуговицу.— Стыдно!.. пустяки там вьюки твои, пустяки! — Глаза его похолодели, и под их жестким взглядом начхоз окончательно убедился, что вьюки — это точно пустяки.

— Да, конечно... ну, что ж, ясно... не в этом суть...— забормотал он, готовый теперь согласиться даже на то, чтобы везти овес на собственной спине, если командир найдет это необходимым.— Что нам может помешать? Да долго ли тут? Фу-у... хоть сегодня — в два счета.

— Вот, вот...— засмеялся Левинсон,— да уж ладно, ладно, иди! — И он легонько подтолкнул его в спину.— Чтоб в любой момент.

«Хитрый, стерва»,— с досадой и восхищением думал начхоз, выходя из комнаты.

К вечеру Левинсон собрал отрядный совет и взводных командиров.

К известиям Левинсона отнеслись различно. Дубов весь вечер просидел молча, пощипывая густые, тяжело нависшие усы. Видно было, что он заранее согласен с Левинсоном. Особенно возражал против ухода командир 2-го взвода Кубрак. Это был самый старый, самый заслуженный и самый неумный командир во всем уезде. Его никто не поддержал: Кубрак был родом из Крыловки, и всякий понимал, что в нем говорят крыловские пашни, а не интересы дела.

— Крышка! Стоп!..— перебил его пастух Метелица.— Пора забывать про бабий подол, дядя Кубрак! — Он, как всегда, неожиданно вспылил от собственных слов, ударил кулаком по столу, и его рябое лицо сразу вспотело.— Здесь нас, как курят,— стоп, и крышка!..— И он забегал по комнате, шаркая мохнатыми улами и плетью раскидывая табуретки.

— А ты потише немножко, не то скоро устанешь,— посоветовал Левинсон. Но втайне он любовался порывистыми движениями его гибкого тела, туго скрученного, как ременный бич. Этот человек минуты не мог просидеть спокойно — весь был огонь и движение, и хищные его глаза всегда горели ненасытным желанием кого-то догонять и драться.

Метелица выставил свой план отступления, из которого видно было, что его горячая голова не боится больших пространств и не лишена военной сметки.

— Правильно!.. У него котелок варит! — воскликнул Бакланов, восхищенный и немножко обиженный слишком смелым полетом Метелицыной самостоятельной мысли.— Давно ли коней пас, а годика через два, гляди, всеми нами командовать будет...

— Метелица?.. У-у... да ведь это — сокровище! — подтвердил Левинсон.— Только смотри не зазнавайся...

Однако, воспользовавшись жаркими прениями, где каждый считал себя умнее других и никого не слушал, Левинсон подменил план Метелицы своим — более простым и осторожным. Но он сделал это так искусно и незаметно, что его новое предложение голосовалось как предложение Метелицы и всеми было принято.

В ответных письмах в город и Сташинскому Левинсон извещал, что на днях переводит отряд в деревню Шибиши, в верховьях Ирохедзы, а госпиталю предписывал оставаться на месте до особого приказа. Сташинского Левинсон знал еще по городу, и это было второе тревожное письмо, которое он писал ему.

Он кончил работу глубокой ночью, в лампе догорал керосин. В открытое окно тянуло сыростью и прелью. Слышно было, как шуршат за печкой тараканы и Рябец храпит в соседней избе. Левинсон вспомнил о письме жены и, долив лампу, перечел его. Ничего нового и радостного. По-прежнему нигде не принимают на службу, продано все, что можно, приходится жить за счет «Рабочего Красного Креста», у детей — цинга и малокровие. А через все — одна бесконечная забота о нем. Левинсон задумчиво пощипал бороду и стал писать ответ. Вначале ему не хотелось ворошить круг мыслей, связанных с этой стороной его жизни, но постепенно он увлекся, лицо его распустилось, он исписал два листка мелким, неразборчивым почерком, и в них много было таких слов, о которых никто не мог бы подумать, что они знакомы Левинсону.

Потом, разминая затекшие члены, он вышел во двор. В конюшне переступали лошади, сочно хрустели травой. Дневальный, обняв винтовку, крепко спал под навесом. Левинсон подумал: «Что, если так же спят

часовые?..» Он постоял немного и, с трудом преодолев желание лечь спать самому, вывел из конюшни жеребца. Оседлал. Дневальный не проснулся. «Ишь, сукин сын»,— подумал Левинсон. Осторожно снял с него шапку, спрятал ее под сено и, вскочив в седло, уехал проверять караулы.

Придерживаясь кустов, он пробрался к поскотине.

— Кто там? — сурово окликнул часовой, брякнув затвором.

— Свои...

— Левинсон? Что это тебя по ночам носит?

— Дозорные были?

— Минут с пятнадцать один уехал.

— Нового ничего?

— Пока что спокойно... Закурить есть?..

Левинсон отсыпал ему «маньчжурки» и, переправившись через реку вброд, выехал в поле.

Глянул подслеповатый месяц, из тьмы шагнули бледные кусты, поникшие в росе. Река звенела на перекате четко — каждая струя в камень. Впереди на бугре неясно заплясали четыре конные фигуры. Левинсон свернул в кусты и затаился. Голоса послышались совсем близко. Левинсон узнал двоих: дозорные.

— А ну, обожди,— сказал он, выезжая на дорогу. Лошади, фыркнув, шарахнулись в сторону. Одна узнала жеребца под Левинсоном и тихо заржала.

— Так можно напужать,— сказал передний встревоженно-бодрым голосом.— Трр, стерва!..

— Кто это с вами? — спросил Левинсон, подъезжая вплотную.

— Осокинская разведка... японцы в Марьяновке...

— В Марьяновке? — встрепенулся Левинсон.— А где Осокин с отрядом?

— В Крыловке, — сказал один из разведчиков.— Отступили мы: бой страшный был, не удержались. Вот послали до вас, для связи. Завтра на корейские хутора уходим...— Он тяжело склонился на седле, точно жестокий груз собственных слов давил его.— Все прахом пошло. Сорок человек потеряли. За все лето убытку такого не было.

— Снимаетесь рано из Крыловки? — спросил Левинсон.— Поворачивайте назад — я с вами поеду...

...В отряд он вернулся почти днем, похудевший, с воспаленными глазами и головой, тяжелой от бессонницы.

Разговор с Осокиным окончательно подтвердил правильность принятого Левинсоном решения — уйти заблаговременно, заметая следы. Еще красноречивей сказал об этом вид самого осокинского отряда: он разлезался по всем швам, как старая бочка с прогнившими клепками и ржавыми обручами, по которой крепко стукнули обушком. Люди перестали слушаться командира, бесцельно слонялись по дворам, многие были пьяны. Особенно запомнился один, кудлатый и тощий,— он сидел на площади возле дороги, уставившись в землю мутными глазами, и в слепом отчаянии слал патрон за патроном в белесую утреннюю мглу.

Вернувшись домой, Левинсон тотчас же отправил свои письма по назначению, не сказав, однако, никому, что уход из села намечен им на ближайшую ночь.

VII. ВРАГИ

В первом письме к Сташинскому, отправленном еще на другой день после памятного мужицкого схода, Левинсон делился своими опасениями и предлагал постепенно разгружать лазарет, чтобы не было потом лишней обузы. Доктор перечитал письмо несколько раз, и оттого, что мигал он особенно часто, а на желтом лице все резче обозначались челюсти, каждому стало нехорошо, сумно. Будто из маленького серого пакетика, что держал Сташинский в сухих руках, выползла, шипя, смутная Левинсонова тревога и с каждой травины, с каждого душевного донышка вспугнула уютно застоявшуюся тишь.

...Как-то сразу сломалась ясная погода, солнце зачередовало с дождем, уныло запели маньчжурские черноклены, раньше всех чувствуя дыхание недалекой осени. Старый черноклювый дятел забил по коре с небывалым ожесточением,— заскучал Пика, стал молчалив и неласков. Целыми днями бродил он по тайге, приходил усталый, неудовлетворенный. Брался за шитво — нитки путались и рвались, садился в шашки играть — проигрывал; и было у него такое ощущение, будто тянет он через тонкую соломинку гнилую болотную воду. А люди

уже расходились по деревням — свертывали безрадостные солдатские узелки,— грустно улыбаясь, обходили каждого «за ручку». Сестра, осмотрев перевязки, целовала «братишек» на последнее прощанье, и шли они, утопая во мху новенькими лапоточками, в безвестную даль и слякоть.

Последним Варя проводила хромого.

— Прощай, братуха,— сказала, целуя его в губы.— Видишь, бог тебя любит — хороший денек устроил... Не забывай нас, бедных...

— А где он, бог-то? — усмехнулся хромой.— Нет бога-то... нет, нет, ядрена вошь!..— Он хотел добавить еще что-то, привычно-веселое и сдобное, но вдруг, дрогнув в лице, махнул рукой и, отвернувшись, заковылял по тропинке, жутко побрякивая котелком.

Теперь из раненых остались только Фролов и Мечик, да еще Пика, который, собственно, ничем не болел, но не хотел уходить. Мечик — в новой шагреневой рубахе, сшитой ему сестрой, полусидел на койке, подмостив подушку и Пикин халат. Он был уже без повязки на голове, волосы его отросли, вились густыми желтоватыми кольцами, шрам у виска делал все лицо серьезней и старше.

— Вот и ты поправишься, уйдешь скоро,— грустно сказала сестра.

— А куда я пойду? — спросил он неуверенно и сам удивился. Вопрос выплыл впервые и породил неясные, но уже знакомые представления,— не было в них радости. Мечик поморщился.— Некуда идти мне,— сказал он жестко.

— Вот тебе и на!..— удивилась Варя.— В отряд пойдешь, к Левинсону. Верхом ездить умеешь? Конный отряд наш... Да ничего, научишься...

Она села рядом на койку и взяла его за руку. Мечик не глядел на нее, и мысль о том, что рано или поздно придется все-таки уйти, показалась ему ненужной сейчас, горчила, как отрава.

— А ты не бойся,— как бы поняв его, сказала Варя.— Такой красивый и молоденький, а робкий... Робкий ты,— повторила она с нежностью и, неприметно оглядевшись, поцеловала его в лоб. В ласке ее было что-то материнское.— ...Это у Шалдыбы там, а у нас ничего...— быстро зашептала она на ухо, не договаривая слов,—

у него там деревенские, а у нас больше шахтеры, свои ребята — можно ладить... Ты ко мне наезжай почаще...

— А как же Морозка?

— А как же та? На карточке? — ответила она вопросом и засмеялась, отпрянув от Мечика, потому что Фролов повернул голову.

— Ну... Я уж и думать забыл... Порвал я карточку,— добавил он торопливо,— видала бумажки тогда?..

— Ну, а с Морозкой и того мене — он, поди, привык. Да он и сам гуляет... Да ты ничего, не унывай,— главное, приезжай почаще. И никому спуску не давай... сам не давай. Ребят наших бояться не нужно — это они на вид злые: палец в рот положи — откусят... А только все это не страшно — видимость одна. Нужно только самому зубы показывать...

— А ты показываешь разве?

— Мое дело женское, мне, может, этого не надо — я и на любовь возьму. А мужчине без этого нельзя... Только не сможешь ты,— добавила она, подумав. И снова, склонившись к нему, шепнула: — Может, я и люблю тебя за это... не знаю...

«А правда, несмелый я совсем,— подумал Мечик, подложив руки под голову и уставившись в небо неподвижным взглядом.— Но неужели я не смогу? Ведь надо как-то, умеют же другие...» В мыслях его, однако, не было теперь грусти — тоскливой и одинокой. Он мог уже на все смотреть со стороны — разными глазами. Происходило это потому, что в болезни его наступил перелом, раны быстро зарастали, тело крепло и наливалось. А шло это от земли — земля пахла спиртом и муравьями, да еще от Вари — глаза у нее были чуткие, как дым, и говорила она все от хорошей любви — хотелось верить.

«...И чего мне унывать в самом деле? — думал Мечик, и ему действительно казалось теперь, что нет никаких поводов к унынию.— Надо сразу поставить себя на равную ногу: спуску никому не давать... самому не давать — это она очень правильно сказала. Люди здесь другие, надо и мне как-то переломиться... И я сделаю это,— подумал он с небывалой решимостью, чувствуя почти сыновнюю благодарность к Варе, к ее словам, к хорошей ее любви.—...Все тогда пойдет по-новому...

И когда я вернусь в город, никто меня не узнает — я буду совсем другой...»

Мысли его отвлеклись далеко в сторону — к светлым будущим дням,— и были они поэтому легкие, таяли сами собой, как розово-тихие облака над таежной прогалиной. Он думал о том, как вместе с Варей вернется в город в качающемся вагоне с раскрытыми окнами, и будут плыть за окном такие же розово-тихие облака над далекими мреющими хребтами. И будут они двое сидеть у окна, прижавшись друг к другу: Варя говорит ему хорошие слова, а он гладит ее волосы, и косы у нее будут совсем золотые, как полдень... И Варя в его мечтах тоже не походила на сутулую откатчицу из шахты № 1, потому что все, о чем думал Мечик, было не настоящее, а такое, каким он хотел бы все видеть.

...Через несколько дней пришло из отряда второе письмо,— привез его Морозка. Он натворил большого переполоху — ворвался из тайги с визгом и гиком, вздыбливая жеребца и крича что-то несуразное. Сделал же он это от избытка жизненных сил и... просто «для смеху».

— Носит тебя, дьявола,— сказал перепуганный Пика с певучей укоризной.— Тут человек умирает,— кивнул он на Фролова,— а ты орешь...

— А-а... отец Серафим! — приветствовал его Морозка.— Наше вам — сорок одно с кисточкой!..

— Я тебе не отец, а зовут меня Ф-федором...— озлился Пика. Последнее время он часто сердился, делался смешным и жалким.

— Ничего, Федосей, не пузырься, не то волосы вылезут... Супруге — почтение! — откланялся Морозка Варе, снимая фуражку и надевая ее на Пикину голову.— Ничего, Федосей, фуражка тебе к лицу. Только ты штанишки подбирай, не то висят, как на пугале, оч-чень неинтеллигентно!

— Что — скоро нам удочки сматывать? — спросил Сташинский, разрывая конверт.— Зайдешь потом в барак за ответом,— сказал, пряча письмо от Харченки, который с опасностью для жизни вытягивал шею из-за его плеча.

Варя стояла перед Морозкой, перебирая передник и впервые испытывая неловкость при встрече с мужем.

— Чего не был давно? — спросила наконец с деланным равнодушием.

— А ты небось скучала? — переспросил он насмешливо, чувствуя ее непонятную отчужденность.— Ну, ничего, теперь нарадуешься — в лес вот пойдем...— Он помолчал и добавил едко: — Страдать...

— Тебе только и делов,— ответила она сухо, не глядя на него и думая о Мечике.

— А тебе?..— Морозка выжидательно поиграл плетью.

— И мне не впервой, чать не чужие...

— Так идем?..— сказал он осторожно, не двигаясь с места.

Она опустила передник и, запрокинув косы, пошла вперед по тропинке небрежной деланной походкой, удерживаясь, чтобы не оглянуться на Мечика. Она знала, что он смотрит вслед жалким, растерянным взглядом и никогда не поймет, даже потом, что она исполняет только скучную обязанность.

Она ждала, что вот-вот Морозка обнимет ее сзади, но он не приближался. Так шли они довольно долго, сохраняя расстояние и молча. Наконец она не выдержала и остановилась, взглянув на него с удивлением и ожиданием. Он подошел ближе, но так и не взял ее.

— Что-то финтишь ты, девка...— сказал вдруг хрипло и с расстановкой.— Влипла уже, что ли?

— А ты что — спрос? — Она подняла голову и посмотрела на него в упор — строптиво и смело.

Морозка знал и раньше, что она гуляет в его отсутствие так же, как гуляла в девках. Он знал это еще с первого дня совместной жизни, когда пьяным утром проснулся с головной болью, в груде тел на полу, и увидел, что его молодая и законная жена спит в обнимку с рыжим Герасимом — зарубщиком из шахты № 4. Но — как и тогда, так и во всей последующей жизни — он относился к этому с полным безразличием. По сути дела, он так и не вкусил подлинной семейной жизни и сам никогда не чувствовал себя женатым человеком. Но мысль, что любовником его жены может быть такой человек, как Мечик, показалась ему сейчас очень обидной.

— В кого же это ты, желательно бы узнать,— спросил он нарочито вежливо, выдерживая ее взгляд

с небрежной и спокойной усмешкой: он не хотел показывать обиды.— В энтого, маминого, что ли?

— А хоть бы и в маминого...

— Да он ничего — чистенький,— согласился Морозка.— Послаже будет. Ты ему платков нашей — сопли утирать.

— Если надо будет, и нашью и утру... сама утру! слышишь? — Она приблизила лицо вплотную и заговорила быстро и возбужденно: — Ну, чего ты храбришься, что толку в лихости твоей? За три года ребенка не сделал — только языком трепишься, а туда же... Богатырь шиновый!..

— Заделаешь тебе, как же, ежели тут целый взвод работает... Да ты не кричи,— оборвал он ее,— не то...

— Ну, что — не то?..— сказала она вызывающе.— Может, бить будешь?.. А ну, попробуй, посмотрю я...

Он удивленно приподнял плетку, словно мысль эта явилась для него неожиданным откровением, и снова опустил.

— Нет, бить я не стану...— сказал неуверенно и с сожалением, будто раздумывая еще, не вздуть ли в самом деле.— Оно и следовало бы, да не привык я бить вашего брата.— В голосе его скользнули незнакомые ей нотки.— Ну, да что ж — живи. Может, барыней будешь...— Он круто повернул и зашагал к бараку, на ходу сбивая плетью цветочные головки.

— Слушай, обожди!..— крикнула она, вдруг переполняясь жалостью.— Ваня!..

— Не надо мне барских объедков,— сказал он резко.— Пущай моими пользуются...

Она заколебалась, бежать ли за ним или нет, и не побежала. Выждала, пока он скроется за поворотом, и тогда, облизывая высохшие губы, медленно пошла вслед.

Завидев Морозку, слишком скоро вернувшегося из тайги (ординарец шел, сильно размахивая руками, с тяжелым хмурым развальцем), Мечик понял, что у Морозки с Варей «ничего не вышло», и причиной этому — он, Мечик. Неловкая радость и чувство беспричинной виновности не нужно шевельнулись в нем, и стало страшно встретиться с Морозкиным истребляющим взглядом...

У самой койки с хрустом пощипывал травку мохнатый жеребчик: казалось, ординарец идет к нему, на са-

мом деле темная перекошенная сила влекла его к Мечику, но Морозка скрывал это даже от себя, полный неутомимой гордости и презрения. С каждым его шагом чувство виновности в Мечике росло, а радость улетучивалась, он смотрел на Морозку малодушными, уходящими внутрь глазами и не мог оторваться. Ординарец схватил жеребца под уздцы, тот оттолкнул его мордой, повернув к Мечику, будто нарочно, и Мечик захлебнулся внезапно чужим и тяжелым, мутным от ненависти взглядом. В эту короткую секунду он чувствовал себя так приниженно, так невыносимо гадко, что вдруг заговорил одними губами, без слов — слов у него не было.

— Сидите тут в тылу,— с ненавистью сказал Морозка в такт своим темным мыслям, не желая вслушиваться в беззвучные пояснения Мечика.— Рубахи шагреневые понадевали...

Ему стало обидно, что Мечик может подумать, будто злоба его вызвана ревностью, но он сам не сознавал ее истинных причин и выругался длинно и скверно.

— Чего ты ругаешься? — вспыхнув, переспросил Мечик, почувствовав непонятное облегчение после того, как Морозка выругался.— У меня ноги перебиты, а не — в тылу...— сказал он с гневной самолюбивой дрожью и горечью. В эту минуту он верил сам, что ноги у него перебиты, и вообще чувствовал себя так, словно не он, а Морозка носит шагреневые рубахи.— Мы тоже знаем таких фронтовиков,— добавил, краснея,— я б тебе тоже сказал, если бы не был тебе обязан... на свое несчастье...

— Ага-а... заело? — чуть не подпрыгнув, завопил Морозка, по-прежнему не слушая его и не желая понимать его благородства.— Забыл, как я тебя из полымя вытащил?.. Таскаем мы вас на свою голову!..— закричал он так громко, словно каждый день таскал «из полымя» раненых, как каштаны,— на св-вою голову!.. вот вы где у нас сидите!..— и он ударил себя по шее с невероятным ожесточением.

Сташинский и Харченко выскочили из барака. Фролов повернул голову с болезненным удивлением.

— Вы что кричите? — спросил Сташинский, с жуткой быстротой мигая одним глазом.

— Совесть моя где?! — кричал Морозка в ответ на вопрос Мечика, где у него совесть.— Вот она где, со-

весть,— вот, вот! — рубил он с остервенением, делая неприличные жесты. Из тайги, с разных сторон, бежали сестра и Пика, крича что-то наперерыв. Морозка вскочил на жеребца и сильно вытянул его плетью, что случалось с ним только в минуты величайшего возбуждения. Мишка взвился на дыбы и прыгнул в сторону, как ошпаренный.

— Обожди, письмо захватишь!.. Морозка!..— растерянно крикнул Сташинский, но Морозки уже не было. Из потревоженной чащи доносился бешеный топот удалявшихся копыт.

VIII. ПЕРВЫЙ ХОД

Дорога бежала навстречу, как бесконечная упругая лента, ветви больно хлестали Морозку по лицу, а он все гнал и гнал очумевшего жеребца, полный неистовой злобы, обиды, мщения. Отдельные моменты нелепого разговора с Мечиком — один хлеще другого — вновь и вновь рождались в разгоряченном мозгу, и все же Морозке казалось, что он недостаточно крепко выразил свое презрение к подобным людям.

Он мог бы, например, напомнить Мечику, как тот жадными руками цеплялся за него на ячменном поле, как в обезумевших его глазах бился комнатный страх за свою маленькую жизнь. Он мог бы жестоко высмеять любовь Мечика к кудрявой барышне, портрет которой, может, еще хранится у него в кармане пиджака, возле сердца, и надарить эту красивую, чистенькую барышню самыми паскудными именами... Тут он вспомнил, что Мечик ведь «спутался» с его женой и навряд ли оскорбится теперь за чистенькую барышню, и вместо злорадного торжества над унижением противника Морозка снова чувствовал *свою* непоправимую обиду.

...Мишка, разобиженный вконец несправедливостью хозяина, бежал до тех пор, пока в натруженных губах не ослабели удила; тогда он замедлил ход и, не слыша новых понуканий, пошел показно-быстрым шагом, совсем как человек, оскорбленный, но не теряющий собственного достоинства. Он не обращал внимания даже на соек,— они слишком много кричали в этот вечер, но, как всегда, попусту, и больше обычного казались ему суетливыми и глупыми.

Тайга расступилась вечерней березовой опушкой, и в рдяные ее просветы, прямо в лицо, било солнце. Здесь было уютно, прозрачно, весело,— так не похоже на соечью людскую суету. Гнев Морозки остыл. Обидные слова, которые он сказал или хотел сказать Мечику, давно утратили мстительно-яркое оперение, предстали во всей своей общипанной неприглядности: они были ненужно-крикливы и легковесны. Он сожалел уже, что связался с Мечиком — не «выдержал марку» до конца. Он чувствовал теперь, что Варя вовсе не так безразлична ему, как это казалось раньше, и вместе с тем твердо знал, что никогда уже не вернется к ней. И оттого, что Варя была наиболее близким человеком, который связывал его с прежней жизнью на руднике, когда он жил, «как все», когда все казалось ему простым и ясным,— теперь, расставшись с ней, он испытывал такое чувство, точно эта большая и цельная полоса его жизни завершилась, а новая еще не началась.

Солнце заглядывало Морозке под козырек — оно еще стояло над хребтом бесстрастным, немигающим глазом, но поля вокруг были тревожно-безлюдны.

Он видел неубранные ячменные снопы на недожатых полосах, бабий передник, забытый второпях на суслоне [1], грабли, комлем воткнутые в межу. На покривившемся стогу уныло, по-сиротски, примостилась ворона и молчала. Но все это проплывало мимо сознания. Морозка разворошил давнишнюю слежавшуюся пыль воспоминаний и обнаружил, что это совсем не веселый, а очень безрадостный, проклятый груз. Он почувствовал себя заброшенным и одиноким. Казалось, он сам плывет над огромным вымороченным полем, и тревожная пустота последнего только сильней подчеркивала его одиночество.

Очнулся он от дробного конского топота, внезапно вырвавшегося из-за бугра. Едва вскинул голову — перед ним выросла стройная, перетянутая в поясе фигурка дозорного на глазастой бедовой лошадке,— от неожиданности она так и села на задние ноги.

— Ну, ты-ы, кобло́, вот кобло́!..— выругался дозорный, поймав на лету сбитую толчком фуражку.— Морозка, что ли? Вали скорей до дому, до дому вали: там у нас такое — не разбери-поймешь, ей-богу...

---

[1] Суслон — составленные на жнивье снопы. *(Прим. А. Фадеева.)*

— А что?

— Да дезертиры тут прошли, наговорили цельный воз, цельный воз — японцы-де вот-вот будут! Мужики с поля, бабы в рев, бабы в рев... Нагнали у парома телег, что твой базар — потеха!.. Мало паромщика не убили, доси, поди, всех не переправил — нет, не переправил!.. А Гришка наш сгонял верст за десять — японцев и слыхом не слыхать, не слыхать — брехня. Набрехали, суки!.. Стрелять за такие дела — и то патронов жалко, и то жалко, ей-богу...— Дозорный брызгал слюной, размахивал плетью и то снимал, то надевал фуражку, лихо потряхивая кудерьками, словно, помимо всего прочего, хотел еще сказать: «Смотри, дорогой, как девки меня любят».

Морозка вспомнил, как месяца два тому назад этот парень украл у него жестяную кружку, а после божился, что она у него «еще с германского фронта». Кружки было не жаль теперь, но воспоминание это — сразу, быстрей слов дозорного, которого Морозка не слушал, занятый своим,— втолкнуло его в привычную колею отрядной жизни. Срочная эстафета, приезд Канунникова, отступление Осокина, слухи, которыми питался отряд последнее время,— все это хлынуло на него тревожной волной, смывая черную накипь прошедшего дня.

— Какие дезертиры, чего ты трепишься? — перебил он дозорного. Тот удивленно приподнял бровь и застыл с занесенной фуражкой, которую только что снял и снова собирался надеть.— Тебе бы только фасон давить, женя с ручкой! — презрительно сказал Морозка; сердито дернул под уздцы и через несколько минут был уже у парома.

Волосатый паромщик, с подвернутой штаниной, с огромным чирьем на колене, и впрямь замучился, гоняя перегруженный паром взад и вперед, и все же многие еще толпились на этой стороне. Едва паром приставал к берегу, на него обрушивалась целая лавина людей, мешков, телег, голосивших ребят, люлек — каждый старался поспеть первым; все это толкалось, кричало, скрипело, падало,— паромщик, потеряв голос, напрасно раздирал глотку, стараясь водворить порядок. Курносая баба, успевшая лично поговорить с дезертирами, терзаемая неразрешимым противоречием между желанием скорее попасть домой и досказать свои новости остаю-

щимся,— в третий раз опаздывала на паром, тыкала вслед громадным, больше себя, мешком с ботвой для свиней и то молила: «Господи, господи», то снова принималась рассказывать, чтобы опоздать в четвертый раз.

Морозка, попав в эту сумятицу, хотел было, по старой привычке («для смеху»), попугать еще сильнее, но почему-то раздумал и, соскочив с лошади, принялся успокаивать.

— И охота брехать тебе, никаких там японцев нету,— перебил вконец осатаневшую бабу,— расскажет тоже: «Га-азы пущают...» Какие там газы? Корейцы, может, солому палили, а ей — га-азы...

Мужики, забыв про бабу, обступили его,— он вдруг почувствовал себя большим, ответственным человеком и, радуясь необычной своей роли и даже тому, что подавил желание «попугать»,— до тех пор опровергал и высмеивал россказни дезертиров, пока окончательно не расхолодил собравшихся. Когда причалил следующий паром, не было уже такой давки. Морозка сам направлял подводы по очереди, мужики сетовали, что рано уехали с поля, и, в досаде на себя, ругали лошадей. Даже курносая баба с мешком попала наконец в чью-то телегу между двумя конскими мордами и широким мужичьим задом.

Морозка, перегнувшись через перила, смотрел, как бегут меж лодок белые кружочки пены — ни один не обгонял другого,— их естественный порядок напомнил ему, как сам он только что сорганизовал мужиков; напоминание это было приятно.

У поскотины он встретил дозорную смену — пятерых ребят из взвода Дубова. Они приветствовали его смехом и добродушной матерщиной, потому что всегда были рады его видеть, а говорить им было не о чем, и потому еще, что все это были здоровые и крепкие ребята, а вечер наступал прохладный, бодрый.

— Катись колбаской!..— проводил их Морозка и с завистью посмотрел вслед. Ему захотелось быть вместе с ними, с их смехом и матерщиной — вместе мчаться в дозор прохладным и бодрым вечером.

Встреча с партизанами напомнила Морозке, что, уезжая из госпиталя, он не захватил письма Сташинского, а за это может попасть. Картина сходки, когда он

чуть не вылетел из отряда, внезапно встала перед глазами, и сразу что-то защемило. Морозка только теперь почувствовал, что это событие было, может, самым важным для него за последний месяц — гораздо важнее того, что произошло в госпитале.

— Михрютка,— сказал он жеребцу и взял его за холку.— Надоело мне все, браток, до бузовой матери...— Мишка мотнул головой и фыркнул.

Подъезжая к штабу, Морозка принял твердое решение «наплевать на все», и отпроситься во взвод к ребятам, сложив с себя обязанности ординарца.

На крыльце у штаба Бакланов допрашивал дезертиров,— они были обезоружены и под охраной. Бакланов, сидя на ступеньке, записывал фамилии.

— Иван Филимонов...— лепетал один жалобным голосом, изо всех сил вытягивая шею.

— Как?..— грозно переспрашивал Бакланов, поворачиваясь к нему всем туловищем, как это делал обычно Левинсон. (Бакланов думал, что Левинсон поступает так, желая подчеркнуть особую значительность своих вопросов, на самом же деле Левинсон поворачивался так потому, что когда-то был ранен в шею и иначе вообще не мог повернуться.)

— Филимонов?.. Отчество!..

— Левинсон где? — спросил Морозка. Ему кивнули на дверь. Он поправил чуб и вошел в избу.

Левинсон занимался за столом в углу и не заметил его. Морозка в нерешительности поиграл плеткой. Как и всем в отряде, командир казался Морозке необыкновенно правильным человеком. Но так как жизненный опыт подсказывал ему, что правильных людей не существует, то он старался убедить себя, что Левинсон, наоборот,— величайший жулик и «себе на уме». Тем не менее он тоже был уверен, что командир «все видит наскрозь» и обмануть его почти невозможно: когда приходилось просить о чем-либо, Морозка испытывал странное недомогание.

— А ты все в бумагах возишься, как мыша,— сказал он наконец.— Отвез я пакет в полной справности.

— Ответа нет?

— Не-ету...

— Ладно,— Левинсон отложил карту и встал.

— Слушай, Левинсон...— начал Морозка.— У меня

просьба к тебе... Сполнишь — вечным другом будешь, правда...

— Вечным другом? — с улыбкой переспросил Левинсон.— Ну, говори, что там за просьба.

— Пусти меня во взвод...

— Во взво-од?.. С чего это тебе приспичило?

— Да долго рассказывать — очертело мне, поверь совести... Точно и не партизан я, а так...— Морозка махнул рукой и нахмурился, чтобы не выругаться и не испортить дела.

— А кто же ординарцем?

— Да Ефимку можно приспособить,— уцепился Морозка.— Ох, и ездок, скажу тебе,— в старой армии призы брал!

— Так говоришь, вечным другом? — снова переспросил Левинсон таким тоном, точно это соображение могло иметь как раз решающее значение.

— Да ты не смейся, холера чертова!..— не выдержал Морозка.— К нему с делом, а он хаханьки...

— А ты не горячись. Горячиться вредно... Скажешь Дубову, чтоб прислал Ефимку, и... можешь отправляться.

— Вот эт-то удружил, вот удружил!..— обрадовался Морозка.— Вот поставил марку... Левинсон... эт-то н-номер!..— Он сорвал с головы фуражку и хлопнул ею об пол.

Левинсон поднял фуражку и сказал:

— Дура.

...Морозка приехал во взвод — уже стемнело. Он застал в избе человек двенадцать. Дубов, сидя верхом на скамейке, при свете ночника разбирал наган.

— А-а, нечистая кровь...— пробасил он из-под усов. Увидев сверток в руках Морозки, удивился.— Ты чего это со всеми причиндалами? Разжаловали, что ли?

— Шабаш! — закричал Морозка.— Отставка!.. Перо в зад, без пенсии... Снаряжай Ефимку — командир приказывает...

— Видно, ты удружил? — едко спросил Ефимка, сухой и желчный парень, заросший лишаями.

— Вали, вали — там разберемся... Одним словом — с повышением, Ефим Семенович!.. Магарыч с вас...

От радости, что снова находится среди ребят, Морозка сыпал прибаутками, дразнился, щипал хозяйку,

крутился по избе, пока не налетел на взводного и не опрокинул ружейного масла.

— Калека, вертило немазаное! — выругался Дубов и хлопнул его по спине так, что Морозкина голова мало не отделилась от туловища.

И хоть было очень больно, Морозка не обиделся — ему даже нравилось, как ругается Дубов, употребляя свои, никому не известные слова и выражения: все здесь он принимал как должное.

— Да... пора, пора уж...— говорил Дубов.— Это хорошо, что ты снова к нам присмыкнулся. А то испохабел вовсе — заржавел, как болт неприткнутый, из-за тебя срам...

Все соглашались с тем, что это хорошо, но по другой причине: большинству нравилось в Морозке как раз то, что не нравилось Дубову.

Морозка старался не вспоминать о поездке в госпиталь. Он очень боялся, что кто-нибудь спросит: «А как жинка твоя поживает?..»

Потом вместе со всеми он ездил на реку поить лошадей... Глухо, нестрашно кричали в забоке сычи, в тумане над водой расплывались конские головы, тянулись молча, насторожив уши; у берега ежились темноликие кусты в холодной медвяной росе. «Вот это жизнь...» — думал Морозка и ласково подсвистывал жеребцу.

Дома чинили седла, протирали винтовки; Дубов читал вслух письма с рудника, а ложась спать, назначил Морозку дневальным «по случаю возвращения в Тимофеево лоно».

Весь вечер Морозка чувствовал себя исправным солдатом и хорошим, нужным человеком.

Ночью Дубов проснулся от сильного толчка в бок.

— Что? что?..— спросил испуганно и сел. Не успел продрать глаза на тусклый ночничок — услышал, вернее почувствовал, отдаленный выстрел, через некоторое время другой.

У кровати стоял Морозка, кричал:

— Вставай скорей! Стреляют за рекой!..

Редкие одиночные выстрелы следовали один за другим с почти правильными промежутками.

— Буди ребят,— распорядился Дубов,— сейчас же крой по всем халупам... Скоро!..

Через несколько секунд в полном боевом снаряжении он выскочил во двор. Небо расступилось — безветренно-холодное. По мглистым нехоженым тропам Млечного Пути в смятении бежали звезды. Из темной дыры сеновала выскакивали — один за другим — взъерошенные партизаны, ругаясь, застегивая на ходу патронташи, выводили лошадей. С насестов с неистовым кудахтаньем летели куры, лошади бились и ржали.

— В ружье!.. по коням! — командовал Дубов.— Митрий, Сеня!.. Бежите по хатам, будите людей... Скоро!..

С площади у штаба взвилась динамитная ракета и покатилась по небу с дымным шипеньем. Сонная баба высунулась в окно и быстро нырнула обратно.

— Завязывай...— сказал кто-то упавшим в дрожи голосом.

Примчавшийся из штаба Ефимка кричал в ворота:

— Тревога!.. Все на сборное место в полном готове!..— Взметнул над венцом оскаленной лошадиной пастью и, крикнув еще что-то непонятное, исчез.

Когда вернулись посланные, оказалось, что больше половины взвода не ночует дома: с вечера ушли на гулянку и, видно, остались у девчат. Растерявшийся Дубов, не зная — выступать ли с наличным составом или съездить в штаб самому узнать, в чем дело,— ругаясь в бога и священный синод, послал во все концы разыскивать поодиночке. Два раза приезжали ординарцы с приказом немедленно прибыть всем взводом, а он все не мог найти людей, метался по двору, как пойманный зверь, готов был в отчаянии пустить себе пулю в лоб и, может быть, пустил бы, если б не чувствовал все время своей тяжелой ответственности. Многие в эту ночь пострадали от его безжалостных кулаков.

Наконец, напутствуемый надрывным собачьим воем, взвод ринулся к штабу, наполняя придавленные страхом улицы бешеным конским топотом и звоном стали.

Дубов очень удивился, застав весь отряд на площади. Вдоль по главному тракту вытянулся готовый в путь обоз,— многие, спешившись, сидели возле лошадей и курили. Он отыскал глазами маленькую фигурку Левинсона, тот стоял возле освещенных факелом бревен и спокойно разговаривал с Метелицей.

— Что ж ты так поздно? — набросился Бакланов.— А говоришь еще: «Мы-ы... шахте-еры...» — Он был вне себя, иначе никогда бы не сказал Дубову подобной фразы. Взводный только рукой махнул. Самым обидным для него было сознание, что этот вот молодой парень Бакланов имеет теперь законное право всячески хулить его, но даже хула та не будет достойной платой за его, Дубова, вину. Кроме того, Бакланов уязвил его в самое больное место: в глубине души Дубов полагал, что звание шахтера самое высокое и почетное, какое только может носить человек на земле. Теперь он был уверен, что его взвод опозорил и себя, и Сучанский рудник, и все шахтерское племя по крайней мере до седьмого колена.

Изругавшись вволю, Бакланов уехал снимать дозоры. От пятерых ребят, вернувшихся из-за реки, Дубов узнал, что никакого неприятеля нет, а стреляли они «в белый свет, как в копейку», по приказанию Левинсона. Он понял тогда, что Левинсон хотел проверить боевую готовность отряда, и ему стало еще горше от сознания, что он не оправдал доверия командира, не стал примером для других.

Когда взводы построились и сделали перекличку, обнаружилось, что многих все же недостает. Особенно много дезертиров оказалось у Кубрака. Сам Кубрак ездил днем прощаться с родней и до сих пор не протрезвился. Несколько раз он обращался к своему взводу с речью — «могут ли его уважать, если он такой подлец и свинья»,— и плакал. И весь отряд видел, что Кубрак пьян. Только Левинсон будто не замечал этого, иначе пришлось бы снять Кубрака с должности, а его некем было заменить.

Левинсон проехал по строю и, вернувшись на середину, поднял руку. Она повисла холодно и строго. Слышны стали тайные ночные шумы.

— Товарищи...— начал Левинсон, и голос его, негромкий, но внятный, был услышан каждым, как биение своего сердца.— Мы уходим отсюда... куда — этого не стоит сейчас говорить. Японские силы — хотя их не нужно преувеличивать — все же такие, что нам лучше укрыться до поры, до времени. Это не значит, что мы совсем уходим от опасности. Нет. Она постоянно висит над нами, и каждый партизан об этом знает. Оправды-

ваем ли мы свое партизанское звание?.. Сегодня никак не оправдали... Мы распустились, как девочки!.. Ну что, если бы на самом деле были японцы?.. Да они ведь передушили б нас, как цыплят!.. Срам!..— Левинсон быстро перегнулся вперед, и последние его слова хлестнули сразу развернутой пружиной так, что каждый вдруг почувствовал себя захваченным врасплох цыпленком, которого душат в темноте неумолимые железные пальцы.

Даже ничего не понявший Кубрак сказал убежденно:

— Прравильно... Все ето... прравильно...— Крутнул квадратной головой и громко икнул.

Дубов ждал с минуты на минуту, что Левинсон скажет: «Вот, например, Дубов — он пришел сегодня к шапочному разбору, а ведь я надеялся на него больше всех,— срам!..» Но Левинсон никого не упомянул по имени. Он вообще говорил немного, но упорно бил в одно место, будто вколачивал массивный гвоздь, которому предстоит служить на вечные времена. Только убедившись, что слова его дошли по назначению, он посмотрел в сторону Дубова и неожиданно сказал:

— Дубова взвод пойдет с обозом... Уж больно прыткий...— вытянулся на стременах и, взмахнув плетью, скомандовал: — Сми-и-ирно... справа по три... а-а-арш!..

Согласно брякнули мундштуки, шумно скрипнули седла, и, колыхаясь в ночи, как огромная в омуте рыба, густая вереница людей поплыла туда, где из-за древних сихотэ-алиньских отрогов — такой же древний и молодой — вздымался рассвет.

IX. МЕЧИК В ОТРЯДЕ

Сташинский узнал о выступлении от помощника начхоза, прибывшего в лазарет заготовлять продовольствие.

— Он, Левинсон-то, смекалистый,— говорил помощник, подставляя солнцу выцветшую горбатую спину.— Без его мы бы все пропали... Вот и здесь рассуди: дорогу в лазарет никто не знает, в случае чего загонют нас — мы сюда всем отрядом шасть!.. и поминай, как нас звали... а уж тут и провиант и фураж припасены.

Ло-овко придумано!..— Помощник в восхищении крутил головой, и Сташинский видел, что хвалит он Левинсона не только потому, что тот на самом деле «смекалистый», а еще из приятности, которую доставляет помощнику приписывание другому человеку несвойственных ему самому хороших качеств.

В этот же день Мечик впервые встал на ноги. Поддерживаемый под руки, прошелся по лужайке, удивленно-радостно ощущая упругий дерн под ногами, и беспричинно смеялся. А после, лежа на койке, чувствовал неугомонное биение сердца не то от усталости, не то от этого радостного ощущения земли. Ноги еще дрожали от слабости, и по всему телу бродил веселый, прыгающий зуд.

Пока Мечик гулял, на него с завистью смотрел Фролов, и Мечик никак не мог перебороть чувства какой-то вины перед ним. Фролов болел уже так долго, что исчерпал все сострадание окружающих. В их непременной ласке и заботливости он слышал постоянный вопрос: «Когда же ты все-таки умрешь?» — но умирать не хотел. И видимая нелепость его цепляний за жизнь давила всех, как могильная плита.

До последнего дня пребывания Мечика в госпитале между ним и Варей тянулись странные отношения, похожие на игру, где каждый знал, чего хочет одна и боится другой, но ни один не решался сделать смелый, исчерпывающий ход.

За трудную и терпеливую свою жизнь, где мужчин было так много, что невозможно было отличить их по цвету глаз, волос, даже по именам,— Варя ни одному не могла сказать: «желанный, любимый». Мечик был первый, которому она вправе была — и сказала эти слова. Ей казалось, что только он, такой красивый, скромный и нежный, способен удовлетворить ее тоску материнства и что полюбила она его именно за это. В тревожной немоте она звала его по ночам, искала каждый день неутолимо, жадно, стараясь увести от людей, чтобы подарить свою позднюю любовь, но никогда не решалась почему-то сказать этого прямо.

И хоть Мечику хотелось того же со всем пылом и воображением только что созревшей юности, он упорно избегал оставаться с ней наедине — то таскал за собой Пику, то жаловался на нездоровье. Он робел потому,

что никогда не был близок с женщиной; ему казалось, что это выйдет у него не так, как у людей, а очень стыдно. Если же удавалось преодолеть робость, перед ним вставала вдруг гневная фигура Морозки, как он идет из тайги, размахивая плетью, и Мечик испытывал тогда смесь страха и сознания своего неоплатного долга перед этим человеком.

В этой игре он похудел и вырос, но так до последней минуты и не превозмог слабости. Ушли они вместе с Пикой, неловко простившись со всеми, словно с чужими. Варя нагнала их на тропе.

— Давай уж хоть простимся как следует,— сказала, зардевшись от бега и смущения.— Там я постеснялась как-то... никогда этого не было, а тут постеснялась,— и виновато сунула ему вышитый кисет, как делали все молодые девушки на руднике.

Ее смущение и подарок так не вязались с ней,— Мечику стало жаль ее и стыдно перед Пикой, он едва коснулся ее губами, а она смотрела на него последним дымчатым взглядом, и губы ее кривились.

— Смотри же, наезжай!..— крикнула она, когда они уж скрылись в чаще. И, не слыша ответа, тут же, опустившись в траву, заплакала.

Дорогой, оправившись от грустных воспоминаний, Мечик почувствовал себя настоящим партизаном, даже подвернул рукава, желая загореть: ему казалось, что это очень необходимо в той новой жизни, которую он начал после памятного разговора с сестрой.

Устье Ирохедзы было занято японскими войсками и колчаковцами. Пика трусил, нервничал, жаловался всю дорогу на несуществующие боли. Мечик никак не мог уговорить его обойти село долиной. Пришлось карабкаться по хребтам, по безвестным козьим про́торям. Они спустились к реке на вторую ночь скалистыми кручами, едва не убившись,— Мечик еще нетвердо чувствовал себя на ногах. Почти к утру попали в корейскую фанзу; жадно глотали чумизу без соли, и, глядя на истерзанную, жалкую фигуру Пики, Мечик никак не мог восстановить пленявший его когда-то образ тихого и светлого старичка над тихим камышовым озером. Раздавленным своим видом Пика как бы подчеркивал непрочность и лживость этой тишины, в которой нет отдыха и спасения.

Потом шли редкими хуторами, где никто не слыхал о японцах. На вопрос — проходил ли отряд? — им указывали в верховья, расспрашивали новости, поили медовым квасом, девки заглядывались на Мечика. Началась уже бабья страда. Дороги тонули в густой колосистой пшенице, росились по утрам опустевшие паутины, и воздух был полон пчелиного предосенне-жалобного гуда.

В Шибиши они пришли под вечер; деревушка стояла под лесистой горой, на пригреве,— закатное солнце било с противоположной стороны. У дряхлой, заросшей грибами часовенки группа веселых, горластых парней с красными бантами во всю фуражку играла в городки. Только что пробил маленький человечек, в высоких ичигах и с рыжей, длинным клином, бородой, похожий на гнома, каких рисуют в детских сказках,— позорно промахнув все палки. Над ним смеялись. Человечек конфузливо улыбался, но так, что все видели, что ему нисколько не конфузно, а тоже очень весело.

— Вон он, Левинсон-то,— сказал Пика.

— Где?

— Да вон — рыжий...— Бросив недоумевающего Мечика, Пика с неожиданной, бесовской прытью посеменил к маленькому человечку.

— Глянь, ребята,— Пика!..

— Пика и есть...

— Приплелся, черт лысый!..

Парни, побросав игру, обступили старика. Мечик остался в стороне, не зная — подойти или ждать, пока позовут.

— Кто это с тобой? — спросил наконец Левинсон.

— А парень один с госпиталя... ха-роший парень!..

— Раненый это, что Морозка привез,— вставил кто-то, узнав Мечика. Тот, услышав, что говорят о нем, подошел ближе.

У маленького человечка, так плохо игравшего в городки, оказались большие и ловкие глаза,— они схватили Мечика и, вывернув его наизнанку, подержали так несколько мгновений, будто взвешивали все, что там оказалось.

— Вот пришел к вам в отряд,— начал Мечик, краснея за свои засученные рукава, которые забыл отвернуть.— Раньше был у Шалдыбы... до ранения,— добавил для вескости.

— А у Шалдыбы с каких пор?

— С июня — так, с середины...

Левинсон снова окинул его пытливым, изучающим взглядом.

— Стрелять умеешь?

— Умею...— неуверенно сказал Мечик.

— Ефимка... Принеси драгунку...

Пока бегали за винтовкой, Мечик чувствовал, как щупают его со всех сторон десятки любопытных глаз, немое упорство которых он начинает принимать за враждебность.

— Ну вот... Во что бы тебе выстрелить? — Левинсон поискал глазами.

— В крест! — радостно предложил кто-то.

— Нет, в крест не стоит... Ефимка, поставь городок на столб, вон туда...

Мечик взял винтовку и едва не зажмурился от жути, которая им овладела (не потому, что нужно было стрелять, а потому, что казалось, будто все хотят его промаха).

— Левой рукой поближе возьми — легше так,— посоветовал кто-то.

Эти слова, сказанные с явным сочувствием, много помогли Мечику. Осмелев, он надавил курок и в грохоте выстрела — тут он все-таки зажмурился — успел заметить, как городок слетел со столба.

— Умеешь...— засмеялся Левинсон.— С лошадью обращаться приходилось?

— Нет,— сознался Мечик, готовый после такого успеха принять на себя даже чужие грехи.

— Жаль,— сказал Левинсон. Видно было, что ему действительно жаль.— Бакланов, дашь ему Зючиху.— Он лукаво прищурился.— Береги ее, лошадь безобидная. Как беречь, взводный научит... В какой взвод мы его направим?

— Я думаю, к Кубраку — у него недостача,— сказал Бакланов.— Вместе с Пикой будут.

— И то...— согласился Левинсон.— Вали.

...Первый же взгляд на Зючиху заставил Мечика забыть свою удачу и вызванные ею мальчишески-гордые надежды. Это была слезливая скорбная кобыла, грязно-белого цвета, с продавленной спиной и мякинным брюхом — покорная крестьянская лошадка, испахавшая в

своей жизни не одну десятину. Вдобавок ко всему она была жеребой, и странное ее прозвище пристало к ней, как к шепелявой старухе господне благословение.

— Это мне, да?..— спросил Мечик упавшим голосом.

— Лошадь неказистая,— сказал Кубрак, хлопнув ее по заду.— Копыта у ее слабые — не то, сказать, от воспитания, не то от болезненного отношения... Ездить, однако, можно...— Он повернул к Мечику квадратную, в седоватом ежике, голову и повторил с тупой убежденностью: — Можно ездить...

— Разве других у вас нет? — спросил Мечик, сразу проникаясь бессильной ненавистью к Зючихе и к тому, что на ней можно ездить.

Кубрак, не ответив, принялся скучно и монотонно рассказывать, что должен делать Мечик утром, в обед и вечером с этой обшарпанной кобылой, чтобы уберечь ее от неисчислимых опасностей и болезней.

— Вернулся с походу — сразу не расседлывай,— поучал взводный,— пущай постоит, остынет. А как только расседлал, вытри ей спину ладошкой или сеном, и перед тем как седлать, тоже вытирай...

Мечик с дрожью в губах смотрел куда-то поверх лошади и не слушал. Он чувствовал себя так, словно эту обидную кобылу с разляпанными копытами дали ему нарочно, чтобы унизить с самого начала. Последнее время всякий свой поступок Мечик рассматривал под углом той новой жизни, которую он должен был начать. И ему казалось теперь, что не может быть речи о какой-то новой жизни с этой отвратительной лошадью: никто не будет видеть, что он уже совсем другой, сильный, уверенный в себе человек, а будут думать, что он прежний, смешной Мечик, которому нельзя доверить даже хорошей лошади.

— У кобылы у етой, помимо протчего — ящур...— неубедительно говорил взводный, не желая знать, как Мечик обижен и доходят ли слова по назначению.— Лечить бы его надо купоросом, одначе купоросу у нас нету. Ящур лечим мы куриным пометом — средство тоже очень искреннее. Наложить надо на тряпочку и обернуть округ удилов перед зануздкой — очень помогаить...

«Что я — мальчишка, что ли? — думал Мечик, не слушая взводного.— Нет, я пойду и скажу Левинсону,

что я не желаю ездить на такой лошади... Я вовсе не обязан страдать за других (ему приятно было думать, будто он стал жертвой за кого-то другого). Нет, я все скажу ему прямо, пускай он не думает...»

Только когда взводный кончил и лошадь была вверена всецело попечению Мечика, он пожалел, что не слушал объяснений. Зючиха, понурив голову, лениво перебирала белыми губами, и Мечик понял, что вся ее жизнь находится теперь в его руках. Но он по-прежнему не знал, как распоряжаться нехитрой лошадиной жизнью. Он не сумел даже хорошенько привязать эту безропотную кобылу, она бродила по всем конюшням, тычась в чужое сено, раздражая лошадей и дневальных.

— Да где он, холера, новенький этот?.. Чего кобылу свою не вяжет!..— кричал кто-то в сарае. Слышались яростные удары плети.— Пошла, пошла-а, стерва!.. Дневальный, убери кобылу, ну ее к...

Мечик, вспотев от быстрой ходьбы и внутреннего жара, перебирая в голове самые злые выражения, натыкаясь на колючий кустарник, шагал по темным, дремлющим улицам, отыскивая штаб. В одном месте чуть не попал на гулянку — хриплая гармонь исходила «саратовской», пыхали цигарки, звенели шашки и шпоры, девчата визжали, дрожала земля в сумасшедшем плясе. Мечик постеснялся спросить у них дорогу и обошел стороной. Он проплутал бы всю ночь, если бы навстречу не вынырнула из-за угла одинокая фигура.

— Товарищ! Где пройти к штабу? — окликнул Мечик, подходя ближе. И узнал Морозку.— Здравствуйте...— сказал с сильным смущением.

Морозка остановился в замешательстве, издав какой-то неопределенный звук...

— Второй двор направо,— ответил наконец, не придумав ничего большего. Странно блеснул глазами и прошел мимо, не оборачиваясь...

«Морозка... да... ведь он здесь...» — подумал Мечик и, как в прежние дни, почувствовал себя одиноким, окруженным опасностями в виде Морозки, темных, незнакомых улиц, безропотной кобылы, с которой неизвестно как обращаться.

Когда он подошел к штабу, решимость его окончательно ослабела, он не знал уже, зачем пришел, что будет делать и говорить.

Человек двадцать партизан лежали вокруг костра, разведенного посреди пустого, огромного, как поле, двора. Левинсон сидел у самого костра, поджав по-корейски ноги, околдованный дымным шипучим пламенем, и еще больше напомнил Мечику гнома из детской сказки. Мечик приблизился и стал позади,— никто не оглянулся на него. Партизаны по очереди рассказывали скверные побасенки, в которых неизменно участвовал недогадливый поп с блудливой попадьей и удалой парень, легко ходивший по земле, ловко надувавший попа из-за ласковых милостей попадьи. Мечику казалось, что рассказываются эти вещи не потому, что они смешны на самом деле, а потому, что больше нечего рассказывать; смеются же по обязанности. Однако Левинсон все время слушал со вниманием, смеялся громко и будто искренне. Когда его попросили, он тоже рассказал несколько смешных историй. И так как был среди собравшихся самый грамотный, истории его получались самыми замысловатыми и скверными. Но Левинсон, как видно, нисколько не стеснялся, а говорил насмешливо-спокойно, и скверные слова шли, будто не задевая его, как чужие.

Глядя на него, Мечику невольно захотелось рассказать самому — в сущности, он любил слушать такие вещи, хотя считал их стыдными и старался делать вид, будто стоит выше их,— но ему казалось, что все посмотрят на него с удивлением и выйдет очень неловко.

Он так и ушел, не присоединившись, унося в сердце досаду на себя и обиду на всех, больше на Левинсона. «Ну и пусть,— думал Мечик, обидчиво поджимая губы,— все равно я не буду за ней ухаживать, пускай подыхает. Посмотрим, что он запоет, а я не боюсь...»

В последующие дни он действительно перестал обращать внимание на лошадь, брал ее только на конное учение, изредка на водопой. Если бы он попал к более заботливому командиру, возможно, его скоро бы подтянули, но Кубрак никогда не интересовался, что делается во взводе, предоставляя всему идти положенным ходом. Зючиха обросла паршами, ходила голодная, непоенная, изредка пользуясь чужой жалостью, а Мечик снискал всеобщую нелюбовь, как «лодырь и задавала».

Из всего взвода только два человека были ему более или менее близки — Пика и Чиж. Но сошелся он с ними не потому, что они удовлетворяли его, а потому, что

больше ни с кем не умел сойтись. Чиж сам подошел к нему, стараясь снискать его расположение. Улучив момент, когда Мечик, после ссоры с отделенным из-за нечищенной винтовки, лежал один под навесом, тупо уставившись в потолок, Чиж приблизился к нему развязной походкой со словами:

— Рассердились?.. Бросьте! Тупой, малограмотный человек, стоит ли обращать внимание?

— Я не сержусь,— сказал Мечик со вздохом.

— Значит, скучаете? Это другое дело, это я могу понять...— Чиж опустился на снятый передок телеги и привычным жестом подтянул свои густо смазанные сапоги.— Что ж, знаете, и мне скучно — интеллигентных людей тут мало. Разве только Левинсон, да он тоже...— Чиж махнул рукой и многозначительно посмотрел на ноги.

— А что?..— спросил Мечик с любопытством.

— Да что ж, знаете, вовсе не такой уж образованный человек. Просто хитрый. На нашем горбу капиталец себе составляет. Не верите? — Чиж горько улыбнулся.— Ну да! Вы, конечно, думаете, что он очень храбрый, талантливый полководец.— Слово «полководец» он произнес с особым смаком.— Бросьте!.. Все это мы сами сочинили. Я вас уверяю... Да вот возьмем хотя бы конкретный случай нашего ухода: вместо того чтобы стремительным ударом опрокинуть неприятеля, мы ушли куда-то в трущобу. Из высших, видите ли, стратегических соображений! Там, может быть, товарищи наши погибают, а у нас — стратегические соображения...— Чиж, не замечая, вынул из колеса чекушку и досадливо сунул ее обратно.

Мечику не верилось, чтобы Левинсон был действительно таков, каким изображал его Чиж, но слушать было интересно: он давно не слыхал такой грамотной речи, и ему хотелось почему-то, чтобы в ней была доля правды.

— Неужели это верно? — сказал он приподымаясь.— А он показался мне очень порядочным человеком.

— Порядочным?! — ужаснулся Чиж. Голос его утратил обычные сладковатые нотки, и в нем звучало теперь сознание своего превосходства.— Какое заблуждение. Да вы посмотрите, каких он подбирает людей!.. Ну что такое Бакланов? Мальчишка! Много о себе думает,

а какой из него помощник командира? Разве нельзя было других найти? Конечно, я сам больной, израненный человек — я ранен семью пулями и оглушен снарядом,— я вовсе не гонюсь за такой хлопотной должностью, но, во всяком случае, я был бы не хуже его — скажу не хвалясь...

— Может быть, он не знал, что вы хорошо понимаете в военном деле?

— Господи, не знал! Да все об этом знают, спросите у любого. Конечно, многие завидуют и наговорят вам по злобе, но это же факт!..

Постепенно Мечик оживился тоже и стал делиться своими настроениями. Весь день они провели вместе. И хотя после нескольких таких встреч Чиж стал просто неприятен Мечику, все же он не мог от него отвязаться. Он даже сам искал его, когда долго не видал. Чиж научил его отвиливать от дневальства, от кухни — все это уже утеряло прелесть новизны, стало нудной обязанностью.

И с этих пор кипучая жизнь отряда пошла мимо Мечика. Он не видел главных пружин отрядного механизма и не чувствовал необходимости всего, что делается. В таком отчуждении потонули все его мечты о новой, смелой жизни, хотя он научился огрызаться, не бояться людей, загорел и опустился в одежде, внешне сравнявшись со всеми.

X. НАЧАЛО РАЗГРОМА

Морозка, повстречав Мечика, к удивлению своему, не ощутил ни прежней злобы, ни ненависти. Осталось только недоумение, зачем снова попадается на пути этот вредный человек, и подсознательное убеждение, что он, Морозка, должен на него сердиться. Все же встреча так подействовала на него, что захотелось немедленно поделиться с кем-нибудь.

— Иду сейчас проулком,— сказал он Дубову,— только из-за угла выскочил, а прямо на меня — парень шалдыбинский, что привез я, помнишь?

— Ну?..

— Да ничего... «Где, говорит, к штабу тут пройти?..» — «А вон, говорю, второй дом направо...»

— И что же? — допытывался Дубов, не находя во всем этом ничего удивительного и думая, что оно еще будет.

— Ну, встретил — и все!.. Что же еще? — ответил Морозка с непонятным раздражением.

Ему стало вдруг скучно и расхотелось говорить с людьми. Вместо того чтобы идти на вечерку, как собирался, он завалился на сеновал, но уснуть не смог. Неприятные воспоминания навалились на него тяжелой грудой; казалось, Мечик нарочно встал на дороге, стараясь сбить его с какой-то правильной линии.

Весь следующий день он бродил, не находя места, с трудом подавляя желание снова повидать Мечика.

— Ну что мы сидим без дела? — досадливо приставал к взводному.— Сгниешь тут от скуки... О чем там Левинсон думает?..

— О том и думает, как бы это Морозку повеселить. Все штаны продрал, над этим сидючи.

Дубов и не подозревал о сложных Морозкиных переживаниях. А Морозка, не получая поддержки, исходил зловещей тоской и знал, что скоро запьет, если не удастся рассеяться на горячем деле. Первый раз в жизни он сам боролся со своими желаниями, но силы его были слабы. Только случайное обстоятельство уберегло его от падения.

Забравшись в глухое место, Левинсон почти потерял связь с другими отрядами. Отрывочные сведения, которые удавалось иногда собрать, рисовали жестокую картину развала. Тревожный улахинский ветер нес дымные запахи крови.

По вкрадчивым таежным тропам, где много лет уж не ступала человеческая нога, Левинсон связался с железной дорогой. Ему сообщили, что вскоре должен пройти эшелон с оружием и обмундированием. Железнодорожники обещали точно указать день и час. Зная, что рано или поздно отряд все равно откроют, а зимовать в тайге без патронов и теплой одежды невозможно, Левинсон решил сделать первую вылазку. Гончаренко спешно начинил фугасы. Туманной ночью, пробравшись незамеченным сквозь неприятельское пекло, взвод Дубова внезапно появился на линии.

...Товарные вагоны, прицепленные к почтовому поезду, Гончаренко оторвал, не задев пассажирских. В гро-

хоте взрыва, в динамитной гари взметнулись над головой лопнувшие рельсы и, вздрагивая, рухнули под откос. Берданный затвор от фугаса, зацепившись шнурком, повис на телеграфном проводе, заставив впоследствии многих ломать голову над тем, кто и зачем его повесил.

Пока рыскали вокруг кавалерийские разъезды, Дубов с навьюченными до отказа лошадьми выжидал на Свиягинской лесной даче, а ночью увильнул в «щеки»[1]. Через несколько суток был в Шибиши, не потеряв ни одного человека.

— Ну, Бакланыч, теперь держись...— сказал Левинсон, и в зыбком его взгляде нельзя было прочесть, шутит ли он или всерьез. В тот же день он раздробил хозяйственную часть, раздав по рукам шинели, патроны, шашки, сухари, оставив, сколько могут поднять заводные лошади.

Вся Улахинская долина, вплоть до Уссури, была занята неприятелем. К устью Ирохедзы стягивались новые силы, японская разведка шарила по всем направлениям и не раз натыкалась на дозорных Левинсона. В конце августа японцы двинулись кверху. Шли медленно, с большими остановками, от хутора к хутору, ощупывая каждый шаг, разбрасывая по флангам частые охранения. В железном упорстве их движения, несмотря на его медлительность, чувствовалась уверенная в себе, разумная и в то же время слепая сила.

Разведчики Левинсона возвращались с дикими глазами, а сведения их противоречили одно другому.

— Как же так? — холодно переспрашивал Левинсон.— Вчера, говоришь, они были в Соломенной, а сегодня утром в Монакине,— что же они, назад идут?..

— Н-не знаю,— заикался разведчик.— Может, то передовые были в Соломенной...

— А откуда ты знаешь, что в Монакине главные, а не передовые?

— Мужики сказывали...

— Дались тебе мужики!.. Как тебе было приказано?

Разведчик тут же сочинял замысловатую историю, почему не удалось проникнуть вглубь. На самом деле, напуганный бабьими россказнями, он не доехал до неприятеля верст десять, просидел в кустах, раскуривая табачок и дожидаясь, когда удобнее будет вернуться.

---

[1] Щеки — ущелье. *(Прим. А. Фадеева.)*

«Ты бы сам сунулся»,— думал он про Левинсона, глядя на него затаенно-мигающим мужицким взглядом.

— Придется тебе самому съездить,— сказал Левинсон Бакланову.— Иначе нас тут, как мух, прихлопают. Ничего не поделаешь с этим народом. Возьми кого-нибудь с собой и поезжай чуть свет.

— А кого взять? — спросил Бакланов. Он старался быть серьезным и озабоченным, хотя все внутри билось в тревожной боевой радости: как и Левинсон, он считал нужным прятать истинные свои чувства.

— Возьми, кого хочешь... хотя бы новенького, что у Кубрака,— Мечика, что ли? Кстати проверишь, что он за парень. А то говорят про него нехорошее, может и зря...

Разведка подвернулась Мечику как нельзя кстати. За короткое пребывание в отряде он скопил такое количество невыполненных дел, несдержанных обещаний и неосуществленных хотений, что каждое из них в отдельности, даже выполненное, потеряло бы уже всякий смысл и значение. Но вместе они давили все тяжелей, и глуше, и больнее, не давая вырваться из своего до нелепости узкого круга. Теперь ему казалось, что он сможет разорвать этот бессмысленный круг одним смелым движением.

Они выехали еще до рассвета. Чуть розовели на отроге таежные маковки, в деревне под горой кричали вторые петухи. Было холодно, темно и немножко жутко. Необычность обстановки, предвкушение опасности, надежда на удачу порождали в обоих то приподнято-боевое настроение, при котором все остальное неважно. В теле — легкая зыбь крови, пружинят мускулы, а воздух кажется холодным и жгучим, даже хрустит.

— Эк у тебя кобыла опаршивела,— говорит Бакланов.— Не ухаживаешь, что ли? Плохо... Это Кубрак, дурило, не показал, видно, что с ней делать? — Бакланов никогда бы не подумал, что у человека, умеющего обращаться с лошадью, хватит совести довести ее до такого состояния.— Не показал, да?

— Да как сказать...— смутился Мечик.— Он вообще мало помогает. Не знаешь, к кому обратиться.

Стыдясь своей лжи, он ерзал на седле и не смотрел на Бакланова.

— А ты у каждого спрашивай. У нас там много понимающих. Ребята есть боевые...

Вопреки мнению Чижа, которое Мечик тоже почти усвоил, Бакланов начинал ему нравиться. Он был такой плотный и круглый, сидел на седле как пришитый. Глаза у него были коричневые и сметливые, он все схватывал на лету, тут же отделяя достойное внимания от пустяков, затем следовали практические выводы.

— Э-э, парень, а я все смотрю, чего у тебя седло ездит! Заднюю подпругу ты до отказа натянул, а передняя висит. Наоборот надо. Давай перетянем.

Мечик не успел еще сообразить, в чем дело, а уж Бакланов, спешившись, возился у седла.

— Ну-у... да у тебя и потник завернулся... Слезай, слезай — лошадь загубишь. Насквозь переседлаем.

После нескольких верст Мечик окончательно уверил себя в том, что Бакланов гораздо лучше и умней его, что Бакланов, кроме того, очень смелый и сильный человек и что он, Мечик, должен всегда безропотно ему подчиняться. Бакланов же, подходивший к Мечику без всякой предвзятости, хотя и почувствовал вскоре свое превосходство, но разговаривал с ним как с равным, стараясь простым наблюдением определить действительную его цену.

— В сопки тебя кто направил?

— Да я, собственно, сам пошел, а путевку мне максималисты дали...

Помня странное поведение Сташинского, Мечик старался как-нибудь смазать значение пославшей его организации.

— Максималисты?.. Зря ты с ними путаешься — трепачи...

— Да мне ведь все равно... Просто там есть несколько моих товарищей по гимназии, вот я...

— Гимназию-то кончил? — перебил Бакланов.

— Что? Да, кончил...

— Это хорошо. Я тоже учился в ремесленном. На токаря. Не пришлось кончить. Поздно, видишь, начал,— пояснил он, точно оправдываясь.— До того я на судостроительном работал, пока братишка не подрос, а тут вот вся эта каша...

Немного погодя он снова задумчиво протянул:

— Да-а... Гимназия... Я тоже мальцом хотел, да уж такое дело...

Видно, слова Мечика навеяли на него много ненужных воспоминаний. Мечик с неожиданной страстностью стал доказывать, что вовсе не плохо, а даже хорошо, что Бакланов не учился в гимназии. Незаметно для себя он убеждал Бакланова в том, какой тот хороший и умный, несмотря на свою необразованность. Бакланов, однако, не видел большого достоинства в своей неучености, а более сложных рассуждений Мечика не понял вовсе. Задушевного разговора не получалось. Оба прибавили рыси и долго ехали молча.

Всю дорогу попадались разведчики и врали по-прежнему. Бакланов только головой крутил. На хуторе, в трех верстах от деревушки Соломенной, они оставили лошадей и пошли пешком. Солнце давно уже перевалило к западу, усталые поля пестрели бабьими платками, от жирных суслонов ложились тени, спокойно-густые и мягкие. У встречной подводы Бакланов спросил, были ли в Соломенной японцы.

— С утра, говорят, человек пять приезжало, а сегодня штой-то не слыхать... Хоть бы хлеба убрать, ну их к лешему...

Сердце у Мечика забилось, но страха он не чувствовал.

— Значит, они и впрямь в Монакине,— сказал Бакланов.— Это разведка приезжала. Крой смело...

Они вошли в село, встреченные ленивым собачьим лаем. На постоялом дворе — с пучком сена, привязанным к шесту, и подводой у ворот — напились молока «по-баклановски»: из мисочки и с хлебцем. Впоследствии, с жутью вспоминая весь этот поход, Мечик неизменно видел перед собой Бакланова, как он вышел на улицу с расплывшимся счастливым лицом и остатками молока на верхней губе. Они не сделали и нескольких шагов, как из переулка, подобрав юбки, выбежала толстая баба и, столкнувшись с ними, остановилась в столбняке. Глаза ее полезли под платок, а ртом она хватала воздух, как пойманная рыба. И вдруг завопила самым пронзительным и тонким голосом:

— А родненькие ж вы мои, а куда ж вы идетя?.. Агромяту-ущая сила гапонцив биля школы!.. Сюда идуть, а текайте ж, сюда идуть!..

Мечик не успел еще восчувствовать ее слова, как из того же переулка, маршируя в ногу, вышли четыре япон-

ских солдата с ружьями на плечах. Бакланов, вскрикнув, стремительно выхватил кольт и выстрелил — почти в упор — в двоих. Мечик видел, как сзади у них вылетели кровавые клочки, и оба они рухнули на землю. Третий патрон попал в перекос, и кольт перестал действовать. Один из оставшихся японцев бросился бежать, а другой сорвал винтовку, но в то же время Мечик, повинуясь новой силе, которая управляла им больше, чем страх, выстрелил в него несколько раз подряд. Последние пули попали в японца, когда уже он лежал, корчась в пыли.

— Бежим!..— крикнул Бакланов.— К подводе!..

Через несколько минут, отвязав лошадь, бившуюся у постояла, они мчались по улице, вздымая жаркие клубы пыли. Бакланов стоял на телеге, изо всех сил хлестал концами вожжей, то и дело оглядываясь назад,— нет ли погони. Где-то в центре не менее пяти горнистов играли тревогу.

— Здесь они... все-е!..— кричал Бакланов с каким-то торжественным озлоблением.— Все-е... Главные!.. Слышишь, играют?..

Мечик ничего не слышал. Припав на дно, он чувствовал дикую радость избавления и то, как в горячей пыли корчился убитый им японец, исходя последними смертными муками. И когда он посмотрел на Бакланова, перекошенное лицо последнего показалось ему противным и страшным.

Через некоторое время Бакланов уже смеялся:

— Ловко получилось! Да? Они в село, и мы — разом. А ты, брат, молодец! Даже не ожидал от тебя, право. Если бы не ты, он бы нас вот как изрешетил!..

Мечик, стараясь не смотреть на него, лежал, подвернув голову, весь желтый и бледный, в темных пятнах, как хлебный колос, сгнивающий на корню.

Отъехав версты две и не слыша погони, Бакланов остановил лошадь возле одинокого ильмака, согнувшегося над дорогой.

— Ты здесь оставайся, а я влезу на дерево, будем караулить...

— Зачем?..— сказал Мечик прерывающимся голосом.— Поедем скорей. Надо сообщить... ясно, что тут главные...— Он заставлял себя верить в то, что говорит,

и не мог. Теперь ему страшно было оставаться вблизи неприятеля.

— Нет, уж лучше обождем. Не затем киселя хлебали, чтоб трех этих дураков пришить. Разнюхаем точно.

Через полчаса из Соломенной выехали шагом человек двадцать конных. «А что, ежели заметят? — подумал Бакланов с тайной дрожью.— Не уйти нам на подводе». Превозмогая себя, он решил ждать до последней крайности. Конница, не видная Мечику за холмом, проехала уже с полдороги, когда со своего наблюдательного пункта Бакланов заметил пехоту: она только выходила из села густыми колоннами, пыльно отсвечивая оружием... В стремительном гоне до хутора они едва не загнали лошадь, там пересели на своих и через несколько минут мчались уже по дороге в Шибиши. Предусмотрительный Левинсон еще до их приезда (приехали они ночью) выставил усиленное охранение — спешенный взвод Кубрака. Треть взвода осталась с лошадьми, а остальные дежурили возле села, за валом старой монгольской крепостцы. Мечик, передав кобылу Бакланову, остался со взводом.

Несмотря на сильное переутомление, спать не хотелось. Туман стлался от реки, было холодно. Пика ворочался и стонал во сне, под ногами часовых загадочно шуршали травы. Мечик лежал на спине, глазами нащупывая звезды; они едва проступали из черной пустоты, которая чудилась там, за туманной завесой; и эту же пустоту, еще мрачней и глуше, потому что без звезд, Мечик ощущал в себе. Он подумал, что такую же пустоту должен все время ощущать Фролов, и ему стало жутко от внезапной мысли, что судьба этого человека может быть похожа на его. Он старался отогнать от себя эту страшную мысль, но образ Фролова не шел из головы. Он видел его лежащим на койке, с безжизненно опущенными руками и высохшим лицом, и клены тихо шумели над ним. «Да ведь он умер!..» — с ужасом подумал Мечик. Но Фролов пошевелил пальцем и, повернувшись к нему, сказал с костлявой улыбкой: «Ребята... шкодят...» Вдруг он задергался на постели, из него полетели какие-то клочки, и Мечик увидел, что это совсем не Фролов, а японец. «Это ужасно...» — снова подумал он, вздрагивая всем телом, но Варя склонилась над ним и сказала: «А ты не бойся». Она была холодной и мяг-

кой. Мечику сразу стало легче. «Ты не сердись, что я с тобой плохо простился,— сказал он ласково.— Я люблю тебя». Она прижалась к нему, и сразу все пропало, ухнуло куда-то, а через несколько мгновений он уже сидел на земле, мигая глазами, нащупывая рукой винтовку, и было совсем светло. Вокруг суетились люди, свертывая шинели; Кубрак, просунувшись в кусты, смотрел в бинокль, все лезли к нему и спрашивали:

— Где?.. Где?..

Мечик, нащупав наконец винтовку, вылез на гребень и понял, что речь идет о неприятеле, но, не видя его, тоже стал спрашивать:

— Где?..

— Чего сгрудились? — зашипел вдруг взводный и сильно толкнул кого-то.— Раскладывайся цепью!..

Пока расползались по валу, Мечик, вытягивая шею, все еще старался увидеть неприятеля.

— Да где он?..— несколько раз спросил у соседа. Тот, лежа на животе и не слушая его, все время хватался почему-то за ухо, и нижняя губа у него отвисла. Вдруг он повернулся и свирепо выругался. Мечик не успел огрызнуться — послышалась команда:

— Взво-од...

Он высунул винтовку и, по-прежнему ничего не видя и сердясь на то, что все видят, а он нет,— выстрелил наугад при слове «пли». (Он не знал, что добрая половина взвода тоже ничего не видит, но скрывает это во избежание насмешек в будущем.)

— Пли!..— снова скомандовал Кубрак, и снова Мечик выстрелил.

— Ага-а, текают!..— закричали кругом; все вдруг заговорили громко и бестолково, лица стали веселыми и возбужденными.

— Будя, будя!..— кричал взводный.— Кто там стреляет? Патронов не жалко!..

Из расспросов Мечик узнал, что подъезжала японская разведка. Многие из тех, кто тоже ее не видел, смеялись над Мечиком и хвастали, как слетали с седел японцы, в которых они целились. В это время ударил гулкий орудийный выстрел, заполнив долину ответным эхом. Несколько человек в страхе попадали на землю; Мечик тоже съежился, как ушибленный: это был первый орудийный выстрел, который он слышал в своей жизни.

Снаряд разорвался где-то за деревней. Потом в безумной одышке залаяли пулеметы, посыпались частые ружейные выстрелы, но партизаны не отвечали.

Через минуту, а может быть, через час,— время до боли скрадывалось,— Мечик почувствовал, что партизан стало больше, и увидел Бакланова и Метелицу,— они спускались с вала. Бакланов нес бинокль, у Метелицы дергалась щека и сильно раздувались ноздри.

— Лежишь? — спросил Бакланов, распуская складки на лбу.— Ну как?

Мечик мучительно улыбнулся и, сделав невероятное напряжение над собой, спросил:

— А где наши лошади?..

— Лошади наши в тайге, скоро и мы там будем, только бы задержать немножко... Нам-то ничего,— добавил он, видно желая подбодрить Мечика,— а вот Дубова взвод на равнине... А, черт!..— выругался вдруг, вздрогнув от близкого взрыва.— Левинсон тоже там...— И побежал куда-то вдоль цепи, держась за бинокль обеими руками.

Следующий раз, когда пришлось стрелять, Мечик уже видел японцев: они наступали несколькими цепями, перебегая меж кустов, и были так близко, что Мечику казалось, что от них невозможно теперь убежать, даже если придется. То, что он испытывал, было не страх, а мучительное ожидание: когда же все кончится. В одно из таких мгновений неизвестно откуда вынырнул Кубрак и закричал:

— Куда ты палишь?..

Мечик оглянулся и понял, что слова взводного относятся не к нему, а к Пике, которого он до сих пор почему-то не видел. Пика лежал ниже, уткнувшись лицом в землю и, как-то нелепо, над головой, перебирая затвором, стрелял в дерево перед собой. Он продолжал это занятие и после того, как Кубрак окликнул его, с той лишь разницей, что обойма уже кончилась и затвор щелкал впустую. Взводный несколько раз ударил его сапогом, и все же Пика не поднял головы.

Потом все бежали куда-то, сначала в беспорядке, затем реденьким гуськом. Мечик тоже бежал со всеми, не понимая, что к чему, но чувствовал даже в минуты самого отчаянного смятения, что все это не так уж случайно и бессмысленно и что целый ряд людей, не испы-

тывающих, может, того, что испытывает он сам, направляет его и окружающих действия. Людей этих он не замечал, но чувствовал в себе их волю и, когда очнулся в селе,— теперь они шли шагом, длинной цепочкой,— невольно стал отыскивать глазами, кто же все-таки распоряжается его судьбой? Впереди шел Левинсон, он выглядел таким маленьким и так потешно размахивал огромным маузером, что трудно было поверить, будто он и является главной направляющей силой. Пока Мечик силился разрешить это противоречие, снова густо и злобно посыпались пули; казалось, они задевают волосы, даже пушок на ушах. Цепочка ринулась вперед, несколько человек упало. Мечик почувствовал, что, если вновь придется отстреливаться, он уже ничем не будет отличаться от Пики.

Смутным впечатлением этого дня осталась еще фигура Морозки на оскаленном жеребце с развевающейся огненной гривой, промчавшаяся так быстро, что трудно было отличить, где кончался Морозка и начиналась лошадь. Впоследствии он узнал, что Морозка был в числе конных, выделенных для связи со взводами во время боя.

Окончательно Мечик пришел в себя только в тайге, на горной тропинке, развороченной недавно прошедшими лошадьми. Здесь было темно и тихо, и строгий кедрач прикрывал их покойными, обомшелыми лапами.

XI. Страда

Укрывшись после боя в глухом, заросшем хвощом и папоротником овраге, Левинсон осматривал лошадей и наткнулся на Зючиху.

— Это что такое?

— А что? — пробормотал Мечик.

— А ну, расседлай, покажи спину...

Мечик дрожащими пальцами распустил подпругу.

— Ну да, конечно... Сбита спина,— сказал Левинсон таким тоном, словно и не ожидал ничего хорошего.— Или ты думаешь, что на лошади только ездить нужно, а ухаживть — дядя?..

Левинсон старался не повышать голоса, но это давалось ему с трудом,— он сильно устал, борода его вздра-

гивала, и он нервно комкал руками сорванную где-то веточку.

— Взводный! Иди сюда... Ты чем смотришь?..

Взводный, не мигая, уставился в седло, которое Мечик держал почему-то в руках. Сказал мрачно и медленно:

— Ему, дураку, сколько раз говорено...

— Я так и знал! — Левинсон выбросил веточку. Взгляд его, направленный на Мечика, был холоден и строг.— Пойдешь к начхозу и будешь ездить с вьючными лошадьми, пока не вылечишь...

— Слушайте, товарищ Левинсон...— забормотал Мечик голосом, дрожащим от унижения, которое он испытывал не оттого, что скверно ухаживал за лошадью, а оттого, что как-то нелепо и унизительно держал в руках тяжелое седло.— Я не виноват... Выслушайте меня... постойте... Теперь вы можете мне поверить... Я буду хорошо с ней обращаться.

Но Левинсон, не оглядываясь, прошел к следующей лошади.

Вскоре недостаток продовольствия заставил их выйти в соседнюю долину. В течение нескольких дней отряд метался по улахинским притокам, изнывая в боях и мучительных переходах. Незанятых хуторов оставалось все меньше, каждая крошка хлеба, овса добывалась с боем; вновь и вновь растравлялись раны, не успевшие зажить. Люди черствели, делались суше, молчаливей, злей.

Левинсон глубоко верил в то, что движет этими людьми не только чувство самосохранения, но и другой, не менее важный инстинкт, скрытый от поверхностного глаза, не осознанный даже большинством из них, по которому все, что приходится им переносить, даже смерть, оправдано своей конечной целью, и без которого никто из них не пошел бы добровольно умирать в улахинской тайге. Но он знал также, что этот глубокий инстинкт живет в людях под спудом бесконечно маленьких, каждодневных, насущных потребностей и забот о своей — такой же маленькой, но живой — личности, потому что каждый человек хочет есть и спать, потому что каждый человек слаб. Обремененные повседневной мелочной суетой, чувствуя свою слабость, люди как бы передоверили самую важную свою заботу более сильным, вроде Левинсона, Бакланова, Дубова, обязав их

думать о ней больше, чем о том, что им тоже нужно есть и спать, поручив им напоминать об этом остальным.

Левинсон теперь всегда был на людях — водил их в бой самолично, ел с ними из одного котелка, не спал ночей, проверяя караулы, и был почти единственным человеком, который еще не разучился смеяться. Даже когда разговаривал с людьми о самых обыденных вещах, в каждом его слове слышалось: «Смотрите, я тоже страдаю вместе с вами — меня тоже могут завтра убить или я сдохну с голоду, но я по-прежнему бодр и настойчив, потому что все это не так уж важно...»

И все же... с каждым днем лопались невидимые провода, связывавшие его с партизанским нутром... И чем меньше становилось этих проводов, тем труднее было ему убеждать,— он превращался в силу, стоящую над отрядом.

Обычно, когда глушили рыбу на обед, никто не хотел лазить за нею в холодную воду, гоняли наиболее слабых, чаще всего бывшего свинопаса Лаврушку — человека безвестной фамилии, робкого и заикающегося. Он отчаянно боялся воды, дрожа и крестясь, сползал с берега, и Мечик всегда с болью смотрел на его тощую спину. Однажды Левинсон заметил это.

— Обожди...— сказал он Лаврушке.— Почему ты сам не слазишь? — спросил у кривого, словно ущемленного с одной стороны дверью парня, загонявшего Лаврушку пинками.

Тот поднял на него злые, в белых ресницах, глаза и неожиданно сказал:

— Слазь сам, попробуй...

— Я-то не полезу,— спокойно ответил Левинсон,— у меня и других дел много, а вот тебе придется... Снимай, снимай штаны... Вот уж и рыба уплывает.

— Пущай уплывает... а я тоже не рыжий...— Парень повернулся спиной и медленно пошел от берега. Несколько десятков глаз смотрели одобрительно на него и насмешливо на Левинсона.

— Ну и морока с таким народом...— начал было Гончаренко, сам расстегивая рубаху, и остановился, вздрогнув от непривычно громкого оклика командира:

— Вернись!..— В голосе Левинсона брякнули властные нотки неожиданной силы.

Парень остановился и, жалея уже, что ввязался в историю, но не желая срамиться перед другими, сказал снова:

— Сказано, не полезу...

Левинсон тяжелыми шагами двинулся к нему, держась за маузер, не спуская с него глаз, ушедших вовнутрь и ставших необыкновенно колючими и маленькими. Парень медленно, будто нехотя, стал расстегивать штаны.

— Живей! — сказал Левинсон с мрачной угрозой.

Парень покосился на него и вдруг перепугался, заторопился, застрял в штанине и, боясь, что Левинсон не учтет этой случайности и убьет его, забормотал скороговоркой:

— Сейчас, сейчас... зацепилась вот... а, черт!.. Сейчас, сейчас...

Когда Левинсон оглянулся вокруг, все смотрели на него с уважением и страхом, но и только: сочувствия не было. В эту минуту он сам почувствовал себя силой, стоящей над отрядом. Но он готов был идти и на это: он был убежден, что сила его правильная.

С этого дня Левинсон не считался уже ни с чем, если нужно было раздобыть продовольствие, выкроить лишний день отдыха. Он угонял коров, обирал крестьянские поля и огороды, но даже Морозка видел, что это совсем не похоже на кражу дынь с Рябцова баштана.

После многоверстного перехода через Удегинский отрог, во время которого отряд питался только виноградом и попаренными над огнем грибами, Левинсон вышел в Тигровую падь, к одинокой корейской фанзушке в двадцати верстах от устья Ирохедзы. Их встретил огромный, волосатый, как его унты, человек без шапки, с ржавым смитом у пояса. Левинсон признал даубихинского спиртоноса Стыркшу.

— Ага, Левинсон!.. — приветствовал Стыркша хриплым от неизлечимой простуды голосом. Из буйной поросли с обычной горькой усмешкой выглядывали его глаза. — Жив еще? Хорошее дело... А тут тебя ищут.

— Кто ищет?

— Японцы, колчаки... кому ты еще нужен?

— Авось не найдут... Жрать тут будет нам?

— Может, и найдут, — загадочно сказал Стыркша. — Они тоже не дураки — голова-то твоя в цене...

На сходах, вон, приказ читают: за поимку живого или мертвого — награда.

— Ого!.. и дорого дают?..

— Пятьсот рублей сибирками.

— Дешевка! — усмехнулся Левинсон.— Пожрать-то, я говорю, будет нам?

— Черта с два... кореец сам на одной чумизе. Свинья тут у них пудов на десять, так они на нее молятся — мясо на всю зиму.

Левинсон пошел отыскивать хозяина. Трясущийся, седоватый кореец, в продавленной проволочной шляпе, с первых же слов взмолился, чтобы не трогали его свинью. Левинсон, чувствуя за собой полтораста голодных ртов и жалея корейца, пытался доказать ему, что иначе поступить не может. Кореец, не понимая, продолжал умоляюще складывать руки и повторял:

— Не надо куши-куши... Не надо...

— Стреляйте, все равно,— махнул Левинсон и сморщился, словно стрелять должны были в него.

Кореец тоже сморщился и заплакал.

Вдруг он упал на колени и, ерзая в траве бородой, стал целовать Левинсону ноги, но тот даже не поднял его — он боялся, что, сделав это, не выдержит и отменит свое приказание.

Мечик видел все это, и сердце его сжималось. Он убежал за фанзу и уткнулся лицом в солому, но даже здесь стояло перед ним заплаканное старческое лицо, маленькая фигурка в белом, скорчившаяся у ног Левинсона. «Неужели без этого нельзя?» — лихорадочно думал Мечик, и перед ним длинной вереницей проплывали покорные и словно падающие лица мужиков, у которых тоже отбирали последнее. «Нет, нет, это жестоко, это слишком жестоко»,— снова думал он и глубже зарывался в солому.

Мечик знал, что сам никогда не поступил бы так с корейцем, но свинью он ел вместе со всеми, потому что был голоден.

Ранним утром Левинсона отрезали от гор, и после двухчасового боя, потеряв до тридцати человек, он прорвался в долину Ирохедзы. Колчаковская конница преследовала его по пятам, он побросал всех вьючных лошадей и только в полдень попал на знакомую тропу к госпиталю.

Тут он почувствовал, что едва сидит на лошади. Сердце после невероятного напряжения билось медленно-медленно, казалось — оно вот-вот остановится. Ему захотелось спать, он опустил голову и сразу поплыл на седле — все стало простым и неважным. Вдруг он вздрогнул от какого-то толчка изнутри и оглянулся... Никто не заметил, как он спал. Все видели перед собой его привычную, чуть согнутую спину. А разве мог подумать кто-либо, что он устал, как все, и хочет спать?.. «Да... хватит ли сил у меня?» — подумал Левинсон, и вышло это так, словно спрашивал не он, а кто-то другой. Левинсон тряхнул головой и почувствовал мелкую противную дрожь в коленях.

— Ну вот... скоро и жинку свою увидишь,— сказал Морозке Дубов, когда они подъезжали к госпиталю.

Морозка промолчал. Он считал, что дело это кончено, хотя ему все дни хотелось повидать Варю. Обманывая себя, он принимал свое желание за естественное любопытство постороннего наблюдателя: «Как это у них получится».

Но когда он увидел ее,— Варя, Сташинский и Харченко стояли возле барака, смеясь и протягивая руки,— все в нем перевернулось. Не задерживаясь, он вместе со взводом проехал под клены и долго возился подле жеребца, ослабляя подпруги.

Варя, отыскивая Мечика, бегло отвечала на приветствия, улыбалась всем смущенно и рассеянно. Мечик встретился с ней глазами, кивнул и, покраснев, опустил голову: он боялся, что она сразу подбежит к нему, и все догадаются, что тут что-то неладно. Но она из внутреннего такта не подала виду, что рада ему.

Он наскоро привязал Зючиху и улизнул в чащу. Пройдя несколько шагов, наткнулся на Пику. Тот лежал возле своей лошади; взгляд его, сосредоточенный в себе, был влажен и пуст.

— Садись...— сказал устало.

Мечик опустился рядом.

— Куда мы пойдем теперь?..

Мечик не ответил.

— Я бы сичас рыбу ловил...— задумчиво сказал Пика.— На пасеке... Рыба сичас книзу идет... Устроил бы водопад и ловил... Только подбирай.— Он помолчал

и добавил грустно: — Да ведь нет пасеки-то... нет! А то б хорошо было... Тихо там, и пчела теперь тихая...

Вдруг он приподнялся на локте и, коснувшись Мечика, заговорил дрожащим, в тоске и боли, голосом:

— Слухай, Павлуша... слухай, мальчик ты мой, Павлуша!.. Ну разве ж нет такого места, нет, а? Ну как же жить будем, как жить-то будем, мальчик ты мой, Павлуша?.. Ведь никого у меня... сам я... один... старик... помирать скоро...— Не находя слов, он беспомощно глотал воздух и судорожно цеплялся за траву свободной рукой.

Мечик не смотрел на него, даже не слушал, но с каждым его словом что-то тихо вздрагивало в нем, словно чьи-то робкие пальцы обрывали в душе с еще живого стебля уже завядшие листья. «Все это кончилось и никогда не вернется...» — думал Мечик, и ему жаль было своих завядших листьев.

— Спать пойду...— сказал он Пике, чтобы как-нибудь отвязаться.— Устал я...

Он зашел глубже в чащу, лег под кусты и забылся в тревожной дремоте... Проснулся внезапно, будто от толчка. Сердце неровно билось, потная рубаха прилипла к телу. За кустом разговаривали двое: Мечик узнал Сташинского и Левинсона. Он осторожно раздвинул ветки и выглянул.

— ...Все равно,— сумрачно говорил Левинсон,— дольше держаться в этом районе немыслимо. Единственный путь — на север, в Тудо-Вакскую долину...— Он расстегнул сумку и вынул карту.— Вот... Здесь можно пройти хребтами, а спустимся по Хаунихедзе. Далеко, но что ж поделаешь...

Сташинский глядел не в карту, а куда-то в таежную глубь, точно взвешивая каждую, облитую человеческим потом версту. Вдруг он быстро замигал глазом и посмотрел на Левинсона.

— А Фролов?.. ты опять забываешь...

— Да — Фролов...— Левинсон тяжело опустился на траву. Мечик прямо перед собой увидел его бледный профиль.

— Конечно, я могу остаться с ним...— глухо сказал Сташинский после некоторой паузы.— В сущности, это моя обязанность...

— Ерунда! — Левинсон махнул рукой.— Не позже как завтра к обеду сюда придут японцы по свежим следам... Или твоя обязанность быть убитым?

— А что ж тогда делать?

— Не знаю...

Мечик никогда не видел на лице Левинсона такого беспомощного выражения.

— Кажется, остается единственное... я уже думал об этом...— Левинсон запнулся и смолк, сурово стиснув челюсти.

— Да?..— выжидательно спросил Сташинский.

Мечик, почувствовав недоброе, сильней подался вперед, едва не выдав своего присутствия.

Левинсон хотел было назвать одним словом то единственное, что оставалось им, но, видно, слово это было настолько трудным, что он не смог его выговорить. Сташинский взглянул на него с опаской и удивлением и... понял.

Не глядя друг на друга, дрожа и запинаясь и мучаясь этим, они заговорили о том, что уже было понятно обоим, но чего они не решались назвать одним словом, хотя оно могло бы сразу все выразить и прекратить их мучения.

«Они хотят убить его...» — сообразил Мечик и побледнел. Сердце забилось в нем с такой силой, что, казалось, за кустом тоже вот-вот его услышат.

— А как он — плох? Очень?..— несколько раз спросил Левинсон.— Если бы не это... Ну... если бы не мы его... одним словом, есть у него хоть какие-нибудь надежды на выздоровление?

— Надежд никаких... да разве в этом суть?

— Все-таки легче как-то,— сознался Левинсон. Он тут же устыдился, что обманывает себя, но ему действительно стало легче. Немного помолчав, он сказал тихо:— Придется сделать это сегодня же... только смотри, чтобы никто не догадался, а главное он сам... можно так?..

— Он-то не догадается... скоро ему бром давать, вот вместо брома... А может, мы до завтра отложим?..

— Чего ж тянуть... все равно... — Левинсон спрятал карту и встал.— Надо ведь — ничего не поделаешь... Ведь надо?..— Он невольно искал поддержки у человека, которого сам хотел поддержать.

«Да, надо...» — подумал Сташинский, но не сказал.

— Слушай,— медленно начал Левинсон,— да ты скажи прямо, готов ли ты? Лучше прямо скажи...

— Готов ли я? — сказал Сташинский.— Да, готов.

— Пойдем... — Левинсон тронул его за рукав, и оба медленно пошли к бараку.

«Неужели они сделают это?..» — Мечик ничком упал на землю и уткнулся лицом в ладони. Он пролежал так неизвестно сколько времени. Потом поднялся и, цепляясь за кусты, пошатываясь, как раненый, побрел вслед за Сташинским и Левинсоном.

Остывшие, расседланные лошади поворачивали к нему усталые головы; партизаны храпели на прогалине, некоторые варили обед. Мечик поискал Сташинского и, не найдя его, почти побежал к бараку.

Он поспел вовремя. Сташинский, стоя спиной к Фролову, протянув на свет дрожащие руки, наливал что-то в мензурку.

— Обождите!.. Что вы делаете?..— крикнул Мечик, бросаясь к нему с расширенными от ужаса глазами.— Обождите! Я все слышал!..

Сташинский, вздрогнув, повернул голову, руки его задрожали еще сильнее... Вдруг он шагнул к Мечику, и страшная багровая жила вздулась у него на лбу.

— Вон!..— сказал он зловещим, придушенным шепотом.— Убью!..

Мечик взвизгнул и, не помня себя, выскочил из барака. Сташинский тут же спохватился и обернулся к Фролову.

— Что... что это?..— спросил тот, опасливо косясь на мензурку.

— Это бром, выпей...— настойчиво, строго сказал Сташинский.

Взгляды их встретились и, поняв друг друга, застыли, скованные единой мыслью... «Конец...» — подумал Фролов и почему-то не удивился, не ощутил ни страха, ни волнения, ни горечи. Все оказалось простым и легким, и даже странно было, зачем он так долго мучился, так упорно цеплялся за жизнь и боялся смерти, если жизнь сулила ему новые страдания, а смерть только избавляла от них. Он в нерешительности повел глазами вокруг, словно отыскивая что-то, и остановился на нетронутом обеде, возле, на табуретке. Это был молочный кисель, он уже остыл, и мухи кружились над ним.

Впервые за время болезни в глазах Фролова появилось человеческое выражение — жалость к себе, а может быть, к Сташинскому. Он опустил веки, и когда открыл их снова, лицо его было спокойным и кротким.

— Случится, будешь на Сучане,— сказал он медленно,— передай, чтоб не больно уж там... убивались... Все к этому месту придут... да... Все придут,— повторял он с таким выражением, точно мысль о неизбежности смерти людей еще не была ему совсем ясна и доказана, но она была именно той мыслью, которая лишала личную — *его, Фролова,*— смерть ее особенного, отдельного страшного смысла и делала ее — эту смерть — чем-то обыкновенным, свойственным всем людям. Немного подумав, он сказал: — Сынишка там у меня есть на руднике... Федей звать... Об нем чтоб вспомнили, когда обернется все,— помочь там чем или как... Да давай, что ли!..— оборвал он вдруг сразу отсыревшим и дрогнувшим голосом.

Кривя побелевшие губы, знобясь и страшно мигая одним глазом, Сташинский поднес мензурку. Фролов поддержал ее обеими руками и выпил.

Мечик, спотыкаясь о валежник и падая, бежал по тайге, не разбирая дороги. Он потерял фуражку, волосы его свисали на глаза, противные и липкие, как паутина, в висках стучало, и с каждым ударом крови он повторял какое-то ненужное жалкое слово, цепляясь за него, потому что больше не за что было ухватиться. Вдруг он наткнулся на Варю и отскочил, дико блеснув глазами.

— А я-то ищу тебя...— начала она обрадованно и смолкла, испуганная его безумным видом.

Он схватил ее за руку, заговорил быстро, бессвязно:

— Слушай... они его отравили... Фролова... Ты знаешь? Они его...

— Что?.. отравили?.. молчи!..— крикнула она, вдруг поняв все сразу. И, властно притянув его к себе, зажала ему рот горячей, влажной ладонью.— Молчи!.. не надо... Идем отсюда.

— Куда?.. Ах, пусти!..— он рванулся и оттолкнул ее, лязгнув зубами.

Она снова схватила его за рукав и потащила за собой, повторяя настойчиво:

— Не надо... идем отсюда... увидят... Парень тут какой-то... так и вьется... идем скорее!..

Мечик вырвался еще раз, едва не ударив ее.

— Куда ты?.. постой!..— крикнула она, бросаясь за ним.

В это время из кустов выскочил Чиж,— она метнулась в сторону и, перепрыгнув через ручей, скрылась в ольховнике.

— Что — не далась? — быстро спросил Чиж, подбегая к Мечику.— А ну, может, мне посчастливится! — Он хлопнул себя по ляжке и кинулся вслед за Варей...

XII. ПУТИ-ДОРОГИ

Морозка с детства привык к тому, что люди, подобные Мечику, подлинные свои чувства — такие же простые и маленькие, как у Морозки,— прикрывают большими и красивыми словами и этим отделяют себя от тех, кто, как Морозка, не умеют вырядить свои чувства достаточно красиво. Он не сознавал, что дело обстоит именно таким образом, и не мог бы выразить это *своими* словами, но он всегда чувствовал между собой и этими людьми непроходимую стену из натащенных ими неизвестно откуда фальшивых крашеных слов и поступков.

Так, в памятном столкновении между Морозкой и Мечиком последний старался показать, что уступает Морозке из благодарности за спасение своей жизни. Мысль, что он подавляет в себе низменные побуждения ради человека, который даже не стоит этого, наполняла его существо приятной и терпеливой грустью. Однако в глубине души он досадовал и на себя и на Морозку, потому что на самом деле он желал Морозке всяческого зла и только сам не мог причинить его — из трусости и оттого, что испытывать терпеливую грусть много красивей и приятней.

Морозка чувствовал, что именно из-за этой красивости, которой нет в нем, в Морозке, Варя предпочла Мечика, считая, что в Мечике это не только внешняя красивость, а подлинная душевная красота. Вот почему, когда Морозка снова увидал Варю, он невольно попал в прежний безвыходный круг мыслей — о ней, о себе, о Мечике.

Он видел, что Варя все время пропадает где-то («наверно, с Мечиком!»), и долго не мог заснуть, хотя старался уверить себя, что ему все безразлично. При каждом шорохе он осторожно приподнимал голову, всматривался в темноту: не покажутся ли две их совестливо крадущиеся фигуры?

Однажды его разбудила какая-то возня. В костре шипели мокрые валежины, и громадные тени плясали по опушке. Окна в бараке то освещались, то гасли — кто-то чиркал спичкой. Потом из барака вышел Харченко, перекинулся словами с кем-то невидным в темноте и пошел меж костров, кого-то разыскивая.

— Кого нужно? — хрипло спросил Морозка. Не расслышав ответа, переспросил: — Что?

— Фролов умер,— глухо сказал Харченко.

Морозка туже натянул шинель и снова заснул.

На рассвете Фролова похоронили, и Морозка в числе других равнодушно закапывал его в могилу.

Когда седлали лошадей, обнаружилось, что исчез Пика. Его маленькая горбоносая лошадка уныло стояла под деревом, всю ночь не расседланная. Вид ее был жалок. «Сбежал, старость, не выдержал»,— подумал Морозка.

— Да ладно, не ищите,— сказал Левинсон, морщась от боли в боку, мучавшей его с утра.— Лошадь не забудьте... Нет, нет, не навьючивать!.. Начхоз где? Готово?.. По коням!..— Он сильно вздохнул и, сморщившись опять, грузно, будто нес в себе что-то большое и тяжелое, отчего сам стал большим и тяжелым, поднялся в седло.

Никто не пожалел о Пике. Только Мечик с болью почувствовал утрату. Хотя в последнее время старик не вызывал в нем ничего, кроме тоски и нудных воспоминаний, все же осталось такое ощущение, точно вместе с Пикой ушла какая-то часть его самого.

Отряд двинулся вверх по крутому, изъеденному козами гребню. Холодное голубовато-серое небо стлалось над ним. Далеко внизу мерещились синие пади, и туда из-под ног катились с шумом тяжелые валуны.

Обнимала их златолистая, сухотравная тайга в осенней ждущей тишине. В желтом ветвистом кружеве линял седобородый изюбр, пели прохладные родники, роса держалась весь день, прозрачная и чистая и тоже жел-

тая от листвы. А зверь ревел с самого утра тревожно, страстно, невыносимо, и чудилось в таежном золотом увядании мощное дыхание какого-то огромного, вечно живого тела.

Первым, кто почуял неладное между Морозкой и Варей, был ординарец Ефимка, посланный незадолго до обеденного отдыха к Кубраку с распоряжением: «Подтянуть хвост, чтобы кто-нибудь не откусил».

Ефимка с трудом проехал по цепи, изодрал штаны о колючий кустарник и поругался с Кубраком: взводный посоветовал ему не беспокоиться о чужом хвосте, а беречь лучше свой «щербатый нос». Между прочим, Ефимка заметил, что Морозка с Варей едут далеко друг от друга и что вчера их тоже не видно было вместе.

На обратном пути он, поравнявшись с Морозкой, спросил:

— Что-то, я смотрю, от жены ты бегаешь, чего вы там не поделили?

Морозка, смущенно и сердито посмотрев на его сухое, желчное лицо, сказал:

— Чего не поделили? Делить нам нечего. Бросил я ее...

— Бро-осил!..— Ефимка несколько минут молча и хмуро глядел куда-то вбок, точно раздумывая, подходит ли теперь это слово, если в прежних отношениях между Морозкой и Варей тоже не было прочной семейной связи.

— Ну что ж — и так бывает,— сказал он наконец,— тоись, я говорю, как кому повезет... Но-о, кобылка!..— Он жестко подхлестнул лошадку, и Морозка, проводив глазами его суконную рубаху, видел, как он докладывал что-то Левинсону, потом поехал рядом с ним.

«Эх, жистянка... н-ну!..» — подумал Морозка с каким-то, из последних сил, отчаянием, и ему стало очень грустно оттого, что сам он будто скован чем-то и не может так же беспечно разъезжать по цепи или разговаривать с соседом. «Хорошо им — едет себе, и никаких,— думал он с завистью.— А с чего им тужить на самом деле? Хотя б Левинсону?.. Человек во власти, всякий к нему с почетом — что хочу, то и делаю... Можно жить». И, не предполагая, что у Левинсона болит простуженный бок, что Левинсон несет в себе ответственность за смерть Фролова, что голова его оценена и

раньше всех может расстаться с телом,— Морозка думал о том, какие все-таки живут на свете здоровые, спокойные и обеспеченные люди и как ему самому решительно не везет в жизни.

Все те запутанные, надоедливые мысли, которые впервые родились в нем, когда он жарким июльским днем возвращался из госпиталя и кудрявые косари любовались его уверенной кавалерийской посадкой, те мысли, которые с особенной силой овладели им, когда он ехал по опустевшему полю после ссоры с Мечиком и одинокая бесприютная ворона сидела на покривившемся стогу,— все эти мысли приобрели теперь небывалую мучительную яркость и остроту. Морозка чувствовал себя обманутым в прежней своей жизни и снова видел вокруг себя только ложь и обман. Он не сомневался больше в том, что вся его жизнь от самых пеленок, вся эта тяжелая бессмысленная гульба и работа, кровь и пот, которые он пролил, и даже все его «беспечное» озорство — это не радость, нет, а беспросветный каторжный труд, которого никто не оценил и не оценит.

Он с неведомой ему — грустной, усталой, почти старческой — злобой думал о том, что ему уже двадцать семь лет, и ни одной минуты из прожитого нельзя вернуть, чтобы прожить ее по-иному, а впереди тоже не видно ничего хорошего, и он, может быть, очень скоро погибнет от пули, не нужный никому, как умер Фролов, о котором никто не пожалел. Морозке казалось теперь, что он всю жизнь всеми силами старался попасть на ту, казавшуюся ему прямой, ясной и правильной, дорогу, по которой шли такие люди, как Левинсон, Бакланов, Дубов (и даже Ефимка, казалось, ехал теперь по той же дороге), но кто-то упорно мешал ему в этом. И так как он никогда не мог подумать, что этот враг сидит в нем самом, ему особенно приятно и горько было думать о том, что он страдает из-за подлости людей — таких, как Мечик, в первую голову.

После обеда, когда он поил в ключе жеребца, к нему с таинственным видом подошел тот самый бойкий кудрявый парень, который когда-то украл у него жестяную кружку.

— Что я скажу тебе, а что я тебе скажу...— забормотал он мигающей скороговоркой.— Вот язви ее в копы-

та, в копыта, право слово, Варьку-то, Варьку... У меня, брат, ню-ух по этой части!..

— Что?.. По какой части? — грубо спросил Морозка, подняв голову.

— Насчет баб, очень я баб понимаю,— пояснил парень, немного смутившись.— Хоть и нет еще ничего, нет ничего, да меня, брат, не проведешь — нет, брат, не проведешь... Глазами она за им так и ширяет, так и ширяет.

— А он что? — возбужденно краснея, спросил Морозка, поняв, что речь идет о Мечике, и забыв, что он должен делать вид, что будто ничего не знает.

— А что ж он? Он ничего...— сказал парень каким-то неискренним, оглядывающимся голосом, точно все, о чем он говорил, неважно было по существу, а понадобилось ему только для того, чтобы загладить перед Морозкой старые свои грехи.

— Ну и хрен с ними! Мое какое дело? — Морозка фыркнул.— Может, и ты с ней спал — я почем знаю,— добавил он с презрением и обидой.

— Вот тебе!.. Да я ведь...

— Пошел, пошел к федькиной матери!..— внезапно раздражаясь, закричал Морозка.— На кой ты загнулся с нюхом своим. Пошел, н-ну!..— И он вдруг с силой ударил парня ногой по заду.

Мишка, испуганный его резким движением, рванулся в сторону и, попав подогнутыми задними ногами в воду, так и застыл, наставив на людей уши.

— Ах ты, с-су...— выдохнул парень с изумлением и гневом и, не договорив, кинулся на Морозку.

Они сцепились, как барсуки. Мишка, круто повернув, потрусил от них мелкой рысцой.

— Я тебе, драному в стос, покажу с нюхом с твоим!.. Я тебе...— рычал Морозка, сбоку суя кулаком и злясь, что парень не отпускает его, поэтому нельзя хорошо размахнуться.

— Ну, ребятишки! — сказал над ними чей-то удивленный голос.— Вон они что делают...

Две больших узловатых руки спокойно вклинились между ними и, схватив обоих за воротники, растащили в разные стороны. Оба, не поняв, в чем дело, снова ринулись друг к другу, но на этот раз получили по такому увесистому пинку, что Морозка, отлетев, ударился спи-

ной о дерево, а парень, зацепившись за валежину и помахав руками, грузно осел в воду.

— Давай руку, подсоблю...— без насмешки сказал Гончаренко.— Удумали тоже!

— Да как же он, стерва... гадов таких... убивать мало!..— кричал Морозка, порываясь к мокрому и оглупевшему парню. Тот, держась одной рукой за Гончаренку и обращаясь исключительно к нему, другой бил себя в грудь, голова его тряслась.

— Нет, ты скажи, нет, ты скажи,— повторял он, чуть не плача,— значит, всякому так: захотел — и в зад, захотел — и в зад? — Заметив, что к месту происшествия стекается народ, он пронзительно закричал: — Рази виноват, виноват кто, что жена, жена у его...

Гончаренко, опасаясь скандала, а еще больше за Морозкину судьбу (если о скандале узнает Левинсон), бросил визжавшего парня и, схватив Морозку за руку, потащил его за собой.

— Идем, идем,— строго говорил он упиравшемуся Морозке.— Вот вышибут тебя, сукиного сына...

Морозка, поняв наконец, что этот сильный и строгий человек действительно сочувствует ему, перестал сопротивляться.

— Что, что там случилось? — спросил бежавший им навстречу голубоглазый немец из взвода Метелицы.

— Медведя поймали,— спокойно сказал Гончаренко.

— Медве-едя?..— Немец выпучил глаза и, постояв немного, вдруг ринулся с такой прытью, как будто хотел поймать еще одного медведя.

Морозка впервые с любопытством посмотрел на Гончаренку и улыбнулся.

— Здоровый ты, холера,— сказал он, почувствовав какое-то удовлетворение от того, что Гончаренко здоровый.

— За что ты его? — спросил подрывник.

— Да как же... гадов таких!..— снова заволновался Морозка.— Да его б надо...

— Ну-ну,— успокоительно перебил Гончаренко,— за дело, значит?.. Ну-ну...

— Собира-айсь! — кричал где-то Бакланов звонким, срывающимся с мужского на мальчишеский голосом.

В это время из кустов высунулась мохнатая Мишкина голова. Мишка посмотрел на людей умным зеленокарим глазом и тихо заржал.

— Эх!..— вырвалось у Морозки.

— Ладный конек...

— Жизни не жалко! — Морозка восторженно хлопнул жеребца по шее.

— Жизнью ты лучше не кидайся — сгодится...— Гончаренко чуть улыбнулся в темную курчавую бороду.— Мне еще коня поить, гуляй себе.— И он крепким, размашистым шагом пошел к своей лошади.

Морозка снова с любопытством проводил его глазами, раздумывая, почему он раньше не обращал внимания на такого удивительного человека.

Потом, когда становились взводы, он, сам того не замечая, пристроился рядом с Гончаренко и уж всю дорогу до Хаунихедзы не расставался с ним.

Варя, Сташинский и Харченко, зачисленные во взвод Кубрака, ехали почти в самом хвосте. На поворотах хребта виден был весь отряд, растянувшийся длинной цепочкой: впереди, согнувшись, ехал Левинсон; за ним, бессознательно перенимая его позу, Бакланов.

Где-то за спиной Варя все время чувствовала Мечика, и обида на его вчерашнее поведение шевелилась в ней, заслоняя то большое и теплое чувство, которое она постоянно испытывала к нему.

Со времени ухода Мечика из госпиталя она ни на минуту не забывала о его существовании и жила одной мыслью о новой их встрече. С этим днем у нее связаны были самые задушевные, затаенные — о которых никому нельзя рассказывать,— но вместе с тем такие живые, земные, почти осязаемые мечты. Она представляла себе, как он появится на опушке — в шагреневой рубахе, красивый, стройный, белокурый, немножко робеющий,— она чувствовала на себе его дыхание, мягкие курчавые волосы под рукой, слышала его нежный, влюбленный говор. Она старалась не вспоминать о недоразумениях с ним, ей казалось почему-то, что такое не может больше повториться. Одним словом, она представляла себе будущие отношения к Мечику такими, какими они никогда не были, но какими они были бы ей приятны, и старалась не думать о том, что действительно могло случиться, но доставило бы ей огорчение.

Столкнувшись с Мечиком, она, по свойственной ей чуткости к людям, поняла, что он слишком расстроен и возбужден, чтобы следить за своими поступками, и что расстроившие его события много важнее всяких ее личных обид. Но именно потому, что раньше эта встреча представлялась ей по-иному, нечаянная грубость Мечика оскорбила и напугала ее.

Варя впервые почувствовала, что грубость эта не случайна, что Мечик, может быть, совсем не тот, кого ждала она долгие дни и ночи, но что нет у нее никого другого.

У нее не хватало мужества сразу сознаться в этом: не так легко было выбросить все, чем долгие дни и ночи она жила — страдала, наслаждалась,— и ощутить в душе внезапную, ничем не заполнимую пустоту. И она заставляла себя думать так, будто ничего особенного не случилось, будто все дело в неудачной смерти Фролова, будто все пойдет по-хорошему, но вместо того с самого утра думала только о том, как Мечик обидел ее и как он не имел права обижать ее, когда она подошла к нему со своими мечтами и со своей любовью.

Весь день она испытывала мучительное желание увидеть Мечика и поговорить с ним, но ни разу не оглянулась и даже во время обеденного отдыха не подошла к нему. «Что я буду бегать за ним, как девочка? — думала она.— Ежели он вправду любит меня, как говорил, пущай подойдет первый, я ни словом не попрекну его. А ежели не подойдет, все равно — одна останусь... так ничего и не будет».

На главном становике тропа пошла шире, и рядом с Варей пристроился Чиж. Вчера ему не удалось поймать ее, но он был настойчив в таких делах и не терял надежды. Она чувствовала прикосновение его ноги, он дышал ей на ухо какие-то стыдные слова, но, погруженная в свои мысли, она не слушала его.

— Ну как же вы, а? — приставал Чиж (он говорил «вы» всем лицам женского пола, независимо от их возраста, положения и отношения к нему).— Согласны — нет?..

«...Я все понимаю, разве я требую от него что-нибудь? — думала Варя.— Но неужто ему трудно было уважить меня?.. А может, он сам теперь страдает — думает, я на него в обиде. Что, ежели поговорить с ним?

Как?! После того, как он прогнал меня?.. Нет, нет, и пущай ничего не будет...»

— Да что вы, милая, оглохли, что ли? Согласны, говорю?

— Чего согласны? — очнулась Варя.— Да ну тебя ко всем!

— Здравствуйте вам...— Чиж обиженно развел руками.— Да что вы, милая, представляетесь, будто в первый раз или маленькая.— Он принялся снова терпеливо нашептывать ей на ухо, убежденный, что она слышит и понимает его, но ломается, чтобы, по бабьей привычке, набить себе цену.

Наступал вечер, овраги темнели, лошади устало фыркали, туман густел над ключами и медленно полз в долины, а Мечик все не подъезжал к Варе и, как видно, не собирался. И чем больше она убеждалась в том, что он так и не подъедет к ней, тем сильнее она чувствовала бесплодную тоску и горечь прежних своих мечтаний и тем труднее ей было расстаться с ними.

Отряд спускался в балку на ночлег, в сырой пугливой тьме копошились лошади и люди.

— Так вы не забудьте, миленькая,— с ласковой наглой настойчивостью проговорил Чиж.— Да, огонек я в сторонке разложу. Имейте это в виду...— Немного погодя он кричал кому-то: — То есть как — «куда лезешь»? А ты чего стал на дороге?

— А ты чего в чужой взвод прешься?

— Как чужой? Разуй глаза!..

После короткого молчания, во время которого оба, очевидно, разували глаза, спрашивавший заговорил виноватым, съехавшим голосом:

— Тьфу, и правда «кубраки»... А Метелица где? — И, как бы вполне загладив виноватым голосом свою ошибку, он снова натужно закричал: — Мете-елица!

А внизу кто-то, до того раздраженный, что, казалось, не исполни его требования — он или покончит с собой, или начнет убивать других, вопил:

— Огня-а давай!.. Огня-а-а дава-ай!..

Вдруг на самом дне балки полыхнуло бесшумное зарево костра и вырвало из темноты мохнатые конские головы, усталые лица людей в холодном блеске патронташей и винтовок.

Сташинский, Варя и Харченко отъехали в сторону и тоже спешились.

— Ничего, теперь отдохнем, ог-гонек запалим! — с нарочитой и никого не веселящей бодростью говорил Харченко.— Ну-ка, за хворостом!..

— ...Всегда вот так — вовремя не остановимся, а потом страдаем,— рассуждал он тем же малоутешительным тоном, шаря руками в мокрой траве и действительно страдая — от сырости, от темноты, от боязни, что его укусит змея, и от угрюмого молчания Сташинского.— Помню, вот тоже с Сучана шли — давно б уж заночевать пора, хоть глаз выколи, а мы...

«И зачем он говорит все это? — думала Варя.— Сучан... куда-то они шли... глаза выкололи... Ну, кому все это нужно теперь? Ведь все, все уже кончилось, и ничего не будет». Ей хотелось есть, и от этого как-то усиливалось другое ощущение — немой и сдавленной пустоты, которую она теперь ничем не могла заполнить. Она едва не расплакалась.

Однако, поев и отогревшись, все трое повеселели, и окружавший их темно-синий, чужой и холодный мир показался уже своим, уютным и теплым.

— Эх, шинель ты моя, шинель,— сытым голосом говорил Харченко, развертывая скатку.— На огне не горит и в воде не тонет. Вот бы мне бабу сюда!..— Он подмигнул и рассмеялся.

«И чего я взъелась на него? — думала Варя, чувствуя, как от веселого костра, от съеденной каши, от домашних разговоров Харченки к ней возвращаются обычная ее мягкость и доброта.— И ничего ведь не было, с чего я так расстроилась? И парень сидит да скучает из-за моей дурости... А ведь стоит только пойти к нему, и все, все пойдет, как сначала...»

И ей вдруг так не захотелось носить в себе что-то обидное и злое и страдать от этого, когда всем вокруг так хорошо и бездумно и когда ей тоже может быть бездумно хорошо, что она тут же решила выбросить все из головы и пойти к Мечику, и не было уже в этом ничего зазорного для нее или плохого.

«Мне ничего, ничего не нужно,— думала она, сразу повеселев,— лишь бы он только хотел и любил меня, лишь бы он возле был... нет, я бы все отдала, ежели бы

он всегда ездил, говорил, спал со мною, такой красивый и молоденький...»

Мечик и Чиж развели отдельный костер на отлете. Они поленились сварить себе ужин, пожарили над огнем сало и, так как налегали на него больше, чем на хлеб, истратив все, оба сидели голодные.

Мечик еще не пришел в себя после смерти Фролова и исчезновения Пики. Весь день он будто плыл в тумане, сотканном из чужих и строгих, отделяющих его от остальных людей мыслей об одиночестве и смерти. К вечеру эта пелена спала, но он никого не хотел видеть и всех боялся.

Варя с трудом отыскала их костер. Вся балка жила в таких же кострах и дымных песнях.

— Вот вы куда запрятались? — сказала она, выходя из кустов с бьющимся сердцем.— Здравствуйте.

Мечик вздрогнул и, чуждо-испуганно посмотрев на нее, отвернулся к огню.

— А-а...— приятно осклабился Чиж...— Вас только и не хватало. Садитесь, милая, садитесь...

Он засуетился, распахнул шинель и показал ей место рядом. Но она не села с ним. Его обычная пошлость — качество, которое она сразу почувствовала в нем, хотя и не знала, что это такое,— теперь особенно неприятно резнула ее.

— Пришла проведать тебя, а то ты нас совсем забыл,— заговорила она певучим, волнующимся голосом, обращаясь к Мечику и не скрывая, что пришла исключительно из-за него.— Там уж и Харченко справлялся, как, мол, здоровье, шибко, мол, раненный парень был, а теперь будто и ничего, о себе уж я не говорю...

Мечик молча пожал плечами.

— Скажите, живем прекрасно — что за вопрос! — воскликнул Чиж, охотно принимая все на себя.— Да вы садитесь рядом, чего стесняетесь?

— Ничего, я ненадолго,— сказала она,— так только, проходом...— Ей стало вдруг обидно, что она пришла из-за Мечика, а он пожимает плечами. Она добавила: — А вы, видать, ничего и не кушали — котелок чистый...

— Чего там не кушали? Если бы продукты хорошие давали, а то черт знает что!..— Чиж брезгливо поморщился.— Да вы садитесь рядом! — с отчаянным раду-

шием повторил он снова и, схватив ее за руку, притянул к себе.— Садитесь же!..

Она опустилась возле на шинель.

— Уговор-то наш помните? — Чиж интимно подмигнул.

— Какой уговор? — спросила она, с испугом припоминая что-то. «Ах, не надо, не надо было приходить»,— вдруг подумала она, и что-то большое и тревожное оборвалось в ней.

— То есть как — какой?.. А вот обождите...— Чиж быстро перегнулся к Мечику.— Хоть в обществе секретов и не полагается,— сказал он, обняв его за плечо и оборачиваясь к ней,— но...

— Какие там секреты?..— сказала она с неестественной улыбкой и, быстро мигая, начала зачем-то поправлять волосы дрожащими, непослушными пальцами.

— Какого ты черта сидишь, как тюлень? — быстро зашептал Чиж на ухо Мечику.— Тут все уже сговорено, а ты...

Мечик отпрянул от Чижа, мельком взглянул на Варю и густо покраснел. «Ну что, дождался? Видишь теперь, что делается»,— с укором сказал ему ее плывущий взгляд.

— Нет, нет, я пойду... нет. нет,— забормотала она, как только Чиж снова повернулся к ней, точно он уже предлагал ей нечто позорное и унизительное.— Нет, нет, я пойду...— Она вскочила и пошла мелким, скорым шагом, низко склонив голову; скрылась в темноте.

— Опять из-за тебя упустили... Раз-зява!..— прошипел Чиж презрительно и злобно. Вдруг он подпрыгнул, подхваченный какой-то стихийной силой, и стремительными скачками, точно его подбрасывал кто-то, помчался вслед за Варей.

Он нагнал ее в нескольких саженях и, крепко обняв, повлек в кусты, приговаривая:

— Ну же, миленькая... ну, девочка...

— Пусти меня... отстань... кричать буду!..— просила она, слабея и чуть не плача, но чувствуя, что у нее нет сил кричать и что кричать ей теперь не нужно: незачем и не для кого.

— Ну, миленькая, ну зачем же! — приговаривал Чиж, зажав ей рот и все больше возбуждаясь от собственной нежности.

«И правда, зачем? Ну, кому это нужно теперь? — подумала она устало.— Но ведь это Чиж... да, но ведь это же Чиж... откуда он, почему он?.. Ах, не все ли равно...» И ей действительно стало все безразлично.

XIII. ГРУЗ

— Не люблю я их, мужиков, душа не лежит,— говорил Морозка, плавно покачиваясь в седле, и в такт, когда Мишка ступал правой передней ногой, сшибал плетью ярко-желтые листья березок.— Бывал я тоже у деда. Двое дядьков там у меня — землю пашут. Нет, не лежит душа! Не то, не то — кровь другая: скупые, хитрые они.. да что там! — Морозка, упустив березку, чтобы не потерять такт, хлестнул себя по сапогу.— А с чего бы, кажись, хитрить, скупиться? — спросил он, подымая голову.— Ну, ведь ни хрена, ни хре-на же у самих нету, подметай — чисто!..— И он засмеялся будто бы чужим, наивным, жалеющим смешком.

Гончаренко слушал, глядя промеж конских ушей, в серых его глазах стояло умное и крепкое выражение, какое бывает у людей, умеющих хорошо слушать, а еще лучше — думать по поводу услышанного.

— А я думаю, каждого из нас колупни,— сказал он вдруг,— *из нас*,— подчеркнул для большей прочности и посмотрел на Морозку,— меня, к примеру, или тебя, или вон Дубова,— в каждом из нас мужика найдешь... Найдешь,— повторил он убежденно.— Со многими потрохами, разве что только без лаптей...

— Это насчет чего? — оглянулся Дубов.

— А то и с лаптями... Разговор у нас насчет мужика... В каждом, говорю, из нас мужик сидит...

— Ну-у...— усомнился Дубов.

— А как же иначе?.. У Морозки, скажем, дед в деревне, дядья; у тебя...

— У меня, друг, никого,— перебил Дубов,— да и слава богу! Не люблю, признаться, это семя... Хотя Кубрака возьми: ну сам он еще Кубрак Кубраком (не с каждого ж ума спросить!), а взвод он набрал? — И Дубов презрительно сплюнул.

Разговор этот происходил на пятый день пути, когда отряд спустился к истокам Хаунихедзы. Ехали

они по старой зимней дороге, устланной мягким, засыхающим пырником. Хотя ни у кого не осталось ни крошки из харчей, припасенных в госпитале помощником начхоза, все были в приподнятом настроении, чувствуя близость жилья и отдыха.

— Ишь, что делает? — подмигнул Морозка.— Дубов-то наш — старик, а? — И он засмеялся, удивляясь и радуясь тому, что взводный согласен с ним, а не с Гончаренкой.

— Нехорошо ты говоришь о народе,— сказал подрывник, нисколько не обескураженный.— Ладно, пущай у тебя никого, не в том дело — у меня теперь тоже никого. Рудник наш возьмем... Ну, ты, правда, еще российский, а Морозка? Он, окромя своего рудника, почти что ничего не видал...

— Как не видал? — обиделся Морозка.— Да я на фронте...

— Пущай, пущай,— замахал на него Дубов,— ну, пущай не видал...

— Так это ж деревня, рудник ваш,— спокойно сказал Гончаренко.— У каждого огород — раз. Половина на зиму приходит, на лето — обратно в деревню... Да у вас там зюбры кричат, как в хлеву!.. Был я на вашем руднике.

— Деревня? — удивлялся Дубов, не поспевая за Гончаренкой.

— А то что же? Копаются жинки ваши по огородам, народ кругом тоже все деревенский, а разве не влияет?.. Влияет! — И подрывник привычным жестом рассек воздух ладонью, поставленной на ребро.

— Влияет... Конечно...— неуверенно сказал Дубов, раздумывая, нет ли в этом чего-нибудь позорного для «угольного племени».

— Ну, вот... Возьмем теперь город; велики ль, сказать, города наши, много ль городов у нас? Раз, два и обчелся... На тысячи верст — сплошная деревня... Влияет, я спрашиваю?

— Обожди, обожди,— растерялся взводный,— на тысячи верст? как сплошная?.. ну да — деревня... ну влияет?

— Вот и выходит, что в каждом из нас — трошки от мужика,— сказал Гончаренко, возвращаясь к исходной точке и этим точно покрывая все, о чем говорил Дубов.

— Ловко подвел! — восхитился Морозка, которого с момента вмешательства Дубова спор интересовал только как проявление человеческой ловкости.— Заел он тебя, старик, и крыть нечем!

— Это я к тому,— пояснил Гончаренко, не давая Дубову опомниться,— что гордиться нам не нужно перед мужиком, хотя б и Морозке,— без мужика нам тоже...— Он покачал головой и смолк; и, видимо, все, о чем говорил потом Дубов, не в состоянии было его разубедить.

«Умный черт,— подумал Морозка, сбоку поглядывая на Гончаренку и проникаясь все большим уважением к нему.— Так припер старика — никуда не денешься». Морозка знал, что Гончаренко, как и все люди, может ошибаться, поступать несправедливо,— в частности, Морозка совсем не чувствовал на себе того мужицкого груза, о котором так уверенно говорил Гончаренко,— но все же он верил подрывнику больше, чем кому-либо другому. Гончаренко был «свой в доску», он «мог понимать», он «сознавал», а кроме того, он не был пустословом, праздным человеком. Его большие узловатые руки были жадны к работе, исполняли ее, на первый взгляд, медленно, но на самом деле споро — каждое их движение было осмысленно и точно.

И отношения между Морозкой и Гончаренкой достигли той первой, необходимой в дружбе, ступени, о которой партизаны говорят: «Они спят под одной шинелькой», «они едят из одного котелка».

Благодаря ежедневному общению с ним Морозка начинал думать, что сам он, Морозка, тоже исправный партизан: лошадь у него в порядке, сбруя крепко зачинена, винтовка вычищена и блестит, как зеркало, в бою он первый и надежнейший, товарищи любят и уважают его за это. И, думая так, он невольно приобщался к той осмысленной здоровой жизни, какой, казалось, всегда живет Гончаренко, то есть к жизни, в которой нет места ненужным и праздным мыслям...

— О-ой... стой!..— кричали впереди. Возглас передавался по цепи, и в то время как передние уже стали, задние продолжали напирать. Цепочка смешалась.

— Э-э... ут... Метелицу зовут...— снова побежало по цепи. Через несколько секунд, согнувшись по-ястребиному, промчался Метелица, и весь отряд с бессознатель-

ной гордостью проводил глазами его не отмеченную никакими уставами цепкую пастушью посадку.

— Поехать и мне, узнать, что там такое,— сказал Дубов.

Немного погодя он вернулся раздраженный, стараясь, однако, не показывать этого.

— В разведку Метелица едет, ночевать здесь будем,— сказал сдержанно, но в голосе его слышно для всех клокнули злые, голодные нотки.

— Как так, не евши?! О чем они там думают?! — закричали кругом.

— Отдохнули, называется...

— Вот язви его в свет!..— присоединился Морозка.

Впереди уже спешивались.

Левинсон решил заночевать в тайге, потому что не был уверен, что низовье Хаунихедзы свободно от неприятеля. Однако он надеялся, что даже в этом случае ему удастся, прощупав путь разведкой, пробраться в долину Тудо-Ваки, богатую лошадьми и хлебом.

Всю дорогу мучила его непереносная, усиливающаяся с каждым днем боль в боку, и он знал уже, что боль эту — следствие усталости и малокровия — можно вылечить только неделями спокойной и сытной жизни. Но так как еще лучше он знал, что долго не будет для него спокойной и сытной жизни, он всю дорогу приноравливался к новому своему состоянию, уверяя себя, что эта «совсем пустяковая болезнь» была у него всегда и потому никак не может помешать ему выполнить то дело, которое он считал своей обязанностью выполнить.

— А на мое мнение — надо иттить...— не слушая Левинсона и глядя на его ичиги, в четвертый раз повторил Кубрак с тупым упрямством человека, который не желает ничего знать, кроме того, что ему хочется есть.

— Ну, если уж тебе так невтерпеж, иди сам... сам иди... оставь себе заместителя и иди... А подводить весь отряд нам нет никакого расчета...

Левинсон говорил с таким выражением, точно у Кубрака был именно этот неправильный расчет.

— Иди-ка, брат, лучше караул снаряжай,— прибавил он, пропустив мимо ушей новое замечание взводно-

го. Увидев, однако, что тот собирается настаивать, он вдруг нахмурился и строго спросил: — Что?..

Кубрак поднял голову и замигал.

— Вперед по дороге пустишь конный дозор,— продолжал Левинсон с прежней, чуть заметной издевкой в голосе,— а назад на полверсте поставишь пеший караул; лучше всего у ключа, что переезжали. Понятно?

— Понятно,— угрюмо сказал Кубрак, удивляясь, почему он говорит это, а не то, что ему хочется. «Холера двужильная»,— думал он о Левинсоне, с бессознательной, прикрытой уважением, неприязнью к нему и жалостью к себе.

Ночью, проснувшись внезапно, как он часто просыпался в последнее время, Левинсон вспомнил этот разговор с Кубраком и, закурив, пошел проверять караулы.

Стараясь не ступать на шинели спящих, пробрался он меж тлеющих костров. Крайний справа горел ярче других, возле него на корточках сидел дневальный и грел руки, протянув их ладонями к огню. Он, видно, совсем забыл об этом,— темная баранья шапка сползла ему на затылок, глаза были задумчиво, широко раскрыты, и он чуть улыбался доброй детской улыбкой. «Вот ловко!..» — подумал Левинсон, почему-то именно этим словом выразив то неясное чувство тихого, немножко жуткого восторга, которое сразу овладело им при виде этих синих, тлеющих костров, улыбающегося дневального и — от всего, что смутно ждало его в ночи.

И он пошел еще тише и аккуратней — не для того, чтобы остаться незамеченным, а для того, чтобы не вспугнуть улыбку дневального. Но тот так и не очнулся и все улыбался на огонь. Наверно, этот огонь и идущий из тайги мокрый хрустящий звук выщипываемой травы напоминали дневальному «ночное» в детстве: росистый месячный луг, далекий крик петухов на деревне, притихший конский табун, побрякивающий путами, резвое пламя костра перед детскими зачарованными глазами... Костер этот уже отгорел и потому казался дневальному ярче и теплее сегодняшнего.

Едва Левинсон отошел от лагеря, как его обняла сырая, пахучая темь, ноги тонули в чем-то упругом, пахло грибами и гниющим деревом. «Какая жуть!» — подумал он и оглянулся. Позади не было уже ни одного золотистого просвета — лагерь точно провалился вместе с улы-

бающимся дневальным. Левинсон глубоко вздохнул и нарочито веселым шагом пошел по тропинке вглубь.

Через некоторое время он услышал тихое журчание ключа, постоял немного, вслушиваясь в темноту, и, улыбнувшись про себя, зашагал еще быстрее, стараясь сильнее шуршать, чтобы было слышно.

— Кто?.. Кто там?..— раздался из темноты срывающийся голос.

Левинсон узнал Мечика и пошел напрямик, не отзываясь. В сжавшейся тишине лязгнул затвор и, запнувшись за что-то, жалобно заскрипел. Слышно было, как нервничают руки, стараясь дослать патрон.

— Почаще смазывать надо,— насмешливо сказал Левинсон.

— Ах, это вы?..— с облегчением вырвалось у Мечика.— Нет, я смазываю... не знаю, что там случилось...— Он смущенно посмотрел на командира и, забыв про открытый затвор, опустил винтовку.

Мечик попал в караул в третью смену, в полночь. Прошло не более получаса, как отшуршали в траве неспешные шаги разводящего, но Мечику казалось, что он стоит уже очень долго. Он был наедине со своими мыслями в большом враждебном мире, где все шевелилось, медленно жило чужой, сторожкой и хищной жизнью.

В сущности, все это время его занимала только одна мысль, которая неизвестно когда и откуда родилась в нем, но теперь он неизменно возвращался к ней, о чем бы ни думал. Он знал, что никому не скажет об этой мысли, знал, что мысль эта чем-то плоха, очень постыдна, но он также знал, что теперь уже не расстанется с ней — всеми силами постарается выполнить ее, потому что это было последнее и единственное, что ему оставалось.

Мысль эта сводилась к тому, чтобы тем или иным путем, но как можно скорее уйти из отряда.

И прежняя жизнь в городе, казавшаяся раньше такой безрадостной и скучной, теперь, когда он думал о том, что снова сможет вернуться к ней, выглядела такой счастливой и беззаботной и единственно возможной.

Увидев Левинсона, Мечик смутился не столько оттого, что винтовка была не в порядке, сколько оттого, что с этими своими мыслями он был захвачен врасплох.

— Ну и вояка! — сказал Левинсон добродушно. После улыбающегося дневального ему не хотелось сердиться.— Жутко стоять, да?

— Нет... чего же,— смешался Мечик,— я уж привык...

— А я вот никак не могу привыкнуть,— усмехнулся Левинсон.— Уж сколько один хожу и езжу — днем и ночью,— а все жутко... Ну, как тут, спокойно?

— Спокойно,— сказал Мечик, глядя на него с удивлением и некоторой робостью.

— Ну, ничего, скоро вам легче будет,— отозвался Левинсон как бы не на слова Мечика, а на то, что крылось под ними.— Только бы на Тудо-Ваку выйти, а там легче... Куришь? Нет?

— Нет, не курю... так, иногда балуюсь,— поспешно добавил Мечик, вспомнив про Варин кисет, хотя Левинсон и не мог знать про существование этого кисета.

— А не скучно без курева?.. «Табак дело», как сказал бы Канунников,— был у нас такой хороший партизан. Не знаю, пробрался ли он в город...

— А зачем он пошел туда? — спросил Мечик, и от какой-то неясной мысли у него забилось сердце.

— Послал я его с донесением, да время очень тревожное, а там вся наша сводка.

— Так можно ведь и еще послать,— сказал Мечик неестественным голосом, стараясь делать вид, будто нет ничего особенного в его словах.— Не думаете еще послать?

— А что? — насторожился Левинсон.

— Да так... Если думаете — могу я свезти... Мне там все знакомо.

Мечику показалось, что он слишком поторопился и Левинсону теперь все стало ясно.

— Нет, не думаю...— в раздумье протянул Левинсон.— У вас там что? родные?

— Нет, я вообще там работал... то есть у меня есть там родные, но я не потому... нет, вы можете на меня положиться: когда я работал в городе, мне не раз приходилось перевозить секретные пакеты.

— А с кем вы работали?

— Работал я с максималистами, но я думал тогда, что это все равно...

— То есть как все равно?

— Да с кем ни работать...

— А теперь?

— А теперь меня как-то с толку сбили,— тихо сказал Мечик, не зная, что же наконец от него требуется.

— Так...— протянул Левинсон, словно это и было как раз то, что требуется.— Нет, нет, не думаю... не думаю отправлять,— повторил он снова.

— Нет, вы знаете, почему я еще заговорил об этом?..— начал Мечик с внезапной нервной решимостью, и голос его задрожал.— Вы только не подумайте обо мне плохо и вообще не думайте, что я скрываю что-нибудь,— я буду с вами совсем откровенным...

«Сейчас я скажу ему все»,— подумал он, чувствуя, что действительно сейчас все скажет, не зная, хорошо ли это, или плохо.

— Я заговорил об этом еще потому, что мне кажется, что я никуда не годный и никому не нужный партизан, и будет лучше, если вы меня отправите... Нет, вы не подумайте, что я боюсь или прячу от вас что-нибудь, но ведь я же на самом деле ничего не умею и ничего не понимаю... Ведь я ни с кем, ни с кем здесь не могу сойтись, ни от кого не вижу поддержки, а разве я виноват в этом? Я ко всем подходил с открытой душой, но всегда натыкался на грубость, насмешки, издевательства, хотя я был в боях вместе со всеми и был тяжело ранен — вы это знаете... Я теперь никому не верю... я знаю, что, если бы я был сильнее, меня бы слушались, меня бы боялись, потому что каждый здесь только с этим и считается, каждый смотрит только за тем, чтобы набить свое брюхо, хотя бы для этого украсть у своего товарища, и никому нет дела до всего остального... Мне даже кажется иногда, что если бы они завтра попали к Колчаку, они так же служили бы Колчаку и так же жестоко расправлялись бы со всеми, а я не могу, а я не могу этого делать!..

Мечик чувствовал, как с каждым словом разрывается в нем какая-то мутная пелена, слова с необыкновенной легкостью вылетают из растущей дыры, и от этого ему самому становилось легче. Хотелось говорить еще и еще, и было уже совсем безразлично, как отнесется к этому Левинсон.

«Вот тебе и на... ну — каша!..» — думал Левинсон, все с большим любопытством вслушиваясь в то, что нервно билось под словами Мечика.

— Постой,— сказал он наконец, тронув его за рукав, и Мечик с особенной ясностью почувствовал на себе его большие и темные глаза.— Ты, брат, наговорил — не проворотишь!.. Остановимся пока на этом. Возьмем самое важное... Ты говоришь, что каждый здесь смотрит только за тем, чтобы набить свое брюхо...

— Да нет же! — воскликнул Мечик: ему казалось, что самое важное в его словах было не это, а то, как ему плохо здесь живется, как все его несправедливо обижают и как он хорошо делает, говоря об этом откровенно, начистоту.— Я хотел сказать...

— Нет, обожди уж, теперь я скажу,— мягко перебил Левинсон.— Ты сказал, что каждый здесь смотрит только за тем, чтобы набить свое брюхо, и, если бы мы попали к Колчаку...

— Нет, я не говорил о вас лично!.. Я...

— Это все равно... Если бы они попали к Колчаку, то они так же жестоко и бессмысленно исполняли бы то дело, какое угодно было Колчаку? Но это же совсем неверно!..— И Левинсон стал привычными словами разъяснять, почему это кажется ему неверным.

Но чем дальше он говорил, тем яснее ему становилось, что он тратит слова впустую. По тем отрывистым замечаниям, которые вставлял Мечик, он чувствовал, что нужно бы было говорить о чем-то другом, более основном и изначальном, к чему он сам не без труда подошел в свое время и что вошло теперь в его плоть и кровь. Но об этом не было возможности говорить теперь, потому что каждая минута сейчас требовала от людей уже осмысленного и решительного действия.

— Ну, что ж с тобой сделаешь,— сказал он наконец с суровой и доброй жалостью,— пеняй тогда сам на себя. А идти тебе некуда. Глупо. Убьют тебя, и все... Лучше подумай как следует, особенно над тем, что я сказал... Об этом не вредно подумать...

— Я только об этом и думаю,— глухо сказал Мечик, и прежняя нервная сила, заставлявшая его говорить так много и смело, сразу покинула его.

— А главное — не считай своих товарищей хуже

себя. Они не хуже, нет...— Левинсон достал кисет и медленно стал свертывать папироску.

Мечик с вялой тоской наблюдал за ним.

— А затвор ты замкни все-таки,— сказал вдруг Левинсон, и видно было, что он во все время их разговора помнил о раскрытом затворе.— Пора бы уж привыкнуть к таким вещам — не дома.— Он чиркнул спичкой, и на мгновение выступили из темноты его полузакрытые веки с длинными ресницами, тонкие ноздри, бесстрастная рыжая борода.— Да, как кобыла твоя? Ты все на ней ездишь?

— На ней...

Левинсон подумал.

— Вот что: завтра я тебе Нивку дам, знаешь? Пика на ней ездил... А Зючиху начхозу сдашь. Сойдет?

— Сойдет,— грустно сказал Мечик.

«Экий непроходимый путаник»,— думал потом Левинсон, мягко и осторожно ступая в темную траву и часто пыхая цигаркой. Он был немножко взволнован всем этим разговором. Он думал о том, как Мечик все-таки слаб, ленив, безволен и как же на самом деле безрадостно, что в стране плодятся еще такие люди — никчемные и нищие. «Да, до тех пор, пока у нас, на нашей земле,— думал Левинсон, заостряя шаг и чаще пыхая цигаркой,— до тех пор, пока миллионы людей живут еще в грязи и бедности, по медленному, ленивому солнцу, пашут первобытной сохой, верят в злого и глупого бога — до тех пор могут рождаться на ней такие ленивые и безвольные люди, такой никчемный пустоцвет...»

И Левинсон волновался, потому что все, о чем он думал, было самое глубокое и важное, о чем он только мог думать, потому что в преодолении этой скудости и бедности заключался основной смысл его собственной жизни, потому что не было бы никакого Левинсона, а был бы кто-то другой, если бы не жила в нем огромная, не сравнимая ни с каким другим желанием жажда нового, прекрасного, сильного и доброго человека. Но какой может быть разговор о новом, прекрасном человеке до тех пор, пока громадные миллионы вынуждены жить такой первобытной и жалкой, такой немыслимо-скудной жизнью.

«Но неужели и я когда-нибудь был такой или похожий?» — думал Левинсон, мысленно возвращаясь

к Мечику. И он пытался представить себя таким, каким он был в детстве, в ранней юности, но это давалось ему с трудом: слишком прочно и глубоко залегли — и слишком значительны для него были — напластования последующих лет, когда он был уже тем Левинсоном, которого все знали именно как *Левинсона*, как человека, всегда идущего во главе.

Он только и смог вспомнить старинную семейную фотографию, где тщедушный еврейский мальчик — в черной курточке, с большими наивными глазами — глядел с удивительным, недетским упорством в то место, откуда, как ему сказали тогда, должна была вылететь красивая птичка. Она так и не вылетела, и помнится, он чуть не заплакал от разочарования. Но как много понадобилось еще таких разочарований, чтобы окончательно убедиться в том, что «так не бывает!».

И когда он действительно убедился в этом, он понял, какой неисчислимый вред приносят людям лживые басни о красивых птичках — о птичках, которые должны откуда-то вылететь и которых многие бесплодно ожидают всю свою жизнь... Нет, он больше не нуждался в них! Он беспощадно задавил в себе бездейственную, сладкую тоску по ним — все, что осталось в наследство от ущемленных поколений, воспитанных на лживых баснях о красивых птичках!.. «Видеть все так, как оно есть,— для того, чтобы изменять то, что есть, приближать то, что рождается и должно быть»,— вот к какой — самой простой и самой нелегкой — мудрости пришел Левинсон.

«...Нет, все-таки я был крепкий парень, я был много крепче его,— думал он теперь с необъяснимым, радостным торжеством, которого никто не мог бы понять, даже предположить в нем,— я не только многого хотел, но я многое *мог* — в этом все дело...» Он шел, уже не разбирая дороги, и холодные росистые ветви освежали его лицо. он чувствовал прилив необыкновенных сил, вздымавших его на недосягаемую высоту, и с этой обширной, земной, человеческой высоты он господствовал над своими недугами, над слабым своим телом...

Когда Левинсон вышел к лагерю, костры уже повяли, дневальный больше не улыбался — слышно было, как он возится где-то с лошадью, приглушенно ругаясь. Левинсон пробрался к своему костру; костер едва тлел,

возле него крепким и безмятежным сном спал Бакланов, закутавшись в шинель. Левинсон подложил сухой травы и хворосту и раздул пламя. От сильного напряжения у него закружилась голова. Бакланов почувствовал тепло, заворочался и зачмокал во сне,— лицо его было открыто, губы по-детски выпячены, фуражка, прижатая виском, стояла торчмя, и весь он походил на большого, сытого и доброго щенка. «Ишь ты»,— любовно подумал Левинсон и улыбнулся; после разговора с Мечиком почему-то особенно приятно было смотреть на Бакланова.

Потом он, кряхтя, улегся рядом, и только закрыл глаза — закружил, закачался, поплыл куда-то, не чувствуя своего тела, пока не ухнул сразу в бездонную черную яму.

XIV. РАЗВЕДКА МЕТЕЛИЦЫ

Отправляя Метелицу в разведку, Левинсон наказал ему во что бы то ни стало вернуться этой же ночью. Но деревня, куда послан был взводный, на самом деле лежала много дальше, чем предполагал Левинсон: Метелица покинул отряд около четырех часов пополудни и на совесть гнал жеребца, согнувшись над ним, как хищная птица, жестоко и весело раздувая тонкие ноздри, точно опьяненный этим бешеным бегом после пяти медлительных и скучных дней,— но до самых сумерек бежала вслед, не убывая, осенняя тайга — в шорохе трав, в холодном и грустном свете умирающего дня. Уже совсем стемнело, когда он выбрался наконец из тайги и придержал жеребца возле старого и гнилого, с провалившейся крышей омшаника, как видно, давным-давно заброшенного людьми.

Он привязал лошадь и, хватаясь за рыхлые, осыпающиеся под руками, края сруба, взобрался на угол, рискуя провалиться в темную дыру, откуда омерзительно и жутко пахло осклизлым деревом и задушенными травами. Приподнявшись на цепких полусогнутых ногах, стоял он минут десять не шелохнувшись, зорко вглядываясь и вслушиваясь в ночь, не видный на темном фоне леса и еще более похожий на хищную птицу. Перед ним лежала хмурая долина в темных стогах и рощах, зажатая двумя рядами сопок, густо черневших на фоне неласкового звездного неба.

Метелица впрыгнул в седло и выехал на дорогу. Ее черные, давно неезженные колеи едва проступали в траве. Тонкие стволы берез тихо белели во тьме, как потушенные свечи.

Он поднялся на бугор: слева по-прежнему шла черная гряда сопок, изогнувшаяся, как хребет гигантского зверя; шумела река. Верстах в двух, должно быть возле самой реки, горел костер,— он напомнил Метелице о сиром одиночестве пастушьей жизни; дальше, пересекая дорогу, тянулись желтые, немигающие огни деревни. Линия сопок справа отворачивала в сторону, теряясь в синей мгле; в этом направлении местность сильно понижалась. Как видно, там пролегало старое речное русло; вдоль него чернел угрюмый лес.

«Болото там, не иначе»,— подумал Метелица. Ему стало холодно: он был в расстегнутой солдатской фуфайке поверх гимнастерки с оторванными пуговицами, с распахнутым воротом. Он решил ехать сначала к костру. На всякий случай вынул из кобуры револьвер и сунул за пояс под фуфайку, а кобуру спрятал в сумку за седлом. Винтовки с ним не было. Теперь он походил на мужика с поля: после германской войны многие ходили так, в солдатских фуфайках.

Он был уже совсем близко от костра,— вдруг конское тревожное ржание раздалось во тьме. Жеребец рванулся и, вздрагивая могучим телом, прядая ушами, завторил страстно и жалобно. В то же мгновенье у огня качнулась тень. Метелица с силой ударил плетью и взвился вместе с лошадью.

У костра, вытаращив испуганные глазенки, держась одной рукой за кнут, а другую, в болтающемся рукаве, приподняв, точно защищаясь, стоял худенький черноголовый мальчишка — в лаптях, в изорванных штанишках, в длинном не по росту пиджаке, обернутом вокруг тела и подпоясанном пенькой. Метелица свирепо осадил жеребца перед самым носом мальчишки, едва не задавив его, и хотел уже крикнуть ему что-то повелительное и грубое, как вдруг увидел перед собой эти испуганные глаза над болтающимся рукавом, штанишки с просвечивающими голыми коленками и этот убогий, с хозяйского плеча, пиджак, из которого так виновато и жалко смотрела тонкая и смешная детская шея...

— Чего же ты стоишь?.. Напужался? Ах ты, воробей, воробей,— вот дурак-то тоже! — смутившись, заговорил Метелица невольно с той ласковой грубостью, с которой никогда не говорил с людьми, а только с лошадьми.— Стоит — и крышка!.. А ежели б задавил тебя?.. Ах, вот дурак-то тоже! — повторил он, размягчаясь вовсе, чувствуя, как при виде этого мальчишки и всей этой убогости пробуждается в нем что-то — такое же жалкое, смешное, детское... Мальчишка от испугу едва перевел дух и опустил руку.

— А чего ж ты налетел, как бузуй? — сказал он, стараясь говорить резонно и независимо, как взрослый, но все еще робея.— Напужаиси — тут у меня кони...

— Ко-они? — насмешливо протянул Метелица.— Скажите на милость! — Он уперся в бока, откинулся назад, рассматривая парнишку, прищурившись и чуть пошевеливая атласными подвижными бровями, и вдруг засмеялся так откровенно громко, на таких высоких добрых и веселых нотах, что даже сам удивился, как это выходят из него такие звуки.

Парнишка смущенно, недоверчиво шмыгнул носом, но, поняв, что страшного ничего нет, а все, наоборот, выходит ужасно весело, сморщился так, что нос его вздернулся кверху, и тоже — совсем по-детски — залился озорно и тоненько. От неожиданности Метелица прыснул еще громче, и оба они, невольно подзадоривая друг друга, хохотали так несколько минут: один — раскачиваясь на седле взад и вперед, поблескивая огненными от костра зубами, а другой — упав на задницу, упершись в землю ладонями и откидываясь назад всем телом при каждом новом взрыве.

— Ну, и насмешил, хозяин! — сказал наконец Метелица, выпрастывая ногу из стремени.— Чудак ты, право...— Он соскочил на землю и протянул руку к огню.

Парнишка, перестав смеяться, смотрел на него с серьезным и радостным изумлением, как будто ждал от него еще самых неожиданных чудачеств.

— И веселый же ты, дьявол,— выговорил он наконец раздельно и четко, словно подвел окончательный итог своим убеждениям.

— Я-то? — усмехнулся Метелица.— Я, брат, веселый...

— А я так напужался.— сознался парнишка.— Кони тут у меня. А я картошку пеку...

— Картошку? Это здорово!..— Метелица уселся рядом, не выпуская из руки уздечки.— Где ж ты берешь ее, картошку?

— Вона, где берешь... Да тут ее гибель! — и парнишка повел руками вокруг.

— Воруешь, значит?

— Ворую... Давай я подержу коня-то... Или жеребец у тебя?.. Да я, брат, не упущу, не бойся... Хороший жеребец,— сказал парнишка, опытным взглядом окинув ладную, худую, с подтянутым животом, и мускулистую фигуру жеребца.— А откуль сам?

— Ничего жеребец,— согласился Метелица.— А ты откуда?

— А вон,— кивнул мальчишка в сторону огней — Ханихеза — село наше... Сто двадцать дворов, как одна копеечка,— повторил он чьи-то чужие слова и сплюнул.

— Так... А я с Воробьевки за хребтом. Может, слыхал?

— С Воробьевки? Не. не слыхал,— далеко, видать...

— Далеко.

— А к нам зачем?

— Да как сказать... Это, брат, долго рассказывать... Ко̀ней думаю у вас куповать, ко̀ней, говорят, у вас тут много... Я, брат, их люблю, ко̀ней-то,— проникновенно-хитро сказал Метелица,— сам всю жизнь пас, только чужих.

— А я, думаешь, своих? Хозяйские...

Парнишка выпростал из рукава худую грязную ручонку и кнутовищем стал раскапывать золу, откуда заманчиво и ловко покатились черные картофелины.

— Может, ты ись хочешь? — спросил он.— У меня и хлеб е, ну — мало...

— Спасибо, я только что нажрался — вот! — соврал Метелица, показав по самую шею и только теперь почувствовав, как сильно ему хочется есть.

Парнишка разломил картофелину, подул на нее, сунул в рот половину вместе с кожурой, повернул на языке и с аппетитом стал жевать, пошевеливая острыми ушками. Прожевав, он посмотрел на Метелицу и так же раз-

дельно и четко, как раньше определил его веселым человеком, сказал:

— Сирота я, полгода уж, как сирота. Тятьку у меня казаки вбили, а мамку изнасилили и тоже вбили, а брата тоже...

— Казаки? — встрепенулся Метелица.

— А как же? Вбили почем зря. И двор весь попалили, да не у нас одних, а дворов двенадцать, не менее, и каждый месяц наезжают, сейчас тоже человек сорок стоит. А волостное село за нами, Ракитное, так там цельный полк все лето стоит. Ох и лютуют! Бери картошку-то...

— Как же вы так — и не бежали?.. Вон лес у вас какой...— Метелица даже привстал.

— Что ж лес? Век в лесу не просидишь. Да и болота там — не вылезешь — такое бучило...

«Как угадал»,— подумал Метелица, вспомнив свои предположения.

— Знаешь что,— сказал он, подымаясь,— попаси-ка коня моего, а я в село пешком схожу. У вас, я вижу, тут не то что купить, а и последнее отберут...

— Что ты скоро так? Сиди!..— сказал пастушонок, сразу огорчившись, и тоже встал.— Одному скушно тут,— пояснил он жалостным голосом, глядя на Метелицу большими просящими и влажными глазами.

— Нельзя, брат,— Метелица развел руками,— самое разведать, пока темно... Да я вернусь скоро, а жеребца спутаем... Где у них там самый главный стоит?

Парнишка объяснил, как найти избу, где стоит начальник эскадрона и как лучше пройти задами.

— А собак у вас много?

— Собак — хватает, да они не злые.

Метелица, спутав жеребца и попрощавшись, двинулся по тропинке вдоль реки. Парнишка с грустью смотрел ему вслед, пока он не исчез во тьме. Через полчаса Метелица был под самым селом. Тропинка отвернула вправо, но он, по совету пастушонка, продолжал идти по скошенному лугу, пока не натолкнулся на прясло, огибавшее мужицкие огороды,— дальше пошел задами. Село уже спало; огни потухли; чуть видны были при свете звезд теплые соломенные крыши хатенок в садах пустых и тихих; с огородов шел запах вскопанной сырой земли.

Метелица, миновав два переулка, свернул в третий. Собаки провожали его неверным хриплым лаем, точно напуганные сами, но никто не вышел на улицу, не окликнул его. Чувствовалось, что здесь привыкли ко всему, привыкли и к тому, что незнакомые, чужие люди бродят по улицам, делают, что хотят. Не видно было даже обычных в осеннее время, когда по деревням справляют свадьбы, шушукающихся парочек: в густой тени под плетнями никто не шептал о любви в эту осень.

Руководствуясь приметами, которые дал ему пастушонок, он прошел еще несколько переулков, кружа возле церкви, и наконец уперся в крашеный забор поповского сада. (Начальник эскадрона стоял в доме попа.) Метелица заглянул внутрь, пошарил глазами, прислушался и, не найдя ничего подозрительного, бесшумно перемахнул через забор.

Сад был густой и ветвистый, но листья уже опали. Метелица, сдерживая могучий трепет сердца, почти не дыша, пробирался вглубь. Кусты вдруг оборвались, пересеченные аллеей, и саженях в двадцати, налево от себя, он увидел освещенное окно. Оно было открыто. Там сидели люди. Ровный мягкий свет струился по опавшей листве, и яблони, отсвеченные по краям, стояли в нем странные и золотые.

«Вот оно!» — подумал Метелица, нервно дрогнув щекой и вспыхнув и загораясь весь тем жутким, неотвратимым чувством бесстрашного отчаяния, которое толкало его обычно на самые безрассудные подвиги: еще раздумывая, нужно ли кому-нибудь, чтобы он подслушал разговор этих людей в освещенной комнате, он знал, в сущности, что не уйдет отсюда до тех пор, пока не сделает этого. Через несколько минут он стоял за яблоней под самым окном, жадно вслушиваясь и запоминая все, что творилось *там*.

Их было четверо, они играли в карты за столом, в глубине комнаты. По правую руку сидел маленький старый попик в прилизанных волосиках и юркий на глаз, — он ловко сновал по столу худыми, маленькими ручками, неслышно перебирая карты игрушечными пальцами и стараясь заскочить глазами под каждую, так что сосед его, сидевший спиной к Метелице, принимая сдачу, просматривал ее боязно и торопливо и тот-

час же прятал под стол. Лицом к Метелице сидел красивый, полный, ленивый и, как видно, добродушный офицер с трубкой в зубах,— должно быть, из-за его полноты Метелица принял его за начальника эскадрона. Однако во все последующее время он, по необъяснимым для себя причинам, интересовался больше четвертым из игравших — с лицом обрюзглым и бледным и с неподвижными ресницами, тот был в черной папахе и в бурке без погон, в которую кутался каждый раз после того, как сбрасывал карту.

Вопреки тому, что ожидал услышать Метелица, они говорили о самых обыкновенных и неинтересных вещах: добрая половина разговора вертелась вокруг карт.

— Восемьдесят играю,— сказал сидевший к Метелице спиной.

— Слабо, ваше благородие, слабо,— отозвался тот, что был в черной папахе.— Сто втемную,— добавил он небрежно.

Красивый и полный, прищурившись, проверил свои и, вынув трубку, поднял до ста пяти.

— Я пас,— сказал первый, отворачиваясь к попику, который держал прикуп.

— Я так и думал...— усмехнулась черная папаха.

— Разве я виноват, если карты не идут? — оправдываясь, говорил первый, обращаясь за сочувствием к попику.

— По маленькой, по маленькой,— шутил попик, сожмуриваясь и посмеиваясь мелко-мелко, точно желая подчеркнуть таким мелким смешком всю незначительность игры своего собеседника.— А двести два очка уже списали-с... знаем мы вас!..— И он с неискренней ласковой хитрецой погрозил пальчиком.

«Вот гнида»,— подумал Метелица.

— Ах, и вы пас? — переспросил попик ленивого офицера.— Пожалуйте прикуп-с,— сказал он черной папахе и не раскрывая карт, сунул их ей.

В течение минуты они с ожесточением шлепали по столу, пока черная папаха не проиграла. «А задавался, рыбий глаз»,— презрительно подумал Метелица, не зная — уходить ли ему, или подождать еще. Но он не смог уйти, потому что проигравший повернулся к окну, и Метелица почувствовал на себе пронзительный взгляд, застывший в страшной немигающей точности.

Тем временем сидевший спиной к окну начал тасовать карты. Он делал это старательно и экономно, как молятся не очень древние старушки.

— А Нечитайлы нет,— зевая, сказал ленивый.— Как видно, с удачей. Лучше бы и я с ним пошел...

— Вдвоем? — спросила папаха, отвернувшись от окна.— Она бы сдюжила! — добавила она, скривившись.

— Васенка-то? — переспросил попик.— У-у... она бы сдюжила!.. Тут у нас здоровенный псаломщик был — да ведь я вам рассказывал... Ну, только Сергей Иванович не согласился б. Никогда-с... Знаете, что он мне вчера по секрету сказал? «Я, говорит, ее с собой возьму, я, говорит, на ней и жениться не побоюсь, я, говорит...» Ой! — вдруг воскликнул попик, закрывая рот ладошкой и хитро поблескивая своими умненькими глазками.— Вот память! И не хотел, да проговорился. Ну, чур, не выдавать! — И он с мнимым испугом замахал ладошками. И хотя все так же, как Метелица, видели неискренность и скрытую угодливость каждого его слова и движения, никто не сказал ему об этом, и все засмеялись.

Метелица, согнувшись и пятясь боком, полез от окна. Он только свернул в поперечную аллею, как вдруг лицом к лицу столкнулся с человеком в казачьей шинели, наброшенной на одно плечо,— позади него виднелись еще двое.

— Ты что тут делаешь? — удивленно спросил этот человек, бессознательным движением придержав шинель, чуть не упавшую, когда он наткнулся на Метелицу.

Взводный отпрыгнул и бросился в кусты.

— Стой! Держи его! Держи! Сюда!.. Эй! — закричало несколько голосов. Резкие, короткие выстрелы затрещали вслед.

Метелица, путаясь в кустах и потеряв фуражку, рвался наугад, но голоса стонали, выли уже где-то впереди, и злобный собачий лай доносился с улицы.

— Вот он, держи! — крикнул кто-то, бросаясь к Метелице с вытянутой рукой. Пуля визгнула у самого уха. Метелица тоже выстрелил. Человек, бежавший на него, споткнулся и упал.

— Врешь, не поймаешь...— торжественно сказал Метелица, до самой последней минуты действительно не веривший в то, что его смогут скрутить.

Но кто-то большой и грузный навалился на него сзади и подмял под себя. Метелица попытался высвободить руку, но жестокий удар по голове оглушил его...

Потом его били подряд, и, даже потеряв сознание, он чувствовал на себе эти удары еще и еще...

В низине, где спал отряд, было темновато и сыро, но из оранжевого прогала за Хаунихедзой глядело солнце, и день, пахнувший осенним тлением, занялся над тайгой.

Дневальный, прикорнувший возле лошадей, заслышал во сне настойчивый, монотонный звук, похожий на далекую пулеметную дробь, и испуганно вскочил, схватившись за винтовку. Но это стучал дятел на старой ольхе возле реки. Дневальный выругался и, ежась от холода, кутаясь в дырявую шинель, вышел на прогалину. Никто не проснулся больше: люди спали глухим, безликим и безнадежным сном, каким спят голодные, измученные люди, которым ничего не сулит новый день.

«А взводного нет все...— нажрался, видать, и дрыхнет где в избе, а тут не евши сиди»,— подумал дневальный. Обычно он не меньше других восхищался и гордился Метелицей, но теперь ему казалось, что Метелица довольно подлый человек и напрасно его сделали взводным командиром. Дневальному сразу не захотелось страдать тут, в тайге, когда другие, вроде Метелицы, наслаждаются всеми земными радостями, но он не решался потревожить Левинсона без достаточных оснований и разбудил Бакланова.

— Что?.. Не приехал?..— завозился Бакланов, таращa спросонья ничего не понимающие глаза.— Как не приехал?! — закричал он вдруг, все еще не придя в себя, но поняв уже, о чем идет речь, и испугавшись этого.— Нет, да ты, братец, оставь, не может этого быть... Ах, да! Ну, буди Левинсона.— Он вскочил, быстрым движением перетянул ремень, собрав к переносью заспанные брови, сразу весь отвердел и замкнулся.

Левинсон, как ни крепко он спал, услышав свою фамилию, тотчас же открыл глаза и сел. Взглянув на дневального и Бакланова, он понял, что Метелица не приехал и что уже давно пора выступать. В первую минуту он почувствовал себя настолько усталым и разбитым, что ему захотелось зарыться с головой в шинель и снова заснуть, забыв о Метелице и о своих недугах. Но в ту же минуту он стоял на коленях и, свертывая скатку, отвечал сухим и безразличным тоном на тревожные расспросы Бакланова:

— Ну и что ж такого? Я так и думал... Конечно, мы встретим его по дороге.

— А если не встретим?

— Если не встретим?.. Слушай, нет ли у тебя запасного шнурка на скатку?

— Вставай, вставай, кобылка! Даешь деревню! — кричал дневальный, ногами расталкивая спящих. Из травы подымались всклокоченные партизанские головы, и вдогонку дневальному летели первые, недоделанные спросонья, матюки,— в хорошее время Дубов называл такие «утренниками».

— Злые все,— задумчиво сказал Бакланов.— Жрать хотят...

— А ты? — спросил Левинсон.

— Что — я?.. Обо мне разговору нет.— Бакланов насупился.— Как ты, так и я — точно не знаешь...

— Нет, я знаю,— сказал Левинсон с таким мягким и кротким выражением, что Бакланов впервые внимательно присмотрелся к нему.

— А ты, брат, похудел,— сказал он с неожиданной жалостью.— Одна борода осталась. Я бы на твоем месте...

— Идем-ка лучше умываться,— прервал его Левинсон, виновато и хмуро улыбнувшись.

Они прошли к реке. Бакланов снял обе рубахи и стал полоскаться. Видно было, что он не боялся холодной воды. Тело у него было крепкое, плотное, смуглое, точно литое, а голова круглая и добрая, как у ребенка, и мыл он ее тоже каким-то наивным ребячьим движением — поливал из ладони и растирал одной рукой.

«О чем-то я много говорил вчера и что-то обещал, и как-то неладно теперь»,— подумал вдруг Левинсон, смутно и с неприязнью вспомнив вчерашний разговор

с Мечиком и свои мысли, связанные с этим разговором. Не то чтобы они показались ему неправильными теперь, то есть не выражавшими того, что происходило в нем на самом деле — нет, он чувствовал, что это были довольно правильные, умные, интересные мысли, и все-таки он испытывал теперь смутное недовольство, вспоминая их. «Да, я обещал ему другую лошадь... Но разве в этом может быть что-нибудь неладное? Нет, я поступил бы так и сегодня — значит, тут все в порядке... Так в чем же дело?.. А дело в том...»

— Что ж ты не умываешься? — спросил Бакланов, кончив полоскаться и докрасна растираясь грязным полотенцем.— Холодная вода. Хорошо!

«...А дело в том, что я болен и с каждым днем все хуже владею собой»,— подумал Левинсон, спускаясь к воде.

Умывшись, перепоясавшись и ощутив на бедре привычную тяжесть маузера, он почувствовал себя все-таки отдохнувшим за ночь.

«Что случилось с Метелицей?» Эта мысль теперь целиком овладела им.

Левинсон никак не мог представить себе Метелицу не двигающимся и вообще не живущим. Он всегда испытывал к этому человеку смутное влечение и не раз замечал, что ему приятно бывает ехать рядом с ним, разговаривать или даже просто смотреть на него. Метелица нравился ему не за какие-либо выдающиеся общественно-полезные качества, которых у него было не так уж много и которые в гораздо большей степени были свойственны самому Левинсону, а Метелица нравился ему за ту необыкновенную физическую цепкость, животную, жизненную силу, которая била в нем неиссякаемым ключом и которой самому Левинсону так не хватало. Когда он видел перед собой его быструю, всегда готовую к действию фигуру или знал, что Метелица находится где-то тут рядом, он невольно забывал о собственной физической слабости, и ему казалось, что он может быть таким же крепким и неутомимым, как Метелица. Втайне он даже гордился тем, что управляет таким человеком.

Мысль о том, что Метелица мог попасть в руки врага,— несмотря на то, что сам Левинсон все больше укреплялся в ней,— плохо прививалась людям. Каждый

истомившийся партизан старательно и боязливо гнал ее от себя, как самую последнюю мысль, сулившую одни несчастья и страдания, а потому, очевидно, совершенно невозможную. Наоборот, предположение дневального, что взводный «нажрался и дрыхнет где-то в избе»,— как ни не похоже это было на быстрого и исполнительного Метелицу,— все больше собирало сторонников. Многие открыто роптали на «подлость и несознание» Метелицы и надоедали Левинсону с требованием немедленно выступить ему навстречу. И когда Левинсон, с особой тщательностью выполнив все будничные дела, в частности переменив Мечику лошадь, отдал наконец приказ выступать,— в отряде наступило такое ликование, точно с этим приказом на самом деле кончились всякие беды и мытарства.

Они проехали час и другой, а взводный с лихим и смолистым чубом все не показывался на тропе. Они проехали еще столько же, а взводного все не было. И уже не только Левинсон, но даже самые отъявленные завистники и хулители Метелицы стали сомневаться в счастливом исходе его поездки.

К таежной опушке отряд подходил в суровом и значительном молчании.

XV. ТРИ СМЕРТИ

Метелица очнулся в большом темном сарае,— он лежал на голой сырой земле, и первым его ощущением было ощущение этой зябкой земляной сырости, пронизывающей тело. Он сразу вспомнил, что произошло с ним. Удары, нанесенные ему, еще шумели в голове, волосы ссохлись в крови,— он чувствовал эту запекшуюся кровь на лбу и на щеках.

Первая более или менее оформленная мысль, которая пришла ему в голову, была мысль о том — нельзя ли уйти. Метелица никак не мог поверить, что после всего, что он испытал в жизни, после всех подвигов и удач, сопутствовавших ему во всяком деле и прославивших его имя меж людей,— он будет в конце концов лежать и гнить, как всякий из этих людей. Он обшарил весь сарай, ощупал все дырочки, попытался даже выломать дверь — напрасные усилия!.. Он натыкался всюду на мертвое, холодное дерево, а щели были так

безнадежно малы, что в них не проникал даже взгляд,— они с трудом пропускали тусклый рассвет осеннего утра.

Однако он шарил еще и еще, пока не осознал для себя с безвыходной, неумолимой точностью, что ему действительно не уйти на этот раз. И когда он окончательно убедился в этом, вопрос о собственной жизни и смерти сразу перестал интересовать его. И все его душевные и физические силы сосредоточились на том — совершенно незначительном с точки зрения его собственной жизни и смерти, но ставшем для него теперь самым важным — вопросе, каким образом он, Метелица, о котором до сих пор шла только лихая и бедовая слава, сможет показать тем людям, которые станут его убивать, что он не боится и презирает их.

Он не успел еще обдумать это, как за дверями послышалась возня, заскрипел засов, и вместе с серым, дрожащим и хилым утренним светом вошли в сарай два казака с оружием и в лампасах. Метелица, расставив ноги, прищурившись, смотрел на них.

Заметив его, они в нерешительности помялись у дверей,— тот, что был позади, беспокойно зашмыгал носом.

— Пойдем, землячок,— сказал наконец передний беззлобно, даже немного виновато.

Метелица, упрямо склонив голову, вышел наружу.

Через некоторое время он стоял перед знакомым ему человеком — в черной папахе и в бурке — в той самой комнате, в которую засматривал ночью из поповского сада. Тут же, подтянувшись в кресле, удивленно, не строго поглядывая на Метелицу, сидел красивый, полный и добродушный офицер, которого Метелица принял вчера за начальника эскадрона. Теперь, рассмотрев обоих, он по каким-то неуловимым признакам понял, что начальником был как раз не этот добродушный офицер, а другой — в бурке.

— Можете идти,— отрывисто сказал этот другой, взглянув на казаков, остановившихся у дверей.

Они, неловко подталкивая друг друга, выбрались из комнаты.

— Что ты делал вчера в саду? — быстро спросил он, остановившись перед Метелицей и глядя на него своим точным, немигающим взглядом.

Метелица молча, насмешливо уставился на него, выдерживая его взгляд, чуть пошевеливая атласными черными бровями и всем своим видом показывая, что, независимо от того, какие будут задавать ему вопросы и как будут заставлять его отвечать на них, он не скажет ничего такого, что могло бы удовлетворить спрашивающих.

— Ты брось эти глупости,— снова сказал начальник, нисколько не сердясь и не повышая голоса, но таким тоном, который показывал, что он понимает все, что происходит теперь в Метелице.

— Что же говорить зря? — снисходительно улыбнулся взводный.

Начальник эскадрона несколько секунд изучал его застывшее рябое лицо, вымазанное засохшей кровью.

— Оспой давно болел? — спросил он.

— Что? — растерялся взводный. Он растерялся потому, что в вопросе начальника не чувствовалось ни издевательства, ни насмешки, а видно было, что он просто заинтересовался его рябым лицом. Однако, поняв это, Метелица рассердился еще сильней, чем если бы насмехались и издевались над ним: вопрос начальника точно пытался установить возможность каких-то человеческих отношений между ними.

— Что ж ты — здешний или прибыл откуда?

— Брось, ваше благородие!..— решительно и гневно сказал Метелица, сжав кулаки и покраснев и едва сдерживаясь, чтобы не броситься на него. Он хотел еще добавить что-то, но мысль, а почему бы и в самом деле не схватить сейчас этого черного человека с таким противно-спокойным, обрюзглым лицом, в неопрятной рыжеватой щетине и не задушить его,— мысль эта вдруг так ярко овладела им, что он, запнувшись на слове, сделал шаг вперед, дрогнул руками, и его рябое лицо сразу вспотело.

— Ого! — в первый раз изумленно и громко воскликнул этот человек, не отступив, однако, ни шагу назад и не спуская глаз с Метелицы.

Тот в нерешительности остановился, сверкнув зрачками. Тогда человек этот вынул из кобуры револьвер и потряс им перед носом Метелицы. Взводный овладел собой и, отвернувшись к окну, застыл в пренебрежительном молчании. После того, сколько ни грозили ему

револьвером, суля самые ужасные кары в будущем, сколько ни упрашивали правдиво рассказать обо всем, обещая полную свободу,— он не произнес ни единого слова, даже ни разу не посмотрел на спрашивающих.

В самом разгаре допроса легонько приоткрылась дверь, и чья-то волосатая голова с большими испуганными и глупыми глазами просунулась в комнату.

— Ага,— сказал начальник эскадрона.— Собрались уже? Ну что ж — скажи ребятам, чтобы взяли этого молодца.

Те же два казака пропустили Метелицу во двор и, указав ему на открытую калитку, пошли вслед за ним. Метелица не оглядывался, но чувствовал, что оба офицера тоже идут позади. Они вышли на церковную площадь. Там, возле бревенчатой ктиторовой избы, толпился народ, оцепленный со всех сторон конными казаками.

Метелице казалось всегда, что он не любит и презирает людей со всей их скучной и мелочной суетой, со всем, что окружает их. Он думал, что ему решительно все равно, как они относятся к нему и что говорят о нем, он никогда не имел друзей и не старался иметь их. Но вместе с тем все самое большое и важное из того, что он делал в жизни, он, сам того не замечая, делал *ради* людей и *для* людей, чтобы они смотрели на него, гордились и восхищались им и прославляли его. И теперь, когда он вскинул голову, он вдруг не только взглядом, но всем сердцем охватил эту колеблющуюся, пеструю, тихую толпу мужиков, мальчишек, напуганных баб в паневах, девушек в белых цветных платочках, бойких верховых с чубами, таких раскрашенных, подтянутых и чистеньких, как на лубочной картинке,— их длинные живые тени, плясавшие по мураве, и даже древние церковные купола над ними, облитые жидким солнцем, застывшие в холодном небе.

«Вот это да!» — чуть не воскликнул он, сразу весь распахнувшись, обрадовавшись этому всему — живому, яркому и бедному, что двигалось, дышало и светило вокруг и трепетало в нем. И он быстрей и свободней пошел вперед легким звериным, не тяготеющим к земле шагом, раскачиваясь гибким телом, и каждый человек на площади обернулся к нему и тоже почувствовал

затаив дыхание, какая звериная и легкая, как эта поступь, сила живет в его гибком и жадном теле.

Он прошел сквозь толпу, глядя поверх нее, но чувствуя ее молчаливое сосредоточенное внимание, и остановился у крыльца ктиторовой избы. Офицеры, обогнав его, взошли на крыльцо.

— Сюда, сюда,— сказал начальник эскадрона, указав ему место рядом. Метелица, разом перешагнув ступеньки, стал рядом с ним.

Теперь он был хорошо виден всем — тугой и стройный, черноволосый, в мягких оленьих улах, в расстегнутой рубахе, перетянутой шнурком с густыми зелеными кистями, выпущенными из-под фуфайки, с далеким хищным блеском своих летящих глаз, смотревших туда, где в сером утреннем дыму застыли величавые хребты.

— Кто знает этого человека? — спросил начальник, обводя всех острым сверлящим взглядом, задерживаясь на секунду то на одном, то на другом лице.

И каждый, на ком останавливался этот взгляд, суетясь и мигая, опускал голову,— только женщины, не имея сил отвести глаза, смотрели на него немо и тупо, с трусливым и жадным любопытством.

— *Никто* не знает? — переспросил начальник, насмешливо подчеркнув слово «никто», точно ему было известно, что все, наоборот, *знают* или *должны* знать «этого человека».— Это мы сейчас выясним... Нечитайло! — крикнул он, сделав движение рукой в ту сторону, где на кауром жеребце гарцевал высокий офицер в длинной казачьей шинели.

Толпа глухо заволновалась, стоящие впереди обернулись назад,— кто-то в черной жилетке решительно проталкивался сквозь толпу, наклонив голову так, что видна была только его теплая меховая шапка.

— Пропустите, пропустите! — говорил он скороговоркой, расчищая дорогу одной рукой, а другой ведя кого-то вслед.

Наконец он пробрался к самому крыльцу, и обнаружилось, что ведет он худенького черноголового парнишку в длинном пиджаке, боязливо упиравшегося и таращившего черные глаза то на Метелицу, то на начальника эскадрона. Толпа заволновалась громче, послышались вздохи и сдержанный бабий говорок. Ме-

телица посмотрел вниз и вдруг признал в черноголовом парнишке того самого пастушонка — с напуганными глазами, с тонкой, смешной и детской шеей,— которому он оставил вчера свою лошадь.

Мужик, державший его за руку, снял шапку, обнаружив приплюснутую русую голову с пятнистой проседью (точно его неровно посолили), и, поклонившись начальнику, начал было:

— Вот тут пастушок у меня...

Но, видимо, испугавшись, что не дослушают его, он наклонился к парнишке и, указав пальцем на Метелицу, спросил:

— Этот, что ли?

В течение нескольких секунд пастушонок и Метелица смотрели прямо в глаза друг другу: Метелица — с деланным равнодушием, пастушонок — со страхом, сочувствием и жалостью. Потом парнишка перевел взгляд на начальника эскадрона, задержался на нем, на мгновенье точно одеревенев, потом — на мужика, державшего его за руку и выжидательно наклонившегося к нему,— вздохнул глубоко и тяжко и отрицательно покачал головой... Толпа, притихшая настолько, что слышно было, как возится теленок в клети у церковного старосты, чуть колыхнулась и снова замерла...

— Да ты не бойся, дурачок, не бойся,— с ласковой дрожью убеждал мужик, сам оробев и засуетившись, быстро тыча пальцем в Метелицу.— Кто же тогда, как не он?.. Да ты признай, признай, не бо... а-а, гад!..— со злобой оборвал он вдруг и изо всей силы дернул парнишку за руку.— Да он, ваше благородие, кому ж другому быть,— заговорил он громко, точно оправдываясь и униженно суча шапкой.— Только боится парень, а кому же другому, когда в седле конь-то и кобура в сумке... Наехал вечор на огонек. «Попаси, говорит, коня моего»,— а сам в деревню; а парнишка-то не дождал — светло уж стало — не дождал, да и пригнал коня, а конь в седле, и кобура в сумке,— кому ж другому быть?..

— Кто наехал? Какая кобура? — спросил начальник, тщетно пытаясь понять, о чем идет речь. Мужик еще растерянней засучил шапкой и, вновь сбиваясь и путаясь, рассказал о том, как его пастух пригнал утром

чужого коня — в седле и с револьверной кобурой в сумке.

— Вот оно что,— протянул начальник эскадрона.— Так ведь он не признает? — сказал он, кивнув на парнишку.— Впрочем, давай его сюда — мы его допросим по-своему...

Парнишка, подталкиваемый сзади, приблизился к крыльцу, не решаясь, однако, взойти на него. Офицер сбежал по ступенькам, схватил его за худые, вздрагивающие плечи и, притянув к себе, уставился в его круглые от ужаса глаза своими — пронзительными и страшными...

— А-а... а!..— вдруг завопил парнишка, закатив белки.

— Да что ж это будет? — вздохнула, не выдержав, какая-то из баб.

В то же мгновенье чье-то стремительное и гибкое тело взметнулось с крыльца. Толпа шарахнулась, всплеснув многоруким туловищем,— начальник эскадрона упал, сбитый сильным толчком...

— Стреляйте в него!.. Да что же это такое? — закричал красивый офицер, беспомощно выставив ладонь, теряясь и глупея и забыв, как видно, что он сам умеет стрелять.

Несколько верховых ринулись в толпу, конями раскидывая людей. Метелица, навалившись на врага всем телом, старался схватить его за горло, но тот извивался, как нетопырь, раскинув бурку, похожую на черные крылья, и судорожно цеплялся рукой за пояс, стараясь вытащить револьвер. Наконец ему удалось отстегнуть кобуру, и почти в то же мгновенье, как Метелица схватил его за горло, он выстрелил в него несколько раз подряд...

Когда подоспевшие казаки тащили Метелицу за ноги, он еще цеплялся за траву, скрипел зубами, стараясь поднять голову, но она бессильно падала и волочилась по земле.

— Нечитайло! — кричал красивый офицер.— Собрать эскадрон!.. Вы тоже поедете? — учтиво спросил он начальника, избегая, однако, смотреть на него.

— Да.

— Лошадь командиру!..

Через полчаса казачий эскадрон в полном боевом снаряжении выехал из села и помчался кверху, по той дороге, по которой прошлой ночью ехал Метелица.

Бакланов, вместе со всеми испытывавший сильное беспокойство, наконец не выдержал.

— Слушай, дай я вперед поеду,— сказал он Левинсону.— Ведь черт его знает на самом деле...

Он пришпорил коня и, скорее даже, чем ожидал, выехал на опушку, к заросшему омшанику. Ему не понадобилось, однако, влезать на крышу,— не дальше как в полуверсте спускалось с бугра человек пятьдесят конных. Он разглядел, что это были регулярники — по их одинаковому обмундированию в желтых пятнах. Умерив свое нетерпение — скорей вернуться и предупредить об опасности (Левинсон мог вот-вот нагрянуть), Бакланов задержался, спрятавшись в кусты, желая проверить, не покажутся ли из-за бугра новые отряды. Никто не появился больше; эскадрон ехал шагом, расстроив ряды; судя по сбитой посадке людей и по тому, как мотали головами разыгравшиеся лошади, эскадрон только что шел на рысях.

Бакланов повернулся обратно и чуть не налетел на Левинсона, выезжавшего на опушку. Он сделал знак остановиться.

— Много? — спросил Левинсон, выслушав его.

— Человек пятьдесят.

— Пехота?

— Нет, конные...

— Кубрак, Дубов, спешиться! — тихо скомандовал Левинсон.— Кубрак — на правый фланг, Дубов — на левый... Я тебе дам!..— зашипел он вдруг, заметив, как какой-то партизан с подвязанной щекой повернул в сторону, заманивая и других.— На место! — и он погрозил ему плеткой.

Передав Бакланову командование взводом Метелицы и приказав ему остаться здесь, он спешился сам и пошел впереди цепи, чуть ковыляя и размахивая маузером.

Не выходя из кустов, он положил цепь, а сам в сопровождении одного партизана пробрался к омшанику. Эскадрон был совсем близко. По желтым околышам и лампасам Левинсон узнал, что это были казаки. Он разглядел и командира в черной бурке.

— Скажи, пусть сюда ползут,— шепнул он партизану,— только пусть не встают, а то... Ну, чего смотришь? Живо!.. — и он подтолкнул его, нахмурив брови.

Хотя казаков было мало, Левинсон почувствовал вдруг сильное волнение, как в первый, давнишний период его военной деятельности.

В своей боевой жизни он различал два периода, не разделенных резкой чертой, но отличных для него по тем ощущениям, которые он сам в них испытывал.

В первое время, когда он, не имея никакой военной подготовки, даже не умея стрелять, вынужден был командовать массами людей, он чувствовал, что он не командует на самом деле, а все события развиваются независимо от него, помимо его воли. Не потому, что он нечестно выполнял свой долг,— нет, он старался дать самое большее из того, что мог,— и не потому, что он думал, будто отдельному человеку не дано влиять на события, в которых участвуют *массы* людей,— нет, он считал такой взгляд худшим проявлением людского лицемерия, прикрывающим собственную слабость таких людей, то есть отсутствие в них воли к действию,— а потому, что в этот первый, недолгий период его военной деятельности почти все его душевные силы уходили на то, чтобы превозмочь и скрыть от людей страх за себя, который он невольно испытывал в бою.

Однако он очень скоро привык к обстановке и достиг такого положения, когда боязнь за собственную жизнь перестала мешать ему распоряжаться жизнями других. И в этот второй период он получил возможность *управлять* событиями — тем полней и успешней, чем ясней и правильней он мог прощупать их действительный ход и соотношение сил и людей в них.

Но теперь он вновь испытывал сильное волнение, и он чувствовал, что это как-то связано с *новым* его состоянием, со всеми его мыслями о себе, о смерти Метелицы.

Пока подползала цепь, раскинувшаяся по кустам, он все же овладел собою, и его маленькая собранная фигурка, с уверенными и точными движениями, по-прежнему предстала перед людьми, как олицетворение некоего безошибочного плана, в который люди верили по привычке и по внутренней необходимости.

Эскадрон был уже так близко, что слышен был конский топот и сдержанный говор всадников,— можно было различить даже отдельные лица. Левинсон видел их выражения — особенно у одного красивого и полного офицера, только что выехавшего вперед с трубкой в зубах и очень плохо державшегося в седле.

«Вот зверь, должно быть,— подумал Левинсон, задержавшись на нем взглядом и невольно приписывая этому красивому офицеру все те ужасные качества, которые обычно приписываются врагу.— Но как бьется у меня сердце!.. Или стрелять уже? стрелять?.. Нет, возле той березы с ободранной корой... Но почему он так плохо держится?.. Ведь как же нело...»

— Взво-о-од! — закричал он вдруг тонким протяжным голосом (как раз в это мгновенье эскадрон поравнялся с березой с ободранной корой).— Пли!..

Красивый офицер, услыхав первые звуки его голоса, удивленно поднял голову. Но в ту же секунду фуражка слетела с его головы, и лицо его приняло невероятно испуганное и беспомощное выражение.

— Пли!..— снова крикнул Левинсон и выстрелил сам, стараясь попасть в красивого офицера.

Эскадрон смешался; многие попадали на землю, но красивый офицер остался в седле, лошадь, оскаля зубы, пятилась под ним. В течение нескольких секунд растерявшиеся люди и лошади, вздымавшиеся на дыбы, бились на одном месте, крича что-то неслышное из-за выстрелов. Потом из этой сумятицы вырвался отдельный всадник, в черной папахе и в бурке, и заплясал перед эскадроном, сдерживая лошадь напряженным жестом, размахивая шашкой. Остальные, как видно, плохо повиновались ему,— некоторые уже мчались прочь, нахлестывая лошадей; весь эскадрон ринулся за ними. Партизаны повскакали с мест,— наиболее азартные побежали вдогонку, стреляя на ходу.

— Лошадей!..— кричал Левинсон.— Бакланов, сюда!.. По коням!..

Бакланов со свирепым, перекошенным лицом пронесся мимо, вытянувшись всем телом, откинув понизу руку с шашкой, блестевшей, как слюда,— за ним с лязгом и гиком мчался взвод Метелицы, ощерившись оружием.

Вскоре весь отряд поскакал за ними.

Мечик, увлеченный общим потоком, мчался в центре этой лавины. Он не только не испытывал страха, но даже утерял всегда присущее ему свойство отмечать собственные мысли и поступки и расценивать их со стороны,— он только видел перед собою чью-то знакомую спину с чубатой головой, чувствовал, что Нивка не отстает от нее, что враг бежит от них, и вместе со всеми на совесть старался догнать врага и не отстать от знакомой спины.

Казачий эскадрон скрылся в березовой роще. Через некоторое время оттуда посыпались частые ружейные выстрелы, но отряд продолжал скакать, не только не замедляя хода, а еще больше горячась и возбуждаясь от выстрелов.

Вдруг мохнатый жеребец, мчавшийся впереди Мечика, ткнулся мордой в землю, и знакомая спина, с чубатой головой, полетела вперед, вытянув руки. Мечик вместе с другими обогнул что-то большое и черное, копошившееся на земле.

Не видя больше знакомой спины, он впился глазами в рощу, стремительно надвигавшуюся на него... Маленькая бородатая фигурка на вороном жеребце, что-то кричавшая и указывавшая шашкой, на одно мгновение мелькнула перед глазами... Несколько всадников, скакавших рядом, вдруг свернули влево, но Мечик, не сообразив, в чем дело, мчался в прежнем направлении, пока не влетел в рощу и чуть не разбился о стволы, расцарапав себе лицо о голые ветви. Он едва удержал Нивку, рвавшуюся, обезумев, через кусты.

Он был один — в мягкой березовой тиши, в золоте листьев и трав...

В то же мгновение ему показалось, что роща кишит казаками. Он даже вскрикнул и, не помня себя, ринулся обратно, не обращая внимания, как острые колючие ветви хлещут его по лицу...

Когда он снова выехал на поле, отряда не было. Шагах в двухстах от него лежал убитый конь со сбившимся седлом. Возле, подогнув ноги, безнадежно обхватив руками колени, прижатые к груди, не шевелясь, сидел человек. Это был Морозка.

Мечик, устыдясь своего страха, шагом подъехал к нему.

Мишка лежал на боку, оскалив зубы, выкатив большие остекленевшие глаза, согнув передние ноги с острыми копытами, точно он и мертвый собирался скакать. Морозка смотрел мимо него блестящими, сухими, невидящими глазами.

— Морозка...— тихо позвал Мечик, остановившись против него и переполняясь вдруг слезливой доброй жалостью к нему и к этой мертвой лошади.

Морозка не шевельнулся. Несколько минут они оставались так, не говоря ни слова, не меняя положений. Потом Морозка вздохнул, медленно разжал руки, встал на колени и, по-прежнему не глядя на Мечика, начал отстегивать седло. Мечик, не решаясь больше заговорить, молча наблюдал за ним.

Морозка распустил подпруги — одна из них была разорвана,— он внимательно осмотрел оторванный, выпачканный в крови ремешок, повертел в руке и выбросил его. Потом, кряхтя, взвалил на спину седло и пошел по направлению к роще, согнувшись и неловко ступая кривыми ногами.

— Давай я отвезу, или, хочешь, садись сам — я пешком пойду! — крикнул Мечик.

Морозка не оглянулся, только еще ниже склонился под тяжестью седла.

Мечик, стараясь почему-то больше не попасться ему на глаза, сделал большой крюк влево и, когда обогнул рощу, увидел неподалеку село, раскинувшееся поперек долины. В пространной низине, справа от него — до самого хребта, отвернувшего в сторону и затерявшегося в мутно-серой дали,— виднелся лес. Небо — такое чистое с утра — теперь висело низкое и невеселое,— солнце едва проступало.

Шагах в пятидесяти лежало несколько зарубленных казаков. Один был еще жив,— он с трудом приподнимался на руках и снова падал и стонал. Мечик далеко объехал его, стараясь не слышать его стонов. Из деревни, навстречу ему, ехало несколько конных партизан.

— У Морозки коня убили...— сказал Мечик, когда они поравнялись с ним.

Никто не ответил ему. Один окинул его подозрительным взглядом, словно хотел спросить: «А ты где

был, когда мы тут бились?» Мечик, осунувшись, поехал дальше. Он был полон самых недобрых предчувствий...

Когда он въехал в село, многие из отряда уже разошлись по квартирам,— остальные толпились возле большой пятистенной избы с высокими резными окнами. Левинсон, стоя на крыльце в сбившейся шапке, потный и пыльный, отдавал приказания. Мечик спешился возле забора, где стояли лошади.

— Откуда бог принес? — насмешливо спросил отделенный.— По грибы ходил, что ли?

— Нет, я отбился,— сказал Мечик. Ему было все равно теперь, что о нем подумают, но по привычке он оправдывался.— Я в рощу попал, вы, кажется, там влево свернули?

— Влево, влево! — радостно подтвердил один белобрысый партизанчик, с наивными ямочками и петушиным задорным хохолком на макушке.— Я кричал тебе, да ты не слышал, видать...— И он восторженно посмотрел на Мечика, как видно, с удовольствием вспоминая все подробности дела. Мечик, привязав лошадь, сел рядом с ним.

Из переулка вышел Кубрак в сопровождении толпы мужиков,— они вели двоих со скрученными назад руками. Один был в черной жилетке и с несуразной, точно приплюснутой головой в неровной проседи,— он сильно трясся и просил. Другой — тщедушный попик в растерзанной ряске, сквозь которую виднелись его измятые штанишки с отвисшей мошонкой. Мечик заметил, что к поясу у Кубрака прицеплена серебряная цепочка — как видно, от креста.

— Этот, да? — бледнея, спросил Левинсон, указав пальцем на человека в жилетке, когда они подошли к крыльцу.

— Он... он самый! — загудели мужики.

— И ведь такая мразь,— сказал Левинсон, обращаясь к Сташинскому, сидевшему рядом на перилах,— а Метелицы уже не воскресишь...— Он вдруг часто замигал и отвернулся и несколько секунд молча смотрел вдаль, стараясь отвлечься от воспоминаний о Метелице.

— Товарищи! милые!..— плакал арестованный, глядя то на мужиков, то на Левинсона собачьими, предан-

ными глазами.— Да неужто ж я по охоте?.. Господи... Товарищи, милые...

Никто не слушал его. Мужики отворачивались.

— Чего уж там: всем сходом видели, как ты пастушонка неволил,— сурово сказал один, окинув его безразличным взглядом.

— Сам виноват...— подтвердил другой и, смутившись, спрятал голову.

— Расстрелять его,— холодно сказал Левинсон.— Только отведите подальше.

— А с попом как? — спросил Кубрак.— Тоже — сука... Офицерей годувал.

— Отпустите его,— ну его к черту!

Толпа, к которой присоединились и многие партизаны, хлынула вслед за Кубраком, потащившим человека в жилетке. Тот упирался, сучил ногами и плакал, вздрагивая нижней челюстью.

Чиж, в фуражке, испачканной чем-то нехорошим, но с нескрываемым победоносным видом, подошел к Мечику.

— Вот ты где! — сказал обрадованно и гордо.— Эк тебя разукрасило! Пойдем пожрать куда-нибудь... Теперь они его разделают...— протянул он многозначительно и свистнул.

В избе, куда их пустили пообедать, было сорно и душно, пахло хлебом и шинкованной капустой. Весь угол у печки был завален грязными капустными кочнами. Чиж, давясь хлебом и щами, без умолку рассказывал о своих доблестях и то и дело поглядывал из-под бровей на тоненькую девушку с длинными косами, подававшую им. Она смущалась и радовалась. Мечик старался слушать Чижа, но все время настораживался и вздрагивал от каждого стука.

— ...Вдруг он как обернется — да на меня...— верещал Чиж, давясь и чавкая,— тут я его рраз!..

В это время звякнули стекла, и послышался отдаленный залп. Мечик, вздрогнув, уронил ложку и побледнел.

— Да когда же все это кончится!..— воскликнул он в отчаянии и, закрыв лицо руками, вышел из избы.

«...Они убили его, этого человека в жилетке,— думал он, уткнувшись лицом в воротник шинели, лежа

где-то в кустах,— он даже не помнил, как забрался сюда.— Они убьют и меня рано или поздно... Но я и так не живу — я точно умер: я не увижу больше родных мне людей и этой милой девочки со светлыми кудрями, портрет которой я изорвал на мелкие клочки... А он, наверно, плакал, бедный человек в жилетке. Боже, зачем я изорвал ее? И неужели я никогда не вернусь к ней? Как я несчастен!..»

Уже вечерело, когда он вышел из кустов с сухими глазами, с выражением страдания на лице. Где-то совсем рядом разливались пьяные голоса, играла гармонь. Он встретил у ворот тоненькую девушку с длинными косами,— она несла воду на коромысле, изогнувшись, как лозинка.

— Ох, и гуляет ваш один с хлопцами с нашими,— сказала она, подняв темные ресницы, и улыбнулась.— Он як... чуете? — И в такт разухабистой музыке, летевшей из-за угла, она покачала своей милой головкой. Ведра тоже качнулись, сплеснув воду,— девушка застыдилась и юркнула в калитку.

А мы сами каторжане,
Того да-жидалися-а...—

разливался чей-то пьяный и очень знакомый Мечику голос. Мечик выглянул за угол и увидел Морозку с гармоньей и с растрепавшимся чубом, свисавшим ему на глаза, прилипавшим к его красному, потному лицу.

Морозка шел посреди улицы с циничным развальцем, выставив вперед и растягивая гармонь с таким — «от всей души» — выражением, точно он похабничал и тут же каялся; за ним шла орава таких же пьяных парней, без поясов и шапок. По бокам, крича и вздымая клубы пыли, бежали босоногие мальчишки, безжалостные и резвые, как чертенята.

— А-а... Друг мой любезный! — в пьяном лицемерном восторге закричал Морозка, увидев Мечика.— Куда же ты? Куда? Не бойся — бить не будем... Выпей с нами... Ах, душа с тебя вон — вместях пропадать будем!

Они всей толпой окружили Мечика, обнимая его, склоняли к нему свои добрые пьяные лица, обдавая его

винным перегаром, кто-то совал ему в руку бутылку и надкушенный огурец.

— Нет, нет, я не пью,— говорил Мечик, вырываясь,— я не хочу пить...

— Пей, душа с тебя вон! — кричал Морозка, чуть не плача от веселого исступления.— Ах, панихида... в кровь... в три-господа!.. Вместях пропадать!

— Только немножко, пожалуйста, ведь я не пью,— сказал Мечик, сдаваясь.

Он сделал несколько глотков. Морозка, расплеснув гармонь, запел хриповатым голосом, парни подхватили.

— Пойдем с нами,— сказал один, взяв Мечика под руку.— «...А я жи-ву ту-ута...» — прогнусил он какую-то наугад выхваченную строчку и прижался к Мечику небритой щекой.

И они пошли вдоль по улице, шутя и спотыкаясь, распугивая собак, проклиная до самых небес, нависших над ними беззвездным темнеющим куполом, себя, своих родных, близких, эту неверную, трудную землю.

XVI. ТРЯСИНА

Варя, не участвовавшая в атаке (она оставалась в тайге с хозяйственной частью), приехала в село, когда все уже разбрелись по хатам. Она заметила, что захват квартир произошел беспорядочно, сам собой: взводы перемешались, никто не знал, где кто находится, командиров не слушались,— отряд распался на отдельные, не зависящие одна от другой части.

Ей попался по дороге к селу труп убитого Морозкиного коня; но никто не мог ей сказать определенно, что случилось с Морозкой. Одни говорили, что он убит,— они видели это собственными глазами; другие — что он только ранен; третьи, ничего не зная о Морозке, с первых же слов начинали радоваться тому счастливому обстоятельству, что сами остались в живых. И все это, вместе взятое, только усиливало то состояние упадка и безнадежного уныния, в котором Варя находилась со времени ее неудачной попытки примириться с Мечиком.

Намучившись и натерпевшись от бесконечных приставаний, от голода, от собственных дум и терзаний,

не имея больше сил держаться на седле, чуть не плача, она отыскала наконец Дубова — первого человека, действительно обрадовавшегося и улыбнувшегося ей суровой сочувственной улыбкой.

И когда она увидела его постаревшее, нахмуренное лицо с грязными и черными, опущенными книзу усами и все остальные окружавшие ее знакомые, милые, грубые лица, тоже посеревшие, искрапленные навек угольной пылью,— сердце у нее дрогнуло от сладкой и горестной тоски, любви к ним, жалости к себе: они напомнили ей те молодые дни, когда она красивой и наивной девчонкой, с пышными косами, с большими и грустными глазами, катала вагонетки по темным слезящимся штрекам и танцевала на вечерках, и они так же окружали ее тогда, эти лица, такие смешные и хотящие.

С того времени, как она поссорилась с Морозкой, она как-то совсем оторвалась от них, а между тем это были единственные близкие ей люди, шахтеры-коренники, которые когда-то жили и работали рядом и ухаживали за ней. «Как давно я их не видала, я вовсе о них забыла... Ах, милые мои дружки!..» — подумала она с любовью и раскаянием, и у нее так сладко заломило в висках, что она едва удержалась от слез.

Только одному Дубову удалось на этот раз разместить взвод в порядке по соседним избам. Его люди несли караул за селом, помогали Левинсону запасать продовольствие. В этот день как-то сразу выяснилось то, что скрыто было раньше в общем подъеме, в равных для всех буднях,— что весь отряд держится главным образом на взводе Дубова.

Варя узнала от ребят, что Морозка жив и даже не ранен. Ей показали его нового коня, отбитого у белых. Это был гнедой высокий тонконогий жеребец с коротко подстриженной гривой и тонкой шеей, отчего у него был очень неверный, предательский вид,— его уже окрестили «Иудой».

«Значит, он жив...— думала Варя, рассеянно глядя на жеребца.— Что ж, я рада...»

После обеда, когда она, забравшись на сеновал, лежала одна в душистом сене, прислушиваясь сквозь сон, не лезет ли к ней кто-нибудь «по старой дружбе»,— она вновь с мягким сонным и теплым чувством

вспомнила, что Морозка жив, и уснула с этой же мыслью.

Проснулась она внезапно — в сильной тревоге, с оледеневшими руками. Ночь, сплошная, движущаяся во тьме, глядела под крышу. Холодный ветер шевелил сено, стучал ветвями, шелестел листьями в саду...

«Боже мой, где же Морозка? где все остальные? — с трепетом подумала Варя.— Неужто я опять осталась одна, как былинка,— здесь, в этой черной яме?..» Она с лихорадочной быстротой и дрожью, не попадая в рукава, надела шинель и быстро спустилась с сеновала.

Около ворот маячил силуэт дневального.

— Это кто дневалит? — спросила она, подходя ближе.— Костя?.. Морозка вернулся, не знаешь?

— Выходит, ты на сеновале спала? — сказал Костя с досадой и разочарованием.— Вот не знал! Морозку не жди — загулял в дым: по коню поминки справляет... Холодно, да? Дай спичку...

Она отыскала коробок,— он закурил, прикрыв огонь большими ладонями, потом осветил ее:

— А ты сдала, молоденькая...— и улыбнулся.

— Возьми их себе...— Она подняла воротник и вышла за ворота.

— Куда ты?

— Пойду искать его!

— Морозку?.. Здорово!.. Может, я его заменю?

— Нет, навряд ли...

— Это с каких же таких пор?

Она не ответила. «Ну — свойская девка»,— подумал дневальный.

Было так темно, что Варя с трудом различала дорогу. Начал накрапывать дождик. Сады шумели все тревожней и глуше. Где-то под забором жалобно скулил продрогший щенок. Варя ощупью отыскала его и сунула за пазуху, под шинель,— он сильно дрожал и тыкался мордой. У одной из хат ей попался дневальный Кубрака,— она спросила, не знает ли он, где гуляет Морозка. Дневальный направил ее к церкви. Она исходила полдеревни без всякого результата и, расстроившись вконец, повернула обратно.

Она так часто сворачивала из одного переулка в другой, что забыла дорогу, и теперь шла наугад, почти

не думая о цели своих странствований; только крепче прижимала к груди потеплевшего щенка. Прошло, наверное, не меньше часа, пока она попала на улицу, ведущую к дому. Она свернула в нее, хватаясь свободной рукой за плетень, чтобы не поскользнуться, и, сделав несколько шагов, чуть не наступила на Морозку.

Он лежал на животе, головой к плетню, подложив под голову руки, и чуть слышно стонал,— как видно, его только что рвало. Варя не столько узнала его, сколько почувствовала, что это он,— не в первый раз она заставала его в таком положении.

— Ваня! — позвала она, присев на корточки и положив ему на плечо свою мягкую и добрую ладонь.— Ты чего тут лежишь? Плохо тебе, да?

Он приподнял голову, и она увидела его измученное, опухшее, бледное лицо. Ей стало жаль его — он казался таким слабым и маленьким. Узнав ее, он криво улыбнулся и, тщательно следя за исправностью своих движений, сел, прислонился к плетню и вытянул ноги.

— А-а... это вы?.. М-мое вам почтение...— пролепетал он ослабевшим голосом, пытаясь, однако, перейти на тон развязного благополучия.— М-мое вам почтение, товарищ... Морозова...

— Пойдем со мной, Ваня,— она взяла его за руку.— Или ты, может, не в силах?.. Обожди — сейчас все устроим, я достучусь...— И она решительно вскочила, намереваясь попроситься в соседнюю избу. Она ни секунды не колебалась в том, удобно ли темной ночью стучаться к незнакомым людям и что могут подумать о ней самой, если она ввалится в избу с пьяным мужчиной,— она никогда не обращала внимания на такие вещи.

Но Морозка вдруг испуганно замотал головой и захрипел:

— Ни-ни-ни... Я тебе достучусь!.. Тише!..— И он потряс сжатыми кулаками у своих висков. Ей показалось даже, что он потрезвел от испуга.— Тут Гончаренко стоит, разве н-неизвестно?.. Да как же м-можно...

— Ну и что ж, что Гончаренко? Подумаешь — барин...

— Н-нет, ты не знаешь,— он болезненно сморщился и схватился за голову,— ты же не знаешь — зачем же?..

Ведь он меня за человека, а я... ну, как же?.. Не-ет, разве можно...

— И что ты мелешь без толку, миленький ты мой,— сказала она, снова опустившись на корточки рядом с ним.— Смотри — дождик идет, сыро, завтра в поход идти,— пойдем, миленький...

— Нет, я пропал,— сказал он как-то уж совсем грустно и трезво.— Ну, что я теперь, кто я, зачем,— подумайте, люди?..— И он вдруг жалобно повел вокруг своими опухшими, полными слез глазами.

Тогда она обняла его свободной рукой и, почти касаясь губами его ресниц, зашептала ему нежно и покровительственно, как ребенку:

— Ну, что ты горюешь? И чем тебе может быть плохо?.. Коня жалко, да? Так там уж другого припасли,— такой добрый коник... Ну, не горюй, милый, не плачь,— гляди, какую я собачку нашла, гляди, какой кутенок! — И она, отвернув ворот шинели, показала ему сонного вислоухого щенка. Она была так растрогана, что не только ее голос, но вся она точно журчала и ворковала от доброты.

— У-у, цуцик! — сказал Морозка с пьяной нежностью и облапил его за уши.— Где ты его?.. К-кусается, стерва...

— Ну, вот видишь!.. Пойдем, миленький...

Ей удалось поднять его на ноги, и так, увещевая его и отвлекая от дурных мыслей, она повела его к дому, и он уже не сопротивлялся, а верил ей.

За всю дорогу он ни разу не напомнил ей о Мечике, и она тоже не заикнулась о нем, как будто и не было между ними никакого Мечика. Потом Морозка нахохлился и вовсе замолчал: он заметно трезвел.

Так дошли они до той избы, где стоял Дубов.

Морозка, вцепившись в перекладинки лестницы, пытался влезть на сеновал, но ноги не слушались его.

— Может, подсобить? — спросила Варя.

— Нет, я сам, дура! — ответил он грубо и сконфуженно.

— Ну, прощай тогда...

Он отпустил лестницу и испуганно посмотрел на нее:

— Как «прощай»?

— Да уж как-нибудь.— Она засмеялась деланно и грустно.

Он вдруг шагнул к ней и, неловко обняв ее, прижался к ее лицу своей неумелой щекой. Она почувствовала, что ему хочется поцеловать ее, и ему действительно хотелось, но он постыдился, потому что парни на руднике редко ласкали девушек, а только сходились с ними; за всю совместную жизнь он поцеловал ее только один раз — в день их свадьбы,— когда был сильно пьян и соседи кричали «горько».

«...Вот и конец, и все обернулось по-старому, будто и не было ничего,— думала Варя с грустным, тоскливым чувством, когда насытившийся Морозка заснул, прикорнув возле ее плеча.— Снова по старой тропке, одну и ту же лямку — и все к одному месту... Но боже ж мой, как мало в том радости!»

Она повернулась спиной к Морозке, закрыв глаза и поджав по-сиротски ноги, но ей так и не удалось заснуть... Далеко за селом, с той стороны, где начинался Хаунихедзский волостной тракт и где стояли часовые,— раздались три сигнальных выстрела... Варя разбудила Морозку,— и только он поднял свою кудлатую голову, снова ухнули за селом караульные берданы, и тотчас же в ответ им, прорезая ночную темь и тишь, полилась, завыла, затакала волчья пулеметная дробь...

Морозка сумрачно махнул рукой и вслед за Варей полез с сеновала. Дождя уж не было, но ветер покрепчал; где-то хлопала ставня, и мокрый желтый лист вился во тьме. В хатах зажигали огни. Дневальный, крича, бегал по улице и стучал в окошки.

В течение нескольких минут, пока Морозка добрался до пуни и вывел своего Иуду, он вновь перечувствовал все, что произошло с ним вчера. Сердце у него сжалось, когда он представил себе убитого Мишку с остекленевшими глазами, и вспомнил вдруг, с омерзением и страхом, все свое вчерашнее недостойное поведение: он, пьяный, ходил по улицам, и все видели его, пьяного партизана, он орал на все село похабные песни. С ним был Мечик, его враг,— они гуляли запанибрата, и он, Морозка, клялся ему в любви и просил у него прощения — в чем? за что?.. Он чувствовал теперь всю нестерпимую фальшь этих своих поступков. Что скажет Левинсон? И разве можно, на самом деле, показаться на глаза Гончаренке после такого дебоша?

Большинство его товарищей уже седлали коней и выводили их за ворота, а у него все было неисправно: седло — без подпруги, винтовка осталась в избе Гончаренки.

— Тимофей, друг, выручи!..— жалобным, чуть не плачущим голосом взмолился он, завидев Дубова, бежавшего по двору.— Дай мне запасную подпругу — у тебя есть, я видал...

— Что?! — заревел Дубов.— А где ты раньше был?! — Бешено ругаясь и расталкивая лошадей, так что они взнялись на дыбы, он полез к своему коню за подпругой.— На!..— гневно сказал он, через некоторое время подходя к Морозке, и вдруг изо всей силы вытянул его подпругой по спине.

«Конечно, теперь он может бить меня, я того заслужил»,— подумал Морозка и даже не огрызнулся — он не почувствовал боли. Но мир стал для него еще мрачнее. И эти выстрелы, что трещали во тьме, эта темь, судьба, что поджидала его за околицей,— казались ему справедливой карой за все, что он совершил в жизни.

Пока собирался и строился взвод, стрельба занялась полукругом до самой реки, загудели бомбометы, и дребезжащие сверкающие рыбы взвились над селом. Бакланов, в перетянутой шинели, с револьвером в руке, подбежал к воротам,— кричал:

— Спешиться!.. Построиться в одну шеренгу!.. Человек двадцать оставишь при конях,— сказал он Дубову.

— За мной! Бегом!..— крикнул он через несколько минут и ринулся куда-то во тьму; за ним, на ходу запахивая шинели, расстегивая патронташи, побежала цепь.

Дорогой им встретились убегавшие часовые.

— Их там несметная сила! — кричали они, панически размахивая руками.

Грохнул орудийный залп; снаряды взорвались в центре села, осветив на миг кусочек неба, покривившуюся колокольню, поповский сад, блистающий в росе. Потом небо стало еще темнее. Снаряды рвались теперь один за другим, с короткими равными промежутками. Где-то на краю занялось полымя — загорелся стог или изба.

Бакланов должен был задержать врага до тех пор, пока Левинсон успеет собрать отряд, рассыпанный по всему селу. Но Бакланову не удалось даже подвести взвод к поскотине: он увидал при вспышках бомб бегущие к нему навстречу неприятельские цепи. По направлению стрельбы и по свисту пуль он понял, что неприятель обошел их с левого фланга, от реки, и, вероятно, вот-вот вступит в село с того конца.

Взвод начал отстреливаться, отступая наискось в правый угол, перебегая звеньями, лавируя по переулкам, садам и огородам. Бакланов прислушивался к перепалке возле реки,— она передвигалась к центру,— как видно, тот край был теперь занят неприятелем. Вдруг от главного тракта со страшным визгом промчалась вражеская конница, видно было, как стремительно лилась по улице темная, грохочущая многоголовая лава людей и лошадей.

Уже не заботясь о том, чтобы задержать неприятеля, Бакланов вместе со взводом, потерявшим человек десять, побежал по незанятому клину по направлению к лесу. И почти у самого спуска в ложбину, где тянулся последний ряд изб, они натолкнулись на отряд во главе с Левинсоном, поджидавшим их. Отряд заметно поредел.

— Вот они,— облегченно сказал Левинсон.— Скорей по коням!

Они побрали лошадей и во весь опор помчались к лесу, черневшему в низине. Очевидно, их заметили — пулеметы затрещали вслед, и сразу запели над головами ночные свинцовые шмели. Огненно дребезжащие рыбы вновь затрепетали в небе. Они ныряли с высоты, распустив блистательные хвосты, и с громким шипением вонзались в землю у лошадиных ног. Лошади шарахались, вздымая кровавые жаркие пасти и крича, как женщины,— отряд смыкался, оставив позади копошащиеся тела.

Оглядываясь назад, Левинсон видел громадное зарево, полыхавшее над селом,— горел целый квартал,— на фоне этого зарева метались одиночками и группами черные огненноликие фигурки людей.

Сташинский, скакавший рядом, вдруг опрокинулся с лошади и несколько секунд продолжал волочиться за

ней, зацепившись ногой за стремя, потом он упал, а лошадь понеслась дальше, и весь отряд обогнул это место, не решаясь топтать мертвое тело.

— Левинсон, смотри! — возбужденно крикнул Бакланов и показал рукой вправо.

Отряд был уже в самой низине и быстро приближался к лесу, а сверху, пересекая линию черного поля и неба, мчалась ему наперерез неприятельская кавалерия. Лошади, вытянувшие черные головы, и всадники, согнувшиеся над ними, показывались на мгновение на более светлом фоне неба и тотчас же исчезали во тьме, перевалив сюда, в низину.

— Скорей!.. Скорей!..— кричал Левинсон, беспрерывно оглядываясь и пришпоривая жеребца.

Наконец они достигли опушки и спешились. Бакланов со взводом Дубова опять остался прикрывать отступление, а остальные ринулись в глубь леса, ведя под уздцы лошадей.

В лесу было спокойней и глуше: стрекот пулеметов, ружейная трескотня, орудийные залпы остались позади и казались уже чем-то посторонним, они точно не задевали лесной тишины. Только слышно было иногда, как где-то в глубине, ломая деревья, с грохотом ложатся снаряды. В иных местах зарево, прорвавшись в чащу, бросало на землю и на древесные стволы сумрачные, медные, темнеющие по краям блики, и виден был окутывающий стволы сырой, точно окровавленный мох.

Левинсон передал свою лошадь Ефимке и пропустил вперед Кубрака, указав ему, в каком направлении идти (он выбрал это направление только потому, что обязан был дать отряду какое-то направление), а сам стал в сторонке, чтобы посмотреть, сколько же у него осталось людей.

Они проходили мимо него, эти люди,— придавленные, мокрые и злые, тяжело сгибая колени и напряженно всматриваясь в темноту; под ногами у них хлюпала вода. Иногда лошади проваливались по брюхо — почва была очень вязкая.

Особенно трудно приходилось поводырям из взвода Дубова,— они вели по три лошади, только Варя вела две — свою и Морозкину. А за всей этой вереницей измученных людей тянулся по тайге грязный, вонючий

извивающийся след, точно тут проползло какое-то смрадное, нечистое пресмыкающееся.

Левинсон, прихрамывая на обе ноги, пошел позади всех. Вдруг отряд остановился...

— Что там случилось? — спросил он.

— Не знаю,— ответил партизан, шедший перед ним. Это был Мечик.

— А ты узнай по цепи...

Через некоторое время вернулся ответ, повторенный десятками побелевших трепетных уст:

— Дальше идти некуда, трясина...

Левинсон, превозмогая внезапную дрожь в ногах, побежал к Кубраку. Едва он скрылся за деревьями, как вся масса людей отхлынула назад и заметалась во все стороны, но везде, преграждая дорогу, тянулось вязкое, темное, непроходимое болото. Только один путь вел отсюда — это был пройденный ими путь туда, где мужественно бился шахтерский взвод. Но стрельба, доносившаяся с опушки леса, уже не казалась чем-то посторонним, она имела теперь самое непосредственное отношение к ним, теперь она как будто даже приближалась к ним, эта стрельба.

Людьми овладели отчаяние и гнев. Они искали виновника своего несчастья,— конечно же, это был Левинсон!.. Если бы они могли сейчас видеть его все разом, они обрушились бы на него со всей силой своего страха,— пускай он выводит их отсюда, если он сумел их завести!..

И вдруг он действительно появился среди них, в самом центре людского месива, подняв в руке зажженный факел, освещавший его мертвенно-бледное бородатое лицо со стиснутыми зубами, с большими горящими круглыми глазами, которыми он быстро перебегал с одного лица на другое. И в наступившей тишине, в которую врывались только звуки смертельной игры, разыгравшейся *там,* на опушке леса,— его нервный, тонкий, резкий, охрипший голос прозвучал слышно для всех:

— Кто там расстраивает ряды?.. Назад!.. Только девчонкам можно впадать в панику... Молчать! — взвизгнул он вдруг, по-волчьи щелкнув зубами, выхватив маузер, и протестующие возгласы мгновенно застыли на губах.— Слушать мою команду! Мы будем

гатить болото — другого выхода нет у нас... Борисов (это был новый командир 3-го взвода), оставь поводырей и иди на подмогу Бакланову! Скажи ему, чтобы держался до тех пор, пока не дам приказа отступать... Кубрак! Выделить трех человек для связи с Баклановым... Слушайте все! Привяжите лошадей! Два отделения — за лозняком! Не жалеть шашек... Все остальные — в распоряжение Кубрака. Слушать его беспрекословно. Кубрак, за мной!..— Он повернулся к людям спиной и, согнувшись, пошел к трясине, держа над головой дымящее смолье.

И притихшая, придавленная, сбившаяся в кучу масса людей, только что в отчаянии вздымавшая руки, готовая убивать и плакать, вдруг пришла в нечеловечески быстрое, послушное яростное движение. В несколько мгновений лошади были привязаны, стукнули топоры, затрещал ольховник под ударами сабель, взвод Борисова побежал во тьму, гремя оружием и чавкая сапогами, навстречу ему уже тащили первые охапки мокрого лозняка... Слышался грохот падающего дерева, и громадная, ветвистая, свистящая махина шлепалась во что-то мягкое и гибельное, и видно было при свете зажженного смолья, как темно-зеленая, поросшая ряской, поверхность вздувалась упругими волнами, подобно телу исполинского удава.

Там, цепляясь за сучья,— освещенные дымным пламенем, выхватывавшим из темноты искаженные лица, согнутые спины, чудовищные нагромождения ветвей,— в воде, в грязи, в гибели копошились люди. Они работали, сорвав с себя шинели, и сквозь разодранные штаны и рубахи проступали их напряженные, потные, исцарапанные в кровь тела. Они утратили всякое ощущение времени, пространства, собственного тела, стыда, боли, усталости. Они тут же черпали шапками болотную, пропахнувшую лягушечьей икрой воду и пили ее торопливо и жадно, как раненые звери...

А стрельба подвигалась все ближе и ближе, делалась все слышнее и жарче. Бакланов одного за другим слал людей и спрашивал: скоро ли?.. скоро?.. Он потерял до половины бойцов, потерял Дубова, истекшего кровью от бесчисленных ран, и медленно отступал, сдавая пядь за пядью. В конце концов он отошел к

лозняку, который рубили для гати,— дальше отступать было некуда. Неприятельские пули теперь густо свистели над болотом. Несколько человек работающих было уже ранено,— Варя делала им перевязки. Лошади, напуганные выстрелами, неистово ржали и вздымались на дыбы; некоторые, оборвав повода, метались по тайге и, попав в трясину, жалобно взывали о помощи.

Потом партизаны, засевшие в лозняке, узнав, что гать окончена, бросились бежать. Бакланов, с ввалившимися щеками, воспаленными глазами, черный от порохового дыма, бежал за ними, угрожая опустошенным кольтом, и плакал от бешенства.

Крича и размахивая смольем и оружием, волоча за собой упирающихся лошадей, отряд чуть не разом хлынул на плотину. Возбужденные лошади не слушались поводырей и бились, как припадочные; задние, обезумев, лезли на передних; гать трещала, разлезалась. У выхода на противоположный берег сорвалась с гати лошадь Мечика, и ее вытаскивали веревками, с исступленной матерной бранью. Мечик судорожно вцепился в скользкий канат, дрожавший в его руках от лошадиного неистовства, и тянул, тянул, путаясь ногами в грязном вербняке. А когда лошадь вытащили наконец, он долго не мог распутать узел, стянувшийся вокруг ее передних ног, и в яростном наслаждении вцепился в него зубами — в этот горчайший узел, пропитанный запахом болота и отвратительной слизью.

Последними прошли через гать Левинсон и Гончаренко.

Подрывник успел заложить динамитный фугас, и почти в тот момент, как противник достиг переправы, плотина взлетела на воздух.

Через некоторое время люди очнулись и поняли, что наступило утро. Тайга лежала перед ними в сверкающем розовом инее. В просветы в деревьях проступали яркие клочки голубого неба,— чувствовалось, что там, за лесом, встает солнце. Люди побросали горящие головни, которые они до сих пор несли почему-то в руках, увидели свои красные, изуродованные руки, мокрых, измученных лошадей, дымившихся нежным, тающим паром,— и удивились тому, что они сделали в эту ночь.

XVII. ДЕВЯТНАДЦАТЬ

В пяти верстах от того места, где происходила переправа, через трясину был перекинут мост — там пролегал государственный тракт на Тудо-Ваку. Еще со вчерашнего вечера, опасаясь, что Левинсон не останется ночевать в селе, казаки устроили засаду на самом тракте, верстах в восьми от моста.

Они просидели там всю ночь, дожидаясь отряда, и слышали отдаленные орудийные залпы. Утром примчался вестовой с приказом — остаться на месте, так как неприятель, прорвавшись через трясину, идет по направлению к ним. А через каких-нибудь десять минут после того, как проехал вестовой, отряд Левинсона, ничего не знавший о засаде и о том, что мимо только что промчался неприятельский вестовой, тоже вышел на Тудо-Вакский тракт.

Солнце уже поднялось над лесом. Иней давно растаял. Небо раскрылось в вышине, прозрачно-льдистое и голубое. Деревья в мокром сияющем золоте склонялись над дорогой. День занялся теплый, не похожий на осенний.

Левинсон рассеянным взглядом окинул всю эту светлую и чистую, сияющую красоту и не почувствовал ее. Увидел свой отряд, измученный и поредевший втрое, уныло растянувшийся вдоль дороги, и понял, как он сам смертельно устал и как бессилен он теперь сделать что-либо для этих людей, уныло плетущихся позади него. Они были еще единственно не безразличны, близки ему, эти измученные верные люди, ближе всего остального, ближе даже самого себя, потому что он ни на секунду не переставал чувствовать, что он чем-то обязан перед ними; но он, казалось, *не мог* уже ничего сделать для них, он уже не руководил ими, и только сами они еще не знали этого и покорно тянулись за ним, как стадо, привыкшее к своему вожаку. И это было как раз то самое страшное, чего он больше всего боялся, когда вчерашним утром думал о смерти Метелицы...

Он пытался взять себя в руки, сосредоточиться на чем-нибудь практически необходимом, но мысль его сбивалась и путалась, глаза слипались, и странные образы, обрывки воспоминаний, смутные ощущения окру-

жающего, туманные и противоречивые, клубились в его сознании беспрерывно сменяющимся, беззвучным и бесплотным роем... «Зачем эта длинная, бесконечная дорога, и эта мокрая листва, и небо, такое мертвое и ненужное мне теперь?.. Что я обязан теперь делать?.. Да, я обязан выйти в Тудо-Вакскую долину... вак... скую долину... как это странно — вак...скую долину... Но как я устал, как мне хочется спать! Что могут еще хотеть от меня эти люди, когда мне так хочется спать?.. Он говорит — дозор... Да, да, и дозор... у него такая круглая и добрая голова, как у моего сына, и, конечно, нужно послать дозор, а уж потом спать... спать... и даже не такая, как у моего сына, а... что?..»

— Что ты сказал? — спросил он вдруг, подняв голову.

Рядом с ним ехал Бакланов.

— Я говорю, надо бы дозор послать.

— Да, да, надо послать; распорядись, пожалуйста...

Через минуту кто-то обогнал Левинсона усталой рысью,— Левинсон проводил глазами сгорбленную спину и узнал Мечика. Ему показалось что-то неправильное в том, что Мечик едет в дозор, но он не смог заставить себя разобраться в этой неправильности и тотчас же забыл об этом. Потом еще кто-то поехал мимо.

— Морозка! — крикнул Бакланов вслед уезжавшему.— Вы все-таки не теряйте друг дружку из виду...

«Разве он остался в живых? — подумал Левинсон.— А Дубов погиб... Бедный Дубов... Но что же случалось с Морозкой?.. Ах, да — это было с ним вчера вечером. Хорошо, что я не видел его тогда...»

Мечик, отъехавший уже довольно далеко, оглянулся: Морозка ехал саженях в пятидесяти от него, отряд тоже был еще виден. Потом и отряд и Морозка скрылись за поворотом. Нивка не хотела бежать рысью, и Мечик машинально подгонял ее: он плохо понимал, зачем его послали вперед, но ему велели ехать рысью, и он подчинялся.

Дорога вилась по влажным косогорам, густо заросшим дубняком и кленом, еще хранившим багряную листву. Нивка пугливо вздрагивала и жалась к кустам. На подъеме она пошла шагом. Мечик, задремавший в седле, больше не трогал ее. Иногда он приходил

в себя и с недоумением видел вокруг все ту же непроходимую чащу. Ей не было ни конца, ни начала, как не было ни конца, ни начала тому сонному, тупому, не связанному с окружающим миром состоянию, в котором он сам находился.

Вдруг Нивка испуганно фыркнула и шарахнулась в кусты, прижав Мечика к каким-то гибким прутьям... Он вскинул голову, и сонное состояние мгновенно покинуло его, сменившись чувством ни с чем не сравнимого животного ужаса: на дороге в нескольких шагах от него стояли казаки.

— Слезай!..— сказал один, придушенным свистящим шепотом.

Кто-то схватил Нивку под уздцы. Мечик, тихо вскрикнув, соскользнул с седла и, сделав несколько унизительных телодвижений, вдруг стремительно покатился куда-то под откос. Он больно ударился руками в мокрую колоду, вскочил, поскользнулся,— несколько секунд, онемев от ужаса, барахтался на четвереньках и, выправившись наконец, побежал вдоль по оврагу, не чувствуя своего тела, хватаясь руками за что попало и делая невероятные прыжки. За ним гнались: сзади трещали кусты и кто-то ругался с злобными придыханиями...

Морозка, зная, что впереди еще один дозорный, тоже плохо следил за тем, что творилось вокруг него. Он находился в том состоянии крайней усталости, когда совершенно исчезают всякие, даже самые важные человеческие мысли и остается одно непосредственное желание отдыха — отдыха во что бы то ни стало. Он не думал больше ни о своей жизни, ни о Варе, ни о том, как будет относиться к нему Гончаренко, он даже не имел сил жалеть о смерти Дубова, хотя Дубов был одним из самых близких ему людей,— он думал только о том, когда же наконец откроется перед ним обетованная земля, где можно будет приклонить голову. Эта обетованная земля представлялась ему в виде большой и мирной, залитой солнцем деревни, полной жующих коров и хороших людей, пахнущей скотом и сеном. Он заранее предвкушал, как он привяжет лошадь, напьется молока с куском пахучего ржаного хлеба, а потом заберется на сеновал и крепко заснет, подвернув голову, наннув на пятки теплую шинель...

И когда внезапно выросли перед ним желтые околыши казачьих фуражек и Иуда попятился назад, всадив его в кусты калины, кроваво затрепетавшие перед глазами,— это радостное видение большой, залитой солнцем деревни так и слилось с мгновенным ощущением неслыханного гнусного предательства, только что совершенного здесь...

— Сбежал, гад...— сказал Морозка, вдруг с необычайной ясностью представив себе противные и чистые глаза Мечика и испытывая в то же время чувство щемящей тоскливой жалости к себе и к людям, которые ехали позади него.

Ему жаль было не того, что он умрет сейчас, то есть перестанет чувствовать, страдать и двигаться,— он даже не мог представить себя в таком необычайном и странном положении, потому что в эту минуту он еще жил, страдал и двигался,— но он ясно понял, что *никогда* не увидеть ему залитой солнцем деревни и этих близких, дорогих людей, что ехали позади него. Но он так ярко чувствовал их в себе, этих уставших, ничего не подозревающих, доверившихся ему людей, что в нем не зародилось мысли о какой-либо иной возможности для себя, кроме возможности еще предупредить их об опасности... Он выхватил револьвер и, высоко подняв его над головой, чтобы было слышнее, выстрелил три раза, как было условлено...

В то же мгновенье что-то звучно сверкнуло, ахнуло, мир точно раскололся надвое, и он вместе с Иудой упал в кусты, запрокинув голову.

Когда Левинсон услышал выстрелы,— они прозвучали так неожиданно и были так невозможны в теперешнем его состоянии, что он даже не воспринял их. Он только тогда понял их значение, когда раздался залп по Морозке и лошади стали как вкопанные, вскинув головы, насторожив уши.

Он беспомощно оглянулся, впервые ища поддержки со стороны, но в том едином, страшном немо-вопрошающем лице, в которое слились для него побледневшие и вытянувшиеся лица партизан,— он прочел то же единственное выражение беспомощности и страха... «Вот оно — то, чего я боялся»,— подумал он и сделал такой жест рукой, точно искал и не нашел, за что бы ухватиться...

И вдруг он совершенно отчетливо увидел перед собой простое, мальчишеское, немного даже наивное, но черное и погрубевшее от усталости и дыма лицо Бакланова. Бакланов, держа в одной руке револьвер, а другой крепко вцепившись в лошадиную холку, так что на ней явственно отпечатались его короткие мальчишеские пальцы,— напряженно смотрел в ту сторону, откуда прозвучал залп. И его наивное скуластое лицо, слегка подавшееся вперед, выжидая приказа, горело той подлинной и величайшей из страстей, во имя которой сгибли лучшие люди из их отряда.

Левинсон вздрогнул и выпрямился, и что-то больно и сладко зазвенело в нем. Вдруг он выхватил шашку и тоже подался вперед с заблестевшими глазами.

— На прорыв, да? — хрипло спросил он у Бакланова, неожиданно подняв шашку над головой, так что она вся засияла на солнце. И каждый партизан, увидев ее, тоже вздрогнул и вытянулся на стременах.

Бакланов, свирепо покосившись на шашку, круто обернулся к отряду и крикнул что-то пронзительное и резкое, чего Левинсон уже не мог расслышать, потому что в это мгновение, подхваченный той внутренней силой, что управляла Баклановым и что заставила его самого поднять шашку, он помчался по дороге, чувствуя, что весь отряд должен сейчас кинуться за ним...

Когда через несколько минут он оглянулся, люди действительно мчались следом, пригнувшись к седлам, выставив стремительные подбородки, и в глазах у них стояло то напряженное и страстное выражение, какое он видел у Бакланова.

Это было последнее связное впечатление, какое сохранилось у Левинсона, потому что в ту же секунду что-то ослепительно-грохочущее обрушилось на него — ударило, завертело, смяло,— и он, уже не сознавая себя, но чувствуя, что еще живет, полетел над какой-то оранжевой, кипящей пропастью.

Мечик не оглядывался и не слышал погони, но он знал, что гонятся за ним, и когда один за другим прозвучали три выстрела и грянул залп, ему показалось, что это стреляют в него, и он припустил еще быстрее. Внезапно овраг раздался неширокой лесистой долиной.

Мечик сворачивал то вправо, то влево, пока вдруг снова не покатился куда-то под откос. В это время грянул новый залп, гораздо большей густоты и силы, потом еще и еще без перерыва,— весь лес заговорил и ожил...

«Ай, боже мой, боже мой... Ай-ай... боже мой...» — то шептал, то вскрикивал Мечик, вздрагивая от каждого нового оглушительного залпа и нарочно так жалко кривя свое исцарапанное лицо, как это делают дети, когда им хочется вызвать слезы. Но глаза его были отвратительно, постыдно сухи. Он все время бежал, напрягая последние силы.

Стрельба стала затихать, она точно направилась в другую сторону. Потом она и вовсе смолкла.

Мечик несколько раз оглянулся: погони больше не было. Ничто не нарушало той отдаленно-гулкой тишины, что наступила вокруг. Он, задыхаясь, свалился за первым попавшимся кустом. Сердце его учащенно билось. Свернувшись калачиком, подложив под щеку кисти рук и напряженно глядя перед собой, он несколько минут лежал без движения. Шагах в десяти от него, на голой тоненькой березке, согнувшейся до самой земли и освещенной солнцем, сидел полосатый бурундучок и смотрел на него наивными желтоватыми глазками.

Вдруг Мечик быстро сел, схватившись за голову, и громко застонал. Бурундучок, испуганно пискнув, спрыгнул в траву. Глаза Мечика сделались совсем безумными. Он крепко вцепился в волосы исступленными пальцами и с жалобным воем покатился по земле... «Что я наделал... о-о-о... что я наделал,— повторял он, перекатываясь на локтях и животе и с каждым мгновением все ясней, убийственней и жалобней представляя себе истинное значение своего бегства, первых трех выстрелов и всей последующей стрельбы.— Что я наделал, как мог я это сделать,— я, такой хороший и честный и никому не желавший зла,— о-о-о... как мог я это сделать!»

Чем отвратительней и подлее выглядел его поступок, тем лучше, чище, благородней казался он сам себе до совершения этого поступка.

И мучился он не столько потому, что из-за этого его поступка погибли десятки доверившихся ему людей, сколько потому, что несмываемо-грязное, отвратитель-

ное пятно этого поступка противоречило всему тому хорошему и чистому, что он находил в себе.

Он машинально вытащил револьвер и долго с недоумением и ужасом глядел на него. Но он почувствовал, что никогда не убьет, не сможет убить себя, потому что больше всего на свете он любил все-таки самого себя — свою белую и грязную немощную руку, свой стонущий голос, свои страдания, свои поступки — даже самые отвратительные из них. И он с вороватым тихоньким паскудством, млея от одного ощущения ружейного масла, стараясь делать вид, будто ничего не знает, поспешно спрятал револьвер в карман.

Он уже не стонал и не плакал. Закрыв лицо руками, он тихо лежал на животе, и все, что он пережил за последние месяцы, когда ушел из города, вновь проходило перед ним усталой и грустной чередой: его наивные мечтания, которых он стыдился теперь, боль первых встреч и первых ран, Морозка, госпиталь, старый Пика с серебряными волосиками, покойный Фролов, Варя с большими, грустными, неповторимыми глазами и этот последний ужасный переход через трясину, перед которым тускнело все остальное.

«Я не хочу больше переносить это»,— подумал Мечик с неожиданной прямотой и трезвостью, и ему стало очень жалко самого себя. «Я не в состоянии больше вынести это, я не могу больше жить такой низкой, нечеловеческой, ужасной жизнью»,— подумал он снова, чтобы еще сильней разжалобиться и в свете этих жалких мыслей схоронить собственную наготу и подлость.

Он все еще осуждал себя и каялся, но уже не мог подавить в себе личных надежд и радостей, которые сразу зашевелились в нем, когда он подумал о том, что теперь он совершенно свободен и может идти туда, где нет этой ужасной жизни и где никто не знает о его поступке. «Теперь я уйду в город, мне ничего не остается, как только уйти туда»,— подумал он, стараясь придать этому оттенок грустной необходимости и с трудом подавляя чувство радости, стыда и страха за то, что это может не осуществиться.

Солнце перевалило на ту сторону согнувшейся тоненькой березки,— она была теперь вся в тени. Мечик вынул револьвер и далеко забросил его в кусты. Потом он отыскал родничок, умылся и сел возле него. Он все

еще не решался выйти на дорогу. «Вдруг там белые?..» — думал он тоскливо. Слышно было, как тихо-тихо журчал в траве малюсенький родничок...

«А не все ли равно?» — вдруг подумал Мечик с той прямотой и трезвостью, которую он теперь сам умел находить под ворохом всяких добрых и жалостливых мыслей и чувствований.

Он глубоко вздохнул, застегнул рубашку и медленно побрел в том направлении, где остался Тудо-Вакский тракт.

Левинсон не знал, сколько времени длилось его полусознательное состояние,— ему казалось, что очень долго, на самом деле оно длилось не больше минуты,— но, когда он очнулся, он, к удивлению своему, почувствовал, что по-прежнему сидит в седле, только в руке не было шашки. Перед ним неслась черногривая голова его коня с окровавленным ухом.

Тут он впервые услышал стрельбу и понял, что это стреляют по ним,— пули густо визжали над головой,— но он понял также, что это стреляют сзади и что самый страшный момент тоже остался позади. В это мгновение еще два всадника поравнялись с ним. Он узнал Варю и Гончаренку. У подрывника вся щека была в крови. Левинсон вспомнил об отряде и оглянулся, но никакого отряда не было: вся дорога была усеяна конскими и людскими трупами, несколько всадников, во главе с Кубраком, с трудом поспешали за Левинсоном, дальше виднелись еще небольшие группки, они быстро таяли. Кто-то, на хромающей лошади, далеко отстал, махал рукой и кричал. Его окружили люди в желтых околышах и стали бить прикладами,— он пошатнулся и упал. Левинсон сморщился и отвернулся.

В эту минуту он, вместе с Варей и Гончаренкой, достиг поворота, и стрельба немного утихла; пули больше не визжали над ухом. Левинсон машинально стал сдерживать жеребца. Партизаны, оставшиеся в живых, один за другим настигали его. Гончаренко насчитал девятнадцать человек — с собой и Левинсоном. Они долго мчались под уклон, без единого возгласа, упершись затаившими ужас, но уже радующимися глазами в то узкое, желтое молчаливое пространство, что стремительно бежало перед ними, как рыжий загнанный пес.

Постепенно лошади перешли на рысь, и стали различимы отдельные обгорелые пни, кусты, верстовые столбы, ясное небо вдали над лесом. Потом лошади пошли шагом.

Левинсон ехал немного впереди, задумавшись, опустив голову. Иногда он беспомощно оглядывался, будто хотел что-то спросить и не мог вспомнить, и странно, мучительно смотрел на всех долгим, невидящим взглядом. Вдруг он круто осадил лошадь, обернулся и впервые совершенно осмысленно посмотрел на людей своими большими, глубокими, синими глазами. Восемнадцать человек остановились, как один. Стало очень тихо.

— Где Бакланов? — спросил Левинсон.

Восемнадцать человек смотрели на него молча и растерянно.

— Убили Бакланова...— сказал наконец Гончаренко и строго посмотрел на свою большую, с узловатыми пальцами, руку, державшую повод.

Варя, ссутулившаяся рядом с ним, вдруг упала на шею лошади и громко, истерически заплакала,— ее длинные растрепавшиеся косы свесились чуть не до земли и вздрагивали. Лошадь устало повела ушами и подобрала отвисшую губу. Чиж, покосившись на Варю, тоже всхлипнул и отвернулся.

Глаза Левинсона несколько секунд еще стояли над людьми. Потом он весь как-то опустился и съежился, и все вдруг заметили, что он очень слаб и постарел. Но он уже не стыдился и не скрывал своей слабости; он сидел потупившись, медленно мигая длинными мокрыми ресницами, и слезы катились по его бороде... Люди стали смотреть в сторону, чтобы самим не расстроиться.

Левинсон повернул лошадь и тихо поехал вперед. Отряд тронулся следом.

— Не плачь, уж чего уж...— виновато сказал Гончаренко, подняв Варю за плечо.

Всякий раз, как Левинсону удавалось забыться, он начинал снова растерянно оглядываться и, вспомнив, что Бакланова нет, снова начинал плакать.

Так выехали они из леса — все девятнадцать.

Лес распахнулся перед ними совсем неожиданно — простором высокого голубого неба и ярко-рыжего поля, облитого солнцем и скошенного, стлавшегося на две

стороны, куда хватал глаз. На той стороне, у вербняка, сквозь который синела полноводная речица,— красуясь золотистыми шапками жирных стогов и скирд, виднелся ток. Там шла своя — веселая, звучная и хлопотливая — жизнь. Как маленькие пестрые букашки, копошились люди, летали снопы, сухо и четко стучала машина, из куржавого облака блесткой половы и пыли вырывались возбужденные голоса, сыпался мелкий бисер тонкого девичьего хохота. За рекой, подпирая небо, врастая отрогами в желтокудрые забоки, синели хребты, и через их острые гребни лилась в долину прозрачная пена бело-розовых облаков, соленых от моря, пузырчатых и кипучих, как парное молоко.

Левинсон обвел молчаливым, влажным еще взглядом это просторное небо и землю, сулившую хлеб и отдых, этих далеких людей на току, которых он должен будет сделать вскоре такими же своими, близкими людьми, какими были те восемнадцать, что молча ехали следом,— и перестал плакать; нужно было жить и исполнять свои обязанности.

1925—1926

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ УДЭГЕ

Роман

ТОМ ПЕРВЫЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Весной 1919 года, в самый разгар партизанского движения на Дальнем Востоке, Филипп Мартемьянов, забойщик Сучанских угольных копей, и Сережа Костенецкий, сын врача из села Скобеевки, пошли по деревням и по стойбищам проводить выборы на областной повстанческий съезд.

Больше месяца бродили они по синеющим тропам, по немым таежным проселкам. 22 мая утром они проснулись на чердаке крестьянской избы в лесной деревушке Ивановке, верстах в тридцати от приморского уездного города Ольги. В отверстие меж потолком и крышей глянули на них облитая солнцем осиновая роща и очень яркий клочок голубого неба.

Мартемьянов вспомнил, что в этот день, двадцать пять лет назад, он на глазах целой толпы убил в запальчивости человека, которого следовало бы убить и в более спокойном состоянии. Сережа вспомнил, что в этот день, год назад, за несколько недель до белого переворота, он был исключен из шестого класса гимназии за организацию ученической забастовки. Мартемьянов был человек уже пожилой, виски у него были совсем седые, Сережа — большерукий подросток с черными глазами. События эти были самыми значительными в их жизни.

Они не нашли нужным поделиться друг с другом своими воспоминаниями и, наскоро одевшись, спустились в избу.

Крестьянина, принявшего их на постой, звали Иосиф Шпак. На местном путаном наречии, смешавшем все российские говоры, фамилия эта значила не то скворец, не то воробей. Но фамилия эта не шла к нему: крестьянин был костляв, высок, лицо имел худощавое, длинное, в мужественных продольных морщинах, в длинной бороде, такой запущенной и грязной, что казалась она слепленной из отдельных клочков, глаза голубые, покорные, с одним вывороченным бескровным веком на правом. Лет ему было уже далеко за сорок, и говорил он и двигался не торопясь, точно познал тщету даже самых поразительных и бескорыстных человеческих усилий.

В деревне звали его больше Боярином, прозвищем, данным ему в насмешку за то, что в молодости он частенько брался за крупные неосуществимые дела, по нескольку дел зараз: вроде бондарного ремесла, выделки кож или мази для колес, каких-нибудь лыжных заготовок («лыжи сю зиму дорого должны пойти»,— говорил он), но ничего у него не выходило, и был он при большой семье самым маломощным хозяином в этой и вообще-то нищей деревушке. Сереже и Мартемьянову обидно и жалко было смотреть, как, жадничая над их салом, оставляя на нем следы своих грязных пальцев, Боярин мелко-мелко крошил его на сковороду тем самым ножом, которым только что чинил лапти.

Боярина, как человека бывалого и ничем не рискующего, да вдобавок еще отца двух партизан, избрали в этот день делегатом на съезд. И он же вызвался провести своих постояльцев до Ольгинского перевала.

Вышли они на рассвете, когда допевали уже третьи петухи и видны стали свернувшиеся в лопухах росистые оловянные капли.

Всю дорогу до перевала Мартемьянов был молчалив, рассеян, все забегал вперед, по-стариковски налегая на пятки; рассматривал тропу, деревья,— его широкое, в редких рябинах лицо, заросшее жесткой рыжеватой щетиной, было чем-то озабочено. Сережа заметил его беспокойство уже под самым перевалом:

Мартемьянов стоял возле серого кривого дуба и, в волнении обламывая кусты вокруг, ковырял пальцем какую-то старинную ржавую засечку; через минуту его солдатская шапка и порыжевшая от солнца спина мелькали где-то далеко от тропы.

— Интересуется,— равнодушно сказал Боярин.

Пождав Мартемьянова и не дождавшись, они вдвоем взошли на перевал, на солнечный счастливый юр, и море раскрылось перед ними, оранжево дымясь.

Горный отрог распадался тут на множество мелких отрожков, несших к морю зубчатые стены лиловых хвойных чащ. И до самого моря, все расширяясь и расцветая, стлались промеж них душистые пади, распадки, полные яркой зелени — дубовой глянцевой плотной листвы, красноватых кленов, тисов, орешников; внизу, вдоль реки, вилась кудрявая верба, исходящая пушистым розовым семенем; цвела черемуха; березовые девственные рощи, волнуясь и блистая корой, толпились по опушкам солнечных лугов, по лугам неслышно бродили облачные тени.

На ближней стороне залива в виде удлиненной подковы Сережа с трудом различил какие-то едва проступающие сквозь кусты строеньица: игрушечную колокольню, пакгаузы.

— Пост святой Ольги, как называли ранее,— пояснил Боярин.— С семнадцатого году город считается. Только какой уж там город: там и домов-то—раз, два, и обчелся...

«Так вот она какая Ольга!..» — подумал Сережа: он был столько наслышан об этом военном поселении, о том, что за обладание им велись ожесточенные бои, и вдруг — незначительная деревушка, примечательная только своей колокольней да цинковыми пакгаузами...

Но так прекрасны были солнечные долины, веером распростершиеся перед ним, точно перья гигантского павлиньего хвоста, радужные концы которых спускались в голубую воду, и так приятно было ощущение усталости, влажного ветра на щеках, тяжести винчестера — настоящего охотничьего винчестера — за плечами, а главное, так еще свежо, так ново было все, что он пережил за последние недели,— весь их страннический путь через леса, перевалы, болота; таинственные ночи у костров, полные безликих шорохов, трепета со-

виных крыл, далекого звучания падающей воды или осыпающегося щебня; ночи на заброшенных хуторах, на туземных стойбищах, пахнущих дымом и невыделанной кожей; золотисто-розовый туман по утрам, за которым внезапно открывались зеленеющие пашни, поднятые с весны поскотины, шумные села, кипящие вооруженным народом, бурные крестьянские сходы, вереницы подвод, беспрерывная смена лиц и событий, в которой особенно весело было ловить на себе быстрые любопытные взгляды из-под какого-нибудь ситцевого платочка,— так молодо и волнующе необычно было все это, что мимолетное разочарование тут же покинуло Сережу, и смешанное чувство восторга, беспредметной жалости, любви ко всему овладело им.

— У нас через эту Ольгу в аккурат переселение было,— говорил Боярин медлительным глуховатым голосом, не замечая, что Сережа не слушает его.— Привезли нас тоже вот на пароходе, да в аккурат, где те сараи с цинка, и выгрузили. Ну, да сараев тогда этих, например, не было, церкви тоже; одне только деревянные бараки да десятка два хатенок. Было-то это давненько, годов уже не менее осьмнадцати, а то и более... Якорь спустили вон там, подале, услали лодку, а нам сперва не дают: обождите, мол, начальство пачпорта проглядит. Что ж, проглядит — проглядит, ладно... Молодым-то ребятам и горя мало, вроде как даже интересно, а старики, уж они видют: горы да лес — и боле нет ничего... «Вот тебе, думают, и Зеленый Клин!» С нами на пароходе хохлы ехали, семьи четыре,— мы-то сами воронежские, а то хохлы,— так они всю дорогу гундели: «О це ж Зелений Клин, да коли ж Зелений Клин! Да там трава с чоловика, да там с винограду аж деревья гнутся, да там земля чорна на сажень!..» Ай, дураки-и... Ха!.. Тьфу!..— и Боярин вдруг крепко выругался, махнул костлявой рукой, похожей на конскую берцу, и даже топнул.

Сережа с удивлением посмотрел на него.

— Ну, хорошо-о... А уже, как сказать, холода были,— ежели бы дома, самое бы молотить. Одежонка у нас плохонькая, а мы все на борте стоим, за перильца держимся, все на берег смотрим... Когда — глядим, плывет наша шлюпчонка, везет двоих. Один такой вроде маленький, седенький, весь в пуговицах, а другого

что-то не упомню, только, видать, помоложе. Взойшли они на трапу, побалакали с капитаном: то, се — да к нам. Тут бабы наши вперед: просить. И, правда, уж замучились все. У других ребята грудные — в аккурат на пароходе родились: как-никак, а более двух месяцев всеё дороженьки — тоже надо подумать!.. Ну, баб маленько пооттерли. «Хто вас плепровождает?» — спрашивают. Мы со страху и не разобрались,— а шут его знает, чего им там! — стоим, молчим. «Старшина-то у вас есть?» У нас, правда, был один вроде за старшину, его еще в Одессе выбрали,— мужик тоже из нашей деревни. Теперь-то уж он помер. Пуня — фамилия ему была, а звать не то Астафей, не то Ефсифей — чудное такое прозвание... Вот он и выходит: «Здесь, говорит, старшина».— «А пачпорта, говорят, в порядке?» И... пошла канитель!

Боярин вздохнул, почесал под рубахой, вспоминая все новые и новые подробности своего переселения... Нет, все это было совсем не то, о чем ему нужно было говорить.

Не мог он рассказать о том, как безземельные воронежские мужики, обремененные семьями да вшами, совершили этот гигантский рейс вокруг Аравии и Индии в поисках новой родины — «садить села на сыром кореню», как в летописной древности. Какими райскими красками были расписаны им эти новые земли с саженными назьмами, безграничными покосами, тучнеющие под тяжестью своих плодов... И как велико было разочарование.

Лучшие земли были уже заняты сибирскими староверами, поднявшими по ста десятин и более. Вместо жирного российского чернозема — тонкие пласты перегноя, выпахавшегося в первые же годы, родившего только сорные травы. Вместо баснословных покосов — мокрый кочкарник, покрытый резучкой и кислыми злаками... А вода,— каждый год сносившая в море плоды нечеловеческих трудов, а гнус,— доводивший до бешенства людей и животных, а зверь — ревевший по ночам у самых землянок,— нет, это были совсем, совсем не райские земли!.. И тайга в ее буйном великолепном цветении, так глубоко поражавшая Сережу своим великолепием,— как хищный враг, как вор, противостояла людям.

— А где же тут Гиммеровские рудники? — спросил Сережа, глядя с невольной брезгливой жалостью на то, как развешивает Боярин на солнце вонючие ветошки, разминает пальцами свои потные, белые, грязные ступни.

— Какие там рудники! — безнадежно отозвался Боярин. — Железные, что ли? Да, доставали тут руду, копали ямы... отседа не видать их. Это — вон за тем хребтиком и туда подале, к святому Владимиру... Тут у нас святые все, — вставил он с хитроватой усмешкой, и лицо его сразу было поумнело, но обычное выражение покорности и ленивого всезнайства тотчас же вернулось к нему. — У него все больше китайцы работали, русские мало. А как восстание пошло, и китайцы сбегли: должно, *в хунхузы* подались. Теперь все народное будет, — закончил он не совсем искренне, желая угодить слушателю.

«Что, если бы он узнал, что Гиммер — мой дядя?» — подумал Сережа.

— А хунхузов тут много?..

— Какие там хунхузы!.. — с сомнением ответил Боярин, хотя дальше ему нужно было говорить о том, что хунхузов в этом году стало больше, чем во все прошлые годы. — Оно хотя, и вправду, се лето...

Но ему не удалось докончить: кусты с шумом раздвинулись, и Мартемьянов в теплой солдатской шапке, весь обливаясь пóтом, тяжело ступая своими чуть кривоватыми, вывернутыми ногами, вышел на дорогу.

— Э, вот она, благодать-то, где! — широко улыбнувшись, возгласил он приятным урчащим голосом, в котором слышались уже стариковские нотки, и подмигнул Сереже.

Сбросив ружье и котомку, он долго смотрел по сторонам, прикрывая рукой глаза и бормоча что-то себе под нос. И на его широком добродушном лице Сережа поймал выражение какой-то внутренней неловкости: беспокойного внимания, удивленной грусти. Мартемьянов точно искал или силился узнать что-то — и не мог, или узнавал — и поражался. Потом он опустил руку, но все продолжал стоять, задумчиво уставившись в пространство, и это новое выражение особенно не вязалось с ним: обычно он всегда находился в ладном неторопливом движении — всегда говорил или делал

что-нибудь. Вдруг глаза его повлажнели. Он склонил голову и стал свертывать цигарку, руки у него дрожали.

«Да что это с ним сегодня?» — недоумевал Сережа.

— Вот ты насчет хунхузов спрашивал,— заговорил Боярин, вытянув босые ноги и лениво разглядывая их.— Се лето столько их нашло, что не только там *гольду* или *тазу*, а и русскому проходу не стало. И откуда они только взялись?.. Старики бают, мол, восстание пошло, так инороды тоже взбунтовались промеж себя, вроде как бы и мы, и не хотят *байту* хунхузам платить, а хунхузы вроде бы пришли на усмирение. С этих инородов— и русских до нитки обдерут... Почему это со штабу с вашего приказу никакого нет? Насчет инородов этих?.. Выселить бы их, что ли?.. Тут и самим-то земли не хватает...

— Болтают дураки, а ты за ними — как попугай, а своей головы, видно, и нет!..— вдруг со страшным волнением сказал Мартемьянов.— «Выселить»!.. Понятие иметь надо...— добавил он, едва сдерживая себя и густо багровея.— Наш брат всегда вот так,— через некоторое время заговорил он, уже успокаиваясь.— Работать сами не умеем, да еще норовим на своего же брата верхом сесть: вали, брат Савка, у тебя и язык другой, и глаза косые, и пар заместо души!.. А ежели по-настоящему разобраться, народ этот куда лучше нашего — простой, работящий, друг дружке помогают, не воруют...

— Уж и не воруют? — усомнился Боярин.

— Ну, конечно! Наш брат разве поверит, чтоб на свете люди были, что и не воруют!.. А я вот тебе скажу...

Как все не очень далекие, но крепко убежденные в чем-нибудь главном люди, Мартемьянов любил поучать. Но он так верил сам в то, что говорит, и такой наивной важностью светились в это время его добрые синеватые глаза с простодушной пестринкой, что никто на него не обижался. Не обиделся и Боярин.

— Что ж, может, и зря болтают,— сказал он уклончиво.— Домой мне собираться пора,— солнце-то, вон оно где...— И, недоверчиво скользнув глазами по Мартемьянову и по Сереже, он потянулся за портянкой.—

Обратно-то мне трактом придется: к обеду тут такой туман застелит — не вылезешь...

— Туман? — удивился Сережа.

— А вона.— И Боярин кивнул к морю, где вставала на горизонте мутно-серая пелена.

На этом перевале они и простились.

— Увидимся на съезде,— дружелюбно сказал Мартемьянов.

— Прощайте, товарищ Шпак, на съезде увидимся,— с чувством сказал Сережа и покраснел от жалости.

Боярин, плохо переобувшийся, так, что клоки его портянок торчали во все стороны, с готовностью совал им руку, выставляя бороду и вывороченное веко и смущенно потряхивая котомкой, которую он держал почему-то в той же руке, отчего выглядел еще бедней и нескладней. И когда Сережа в последний раз взглянул на его прямую костлявую фигуру, медленно спускавшуюся с перевала, махавшую руками и приседавшую на тощий, отвислый зад,— сердце у Сережи тягостно сжалось.

II

Перевал далеко уже остался за их спиной, когда Мартемьянов свернул вправо по широкой торной тропинке.

— Куда вы? — спросил Сережа.

— Ничего, здесь ближе,— не оборачиваясь, ответил Мартемьянов.

Сережа прибавил шагу и догнал его. Сбоку выскочили вдруг телеграфные столбы. Белые чашечки изоляторов то исчезали в листве, то снова сверкали на солнце.

Тропа круто свернула еще правее. Маленький человек, показавшийся из-за поворота, едва не наскочил на них. Он, как кошка, отпрыгнул в сторону, хотя нес на спине высокий тяжелый куль, какие носят *женьшеньщики*, и, прижавшись к кустам, недоверчиво посмотрел на встречных своими длинными косыми глазами. На нем была круглая шапочка с нитяной пуговицей на макушке, широкие шаровары из синей китайской *дабы*, а ноги были обуты в китайские *улы*, с ремнями до ко-

лена. Сережа принял его за китайца. Мартемьянов вдруг побледнел и всплеснул руками.

— Сарл!..— крикнул он лающим голосом.

Через мгновение он и незнакомец, бросивший свой куль, стояли, обнявшись, похлопывая друг друга по спине и издавая какие-то ласкающие рычащие звуки.

— Вот не ждал! — кричал Мартемьянов.— Тьфу, черт! Да как же это ты?.. Вот ты, господи!..

А незнакомец по-детски улыбался и все повторял:

— Ай-э, Филипп... У-у... Филипп... Айя-хе-е...

Сережа, вначале испугавшийся немного, так и застыл на месте, держась рукой за винчестер.

Незнакомец, которого Мартемьянов назвал Сарлом, был уже в годах, но еще далеко не стар,— с крепкими скулами, искрящимися темно-зелеными глазами, резкими, как осока, с тонкими подвижными губами, то складывавшимися в детскую улыбку, мгновенно освещавшую его скуластое бронзовое лицо, то принимавшими прежнее твердое и самолюбивое выражение.

— А ведь мы собирались к вам,— возбужденно говорил Мартемьянов,— дня через четыре должны были быть... четыре *солнца* — понимаешь? Сначала в Ольгу, потом к вам...

— О-о, четыре солнца? — недовольно переспросил Сарл, и по тому, как свободно произнес он «р», в то же время протяжно выпевая гласные, Сережа понял, что это не китаец.— Зачем четыре солнца, Филипп?.. Ране надо ходить — три солнца, однако, самое много. Как раз праздник нам...

— Праздник?..

— Ай-э, большой праздник: сынка мой — одна зима, как раз... У-у, здоровый сынка, все равно медведь.— И мужественное лицо Сарла снова осветилось детской ослепительной улыбкой.

— Сынка?! У тебя? — воскликнул Мартемьянов.— Ну и Сарл! Да как же это ты? Да ты расскажи, что там у вас...

— Нет, тебе первый кажи,— как можно? Тебе старшинка...

— Вот еще новости...

— Нет, нет, тебе первый,— смеясь, настаивал Сарл.

— Скажи, какой ранжир наводит! — сказал Мартемьянов, обернувшись к Сереже и не скрывая удо-

вольствия, которое доставила ему уважительность Сарла.

И, сразу поважнев,— как всегда, когда дело касалось таких вещей, которые сопряжены были с его должностью зампредревкома,— он стал пространно рассказывать о предстоящем съезде. Сарл ни разу не перебил его. Несмотря на живость, даже нервозность, которая угадывалась в нем по тому, как он теребил пальцами шнурки своей рубахи, и по тому, как нервно подергивалась изредка его щека,— он был, видно, сдержан и осторожен. Только когда Мартемьянов сказал, что на съезде будут участвовать все народности, Сарл приподнял брови и удовлетворенно чмокнул губами.

— Ай, хорошо,— сказал он, когда Мартемьянов кончил. Его где буду — Ольга или Скобеевка?

— Нет, в Скобеевке: в Ольге еще опасно все-таки...

— А удэге тоже могу посылай?

— Еще бы!

«Удэге?! — в изумлении чуть не воскликнул Сережа. Сердце его забилось.— Так это удэге? Древний воинственный народ? В этой круглой шапочке, какие носят все китайские лавочники?.. Нет, этого не может быть!..»

— Хунхуза?.. О-о, хунхуза много,— говорил Сарл в ответ на вопрос Мартемьянова о хунхузах.— Нам в Инза-лаза-гóу много людей ходи: корейца ходи, гольда ходи, все проси помогай хунхуза дерись. Наша помогай. Наша хунхуза не боится.

— И правильно! — воодушевился Мартемьянов.— И байту не надо платить... Мы этот вопрос и на съезде постановим...

— Ай-э, разве наша плати? Тебе знай, удэге никогда не плати!

— А ты почему все китайское надел?

— Я в Шимынь ходи, *панты* продавай, на праздник чего-чего справил...— Он кивнул на свою ношу и, вдруг заметив на себе пристальный взгляд Сережи, недоверчиво покосился на него.

— Ты его не стесняйся,— сказал Мартемьянов.— Это знаешь кто? Его батька людей лечит...

— Хо-о, людей лечи? — обрадовался Сарл.— Какой хороший люди!.. Ну, тогда я все расскажи... Я раз-

ведка ходи,— сказал он таинственно и ткнул пальцем по направлению к Ольге.— Ольга тогда еще белый сиди, а в Шимынь — красный. А я из дому выходи, думай — Шимынь тоже белый. Я думай, белый увидит: «А-а, удэге?» — Он сделал свирепые глаза и, издав почти непередаваемый звук «х-хлик», чиркнул пальцем по горлу.— Ну, я — хитрый: портки китайский надевай, рубашка китайский, шапка все равно китайский, я знай, китайский люди много ходи, белый не тронет. Тебе понимай: китайский лицо, удэгейский лицо совсем разный. Китайский глаза — все равно земля, удэгейский — все равно трава. А белый ничего не знает. Его смотри: глаза косой, шапка китайский,— значит, китайский люди. А ряшка его не разбирает. Когда собака бежит, ряшка никто не разбирает... правда? А белый смотри — косой глаза у люди — это все равно собака...

В этом месте Сарл, довольно сносно говоривший по-русски, сопровождавший свою речь энергичными жестами и неуловимой, почти калейдоскопической мимикой, внезапно остановился, дернул щекой, и прежняя самолюбивая складка — только еще опасней и тверже — обозначилась в углах его губ.

— Ну, ладно,— со вздохом продолжал он.— Я приходи в Шимынь, смотри — там красный. Тебе Гладких помнишь?

— Он там? — с живостью спросил Мартемьянов.

— Ай-э, какой смелый люди! Его меня разведка посылай, я ходи... Потом много-много партизанка ходи, пушка стреляй, белый — на парохода: домой подался. Сейчас, однако, печка сиди, лапти суши,— пошутил Сарл.— Маленько я задержись, ну, ничего: праздник попадем... Ай-э, ходи нам праздник, Филипп! Я буду радый, Янсели, жена моя, радый, сынка мой радый, Масенда радый — все радый буду...

— Масенда?..— воскликнул Мартемьянов. — Как он, все не стареет?..

— У-у!.. Масенда — все равно кедр: долго-долго живи. Сейчас, однако, охота пошел...

— Ну, вот что,— решительно сказал Мартемьянов,— стоять тут нам некогда, всего не переговоришь. Ежели управимся, придем к вам на праздник. А ежели в крайности не управимся, зайдем все равно насчет

съезда. Жди. А пока...— и Мартемьянов широким радушным жестом протянул ему свою круглую ладонь.

Сарл схватил ее обеими руками и крепко, несколько церемонно потряс ее. Потом, улыбнувшись и весело подмигнув Сереже, он быстрым сильным движением, неожиданным в его маленьком гибком теле, подхватил свою кладь и крякнул.

— Прощай, старшинка! — крикнул он, обернувшись.— Я тебя ожидай в Инза-лаза-гóу...— И скрылся за поворотом.

— Вот они, дела-то какие...— сказал Мартемьянов, возбужденно глянув на Сережу, все еще смотревшего вслед Сарлу с счастливой улыбкой, и грустно вздохнул.— Пойдем, брат...

III

Под самой Ольгой, возле лиственного шалаша, еще не успевшего высохнуть, их грубо остановил патруль. Мартемьянов, отвыкший от такого обращения, важно назвал свою фамилию, но этим только вконец разобидел караульного начальника. Пока он искал свое удостоверение, караульный начальник, чопорный, глупый старикашка, весь перетянутый желтыми ремешками и сильно гордившийся этим, успел так много надерзить ему, что, когда выяснилась высокая должность Мартемьянова, отступать уж было некуда. И караульный начальник вынужден был сердито прокричать, что ольгинский штаб помещается в бывшей гиммеровской конторе, на Набережной улице.

— Бывают же люди,— добродушно усмехнулся Мартемьянов и покрутил головой.

Когда они выходили на набережную, сзади кто-то крикнул:

— Э-э... обождите!..

Они оглянулись. Вслед им, сильно прихрамывая, бежал худой, но складный, несмотря даже на хромоту, партизан в матросских рыжих сапогах, рваной, застегнутой на один крюк шинели внакидку и смятой шапке-футрованке, из-под которой вился его русый кудрявый, как у Кузьмы Крючкова, чуб.

— Вы, никак, с Сучана? — спросил он, подходя уже шагом, сильно запыхавшись.— А в Ивановке, случаем, не были?

— Были и в Ивановке,— дружелюбно сказал Мартемьянов.

— И обратно тудою пойдете?

— Нет, это уж навряд...

— Э, вот незадача...— огорчился партизан, прикусив чистый аржаной ус, резко выделявшийся на его кирпичном лице.

— А что тебе?

— Да я, видишь, сам ивановский, да вот перехожу к Гладкому в отряд, а завтра нам выступать, и гостинца ребятам передать не с кем,— он кивнул на сверточек, который держал в руках.— У меня там двое: мальчик и девочка, да еще третьего жду... Думал, может, передадите, да, видно, не с руки...

— Ваша фамилия Шпак,— вдруг утвердительно сказал Сережа, глядя в упор на его чистые соломенные усы.

— А ты отколь знаешь? — поразился партизан.

— По лицу узнал,— обрадованно пояснил Сережа, хотя и не смог бы на этом моложавом обветренном лице, осмысленного выражения которого не портил даже бутафорский чуб, указать хотя бы одну определенную черту, сходную с чертами Боярина.— Отец ваш провожал нас до самого перевала.

— А до Ольги, видать, поленился? — улыбнулся партизан.— Как они там без меня?

— Его на съезд выбрали,— быстро сказал Сережа, чувствуя к этому партизану особенную симпатию за то, что он сын Боярина и что у него такие чудесные светлые усы.

— Да что ты говоришь? — изумился партизан.— А я думал — его не сдвинешь ноне никак...

— Вас, кажись, двое сыновей-то? — спросил Мартемьянов.— Ты младший, что ли?

— Ну, нет. Младший в Беневской, в тыловой охране... Какой я младший! Уж я чего только в жизни не превзошел! — наивно добавил партизан.

— Темный у тебя отец,— вдруг строго сказал Мартемьянов,— совсем, совсем темный.

— А с чего бы ему светлому быть?

— Учить надо...

— Научишь его! Ему в одно ухо кажи, а в другое выходит... Да и какая там наука в лесу,— серьезно сказал партизан,— только пни ворочать... Дед наш, батькин отец, даже помешался на этом деле: до самой смерти все на печи сидел да пальцем печь ковырял, будто землю. А раз не доглядели, так он из избы вышел да всю как есть завалину лопатой изрыл,— избу хотел выморочить...

— А к Гладкому ты зачем? — перебил его Мартемьянов, не заинтересовавшись его рассказом.

— Боевой командир — это одно. И опять же воевать я привык, а тут, в Ольге, видать, не скоро что будет... Так, значит, не с руки? Ну, прощайте тогда...

И, пожав руки Сереже и Мартемьянову и запахнув шинель, он заковылял обратно.

IV

Над грузным кирпичным зданием, с квадратными окнами, с массивным, из серого камня, крыльцом, по которому беспрерывно сновали люди, колыхался новый кумачный флаг: это был ольгинский штаб.

С залива, подступившего чуть ли не к самому зданию, дул влажный холодный ветер. Белые скучные гребешки с ровным шумом набегали на берег, клочья тумана стлались над водой, мутно серевшей в огромном пространстве моря и неба.

Мартемьянов и Сережа вошли в большую низкую комнату с когда-то беленными, теперь замызганными стенами, увешанными чертежами и картами. Комната была разделена деревянным барьером на две части: здесь помещалась раньше гиммеровская канцелярия.

Людям, захватившим контору, этот деревянный барьер напоминал о тех временах, когда приходилось долгие унизительные часы выстаивать за ним, ожидая жалованья. Теперь дверца барьера была оторвана, люди свободно толкались в обеих половинах, ругались, курили, плевали, садились и на самый барьер и на конторские столы, мешая работать двум измученным писарям, олицетворявшим аппарат новой власти. Серый

табачный дым, пыль, говор, запахи псины и пота столбом стояли в комнате.

— Где здесь будет начальник штаба? — спросил Мартемьянов у одного из писарей, сочувственно покосившись на его каракули.

Тот посмотрел на него белесыми, широко раскрытыми и ничего не понимающими глазами, потом дернул себя за вихор и ткнул пальцем в соседнюю дверь направо.

Полный, рыхлый человек с белой шевелюрой, падавшей ему на лоб, один, выпятив круглое плечо, сидел за столом в глубине комнаты. Не глядя на вошедших, он подписал какую-то бумагу, вновь просмотрел ее, шаря большой, толстой, поросшей белыми волосками рукой по столу, наконец, ухватив пресс-папье и промокнув написанное, поднял выпуклые, усталые и добрые светло-голубые глаза.

— Что надо? — спросил он грубоватым баском, приняв со лба волосы неожиданно мягким и осторожным движением большой кисти.

Мартемьянов подал мандат.

— А-а, так вы и есть Мартемьянов? — с радушной улыбкой сказал начальник штаба.— Это хорошо... Я Крынкин... наверное, слыхали? — Он протянул руку (Сережа было тоже сделал движение, но Крынкин не заметил).— А мы вас еще вчера ждали. Вам тут телеграмма...

— Телеграф, значит, справили? — спросил Мартемьянов.

— Как же... Да где же она? — Крынкин беспорядочно зашвырял бумагами.— Вон она куда завалилась...

Сережа, глянув через плечо Мартемьянова, прочел: «Дольше возможности не задерживайтесь непредвиденные осложнения Сурков».

— Что это у них там еще? — спросил Сережа, нахмурившись и таким тоном, который должен был показать Крынкину, что тот, конечно, может и дальше не обращать на него никакого внимания, но все-таки эта телеграмма имеет к нему, к Сереже, самое непосредственное отношение.

Но Крынкин, оказалось, ничего и не имел против этого.

— Видно, по военной линии не все у них ладно, так надо думать,— ответил он, доброжелательно повернув свои выпуклые глаза на Сережу.— Писем, правда, нет еще, но я по тому сужу, что у нас тут другие телеграммы есть — требуют отряды в Скобеевку. Завтра тетюхинцы выступают... Я было насчет съезда забеспокоился. Ответили: ничего, выбирайте, съезд будет...

— Ишь, оно как...— протянул Мартемьянов.— Неладно, говоришь?.. А ну, покажи телеграммы...

Лицо Мартемьянова, по мере того как он просматривал телеграммы, становилось все более и более сердитым.

Их было шесть, телеграмм, на протяжении трех недель, и ясно было, что ни на одну из них Крынкин не дал в свое время удовлетворительного ответа: все телеграммы говорили об одном и том же; и каждая последующая была тревожней и резче предыдущей:

«Поздравляем взятием Ольги свободные силы немедленно перебрасывайте Сучан Сурков».

«Срочно формируйте отряды шлите Сучан точка промедление наносит непоправимый вред движению Сурков».

«Мобилизуйте тетюхинцев точка снимайте тыловые охраны по селам высылайте Сучан точка дальнейшее промедление преступно Сурков».

Последняя телеграмма возлагала личную ответственность на Крынкина за задержку в переброске отрядов и грозила ему революционным трибуналом.

— Почему ж ты не перебрасываешь? — густо багровея, спросил Мартемьянов.

— Как же не перебрасываю? Все силы мобилизовал. Да какие у нас силы? Работаю один, ничего не налажено. Беневские, например, отказались идти: «А ежели, говорят, японцы у нас десант высадят?» Тетюхинцев тоже сразу нельзя было послать: у меня на них одна опора была. Теперь вот сколотили кое-что, тетюхинцев посылаю. Через недельку пошлю еще человек триста...

— Знаешь, дорогой мой,— сдерживая себя, заговорил Мартемьянов,— в таком деле нужно быстрей оборачиваться... Как так — «отказались»? Не мыслю я, чтоб люди так-таки и отказались! А вы бы пояснили

им, что, ежели, мол, други мои, Сучан разгромят, вам тоже против японца не устоять...

— Да разве мы не говорили? — оправдываясь, пробасил Крынкин.— Думаешь, мы ничего не делали? Помаленьку выпрямляемся. Задержка, правда, была, да ведь я один работаю... А тут еще всякие гражданские дела навалились. Мужики идут за тем, за другим, ведь не откажешь?

— Мужикам отказывать нельзя, на мужике стоим,— важно сказал Мартемьянов,— а на людей недостачу грех тебе жаловаться, право, грех... Да ежели б я такие телеграммы получил, я б в лепешку разбился, а выслал отряды!.. Тетюхинцы когда выступают — утром? Командир у них Гладких, кажись?

— Гладких... Да, вот еще что: можно ведь Суркова к прямому проводу вызвать, тут ведь прямой провод... Синельников! — позвал Крынкин, обернувшись к двери.— Как же, докричишься тут!..— Он виновато улыбнулся и полез из-за стола.

У него был большой живот, поддерживаемый ремнем с бляхой, на ногах домашние туфли, широкие полотняные штаны,— он чем-то напоминал учителя начальной школы. Сережа подобрел к нему.

— Часам к восьми вызовем,— говорил Крынкин,— а вы пока отдохните. Я, кстати, и сам еще не обедал...

Он открыл дверь и басисто закричал:

— Синельников! Да тише вы там!.. Синельников, распорядись, чтобы вызвали по прямому... Кто требует? А, черт бы их взял! Ну, я сейчас.— Он вышел, хлопнув дверью.

Мартемьянов вздохнул и опустился в кресло.

— Работничек, нечего сказать... Садись,— сказал он Сереже и, вытащив платок, стал обтирать им свою круглую, с шишковатым затылком голову.— Мы с тобой к Гладкому пойдем. Он, брат, нас лучше накормит...

— А как же теперь к удэгейцам?

— Там поглядим... Что вот Сурков скажет...

— Прямо отбою нет...— сказал Крынкин, задыхаясь, шумно входя в комнату,— баба его бузуем назвала, так он к начальнику штаба... Ну я распорядился, часам к восьми вызовут, вы пока...

— Нет, мы до Гладкого подадимся,— сказал Мартемьянов, вставая.— Это мой друг старый... Они где стоят-то?

В это мгновение снова открылась дверь, и в комнату сунулся полный, круглолицый мальчишка лет двенадцати, босой, в коротких, выше колен, штанишках — такой нежный и рыжий, что даже белые пухлые лицо и руки его были все в веснушках.

— Папа! — сказал он очень противным голосом: — Мама велела передать, что она не может сто раз на день обед разогревать и чтобы ты немедленно шел обедать...

Заметив Сережу, он с балованным любопытством, несколько даже нагловато, уставился на него своими понимающими, выпуклыми, как у отца, глазами. В них было примерно следующее выражение: «А, у тебя ружье? А ведь ты тоже еще мальчик?.. Да ты брось представляться, ведь я понимаю все, что ты о себе думаешь и кем хочешь казаться, я мог бы рассказать о тебе немало стыдного...»

— Иду, иду,— сказал Крынкин, ужасно покраснев.— Сколько раз тебе говорено, чтобы ты не ходил босиком, когда туманно... Ступай, ступай!.. У меня ведь семья тут,— виновато сказал он.— Сколько я намаялся из-за них, когда в сопках был!

— Да, с ребятами теперь тяжело,— неопределенно сказал Мартемьянов.

Они вышли на набережную.

Ветер уже стихал,— серые тени шаланд чуть качались над водой. Пузатая лодка ползла к ним, скрипя уключинами. Туман заметно густел, но крыши домов были еще видны, и горы, казавшиеся отсюда угрюмей и выше, неясно проступали вдали. «Где-то мы были там на перевале, где-то там еще шагает Боярин»,— подумал Сережа, ежась от сырости и от сохранившегося где-то неприятного воспоминания о рыжем мальчике.

— Вот, прямо пойдете,— сказал Крынкин, указав пальцем вдоль улицы, уходящей от моря; он был без шапки, рубаха на нем отсырела, и выступили полные, гладкие мышцы его груди.— Они как раз под той ближней сопкой, на пасеке старовера Поносова... Сам-то он сбежал с белыми... А телеграф тоже на этой улице, вон железная крыша. Я буду ждать вас...

V

— Нет, это уж, дорогой мой, непорядок,— говорил Мартемьянов, с сожалением оглядывая весь тот разор, который царил на пасеке старовера Пòносова,— такое хозяйство рушить!.. Ай-я-яй...

И он восхищенным, жалеющим взглядом снова окинул пасеку, окружавшие ее сады, темную, расплывавшуюся в тумане громаду хутора.

Многие ульи были перевернуты, задымлены; из них недавно выкуривали пчел. Из ближнего сада и сейчас тянуло дымком, слышались беспечные крики, хохот.

— Хозяйство мы не рушим,— спокойно сказал Гладких,— хозяйство все цело. А пчел жалеть нечего — новых выведут.— Он сидел, облокотившись о стол, опустив мощные пальцы на края кружки с медом: играя, вертел ее.— Да и как не побаловать ребят? Заслужили... Правда, малец? — Он ладонью захлопнул кружку.

Он обо всем говорил со скрытой иронией, насмешкой, но редко улыбался,— трудно было понять, над чем он смеется.

Сережа почувствовал на себе орлиный блеск его глаз, и, хотя считал более правым Мартемьянова, ему захотелось не только согласиться с этими глазами, но целиком отдать себя в их распоряжение.

Когда они шли к хутору, Мартемьянов сказал Сереже, что Гладких — сын прославленного вайфудинского охотника, по прозвищу «Тигриная смерть», убившего в своей жизни более восьмидесяти тигров. Правда, по словам Мартемьянова, Гладких-отец был скромный сивый мужичонка, которого бивали и староста, и собственная жена. Но сын якобы унаследовал от отца охотничьи способности, а от матери — могучую внешность и непокорный нрав.

Воображение Сережи еще больше разыгралось, когда Мартемьянов уклонился от ответа на вопрос, откуда он их всех знает. Сережа невольно связал это со странным поведением Мартемьянова за перевалом и при встрече с удэгейцем.

А когда он увидел наконец исполинскую фигуру Гладких, его звериные унты, бомбы у пояса, его смуглое, обветренное лицо с крылатыми черными, сросши-

мися на переносье бровями, орлиным носом, вороными, до сини, усами,— даже излюбленные героические образы померкли перед ним.

С каким восхищением следил Сережа за каждым движением его круглых мышц, слушал ровные сдержанные перекаты его голоса!.. Да, это был человек!

Они сидели за чисто выскобленным, вбитым в землю столом, подле омшаника, превращенного на лето в сторожку. Пасечный сторож, угрюмый старовер с палевой бородой и злыми глазами, собирал им поесть. Он немного побаивался их, но не мог скрыть своего негодования — швырял на стол миски, загонял в омшаник свою белоногую дочь, все время порывающуюся помочь ему. Однако, как только он отворачивался, она выходила на порог и нет-нет да и совала на стол какую-нибудь деревянную солонку, бросая на Сережу быстрые взгляды.

— Вы какой же дорогой пойдете? — спросил Мартемьянов.

— Без дороги пойдем, на Малàзу,— Гладких неопределенно махнул рукой,— самый ближний путь...

— На Мала-зу? — удивленно протянул Мартемьянов и отложил ложку.— На Малазу...— Он несколько секунд смотрел мимо Гладких.— Речка такая? В Сучан идет? — Он вдруг заволновался, стал усиленно тереть свой щетинистый подбородок, глаза его блестели.— Выходит, нам с вами по дороге,— быстро заговорил он,— мы, знаешь, Сарла встрели тут под перевалом, он нас к себе звал, да нам бы и нужно. Мы бы там у Горячего ключа отвернули — там недалечко, а вы бы своей дорогой...

— За чем же дело стало? Я тебе как начальству и лошадь могу дать... А вот и мой комиссар! — вдруг воскликнул Гладких, указав рукой на выходившего из сада невысокого, сухощавого и сутулого человека, с наганом у пояса, в унтах, неловко шагавшего к омшанику.— Комиссара ко мне приставили рудничники мои,— пояснил Гладких насмешливо: он намекал на то, что сам он охотник, а командует отрядом, в котором больше половины тетюхинских рудокопов.

— Ты чего же без шапки до ветру ходишь, чахотка? — зычно закричал он «комиссару».— Знакомьтесь: Кудрявый Сеня, председатель нашего отрядного совету...

А это почти что наш самый главный: Мартемьянов, Филипп Андреев, коли не запамятовал...

— А, Мартемьянов!..— хрипло и грустно сказал Кудрявый, протягивая тонкую руку.— Когда-то на съездах встречались.

— Как же!..— улыбнулся Мартемьянов.

— Только я его за главного не признаю...— насмешливо говорил Гладких...— И ревкомов никаких не признаю: какие там ревкомы?! А это вот — малец. Сергеем звать. Это настоящий парень будет!..

Сережа на мгновение увидел прямо перед собой впалое лицо Кудрявого с большими чахоточными глазами. Голова у него действительно была кудрявой, только кольца на ней были редки и казались мокрыми.

— Видал, какой командир-то у нас? — тихо сказал Кудрявый, улыбнувшись Сереже, и его запавшие глаза так умно и весело сверкнули, что Сережа понял, что этот человек, вопреки первому впечатлению, вовсе не был грустным и обиженным.— Ну, мы справились там,— Кудрявый обернулся к Гладких,— вьюки готовы, ребята винтовки чистят... Ты, я слышал, насчет рудничников все, а зря: рудничники все по местам, а вот твоих вайфудинцев что-то не видать. Твои-то по медовой части больше...

И он с лукавой усмешкой кивнул в ту сторону, откуда доносились дикие, все возрастающие крики.

— Положим, там и твоих тетюхинцев немало... Накось вот шапку надень, а то бродишь по сыру, еще сдохнешь! — с грубой нежностью сказал Гладких, нахлобучивая на него свою барсучью папаху.— Да что они на самом деле? — насторожился он.

В саду послышался новый взрыв хохота, потом из общего гама вырвался чей-то пискливый голос: «Подымай!.. Подымай-ай! — и вдруг могучая нестройная песня, как будто подымали что-то тяжелое, потрясла окрестности.

Она все возрастала и наливалась, прерываемая радостным визгом, потом из сада появилась темная кишащая колонна людей,— они что-то несли вдоль по главной широкой пасечной аллее.

Дочь старовера, не обращая больше внимания на отца, выбежала к самому столу, но отец поймал ее за руку и снова впихнул в омшаник. Колонна все прибли-

жалась,— теперь видно было, что несут человека. Впереди, гримасничая и юродствуя, выплясывал какой-то ловкий и верткий белоголовый парень в заломленной набекрень военной американской шапочке пирожком.

— Да это ж Казанок! — сказал Мартемьянов.— Как он до вас попал?

— Пакет от Суркова привозил... О, он тут отличался, как Ольгу брали. До чего парень бедовый — в огонь и в воду, и пуля его не берет!.. Эй, что за базар? — зычно крикнул Гладких, выпрямляясь и расправляя усы.

«Ишь, как кривляется»,— подумал Сережа, наблюдая с неприязнью и завистью за ловкими коленцами Казанка, резкими движениями его тонких, девичьих рук.

Колонна подвалила к омшанику. Несли большеголового неуклюжего человека с толстыми ногами, свисавшими, как окорока, с плеч несших его людей. Он был в ватных шароварах, распахнутом на груди овчинном полушубке, шапке с раскинутыми ушами,— она сползла ему на затылок, виден был сальный низкий лоб человека, темный волос его головы.

Он держал обеими руками громадный радужный ломоть сотового меда и жадно кусал его, он жевал и глотал его вместе с воском, все его мясистое лицо, сплошь поросшее темным редким, недлинным волосом, было в меду. Сладчайший мед был на ресницах его маленьких, бессмысленно-хитрых глазок, мед, как смола, катился по его грязным огрубелым пальцам, мед — пахучие, дымящиеся хлопья меда! — капал на шерсть его полушубка, на головы несших его людей. И весь он — со своей неуклюжей округлой ухваткой, бессмысленно-хитрым, счастливым выражением своего заросшего темным волосом лица — походил на опьяневшего от меда, пресыщенного медвежонка, на счастливого и глупого медвежьего пестуна.

Его со всех сторон облепили люди в ичигах, армяках, мятых футрованках, солдатских фуфайках, гимнастерках, опоясанных патронташами,— они хватали его за полы полушубка, толкали в зад, бросали вверх шапки, некоторые забегали вперед и с лицемерным раболепием кланялись ему, сопровождая поклоны неприличными жестами.

— Федор Евсеич!.. Бусыря!.. Что будет угодно вашей милости?.. Вы-ста да мы-ста, Федор Евсеич!..—

кричали они и скалили зубы, и дружный рев сопутствовал каждому их движению.

Они откровенно издевались над ним, но он, как видно, не понимал этого, важно и глупо улыбался, иногда у него появлялись потуги даже на некоторую лихость: он делал рукой привольно-неуклюжий жест и, истекая медом, хрипло мычал:

— О-о, знай наших!.. О-о, здорово!..

Дочь старовера, выбежавшая все-таки из омшаника, прыскала в угол платочка; Мартемьянов, дрожа всем телом, мелко смеялся и кашлял, отирая слезы; Кудрявый, в нахлобученной на уши барсучьей папахе, грустно улыбался; Гладких спокойно выжидал,— его орлиные глаза мужественно и весело блестели; Сережа не смеялся только потому, что озабочен был присутствием Казанка.

— Ну, будет,— спокойно сказал Гладких.— Будет, будет! — повторил он насмешливо и грозно.

Он шагнул к Бусыре, с силой выбил у него мед из рук ударом тыльной стороны ладони и, схватив его за отвороты полушубка, стащил на землю. Люди, несшие Бусырю, попадали вслед за ним.

— Куча мала! — взвизгнул знакомый уже, истошный, пискливый голос; груда здоровых, жарких, пахнущих потом тел закопошилась на земле.

— Таких правов теперь нету — драться...— обиженно сказал Бусыря, потирая зашибленную руку.

— Я тебе покажу права!..— Гладких свирепо замахнулся на него.

— Брось, зачем ты это? — недовольно вмешался Кудрявый, взяв его за плечо.

Гладких опустил руку.

— Я же нарочно, вот чахотка!

«Все-таки он слушается его»,— мельком подумал Сережа.

В это время Казанок, с криком тянувший Бусырю за полу, узнал Сережу и, сделав ему знак рукой, пошел прямо к нему своей мелкой небрежной походочкой вразвалку.

— Здравсьтвуй, баринок! — сказал он, неуловимо, по-детски смягчая слова.— Ты как сюда попаль?

— Будет, будет! По местам, живо! — кричал Гладких.

— Лазаешь тут... халява! — шипел старовер, видно, на дочь; дверь омшаника сердито захлопнулась.

— Выборы по деревням проводили на съезд,— сухо ответил Сережа.— А ты?

— Что ж я?.. Я человек маленький,— Казанок дерзко сощурился,— куда пошлют, туда и еду, плякать обо мне некому... За мной только бабы скуцяють,— добавил он, насмешливо скривив тонкие губы.— «Семка, вези пакет» — везу... Гладких к себе в отряд зовет — пойду... А что мне — цыплят высизивать? Папы-мамы у меня нету, а тут народ боевой — оторви да брось...

Он говорил, ни на секунду не задумываясь над своими словами и не только не заботясь о том, как они будут приняты, но, видно, не сомневаясь в том, что все, что он скажет, будет именно то, что нужно. В то же время он с удовольствием и неприязнью разглядывал грубые Сережины сапоги, его узенький, с короткими рукавами френчик, его смуглое и тонкое лицо с большими черными глазами в жестких ресницах. Он обратил внимание даже на то, что Сережа без фуражки, и, поискав глазами (фуражка лежала на скамье), с особенным удовольствием задержался на этой фуражке с острыми полями и следами гимназического герба.

— Ты что ж — ученье совсем бросиль? — спросил он, якобы между прочим: он знал, что Сереже будет неприятно теперь напоминание об его ученье.

— Ну, пустяки какие,—ответил Сережа, махнув рукой.

— Выходит, в мужики приписалься?

— Понимай как хочешь... А как твой отец поживает? — вдруг спросил Сережа, быстро взглянув на Казанка.— Вы ведь теперь только мясом торгуете,— лошадьми, говорят, запретили?

«Скушай-ка вот это!» — подумал он с тихим злорадством.

Но Казанок сделал вид, что не расслышал его.

— Ребята, куда вы?.. Меня обоздите!.. Прощай, баринок,— небрежно сказал он Сереже.

И, склонив набок свою белую, тонко выточенную мальчишескую головку в американской шапочке, не торопясь пошел вслед за партизанами.

«Не понравилось небось»,— подумал Сережа, косясь на дочь старовера. Она, до половины высунув-

шись из омшаника, смотрела вслед Казанку с веселым и кокетливым любопытством.

— Филипп Андреич, нам на телеграф пора,— сердито сказал Сережа.

— Да-да, сейчас пойдем...— Мартемьянов взялся за шапку.— Оно и главное, что интервенты,— говорил он Кудрявому, забрасывая на спину вещевой мешок.— И не так американцы, как японцы... Главное дело, тут рядом — пригонят крейсера, высадят десант...

— Да ты манатки здесь оставь,— вмешался Гладких.— Завтра вместе ведь выступаем?..

«Завтра я буду с ним в одном отряде,— думал Сережа, угрюмо шагая за Мартемьяновым вниз по туманной, темнеющей улице.— И как его не раскусят до сих пор?»

Семка Казанок был приемным сыном известного на весь уезд скобеевского барышника и мясоторговца, жившего через два дома от больницы, где работал Сережин отец. Барышничество, впрочем, было запрещено теперь особым постановлением ревкома.

Неприязнь Сережи к Казанку восходила к тем временам, когда Сережа, возвращаясь из города домой на летние каникулы, совлекал с себя ненавистную гимназическую форму, на все лето забрасывал под кровать ботинки со шнурками и,— как жеребенок, выпущенный после долгой зимы из темной конюшни, жадно и весело кидается на свежую весеннюю травку,— набрасывался на первобытные, плотские деревенские радости... Какие набеги совершал он тогда с мальчишками на гудливые шершневые гнезда, какие глазастые караси водились под ветлами на Парашкином пруду, как загорала у Сережи его поросшая золотистым пухом шея с выпуклым, еще детским позвонком на загривке, как отрастали и бурели за лето его черно-карие, курчавившиеся за ушами волосы!..

В то время он начинал уже отвыкать от своих сверстников,— его тянуло к взрослым парням: они привлекали его своей грубой, независимой, веселой жизнью, работой до ночи, плясками до утра, полуночными вылазками к девкам. Он чувствовал, что они тоже всегда рады его видеть, любят его за простоту, веселье, за то, что он умеет «складно и чудно́» рассказывать. Дорого бы дал он в то время за дружбу с Казанком!.. Этот стройный, бе-

логоловый парень особенно и безотчетно нравился ему своими дерзкими пустыми глазами, своей манерой говорить, по-детски смягчая слова, а главное — тем, что он единственный на селе пользовался неписаным, но всеми признанным правом презирать людей, презирать все то, что люди считают дорогим и важным.

Сережа не задумывался над тем, откуда Казанок, сам не приученный ни к какому делу, получил это право презирать людей, весь недолгий век которых зиждился на тяжелом, могущественном и нищенском труде,— это даже противоречило тому отношению к людям, в духе которого Сережа был воспитан с детства,— но он видел, что Казанок был первым из первых в гульбе, любви, поножовщине,— и это притягивало его к Казанку.

Но дружбы у них не вышло... Для Сережи она мыслима была только на началах равенства. А Казанок не только не хотел признавать Сережу, он явно отрицал его, он отрицал его больше даже, чем других,— его наивность, молодость, длинные большеватые руки и гимназическую фуражку; он признавал и любил только себя. «Если ты хочешь, чтобы я обращал на тебя внимание и слушал твои глупые скучные сказки, ты должен признавать меня таким единственным, неповторимым, каким я сам признаю себя... Да, да, ты должен унижаться передо мной»,— говорили его светлые дерзкие глаза. И вся гордость Сережи вставала на дыбы. И чем сильнее влекло его к Казанку, тем дальше отталкивался он от него, платя ему за непризнание деланным пренебрежением и гордостью, и так из лета в лето тянулась их вражда, непонятная им самим и скрытая от других.

Она вновь проснулась в Сереже.

«Воображает тоже,— думал он, угрюмо шагая за Мартемьяновым.— А она смотрела ему вслед... Ну, и черт с ней!»

VI

Единственный в Ольге телеграфист, из расстриженных дьяконов, сонный, аляповатого письма мужчина с мускулистыми лопатками, выстукивал Скобеевку. Скобеевка не отвечала.

Сережа, уставший от ходьбы и обилия впечатлений,

сидел на скамье, откинувшись к стенке, подложив кисти рук под колена,— ему хотелось спать. Он чувствовал толчки крови в кистях, слышал однообразный стук аппарата, перед ним проплывали лица Казанка, Боярина, белые ноги дочери старовера. Иногда в этот призрачный мир врывались голоса Крынкина и Мартемьянова. Они спорили о чем-то важном, даже не спорили, а вместе, не слушая друг друга, ругали кого-то третьего. Сережа смутно понимал, что речь идет о подпольном областном комитете, взявшем какую-то *неправильную линию* в партизанском движении: об этом много говорил еще Сурков в Скобеевке.

— Какие глупости! — басил Крынкин.— Как это можно развертывать движение, не организуя гражданской власти?..

— Я говорю: вопрос с деньгами возьмите,— сердито урчал Мартемьянов.— Какие мужику деньги брать — сибирки или керенки? Нужен мужику закон или нет, я спрашиваю?..

Сережа мучительно размыкал веки и вдруг замечал дрожащую желтую руку телеграфиста, круглую тень от лампы, бродящую по полу. «Так... так-так... так...» — однообразно выстукивал аппарат.

— Конечно, они не связывают это...— басил Крынкин, не слушая Мартемьянова.

«Не связывают? — думал Сережа, задремывая и путая склоняющиеся к нему лица Казанка и Боярина.— Но разве можно их связать... Да, связать их?..»

Аппарат в это время примолк. Сережа снова открыл глаза: телеграфист, приняв с аппарата руку, безразлично смотрел вверх. И вдруг новый, чужой, короткий металлический стук прозвучал в комнате.

— Есть Скобеевка,— равнодушно сказал телеграфист.

— Ага!.. Ну, пущай Суркова позовут.— Мартемьянов слез с подоконника.

Аппарат продолжал стучать. Белая лента, извиваясь, поползла по столу.

— Предревкома Сурков у аппарата,— не глядя на ленту, произнес телеграфист: он ловил на слух.

— Ну, ну,— заволновался Мартемьянов.— Скажи ему: Мартемьянов, мол, замревкома, слушает... Пущай выкладает свои новости, или что там у них...

Телеграфист стал передавать.

— «С месяц как приехал Чуркин... из областкома,— тягуче заговорил он через минуту.— Настаивает проведении... старых директив...»

Мартемьянов и Крынкин переглянулись.

— «На Сучанском руднике... Сосредоточение японских войск...»

— Я так и думал,— хмуро сказал Крынкин.

— «Под рудником... новые стычки... Осложнение хунхузами... Собирается корейский съезд... Под Шкотовом бои с американскими, японскими войсками... Подробнее нельзя по аппарату... Срочно возвращайтесь...»

Сережа, закрыв глаза, слушал медлительный голос телеграфиста, и мысль его бежала по проводам над дикими, стынущими в ночи хребтами, над темными безднами долин с вкрапленными в них кое-где мигающими огнями деревень, над всей огромной мятежной, бодрствующей страной, где бродит теперь поднявшийся с логова зверь и чадные костры кочевников льют в небо оранжево-сизые дымы. Где-то, за триста с лишним верст, в такой же комнатке так же склонился над аппаратом телеграфист, и Сурков, сунув в карманы руки, покачиваясь слегка своим квадратным туловищем, диктует эти слова.

Сережа видел темные скобеевские улицы с бодрствующими часовыми на перекрестках, деревянные корпуса больницы со светящимися окнами. Высокий и все еще стройный отец, в белом халате, со свернутой набок черной бородкой, стоит над раненым и щупает пульс. А рядом склонилась сиделка и смотрит соболезнующим взглядом то на отца, то на раненого. «Какая это сиделка? Может быть, Фрося?» — думал Сережа, вызывая в памяти ее большое, статное, подвижное тело, и ласковое чувственное тепло разливалось по его жилам. За время похода он почти забыл о ней, а между тем в последние недели он так часто переглядывался с ней, и ее тонкие и знающие вдовьи губы так беспокоили его, что он перестал спать по ночам.

— «...Передай Сереже,— говорил телеграфист равнодушным голосом,— приехала его сестра...»

— Что?..— Сережа вскочил.

— Сестра твоя приехала,— обернувшись, сказал Мартемьянов.

Крынкин тоже внимательно посмотрел на Сережу.

— Сестра? Лена! Когда приехала?..

— А ну спроси, правда,— сказал Мартемьянов.

Телеграфист, недовольно подобрав губы, затрещал ручкой аппарата: он не одобрял частных разговоров по прямому проводу. Несколько секунд было тихо. Потом снова чуждо, бесстрастно затрещал аппарат.

— «Вместе с Чуркиным приехала»,— отчетливо сказал телеграфист.

— Значит, она уже месяц в Скобеевке?!

Сережа быстро зашагал по комнате. Сонное состояние сразу покинуло его.

«Лена? — думал он взволнованно.— Как это могло случиться?..» Он все еще не мог поверить в это. Сестра была точно неотделима от гиммеровской гостиной, в которой он видел ее в последний раз год назад, перед отъездом в деревню.

Она стояла перед ним, опустив вдоль платья голые тонкие руки, и молча, и грустно, и, как всегда, немного удивленно смотрела на него большими темными влажными глазами; сквозившая из-за гардины пыльная золотая полоса била ей в висок, и темно-русые ее прямые волосы, казалось, шевелились.

Сережу всегда смущала обстановка гиммеровского дома: мохнатые и пыльные ковры, положенные как бы для того, чтобы спотыкаться о них, уродливые золоченые кресла, круглые столики, шифоньерки, заставленные разнообразной — помесь Кавказа и Японии — экзотической дрянью, которую от неловкости хотелось с грохотом ронять на пол. А в это утро еще стоял рядом с сестрой, учтиво отвернувшись к этажерке, чужой и неприятный Сереже молодой человек — Всеволод Ланговой. Ланговой был в белом костюме; на согнутой руке он держал шляпу: он ожидал Лену, чтобы вместе идти на утренний концерт, даваемый проездом в Японию какой-то столичной знаменитостью. И, не сказав сестре на прощание хороших, настоящих слов, Сережа с стесненным сердцем вышел из гостиной.

Лена нагнала его в передней и, крепко обвив руками шею, стала целовать его в губы, глаза, щеки,— в глазах ее стояли слезы,— он не успевал ей отвечать.

— Ты меня все-таки не забывай, Сережа... Сереженька!..

Но он уже шагал по тротуару, боясь оглянуться, держа в руке выцветшую гимназическую фуражку, унося с собой грустную и злую память о солнечной пыльной полоске,ередившей его своей лживой красотой, прозрачностью и жалобностью.

«Неужели она теперь в Скобеевке? Бродит по комнатам? — думал Сережа, шагая по скрипящим половицам.— Но ведь там стоят теперь кровати Суркова и Мартемьянова?.. И что ж она—в этом своем белом платье с короткими рукавами?.. На улице все бабы будут оглядываться на нее!..»

Но тут он представил ее себе такой, какой она была уже когда-то в скобеевском доме, и сразу все стало на свое место... Да, да, ей всего девять лет, а ему шесть. Два дня тому назад похоронили мать. В комнатах стоит еще та тишина после покойника, в которой каждый звук страшен. Люди говорят вполголоса. Слышно, как Софья Михайловна — сестра матери и жена Гиммера — распоряжается укладкой вещей. Завтра она возвращается в город и забирает с собой Лену. Но Сережа не придает этому никакого значения.

Они сидят на корточках — Лена и он — в темной передней и с любопытством наблюдают за тем, как умирает маленький русый зайчишка. В сенях неуютно, холодно, пахнет полынью,— они только что нарвали ее в огороде. Зайчишка чуть дышит потненькими боками.

— Он есть хочет,— басом говорит Сережа.

— Не-ет...— Лена задумчиво смотрит на Сережу.— Слушай,— говорит она вдруг жестоким, искусительным шепотом,— тебе кого больше жалко...

Она не договаривает, но Сережа видит, как тихо вздрагивают ее большие изогнутые ресницы.

«Бедная мама! — растроганно думал он, шагая из угла в угол.— Бедная мама!.. Зачем она завещала отдать ее? Но разве она знала, что ей будет там плохо?..»

Маленькая Лена, образ которой так живо возник перед ним, совсем не походила на ту, которая приехала теперь в Скобеевку, и сам Сережа, казалось, был теперь совсем другой. Но детские воспоминания вызывали в нем столько родных непререкаемых ощущений, что ему нестерпимо захотелось домой. Он влез с ногами на подоконник, обхватил руками колени и сразу точно перенесся в другой, бестрепетный мир — тишайший мир

родительских комнат. Он не слушал, о чем еще говорили по аппарату Мартемьянов с Сурковым, как Мартемьянов давал наставления Крынкину, чтобы выборы на съезд среди *орочей* уже провели без них, а главное — чтобы скорей высылали отряды и «чтоб все было аккуратно»,— очнулся только тогда, когда Мартемьянов встряхнул его за плечо и нужно было уже уходить.

На улице они распрощались с Крынкиным. Густой беловатый туман окутывал город,— огни мутнели и расплывались в тумане. Влажный, неслышный, как дыхание, шорох реял над холодеющей землей. Но город еще не спал. Сережа разобрал слова дальней песни:

Трансваль, Трансваль, страна моя,
Ты вся горишь в огне...

Дальний хор подхватывал:

Под деревцем развесистым
Задумчив бур сидел...

Сереже почудились вдруг слабые огни на той стороне залива.

— Что там горит? — спросил он.

— Где? — Мартемьянов обернулся.— А, так это и есть Шимынь,— сказал он возбужденно,— поселок китайский... Помнишь, что удэгей называл?..

«Удэге?» — с удивлением подумал Сережа.

— А мы зайдем к ним? — спросил он, чувствуя, что едва не совершил сейчас измены, которой никогда бы не простил себе.

— К кому? К удэгеям?..

Несколько секунд слышны были только их тяжелые шаги в тумане.

— На денек забежим, пожалуй,— глухо сказал Мартемьянов.

VII

Лена приехала в Скобеевку через неделю после того, как Мартемьянов и Сережа отправились в свой поход по области.

С чувством робости, грусти, смутной надежды и обреченности переступила она порог отчего дома. В доме жили чужие люди. Положив у ног саквояж с кое-ка-

ким бельем, двумя платьями и парой туфель без каблуков — весь ее багаж,— Лена, в коричневом мятом сарафане, с запыленными после дороги ресницами, сидела в кухне на сундуке, потная и несчастная.

— Вот ты какая стала. Бедная ты моя, бедная...

Аксинья Наумовна — старая прислуга Костенецких, приехавшая с ними еще из России и жившая в доме на правах члена семьи,— подперев щеку, с жалостью смотрела на Лену.

— И запылилась-то вся! Да уж я тебя вымою, кралечку нашу,— и вымою, и почищу, и накормлю,— говорила она, смахивая мизинцем слезу.

— А папа тоже в отъезде?

— В больнице папа... Не знаю, куда уж и пристроить тебя...

В комнатах стояли чужие запахи. Большой портрет матери по-прежнему висел в столовой. И как же все стронулось в Лене, когда она встретила милый усталый взгляд! Мама!.. Десять лет прошло, целая жизнь...

Тот же старинный громоздкий буфет у стены, с посудой на верхних полках и комплектами «Нивы» и «Русского богатства» на нижних; буфет точно приземистей стал, одряхлел. В детской — две чужие кровати; грубые одеяла, полотенца; солдатское ружье в углу.

Аксинья Наумовна ходила следом.

— Да ты умойся, поешь,— говорила она,— сейчас я велю баньку... баньку тебе...

Она поднесла к глазам передник.

Лена, отказавшись от еды и так и не умывшись, пошла в больницу к отцу.

Был какой-то праздник; весь больничный двор был заставлен подводами с больными из соседних деревень. Низкорослые разномастные лошади уныло жевали соломку у коновязей. Мужики в чистых рубахах и бабы в белых платочках и выцветших повойниках,— некоторые с ребятами,— ожидая приема, группами сидели на лужайке, на крыльце или спали на возах.

Полно народу было и в приемной. Лену обдал больничный запах, так хорошо знакомый ей: последние полгода она работала сестрой в колчаковском госпитале. В амбулатории, где больных принимал старший фельдшер, Лене сказали, что доктор занят на операции, но скоро освободится. Не назвав себя, Лена вернулась в при-

емную и робко села рядом с толстой старухой в валенках на белую засиженную скамью, откуда только что поднялся вызванный на прием парень с пустым рукавом.

Из полуоткрытых дверей в больничный коридор доносилось шарканье туфель, бренчанье тазов, и в то же время там чувствовалась та особенная тревожная тишина, какая бывает во время операции. И эта тишина, все эти больничные звуки и запахи, напоминавшие о людских страданиях, отдавались в Лене одной тоненькой, мучительно звенящей нотой.

Люди в приемной тоже чувствовали эту тревожную тишину и разговаривали вполголоса. Изредка открывалась дверь в амбулаторию, и красивая черноглазая сиделка в белой косынке громко выкликала больных, путая фамилии, и всякий раз с несознаваемо враждебным любопытством оглядывала Лену.

С вопросительным жалобным выражением, точно ища что-то могущее заглушить звенящую в ней ноту, Лена блуждала глазами по лицам.

На скамье прямо против нее, выложив на колени большие красные руки, сидела девушка в клетчатой юбке, босая. Вся голова ее была забинтована так, что виден был только один глаз, скорбно взиравший на мир. Рядом с девушкой — плечистый, рослый парень в белой, надетой на одно плечо рубахе; другое плечо и безжизненно опущенная рука оголены: багрово-синий кровоподтек захватывал почти все плечо, часть груди и руку до локтя.

Рано постаревшая от труда, когда-то миловидная женщина сидела, откинув к стене голову с выбившимися из-под платка темными волосами. Уголки губ на ее тронутом морщинами лице были опущены, глаза смотрели куда-то поверх людей.

Крестьянин лет сорока, со светлой курчавой бородой, поджав под живот руки, качался всем туловищем, однообразно, как маятник, то прижимаясь к коленям, то вновь откидываясь назад. Временами он издавал жалобный шмелиный звук — то громче и тоньше, то тише и басистей.

— И до чего ж мучается, господи! — не выдержала сидящая рядом с Леной старуха в валенках и сделала движение рукой не то помочь ему, не то перекреститься.

Мужик, перестав на мгновение качаться, взглянул на безобразно распухшее — должно быть, от водянки — лицо старухи, и в глазах его мелькнуло выражение вроде: «Да уж ты и сама-то хороша, матушка».

В углу, на соломе, положив голову на колени горбатой женщине, лежал на спине высохший до последней возможности человечек в полотняной рубахе,— в сущности, уже не человечек: так он был близок к смерти со своими босыми ножками и личиком в кулачок.

Всюду, куда ни попадал глаз, выступали наружу людская калечь, уродство, язвы, ушибы; люди несли их с выражением страдания или покорности на лицах.

«Вот живут, трудятся, рожают детей, надеются на что-то,— думала Лена, прислушиваясь к неумолкающему тоненькому звучанию внутри себя,— а жизнь... вот она, жизнь!..»

Невыразимая печаль сжала ей сердце.

В то же время она замечала, что у крестьянина, мучившегося животом, были ясные, почти детские синие глаза, а у девушки с забинтованной головой — стройные смуглые ноги,— бедра ее, обозначавшиеся под клетчатой юбкой, полны были женственной мощи, а у парня с громадным кровоподтеком на плече — могучая шея, атласное мускулистое тело, а глаза рано постаревшей женщины, смотревшие поверх людей, светились умным, подлинно человеческим выражением.

Во всех этих людях, каждый из которых страдал, отмеченный болезнью или уродством, были как бы заключены разрозненные части и стороны цельного образа, полного красоты и силы,— нужно было, казалось, только усилие, чтобы он воссоединился, сбросил с себя все и пошел.

Ощущение это было так реально, что Лена невольно внутренне напряглась вся, и в то же мгновение тонкий, пронзительный детский крик, совпавший с ее внутренней мучительно звенящей нотой, пронесся по коридору.

Мужик, страдавший животом, перестал качаться. Женщина, сидевшая с откинутой к стене головой, с диким воплем кинулась к дверям и исчезла в коридоре.

Через минуту двое служителей под руки выволокли ее в приемную. Она билась у них в руках и кричала в голос:

— Зарезали!.. Зарезали доченьку мою!.. Боже ж мой! Боже ж мой!..

Черноглазая сиделка со стаканом в руке выскочила из амбулатории; ласково обняв женщине голову, она пыталась влить ей в рот холодной воды.

— Зарезали тебя, доченьку мою, голубыньку...— по-детски булькая водой, плакала женщина.

— Да ничего не будет дочке твоей, не кричи ты, бога ради. Вот дура-то, прости господи! — уговаривал ее один из служителей.

Женщина немного успокоилась; некоторое время слышны были только ее жалобные всхлипывания. Потом по коридору прожужжала санитарная тележка, послышались оживленные голоса, и доктор Владимир Григорьевич Костенецкий в сопровождении сестер и санитаров вышел в приемную.

VIII

Больные, кто мог, повставали, поснимали шапки. Лена с окаменевшим лицом тоже поднялась со скамьи.

Отец был в халате сурового полотна, с засученными рукавами, обнажившими до локтей его костлявые безволосые руки. Он почти не изменился, только чуть согнулся, и седина пробрызнула в черной, свернутой набок бородке. Лицо его светилось радостным возбуждением.

— Садитесь, садитесь... Ну, где здесь мать? — спросил он, по-совиному оглядывая всех и никого не узнавая.

— Во сидит,— с улыбкой сказала черноглазая сиделка.

— Так это ты здесь тарараму наделала? — Владимир Григорьевич двумя неловкими движениями погладил женщину по голове.— И зря, и зря... Теперь она скоро поправится, а то бы она умерла. Я, видишь ли, ее усыпил немного, а она возьми да и проснись, когда я ей еще животик не зашил,— объяснял он женщине, которая от таких подробностей снова начала плакать.— А этот чего здесь лежит? — заметил он человека на соломе.— Сейчас же переодеть да на койку,— чего ему здесь лежать... Ты что, Борисов? — обратился он к крестьянину, страдающему животом.

— Замучился весь! — ответил тот, просияв своими синими глазами.

— Ну, скушал что-нибудь нехорошее. Пойди к Константину Сергеичу, он тебе касторки даст. Ты теперь десятский, на общественной должности, а раз на общественной должности, можешь без очереди, так-то...

Он, не замечая Лены, переходил от больного к больному. Лена, стесняясь при других окликнуть его *папой*, опустив руки, стояла возле скамьи.

— Эк тебя саданули,— говорил Владимир Григорьевич, ощупывая плечо у парня.— Перелома нет... Кто это тебя?

— Древо упало...— застенчиво пробасил парень.

— Древо упало... Наверно, оглоблей? Должно, по чужим бабам ходишь?

В приемной засмеялись. Лена невольно улыбнулась: все, о чем она только что с таким напряжением думала, превратилось с появлением отца в обыденно-житейское и нестрашное.

— На свет, на свет!..

Владимир Григорьевич повернул лицом к окну беловолосого парнишку с лишаем на темени — и увидел Лену. Растерянность, смущение изобразились на его лице.

— Я приехала, папа,— спокойным, протяжным голосом сказала Лена.— Ты скоро освободишься?

Они стояли друг против друга: Лена — с опущенными руками, слегка склонив голову набок, отец — все еще держа одну руку на плече у парнишки, а другой быстро-быстро захватывая в кулак бороду.

— Да... Ну вот...— Он заглотнул воздух.— Рад, очень рад... А у нас тут, видишь — что? — Он указал рукой на приемную, и на лице его появилось так знакомое Лене в его обращении с ней и с покойной матерью виноватое выражение.— Что ж, надо устроить тебя. Фросинька, голубчик, принеси мой пиджак,— сказал он черноглазой сиделке и трясущимися пальцами стал развязывать халат.

Они вышли во двор.

— Да, очень неожиданно, очень... Надолго?

— Папа, я приехала совсем.

— Ну что ж, ну что ж...

Он крепко стиснул ей руку повыше кисти.

И Лену точно прорвало.

— Обожди, дай хоть поглядеть на тебя, я так рада тебя видеть!..— быстро заговорила она, держа отца за руку, впервые в жизни испытывая нежность к нему.

Они остановились, глядя друг на друга.

— Я так переволновалась за вас обоих,— говорила Лена.— Вы не получали моих писем?

— Со времени белого переворота мы не получали никакой корреспонденции. Должно быть, она застревала в контрразведке,— конфузливо мигая, отвечал Владимир Григорьевич.

— Вы скрывались?

— Да нельзя сказать, чтобы особенно и скрывались. Я, как тебе, может быть, неизвестно, работал в совете на Сучанском руднике. Поехал сюда повидать Сережу, который только что тогда приехал, тут нас и захватил переворот. Ну, думаю, буду лечить больных, пока не сменят или арестуют,—никто не сменяет, никто не арестовывает. Видно, не до нас было, а здешняя милиция — вся знакомая, относилась даже с уважением. Потом прибился к нам некий Мартемьянов, бывший председатель совета, где я работал; мы его спрятали тут неподалеку в зимовье, подкармливали. Под конец я даже обнаглел и послал петицию в управление,—дескать, платите жалованье. Ответа, конечно, никакого... Ну, а уж когда все тут закрутилось, мы и вовсе стали недосягаемы: карательные экспедиции до нашего села не дошли, а если бы и дошли, тоже беда невелика,—спрятаться нам весьма легко, ибо, как говорится, omnia mea... и так далее... дорожить нечем...

Владимир Григорьевич быстро сыпал словами и все мигал, и Лена с грустью чувствовала, что отец старается засыпать словами свою отчужденность от нее.

— А про тебя писали, что ты казенные суммы похитил! — с грустной усмешкой сказала она.

— Ну, бо знать что! — рассердился Владимир Григорьевич.— Это ж белогвардейские газеты писали.

— Да я — несерьезно...

— Пойдем, однако,— хмуро сказал он, увлекая ее за собой.

Лена, смотревшая поверх возов, вдруг удивленно подняла брови: навстречу им, лавируя между возами, шли двое — маленький короткошеий человечек, вместе с которым она ехала на подводе от деревни Хмельницкой, а другой...

Лена вспыхнула.

Другой — был Сурков, тот самый Сурков, которого она видела еще учеником-подростком в передней у Гиммеров, а потом — на примерке у китайца-портного, а потом — с балкона, когда Всеволод Ланговой и чешский офицер везли его на автомобиле,— Сурков сидел между ними со связанными руками. Этот Сурков шел теперь между подводами, в серой казачьей папахе, раскачивая на ходу квадратными плечами и чуть заметно прихрамывая.

— Мы — за вами,— сказал он, подходя к Владимиру Григорьевичу, и мельком взглянул на Лену из-под бугристых бровей.— Пришлось экстренно ревком созвать... Это —Чуркин, из областкома. Привез директивы, которые кажутся ему очень важными, а мне — нет...

Он нехорошо усмехнулся.

— А... Я сейчас,— заволновался Владимир Григорьевич.— Вот дочка приехала, прошу любить и жаловать...

— Мы-то уж знакомы! —Чуркин весело улыбнулся Лене.— Как вы себя?

— Ничего... Спасибо,— протяжно сказала Лена, чувствуя на себе взгляд Суркова.

Но, конечно, он не мог узнать ее: ведь она была тогда маленькой нарядной девочкой среди других, таких же нарядных девочек, а на балконе, среди множества людей, смотревших на него в бинокли, он и вовсе не мог ее видеть.

— Придется на время разлучить вас. Очень жалею.

Сурков встретился с Леной глазами, и улыбка чуть тронула его полные, плотно сжатые губы.

— Ну что ж, ну что ж...— засуетился Владимир Григорьевич.— Вот только устрою ее и приду... Пойдем, Леночка...

«Сурков?.. Ну, пусть Сурков...» — подумала Лена, идя вслед за отцом.

IX

Лене отвели отцовский кабинет, пахнувший табаком и книгами. Ночью, свернувшись клубочком, по привычке, оставшейся у нее с детства, когда она мечтала уместиться в орешке,— свернувшись клубочком на дряхлом, с выпирающими пружинами отцовском диване, прижав к груди руки с подвернутыми ладошками и неподвижно глядя на освещенный месяцем угол стола, она долго беззвучно плакала: от усталости, от воспоминаний детства, оттого, что жизнь ее выглядела бессмысленной и жалкой, оттого, что она не застала Сережи, и ей казалось, что она совершенно одна на свете.

Со смертью матери порвалась последняя нить, связывавшая Лену с родным домом и с ее детством.

Мать Лены была маленькая, полная, молчаливая женщина, с седеющими волосами, с тихими движениями, со спокойным, усталым и недоверчивым взглядом из-под широких темных бровей, придававших ее лицу вид гордый и недоступный. На самом деле она была беспомощна и робка во всем, что не касалось ее детей. Она обладала многими действительными знаниями, а еще больше того передумала и перечувствовала на своем веку, но жизнь ее с отцом Лены изобиловала в прошлом столькими лишениями, приведшими к смерти старших детей, и так была она одинока в этой жизни, что весь ее практический мир невольно свелся к заботам о детях; она приучилась к бережливости, кропотливости, недоверию к людям. Все ее знания, чувства, мысли существовали только в ней самой и для нее, в лучшем случае она могла передать их детям.

Лена помнила ее сидящей в кресле с накинутым на плечи белым вязаным платком,— мать шила или читала что-нибудь, или думала о своем, устало прислонив к спинке кресла седеющую голову; помнила ее бесшумно переходящей комнату в мягких, отороченных белым мехом туфлях, с каким-нибудь тазиком с молоком для котенка в руках; или склонившейся над ее, Лениной, постелью и жадно целующей ее в лоб и нежные щеки, мягкость которых Лена чувствовала и сама, когда ее целовали.

Мать и дочь любили, закутавшись вместе в вязаный платок, сидеть по вечерам на крыльце, выходящем

в сад, и молча смотреть на затухающую рдяную полоску над дальними, медленно темнеющими горами; любили собирать цветы — пышные белые пионы, влажные ирисы, желтые и красные лилии, немного пугавшие их своими крупными размерами и яркими красками; любили, пристроившись где-нибудь на диване, читать друг другу вслух или разговаривать о людях — одинаково о взрослых и детях.

Это был свой интимный мир понимающих друг друга взглядов, нежных касаний, тихих разговоров, мир ощущений и созерцания, бездейственный и незащищенный, но правдивый.

Мир отца — мир действенный, многолюдный и шумный (настолько шумный, что казалось иногда, будто отец старается своим громким голосом запорошить какую-то пустоту в себе) — этот мир был чужд и непонятен им.

Отец бросался от одного дела к другому, ни одного не доводя до конца. Он все делал с пафосом, с воздеванием рук, с восклицаниями и многословием, мешая в кучу французские междометия, латынь, народные обороты.

— О, Cela!.. Пришли семена от Рамма! — вздымая длинный указательный палец, поблескивая сумасшедшенькими глазками, кричал он по весне в период своего увлечения огородничеством.

— Sic transit!.. Черт бы его побрал, этого Козлова! — жаловался он осенью на огородника.— Не арбузы у него получились, а бо́ знать что!..

— Экий мы, мать моя, клин сегодня выкосили! — восторгался он, прибегая вечером с покоса, возбужденный, со свернутой набок черной бородкой, в грубых, пахнущих болотом сапогах.— Ну и кочки! Ну и водища! Таточку бы туда!..

Он намекал на старшего сына Гиммеров, Виталия,— толстого белотелого юношу, прозванного в своей семье Таточкой (отец не любил и презирал Гиммеров, особенно самого старика, за то, что тот в молодости принял православие; отец называл это «гнусным приспособлением к темным силам»).

Нашумев и наследив в комнате, он убегал на кухню, откуда доносились веселые «с устатка» голоса косарей,

а потом незаметно проскальзывал в спальню, стараясь не дышать: от него пахло водкой.

Он гордился своей близостью к народу и думал, что ненавидит господ; с начальством был резок и вспыльчив. О, он не боялся пострадать! — он постоянно ссорился с приставами из-за мужиков и, не смущаясь тем, что был административно-высланным, однажды побил пристава палкой.

Когда кончалось его увлечение собственным хозяйством, он начинал создавать какие-нибудь кредитные товарищества или потребилки, воюя с богатыми мужиками и не замечая, что в своей деятельности зависит от них.

А после таких подъемов на него нападала хандра. Он целыми вечерами валялся на кровати, накрыв голову подушкой, посасывая леденцы,— они всегда лежали в жестяной коробочке возле, на стуле. В такие времена он бывал раздражителен и сердился на детей («Шуметь? Что?!» — кричал он из-под подушки так громко и в нос, что получалось — «штан?!»), ссорился с женой, а потом с виноватым видом подглядывал за ней в замочную скважину.

Он был искренен и в своих взлетах, и в падениях. Но он не только был лишен дара понимания людей (в том числе и себя) помимо того, а иногда даже вопреки тому, что люди говорят и думают о себе,— он даже не подозревал, что такой дар существует у кого-либо. И поэтому для жены, только так и воспринимавшей людей, а через нее и для дочери, он сам был непонятным и чужим человеком.

Мать умерла внезапно, от разрыва сердца.

Она, как обычно, сидела в кресле, прислонившись виском к обитой плюшем спинке; книга, которую она читала, валялась на полу. Дети несколько раз проходили мимо, прикладывая к губам палец, думая, что мать спит.

В шкатулке ее нашли письмо. Мать распоряжалась в нем некоторыми вещами и бумагами и завещала Лену на воспитание к Гиммерам, о чем она давно уже договорилась с сестрой Софьей Михайловной. Любовь к сестре, сохранившаяся у нее с дней юности, помешала ей до конца понять эту женщину: мать была ис-

кренне убеждена в ее доброте, в ее любви ко всей их семье и думала, что Лене будет лучше с ней, чем с отцом.

X

В день своего отъезда Лена встала чуть свет; тихо, чтобы не разбудить Сережи и тети Сони, спавшей с ними в детской, оделась и, ступая на цыпочках по холодным половицам, пробралась в отцовский кабинет, выходивший окнами на улицу.

Она была влюблена в скобеевского пастушка, который каждые утро и вечер прогонял стадо мимо их окон и играл на жалейке. Она любила его за то, что он был простоголов, грязно одет, не боялся коров и людей и, казалось, не хотел быть никем другим, кроме как тем, кем он был. Она ни разу не решилась поговорить с ним и даже близко подойти к нему,— она любила его из окна,— но любовь эта занимала большое место в ее жизни.

Усевшись на подоконнике, калачиком поджав ноги и прислонившись к косяку окна своей немного крупной по телу, темно-русой головкой, она долго смотрела на пустынную улицу, на серый ряд изб по той стороне ее, на согнутую бабью спину во дворе напротив,— баба доила корову,— на чуть шевелившиеся от утреннего ветерка макушки деревьев за избами, на дальние, еще темноватые сопки, поверх которых чуть алело. Она сидела без движения, изредка поводя бровями,— брови у нее были широкие и темные, как у матери, и немного приподнятые; она всегда точно удивлялась чему-то.

Из некоторых дворов бабы уже выгнали коров на улицу, слышно было пенье петухов, потом издалека донесся слабый звук жалейки, но Лена не шелохнулась. Звук жалейки становился все слышнее и слышнее, его перебивали бабьи возгласы, мычание коров, хлопанье бича; вот появились в окне степенно и крупно ступающий буро-белый бугай и поспешающие за ним головные коровы, и потекло мимо окна рябое, красное, белое, черное, пегое, сверкающее рогами на только что брызнувшем из-за сопок солнце, мычащее и помахивающее

головами стадо. За ним шел пастух в высокой шапке и маленький простоголовый пастушонок с грязной шеей, в плотно обутых лаптишках. Пастушонок шел, закинув голову, и играл на жалейке. Ресницы у Лены дрогнули, она зябко шевельнула плечиками и снова замерла.

Стадо прошло; скрылся из глаз пастушонок; из противоположного двора вышел бородатый крестьянин с застрявшей в волосах соломой и, зевая, посмотрел на небо. Звук жалейки все удалялся и удалялся, пока не смолк вовсе, а Лена все еще сидела на подоконнике, не меняя положения, глядя перед собой невидящими, затуманенными глазами.

И вот ожил весь дом. Уже отсидели завтрак, почти не притронувшись к нему; уже несколько раз Лена обошла все комнаты, подолгу задерживаясь у портрета матери, смотревшей на нее со стены усталым, грустным и спокойным взглядом; уже все вещи сложены на подводу, вокруг которой толпятся провожающие; уже сказаны последние слова,— чьи-то чужие сильные руки сажают Лену рядом с Софьей Михайловной на трогающуюся подводу, и Лена долго-долго смотрит на удаляющийся дом с высоким резным крылечком, на маленького Сережу, смотрящего ей вслед отважными черными глазенками, на отца, потряхивающего головой и то и дело хватающегося рукой за бороду...

XI

Теплым беззвездным вечером начала сентября маленькая Лена, в сопровождении Софьи Михайловны и выехавшего встречать их на вокзал старого Гиммера, подъезжала в коляске, запряженной парой белых, известных всему городу гиммеровских лошадей, к подъезду четырехэтажного дома Гиммеров.

Слева от подъезда зиял черный, под домом, проезд во двор; кто-то, гремя ключами и гулко, как в бочку, кашляя, отворял железные ворота.

Прямо простиралась широкая, с двумя рядами фонарей, лоснящаяся асфальтом улица; по ней сновали извозчичьи пролетки, мчались, названивая, велосипедисты, по тротуарам текли пешеходы, гуляющие пары, слышен был пестрый, смутный гомон, шелест шагов.

С правой стороны улицы, спускаясь до самой бухты, отсвечивающей огнями судов и пристаней, темнел обширный сад; в саду играл духовой оркестр, где-то за садом все время кряхтело, сопело и скрежетало что-то.

— А ну, посмотрим, как тебя дома кормили!..

Старый Гиммер, неумело подхватив под мышки Лену, растерявшуюся от городского шума и обилия людей и огней, вытащил ее из коляски.

— Вот тебе моя рука, Сонечка... Завтра к десяти, Андрей, точно,— сказал он кучеру.

И сердито косясь на старичка-чиновника и группу молодых людей и барышень, скучившихся у подъезда, чтобы посмотреть на бочага Гиммера,— отфыркиваясь, он вслед за Софьей Михайловной, взявшей Лену за руку, грузно прошел в подъезд.

Сунув мелочь в руку швейцара, почтительно поздравившего их с приездом, Гиммер вдруг остановился, точно вспомнил что-то, и, нагнув голову, искоса посмотрел на швейцара. Веселая искорка пробежала в его глазах, но, видно, о том, что он вспомнил, он не хотел говорить при швейцаре, и он молча поднялся до первой площадки.

— Да, забыл предупредить тебя, Сонечка,— сказал он с игривостью в голосе,— Дюдю, любимца твоего, сегодня в училище избили.

— Ах, что ты говоришь! — выпустив руку Лены, воскликнула Софья Михайловна и остановилась, сделав испуганные глаза.

— Ничего особенного, просто синяков наставили. Обычная мальчишеская драка. Я просто хотел тебя предупредить, чтобы ты не испугалась, увидев его с примочками.

— И как ты можешь так говорить, Симон! — (Православное имя Гиммера было Семен, но имя это не нравилось Софье Михайловне, и она всегда звала мужа — Симон.) — И как ты можешь так говорить! Ну, бедный Дюденька!.. А кто его?..

— Один из воспитанников твоих, не помню фамилии...

Гиммер насмешливо сощурился: Софья Михайловна была председательницей Благотворительного общества помощи учащимся из народа, и под ее воспитанни-

ками Гиммер подразумевал учащихся-стипендиатов этого общества.

— Кто именно, не помнишь?

— Ну, тот самый, дядя которого швейцаром в училище.

— Он наказан, надеюсь, этот мальчик?

— К сожалению, наказан: его из училища исключили.

— И как ты можешь так говорить, Симон!

Софья Михайловна, подхватив длинный, по тогдашней моде, хвост платья, быстро пошла вверх по лестнице.

— Весь день ему Эдита Адольфовна эти примочки прикладывала,— с трудом поспешая за ней, весело говорил Гиммер,— а перед тем как ехать вас встречать, я захожу проведать сынка и вижу: Ульяна ему постель поправляет, а он ее — за юбку, а она отбивается...

И старый Гиммер, лукаво сощурившись, вдруг начал издавать такие звуки, как будто в горло к нему попала рыбья кость. Это была его манера смеяться.

Софья Михайловна, строго поджав губы, кивнула в сторону Лены.

— А как он покраснел! Покраснел как! — давясь рыбьей костью, говорил Гиммер.

— Симон!

Софья Михайловна поспешила нажать кнопку звонка.

Две похожих на старого Гиммера и друг на друга рыженьких горбоносых девочки, одна — ровесница Лене, другая — чуть постарше, с криком: «Мама приехала! Мама приехала!» — вбежали в переднюю. Увидев Лену, они запнулись на мгновение, потом, узнав ее, но не сообразив, что им нужно теперь делать, снова кинулись к матери, хватая ее за руки и танцуя возле нее.

— Что — Дюдя? — спрашивала Софья Михайловна.— Бедный мальчик! Я сейчас же, сейчас же пойду к нему... Лиза, Адочка! Вы займитесь пока с Леночкой, я вам потом все расскажу...

И волоча по половику длинный хвост платья, она быстро прошла в комнаты.

— Это — Леночка, дети. Вы узнали ее? — говорил

старый Гиммер, по очереди выпроваживая детей в столовую.— Вы помните, она гостила у нас с тетей Аней? Тетя Аня теперь умерла, и она совсем будет жить у нас. Вы, конечно, подружитесь,— говорил он, нагнув голову, с шутливой серьезностью глядя на детей, посапывая.

Лиза и Адочка, взявшись за руки и жеманно поводя плечиками и рыженькими головками, украшенными одинаковыми голубенькими бантами, с любопытством рассматривали чужую большеголовую и большеглазую девочку, которая, расставив ноги в черных чулочках, опустив вдоль платьица тонкие руки, растерянно стояла у дверей большой, залитой светом комнаты. Комната эта была хорошо знакома Лене, но, как и два года назад, ее поразили неизвестно зачем расставленные по углам высокие синие вазы и неизвестно зачем развешанные по стенам тарелки, расписанные цветастыми и хвостатыми китайскими драконами.

— Конечно, это Сурков,— сказала Софья Михайловна, входя в столовую.— И какой синяк под глазом! Это не мальчик, а просто зверь какой-то...

— Ничего нет необыкновенного в том, что мальчики дерутся,— сухо сказал старый Гиммер, повернувшись всем туловищем к Софье Михайловне.— И печально не то, что синяк, а то, что растет здоровый и капризный балбес, который думает, что раз он сын Гиммера, то ему все позволено, а даже постоять за себя не умеет. Вот это печально!..

Он сердито фыркнул и, тяжело ступая широкими, медвежьими ступнями, прошел в свой кабинет.

Глаза и губы Софьи Михайловны приняли обиженное выражение. Некоторое время она молча стояла посреди комнаты.

— Барыня, детей спать вести? — спросила показавшаяся в дверях девушка в белом переднике.

— А вы как думаете, милая, детей можно укладывать без ужина? — неожиданно озлобляясь и краснея, заговорила Софья Михайловна.— Или вы думаете, что ребенок после дороги может лечь спать без ванны? Вы, милая, если вы пришли служить и если вы за это получаете, извольте служить как следует!.. Скажите Даше, чтобы подавала ужинать, и идите приготовьте ванну!..

XII

По деревенской привычке Лена проснулась очень рано, когда весь дом еще спал. Из-за занавесей на окнах слабо пробивался рассвет, в детской было полутемно. Лиза и Адочка спали на своих кроватках. Полоса света чуть освещала игрушки в углу: детскую плиту, громадную куклу и громадную — больше, чем бывает в жизни,— кошку на колесиках, с желтыми глазами.

Лена высматривала, не принесли ли платьице, в котором она ехала из деревни,— она оставила его вчера в ванной,— но платьица нигде не было. На стуле возле кровати, аккуратно сложенное, лежало кружевное бельецо и белое платье на спинке — такое же, в каких Лиза и Адочка выбежали вчера. Белые туфельки стояли возле стула.

Лена, покосившись на спящих Лизу и Адочку, присела на кровати и потрогала бельецо руками. Оно было чистое, хорошо проглажено и хорошо пахло; платье тоже понравилось Лене. Но все же она не могла забыть, что старое ее платьице сшито мамиными руками, и она, вздохнув, откинулась на подушки. Так лежала она долго, то вспоминая или раздумывая о чем-то, шепча что-то про себя, то вновь принимаясь рассматривать комнату, игрушки в углу... Нет, кошка ей не нравилась, но кукла была хороша — и, конечно, интересно иметь такую плиту.

Потом она слышала чьи-то шаги в соседних комнатах, звуки осторожно открываемых и прикрываемых дверей. Снова покосившись на спящих Адочку и Лизу, она надела новое бельецо и белое платье, обула туфельки; по-зверушечьи снуя руками, повязала ленточку в свою крупную русую голову и юркнула из детской.

Пройдя ряд полутемных комнат, заставленных разнообразной мебелью и увешанных картинами, она приоткрыла дверь в столовую и зажмурила глаза: столовая залита была утренним солнцем, весело игравшим на синих вазах и тарелках с драконами.

Из передней, дверь в которую была открыта. доносился приглушенный говор: там виднелись люди. Лена узнала стоящую спиной к двери горничную Ульяшу — ту самую девушку, на которую накричала вчера Софья Михайловна. Ульяша говорила с какой-то толстой жен-

щиной; возле них темнела фигура подростка. Женщина, как видно, просила о чем-то Ульяшу, а Ульяша ей отказывала.

— Ну, уж посидите здесь, в передней, коли так,— наконец сказала Ульяша,— барин скоро выйдут. Только сидите тихонько...

Она, прикрыв за собой дверь, вернулась в столовую и, увидев Лену, весело улыбнулась ей.

— Как вы рано встали, барышня! — сказала она шепотом.— Соскучитесь, так рано встамши. У нас так рано только один барин встают...

— Кто это там? — указав пальцем на дверь в переднюю, шепотом спросила Лена.

— Сурковы это, мать с сыном,— пояснила Ульяша.— Мамаша пришла за сынка просить, чтобы обратно в школу приняли... А сынок здоровый! — Ульяша хихикнула.— Как он вчера нашего молодого барина расписал! Такого парня бы на выгрузку, а не в школу,— смеясь, говорила она.

— А за что он его? — допытывалась Лена, серьезно глядя на нее.

— А кто ж его знает. Обыкновенно... Разве знает кто, за что мальчики дерутся?

Пока просыпался, одевался, мылся, чистился, убирался весь дом, Лена то и дело возвращалась в столовую и, чуть приоткрыв дверь в переднюю, поглядывала в щелку — сидят ли еще мать и сын Сурковы.

Они сидели рядом: мать, толстая, в новом цветастом платье и белых нитяных чулках,— с робким и чего-то стыдящимся выражением лица, покорно сложив руки на животе; сын, подросток лет тринадцати-четырнадцати, широкоплечий и угловатый,— упершись локтями в колени и уткнув в большие красные ладони угрюмое и злое лицо. Он был в поношенном, из «чертовой кожи», форменном костюме ученика коммерческого училища; громадные, подпиравшие шею меркурии на воротнике вонзились в большие пальцы его рук.

Потом пришли Лиза и Адочка в темно-зеленых, с белыми воротничками гимназических платьицах и тоже стали подглядывать. Лена не заметила, как это подглядывание превратилось в игру. Всем троим вдруг стало очень весело. Они громко перешептывались и

смеялись, зажимая рот ладошками. Один раз Адочка так прильнула к щелке, что дверь отворилась, и Адочка чуть не упала,— все трое так и прыснули!..

Сурков продолжал сидеть, уткнув лицо в ладони, а мать его испуганно обернулась к дверям, шевельнула руками и виновато и жалко улыбнулась.

Лена, перестав смеяться,— она стояла теперь одна в открытых дверях,— несколько секунд, широко открыв глаза, смотрела в лицо матери Суркова. В это время открылась другая дверь в переднюю, и оттуда показалась Ульяша.

— Пожалуйте,— весело сказала она.

Мать Суркова засуетилась, с неуклюжей торопливостью стала оправлять платье и волосы. Сын, не взглянув иа Лену, прихрамывая, первым прошел в кабинет Гиммера.

Некоторое время Лена стояла еще в дверях. И вдруг краска стыда бросилась ей в лицо, уши, шею. Высоко подняв голову, с одеревеневшими губами, Лена прошла мимо Лизы и Адочки, удивленно проводивших ее глазами.

За завтраком Лена узнала, что старый Гиммер, бывший членом попечительного совета коммерческого училища, удовлетворил просьбу Сурковых и дал им письмо к директору, где он писал, что Петр Сурков достаточно наказан за свой проступок и может быть восстановлен в правах учащегося.

XIII

После завтрака Лиза и Адочка ушли в гимназию. К десяти часам уехал в контору старый Гиммер.

Лена все ожидала, что, раз ее привезли сюда, кто-нибудь займется ею или укажет, что она должна делать, но никто ей ничего не указывал, и она, скучая, болталась в столовой.

Часам к одиннадцати вышел к завтраку Таточка в длинном мохнатом халате и в туфлях. Таточка сильно разросся и потолстел, он начинал лысеть. Заметив Лену, он несколько мгновений задержал на ней свой невнимательный взгляд.

— Это что за экземпляр? — сказал он, неизвестно к кому обращаясь, и тут же забыл о ее присутствии.

Лена с удивлением посмотрела на него и, не поняв, что он сказал и к чему это, не обиделась на него.

Но Таточка окончательно удивил ее, когда, разложив перед собой газеты и журналы и искоса заглядывая в них, он разрезал вдоль французскую булку, намазал маслом, переложил икрой и съел всю булку и выпил два стакана кофе, а потом разрезал так же вторую булку, переложил сыром и выпил еще два стакана кофе.

Таточка два года назад окончил гимназию. Еще в гимназии он начал заниматься живописью и по окончании хотел поступить в художественную академию. Однако в академию его не приняли, сказав, что у него нет никаких способностей к живописи. Таточка не обиделся на академию, ибо что можно было и ожидать от этих законсервированных представителей старого художественного направления?

Вернувшись к отцу, он занялся тем, что стал изучать новейшую философию, выбирая такую, что помрачнее, и писать масляными красками какие-то длинные лица и деревья.

Однажды он издал даже книгу стихов, которую он в предисловии сам охарактеризовал как «полубред, полудействительность, полубодрствование, полусон, жар избытого томления и хмель зарождающейся жизни, кипение и нежность, силу и слабость — непостижимую, но действительную, странную, но несомненную, крутящую мысли и сжимающую сердце мистику зачатия...»

«Какая необыкновенная тишина,— писал он о собственных стихах,— какая чуткая сонь, важно-цветистая, торжественно полыхающая пламенем голубизны!..»

Книжка Таточки была издана на средства отца, в роскошном переплете, в двенадцати пронумерованных и поименованных экземплярах,— она была роздана только *понимающим*. Вокруг Таточки образовался кружок, с величайшим презрением относившийся ко всякого рода человеческой деятельности, кроме той, какой он сам занимался.

Таточка вставал не ранее двенадцати часов дня, обильно завтракал. После того два-три часа он занимался живописью или чтением, или писал стихи. К началу

занятий уже стояли возле на столике два раскупоренных ящичка с японскими апельсинами и мандаринами. Во время работы Таточка рассеянно запускал свою белую полную руку в ящики,— к концу занятий обычно оба ящика бывали опорожнены.

Если приходил кто-либо из кружка, Таточка обедал отдельно от остальных членов семьи. После обеда он спал. Потом он гулял немного, а вечером с кем-либо из кружка шел в театр, или на концерт, или на диспут, или на литературный суд, которые устраивались особенно часто в женской гимназии. Возвращался он поздно.

В течение дня Таточка три-четыре раза переодевался. Содержание Таточки обходилось старому Гиммеру дороже содержания всех остальных детей, вместе взятых. Но вокруг Таточки в семье царила атмосфера угождения, уважения и гордости: «Тише, Таточка спит», «Ах, тише, Таточка работает», «Таточке нужны деньги», «К Таточке нельзя — у него портной».

По мере того как Таточка взрослел, он все больше лысел и полнел, все меньше читал и занимался живописью. Если он не был на концерте или в театре, он попросту сидел в кресле посреди комнаты. В руках его не было ни книги, ни палитры, в глазах и на лбу его не отпечатлевалось никакой мыслительной работы, даже пищеварительные процессы не отражались на его лице, но он и не спал,— он просто *помещался* в комнате, как предмет.

Но к тому времени, когда Лена приехала из деревни, Таточка был еще в полном расцвете своей деятельности.

Он еще не кончил завтракать, когда в столовую ввалилась компания молодых людей в белых брюках, в сопровождении худощавой остроносой девицы в длинном черном платье и черных перчатках до локтей.

— Виталий, конечно, еще только встал! — воскликнул один из молодых людей.

— Почему вы не были вчера у Солодовниковых? — спросила девица в черных перчатках.— Я вас ждала. Было ужасно весело. Мы так сумасшествовали,— говорила она деревянным голосом.

Они развязно болтали о своих делах. Потом разговор перешел на тему о новой картине Таточки, для ко-

торой он уже *заготовил полотно*, и все перешли в комнату Таточки.

В первом часу вышла к столу Софья Михайловна. На ней было синее, вышитое шелком японское кимоно. Она жаловалась на плохой сон и на мигрень.

Лена в новом, стеснявшем ее белом платьице, не зная, что ей делать, неподвижно сидела на стуле, свесив ноги с ввернутыми внутрь по-детски ступнями. Со все более возникавшим в ней чувством отчуждения она наблюдала за тем, как маленькая и полная Софья Михайловна, с обернутыми вокруг головы толстыми искусственными косами, вытягивая губы трубочкой, пила кофе из маленькой чашечки, которую она держала двумя пальцами, отставив мизинец.

Во время завтрака Софьи Михайловны в двери из передней постучали, и в столовую, свистя платьем, стремительно вошла длинная, сухая женщина с желтым, морщинистым лицом, в сильно поношенной шляпке.

— Ах, милая Софья Михайловна, наконец-то вы приехали. Мы все здесь так вас ждали! — заговорила она грудным клохчущим голосом, стремительно бросаясь к Софье Михайловне и целуя ее в щеку.— Боже, как вы похудели!..

Она бережно коснулась плеч Софьи Михайловны и поцеловала ее в другую щеку.

— Да, мы приехали вчера. Очень мило, что вы пришли, Эдита Адольфовна,— отвечала Софья Михайловна таким тоном, который говорил, что она очень рада приходу и могла бы еще больше выразить радости, если бы все, что она застала здесь, не было бы так печально.— Вы знаете, я так устала,— говорила она,— всю ночь такая мигрень, и потом эта история с Дюдей... Даша, принесите кофе Эдите Адольфовне!

— Да, ужасная история...— Эдита Адольфовна сменила восторженное выражение на грустное и соболезнующее.— Я тоже так была взволнована, когда услыхала об этом. У меня должен был быть немецкий в их же классе, но я, как услыхала об этом, я сказала, что никому не могу доверить бедного мальчика, и сама доставила его на извозчике... Семен Яковлевич всегда так занят,— добавила она, сделав еще более грустное, соболезнующее лицо, как бы желая сказать этим, что она, конечно, никогда не допустит себя до вмешательства в семейные

дела Гиммеров, но она все, все понимает.— А как он сейчас?

— Самочувствие хорошее и аппетит. Но синяк ужасный, я все-таки велела лежать ему в постели.

— Нет, я обязательно посмотрю сама,— решительно сказала Эдита Адольфовна,— вы извините меня, но иначе я не могу быть спокойной...

И она, свистя платьем и стуча своими стоптанными, как заметила Лена, каблуками, стремительно вышла из столовой.

Когда Эдита Адольфовна ходила или сидела, верхняя часть ее длинного корпуса подавалась вперед, а нижняя отставала немного, точно она всегда стремилась к чему-то духом, но отставала телом.

— Да, синяк ужасный,— сказала она, возвращаясь.— Это все Сурков... Грубый мальчик, неблагодарный, отец у него неисправимый пьяница,— я была у них там, в их слободке, помните, когда мы обследовали условия жизни стипендиатов... У нас столько дел! Я их не могла разрешить без вас...— Она энергичным движением раскрыла черную сумочку, достала носовой платок и записную книжку.— Вы простите, что я так сразу начинаю о делах нашего общества, но через час у меня французский в женской гимназии.

— Что вы, Эдита Адольфовна! Вы знаете, как я всегда волнуюсь *этим* и не жалею времени для *этого*... Выпейте кофе, у вас очень усталый вид.

— Да, там у нас одни неприятности. Вы знаете, мы еще не приобрели материи для наших мальчиков, а сезон уже наступил. Нет денег,— перебила она вопросительный жест Софьи Михайловны,— к Солодовниковым неудобно было обращаться за деньгами, когда у них такое горе после смерти их бедной старушки, а к Пачульским я обращалась,— Эдита Адольфовна, понизив голос, склонилась к Софье Михайловне,— и, конечно, как всегда, Тереза Вацлавна дала понять, что они уже много вносили и что в данный момент у них нет свободных денег... Это — когда весь город говорит об этой их операции с мукой!..

— Печально, очень печально...— На лице Софьи Михайловны изобразилась печаль.— Но что же делать,— не нам осуждать людей, пусть их бог судит...

— Нет, простите, Софья Михайловна, я знаю, вы с вашей добротой всегда всех прощаете. Но когда знаешь, сколько вы кладете в это дело и сил и средств, и когда даже я со своим скудным жалованьем,— но я не хочу говорить о себе, а уж Терезе Вацлавне, тем более с *ее прошлым...*

Эдита Адольфовна вдруг запнулась и посмотрела на Лену.

— Да, мы сейчас перейдем ко мне и обо всем поговорим,— сказала Софья Михайловна.— Леночка, пойди сюда... Познакомься с тетей Эдитой Адольфовной.

Лена лопаточкой протянула руку.

— Никогда не подавай руки старшим, а делай книксен, вот так...— Софья Михайловна, захватив пухлыми ручками полы кимоно, показала, как делают книксен.— Когда будешь большой, будешь первая подавать руку мужчинам...

Она с улыбкой взглянула на Эдиту Адольфовну.

— Премиленькая девочка,— сказала та, обнажив длинные черные зубы.

— Так пройдемте ко мне и поговорим обо всем... Леночка! Ты пойди в детскую, поиграй или почитай что-нибудь. Не скучай и будь умницей...

И, погладив Лену по головке и запахнув кимоно, Софья Михайловна вместе с Эдитой Адольфовной пошла на свою половину.

XIV

Оставшись одна, Лена долго бродила по комнатам в чаще мебели, ковров, занавесей. Комнаты были большие, но какие-то неустроенные, и неизвестно, зачем их было так много, если в них никто не жил. Только кабинет Гиммера, лишенный всяких украшений, понравился Лене своей массивностью, простотой и строгостью.

Случайно она открыла дверь в комнату к Дюде. Дюдя с неестественно красным лицом испуганно выдернул руку из-под одеяла.

— Кто там?.. Пошла вон! — закричал он неистовым голосом.

Лена в страхе убежала в детскую и долго сидела на кровати, с надутыми губами и остановившимся взглядом.

Потом она вспомнила, что можно еще сходить на кухню.

Еще в коридорчике она услыхала звон посуды, веселые женские голоса и мужской — стариковский. Она отворила дверь и очутилась в большой полутемной кухне. Пахло супом и каким-то жареньем. Горничная Даша — та, которая подавала вчера ужинать, а сегодня завтракать,— и еще какая-то пожилая женщина перетирали посуду У большой плиты, держа суповую ложку, стоял повар — бритый старик в очках, в белой шапочке, со сходящимися носом и подбородком. Все трое удивленно посмотрели на Лену.

— Вам что, барышня? — спросила Даша.

— Мне скучно...— откровенно созналась Лена.— Какая у вас большая кухня!..

— Вот так барышня, на кухню к нам пришла, а? — не то удивленно, не то насмешливо сказала пожилая женщина.

— Помогать, значица, пришла? — взглянув на Лену поверх очков, сказал повар.

Все трое засмеялись.

— Почему вы смеетесь? — серьезно спросила Лена.

— Вы лучше пойдите поиграйте,— сказала Даша,— а не то барыня застанут вас на кухне и заругаются.

— А эта дверь куда?

— А это во двор.

Лена с решимостью отчаяния прошла через кухню и через небольшие сенцы вышла на площадку наружной железной лестницы, уходившей вверх и двумя коленами спускавшейся во двор.

Двор, залитый асфальтом, походил на большой каменный колодец, охваченный с трех сторон желтыми стенами дома Гиммеров, обнесенными железными балюстрадами, а с четвертой — задней — кирпичной стеной соседнего дома.

Ступеньки лестницы были засорены какой-то шелухой, обрывками бумажек, угольной мелочью. На перилах балюстрад и на веревках внизу двора сушилось белье, матрацы. Над стенами домов синел кусок неба, и часть кирпичной трубы над стеной соседнего дома была освещена солнцем. Но солнце не проникало во двор; оттуда тянуло холодом, сыростью и запахом отбросов.

Двор был пустынен, только в левом дальнем углу его в мусорной яме копался мальчик лет семи, казавшийся с высоты совсем маленьким, в голубенькой, разодранной на спине рубашонке, босой, с вихрастой грязно-желтой головкой. Он доставал из мусорной ямы жестянки, кости, осколки бутылок, раскладывал их,— был, видно, сильно занят своим делом.

Он был совершенно одинок, этот босой мальчик, на дне темного, сдавленного каменными стенами колодца, и хотя голоса мальчика не было слышно, но по всем его озабоченным, самоуглубленным движениям Лена знала, что он поет про себя какую-то свою одинокую мальчишескую песню, состоящую из случайного набора слов и лишенную мотива.

И ощущение полного одиночества и безвыходности ее собственного положения в громадном, набитом мебелью и коврами доме, среди чужих, ненужных и враждебных ей людей, полного одиночества ее в мире, где не было ни одного человека, которому бы она верила и могла вылить свое горе,— ощущение это с такой силой и мукой сжало сердце Лены, что ей захотелось броситься с площадки в уходящий вниз каменный колодец двора.

«Мама... Где ты, моя мама?» — подумала она, вцепившись ручонками в железные перила лестницы и не спуская глаз с одинокого вихрастого, с грязно-желтой головой мальчика, который все перебирал свои жестянки и стеклышки и неслышно пел свою лишенную мотива песню.

«Где ты, моя мама?» — повторила Лена, терзая и мучая себя, но в то же время находя в этом какое-то наслаждение и потому желая еще как-то усилить это терзание и мучение себя.

Вдруг она вспомнила, как года четыре назад, еще в Саратове, когда мать уехала хлопотать за арестованного отца и Лена одна осталась у знакомых, она, скучая по маме, написала ей каракулями письмо. Письмо это так и не дошло до мамы, потому что Лена бросила его тогда в печную отдушину. Но ей захотелось теперь написать такое же письмо, как если бы мама была жива.

Она быстро прошла через кухню, не слыша, как Даша спросила ее о чем-то, прошла в кабинет Гиммера и, вырвав из лежащего на письменном столе блокнота листок и обмакнув перо, начала писать, стараясь писать

так, как она писала четыре года назад, как если бы ей было пять лет, а не девять.

«Мама мне очень скучно,— писала она.— Мама приезжай скорей. Мама меня никто не любит. Мама мы приехали вчера а потом я мылась в ванне а потом легла спать и долго не спала думала где ты. А потом я встала надела белое платье а моего платья нет что ты шила. А потом мы завтракали а Дюдя меня прогнал. А потом я видела мальчика во дворе он был совсем один весь грязный он пел. Мама мама моя у меня нет никого на свете»,— писала она, все больше и больше растравляя себя, и слезы капали на ее письмо.

XV

К тому времени, когда Лена была привезена к Гиммерам, Семен Яковлевич Гиммер был очень богатым человеком, одним из самых богатых людей в городе. Он владел железными рудниками в районе города Ольги, угольной копью под станцией Угольной, мукомольными предприятиями на Второй речке.

Основную цель и смысл своей жизни Гиммер видел в том, чтобы заниматься *делом*. Под *делом* Гиммер подразумевал всякое занятие, которое приносит в конечном счете большее количество денег, чем то, которое вложено в него. А деньги эти нужны были Гиммеру главным образом для того, чтобы вкладывать их в новое дело, которое должно было принести еще больше денег.

К этому своему положению Гиммер пришел не сразу. Он выбился «в люди» из семьи мелкого лавочника, и путь его вверх, даже в понимании чести самим Гиммером, не всегда был честным путем. Особенно сильно разбогател он на поставках в русско-японскую войну. Но совесть не мучила старого Гиммера, потому что он знал, что, если бы он не делал этого, другие, более ловкие люди, забили и растоптали бы его, Гиммера, и он никогда не выбился бы «в люди» и не достиг того положения, в котором сейчас находился.

В деле Гиммера работали на него тысячи людей, со своими жизнями и интересами, лишенные всего того, что имел Гиммер. Но то, что люди, лишенные всего, работают на него, имеющего все, не только не беспокоило ста-

рого Гиммера, но служило предметом его гордости, потому что он считал, что выгоднее и почетнее, чтобы люди работали на него, чем если бы он сам работал на кого-нибудь другого.

Порядок жизни, который сложил Гиммера, состоял в том, что одни люди, лишенные всего, работали на других, имеющих все; иного порядка жизни Гиммер не знал и не задумывался над тем, что он может быть. А если бы сложился другой порядок, Гиммер не мог бы существовать в нём, как не может существовать рыба, вынутая из воды.

В те времена, когда Гиммер еще не был так богат, он непосредственно сталкивался с жизнями людей, которые работали на него, он еще воспринимал их как живые, реальные жизни, мог сочувствовать им и даже входить иногда в их интересы — настолько, однако, чтобы от этого не страдали интересы *дела*. Но к тому времени, когда Лена приехала к Гиммерам, дело Гиммера настолько разрослось, что он уже не мог сам непосредственно соприкасаться с жизнями людей, работающих на него, а этим занимались другие люди — управляющие, инженеры, подрядчики, бухгалтеры,— люди, подчиненные Гиммеру и исполнявшие его волю. Сам Гиммер сталкивался теперь только с цифровыми выражениями людских жизней — цифрами рабочих рук, пудов и рублей.

Если цифры складывались неблагоприятно для *дела* Гиммера, он намечал мероприятия, способные изменить положение в нужную для дела сторону. И управляющие, инженеры, бухгалтеры и подрядчики направляли соединенные усилия на то, чтобы привести цифры в более выгодное соотношение.

Иногда люди, работавшие на Гиммера, отказывались подчиниться этим мероприятиям и колебали все дело. Тогда Гиммер надевал кожаную кепку и желтые краги и ехал на места, чтобы проверить работу управляющих, инженеров и подрядчиков и сменить плохих и неспособных управляющих и инженеров на хороших и способных.

Если сопротивление людей, работавших на него, было слишком велико и управляющие и инженеры не могли сломить их волю, Гиммер заменял русских рабочих китайскими или обращался к власти, чтобы она помогла сохранить его дело. И власть — организация людей, по-

добных Гиммеру, то есть людей, владевших такими же или подобными делами,— подымала на помощь Гиммеру войска, полицию, газеты, тюрьму, церковь, чувствуя в том, что угрожает делу Гиммера, угрозу и своим делам.

Дело Гиммера поглощало почти все его время, не говоря уже о том, что он был членом многих комитетов, правлений, клубов, обществ, деятельность которых он, обладая трезвым, практическим умом человека, вышедшего из низов, в тайне души считал бесполезной, но в которых не мог не состоять, так как все люди его положения состояли в них,— и учреждения эти тоже поглощали много времени. Гиммер был занят все дни с самого раннего утра до поздней ночи и редко отдыхал. И все-таки он всегда был полон жажды деятельности и искал все новых и новых дел.

Повсюду, где только пахло *делом*, можно было обнаружить его руку с короткими, литыми пальцами, тяжелую руку, никогда не выпускавшую того, за что ей удалось ухватиться,— повсюду сияла его багровая мощная лысина и звучал смех, похожий на то, как будто Гиммер давится рыбьей костью.

Для личных своих удобств и развлечений Гиммер требовал очень малого,— он остался почти таким же неприхотливым, каким был в молодости: не пил, не играл в карты, не знал женщин, кроме своей жены, просто одевался, ничего не читал, кроме деловых бумаг и торговопромышленных газет, никогда не болел и не нуждался во врачах. Но так как он был богатым человеком и имел семью, которая должна была жить так, как живут все семьи богатых людей,— Гиммер помогал своей семье делать все то и обзаводиться всем тем, что полагается делать и чем полагается обзаводиться всем богатым людям.

Богатые люди строили себе большие каменные дома; загромождали эти дома мебелью; заводили породистых лошадей и собак; для обслуживания себя, своих жилищ и своих лошадей и собак содержали лакеев, швейцаров, поваров, горничных, конюхов, докторов, истопников, полотеров, учителей музыки и пения; скупали на выставках картины, художественная ценность которых определялась деньгами, уплаченными за рамы для этих картин; выписывали для своих библиотек роскошно переплетен-

ные книги, которых не читали; ездили лечиться на дорогие курорты Японии, Кавказа и Крыма; создавали благотворительные общества; устраивали званые обеды и ужины, детские спектакли, спиритические сеансы, аукционы, лотереи и праздники.

И все это делала, и всем этим обзаводилась, и во всем этом участвовала и семья Гиммеров.

Гиммер знал, что тысячи людей, работающих на него, не любят, ненавидят его; что все богатые люди, которых он принимает в доме, завидуют ему как удачливому конкуренту и презирают его как выскочку и выкреста; что сам он, необразованный еврей, чужд всей своей русской и образованной семье; что никто из его потомства не интересуется его делом и не способен продолжать дело после его смерти; что жена его — ханжа и лицемерка; что старший сын его — толстый высокопарный бездельник; что средний сын его, учившийся в другом городе в кадетском корпусе, стыдится еврейского происхождения отца и выдает себя за немца; что младший сын его — выродженец; что дочери его некрасивы и не способны в ученье; что он сам уже стар и близок к могиле. Гиммер знал все это, и все-таки он всеми силами поддерживал тот строй и порядок жизни, в котором жил, и вступил бы в борьбу со всяким, кто попытался бы изменить этот порядок.

XVI

Молодое растение, несущее в себе возможность развиться в стройное кудрявое деревцо с сочной листвою, будучи пересажено на чужую почву, где к тому же укоренились другие породы, загородившие доступ к свету своими кривыми, уродливыми сучьями,— первое время приостанавливается в росте; блекнут и желтеют его листочки. Но в тоненьких жилках, в веточках и корешках не прекращается незримая работа жизни: вот появляются среди чужих корней слабенькие щупальца, отыскивающие, за что бы уцепиться, вот прорезаются новые веточки, набухают листья, вот уже изгибаясь стеблем и ветвями среди чужих пород, оно начинает тянуться вверх и вкось, и вот уже растет, растет кривое, и случайный путник уже не различает его в общей чаще.

Первое время пребывания у Гиммеров Лена сильно скучала, мало ела, почти не разговаривала, ночами плакала; в ее отношениях с другими детьми чувствовалось взаимное отчуждение. Она долго не могла отучиться от деревенских манер, стеснялась своих нарядных платьиц, боялась шума детских праздников, не могла понять интереса игры в лото, была наивна и нетактично правдива в семье, где все дети и взрослые, включая даже лежащего в передней ленивого сенбернара, лгали друг другу, часто не замечая сами, что лгут.

Когда же она пыталась выявлять те задатки и потребности любви, доверия и простоты, которые были заложены в ней матерью, оказывалось, что они расходятся с представлениями окружающих,— она натыкалась на невнимание, насмешки, обиды и снова замыкалась — наблюдала, проверяла себя, приноравливалась, сама того не сознавая, к окружающему, чтобы жить.

И постепенно она усвоила общие для всей семьи манеры обращения, привыкла ко всему распорядку жизни в доме Гиммеров и внешне стала похожа на всякую другую девочку из богатой семьи.

Она училась ни хорошо, ни плохо, как большинство. Ей не стоило уже большого труда в не интересующем ее разговоре восклицать с безразличным лицом: «Да что вы говорите?», «Не может быть!», «Да, это необыкновенно интересно...» Как все девочки зажиточных семей, она ежедневно, под руководством учителя музыки, играла на рояле свои экзерсисы, посещала танцклассы, завела альбом для стихов, участвовала в детских спектаклях и лотерейках, танцевала на гимназических вечерах, мучаясь и ревнуя, если намеченный ею партнер выбирал другую. Заметив на себе взгляды мальчиков и взрослых мужчин, стала ухаживать за своей наружностью — пудриться, завертывать на ночь бумажки в волосы, чтобы волосы вились. Была влюблена сначала в кучера Гиммера, потом в кадета Лангового, приезжавшего каждый год на рождественские и летние каникулы с Вениамином, средним сыном Гиммера, потом — в оперного тенора.

Но подобно тому, как деревцо, искривившееся на чужой почве, среди чужих пород, непрестанно стремится выявить заложенные в нем возможности, так и Лена во все, что бы она ни делала, привносила свои, странные для окружающих, особенности.

Ее альбом для стихов так и остался не тронутым, потому что ни с кем из своих сверстниц и сверстников она не вступила в отношения любовной дружбы.

Музыка, даже самая простая, волновала ее. Часто, окончив урок, Лена целыми часами с окаменевшим лицом сидела у рояля, опустив руки, неподвижно глядя в одну точку большими темными глазами. А иногда во время танцев на вечере в гимназии или дома ею овладевала вдруг подлинная радость движения, глаза разгорались от ей самой непонятного счастья, тихо звучал ее горловой смех, и она оделяла первых попавшихся людей словами нежности и благодарности. А когда кто-либо, обнадеженный ее ласковостью, приходил на другой день, он встречал удивленный, холодно-недопускающий в себя взгляд.

В детских любовных увлечениях ее не было ничего показного — ни внешних выражений тоски и страданий, заимствованных у взрослых, ни излияний подругам. Ночами она мысленно составляла страстные письма и с пересохшими губами кусала подушку.

В разговоре с детьми и взрослыми она редко говорила о себе, а всегда что-нибудь выспрашивала (о себе она охотнее говорила с людьми, которых, заранее знала, никогда больше не встретит).

Иногда в середине разговора в ее заблестевших глазах появлялось выражение зверушечьего любопытства, и она задавала неожиданные, не относящиеся к делу вопросы:

— Скажите, вы любите вкусно есть?

— А мама тебя никогда не била?

— А нищие — они очень несчастные?

Собеседник удивленно поднимал брови:

— Какая странная девочка!

Но иногда вопросы эти попадали в какую-то сокровенную точку, и собеседник или смущался, или с заметным оживлением начинал говорить о себе.

Свои наблюдения Лена проверяла потом на других. Сама того не замечая, она вела себя, как маленький соглядатай: лучше всех детей в доме была осведомлена о внутренней стороне жизни знакомых семей, раньше своих подруг стала догадываться о сущности отношений взрослых мужчин и женщин.

Двоюродные сестры ее — Адочка и Лиза, сформировавшиеся в очень похожих друг на друга длинноногих, веснушчатых, горбоносеньких, с шершавой кожицей на руках девочек-подростков, долгое время находились под ее влиянием. Лена не любила их, в ее отношении к ним всегда таилась не замечаемая ими бесстрастная жестокость экспериментатора. Она по желанию могла смешить их до истерического хохота, или расстраивать до слез, или возбуждать в них чувственное любопытство, или запугивать их страшными историями. Девочки не спали ночами, ходили с синевой под глазами,— это было замечено даже взрослыми.

XVII

В доме, тут же, протекал иной мир — мир прислуги.

Прислуга находилась в состоянии непрерывного труда. Но в результате труда прислуги не возникало никаких новых вещей, это был нелепый, заколдованный круг.

Заготовлялись горы провизии, ее варили, тушили, жарили, подавали на стол, она уничтожалась господами. Потом мылись тарелки, кастрюли, выносились помойные ведра, и снова заготовлялись горы провизии, и снова мылись тарелки и кастрюли. Полы натирали, чтобы их снова зашаркали; шторы подымали утром, чтобы опустить вечером; чистая вода напускалась в ванну, чтобы выпустить ее грязной; за кошками убирали, чтобы они снова гадили; чесали сенбернара, а он линял снова. И так изо дня в день.

Прислуга была разная, работала по-разному, к господам относилась по-разному. Старый Гиммеров лакей, которого Таточка в шутку называл Достоевским, был наиболее предан господам, жил замкнуто, всегда молчал; остальная прислуга не любила и боялась его. Повар был наиболее уважаем господами, звался по имени-отчеству, имел отдельную комнату, он был уважаем также и прислугой. Горничная Даша, замужняя, была строга, богомольна, исполнительна. В Ульяше, девушке из местных слобожан, было что-то веселое и бесноватое,— она норовила словчить, погулять, выпивала, над господами подсмеивалась.

Кухня тайно посещалась матросами, солдатами, мастеровыми. Иногда заходил истопник — рыжий, волосатый, с руками до колен, вдовец,— один или с вихрастым, с грязно-желтой головой мальчиком, которого Лена видела во дворе в первый день приезда; мальчик всегда молчал.

Этот другой мир в доме Гиммеров необыкновенно притягивал к себе Лену; в свободные минуты она всегда старалась незаметно проскользнуть на кухню. К ней скоро привыкли. Лена любила слушать разговоры о ворах, убийцах, покойниках.

Пожилая судомойка, происходившая из деревни Скобеевской волости, помнила отца Лены, а когда услышала, что Лена любит вспоминать о матери, придумала также, что знала и ее мать. Муж судомойки погиб в русско-японской войне — в той самой войне, на которой разбогател Гиммер. Лена сочувственно слушала ее рассказы о дочери, которая «ходит по чужим», о сыне-подпаске, «бедном сиротинушке»,— он представлялся Лене вроде скобеевского пастушка, хотя, по рассказам судомойки, у сына ее был перебит нос: объездчик поймал в саду и перебил ему нос кнутовищем.

На кухне же Лена впервые познакомилась с дурными словами, значение которых не вполне понимала, и обучила им Лизу и Адочку. Когда Дюдя, любивший вертеться возле девчонок, нечаянно подслушал, Лена так и не созналась, где услышала эти слова. Софья Михайловна в наказание целую неделю не разговаривала с ней, но в течение этой недели Лена часто ловила на себе за столом лукавый взгляд старого Гиммера.

Выходом в иной мир были и общения Лены с некоторыми из подруг по классу.

Лена облюбовала самую бедную и тихую — дочь портнихи со смешной фамилией — Хлопушкина (в классе ее называли Хло̀пушкина, с ударением на «о»). Она была очень некрасива, с белыми ресничками, в застиранном форменном платьице и невыносимо робка. Она даже училась плохо от робости. Она была так робка, что Лена долгое время не могла отделаться от впечатления, будто она хромая.

Первое время она робела и перед Леной, но потом привыкла к тому, что сидящая в соседнем ряду больше-

глазая девочка из богатой семьи внимательно и ласково поглядывает на нее.

Лена добилась того, что их посадили на одну парту.

Все, о чем говорила Хлопушкина, не было интересно Лене. Но девочка нравилась Лене своей тихостью и покорностью и тем чувством жалости и желания добра, которое она вызывала в Лене. Общение их кончалось у гимназического подъезда в тот момент, когда Лена и девочки Гиммер усаживались в просторную, запряженную парой белых лошадей коляску с кудрявым кучером, а маленькая Хлопушкина со своими ресничками отправлялась пешком к себе, в Голубиную падь.

Но однажды Лена пошла провожать ее.

Слобода Голубиная падь лежала за Орлиным гнездом, большой лысой горой, возвышавшейся над городом. Хлопушкина жила в сером дощатом домике с маленькими окнами — таком же, как все домики в этой пади, меж двух изрезанных оврагами гор, на склонах которых паслись коровы и свиньи. В вершине пади стояло квадратное деревянное строение голубиной почты, похожее на китайскую пагоду. Стаи голубей носились вокруг него.

— Вот ты где живешь...— задумчиво сказала Лена, с любопытством разглядывая выщербленные заборы, кривую улочку с размытыми дождем и теперь засохшими колеями; несколько ребятишек в одних рубашонках, выставив голые заднюшки, подклеивали раскосого китайского змея.— Можно зайти к тебе?

На лице Хлопушкиной появилось выражение испуга, и она так покраснела, что белые реснички ее стали еще белее.

— Ну, что ты, разве тебе интересно? Да у нас, боюсь, еще не прибрано... Нет, тебе не понравится у нас,— сказала она, еще больше смущаясь: выходило так, что она негостеприимна.

— Глупости! — серьезно сказала Лена.— Ведь я жила в деревне и бывала в избах...— Она вдруг запнулась и тоже покраснела: она хотела сказать — «бывала в избах еще беднее».

— Подожди, я сбегаю, посмотрю, как там...

Хлопушкина исчезла в калитке. В оконце показалось женское лицо и снова спряталось; кто-то суетливо забегал по комнате. Потом снова вышла Хлопушкина и с тем же выражением смущения пригласила Лену в дом.

Женщина в сером платье, с лицом нездоровой пухлости, похожая на сильно постаревшую и обрюзгшую Хлопушкину, встретила Лену на пороге. Смущение было написано на ее лице и еще выражение заискивания, как бы желания задобрить, а глаза смотрели утомленно-неласково.

Первое, что бросилось в глаза Лене, был сидящий на кровати, в накинутом на плечи коричневом одеяле, сильно высохший, с длинной жилистой шеей и трясущейся головой пожилой мужчина с двумя короткими деревянными обрубками вместо ног.

— П-пожаловали к-к нам? — сказал он без улыбки, заикаясь и тряся головой, глядя на Лену пустыми глазами.— Имею ч-честь... Х-хлопушкин, Яков Др-р... Др-р...— Он так и не докончил отчества.

— Отец мой... Он под поезд попал,— сказала Хлопушкина, мигая своими белыми ресничками, точно извиняясь за обрубки отца.

Лена едва не вздрогнула, коснувшись его руки.

— П-принял в-восемнадцать д-депеш... Вышел, п-простите, по нужде и п-попал... Теперь об-буза семье...— говорил он, тряся головой и, как бы в доказательство своих слов, пошевеливая обрубками.

Лена, маленькая Хлопушкина и мать ее стояли посреди комнаты, не зная, о чем говорить. Разбросанные по полу обрезки желтых, красных, голубых, пестрых материй рябили в глазах; со швейной машины ниспадало шитье.

— Обедать с нами...

— Нет, я только проводить...

С окаменевшим лицом Лена одна спускалась по тропинке туда, где в оранжевой пыли улиц, в серо-зеленом дыме судов на рейде клубился город. Нужно было что-то сделать сейчас же, немедленно.

«Я буду приглашать ее к себе... Я...» Лена не знала, что она будет делать.

Через несколько дней ей удалось зазвать Хлопушкину к себе.

Если бы она знала, чем это кончится!..

Как только они вошли в детскую, Лиза и Адочка сделали удивленные глаза, потом переглянулись, потом подняли головы и покинули детскую. Дюдя несколько раз всовывал голову в дверь, делал ужасное лицо и с силой

захлопывал дверь. Хлопушкина сидела вся красная и мигала белыми ресничками. Говорить было решительно не о чем.

Вдобавок ко всему, Лене запретили пригласить ее к столу. Лене удалось тайком выпросить кое-что у повара и принести в детскую. Но Хлопушкина, брызнув слезами в тарелку, убежала, забыв свои книжки.

Лена получила выговор за то, что привела в дом чужую девочку неизвестных родителей.

— Ты можешь от нее бог знает чего набраться! — говорила Софья Михайловна.— В конце концов откуда ты знаешь, что она ничего не украдет?

А Дюдя предлагал все в детской перетряхнуть, потому что Хлопушкина будто бы напустила вшей в кровати.

XVIII

Выходом в иной мир были также нечастые встречи с «воспитанниками» Софьи Михайловны.

Софья Михайловна Гиммер, считавшая, что вся ее жизнь отдана делу милосердия и любви, старалась дать такое же воспитание и детям. С этой целью она считала полезным знакомить детей с наглядными примерами деятельности ее общества.

В первый же год жизни у Гиммеров Лена с двоюродными сестрами, в сопровождении Эдиты Адольфовны, посетила портняжную мастерскую, где в это время происходила примерка новых костюмов мальчикам-стипендиатам, ученикам коммерческого училища.

На вывеске, изображавшей черноусого мужчину в железном, негнущемся костюме и даму в платье с таким длинным хвостом, что хотелось наступить или плюнуть на него, было написано: *«Сян Я-юй, мужской и дамский портной»*. Но на самом деле владелец мастерской Сян Я-юй давно уже портным не был: сам ничего не шил и не кроил, а это делали за него десятки мастеров и подмастерьев. Девочки в одинаковых беленьких шубках, разрумянившиеся и заиневшие от мороза, были введены в приемную, где за небольшой конторкой сидел китаец в круглой черной шапочке и принимал заказы.

Усадив девочек, Эдита Адольфовна стремительно прошла в помещение мастерской, чтобы предупредить о

приходе и не захватить кого-либо из мальчиков в неприличном виде.

Через некоторое время она вернулась в сопровождении китайца, одетого в шелковый черный халат, с лоснящимся лицом и черной маслянистой косой, похожего на тучную крысу. Низко кланяясь, выказывая в улыбке белые крысиные зубки, он попросил девочек следовать за ним.

Немного смущаясь и подталкивая друг друга, девочки вошли в просторное низкое помещение, уставленное длинными столами, на которых среди всевозможного шитья и выкроек сидели, поджав под себя ноги, китайцы-портные и работали иглами вручную. В другом ряду стояли швейные машины,— за ними, ногами приводя машины в движение, тоже сидели китайцы-портные, с потными лбами и согнутыми спинами.

В мастерской стоял шум от швейных машин, стоял запах материи, похожий на запах формалина, и в полосах света из окон мерцала пыль.

Мастера-китайцы примеряли новые костюмы мальчикам, отмечая размеры и вырезы голубым мелом. Мальчиков было более десятка: одни, смущенные приходом девочек, стояли с растопыренными руками и красными лицами, другие сразу же стали выказываться перед девочками — принимать небрежные позы или озорничать с мастерами. Стоявший поближе мальчик с веснушчатым вздернутым носиком и смешливыми глазами украдкой щипал мастера за косу, потом оборачивался к мальчику — своему соседу, делал выпученные глаза и говорил что-нибудь бессмысленное, вроде: «Омайяды и раскол!..» Или: «Бой в Санта-Фэ!..» Оба прыскали и искоса поглядывали на девочек.

Среди мальчиков Лена сразу узнала Суркова. Он был крупнее всех и стоял почти первым, расставив свои немного коротковатые ноги в старых, залатанных на коленях штанах, бахромящихся внизу. Мастер примерял ему форменную с металлическим отливом куртку, еще без рукавов, намечая голубым мелом вырезы под мышками. Лицо Суркова было кирпичного оттенка и в крупных порах, выражение лица злое и чуть презрительное, губы плотно сжаты. Он смотрел прямо перед собой из-под бугристых бровей твердыми светло-серыми глазами, никого не видя.

Мастер то и дело просил его повернуться или поднять руку, и Сурков поворачивался и подымал руку. А если мастер в озабоченности пытался своими руками придать ему нужное положение, Сурков, не глядя на мастера, отстранял его руки и сам принимал нужное положение.

Эдита Адольфовна переходила от одного мальчика к другому, расспрашивала о здоровье родителей, об успехах в ученье и не жмет ли где. По тому, как мальчики отвечали ей, Лена поняла, что они не любят, не боятся и не уважают Эдиту Адольфовну. Еще Лена заметила, что Эдита Адольфовна ни о чем не спросила у Суркова, а когда подошла к мальчику с веснушчатым носом и насмешливыми глазами, мальчик сделал бессмысленное лицо и сказал: «Лабрадор!..»

Потом Эдита Адольфовна долго говорила с хозяином мастерской, просила о том, чтобы костюмы шились на рост, так как мальчики быстро растут, а «чертова кожа» сильно садится; потом торговалась о ценах, справлялась, есть ли излишек материала. Хозяин, похожий на тучную черную крысу, вежливо кланялся, показывая белые зубы; обещал шить на рост, отрицал наличие излишков материала и не уступал в ценах.

Все это время Лиза и Адочка, прикрывая лица беленькими муфтами, переглядывались с мальчиками и перешептывались между собой, стараясь сдержать смех; а Лена, прижав муфту с засунутыми в нее руками к животу, неподвижно и пристально смотрела на Суркова. Он внушал ей страх и любопытство, и ей все время хотелось, чтобы он взглянул на нее. Но Сурков так ни разу и не взглянул ни на нее, ни на девочек, ни на Эдиту Адольфовну.

После того Лена долго уже не встречалась с Сурковым и только через год однажды еще услышала о нем. Дюдя, вернувшись из училища, сообщил о том, что с отцом Суркова, работавшим в военном порту, произошло несчастье на работе и что сын вызван с уроков домой.

На другой день из рассказов Дюди и из подслушанных разговоров взрослых Лена узнала, что отец Суркова в нетрезвом виде свалился в котел, в который только что выпущена была расплавленная сталь, и сгорел дотла,

что инженеры хотели продолжать литье, но рабочие воспротивились и что мальчик Сурков вынужден бросить ученье, чтобы работать и содержать семью.

XIX

Осенью одиннадцатого года, вернувшись с прогулки, Лена застала в гостиной отца. Отец в висевшей на нем, как на вешалке, серой пиджачной тройке с необыкновенно ярким галстуком сидел на краешке бархатного кресла и разговаривал с Софьей Михайловной, покоившейся в кресле против него с вышиванием в руках и выражением вежливой скуки на лице.

Возле отца, застенчиво прижавшись к нему, стоял мальчик лет восьми, загорелый, с побуревшими от солнца, жесткими темно-карими, курчавившимися возле ушей волосами, в длинных штанах деревенского шитья. Он покосился на Лену большими черными, диковатыми глазами и вдруг весь рассиял в улыбке,— это был Сережа.

— О! Вот и пришла... Ну, как выросла!..— закричал отец, подняв длинный указательный палец и по-совиному глядя на Лену.— А ну, пойди, пойди сюда...

Лена, постояв в раздумье, подняла согнутые в локтях и кистях беспомощные руки и, неся их перед собой, подошла к отцу и поцеловала его в щеку, почувствовав одновременно его пахнущие табаком усы и бороду на своей щеке и его костлявые пальцы на своих лопатках.

— Фу ты, какая нарядная!..— кричал отец, в то время как она, опустив руки, не зная, что еще нужно делать, стояла перед Сережей, серьезно глядя в его сияющее загорелое лицо.

— А вы поцелуйтесь,— не подымая лица от вышивания, сказала Софья Михайловна.

Они ткнулись друг в друга и вновь разнялись: Сережа — смущенный, радостно вспотевший, Лена — удивленная и подобревшая. Она почувствовала, что Сережа помнит ее и ощущает как сестру, и он тоже понравился ей.

Они просидели около часа. Отец, все более яростно теребя бороду, разговаривал с Софьей Михайловной на темы, которые были скучны обоим, или вдруг оборачивался к Лене и кричал ненатуральным голосом:

— А ученье как? Учителя не обижают?.. Где твои *кузины*?

Потом, отказавшись остаться на обед и подчеркнув, что обедать они будут у знакомого переселенческого фельдшера, отец ушел вместе с Сережей, немного как будто обиженный.

Владимир Григорьевич обиделся на то, что Софья Михайловна не сделала предложения оставить Сережу у себя на все время ученья. А предложение это нужно было Владимиру Григорьевичу для того, чтобы резкой и, как он думал, унижающей достоинство Гиммеров фразой, приготовленной в течение дороги, отказаться от этого предложения. Но Софья Михайловна не сделала такого предложения, и фраза не была высказана, и Владимир Григорьевич ушел от Гиммеров еще более сердитым и обиженным и полным презрения к ним, чем всегда.

Он пробыл в городе двое суток, занятых беготней по делам Сережи, и только за час до отхода поезда забежал к Лене проститься. Он застал ее одну.

Он держал себя беспокойно, и с лица его не сходило знакомое Лене в его обращении с матерью выражение виноватости.

— Учишься хорошо? Учителя не обижают? — все время спрашивал он.

Прощаясь, он судорожно схватил Лену за голову своими костлявыми руками и несколько раз быстро прижал ее к груди, потом поцеловал куда-то в переносицу,— что-то клокнуло у него в горле, и он, дернув себя за бороду и мигая, нахлобучил шляпу и вышел, ни разу не оглянувшись на Лену.

Сережа поступил в гимназию. Он жил у переселенческого фельдшера на Эгершельде, за тридцать рублей в месяц на полном пансионе.

Изредка он навещал Лену; и еще более редко, почти украдкой, она заходила к нему: в семье Гиммеров неодобрительно относились к тому, что она посещает квартиру переселенческого фельдшера.

Приходя к Гиммерам, Сережа сильно дичился и всегда старался вытащить Лену на улицу. Обедать он оставался только в том случае, если была возможность пообедать вдвоем, и ел так много, точно на всю жизнь. О семье Гиммеров отзывался с холодным презрением — чужими, взрослыми словами.

У себя же дома и на улице Сережа был обыкновенным смешливым, озорным мальчишкой. Бездетные фельдшер с женой баловали его, как родного.

Несмотря на разницу в годах, Лена сдружилась с Сережей и скучала, когда он уезжал в деревню на рождественские и летние каникулы.

Сережа приносил с собой свежий ветер мальчишеских драк, походов на пристань, где он со своими сверстниками ловил крабов или воровал мандарины и кокосовые орехи. Лена убеждалась, что ворованные мандарины и орехи всегда вкуснее купленных. Он частенько ходил в синяках, с продранными локтями и коленками. Карманы его всегда были наполнены любопытнейшей дрянью, из-под рубашки свисала дутая резинка от рогатки: он без промаха попадал в электрические лампочки и охотился с рогаткой на птиц на кладбище или в рощах за Орлиным гнездом.

— Разве тебе не жалко птичек? — спрашивала Лена.

Сереже бывало, конечно, жалко птичек, но он никогда бы не сознался в этом Лене, и он отвечал словами, какими ему самому ответил его уличный сверстник, типографский ученик:

— А чего их жалеть? Людей не жалеют, а мы будем птичек жалеть.

Иногда ему удавалось увлечь Лену с собой на Орлиное гнездо.

С горы открывался вид на корпуса и трубы военного порта, на залив Петра Великого, на дымную бухту, заставленную судами, на зеленый лесистый Чуркин мыс. За мысом простиралось Японское бирюзовое море, видны были скалистые, поросшие лесом голубые острова.

По эту сторону бухты теснились расцвеченные солнцем дома; они, лепясь, лезли на гору; видна была извивающаяся, кишащая людьми лента главной улицы и вливающиеся в нее боковые пересеченные улочки. Влево и вправо по горам и падям в дымке от фанерных заводов и мельниц тянулись слободки — Рабочая, Нахальная, Матросская, Корейская, Голубиная падь, Куперовская падь, Эгершельд, Гнилой угол. У заднего подножия Орлиного гнезда начинались зеленые рощи, за рощами — длинные холерные бараки, за бараками — одинокое, тяжелое, темно-красного кирпича здание тюрьмы. Огромное небо покрывало все.

И, подпирая небо, как синие величавые мамонты, стояли вдали отроги Сихотэ-Алиньского хребта.

Орлиное гнездо во время русско-японской войны было изрыто окопами и блиндажами; теперь они превратились в пещеры. Страшно было лазить по ним. Вылезши на божий свет, Лена и Сережа гонялись друг за другом, барахтались, визжа, как щенки, кубарем катились с горы, пугая голубей, пока не опустошались вконец.

Иногда Сережа брал с собой Лену на пристань. Это было опасное предприятие: няньки пугали детей хулиганами с пристани; хождение на пристань каралось училищным начальством.

На пристани пахло рыбой, мазутом, апельсинами, водорослями, опием. Бухта была забита торговыми, военными, парусными, паровыми судами. Меж ними сновали шлюпки, китайские шампуньки, шаланды. Суда приходили со всех стран света, украшенные пестрыми разноцветными флагами.

Сережа и Лена бродили меж цинковых пакгаузов, тюков и ящиков с товарами, портовых кабаков и парикмахерских, оглушаемые грохотом лебедок, ревом сирен, пьяными песнями, руганью матросов и грузчиков, сновавших с тяжелыми кладями по подгибающимся сходням,— разноязыким говором — китайцев, японцев, американцев, французов, корейцев, малайцев, индусов, кишевших на пристани в своих разноплеменных одеждах — синих робах, матросках, круглых, похожих на поварские, белых и синих шапочках, китайских ватных шароварах, корейских халатах, японских кимоно, индусских и малайских белых, желтых чалмах.

Лена испуганно жалась к Сереже, с любопытством маленького зверька оглядываясь вокруг, а Сережа, блестя глазами, возбужденно объяснял Лене все, что попадалось им, и тащил ее все дальше и дальше.

Иногда мальчишки в рваной одежде приставали к Сереже:

— Эй, гимназист!.. Иди, я тебе краску достану!..

— Ладно, ладно! — неожиданно солидным и басистым голосом отвечал Сережа.— Иди, *фрайера коли,* не на таковского напал!..

Лена с удивлением смотрела на него.

Если парнишка сильно приставал, глаза Сережи разгорались, одна бровь воинственно приподымалась, он на-

чинал засучивать рукава и тоже обещал пустить краску, своротить скулы, выдернуть руки и ноги, а сам убыстрял шаг, оттирая Лену куда-либо за тюки, чтобы скрыться.

— И как это ты не боишься? — с лукавым огоньком в глазах спрашивала Лена.

— А чего их бояться? — отвечал он, не глядя.

Но ее трудно было обмануть.

— Нет, ты хвастаешь, я ведь знаю, что ты хвастаешь... Но это правильно: я тоже, когда боюсь, никогда не показываю...

Если встречные парни отпускали циничные замечания по адресу Лены, Сережа насупливался и, стыдясь за Лену, делал вид, что ничего не слышал, но Лена запоминала циничные слова и потом допытывалась, что они значат.

После таких похождений Лена возвращалась домой в грязной обуви и изодранном платье. Она заходила с черного хода и переодевалась в комнате женской прислуги: прислуга во всем потворствовала ей.

За эти развлечения Лена платила Сереже смешными или страшными историями или даже разыгрывала перед ним целые представления. У нее было особенное чутье на все смешное, противное, уродливое и жалкое.

Она показывала, как ходят молодые люди «с намеком на зарождающуюся близость» и как ходят «обжившиеся» мужья и жены; изображала хромоту «вызывающую» и хромоту «убогую»; играла в женщину-вампира, в даму, принимающую гостей на даче, в бедную девочку, которую не приняли играть богатые дети, в девочку, которая думает, что ее все любят, а ее никто не любит.

Сережа с удивлением и восхищением смотрел на нее, но иногда ему вдруг становилось нехорошо, и он умолял перестать, а один раз он, сам не зная почему, разревелся и потом несколько недель не заходил к Лене.

XX

Годам к тринадцати-четырнадцати Лена уже хорошо знала тот мир, в котором жила, знала цену всему, что она может получить в нем, и не ждала от него ничего необыкновенного.

И только в одной области человеческих отношений она ждала еще для себя много приятного и неизведанного — в области отношений между мужчиной и женщиной.

Все воспитание девочек в семье Гиммеров внушало им мысль о том, что самое важное в жизни, особенно для женщины,— это семья. Но, прислушиваясь к разговорам взрослых, Лена убеждалась, что о семье говорят всегда неохотно, как о чем-то необходимом, но скучном, а о любви говорят охотно и часто и с особенным выражением.

Наблюдая за молодыми людьми, вертевшимися в кружке Таточки, Лена замечала, что их манера оригинально одеваться, декламирование стихов о «прекрасной даме» и о «неверном обете», вызывание духов в темной комнате порождают и облегчают отношения любви между ними. Нередко молодые люди кончали тем, что женились или выходили замуж, начинали одеваться, как все люди, и переставали «жаждать чуда» и посещать кружок.

На летние каникулы четырнадцатого года со средним сыном Гиммера Вениамином снова приехал его товарищ. Оба они только что были произведены в офицеры.

Лето этого года семья Гиммеров проводила на даче на берегу залива, верстах в двадцати от города. К Лизе и Адочке почти ежедневно приезжали молодые люди; у Таточки тоже постоянно гостило по нескольку человек из кружка. На даче царила атмосфера ночных гуляний, тайных объятий, слез и визга.

Молодого офицера, товарища Вениамина, звали Всеволод Ланговой.

Несмотря на то, что Ланговой был одинок и беден, Гиммеры поощряли дружбу Вениамина с ним, потому что Ланговой был хорошей, а главное, знаменитой в крае фамилии.

По семейным преданиям, древний российский предок Лангового — боцман адмиральского корабля графа Орлова-Чесменского — был за исключительные заслуги перед родиной пожалован Великой Екатериной во дворянство. С той поры каждый старший из Ланговых-сыновей шел в военно-морское училище или в гардемаринские классы, а младшие — в кадетские корпуса и юнкерские училища. Дед Всеволода Лангового был одним из сподвижников Невельского, открывшего морской путь

в устье Амура через Татарский пролив. Отец, капитан первого ранга, и старший брат, мичман, погибли в русско-японской войне, а мать, узнав о смерти мужа и сына, покончила с собой.

Всеволод Ланговой гордился тем, что его ближайшие предки были достойными продолжателями того великого дела колонизации края, которое начато было еще казацкими старшинами — Стодухиным, Дежневым, Василием Поярковым, Ерофеем Хабаровым. И Гиммеры гордились этим вместе с ним.

Лене нравились его длинные серые ресницы и то, что он лучше всех прыгал через забор и плавал, и то, что он читал мужественные стихи и был сдержан и независим среди людей, и то, что он сам отмечал ее среди других, хотя был много старше ее.

Когда он читал:

...Победа, слава, подвиг — бледные
Слова, затерянные ныне,
Звучат в душе, как громы медные,
Как голос господа в пустыне...—

Лена знала, что это он читает о себе... И слова:

...Но нет, я не герой трагический,
Я ироничнее и суше,
Я злюсь, как идол металлический
Среди фарфоровых игрушек...—

несомненно, очень подходили к нему.

Когда он, сидя перед ней в лодке, греб своими сильными загорелыми руками, Лене хотелось обхватить его шею и прижаться к нему. И когда он целовал ей глаза и щеки, она позволяла ему это, хотя и не отвечала ему тем же.

— Леночка, вы пошли бы за меня замуж? — спрашивал Ланговой.

— Да, я пошла бы, пожалуй,— спокойным, протяжным голосом говорила Лена.

— Тогда я буду ждать вас.

Он подарил Лене печатку с мечом и берцовыми костями. Лена так запрятала ее, что потом не могла найти.

Но в это лето произошло и еще более значительное событие.

Горничная Ульяша в течение нескольких дней злилась на всех и била посуду, а потом пришла пьяная

и плакала. Приехал старый Гиммер и долго кричал в саду на Дюдю, как на мальчишку, а у Дюди уже начали расти редкие котиные усы. В конце концов Дюдя уехал на некоторое время на дачу к знакомым, а горничная Ульяша была уволена.

И Лена, и Лиза, и Адочка догадывались о том, что произошло между Дюдей и Ульяшей, но Лена от пожилой судомойки первая узнала все, со всеми подробностями.

И в тех же прямых выражениях, в каких сама услышала это от судомойки, Лена рассказала всю историю девочкам, затаившим дыхание и переставшим стаскивать свои чулки и панталоны.

— Это не раз было между ними. И когда на берегу, помнишь, Лиза, он не захотел пойти с нами.

— Да, мама говорила, что она очень испорченная девушка,— сказала Лиза, которая была наиболее рассудительна.

— А как это делают? — спросила простоватая Адочка. И, вдруг юркнув под одеяло, зафыркала в подушку.

Лена вспомнила, что, когда она спросила об этом, судомойка отвернулась в улыбке:

— Вам, Леночка, еще нельзя про это... Да уж какая там ни на есть сласть, а выходит одна мука.

Но Лена не сказала об этом девочкам.

XXI

В эти дни в саду имени капитана Невельского предполагался большой аукцион с лотереей в пользу Благотворительного общества.

Лиза, Адочка и Лена, которые должны были участвовать в аукционе в качестве продавщиц,— приодевшись в специально сшитые к этому дню шелковые платья, стилизованные под платья продавщиц, подвившись и напудрившись, оживленные от предстоящей праздничной суеты и встреч на аукционе, в котором предполагалось участие всех богатых семей города, прибыли с утренним дачным поездом в город. Смеясь и болтая, они взбежали по лестнице гиммеровского дома, и Адочка позвонила. Но они тотчас же смолкли: дверь открыл совершенно незнакомый человек с широкоскулым землистым ли-

цом, с проваленной верхней губой и с жилистыми руками, и из распахнутой двери вырвался шум страстно спорящих грубых мужских голосов.

Человек, очевидно, открыл дверь совершенно машинально, просто потому, что стоял ближе всех: он даже не взглянул на тех, кому открыл дверь, а сразу же присоединился к спорящим.

У двери в кабинет Гиммера, загораживая ее, стоял похожий на Достоевского старый лакей Гиммера, а на него, сильно жестикулируя и крича, наполняя переднюю чуждыми запахами, наступало трое мужчин в грубых одеждах. Никто из спорящих, даже лакей, не обратил внимания на вошедших барышень.

— Вчера весь день добивались — не мог принять,— говорил чахоточного вида паренек с большими темно-серыми глазами и редкими кольцами волос,— весь день в конторе протолкались. Что за растакое?

— Я же вам сказал, господа хорошие,— не велено принимать,— отвечал лакей.

— Как же можно так, братец ты мой, ведь мы из самой Ольги киселя хлебали,— укоризненно говорил паренек.

— Да что ты с ним цацкаешься, Кудрявый! — злобно шепелявя, кричал человек с проваленной верхней губой.— Мы все одно не уйдем!.. Так и скажи барину: сядем здесь и не уйдем!..

— Обожди, Кирпичев, ты не кричи, надо ладком,— успокаивал его третий.— Ты разберись, ваше степенство: уйти мы не можем,— ну, что мы товарищам скажем? — обратился он к лакею.— Тебе, товарищ дорогой, русским языком объяснено, что посланные мы, не можем мы уйти без ответу...

— Не велено принимать,— отвечал лакей.

Девушки, напуганные, с вытянувшимися лицами, прошли в столовую и захлопнули за собой дверь.

— Что это? — с побледневшим лицом спросила Адочка.— Где папа?.. Я боюсь,— вдруг сказала она, скривив лицо, готовая заплакать, и опустилась на стул.

Лена и Лиза, не отвечая ей, стояли, приложив ухо к дверям.

Из передней доносился шум спора. отдельные фразы.

— Люди без куска хлеба сидят... Сам за кусок хлеба работаешь, где у тебя совесть?

И в разноголосый гомон все время вплетался строго-просительный старческий голос лакея:

— Уходите, господа хорошие, честью прошу, не велено принимать...

Голоса все возрастали, потом все покрыл сиплый, злобный голос шепелявого:

— А ну его к черту, барского холуя! Садись, ребята, будем здесь дожидаться.

Этот голос прозвучал уже на какой-то самой высокой точке напряжения. На короткое мгновение водворилась тишина. Потом послышался звук резко распахнутой двери, и вдруг на весь дом загремел голос старого Гиммера:

— Вон!..

— Папа! — вскрикнула Лиза и распахнула дверь.

Трое незнакомых людей стояли, отпрянув к выходным дверям, словно ощетинившись. Лакей с раскрытым ртом держал руки так, точно хотел поддержать какой-то падающий предмет. А на том месте, где раньше стоял лакей, стоял сам старый Гиммер в одной жилетке, чуть присев на своих медвежьих ногах, с багровым лицом и лысиной, указывая рукой на дверь.

Лена почувствовала, как сердце у нее на мгновение перестало биться. Она не понимала слов, которые кричал Гиммер, только слышала рев его голоса и видела, что Гиммер ужасен.

— В полицию!.. Проучу!..— ревел Гиммер.

В это время раздался сильный стук во входную дверь — лакей бросился отворять: в переднюю ввалился дворник с бляхой, несколько городовых и околоточный надзиратель в белых перчатках.

Лиза, вскрикнув, захлопнула дверь в столовую. Адочка заплакала; но Лена, повинуясь сама не зная чему, вновь распахнула дверь и с окаменевшим лицом остановилась на пороге.

Она видела, как дворник и городовые крутили руки незнакомым людям, вырывавшимся и что-то злобно кричавшим, видела, как околоточный рукой в белой перчатке ударил паренька с редкими кольцами волос по его большим серым глазам, слышала продолжающийся рев старого Гиммера и тяжелое дыхание борющихся людей.

Незнакомые люди были вытолкнуты на лестницу городовыми и дворником; ушел и околоточный, почтитель-

но козырнув старому Гиммеру. Гиммер, постояв немного, повернул к Лене свое все еще багровое лицо и, не узнав ее, прошел к себе, хлопая всеми дверьми.

В передней остались только Лена и старый лакей Гиммера.

— Ведь говоришь людям человечьим языком,— словно извиняясь в чем-то, сказал лакей,— просил же их: уходите, господа хорошие, а оно — вон оно...

Он махнул рукой и, склонив голову, вышел вслед за Гиммером.

XXII

С объявлением войны Вениамин, средний сын Гиммеров, уехал на фронт. Уехал на фронт и Всеволод Ланговой. Вскоре и Дюдя, который сидел по два года в каждом классе и все не мог кончить училище, поступил добровольно в школу прапорщиков и тоже уехал на фронт.

На фронт должен был попасть и Таточка, но стараниями и деньгами отца он был пристроен в каком-то военном учреждении, тут же, в городе; в этом учреждении Таточка ничего не делал, а только носил военную форму.

Многие молодые люди из других богатых семей города также либо ушли на фронт, либо пристроились в тыловых учреждениях.

К обычным разговорам на званых обедах и ужинах присоединились теперь разговоры об успехах русских армий, о немецких зверствах, о здоровье сыновей, о ранениях и наградах. Изредка читались письма с фронта.

По письмам было известно, что Вениамин, служивший в каком-то штабе, повышается в чинах, а Всеволод Ланговой, командовавший в том же корпусе пехотной частью, ранен, награжден крестом и тоже произведен в следующий чин. Оба отказались использовать предоставленный им отпуск, и в городе о них говорили как о героях.

В пятнадцатом году приехал в отпуск Дюдя, который не был ранен, не был ничем награжден и никуда не произведен, но которого в городе тоже чествовали как героя. Почти все время своего пребывания в отпуску Дюдя был мертвецки пьян, истратил много отцовских де-

нег, и через месяц после его отъезда была уволена другая горничная, нанятая вместо Ульяши.

Война плохо отразилась на делах Гиммера. Не хватало забойщиков, зарубщиков, бурильщиков, механиков, и цифры пудов и рублей складывались все более неблагоприятно для *дела*.

В конце концов лакей, похожий на Достоевского, уложил в чемодан Гиммера необыкновенно блестящий черный фрак и черные ботинки с острыми носами, и Гиммер выехал в Петроград. Предприятия Гиммера были признаны в Петрограде работающими на оборону, и по возвращении Гиммера его добродушное лицо украсило собой все газеты города.

Война породила соблазн более легкой наживы. Гиммер крепился дольше всех, но однажды, крякнув и обтерев лысину,— как спущенный с цепи медведь, ринулся черт знает в какие операции, давя всех своими медвежьими ступнями.

В кабинет Гиммера, в контору и на квартиру зашмыгали бойкие толстенькие люди с портфелями, в коротких клетчатых брючках, со стремительной речью,— раньше их не пускали и на порог.

На званых обедах и ужинах Гиммера появились китайские купцы в шелковых халатах, похожие на сутаны ксендзов. Посещения их доставляли невероятные мучения Софье Михайловне. Это были чистые, вежливые, упитанные люди, но Софья Михайловна не переносила китайцев, и после их ухода комнаты тщательно проветривались и опрыскивались из пульверизаторов.

Новые дела требовали новой траты сил. Кроме того, к числу обществ и комитетов, в которых состоял Гиммер, прибавились общества и комитеты, связанные с войной. Гиммер обрюзг от недосыпания; он даже доходил до того, что выходил к столу небритым. Но в глазах его всегда стояло чертовское пронзительное сияние, и он чаще, чем обычно, шутил и давился рыбьей костью на разные лады.

К шестнадцати годам Лена была уже стройной, с большой темно-русой косой и большими темно-серыми глазами, красивой и знающей, что она красива, девушкой. Печать детскости, которую придавали ей тонкие руки, удивленно приподнятые брови, неожиданные зверушечьи жесты или взгляды, только прибавляла ей преле-

сти. Она уже привыкла к тому, что в театре и на улице мужчины смотрят на нее, оценивают каждое ее движение, линии ног и тела. И, робея от этих взглядов и принимая от робости все более неприступный вид, она в то же время не могла уже обходиться без таких взглядов и сама ждала и вызывала их.

В сущности, она была уже вполне сформировавшейся взрослой девушкой. За два года она сделала такой скачок, что ей самой странно было, как это она еще два года назад была такая маленькая и ничего не знала. Правда, она и теперь плохо помнила таблицу умножения. Но зато она знала, например, о том, что сын купца Шура Солодовников, которого прочили Лизе в женихи, крал у отца деньги и играл на бегах и однажды был уличен в подделке векселя, и, чтобы замять это дело, старику Солодовникову пришлось изрядно потратиться; что Тереза Вацлавна Пачульская, о прошлом которой намекала както Эдита Адольфовна, была шантанной певицей, а теперь тратила десятки тысяч на наряды, и била по лицу свою горничную, и имела, несмотря на свои сорок семь лет, несколько любовников, в том числе одного черного-пречерного студента Восточного института, деятельного участника кружка Таточки. Лена знала теперь, что частенько, после театра или литературного суда в женской гимназии над Норой Ибсена, Таточка с компанией едет в ресторан или в публичный дом и потому так поздно возвращается и поздно встает; что лучший друг Таточки, Борис Сычев, мечтавший о «прекрасной даме» и «жаждавший чуда», заразил нехорошей болезнью свою невесту, мечтавшую о «юноше бледном» и тоже «жаждавшую чуда»; что в семье ювелира Грибакина дети родятся от промышленника Герца, а в семье промышленника Герца — от ювелира Грибакина, и что весь город знает об этом, кроме самих детей; что богатство полуграмотного золотопромышленника Тимофея Ивановича Скутарева началось с того, что он убил сонными четырех своих товарищей — старателей,— и что ему за это ничего не было; что владелец конного завода Станислав Бамбулевич до смерти засек мальчишку-пастуха за порчу породистой лошади и что ему за это ничего не было; что рыбопромышленник Карл Паспарне и К⁰ так хорошо застраховал свои суда, что приложил все усилия к тому,

чтобы их потопить, в результате чего утонули шестьдесят четыре рыбака, и ему за это ничего не было; что на глухих рудниках акционерного общества «Серебро — свинец», значительная доля паев которого принадлежит вице-губернатору и епископу сахалинскому и камчатскому, работают под охраной полиции арестанты и каторжники; что купец Вайнштейн содержит в китайском квартале опиекурильню, которую любой может видеть на Пекинской улице, но всеми подразумевается, что опиекурильни не существует.

И Лена начинала смутно догадываться теперь, что все, о чем говорили за столом, в гостиной и кружках эти люди и люди, лепящиеся вокруг них и пресмыкающиеся перед ними,— о родине, о человечестве, о красоте, о любви, о милосердии, о доброте, о боге, о счастье,— все это они плохо знают и во все это плохо верят, а хорошо знают и верят они в то, что они должны вкусно и сладко есть, пить много хорошего вина, нарядно и тепло одеваться, наслаждаться красивыми и хорошо одетыми женщинами, не затрачивая никакого труда на то, чтобы все это у них было.

Лена стала взрослой и знала теперь, что книги пишутся вовсе не о любви, а для того, чтобы показать, как люди мучаются. И они мучались перед глазами Лены — от нищеты и тяжелого труда, от неудовлетворенной любви и от пресыщения в любви, от измены и вероломства друзей, от рождения детей и от смерти близких, от оскорбленного самолюбия, от ревности, от зависти, от разлада со средой, от подчинения среде, от краха карьеры, от имущественного разорения, от неверия в бога, от веры в бога, от столкновения убеждений, от физического безобразия, от старости, от скупости, от свища в мочевом пузыре и от сотен и тысяч других болезней. И по книгам выходило так, что никто в этом не виноват и что выхода из этого никакого нет.

Да, Лена стала совсем взрослой, и ей скучно стало жить. На нее все чаще находили припадки тоски; от звуков музыки ей хотелось плакать; опостылели вечера, встречи и разговоры с людьми. Она страдала от бессонницы. И когда ей давали порошки веронала, она сама не зная почему, складывала их в коробочку, чтобы их скопилось побольше.

XXIII

В канун пасхи в женской гимназии была назначена торжественная литургия. Ученицы младших классов по нескольку раз в день заглядывали в рекреационный зал, где те самые столяры, плотники и декораторы, которые обычно сооружали сцену и украшали зал под спектакли и вечера, возводили теперь алтарь и развешивали иконы к предстоящему богослужению.

В то время как в семье Гиммеров шли спешные приготовления к участию в торжественной литургии, примеривались новые платья, и Адочка, перепробовавшая уже несколько пар чулок, капризничая, отталкивала горничную голой ногой в грудь и заставляла примерять все новую и новую пару,— на половине прислуги тоже шли приготовления к заутрене и к свячению пасох и куличей в кладбищенской церкви, что в Куперовской пади. В эту церковь всегда ходила прислуга Гиммеров, потому что это была церковь для простого народа и там сестра горничной Даши пела в хоре.

Лена, находившаяся в одном из своих обычных теперь состояний беспокойства и раздражения, тоже было начала примерять новое платье, но вдруг расстроилась, сказалась больной и осталась мрачно лежать на кровати, когда вся женская половина семьи Гиммеров отбыла в гимназию.

Когда смолк шум голосов в передней, Лена в лихорадочном возбуждении надела одно из своих самых простых платьев, шубку и неожиданно появилась на половине прислуги в тот самый момент, как горничные, судомойки, истопник, повар и подповар и их жены, одетые во все лучшее, что у них было, с завязанными в платки куличами и пасхами в руках, готовились отправиться к заутрене.

— Вы разве не ушли, барышня? — удивленно спросила Даша.

— Нет, я с вами пойду,— сказала Лена, покраснев.

— С нами? Вот так Леночка!..— протянула пожилая судомойка.

— Мы с ней на хоры пойдем,— одобрительно сказал старик-повар.— Я буду басом петь, а она диска́нтом...

— А барыня заругаются,— все еще не соглашалась Даша.

— А она не узнает. А если узнает, скажу, что вы не брали, а я пошла,— настаивала Лена.

Шла самая скучная часть богослужения — чтение Деяний апостолов.

Толпы валили в церковь и выкатывались обратно; паперть, церковный двор и примыкавшая к нему опушка кладбища пестрели народом. От самых ворот до паперти двумя рядами сидели калеки и нищие, просившие милостыню на разные лады; за ними и вперемежку с ними белели женские платки, узелки с пасхами и куличами. Парни и девушки с вербами в руках гонялись в темноте друг за другом, прыгая через могилы, хватаясь за кресты и памятники; в гомоне выделялся веселый визг девчат; мелькали светлые платья, огни от папирос.

С темного огромного кладбища веяло мощным запахом оттаявшей земли, вербы и весенних почек. И надо всем этим оживлением раскинулось темное и теплое небо.

Лена, держась за повара, с трудом протискалась в притвор, в котором двигалось два потока входящих и выходящих людей. Поток входящих увлек с собой и прислугу Гиммеров, а повар, Даша и Лена по лестничке поднялись на хоры.

Запах множества скучившихся и потеющих людей, запахи ладана, тающего воска и коптящих фитилей здесь, на хорах, были особенно невыносимы.

Кто-то длинный, как жердь, в очках, блестя конусообразной лысиной, быстро и монотонно читал Деяния апостолов за столиком перед плащаницей, вынесенной на середину церкви; во влажном тумане мерцали оклады и ризы икон. В толпе, кишевшей внизу, молились только старики и старухи, большинство же или стояло молча, переступая с ноги на ногу, отирая потные лбы, или перешептывалось. Под самыми же хорами, ближе к выходу, происходило непрестанное круговращение людей, сталкивавшихся друг с другом, сердившихся друг на друга за толчки и наступание на ноги.

На хорах тоже не было никакого молитвенного настроения. Певчие переговаривались между собой или, подавшись в темную глубину хоров, курили папиросы. Тут же в темноте парни тискали девушек, слышно было заглушенное прысканье в ладони, и иногда до Лены доносились даже дурные слова. Лена испуганно жалась к

повару, который неодобрительно косился на всех поверх очков.

За столиком перед плащаницей беспрерывно менялись люди, читавшие Деяния апостолов. Лене стало скучно от их разнообразно-монотонных голосов и дурно от духоты и запахов; настроение радостного оживления и ожидания чего-то покинуло ее; она уже начинала жалеть, что пришла сюда, но не могла уйти — боялась одна возвращаться домой по глухой окраине.

Наконец чтение кончилось. Хор выдвинулся к перилам. Вышел похожий на черного лохматого пса священнослужитель и прогудел что-то, и хор начал петь. Но это был любительский хор, и у него не больно-то ладилось. Маленький, с испитым лицом и испуганными глазками регент в сердцах драл себя за волосишки и стучал камертоном.

— Тише, звери...— чуть не плача, шипел он на басов.

Старик-повар, только и пришедший сюда из-за пения, ворчал и отплевывался.

— Чего из полунощницы исделали!—говорил он, обращаясь за сочувствием к Лене.

Лена, от все возраставшей духоты едва не валившаяся с ног, шепнула Даше, чтобы та искала ее у церковных ворот, спустилась по лестнице и протискалась во двор. Тут ее снова обдало весенними запахами и говором людей. Вспомнив, что она захватила с собой в сумочке медяков, Лена пошла по ряду оделять нищих.

С тем особенным любопытством, которое было у нее ко всему болезненному и уродливому, она всматривалась в выставленные напоказ обнаженные язвы, культяпки, обрубки, вслушивалась в гнусавые, хриплые голоса.

«Вот они — убоги и нищи,— думала она,— и им уже ничего, ничего не нужно, кроме этих медяков!..»

Ей все время хотелось заговорить с кем-нибудь из них, но она не знала, с чего начать, и стеснялась людей, стоявших возле.

У самых ворот, прислонившись к каменной ограде, опершись на палку, склонив большую голову, с лицом, спрятавшимся, как в гнезде, в шапке седых волос и в седой бороде, стоял нищий в лаптях, с котомкой за плечами. Он стоял молча, не подымая головы. Людей возле него не было.

Лена дала ему серебряный гривенник.

— Спаси тебя господи на долгие лета,— тихо сказал старик и, не крестясь, спрятал гривенник за пазуху.

— Вы откуда, дедушка? — робко спросила Лена.

Он ответил не сразу, а точно подумав немного:

— Мы-то откуда?.. Мы-то в боге живем... А бог, он повсюду, он повезде...— И он взглянул на Лену глубоко спрятанными, маленькими блестящими глазками.

У Лены занялось дыхание.

— Давно вы так...— Лена не знала: «живете? ходите?» — ходите?..

Нищий снова подумал:

— А как себя помню, так и хожу...

Лена помолчала, не зная, о чем еще спросить.

— Где же вы ночевать...— «предполагаете? собираетесь?»...— будете? Здесь?..

— Не-ет, здесь не будем...— со вздохом сказал старик.— Здесь сторожа не допустют, а то, бывает, деньги отберут... Ночевать — за Семеновским базаром, там будем ночевать...

Лена слышала уже, что нищие живут где-то за Семеновским базаром.

— Там вас не обижают?

— За Семеновским-то?..— Нищий подумал, опершись на клюку.— Не-ет, там не обидют, кому ж там обидеть? Хоть я там и не был, да кому ж обидеть там-то?

— Ну да, там все...— «нищие? бедные?» —...бездомные... Они не станут обижать,— убежденно сказала Лена.

— Не станут? — переспросил старик.— Вот и я говорю... А здесь что ж, здесь, бывает, деньги отберут. Летось вот... Округ церкви пошли,— перебил он себя.

Из церкви повалила толпа, послышались звуки нарастающего пения, и на паперти в блестящих, отливающих при свете факелов облачениях показались попы и дьяконы, несшие в руках какие-то тяжелые и мерцающие предметы. Потом попов не стало видно из-за нахлынувшей на них людской черноты, а тяжелые и мерцающие предметы в волнах пения поплыли вокруг церкви. Через некоторое время они выплыли с другой стороны, снова видны стали на паперти попы в сверкающих облачениях, они еще попели и потолкались в притворе, и снова толпа повалила в церковь.

Некоторое время стояла удивительная тишина, или, может быть, так казалось. Нищий, опершись на палку, не возобновлял начатого рассказа, и Лена больше не спрашивала его. Она чувствовала себя как во сне и не могла определить, сколько времени длится ее сон.

Очнулась она тогда, когда раздался медный тяжелый удар, не в лад бренькнули тонкие колокола, снова наплыл еще более густой и тяжелый гул, залились, застонали, заакали медные, будто стеклянные горла, и звон, пахучий, теплый и торжественный, поплыл волнами над пестрой кишащей толпой, над кладбищем, над слободкой.

— Христос воскрес...— спокойно сказал нищий, замигав глазами, не крестясь.

— Воистину воскрес,— быстро прошептала Лена, удивленно и испуганно глядя на нищего.

Веселая, оживленная толпа гуще заполнила двор, но большинство еще оставалось в церкви: служба еще продолжалась.

— Христос воскресе, Леночка!..

Даша, выбившись из толпы, запыхавшись, поцеловала Лену в губы своими сочными, пахнущими молоком губами.

— Где он там, черт леший?..— оглядывалась она на повара.— Иди ты, ради Христа, без тебя посвятят!.. Не дай бог, барыня вернутся...

Когда Лена с горы оглянулась на церковь, исходящую колокольным звоном, в темноте по всем направлениям двигались, как светлячки, желтые, красные, синие огоньки. Людей, несших огоньки, не было видно, но Лене казалось, что она видит их желтые, красные, синие ладони.

Она была сильно возбуждена; какое-то смутное решение вызревало в ней.

XXIV

— Даша, у тебя не найдется какого-нибудь старенького-старенького платья, совсем уже заношенного?

— Зачем вам, барышня?

— Да тут у знакомых одних будет спектакль, и мне нужно нищенку играть.

— Найдется... Хороших-то нету, а старенькое можно найти.

— Только, понимаешь, совсем уж негодное, чтобы совсем как у нищей. И ботинки — рваные-рваные... Только ты никому не говори. А то Лизу и Аду не принимают играть — они узнают, обидятся...

Кончились весенние экзамены, и семья Гиммеров только что перебралась на дачу. Совпало так, что Сережа как раз должен был ехать домой на каникулы. Лена под предлогом его проводов поехала в город, предупредив, что останется ночевать на городской квартире: поезд на Сучан отходил вечером. Дашину старенькую одежду Лена захватила с собой в саквояжике.

Она проявила исключительную предусмотрительность. Выйти из дома нужно было утром как можно раньше, чтобы не встретить на улице знакомых. Через парадный ход нельзя: швейцар узнает ее. Выйти можно черным ходом и быстро проскользнуть через двор. Она узнала, что калитка отворяется в пять часов, когда приходят молочницы.

Лена не спала всю ночь — от волнения и боясь проспать. Задремала перед рассветом, но тотчас же проснулась. Начало пятого. Так тепло и уютно в постели, что Лена подумала, уж не бросить ли эту страшную затею, выспаться и свежей приехать на дачу. Но какая-то внутренняя повелительная сила заставила ее подняться.

Она повернула выключатель и долго перед зеркалом примеряла Дашину одежду. Юбка, и кофта, и ватная телогрейка, большая на нее, с торчащими грязными клоками ваты, были достаточно рваные, засаленные и вымазанные углем — совсем как у нищенки. Ботинки со свернутыми каблуками, полопавшимся верхом и висящими пуговицами тоже вполне подходили; неплох был и платок. Но чулки, хотя и простые, были стираные и совсем целые, а главное — весь этот костюм не только не скрадывал, а подчеркивал ее совершенно не нищенское, нежное лицо с темными бровями и ресницами, и так странно выглядывали из грязных рукавов телогрейки маленькие, продолговатые ладошки.

Лена зажгла спиртовку, на которой подогревались обычно завивальные щипцы, нашла в буфете пробку — вынула из бутылки с вином — и жженой пробкой стала разрисовывать себе лицо и руки. В этом было что-то на-

рочито театральное. Лену охватило злобное отчаяние. Некоторое время она сидела перед зеркалом, опустив руки, страшно размалеванная и противная сама себе. Но снова внутренняя повелительная сила заставила ее взять пробку.

Постепенно ею овладел азарт художника, и она так увлеклась, что когда спохватилась, было уже почти половина шестого. Тут обнаружилось, что она забыла на даче торбу. Лена постояла с минуту, раздумывая,— сердце ее сильно билось. Наконец она решилась.

Она повязала платок так, чтобы видно было как можно меньше лица; подумав мгновение, сунула за пазуху кошелек, на цыпочках прошла через кухню и повернула ключ, заскрипевший в дверях, казалось, на весь дом... С падающим сердцем она сбежала по железным ступенькам, двор промелькал под ее ногами,— она очутилась на главной улице, той улице, которую она видела чаще с коляски или с балкона.

Было уже совсем светло, но солнце еще не выглянуло из-за Чуркина мыса. Дворники подметали улицу, шли редкие пешеходы, доносились какие-то стуки, свистки и грохот цепей с пристани, где-то далеко гудел катер.

Лена пошла почти бегом и свернула в ближайший переулок.

Вначале ей казалось, что каждый встречный подозрительно смотрит на нее, но, приглядевшись, она поняла, что никому нет дела до нее, и это придало ей бодрости.

Когда она пересекла Суйфунскую улицу, взошло солнце, стало тепло, и Леной овладело чувство, похожее на чувство освобождения. На время она даже забыла о конечной цели своего путешествия. Она шла по тем же улицам, по которым ей приходилось и раньше ездить, а изредка и ходить пешком, но теперь она словно спустилась с верхних этажей на нижние.

Интересные, например, люди были ломовые извозчики. Громадные и белозубые, они тарахтели на своих телегах, ели лук с хлебом, заигрывали с идущими на рынок кухарками и дворничихами, подметающими тротуары. А когда попалась навстречу японка с тяжелым узлом белья, звонко стучавшая деревянными сандалиями, они такое отпустили на ее счет!.. Пожалуй, они побаивались только полицейских, и это сближало их с Леной.

За окнами подвальных помещений тоже жили и работали люди.

Сапожник в синих очках, сдвинутых на лоб, взмахивал молоточком, но стука не было слышно; женщина с серебряными волосами крутила швейную машинку; из выпущенной в оконце трубы вырывался пар и пахло китайской прачечной; булочник в грязном колпаке грязными руками месил грязное тесто; чумазый ребенок ползал по столу возле обкусанной ковриги черного хлеба; две девочки, похожие на белых мышек, клеили гильзы; босой мальчишка, с цыпками на ногах, выскочил из ворот и покатил по тротуару железный обруч, ловко направляя его палочкой.

Молочница, погромыхивая бидоном, наливала молоко в радужную эмалевую миску, которую держала руками, похожими на камбалы, стоящая в раскрытых дверях кухарка,— несколько розовых капель упало на ступеньки. Группа корейских женщин в веревочных туфлях перешла дорогу с мешками, полными сверкающих щепок.

Лена пересекла Пекинскую улицу, на которой была опиекурильня Вайнштейна.

Лена очутилась в китайском квартале. Здесь улочки были теснее. Квартал еще только просыпался. Пахло чесноком, копченой рыбой, древесным углем. Лавочники снимали щиты с окон. У ворот висели бумажные фонарики, похожие на разноцветные цилиндрические гармоники. За стенами кустарных мастерских бренчали жестянщики, медники. Китайские нищие спали, свернувшись у крылечек: их никто не трогал, и они никого не трогали.

На здании китайского театра свисали из-под узорных балконов два узких полотнища с жирными черными надписями: над входом колыхался бумажный отсыревший дракон с выпученными глазами.

Лену обогнало несколько гремящих эхом подвод с ломовиками-китайцами; из-под рогож торчали круглые мослы с красным и синим мясом.

Мир, окружавший Лену, был велик и разнообразен и до краев наполнен человеческой деятельностью.

Только когда показались ряды Семеновского базара, Лена вспомнила, куда идет, и почувствовала, точно кто-то схватил ее за низ живота и тянет, тянет.

XXV

Базар уже был открыт и начинал гудеть. Лена обошла его стороной. Минут десять она петляла по кривым и грязным улочкам. Каменные бани, как хмурый дворец, возвышались над окружающим убожеством. Лена свернула за каменную ограду и вдруг пошатнулась и застыла.

По некрутому, освещенному утренним солнцем косогорчику вдоль стены, тесно прижавшись друг к другу, переплетшись руками и ногами, соткнувшись лицами, выставив голые локти, ступни, коленки, костыли, в невыносимых рубищах лежало в ряд не менее тридцати — сорока существ: стариков, старух, ребятишек, женщин с грудными детьми. Все они спали, но Лена с ужасом видела, что многие из них спят с открытыми белыми глазами покойников; у некоторых были слезящиеся, гноящиеся щелки вместо глаз. Лена поняла, что все это — слепые. В теплом вонючем месиве вперемежку с людьми спали худые, изъеденные паршами псы.

Под косогорчиком внизу раскинулась небольшая площадь, повышавшаяся вправо к роще, пыльной и объеденной, кишащей каким-то отребьем, и понижавшейся влево,— там стоял скривившийся двухэтажный, с выбитыми стеклами, деревянный дом с наваленными возле него поломанными бочками, ящиками, путаницей из железного и деревянного лома; дальше выступали крыши и трубы полуразрушенных, залатанных строений. Сзади площадь ограничивал ряд серых одноэтажных домиков, окна их начинались от самой земли, с той стороны вливалась в площадь узкая косая улочка.

Сама площадь представляла собой как бы разрушенный подвальный низ стоявшего здесь ранее кирпичного здания: груды поломанного кирпича, остатки каменного фундамента, норы в земляных осыпях, хижины из досок и бочек. И необыкновенно густо и смрадно кишело в норах и возле них человеческое отребье.

С расширившимися зрачками, как зачарованная, Лена спустилась на площадь и вмешалась в людское месиво. Она не знала, куда идти, с кем заговорить, где примоститься. Медленно, как сомнамбула, она шла в потрясающем смраде, мимо ползающих по земле, как слепые щенки, полуголых ребятишек, дышащих тонкими ребрами, мимо ищущих вшей старух с вислыми, покрытыми

коростой грудями, мимо спящих великанов, безногих, выставивших свои костыли и культяпки.

Это был людской гнойник, сброс человечества.

Казалось, все эти гнойные глаза, деревянные обрубки, огрызки рук и ног разом устремятся на Лену и завопят: «Вот она, смотрите!.. Она не нищая, она переодетая, она *самозванка!..*»

Лена ощущала все это в ужасном целом, но не глядела ни на кого в особенности и не замечала, что люди равнодушно оглядывают ее.

Возле остатков каменного фундамента она опустилась прямо на землю, чтобы стать как можно меньше, и долго сидела, прислонившись спиной к камням, прижав коленки к груди, не решаясь поднять глаз. Тянущая боль внизу живота все не прекращалась, и Лене все время казалось, что кто-то смотрит на нее. Наконец она решилась поднять веки.

Перед сооруженьицем из ящичных досок сидели две пожилых женщины — одна босая, другая в опорках, обе без платков, с грязными растрепанными волосами. Та, что в опорках, вынимала что-то из торбы и раскладывала на земле на две кучи, другая молча следила за движениями ее руки. Неподалеку от них спал огненно-рыжий парень, разметав ноги, подложив руки под голову,— Лене было видно его опухшее, лишенное растительности лицо.

Из-за бочки выглядывали босые жилистые ступни. Возле кучи кирпичей сидел кто-то вполуоборот к Лене. На косогорчике, под каменной стеной, по-прежнему спали слепые, освещенные солнцем.

Когда Лена вновь опустила веки, она уже ясно знала, что кто-то смотрит на нее; сердце, совсем замершее, снова начало биться сильными, отдающими в горло толчками. Лена быстро подняла голову и совсем было поймала эти сверлящие ее глаза, маленькие, зеленоватые и пытливые, но опять она не могла узнать, кому они принадлежат. И вдруг она встретилась с ними на одно мгновение... Они принадлежали человеку, сидящему возле кирпичей вполуоборот к Лене. Ни в одежде, ни в лице человека не было ничего, что отличало бы его от других, но Лена вдруг с необычайной остротой почувствовала в этих глазах то же боязливое, скользкое выражение *ненастоящности,* самозванства, какое, она знала,

было и у нее в глазах, а главное — и его, и ее глаза в одно мгновение догадались об этом.

Только теперь Лена почувствовала подлинный, насквозь пронзивший ее страх. Ее пребывание здесь предстало в свете ее обычной, так называемой нормальной жизни.

По рассказам прислуги Лена знала, что в таких местах ходят переодетые сыщики. Что, если это сыщик?.. Если она сознается, что она племянница Гиммера, об этом узнает весь город... Она никому не в состоянии будет объяснить, что́ ее толкнуло сюда, она будет всеми отринута, ее исключат из гимназии... А если не сознается?.. Если не сознается, ее наградят желтым билетом и отправят в публичный дом,— да, ее, как сотни и тысячи других женщин, лишенных имени и крова, отправят в *публичный дом*, как *проститутку!..*

Она боялась пошевельнуться: только она попробует встать — человек подымется и схватит ее. А человек этот, необыкновенно широкий и костистый, но совершенно плоский, со светлыми усиками и маленькими зеленоватыми глазками, все более пристально и уже бесстрашно поглядывал на нее.

Усилием воли Лена заставила себя, не вставая, передвинуться на другую сторону камней. Она решила дождаться, пока человек уйдет. Но он не уходил. Не оглядываясь, она чувствовала, как его взгляд прожигает ей затылок.

Теперь прямо перед ней, выше уровня ее головы, виднелась роща. Из нор, из бочек, из щелей вылезали все новые и новые обитатели; одни бесцельно слонялись, другие, с палочками и торбами, деловито уходили куда-то — наверное, побираться. Несколько нор было в горе, под рощей,— одна покрупнее остальных, с деревянным навесом и входной дверью; дверь была открыта, зияла темная дыра. У входа сидела страшно высохшая старуха; лицо ее состояло из одних глаз, тоже похожих на черные дыры. Лена заметила, что к старухе иногда подходили заспанные мужчины и женщины, переговаривались и исчезали в дыре. Через некоторое время одни вылезали обратно, другие оставались там.

Проснулся огненно-рыжий парень с опухшими веками, громко зевнул, потянулся, потом увидел Лену; глаза его заслезились. Он сел, обхватил колени рука-

ми, положил на колени подбородок и стал глядеть на Лену. Появился другой — высокий, однорукий и одноглазый. в пепельных волосах. Одна штанина у него была разодрана от самого низа до пояса, выглядывала мускулистая нога в таких же пепельных волосах. Однорукий что-то спросил, рыжий указал глазами на Лену. Тогда однорукий развалился рядом с ним, и оба стали глядеть на нее.

Все это длилось невероятно долго — Лена уже не могла вспомнить, когда началось все это. Она совсем съежилась, ноги ее затекли.

Ее потряс громкий визг; от неожиданности она сама чуть не закричала. Женщины, делившие торбу, дрались, вцепившись друг другу в волосы. Они дрались неистово, осыпая друг друга площадной бранью, кусаясь, царапаясь и заголяясь. Парни подзуживали их. Тот, что с разорванной штаниной, лежа на спине, старался подпихнуть дерущихся ногой,— штанина осталась на земле, а грязная мускулистая нога в пепельных волосах болталась в воздухе.

Подошло несколько человек, они внимательно и серьезно стали глядеть на дерущихся; один украдкой хватал летящие во все стороны куски из торбы и пихал в карман. Старуха с черными, как дыры, глазами тоже снялась со своей норы и не спеша подошла смотреть драку.

Проходя, она изучающе посмотрела на Лену.

Женщины изодрались в кровь; та, что вынимала из торбы, забила другую. Побежденная успела похватать какие-то куски и, уходя, показала голый зад. Победительница, ругаясь и всхлипывая, ползала на коленях и собирала разбросанные куски в торбу.

Старуха с черными, как дыры, глазами опустилась на корточки против парней. Парни, склонив к ней головы, уговаривали ее в чем-то, изредка поглядывая на Лену. Старуха тоже один раз оглянулась на нее.

Потом они заспорили.

Через некоторое время старуха подошла к Лене и опустилась против нее на корточки. С минуту она смотрела на Лену своими большими черными глазами.

— Заморилась? Не спала? — хрипло спросила старуха.

Лена молчала.

— Ко мне пойдем... У меня есть где спать...

Лена молчала.

— Нюхнуть есть... Водка есть,— шепотом сказала старуха.

Вдруг Лена подумала, что, если она подымется и пойдет сейчас со старухой, плоский с зеленоватыми глазками навряд ли схватит ее: она сможет дойти до рощи, а потом убежать.

Она молча встала и пошла со старухой. Внутренний толчок заставил ее оглянуться: рыжий парень и однорукий с разодранной штаниной, враскачку и как будто облизываясь, идут следом, а плоский с зеленоватыми глазками поднялся на ноги и смотрит.

Возле черной дыры с навесом Лена остановилась.

— Пойдем, кисынька,— сказала старуха и вдруг цепко схватила ее за руку цыплячьими, холодными пальцами.

— Я не пойду,— едва слышно сказала Лена, пытаясь освободить руку.

— Пойдем, пойдем, кисынька,— свистящим шепотом повторяла старуха и тянула ее за собой.

Лена вырвала руку, но в это время парни уже подошли вплотную. Рыжий, заложив руки в карманы, остановился вполуоборот к Лене, оглядываясь на площадь, насвистывая, а однорукий с рваной штаниной надвинулся на Лену и грудью подтолкнул ее к дыре.

Не помня себя, Лена изо всех сил страшным, пронзительным голосом закричала на всю площадь. Парень, отшатнувшись, оглянулся,— головы людей на площади повернулись в их сторону. Лена успела заметить, что плоский, сунув руку в карман, идет сюда; но Лена, уже не чувствуя ни себя, ни окружающего, что было сил бежала по откосу к стене. Инстинктивно она побежала не в старом направлении, откуда пришла, а свернула вдоль стены в обратную сторону. Стена оборвалась, открылась какая-то улочка с другой стороны бань; Лена бросилась в улочку, потом в другую, потом опять свернула куда-то и вдруг очутилась возле базарных рядов, гудящих и кишащих народом.

Она заставила себя пойти шагом, оглянулась,— никто не гнался за ней. Вмешавшись в базарную толпу, она еще попетляла по рядам и вышла с другой стороны базара...

Извозчик на углу кормил лошадей из ведерка.

— На Светланскую, дом Гиммеров...— запыхавшись, сказала Лена.

— А кого везти?..

Извозчик недоверчиво смотрел на нее.

— Я сама поеду... Скорее, я вас прошу...

Она достала кошелек.

XXVI

Шторы в комнате опущены. Неизвестно, который час. Лена лежала, съежившись под одеялом, прижав к груди руки с подвернутыми ладошками и неподвижно глядя перед собой. Нищенская одежда валялась на коврике,— Лена даже не убрала ее.

Дверь ей открыла кухарка, оставшаяся в городе, чтобы готовить старому Гиммеру. Лена не помнила, что́ отвечала на расспросы. Потом кухарка пришла звать ее обедать, но Лена отказалась. Кухарка, постояв, ушла. Никто больше не приходил.

В висках у Лены стучало. Она еще ощущала на руке прикосновение цыплячьих пальцев старухи; потный запах однорукого присутствовал в комнате. Лицо человека с зеленоватыми глазками, ползающие дети, слепые, лотки и шум базара, опущенные шторы перед глазами, полутемное зеркало, лицо Сережи, плывущее в освещенном окне вагона, разорванные образы детства — пробегали перед ее сознанием. Мелькала мысль, что надо бы принять ванну, но не было сил подняться.

Какое-то ноющее чувство, все нарастая и ища выхода, физически мучило ее. Надо бы заплакать, но нет слез,— озноб... Лена дрожала все сильнее и сильнее, и вдруг страшная сила начала ломать и скручивать Лену. До крови кусая руки и плача беззвучными слезами, Лена извивалась на кровати, разметав одеяло. Абсолютная тишина стояла в доме, а Лена со все большей силой муки и отчаяния молча извивалась на постели, с искусанными до крови руками.

Вдруг она села и, опершись на руку, долго смотрела на полутемное зеркало остановившимся взглядом... Она соскочила на пол и быстро-быстро зашарила в ночном столике возле изголовья. Коробочка здесь...

Лена налила воды из графина и один за другим высыпала порошки в стакан. Некоторое время она постояла, раздумывая и дрожа,— порошки распускались в воде. Потом она выпила и снова легла под одеяло. Единственно, что беспокоило ее, это то, что она не знала, всякая ли смерть сопровождается болью. Но боли никакой не было, а только сильно клонило ко сну.

«Так это смерть?» — подумала она.

Когда Софья Михайловна и Лиза, обеспокоенные ее отсутствием, приехали в город, они застали Лену вытянувшейся на кровати; возле валялись нищенская одежда, бумажки из-под порошков и тетрадка, на которой нетвердым почерком было написано:

«Не бойтесь, это все равно как засыпать...»

Очнулась Лена уже на другой день. Открыв глаза, она увидела заплаканное лицо Софьи Михайловны. Знакомый доктор с бульдожьими сизыми щеками держал Лену за руку; у Лены было такое ощущение, точно она вышла из ничего, из пустоты; в ушах стоял звон.

По лицу Софьи Михайловны побежали слезы. Доктор улыбнулся и зашевелил губами.

«Он получит за это деньги...» — подумала Лена, опуская веки.

Через несколько дней ее увезли лечиться,— на год,— в Японию.

XXVII

Приезжал Сережа возбужденно размахивая газетной листовкой.

— Царя сверзили! — сказал он.— Очень интересно...

Пальцы и щека его были в типографской краске: листовку он получил первый в городе, прямо из-под машины — от своего товарища, типографского ученика.

Известие было встречено Гиммерами с осторожностью. А на другой день все члены семьи украсились красными бантами и лентами, и по разговорам получалось так, что Гиммеры всю жизнь только и мечтали об этом и даже где-то что-то говорили и делали.

Огромные толпы со знаменами и пением вывалили на улицы.

Каждый день возникали новые учреждения, общества, комитеты. Все Гиммеры, вплоть до Адочки, состояли в каких-нибудь комитетах. Старого Гиммера избрали товарищем председателя городской думы, и его теперь почти не видели дома. Таточка, по-прежнему решительно ничего не делавший, занял видный пост в Комитете общественной безопасности и ходил с красной повязкой на рукаве. Сережа почти перестал ходить к Гиммерам. С удивлением Лена узнавала от других, что он тоже состоит в каких-то комитетах, где-то выступает и командует чуть ли не половиной гимназии.

Новое почувствовалось и в прислуге. Она по-прежнему слушалась и побаивалась господ, но в кухне теперь только и говорили о царе, о войне, о земле. Кроме старого лакея, похожего на Достоевского, все украдкой бегали на митинги, манифестации. Неожиданно наиболее усердной в таких делах оказалась Даша. В разговоре она употребляла незнакомые иностранные слова, в манерах и голосе ее появилась солидность. Кончилось это тем, что она бросила мужа и ушла к мастеровому из военного порта,— мастеровой этот последнее время частенько заглядывал на кухню. Гиммеры уволили Дашу.

Лена не состояла ни в обществах, ни в комитетах, на собрания и манифестации глядела со стороны, и в глазах у нее все время стояло такое выражение, точно она на глухом полустанке провожает поезд с незнакомыми людьми.

Из Японии Лена вывезла увлечение японской живописью.

Ее пленили старые мастера, одни из которых как бы нарочно существовали для того, чтобы уводить людей от живой жизни, другие же — для того, чтобы подчеркнуть и выпятить жизненное уродство.

Лена часами могла смотреть на сказочных, с пышными хвостами павлинов Ямагисава Рикиё среди цветущих, величиной с павлинов, пеоний, на его крохотных отшельничков, повисших среди огромного и бесплотного, как небо, горного пейзажа, на выгравированных на дереве криворотых проституток школы Укийо-е, на извращенных демонов Хокусаи и уличных уродцев Ватанебе Квадзана или обращалась к глубокой древности и внушала себе, что ей нравится «Лунная ночь во дворце» Такайоси, где в рассеянном лунном свете, среди косых

линий тихо сидели, склонив головы и закрыв глаза, одутловатые люди во вздувшихся, словно наполненных воздухом, одеждах и слушали такого же одутловатого, во вздувшейся одежде человечка, игравшего на флейте.

Теперь, когда вокруг закипели людские толпы и страсти, Лена ясно видела, что ее занятия живописью — взбалмошный вздор. Недоконченные эскизы вместе с мольбертом и палитрой полетели за шкаф и лежали там, пока прислуга не вынесла их в чулан.

Осенью снова зашел Сережа, недавно вернувшийся из деревни. Он сильно вырос и похорошел, руки у него стали большие, как у матроса. Сережа был в смятении, мял и теребил все, что попадалось под руку.

— Я был только что на митинге большевиков,— рассказывал он.

Лена молчала.

— И ты знаешь, папа на крестьянском съезде в Никольске поддержал большевиков... Он голосовал, чтобы их список был выставлен в Учредительное собрание...

Лена уже слышала как-то за столом о *нетактичном* поведении ее отца на съезде по отношению к *коллегам-врачам*.

— Мы с ним много разговаривали, и я, правда, не могу сказать, что во всем разобрался, скорее даже еще больше запутался,— Сережа невесело улыбнулся,— но я думаю, наш папа действительно много боролся и страдал и ему можно верить... Прочти, что он написал мне вдогонку...

Сережа сунул Лене заношенное в кармане бисерное письмо отца.

Лена пробежала глазами по латинским поговоркам и французским междометиям, при помощи которых отец выдавал себя за веселого и беспечного философа, хотя в действительности им не был,— и вернула письмо.

— Ты согласна? Согласна?..— пытливо спрашивал Сережа.

— Да... пожалуй...— безответственно-протяжно сказала Лена.

— А на митинг меня затащил Гриша,— помнишь, я тебе рассказывал про него? Он в типографии работает,— повеселев, говорил Сережа,— отец у него тоже наборщик, в тюрьме сидел...

— Интересно было на митинге? —равнодушно спросила Лена: ей не хотелось, чтобы Сережа уходил.

— Очень... Там один Чуркин выступал. Замечательно!.. И еще один, Сурков,— он только с фронта вернулся...

— Сурков?..

Лена смутно вспомнила коротконогого, с бугристым лбом подростка в мастерской китайца-портного и повела плечами, словно от озноба, вспомнив, что отец этого подростка сгорел на какой-то раскаленной сковороде.

— Расскажи, какой он...

— Как — какой?

— Как выглядит, что говорил...

Сережа с увлечением стал рассказывать. Из рассказа его было ясно, что Сурков одет в солдатскую шинель, а говорил на митинге то самое, что говорят все большевики и что, возможно, было неправдой.

Интерес Лены к Суркову остыл.

XXVIII

В городе долго существовало две власти — городская дума и совет рабочих депутатов. В начале зимы на заседании городской думы появился очень юный черненький комиссар в пенсне и с ним волосатый грузчик в шинели с расстегнутым хлястиком, державший в руке ржавую берданку без затвора, и городская дума была распущена.

На другой день все газеты города вышли с жирными подзаголовками и восклицательными знаками. Дума сообщала, что она вынуждена подчиниться грубой вооруженной силе и очень протестует. Газета «Дальний Восток», издававшаяся на средства Гиммера и Солодовникова, глухо намекала, что черненький комиссар, разогнавший думу,— еврей.

Теперь в доме Гиммеров уже открыто поругивали отца Лены и называли его сумасшедшим за то, что он пошел работать в Сучанский совет.

— От него всего можно было ждать,— с грустью говорила Софья Михайловна.— Что делала бы бедная Аня, если бы дожила до таких времен!..

Фамилия Суркова склонялась во всех направлениях. Сурков был военным комиссаром крепости, одним из многочисленных теперь комиссаров, но именно ему не могли простить того, что это тот самый Сурков, который пользовался благодеяниями *общества*, который избил Дюдю, которому было это прощено и который платит теперь за все черной неблагодарностью.

Начались просто страшные вещи. Однажды ночью группа людей в шинелях и кожанках нагрянула в дом Гиммеров. Все были подняты на ноги. Полуодетые девушки дрожали в гостиной, пока перерывались их столики и кровати.

Старого Гиммера арестовали, но вскоре выпустили. Вернулся он, заросший щетиной, и долго мылся в ванне, урча и фыркая на весь дом.

К обеду у него собрались самые именитые люди города. Было съедено много хорошей еды и еще больше выпито хорошего вина. Гиммер призывал именитых людей города не давать новой власти «ни гроша, ни зерна», и старик Скутарев, золотопромышленник, первый раз бывший у Гиммеров, под общий восторженный рев и рукоплескания расцеловался со старым Гиммером.

В этот же вечер Гиммер вызвал главного управляющего мукомольными предприятиями и просидел с ним в кабинете до глубокой ночи. Старый Гиммер был так озлоблен против новой власти, что забыл сообщить именитым людям города о том, что, сидя под арестом, он договорился с новой властью о хлебных поставках. В конце концов *дело* было превыше всего.

К весне в город стали прибывать чешские эшелоны; говорили, что они сосредоточиваются для отправки на родину. По улицам, которые теперь совсем заполонила простая публика, маршировали дисциплинированные, хорошо подтянутые и подобранные чешские солдаты, похожие на старых русских солдат.

На рейде загремел якорными цепями японский крейсер. С балкона Гиммеров он походил на игрушечный: чистенький, аккуратный, он весело дымил всеми тремя своими трубами. Маленькие тяжелые японские солдаты в зеленых обмотках, совсем не похожие на тех бесплотных и созерцательных человечков, которые изображались на гравюрах и картинах, задефилировали по улицам.

Старый Гиммер, совсем было утративший способность давиться рыбьей костью, стал чуть ли не ежедневно давать балы на весь город. С невероятной помпой отпраздновали свадьбу Шуры Солодовникова и Лизы Гиммер. В ночь, когда праздновалась свадьба у Солодовниковых, приехали домой Вениамин, Дюдя и Всеволод Ланговой. Они были в штатском и вошли в квартиру с черного хода.

Лена встретилась с ними за завтраком. Молодые люди ели яйца всмятку, оживленно разговаривали и смеялись. Адочка кинулась целовать братьев.

Ланговой похудел и еще больше отвердел и возмужал. Когда вошла Лена, он вскинул свои длинные серые ресницы, и глаза его на мгновение восхищенно блеснули. Он встал и учтиво поцеловал Лене руку. Лена увидела его ровный пробор и волосы, серые, как у волка.

Во все время завтрака Лена ни разу не взглянула на Лангового, хотя чувствовала, что он смотрит на нее.

Через два дня Вениамин и Дюдя, не выходившие из дому, уехали неизвестно куда, а Ланговой остался у Гиммеров, и Лене и Аде было сообщено, что они должны всем говорить, что Ланговой — племянник Гиммера, томский студент, приехавший на каникулы.

XXIX

Ланговой часто исчезал, домой возвращался поздно.

Каждый день к нему заходили новые и новые молодые люди, иногда знакомые Лене гимназисты, но она никогда не замечала, чтобы кто-либо из тех, кто раз заходил, появлялся вновь.

Где бы Лена ни была, она все время чувствовала и помнила, что Ланговой живет в их доме: должно быть, она чувствовала его в себе. Но именно поэтому она избегала встречаться с ним с глазу на глаз, хотя видела, что он ищет этого и что все окружающие тоже ждут этого.

Они встретились через несколько дней в гостиной.

Они остановились друг против друга. Ланговой, в шедших к его стройной фигуре лаковых сапогах и в шелковой косоворотке, подпоясанной шнурком с кистями, был серьезен и грустен. Лена видела перед собой его

длинные ресницы. Между ними произошел следующий разговор:

— Лена, почему вы избегаете меня?

— Вы много берете на себя, если думаете, что я избегаю вас...

— Вы говорите неправду. Зачем?.. Вы забыли меня?.. Да, вы перестали писать мне, вы не выполнили своего обещания.

— Неужели вы можете говорить серьезно о таких вещах?

— Я могу говорить только серьезно о таких вещах. Я не забыл того, что̀ обещал вам, и ждал вас, несмотря ни на что... Лена, вы так похорошели!..

Они помолчали.

— Может быть, оттого, что вы нашли меня похорошевшей, вам кажется, что вы все время помнили меня?

— Не думаю... Я не умею лгать в таких вещах.

— А в каких вещах вы умеете лгать?

— Лена, я узнаю вас,— все те же вопросы. Правильнее было бы сказать, что я не умею лгать перед самим собой. Но, разумеется, многие вещи неличного свойства требуют лжи.

— Какие, например?

— Об этом я не имею права сказать вам, но скоро вы узнаете об этом сами.

— Вы хотите прогнать большевиков, да?

— Лена, вы очень догадливы...

— А вы очень верите, что то, что̀ вы делаете, правильно?

— Я никогда не делаю ничего, если не убежден в правильности того, что́ делаю.

— Никогда? Этого не может быть, таких людей нет. Люди всю жизнь делают много такого, правильность чего они не могут знать... Откуда вы можете знать, что их действительно нужно прогнать?

— Видите ли, Лена, если я буду говорить вам об обязанности перед моей и вашей родиной, вы скажете — это общие места, как уже говорили однажды. Но ведь я оставил свою кровь за это на полях Галиции!.. И я только потому не жалею, что не истек кровью до конца, что знаю — моя жизнь нужнее сейчас, чем когда бы то ни было. И еще потому, что я снова могу видеть вас и говорить с вами... Вы скажете — но чем вы може-

те проверить, что вы проливали свою кровь не зря? Я этого не могу проверить ничем, кроме как опытом, традициями поколений моих отцов, кроме как своими желаниями и стремлениями. А если ошибались отцы и если мои стремления ложны, то — пусть... В этом и состоит жизнь, иначе бы она прекратилась...

— Да, вы убеждены... Вы... такой, я это знаю...

— Но вы сочувствуете мне?

— Я никогда и ни за что не проливала своей крови... Но я думаю, что я сочувствую всякому, кто искренне убежден в том, что он делает... если цели его не низменны. Только я мало встречала таких людей...

— Значит, у меня есть еще шансы?

— А что вы, собственно, хотите? Вам хочется меня целовать? Или что?

— Лена, вы очень смешная...

— Вы можете меня целовать иногда. Вас это удовлетворит?

— Зачем вы говорите так? А вас это удовлетворит?

— Мне все равно...

— Вам не может быть все равно — таких людей нет...

— Что же вы тогда хотите?

— Я хочу, чтобы вы любили меня. За это я могу дать вам всего себя,— это не так мало, уверяю вас...

— Но ведь вы проливали кровь на полях Галиции — и у вас есть долг!

— Любовь к вам не противоречит моему долгу, потому что это и ваш долг.

— Но откуда вы знаете, что вы способны на такую любовь? В чем это состоит, что вы испытываете?

— Боже мой, с вами трудно говорить... Но я еще больше люблю вас за это... Разве можно все объяснить словами? Если вы не чувствуете этого, значит этого в вас нет, и это очень печально для меня...

— Нет, вы очень нравитесь мне, особенно когда я не вижу вас.

— Когда не видите меня?!

— Да... Очевидно, это потому, что я вижу тогда только то в вас, что нравится мне, и я испытываю тогда большое доверие к вам, и мне хочется сделать что-нибудь очень хорошее для вас... Да, это так...

— Лена, вы всегда точно тормозите свои чувства. Я думаю — вам от этого трудно жить.

— Это самозащита. Люди корыстны и злы, а я — слаба...

— Я не знаю, что бы я дал, чтобы вы поверили мне! Вам было бы легче со мной среди людей...

— Но ведь вам со мной было бы не легче, а тяжелее? Что же тогда движет вами?

— Нет, мне тоже стало бы легче, потому что я очень одинок, особенно сейчас... Как серый волк! Хотите, я завою?..

И Ланговой вдруг вскинул голову и, скосив на Лену смеющиеся глаза, завыл протяжным волчьим воем, раздувая тонкие ноздри и мерцая серыми ресницами. Лена почувствовала, что ей хочется прижаться к его по-волчьи вытянувшемуся стройному, сильному телу.

— Да, вы иногда похожи на волка... Вы помните у Толстого, когда собака дядюшки «Чистое дело марш!», когда его собака загнала волка и его связали и вставили палку в зубы и приторочили к седлу, люди очень горячились, а волк «дико и в то же время просто смотрел на людей...» Мне очень нравится это место...

— Будем надеяться, что меня не приторочат к седлу!..

— Да, я хотела бы, чтобы вы действительно могли быть совсем-совсем свободным волком... Но, к сожалению, я знаю, это невозможно...

— Лена, я поцелую вас!..

— Я поцелую вас.

Она обхватила его шею своими тонкими руками и крепко-крепко поцеловала его в губы.

XXX

Увязавшись за своим приятелем, типографским учеником, Сережа попал на ночное дежурство у исполкома советов. Всю ночь слушал он грохот сгружавшейся у вокзала чешской артиллерии. Утром, усталый и почерневший от бессонницы, он, торопясь в гимназию, обгонял цветные, окутанные желтой пылью колонны интервентных войск; грузный топот их шагов, крики мороженщиков, доносящиеся с бухты стенания сирен казались

ему фантастическим продолжением ночи, которая никогда не кончится. Однако, распахнув пахнущую казенной краской классную дверь, он убедился, что здесь все обстояло по-старому. Ожидался урок начертательной геометрии.

С удивлением Сережа наблюдал за тем, как его белобрысый и аккуратный сосед по парте, выпятив пухлые губы, прикалывал к доске лист белого бристоля. «Неужели я должен делать это?» — вяло думал Сережа. И он было взял кнопку, но его отвлекли внезапно появившиеся в окне зеленые марширующие ноги,— Сережа снова вспомнил отдаленный грохот сгружавшейся у вокзала чешской артиллерии и вспомнил тараканов на кухне исполкома, куда вместе со своим приятелем ходил ночью пить воду.

Но больше всего угнетал его протяжный, скрипучий голос преподавателя Редлиха. Сережа иногда, морщась, поглядывал на его сизую верхнюю губу. (Редлих неделю назад женился и, как говорили, по настоянию жены отращивал усы.) Редлих стоял перед гимназистом Еремеевым и, брезгливо, двумя пальцами, поворачивая его руки вверх ладонями, протяжно скрипел:

— Хе-е... Что, у вас дома мы-ла не-ет?..

Еремеев, большой, неопрятный парень с одутловатым лицом и вздыбленными волосами,— от него почему-то всегда пахло печным чугунком,— смущенно и жалко улыбался: он был самым безропотным учеником в классе.

Сережа вдруг вспомнил, что Еремеев — сын багажного весовщика и увлекается Ницше и что мыла у них дома действительно могло не быть. В то же мгновение Сережа встал и громко сказал на весь класс:

— Слушайте, господин Редлих, ведь это же издевательство!..

Все головы повернулись к Сереже.

— Как? — испугался Редлих.

— То есть еще раз повторить? — глупо спросил Сережа.

Редлих, вдруг весь побагровев, закричал:

— Как вы смеете?.. Распусти-ились, мерза-вцы!..

— Что?!

Бешеная кровь хлынула Сереже в голову, он сорвался с места и побежал к Редлиху. Сережа знал, что сей-

час ударит Редлиха, но Редлих выбежал из класса, хлопнув дверью так, что посыпалась штукатурка.

Все повставали, поднялся невообразимый шум. Тут же состоялось летучее собрание, на котором постановили требовать от Редлиха извинения, а в случае отказа объявить забастовку. Пока шло собрание, сын корейского купца Пашка Ким, лучший в классе карикатурист, мелом изобразил на доске манифестацию учащихся с плакатом: «Долой тиранию педагогов и варваров-родителей!»

Через полчаса Сережа во главе делегации стоял в кабинете директора. Грохот сгружавшейся ночью чешской артиллерии и здесь преследовал его. Сережа видел перед собой пористый нос директора, похожий на крупную клубничину, излагал директору требования учащихся, выслушивал его отказы и в то же время почти физически ощущал уютную теплоту своей постели и то, как он наконец уснет, накрывшись с головой одеялом. Одно мгновение он подумал: «А папа не осудит?» Но, вспомнив выпяченные пухлые губы соседа по парте и скрипучий голос Редлиха, решил, что «папа не осудит».

22 мая было назначено собрание учащихся старших классов всех учебных заведений. Сережа получил через совет рабочих депутатов зал общества «Спорт», сказав в забастовочном комитете, что договорился с правлением самого общества.

Кроме учащихся, на собрании присутствовали почти все преподаватели и родительский комитет. Неожиданно пришел комиссар по делам просвещения и стал поддерживать учеников против преподавателей,— это погубило все дело.

Комиссар был давно не брит, в пиджаке без галстука и в сапогах, говорил вместо «предмет» — «пре́дмет», букву «г» выговаривал по-украински, учащихся называл «товарищи гимназисты и гимназистки».

Постепенно выяснилось, что отец Сережи работает в Сучанском совете,— какой-то гимназист случайно видел, как Сережа с красногвардейцами шел на дежурство в совет, а представитель общества «Спорт» заявил, что помещение под собрание тоже заставил уступить совет.

Все собрание вместе с преподавателями и родительским комитетом повернулось против комиссара и Сережи,— с ними осталась группка не более шести-семи человек. Собрание почти единогласно проголосовало за пре-

кращение забастовки и исключение Сережи из гимназии. Сережа видел, что за его исключение голосовал и Еремеев.

— Что — сынки, что — папаши!..— раздувая ноздри, говорил комиссар, вместе с которым Сережа шел с собрания.— И — к лучшему: по крайности — ясность. Ишь как поделились! — говорил он как будто даже с восхищением.

Сережа, сунув руки в карманы, шагал рядом, полный бессильной злобы к товарищам, с которыми прожил и проучился около семи лет.

У здания совета они распрощались.

— А ты не унывай, товарищ молодой,— сказал комиссар, пожимая Сереже руку,— найдешь себе дружков покрепче, а это тебе будет вроде закалки.

— Их стрелять надо,— глухо сказал Сережа.

— Кой-кого следовало б и пострелять,— охотно согласился комиссар,— да всех не перестреляешь... Ты заходи к нам почаще. И тех ребяток, шесть человек, ты разыщи и тоже скажи, чтоб заходили. Ребятки, правда, не больно храбрые, да ведь можно сделать.

— А я их не запомнил,— растерянно сказал Сережа.

Комиссар некоторое время с удивлением смотрел на него:

— И зелен же ты!..— сказал он с веселой укоризной.

И, к величайшему удивлению Сережи, комиссар достал из кармана пиджака блокнот и заставил Сережу переписать всех из своего блокнота, в котором были не только имена и фамилии этих товарищей, но и кто где учится.

Наконец пришло письмо от отца:

«Мой юный друг! Известие твое не явилось для меня неожиданностью. Конечно, дело здесь совсем не в Еремееве. Созревший плод падает с дерева не потому, что подул ветер, но сильный ветер срывает с дерева и незрелые плоды. Ты знаешь, что я никогда не фетишировал так называемого образования. Самое главное для меня, чтобы человек был честен. Но если уж говорить совершенно искренне, то я все-таки не думал, что это случится так скоро, и немножко взгрустнул: вот ты уже и большой, а я старый...»

Дальше отец подробно, как равному, писал ему о своей работе в Сучанском совете, чем очень польстил

Сереже. Письмо кончалось просьбой приехать повидаться, так как «время теперь тревожное, и неизвестно, в какие стороны развеет нас судьба», и постскриптумом, на самом краешке почтового листа,— чтобы Сережа купил полфунта «барского» табаку, которого здесь, на Сучане, «нельзя достать ни за какие деньги».

Наутро Сережа сложил вещи и пошел к Гиммерам прощаться с сестрой.

Лена только что собралась с Ланговым на утренний концерт знаменитого виолончелиста, остановившегося в городе проездом в Японию.

— Я уезжаю в деревню,— сказал Сережа,— вот письмо от папы...

Лена почувствовала, как все в ней упало.

— Вот как... Значит, ты уезжаешь?..

Надо было сказать что-то очень важное, но Ланговой в белом костюме стоял возле, и Лена стеснялась его.

— Папе передать что-нибудь от тебя?

Сережа был в залатанных штатских брюках и френчике; в больших руках он мял гимназическую фуражку, уже без герба. И в том, как он стоял, смущенный и вспотевший, среди золоченых кресел и бархата, было что-то невыносимо жалкое.

— Да, как же... передай привет... поцелуй папу...

— Ну, до свидания...

Комок подкатил к горлу Лены, и она кинулась вслед за Сережей.

Когда она с Ланговым шла на концерт, у нее было такое ощущение, точно она лишилась самого дорогого на свете, и к Ланговому она испытывала неосознанную враждебность.

Неуловимая тревога была разлита по улицам. Прошла рота чешских солдат, потом взвод красногвардейцев, пестро одетых,— они шли вразброд, неся ружья как попало.

— Тоже — армия...— сквозь зубы процедил Ланговой.— Вы знаете, вчера прибыл американский крейсер, вон он стоит...

Он указал в сторону Русского острова... На рейде застыло несколько японских военных судов, а немного подальше, выделяясь на синем фоне острова, стоял американский крейсер, пылающий на солнце, как храм.

Музыка размягчила Лену, и враждебное чувство ее к Ланговому прошло.

После концерта они долго молча бродили по саду. Ланговой держал Лену под руку, и Лена прижималась к нему с чувством доверия и утраты.

Домой они вернулись с сумерками. Дома никого не было. Лена прошла в комнату Лангового и осталась там. Ланговой закрыл дверь на ключ.

От Лангового Лена узнала, что весь район Гродекова, возле маньчжурской границы, занят войсками казачьего есаула Калмыкова, что Вениамин и Дюдя находятся уже там, а Ланговой работает по связи есаула с городом — переправляет туда пополнение и формирует дружины. К этому Лена отнеслась как к чему-то второстепенному.

XXXI

— Леночка, нам нужно расстаться на несколько дней...

Ланговой, весь подобранный и посерьезневший, крепко сжал руки Лены и потряс их.

— Вениамин и Евгений уже в городе,— шепотом сказал он, склонившись к Лене,— скоро это начнется... Миссия моя кончена, и я должен выполнять свой долг в рядах... Скажите мне что-нибудь...

Лена несколько мгновений смотрела на него потемневшими глазами.

— Вы останетесь живой, правда?

Несмотря на то, что произошло между ними, они попрежнему были на «вы».

— Вот еще что... Вы хорошо продумали?..

Лена запнулась, но Ланговой понял ее.

— Я это продумал раньше,— с улыбкой сказал он,— сейчас уже поздно думать.

— Прощайте, Ланговой, желаю вам...

Ланговой обнял Лену, у нее занялось дыхание.

Она не пошла провожать его и долго еще слышала его удаляющиеся шаги по комнатам.

В ночь под 29 июня Лена проснулась от странных лопающихся звуков. Ада в полосе лунного света, пробивавшегося из-за шторы, с испуганным лицом сидела на кровати, опершись на руки.

— Слышишь?.. Что это?..— спросила она.

Частые лопающиеся звуки и еще похожие на то, как будто раздирают коленкор, доносились с пристани за садом. Такие же, более отдаленные звуки слышались где-то возле военного порта и дальше — в Гнилом углу, и в противоположной стороне — возможно, возле вокзала.

«Ланговой...» — подумала Лена.

Вдруг что-то оглушительно ударило в стекла, качнулись шторы, стекла зазвенели, и с потолка посыпалась штукатурка.

Ада, взвизгнув, в одной рубашке выбежала из комнаты.

Лена, вздрагивая от лопающихся звуков, повернула выключатель, надела ночной халатик и туфли на босу ногу, поправила волосы у зеркала и тоже вышла из спальни.

В одной из комнат, не обращенных к улице, сидел Таточка в мохнатом халате, застегнутом не на те пуговицы, в одной туфле. Он весь ушел в кресло своим полным телом. После каждого удара, потрясавшего дом, глаза Таточки вращались как оловянные. Лена только теперь обратила внимание на то, что Таточка начисто облысел.

Ада, в ночной рубашке, с босыми ногами, дрожала на диванчике.

Прислуга с тазиками и пузырьками бегала в спальню Софьи Михайловны и обратно; в комнатах пахло валерьянкой. Горничная принесла Аде капот Софьи Михайловны и туфли.

Изредка, грузно ступая, заходил старый Гиммер с небритым, обрюзгшим лицом, в надетом прямо на нижнюю сорочку пиджаке с поднятым воротником. Он проходил в спальню к жене, оттуда доносился его брюзжащий голос; потом снова проходил в свой кабинет: в кабинете надрывались телефонные звонки.

Лена молча, с широко открытыми глазами, или сидела на кресле в полутемном углу, или бродила по комнатам.

На пристани, за садом, раздавались теперь только одинокие выстрелы, но в Гнилом углу и возле вокзала стрельба ожесточилась.

Ближе к рассвету прекратились тяжелые, потрясавшие дом удары; смолкло в Гнилом углу, а возле вокза-

ла стрельба участилась и усилилась, точно там собрались люди со всего города и дерут коленкор.

Таточка похрапывал в кресле; Ада спала, свернувшись на диванчике,— кто-то подложил ей под голову подушку и накрыл одеялом.

Лена вернулась в спальню; не снимая халата, легла под одеяло и долго лежала на спине, глядя в потолок, прислушиваясь ко все более ожесточавшейся стрельбе у вокзала. Лена слышала удаляющиеся шаги Лангового по комнатам,— у нее ныло под ложечкой. Незаметно она уснула.

Когда она проснулась, из-за штор пробивался дневной свет; у вокзала все еще ожесточенно драли коленкор. Рыжая Ада, выставив из-под одеяла горбатый нос, спала на своей кровати. Дверь в спальню была открыта, и из дальних комнат доносился оживленный голос Вениамина; старый Гиммер давился рыбьей костью.

Лена начала одеваться, но голоса направились сюда, и Лена снова юркнула под одеяло. Вошли Софья Михайловна, Вениамин и старый Гиммер.

— Напугались, бедные девочки?

Вениамин весело поглядывал то на Лену, то на проснувшуюся и ничего не понимавшую Аду.

— Света, света побольше!..

Вениамин быстро поднимал шторы. Лена увидела, что он в офицерской форме с погонами и аксельбантами, такой же чистенький и аккуратный, как всегда, только возле глаз — темные круги и в лице — воспаленность.

— Ого, до чего бесстрашный народ! — говорил он, глядя в окно.— Смотрите, сколько раскрепощенных граждан на улице!.. Они братаются с чешскими патрулями...

— Где Ланговой? — спросила Лена.

— Вот и попалась!..

Софья Михайловна, севшая на кровать к Аде и перебиравшая маленькой ручкой ее рыжие волосы, прищурившись, посмотрела на Лену.

Старый Гиммер тоже посмотрел на Лену с хитрой улыбкой.

— Жив твой мужественный Ланговой! — патетически воскликнул Вениамин.— Он осаждает штаб крепости... Там заперся *та-ва-рищ* Сурков со своим воинством, но у них, надо думать, скоро кончатся патроны, и твой

мужественный Ланговой украсится лаврами и миртами!.. Так-то, красавица моя!..

Вениамин выделал пируэт по комнате,— куда девалась его обычная сдержанность!..

— Чертовски приятно сознавать, что кончилась вся эта белиберда и можно заняться настоящим делом,— сказал старый Гиммер.

— Но ты правду говоришь, Веня, что Дюде не угрожает никакая опасность? — спрашивала Софья Михайловна, выражая глазами и губами, что она сознает свою слабость, но слабость в ее положении извинительна.

— Я же тебе говорю, что он в закрытом помещении командует хорошенькими телефонистками и уже пьян...

— Все-таки уйдемте отсюда, ужасно неприятно, когда стреляют,— поеживаясь, сказала Софья Михайловна.— Да уйдите же, мужчины! Дайте девочкам одеться...

Вся семья завтракала, когда в передней послышались басистые, срывающиеся на визг рулады Дюдиного голоса.

— Штаб крепости пал!..— закричал он во все горло, вбегая в столовую в сбившейся на затылок офицерской фуражке с кокардой.— Сурков захвачен в плен, с ним еще двести краснозадых... пардон, Леночка и Адочка!.. Сейчас их поведут,— все на балкон, если не хотите пропустить!..

Все бросили еду и бегом — даже старый Гиммер побежал — выкатились в гостиную. Дюдя распахнул дверь, сорвав замазку,— двери на балкон в этом сезоне еще не открывались.

Лена вышла на балкон вместе со всеми.

XXXII

На всем видном с балкона протяжении главной улицы стояли вдоль тротуаров две извивающиеся шпалеры чешских солдат с ружьями к ноге. Главная улица и вливающаяся в нее прямо перед домом Гиммеров улочка с пристани были щедро залиты солнцем и совершенно пустынны, только на тротуарах и за решетками сада Невельского, с шевелившейся листвой, толкалась чисто одетая публика.

После утренней ожесточенной стрельбы у вокзала поражали мертвая тишина, стоявшая на пристани и в военном порту, и отсутствие движения на подернутой рябью бухте. От стоявшего ближе на рейде японского крейсера, чуть дымившегося одной трубой, отделился катер, переполненный светло-зелеными солдатами; на солнце посверкивали штыки.

Все балконы домов, смежных с домом Гиммера, куда хватал глаз, были забиты мужчинами в пиджаках и галстуках, в панамах, в котелках и без котелков, военными в погонах, дамами и девушками в шляпах и без шляп, в накинутых на плечи шалях. И все новые и новые выходили на балконы; люди стояли битком, не будучи в состоянии повернуться; балконы точно выдавливали их из себя.

Странный, не осознанный в первое мгновение рев донесся со стороны военного порта; все головы повернулись туда. Лена видела, как сначала вырвался вверх белый, сверкающий на солнце опрокинутый конус пара, потом послышался этот рев. Взвился другой белый сверкающий конус, и второй протяжный гудок слился с первым. Белые стремительные конусы вздымались один за другим на всем протяжении порта до Гнилого угла. Издалека — должно быть, из железнодорожных мастерских на Второй речке — тоже откликнулись низкие басистые гуды. Тонкие, сиплые, свистящие, пронзительные гудки возникали на горах за домом Гиммеров — гудки фанерных, канатных, конфетных фабрик, мельниц,— им отвечали другие в разных концах города, и вот они уже слились все и, не умолкая, мощно и слитно стояли над городом, и все выше вздымались сверкающие на солнце белые, стремительные, опрокинутые конусы пара.

По пристани забегали люди. Первые кучки показались на улочке, вливающейся в главную. Кучки возрастали, как катящиеся комья; вскоре вся улочка была заполнена бегущими людьми. Серые толпы катились по аллеям сада Невельского через клумбы и газоны и растекались по тротуарам главной улицы. Должно быть, с гор, со слободок тоже бежали люди: тротуар под балконом быстро заполнялся серыми, черными, белыми, синими блузами, кепками, ситцевыми платками, совсем вытеснившими чистую публику.

По шпалерам чешских солдат прошло волнение, послышались звуки команды. Шпалеры повернулись лицом к тротуарам, солдаты стали примыкать влево. Теперь они стояли плечом к плечу.

Но люди, все более густо заполнявшие тротуары, не проявляли никакой враждебности. Они были невооружены, виднелось много подростков, девушек, женщин с детьми на руках, не слышно было ни криков, ни возгласов, и хотя накатывались все новые и новые толпы, люди не напирали на солдат: те, что не размещались на тротуарах, заполняли сад Невельского, взбирались на решетки и деревья сада. Многие прибежали, только что бросив работу,— Лена видела мужчин и женщин с засученными рукавами, с руками, вымазанными углем, мазутом, иные обтирали на ходу руки грязными тряпками.

Гудки один за другим смолкли. Люди молча, с серьезными лицами стояли на тротуарах и, приподнимаясь на цыпочках, смотрели в сторону вокзала. Ветер, налетавший с бухты, загибал кепки и платки.

Лена заметила, что никто из Гиммеров никак не отозвался на появление этих толп, только на всех лицах обозначилось некоторое беспокойство.

Беспокойство это усилилось, когда со стороны вокзала послышались отдельные, все более сливающиеся крики. Они росли, катились сюда, и вдруг из-за поворота улицы показалось несколько русских и чешских офицеров,— за ними тянулась черно-серая колонна, окаймленная солдатами.

— А, ведут голубчиков!..— неуверенно сказал старый Гиммер.

Десятки биноклей с балконов направились на черно-серую колонну.

Когда она вся вышла из-за поворота, видно стало, что за ней медленно ползет легковой автомобиль,— кто-то сидел в нем,— за автомобилем шел взвод юнкеров.

Колонна шла медленно, как на похоронах, движение ее сопровождалось нарастающими криками толпы, но здесь, ближе к балкону, еще не кричали,— толпа навалилась на сдерживающих ее чешских солдат и из-за них, вытягиваясь, смотрела на колонну.

Колонна еще не поравнялась с балконом, когда крики докатились сюда; теперь толпа, как прибой, бушевала под балконом Гиммеров. Лена с окаменевшим лицом оглянулась на стоящих с ней на балконе и увидела на всех лицах, от Адочки до Гиммера, одно выражение — любопытство и *страх*.

Когда голова колонны поравнялась с балконом, рев толпы уже покрывал собою все; в воздух полетели сотни шапок — одни падали, другие взвивались,— женщины срывали платки и махали ими.

Лица людей на тротуарах преобразились. Лена видела глаза, сверкавшие гневом, жалостью, ненавистью, видела растрепанные волосы, заплаканные, в суровых морщинах бородатые лица, бледные лица детей, состоящие из одних сверкающих глаз и раскрытых ртов.

Ветер с бухты разносил рев толпы, задирал полы пиджаков и платья женщин на балконах; мужчины в котелках и без котелков, военные в погонах, дамы с трепещущими кружевными панталонами, забыв все, в упор, в бинокли и без биноклей, смотрели на черно-серую колонну, ползущую мимо дома Гиммеров.

Люди в колонне едва волочили ноги; некоторые хромали, некоторые несли руки на грязных окровавленных перевязях. Лица всех людей были черны от порохового дыма. Иные шли, опустив головы, иные отвечали на приветствия толпы взмахами рук или шапок, иные шли, молча глядя перед собой.

И тут только Лена рассмотрела, кого везут в автомобиле за черно-серой колонной.

Автомобиль двигался медленно, тоже как на похоронах. Управлял им русский офицер. В заднем сиденье, со связанными за спиной руками, в солдатской шинели, без шапки сидел Петр Сурков. Его охраняли с боков — чешский офицер со светлыми закрученными усами и Всеволод Ланговой, оба держали в руках револьверы.

Много лет отделяло того подростка, которого Лена видела на примерке у китайца-портного, от военного комиссара Суркова, которого везли сейчас со связанными руками на автомобиле, но Лена сразу узнала его.

Сурков отяжелел, шире раздались его квадратные плечи, но то же мальчишеское твердое и злое выражение было на его усталом, почерневшем от дыма лице, и так же, как тогда, он смотрел прямо перед собой из-

под бугристых бровей, никого не видя, плотно сжав полные губы.

Теперь, увидев его, Лена различала в сплошном людском реве голоса:

— Сурков!.. Сурков!.. Сурков!.. Сурков!..

Военный комиссар рабочих был пленен и связан, и двести человек в черно-серой колонне шли, окованные сталью штыков, зачумленные пороховым дымом, едва волоча ноги. Юноши, пожилые, совсем уже старики — они шли, плененные грузчики, металлисты, каменщики, швейники, резчики по дереву. Их руками были сделаны мостовая, по которой они шли, дома с балконами, мимо которых они шли, ружья, крейсера и пушки, направленные на них, одежда, погоны и серьги на людях, смотревших на них в бинокли. Дыхание любви десятков тысяч таких же грузчиков, каменщиков, швейников — людей с золотыми руками, отцов и матерей, жен, детей,— их мощное теплое дыхание окутывало и согревало пленных и устилало им шаг.

Ланговой!..

Если бы на лице его было выражение жестокости, Лена могла бы хоть объяснить это, если не простить. Но на лице Лангового отражались одновременно и внутреннее смятение перед мощным ревом толпы, и желание соблюсти позу перед людьми, смотревшими на него с балконов. Неестественная улыбка застыла на его холеном лице.

Колонна еще не миновала балкона, когда сквозь шпалеру чешских солдат прошмыгнула маленькая сухонькая старушка в черном с красными цветочками платке, с узелком в руках, и проскользнула в колонну. Колонна замешалась, но старушка уже вошла в ряд и засеменила возле красногвардейца с покатой спиной и большими седыми усами. Старушка припрыгивала боком и одной своей маленькой ручкой быстро-быстро гладила красногвардейца по руке, а другой совала ему узелок, который тот наконец взял. Унтер-офицер из конвоя вмешался в ряды и хотел было схватить старушку, но старушка с необыкновенной энергией начала колотить его сухонькими кулачками, седые волосы ее выбились из-под платка. Рослый парень с окровавленной повязкой на голове, шедший рядом с красногвардейцем с седыми усами, бережно подхватил старушку

под локотки, поднял ее и вынес на мостовую, а сам вернулся в ряды.

Колонна и автомобиль с Сурковым уже прошли, а маленькая старушка в сбившемся платке одна стояла на мостовой и смотрела вслед, пока кто-то из юнкеров не прогнал ее прикладом.

Лена, впившись руками в перила, не замечала, что все лицо ее в слезах.

XXXIII

Некоторое время она просидела в спальне, потом надела жакет, шляпу, перчатки и вышла из дому.

Было уже около четырех пополудни. На улицах не осталось и следа от того, что было утром. Ходили трамваи, сновали автомобили и мотоциклы с военными и нарядно одетыми дамами. Оживленная, разряженная толпа, с вкрапленными в нее мундирами русских, японских, американских офицеров, катилась по тротуарам.

Лена прошла в сад Невельского. Садовники поправляли клумбы и газоны, примятые и разрушенные толпой; аллеи полны гуляющей публики, играл духовой оркестр. Впервые за этот сезон открылась «Чашка чая»; залитые солнцем мраморные столики заняты веселыми дамами и офицерами, слышался разноязыкий говор и смех.

Лена опустилась на скамью на пригорке, перед теннисной площадкой внизу. Две пары — по мужчине и женщине с каждой стороны (судя по говору, мужчины — иностранцы, а дамы — русские) — перебрасывались мячами, смеясь и шаркая белыми туфлями по корту. Скамьи внизу заняты морскими офицерами-американцами.

«Что должна чувствовать сейчас его мать?» — думала Лена, вспоминая, как мальчик Сурков, с громадными, подпиравшими шею меркуриями на воротнике, сидел со своей матерью, одетой в цветастое платье и нитяные чулки, в передней у Гиммеров, уткнув лицо в ладони.

Ревущая, бросающая вверх шапки толпа, бледные лица детей со сверкающими глазами и раскрытыми

ртами, медленно идущая черно-серая колонна, ползущий за ней, как на похоронах, автомобиль со связанным Сурковым и двулично улыбающимся Ланговым, старушка в сбившемся платке на мостовой — вновь и вновь вставали перед Леной, и снова спазмы сжимали ей горло.

Может быть, сегодня там, на Сучане, так же вели ее отца. Лена видела его таким, каким он был последний раз в гостиной Гиммеров,— нескладный, беспокойный, в необыкновенно ярком галстуке. Он поцеловал ее тогда в переносицу и вышел, нахлобучив шляпу. Как давно она не отвечала на его письма!.. Может быть, так же вели и Сережу: ведь среди этих людей, обожженных порохом, едва волочивших ноги, были и подростки Сережиного возраста... И снова она видела автомобиль с Сурковым и улыбающимся Ланговым.

Невозможно было забыть это, невозможно простить тем, кто сделал это!.. Под чувством тоски и отчаяния в Лене все больше вызревали гнев и гордость за отца, за Сережу, за людей, которых вели по улице.

Совсем свечерело; на теннисной площадке сменилось много пар, солнце уже не достигало туда, зажглось электричество. Оркестр играл в саду; сад шуршал и гудел от праздничной толпы; из «Чашки чая» доносились взрывы хохота, выкрики русских и иностранных тостов.

Ежась от сырости, Лена сквозь праздничную толпу пробралась на улицу. Зажигались огни иллюминаций. За спиной Лены в саду Невельского стреляли ракеты, они шипели и рвались в вышине. Ракеты взвивались и над садом Завойко, и над Жариковской площадкой.

Лена бесцельно бродила по улицам среди разряженной толпы. Все рестораны и кафе открыты, сияют огнями. Трамваи, хрипя и звеня, мчались по улице, воздух рвался от автомобильных гудков, взрывов ракет и меди оркестров.

На ночном столике в длинной вазе стоял букет цветов с одуряющим запахом, возле лежала записка от Ады.

«Куда ты пропала? Приходил Всеволод, жалел, что не застал. Вечером он занят. Я у Солодовниковых. Приходи, будет ужасно весело...»

Лена не спала всю ночь, слышала, как уже совсем поздно вернулась Ада и раздевалась, не зажигая света,

распространяя запах острых духов; Лена притворилась спящей.

Она услышала, как горничная в соседней комнате шаркает щеткой и переставляет кресла.

— Маруся!.. Откройте балкон... Где наши?

— Молодые господа не ночевали, барин уехал рано, а барыня с барышней позавтракали и тоже уехали, будто в магазин Чурина,— рассказывала горничная, отдирая замазку.

Снопы света и свежий, пахнущий водорослями ветер ворвались с улицы.

Лена приняла ванну и позавтракала в комнате, не подымая штор на окнах, только балкон был открыт. Сначала она не обращала внимания на то, что на улице тихо,— изредка доносилось только цоканье копыт и шарканье ног, точно проходили воинские части,— но когда долетели издалека звуки пения, исполняемого громадным хором, Лена почувствовала эту тишину и, оставив еду, вышла на балкон.

Ее поразило то, что вновь стояли шпалерами чешские солдаты и скакали конные. Улицы и тротуары пусты, точно выметены. Двери на всех балконах закрыты,— Лена одна стояла на балконе.

Пение приближалось со стороны Гнилого угла, но за поворотом улицы никого не было видно: солдаты смотрели в ту сторону. Снова на пристани и в военном порту стояла мертвая тишина, но бухта, заставленная судами, оживилась: сновали катера, китайские шампуньки.

Пение настолько приблизилось, что можно было различить — сотни голосов поют похоронный марш. Из-за поворота показалось шествие с гробами. Те же люди, что толпились вчера на тротуарах, когда вели арестованных, несли теперь в два ряда гробы — десятки новых, блестящих свежим тесом гробов, украшенных цветами и венками из хвои. Головные уже приближались к балкону, а из-за поворота показывались все новые и новые гробы.

Лене показалось на мгновение, что это тех самых людей, которых проводили вчера вместе с Сурковым, убили и теперь хоронят. Сердце ее затрепетало. Но она сообразила, что трупы этих людей не могли бы попасть

в руки рабочих; наверное, хоронили убитых в ночь переворота.

Передние гробы поравнялись с балконом; теперь Лена видела, что их несут не в два ряда, а в одном ряду несут открытые гробы, а в другом крышки. Людей, положенных в гробы, не успели обмыть и переодеть, они лежали в тех же одеждах слесарей, матросов, грузчиков, в каких застала их смерть. У многих лица и сложенные на груди руки в засохшей, запекшейся крови.

Гробы текли мимо балкона, а вслед за гробами — с мрачным торжественным пением — шли густые колонны рабочих без шапок, с колыхающимися знаменами.

Лена, вспомнив, что на столике у нее стоит букет цветов, быстро вбежала в комнату, вынула букет из вазы и. вернувшись на балкон, бросила букет на улицу. Букет, несколько раз перевернувшись, упал к ногам людей, несших гробы.

Человек в рубахе и штанах из грубого мешка, одной рукой поддерживая гроб, другой быстро хотел поднять букет, но, вдруг покосившись наверх и увидев, что букет бросили с балкона дома Гиммеров, изо всех сил отшвырнул его пыльным сапогом; букет отлетел к ногам стоящих шпалерой солдат. Гроб качнулся и чуть не упал, но другие поддержали его; человек в рубахе из мешка снова подставил плечо и зашагал, стараясь попасть в ногу.

«Так тебе и надо...» — с каменным лицом повторяла про себя Лена, впившись руками в перила, полная презрения и ненависти к самой себе.

Она знала, что то выражение злобы, которое было в лице и в жесте грузчика, отбросившего букет, относилось не к букету Лангового, о чем грузчик не знал, а к ней, Лене, нарядно одетой барышне, бросившей букет с балкона дома Гиммеров на гроб человека, убитого сыновьями Гиммера. И, зная это, Лена хотела вынести унижение до конца и стояла на балконе все время, пока текли мимо гробы, потом колонны рабочих со знаменами.

Рабочие шли по своим союзам, и по одежде и надписям на знаменах можно было видеть, кто идет: булочники, чистильщики сапог, железнодорожники, швей-

ники, мукомолы, деревообделочники, работники торгового флота — мужчины, женщины, подростки. Их было не меньше, чем вчера на тротуарах и в саду, но в колоннах, поющие, они производили еще более мощное впечатление. Отдельные мужчины и женщины, с траурными повязками на рукавах, шли по бокам и направляли движение колонн.

В одной из девушек с траурной повязкой, Лене показалось, она узнала Хлопушкину, но в этом было что-то невероятное, и Лена подумала, что ошиблась.

Гробы уже скрылись за поворотом в противоположном конце улицы, а поющие колонны, колыхая знаменами, все текли и текли мимо балкона.

Когда прошла последняя, некоторое время улица оставалась пустынной; потом показались пешеходы, медленно двигавшийся трамвай, набитый людьми, висевшими на подножках, коляски, извозчичьи пролетки. Солдаты строились по четыре и уходили вслед за рабочими колоннами.

Двое всадников подскакали к подъезду дома Гиммеров — Ланговой и казак в серой папахе, с желтыми лампасами. Ланговой соскочил с лошади; казак подхватил поводья. Ланговой исчез в подъезде.

«Сейчас он придет сюда...» Лена не тронулась. Но когда шаги Лангового зазвучали в комнате, Лена быстро повернулась и пошла навстречу — и остановилась, переступив порог.

Перед нею, в снопах света с балкона, сияя новыми погонами и мужественно улыбаясь, стоял Всеволод Ланговой.

— Смотрели этот маскарад? — сказал он. — Боже, я насилу вырвался к вам!.. Вы знаете, я назначен комендантом крепости...

— Вы... вас назначили... — начала было Лена.

И вдруг бешеная кровь старика Костенецкого заклокотала в ней, и изо всех сил, что были в ее слабом теле, она ударила Всеволода Лангового по лицу.

XXXIV

Рабочая демонстрация, пройдя с гробами по главным улицам города, подошла к зданию тюрьмы и по-

требовала разрешения арестованным комиссарам участвовать в похоронах.

Несколько часов под палящим солнцем десятки тысяч людей молча стояли в колоннах, оцепленных чешскими войсками, перед стенами тюрьмы, и ветер колыхал красные знамена над трупами.

Войска не решились пустить в ход оружие. Четырнадцать комиссаров под «честное слово» были выпущены из тюрьмы.

До самого кладбища их несли на руках под сенью знамен. Комиссары произносили речи и пели похоронный марш, когда гробы опускали в братскую могилу. Поздним вечером комиссары вернулись в тюрьму.

В течение трех дней город был скован всеобщей забастовкой. Перестали работать трамваи, электричество. Ни одна газета не выходила.

Тихо стало в доме Гиммеров. Вениамин и Дюдя уехали на уссурийский фронт. Фронт быстро продвигался на север. С юга красных теснили японские и добровольческие части, от маньчжурской границы, со стороны Гродекова, наступали войска есаула Калмыкова; со дня на день ожидалось падение города Никольск-Уссурийска.

Ланговой не показывался. Софья Михайловна почти не разговаривала с Леной. Разрыв с Ланговым противоречил семейным планам. Лена ловила на себе вопросительные взгляды Адочки. Один старый Гиммер не изменил своего любовно-насмешливого отношения к Лене.

Припадки тоски и уныния сменялись в Лене приступами бессильной злобы. Иногда Лене попадались на улицах приказы, подписанные Ланговым; она ловила себя на том, что думает о нем, и презирала себя. В последние дни она испытывала необыкновенную физическую слабость,— трудно было сомневаться в причинах этого.

И все же, как ни ужасным казалось Лене все, что произошло и должно было произойти, она впервые в жизни ощущала в себе силу сопротивления. С жадным интересом прислушивалась она к разговорам вокруг себя, следила за газетами, сопоставляя написанное и услышанное с тем, что видела и чувствовала.

В городе начала выходить газета центрального бюро профессиональных союзов. Лена доставала ее через прислугу. Из-за цензурных вымарок газета выходила вся в белых квадратах, иногда с чистыми полосами. Другие газеты в городе травили ее как тайный орган большевиков; газету закрывали, но она появлялась под новыми и новыми названиями.

Лена знала уже, что под ударами белочешских войск советы пали по всей Сибири; кое-где еще сохранились маленькие советские островки, но они быстро таяли. Власть в городе перешла к старой думе. Дума подчинялась «приморскому правительству» какого-то Тибера и какого-то Дербера. Фамилии эти так примелькались Лене, что иногда, часами глядя в окно на заставленную военными судами бухту, сдерживая приступы тошноты, она бессмысленно повторяла про себя: «Тибер — Дербер, Тибер — Дербер...»

Большинство в думе и в правительстве было у партий правых эсеров и меньшевиков; торгово-промышленные круги, к которым принадлежал Гиммер, находились в думе в меньшинстве. Лена замечала, что газеты, поддерживающие правительство и думу, в каждом номере превозносят благородных чехов, а газета Гиммера и Солодовникова «Дальний Восток» прославляет заслуги доблестного есаула Калмыкова и какого-то Хорвата и заигрывает с японцами.

В думе сохранилась еще кучка людей, обвинявшаяся в сочувствии большевикам и раздражавшая и правительство и Гиммера. Газета «Дальний Восток», в точности отражавшая все, что говорилось в доме Гиммеров, обвиняла правительство в попустительстве большевикам и требовала твердой власти.

— Почему их не арестуют? — спросила однажды Лена.

— Кого?

Старый Гиммер остановился посреди комнаты и удивленно посмотрел на Лену.

— А большевиков в думе,— спокойно сказала Лена.

В течение нескольких секунд Гиммер давился рыбьей костью, раскачиваясь и багровея лицом и лысиной.

— Вот и я спрашиваю — почему? — закричал он, весело отфыркиваясь, изучая Лену смеющимися карими

глазками.— А потому, видите ли, что предстоят выборы в новую думу и играют, видите ли, в демократизм, в депутатскую неприкосновенность, чтобы рабочих задобрить... Пошлый маскарад не ко времени,— вот почему не арестуют!.. Да ты уж не собираешься ли политикой заняться? Этого еще недоставало!

— Значит, рабочих победили, а боятся? — протяжно спросила Лена.

— Сами себя боятся... Ты скажи лучше, что у вас со Всеволодом произошло? Что-то он не заходит к нам. Я, конечно, не сватаю...

Гиммер лукаво сощурился.

— А выборы в думу это как,— это можно всем видеть?

— Не хочешь ли выдвинуть свою кандидатуру?

— Нет, я хочу знать, как это делается.

— А делается это очень скучно... Скучные партии выдвигают длинные скучные списки, город разбивают на участки, скучные молодые люди и девицы сидят возле ящиков за сургучными печатями, а скучающее население бросает в ящики записки, иногда не совсем приличного содержания... Очень неинтересное зрелище для красивой девушки из зажиточной семьи!.. Другое дело, когда перед тобой мужественный офицер, поэт, комендант крепости...

— А я не могла бы занять место скучающей девицы за ящиком?

Гиммер снова некоторое время с удивлением смотрел на Лену.

— Да ты что? Разве это тебе игрушки, в самом деле?

— Нет, я знаю, что это ваши игрушки, но я хотела бы знать, как вы играете в свои игрушки,— с усмешкой сказала Лена.

Брови старого Гиммера вылезли на лоб.

— Ты серьезно, что ли?

— Вполне серьезно...

— И что только делается в этом доме! — сказал старый Гиммер, растерянно потирая лысину. И вдруг заболтал руками и закричал: — Ничего не знаю, у тетки проси, у тетки проси!..

И, отмахиваясь обеими руками и фыркая, он быстро прошел в свой кабинет.

XXXV

Центральное бюро профессиональных союзов выдвинуло к выборам свой список. Первыми в списке шли сорок семь арестованных комиссаров. В числе их — на третьем месте — шел Сурков.

Избирательная комиссия, в которую не входил старый Гиммер,— он сам баллотировался в думу,— после двухдневных дебатов признала список законным.

— Они с ума сходят! — неистовствовал старый Гиммер.— Что они, хотят превратить думу в совет собачьих депутатов?..

Типографские рабочие размножили список и воззвание центрального бюро в таком количестве, что списком и воззванием был заклеен и засыпан весь город, от Гнилого угла до Второй речки. В одну ночь, должно быть из озорства, списком был оклеен фасад здания городской думы, и целая толпа смотрела, как усатые милиционеры отдирали список скребницами, похожими на те, какими чистят лошадей.

Накануне самого дня выборов Лена была в думе,— инструктировали уполномоченных. В длинном полутемном коридоре, где, ожидая, когда освободится член избирательной комиссии, уныло слонялись незнакомые друг другу и не изъявлявшие желания знакомиться уполномоченные, Лена неожиданно столкнулась с Хлопушкиной и узнала в ней девушку с траурной повязкой, руководившую колонной в день похорон.

— Ты как сюда попала?.. Я так рада!..

Лена рванулась к ней и, почему-то смутившись, не подала руки.

— Как все...— уклончиво ответила Хлопушкина, тоже не подавая руки.

За те два с лишним года, которые Лена не видела ее, Хлопушкина словно бы распрямилась вся и похорошела лицом, а в глазах ее с прежними белыми негустыми ресничками появилось новое, твердое, суховатое выражение.

Они помолчали...

— Я видела тебя, когда хоронили...

Лена запнулась, не зная, как назвать тех, кого хоронили.

— Вот что!..— настороженно протянула Хлопушкина.

— Как ты жила это время? — тихо спросила Лена.

— Так, работала...

Хлопушкина отвела глаза в сторону.

Они снова помолчали. Хлопушкина, видимо, не интересовалась тем, как жила Лена и как попала сюда.

— Я очень рада,— серьезно сказала Лена.— Когда будут распределять по участкам, я хотела бы попасть с тобой, а то я, боюсь, все напутаю...— Лена виновато улыбнулась.

— Все равно...

Из кабинета вышел маленький, кривенький старичок в сбившемся галстучке и пригласил уполномоченных в комнату заседаний.

Отправляясь в думу, Лена наметила себе после инструктажа ехать отыскивать какого-нибудь незнакомого доктора, чтобы проверить то, что было уже ясно для нее. Мысль эта, от которой ей становилось страшно и от которой ее отвлекла было встреча с Хлопушкиной, снова стала преследовать Лену.

В раскрытое окно врывался шум с улицы.

Маленький кривенький старичок однообразно покачивался за кафедрой в полосе бившего в окно пыльного солнечного света, прижмуриваясь и закрываясь папкой с инструкциями.

— ...Но впускайте по очереди и ни в коем случае не больше одного избирателя...— выпевал он тоненьким голоском.

«Боже, как стыдно!..— думала Лена.— Как я смогу объяснить все?..»

— ...Выслушав имя, отчество, фамилию и адрес избирателя и справившись со списком, вы даете возможность избирателю...

«Могу ли я выдать себя за замужнюю?.. А что, если все рассказать Хлопушкиной, спросить совета?.. Нет, это невозможно, невозможно, невозможно...» — повторяла Лена, чувствуя, как у нее стучит в висках.

— ...Если же окажется, что в списке нет данного гражданина, вы, предупредив его, что он не выполнил своего гражданского долга, то есть не справился с заблаговременно вывешенными списками избирателей, не допу-

скаете его к баллотировке и регистрируете его по форме С...— выпевал кривенький старичок.

Лена, не слышавшая ничего из того, что говорил кривенький старичок, очнулась только, когда задвигали стульями: началось распределение по участкам.

— Так вместе? Пожалуйста...

Лена умоляюще посмотрела на Хлопушкину.

— Все равно...

Им достался район Второй речки.

— Это где-то далеко... Там, кажется, временные мастерские? — робко спросила Лена.

— Да... И мукомольные предприятия Гиммера,— сказала Хлопушкина, моргнув своими белыми ресничками, чтобы скрыть усмешку.

Купив в киоске газету, Лена с полквартала шла пешком, просматривая фамилии и адреса врачей: «Вейнберг С. И.— это глазник... Овсянников Г. Г.— венерические и мочеполовые... В. А. Сумшик — женские, Алеутская, 56... Иванов-Молоствов — женские, Косой п., 13...»

На углу, оглядевшись по сторонам, она взяла извозчика.

— Подымите верх, пожалуйста...

— А куда ехать?

— Куда?..

Некоторое время Лена серьезно смотрела в тронутый ячменем голубой глаз извозчика.

— Ну, куда же... Ну, хотя бы на Алеутскую,— упавшим голосом сказала она.

XXXVI

Утренний воскресный поезд, набитый дачниками, молочницами и зеленщиками, вез Лену мимо грязных строений, шлагбаумов, виадуков, нефтеналивных баков. Голубые пятна залива мелькали в простенках домов; плыли белые, чистые облака.

Затиснутая между господином в панаме, с тортом на коленях, и молочницей с пустыми бидонами, Лена чувствовала на себе любопытные, ощупывающие взгляды, и ей казалось, что все, все уже знают об ее унижении.

Она старалась думать о предстоящих выборах, но снова и снова возникало перед ней склоненное, налив-

шееся кровью лицо доктора, и это унизительное кресло, и то, как она, путаясь в кружевах, торопливо надевала панталоны. А завтра ей предстоит еще более унизительное и страшное, и ничем, ничем нельзя уже предотвратить этого.

«Как это, должно быть, больно...» — думала она. Ее мучили трудности, сопряженные с тем, как скрыть это от домашних. Сможет ли она сама добраться домой? Что, если она будет чувствовать себя настолько слабой, что не сможет встать с постели? Вызовут домашнего врача, и все обнаружится...

— Вторая речка!..

Лена вздрогнула и заторопилась к выходу.

Она стояла на перроне, растерянно держа в руках записку с адресом избирательного участка. Из заднего вагона поезда один за другим прыгали милиционеры при кобурах и шашках. Поезд тронулся; милиционеры построились и пошли по мостовой вдоль полотна по направлению к серым корпусам временных мастерских.

Лена машинально пошла за ними.

В мастерских было тихо, безлюдно, пахло железным ломом и шлаком; шаги милиционеров гулко отдавались от корпусных стен. Лена с безотчетным страхом и уважением смотрела на огромные безмолвные корпуса с задымленными окнами, на черные трубы, вздымавшиеся в высоту. В таком же вот корпусе в военном порту сгорел отец Суркова... Лене стало жутко.

Пройдя меж двух бесконечных корпусов, милиционеры свернули в улицу, ведущую в слободу.

Лену поразила та же, что и в мастерских, тишина и безлюдье в поселке. Не видно ни играющих ребят, ни женщин на скамейках возле серых домиков с закрытыми ставнями. Только на углах улиц возле корзин с семечками и бобовыми орехами сидели одинокие китайцы, провожавшие милиционеров любопытствующими взглядами. На каждом перекрестке милиционеры ставили посты. Лена начинала смутно догадываться, что и тишина в поселке, и появление милиционеров связаны с выборами. Из дальнего переулка выскакали два конных милиционера, огляделись по сторонам и во весь опор помчались навстречу колонне. Перегибаясь с лошадей и козыряя, они переговорили со старшим колонны и ускакали обратно. Колонна раздвоилась, половина свернула напра-

во; Лена пошла за той половиной, которая двигалась в прежнем направлении.

На углу переулка, куда ускакали конные и куда свернула теперь остальная колонна, Лену задержал постовой:

— Вы куда идете?

— Разве здесь нельзя ходить?

— Куда идете, я спрашиваю? — грубо повторил постовой; он был весь в поту.

— Я иду выбирать в думу,— окаменев лицом, без запинки сказала Лена.— Вам известно, что сегодня выбирают в думу?

— Так разве нельзя стороной пройти?

— Стороной чего?..

Некоторое время милиционер с удивлением смотрел на нее, потом набрал воздуха, собираясь закричать, но не закричал и с шумом выдохнул воздух.

— Слушайте, гражданка,— сказал он усталым голосом, отирая рукавом пот,— вам нужно в ремесленное училище... Пройдите вон той улицей.

Стали попадаться отдельные кучки рабочих с женами и детьми, группировавшиеся возле скамей и по обочинам тротуаров. Лена, ловя на себе испытующие взгляды и думая, что, может быть, она недостаточно просто одета, шла не оглядываясь. Она прислушивалась — не говорят ли что о выборах. Но в одном месте говорили о голубях, в другом — о футбольном состязании, в третьем смотрели, как два дюжих парня тянутся на поясах.

— Вы только духу не пущайте! — посмеивался какой-то ядовитый старичок.

Ребятишки играли в паровоз посреди улицы.

— А ты как следоват пыхти! Паровоз этак-то не пыхтит,— надрывался семилеток с ежастыми бровями.

— ...Как же, милая, пробовала и с горчицей — не отстирывается,— сетовал грудной женский голос.

Лена вошла в улицу, где кучки рабочих уже подряд сидели и стояли вдоль тротуаров.

Улица упиралась в площадь, сплошь забитую народом. Над людской чернотой выступали белые головы лошадей и зеленые рубахи и фуражки милиционеров.

Лена подошла к самой площади и, оробев, остановилась на углу. Перед Леной и вокруг нее колыхалась и гудела толпа — не менее двух тысяч. Стоял впервые ощу-

щаемый Леной неистребимый запах опоки и металла. Босоногие мальчишки сновали в толпе, ныряя под ногами, хватаясь за юбки и пиджаки.

— Пятнашка, пятнашка!

— Кто пятнашка?

— Беги, беги-и!..

От площади отходило еще две улицы; одну нельзя было рассмотреть оттого, что у ее устья, отгороженного зелеными милицейскими околышами, особенно сгустилась толпа,— должно быть, там помещался избирательный участок,— другая же, полого подымавшаяся в гору, была вся видна — на ней чернели кучки рабочих.

Из-за горы выступали на фоне дальних синих отрогов облитые солнцем красные трубы мельниц. Веселые белые облака плыли над синими отрогами.

Лена, не разбирая лиц, смотрела на кишевшую перед ней толпу. «Неужели это те самые люди?..» — думала она, вспоминая медленно ползущую черно-серую колонну и толпу, ревущую под балконом Гиммеров.

— Успеют ли пропустить-то всех? Еще мукомолы не пришли.

— Да, раньше вечера не отделаемся...

— Ты что толкаешься? Вот стянем за ноги с лошади!..

— Как, Андреич, жинку-то уговорил?

— И жинку уговорил, и старшая дочка пришла, и младшая пришла бы, да годами не вышла...

— ...А потому не управляется, что ростом он мал, тиски ему по грудь: как напильником работать, руки устают...

— ...Спрашиваю сегодня у лавочника, что на углу Никольской: «Ну как? Пойдешь?..» — «А ну вас, говорит, с вашими выборами!..» А я ему говорю: «Это, говорю, ваши выборы, а не наши...»

— Он бы, брат, пошел, да боится, что морду набьем. И главное, не ошибся...

— Хорошо бы Скутарева или Гиммера сюда — побеседовали бы!..

— Им сюда ни к чему, у них участок свой... Подъедут это в колясочке, бросят квиточки за самих себя — и дело с концом...

— Им пешком нельзя: брюхо поотростили...

Присматриваясь к толпе, Лена замечала, как в том или ином месте вспыхивали летучие митинги,— доносился голос оратора,— но когда милиционер направлял туда свою лошадь, митинг быстро рассеивался, и нельзя было определить, кто говорил. Лена вспомнила пункт инструкции, запрещающий предвыборную агитацию перед избирательным участком.

— Идут, идут!.. Мукомолы идут!..— загудели в толпе.

Из-за гребня улицы на горе показалась голова колонны, ветер раздувал юбки и фартуки. Головы людей на площади повернулись в ту сторону. Колонна — человек в двести — перевалила через гребень и быстро спускалась к площади.

— Что-то маловато их...

— Разве их вытащишь, хлебосеев! У них каждый за себя, а один за всех...

— Кто там заправляет ими?

— Об этом, брат, вслух не говорят по нонешним временам...

Лена краем площади пробралась к улице, где маячили милицейские околыши.

— В очередь, в очередь, барышня!..

Лена предъявила удостоверение.

XXXVII

— Я, кажется, опоздала?

— Ничего...

Хлопушкина в серой вязаной кофточке, с гладко зачесанными светлыми негустыми волосами сидела за столиком перед урной. Лена прошла за невысокий, пахнущий смолою барьер и сняла жакетку. Окна выходили во двор; они были открыты; виднелся похожий на виселицу снаряд для гимнастических упражнений; с площади доносился гул толпы.

Баллотировка уже началась. Сутулый бритый старик в кепке и потертом пиджаке, из растопыренных карманов которого торчали клещи и еще какие-то инструменты, опустил записку и вышел, волоча ноги. На его месте стоял худощавый рабочий с кривой шеей,— одно плечо у него было выше другого.

— Отчество? — спрашивала Хлопушкина.

Лицо его мучительно искривилось.

— Анем...п...подистович,— сказал он, сильно заикаясь.

Лена вдруг вспомнила, что так же заикался безногий отец Хлопушкиной, и испуганно посмотрела на нее, но аккуратное и миловидное лицо Хлопушкиной было сухо и строго.

— Пройдите к тому столу, там напишете...

— Давай, я буду проверять по спискам и отмечать, а ты опрашивать,— сказала Лена.

— Все равно...

Рабочего с кривой шеей сменила молодая работница, работницу — русый паренек в футбольных бутсах. Лена пытливо присматривалась к каждому голосующему, стараясь по лицам определить, за кого они могут голосовать. Но лица одних были сурово замкнуты, у других — несколько сконфуженные.

— Наболдин Иван Яковлев... Выемочная, восемнадцать...

Перед Хлопушкиной стоял широкоплечий, с лицом, заросшим угольными волосами, пожилой рабочий, выложив на перила громадные черные руки, зажав под мышкой фуражку.

Лена провела пальцем по списку.

— Странно... Все совпадает, а в адресе путаница... двадцать восемь, а не восемнадцать?

— Как же двадцать восемь, барышня, когда восемнадцать,— глухо, как из бочки, возразил рабочий.

— Почему же вы заблаговременно не справились со списком избирателей? — укоризненно сказала Хлопушкина.

— А когда же нам время на списки глядеть? Я в денной смене работаю, нам в списки ваши глядеть некогда... Да мы тут одни Наболдины на всю слободу, спросите, кого хотите. Кузнец Наболдин... Иван Яковлевич,— мрачно бубнил он.

— Хорошо, получите бланк...— По лицу Хлопушкиной чуть пробежала улыбка.— Проставлять только номер, вы знаете?

— Да уж не спутаю, будьте спокойны, барышня...

— Я не барышня,— покраснев, сказала Хлопушкина.

— Ну, гражданка...

Кузнец отошел к столу, внимательно осмотрел перо, почистил его о свои угольные волосы, снова осмотрел, потом, покосившись на Хлопушкину и Лену, отгородился от них могучей спиной и проставил цифру.

— Ну, дай бог на счастье...— Кузнец громадными черными пальцами старательно запихнул сложенную вчетверо записку в ящик и одним глазом заглянул в щелку.— Не видать,— сказал он с широкой улыбкой, надевая фуражку.— До свиданьица!..

— Интересно, какой он номер проставил, правда? — шепнула Лена.

— Да...

В дверях показалась маленькая толстенькая старушка в стоптанных башмаках, в черном платке и ватной черной телогрейке.

— Здесь, что ли, выбирают-то? — спросила она с виноватой улыбкой, оглядываясь по сторонам.

— Здесь, здесь, бабушка, сюда подойдите... Вас как зовут?

— Наболдина Евдоксия.

— А по отчеству?

— А по отчеству — Сергевна.

— Это сын ваш был, что ли?

— Сын, сын...— обрадовалась старушка.

— Как же вы такого большого родили? — не выдержала Хлопушкина.

— Уж правда-что... уж больше его в слободе нет,— конфузливо засмеялась старушка, прикрывая рот уголком черного платка.

— У вас там адрес перепутан...

— Вот, вот, и он нам говорит... И до чего ж удивительно, когда мы тут, Наболдины, уж сорок лет живем в этой слободе, у кого ни спроси, все укажут. Просто удивительно... Тут ведь все пришлые, а мой-то покойник еще до мастерских в кузне тут работал,— словоохотливо поясняла старушка.

— Лена, ты отметила?.. Получите бланк. Вы грамотная?

— Какая там грамота! Уж я и отнекивалась, так он меня цельную неделю учил, как эти самые «четыре» проставить. «Ты, говорит, смотри, не спутай...» Просто смех!

— Этого вы не имеете права оглашать, голосование тайное,— сказала Хлопушкина, закусив губу, чтобы не рассмеяться.— Пройдите к тому столу и напишите...

Старушка долго копошилась у стола.

— Куды ее теперь? — спросила она, протягивая Хлопушкиной несложенную записку и перо.

— Ручку положите обратно, а записку сложите, и вот сюда в щелочку...

— А чернила-то не размажутся? — беспокойно спросила старушка.

— А вы промокните...

— Вот она и выдала всех!..— засмеялась Лена, когда старушка вышла. (Под номером 4 шел список профессиональных союзов.) — Всю семью выдала! Ты знаешь, ведь их там еще семь Наболдиных!..

Хлопушкина, сдерживая улыбку, отвернулась.

Они пропустили жену Наболдина, потом пошло все младшее поколение Наболдиных.

Красивый чернявый паренек в начищенных до блеска сапогах, в заломленной фуражке с красной гвоздикой размашисто подошел к урне.

— Наболдин Иван Иванович,— развязно сказал он, косясь на Лену играющими черными глазами.— Выемочная, восемнадцать, только адрес наш у вас напутан... Пожалуйте бланок...

— Наболдин Федор Иванович... За адрес уже все известно... Бросать сюда, что ли?..

И второй Наболдин-сын, такой же чернявый, только постарше, так же покосившись на Лену, выполнил свой «гражданский долг».

— Тут моя жинка сейчас придет,— сказал он со смущенной улыбкой, задержавшись у дверей,— вы уж ей разъясните, что и как, а то она у меня беда какая пужливая...

Но, видно, с жинками Наболдиных произошла путаница, потому что в комнату, как ветер, внеслась яркорыжая костлявая работница с зелеными злыми глазами.

— Здесь, что ли, бланок получить?.. Мильтонов понаставили, насилу пробьешься к вам!.. Наболдина Катерина... Вы только поскорей, пожалуйста, а то у меня опара уйдет,— заговорила она резким, крикливым голосом.— Тоже — выборы называются: муки, сахару не до-

станешь, а выборы устраивают!.. Мильтонов понаставили...

Сердито запихнув записку в ящик, она вышла так же стремительно, как и вошла, распустив по комнате вихрь своих, по крайней мере, четырех юбок.

— Наболдин Н. И., слесарь... или это неважно? Покорно благодарим-с,— сказал третий Наболдин-сын, принимая бланк.— Обязательно чернилами или можно собственным химическим карандашом?..

— Наболдина Фекла... Да, Андревна...

Толстушка тяжело дышала, обливалась пóтом, комкала в руках носовичок.

— Вы уж поясните, а то я просто так волнуюсь, ну, так просто волнуюсь!..

Семью Наболдиных завершила худенькая черноглазая девушка с большими руками, в сбившемся на затылок платочке.

— Наболдина Аня... то есть Анна Иванна,— поправилась она тоненьким голоском, заливаясь краской.

После семьи Наболдиных приходили и еще семьи, но таких больших уже не было. Как видно, те, что прошли первыми, осведомляли последующих о порядке выборов: баллотировка пошла живее. Лена втянулась в работу и перестала следить за лицами.

Однажды внимание ее отвлек пьяный. Ему долго приходилось изображать трезвого, чтобы попасть сюда; по инерции он, твердо ступая и сохраняя достоинство, прошагал к урне. В высоких, с раструбами сапогах, в просаленной и продымленной войлочной шляпе, смахивавшей на каску, со своими пышными прямыми рыжими усами и могучей эспаньолкой он походил на солдата из «Лагеря Валленштейна». Увидев двух девушек, он изумленно огляделся по сторонам и, не обнаружив милиционеров, очень рассердился.

— Так,— сказал он, багровея,— так!..— И ударил кулаком по перилам.— Они думают, мы свово слова не скажем?.. Не-ет, господа хорошие, не-ет...— Он погрозил пальцем.— Мы с вас еще спу-устим шкурку... Мы! — выкрикнул он и ударил себя кулаком в грудь.— Литейщики!..

— Он совершенно пьян,— шепнула Лена.— Стоит ли его?..

— Уверена, что он не ошибется в списке,— сухо сказала Хлопушкина.— Гражданин, если вы не хотите подвести своих товарищей,— голос Хлопушкиной слегка дрогнул,— перестаньте кричать и назовите свою фамилию и адрес... Вы поняли меня?

— Понял я вас, вполне я вас понял... Товарищей, правильно...— он одобрительно покачал головой,— это оч-чень правильно. Мы их с тюрьмы ослобоним...

Он назвал себя и, получив бланк, некоторое время рассматривал его.

— Извиняюсь... Здесь? — смущенно сказал он, тыча в середину бланка.

— Совершенно верно.

Проставив цифру и затолкнув листок в ящик, он снял свою каску, молча поклонился Хлопушкиной до земли и, нахлобучив каску, вышел, твердо стуча сапогами.

«Не очень-то она соблюдает инструкцию»,— подумала Лена.

Иногда Лена замечала, что среди голосующих попадаются и лично знающие Хлопушкину. Они весело или почтительно здоровались с ней, а опуская записку, улыбались или подмигивали Хлопушкиной: «Смотри, дескать, как идет дело!» Молодой рабочий в гимнастерке, со шрамом через всю щеку, попытался заговорить с ней, но она сделала строгое лицо и предупреждающе подняла руку.

— Очень нужно, Соня,— сказал он, покосившись на Лену.

Хлопушкина, тоже покосившись на Лену, отошла с ним в сторонку, и они пошептались.

— ...Проходы все удалось заложить, хотя милиция и разгоняет...— доносилось до Лены.— ...Хуже всего у вас, на Голубинке...

— Да ведь там сплошной обыватель,— отвечала Хлопушкина.— Как на железной дороге?

— Замечательно... Там Чуркин твой все дело организовал...

Хлопушкина покраснела.

— А ты не красней, он парень хороший...

— Так до завтра...

— До завтра...

«Какие проходы?..» Лена чувствовала, что вокруг нее совершается много такого, чего она не знает и не понимает. Зачем, например, все рабочие с утра собрались вокруг избирательного участка, когда они могли бы спокойно дожидаться своей очереди дома? Она вдруг вспомнила услышанный ею на площади разговор рабочих о лавочнике.

Уже давно прошел час обеда, избирательные списки были уже наполовину испещрены крестами и замусолены пальцами Лены, а с площади все еще доносился гул толпы, избиратели все проходили и проходили перед урной.

— Соня, ты замечаешь, что в числе избирателей не было еще ни одного лавочника или конторщика, все рабочие и рабочие? — спросила Лена.

Хлопушкина быстро повернула к ней лицо и несколько мгновений пытливо смотрела на нее.

— Нет, я не замечала,— сказала она, моргнув своими белыми ресничками, и отвернулась.— Да и не наше это дело,— добавила она сухо.

«Уж ты-то, наверно, знаешь об этом больше других...» Лена с оскорбленным чувством отметила, что Хлопушкина не доверяет ей.

«Что она пережила и что познала, что так изменило ее и придало ей эту твердость? — думала Лена.— Да, была беззащитна и унижена, и вот — нашла себя, хотя все в мире противостояло ей, а я...» Лена вспомнила все, что предстояло ей, и от ощущения собственного несчастья ею овладело чувство зависти к Хлопушкиной.

XXXVIII

Около пяти часов участок посетили два члена избирательной комиссии. Они приехали на автомобиле и долго гудели рожком, пока пробирались сквозь толпу.

— Черт знает, что тут делается у вас! Митинговщина какая-то! — кричал один из них, в то время как другой проверял пломбы, печати и списки.— Вы даете повод для кассации! Вы знаете это?

— Вам должно быть известно, что милицейские обязанности не входят в круг наших обязанностей,— отвечала Хлопушкина, дрожащей рукой приглаживая свои

светлые волосы.— И вообще я не считаю возможным разговаривать с вами в таком тоне...

— В каком тоне? Боже мой, при чем тут тон, какой может быть тон!..

На лбу члена избирательной комиссии собрались мучительные складки; он снял котелок и носовым платком стал обтирать потную лысину.

— Вас кто рекомендовал?

Хлопушкина смешалась.

— Меня рекомендовал *Гиммер,*— неожиданно сказала она.

— Вот как!

Член избирательной комиссии перестал обтирать лысину.

— А это кто с вами? — осторожно спросил он, платком указывая на Лену.

— Это Елена *Гиммер,*— отчетливо сказала Хлопушкина, опуская свои белые реснички.

— Вот как! Дочка Семена Яковлевича?..

Член избирательной комиссии переглянулся с другим членом избирательной комиссии, и на лицах обоих членов избирательной комиссии изобразилась улыбка, полная уважительного умиления.

— Очень рад познакомиться с дочерью уважаемого Семена Яковлевича,— весь расплываясь в улыбке, сказал первый член избирательной комиссии и перенес свой пыльный котелок на изгиб локтя.— Тем более приятно видеть ее при исполнении гражданских обязанностей... Весьма лестно... Хе-хе...

Лена молча, не кланяясь, смотрела на него.

— Хе-хе... Ну, чудесно... Вы кончили, Сергей Сергеич?

— Все в образцовом порядке, Сергей Петрович!

— В этом можно было не сомневаться... Чудесно, чудесно. Еще раз свидетельствую... Очень, очень рад...

И оба члена избирательной комисии, улыбаясь, кланяясь и пятясь задом, покинули участок.

Лена не смотрела на Хлопушкину, ожидая, пока она сама объяснит все, но Хлопушкина с тем же суховатым, строгим выражением продолжала опрашивать избирателей и, видно, не собиралась ничего объяснять Лене.

От долгого сидения у Лены затекли ноги, болела поясница, руки стали совсем грязными; она чувствова-

ла, что у нее растрепались волосы, но стеснялась посмотреться в зеркальце. А избиратели-рабочие все шли и шли, и в окно, в которое уже потянуло вечерней свежестью, по-прежнему доносился глухой, неутихающий гул толпы.

«Да, ей нет никакого дела до меня, я не нужна ей»,— думала Лена.

Все люди, которые проходили перед урной, были точно соединены непонятной Лене суровой, теплой связью, и Хлопушкина была тоже включена в эту связь, и только Лена не могла проникнуть в эту связь и не видела никаких путей, чтобы хоть когда-нибудь проникнуть в нее.

— А, Игнатьевна!..— Лицо Хлопушкиной озарилось детской улыбкой.— Я уж думала, ты заболела.

— Насилу очереди дождалась...

Ширококостая толстая женщина лет сорока пяти, ступая, как тумбами, опухшими расставленными ногами, подошла к урне. В отечном, чуть тронутом морщинами лице женщины и во всей ее грузной фигуре было что-то неуловимо знакомое Лене.

— Я тебе покушать принесла,— сказала она низким, хриплым голосом, протягивая Хлопушкиной узелок...— Хотела с кем раньше передать, да никак пробиться не могла...

— Спасибо, Игнатьевна,— Хлопушкина, с нежной улыбкой взглянув на женщину, взяла узелок.— Вот тебе бланк... Лена, отметь Суркову Марию Игнатьевну...

Лена низко склонила голову над списками. Краска стыда, как в детстве, залила ей все лицо и шею. Лена чувствовала, что мать Суркова смотрит на нее.

— Ваш адрес? — чуть слышно спросила Лена.

— Приовражная, сорок... Нашего адреса уж кто только не знает,— со вздохом сказала Суркова.— Это кто с тобой дежурит-то? — спросила она Хлопушкину.

Лена склонилась еще ниже, вобрав голову в плечи.

— Лена Костенецкая,— вместе в гимназии учились,— спокойно сказала Хлопушкина.

Лена слышала, как Суркова тяжело отошла к столу, повозилась там и вернулась к урне.

— У меня новость,— хрипло сказала она, вталкивая записку в ящик,— прихожу утром на мельницу,—

у нас там сбор был,— вижу, вывесили список на увольнение, человек пятнадцать. На первом месте — я...

— Это ведь мельница Гиммера? — резким голосом спросила Хлопушкина.

— Его...

— Как же ты теперь?

— Не пропаду... стирать буду. Прощай пока. Заходи...

Суркова, тяжело ступая опухшими ногами, ушла.

— Лена, держи свою порцию...

Хлопушкина протянула Лене два бутерброда.

— Ваша фамилия?

— Мюрисеп Иван Эрнестович,— отвечал кто-то с сильным эстонским акцентом...

Лена, краснея от унижения, с трудом прожевывая жилистую колбасу, склонилась над списком и возле Ивана Эрнестовича Мюрисепа поставила крестик.

XXXIX

Поздним вечером за урной приехал член избирательной комиссии. Закрытый «локомобиль», провожаемый ребятишками и собаками, вез урну по темным кривым слободским улицам. Рабочие с пением расходились с площади. У ворот и на углах улиц чернели группы людей, вспыхивали огоньки папирос.

Член избирательной комиссии дремал, уткнувшись в воротник. Хлопушкина сидела, прямая и строгая, положив руки на колени. Впереди моталась голова милиционера. Лену мучили усталость, тошнота, голод, одиночество.

Желтые огни хатенок лепились по горам, рассеивались по падям, низвергались в овраги и исчезали в их темных глубинах. Вершины и гребни гор, фабричные трубы, крыши строений выступали на темно-синем небе. Брезжил последний слабый отсвет заката. Неяркая звезда подрожала в автомобильном окне и скрылась за черным силуэтом здания.

Лена вдруг вспомнила Лангового — такого, каким он стоял когда-то перед ней в гостиной, серьезный и грустный, в шелковой косоворотке, полный мужественной силы и любви к Лене. Ей хотелось удержать его в себе

таким и думать и плакать о нем, но она знала, что это — слабость и ложь. Снова она видела его двулично улыбающееся лицо в автомобиле рядом с Сурковым, слышала его пошлую фразу, когда он вошел к ней. Она содрогнулась от злобы и унижения, представив себе, какими, должно быть, собачьими, преданными глазами она смотрела на него, когда отдавалась ему.

Чувство невыразимой грусти, грусти по какому-то возможному и несбывшемуся счастью овладело Леной. Измученными глазами и руками она ловила это последнее теплое дуновение счастья, а счастье, как вечерняя неяркая звезда в окне, все уходило и уходило от нее,— должно быть, это тоже было слабость и ложь.

Перед иллюминованным зданием городской думы кишела оживленная толпа, ожидавшая результата выборов. Вагон трамвая в голубоватом свете иллюминации, беспрерывно звеня, медленно двигался сквозь толпу.

У освещенного вестибюля стояли машины, коляски, извозчичьи пролетки с дремлющими или рассматривающими публику шоферами и кучерами. Лена узнала стоящий у самого подъезда новый «паккард» Гиммера. Две шеренги милиционеров охраняли свободный от толпы проход с улицы в вестибюль.

В залитых электричеством комнатах и коридорах думы тоже стояло необычное оживление. Группы мужчин в пиджаках и галстуках курили, жужжали и жестикулировали на площадках лестницы и в коридорах. В раскрытые двери зала заседаний виднелись ряды белых воротничков, проборов и лысин. Сутулый человек в чиновничьем мундире с перхотью на бархатном воротничке, держа под мышкой портфель, а в другой руке счеты, быстро прошел по коридору, обогнав Лену и Хлопушкину.

— Позвольте, позвольте, господа! — повторял он, лавируя между людьми.

Лена рассеянно отвечала на вежливые улыбки и поклоны знакомых членов думы, которых она привыкла видеть за сервированными столами или в гостиных.

В приемной избирательной комиссии было шумно и зелено от табачного дыма. Возбужденные, усталые уполномоченные, репортеры газет с записными книжками в руках сидели на столах, на сдвинутых в беспорядке

креслах, стояли у стен или просто толкались по приемной, наполняя ее говором и клубами табачного дыма. У входа в кабинет председателя стоял покрытый черным фотографический аппарат, возле него в кресле дремал фотограф в белой панаме.

Лена и Хлопушкина сели у выхода в коридор на стулья, которые уступили им двое молодых людей. Из коридора в приемную то и дело входили люди и вновь уходили, хлопая дверьми. Лену качало от усталости,— стул, казалось, уплывал под ней.

— ...Нет, вы послушайте, что творилось у военного порта! — доносилось до Лены.— Были забиты все улицы и переулки, в одном месте дошло до свалки. Говорят, ранили милиционера, и есть жертвы среди избирателей...

— Уж и избиратели, нечего сказать! Это повод для кассации!..

— ...Я участвовал в выборах еще в семнадцатом году — никакого сравнения: активность необычайная...

— У нас, в Рабочей слободке, не меньше девяноста процентов. И все говорят, у них не меньше...

— На Второй речке только что кончилось. Вы видели, как принесли урну? Хотя бы одним глазком заглянуть!..

— ...Нет, вы — счастливец... Подумать только: центр Светланской, вся знать!..

— ...О, с этими неграмотными много комических эпизодов. Например, у нас на Матросской: «Пиши,— говорит: — за трудовой народ, за большевистскую партию и за Советскую Россию...» Хохот ужасный!..

— Неужто так и сказал? Ха-ха-ха!.. Так прямо и сказал?.. Ха-ха-ха!..

Изредка открывалась дверь в кабинет председателя, вырывались стрекот машинок, бряканье счетов, и кто-нибудь выходил оттуда; фотограф в белой панаме испуганно подымал голову и вновь задремывал. Вышедшего окружали уполномоченные и репортеры, но он сердито или шутливо отмахивался:

— Ничего не знаю, не знаю, господа!..

Или:

— Ничего еще неизвестно, господа!..

Однажды в дверь высунулось сердитое лоснящееся лицо в пенсне:

— Уполномоченных с Алеутской просят пожаловать в комиссию!..

Лена вздрогнула: на Алеутской живет доктор, у которого она была вчера и к которому должна идти завтра...

Странно было думать, что этот доктор — тоже избиратель.

Лена прикрыла глаза рукой и тотчас же отняла руку и замученно и жалко посмотрела на Хлопушкину. Хлопушкина сидела, неподвижно глядя перед собой, точно выжидая чего-то. «Завтра... завтра... Боже мой!» — подумала Лена.

Через некоторое время уполномоченные по Алеутской — молодой человек семинарского вида и девушка в черной шляпке — вернулись из кабинета; их тотчас же окружили:

— Что случилось?.. Вы узнали что-нибудь?.. Что? Что?..

— Нелепость какая-то... Говорят, количество записок превышает число фактических избирателей! Что, я их сам писал, что ли? — возмущенно говорил молодой человек, дрожащей рукой поправляя длинные семинарские волосы.

— И намного превышает? — спрашивал репортер, быстро записывая что-то в книжечку.

— Всего на две записки...

— Может быть, вы от усталости забыли отметить кого-либо в списках? — догадывался кто-то.

— Господи!.. Я отмечала самым внимательным образом! — взволнованно поясняла девушка в черной шляпке.

— Какая неприятность, дело подсудное!..

— Господи, неужели подсудное?

Девушка в черной шляпке заплакала и полезла в сумочку за платком.

— Повод для кассации...

В третий раз уже слышала Лена эти слова: «Повод для кассации», — точно выборы нужны были для того, чтобы обнаружить повод для их кассации.

Дверь из кабинета распахнулась, и показался председатель избирательной комиссии, за ним — кривенький старичок с синей папкой в руке, за ним виднелись еще

какие-то вытянувшиеся и растерянные лица. Фотограф в белой панаме кинулся к председателю.

— Где прикажете?..— начал было он.

Но вокруг заклубились репортеры и уполномоченные, оттолкнули фотографа, и спутанный клубок людей, неся с собой председателя и рассерженно отбивающегося кривенького старичка с синей папкой, выкатился в коридор. Фотограф, подняв над головой аппарат, ринулся вслед, потерял панаму, подхватил ее на лету и исчез в коридоре.

Из кабинета один за другим молча выходили люди с угрюмыми и сконфуженными лицами. Человек в потрепанном клетчатом пиджаке и черных брюках гармоникой, увидев Хлопушкину, радостно просиял ей крупными глазами и зубами.

— Ну что? Как? — спросила она, замигав своими белыми ресничками, вставая навстречу ему.

— Полная победа, Сонечка! Но, конечно, кассируют,— сказал он вполголоса, склонившись к ней.— Пошли, пошли!

И он, схватив ее за руку, увлек в коридор.

Лена поднялась, не зная, идти ли за ними или еще подождать здесь, но в это время из кабинета показался грузный старый Гиммер с налившимися кровью глазами, за ним еще более грузный и старый Солодовников и еще кто-то. Гиммер был в пальто, с котелком в руке.

— Доигрались!..— говорил Гиммер, злобно фыркая.

Он увидел Лену:

— А, ты здесь? Поедем домой...

Он взял Лену под руку и, сопя, повлек ее по коридору, не отвечая на поклоны расступавшихся перед ним уполномоченных.

Машина, подрагивая и ревя, выбралась из толпы и рванулась по лоснящемуся асфальту; теплый ветер дунул Лене в лицо.

— Доигрались...— снова сказал старый Гиммер, надвигая котелок и подымая воротник.

— А что? Рабочий список получил больше других? — протяжно спросила Лена.

— Больше других?..— Гиммер фыркнул и в упор посмотрел на Лену.— Он получил абсолютное большинство в думе, вот что он получил!..

И Гиммер грузно откинулся на сиденье.

Лена вдруг вспомнила фотографа в белой панаме, и на губах ее заиграла веселая и злая усмешка.

— И что же будет теперь?

— Что же будет?.. Придется всем этим пошлякам, говорунам, чистоплюям отереть плевок, который они получили прямо в рожу, и, придравшись к какому-нибудь пустяку, кассировать выборы. Вот что будет!.. Хотя люди ума и дела предупреждали их, что выборы сейчас — это глупость, маниловщина, преступление! Они, видите ли, кривлялись, что говорят от имени народа, а народ, который признает только силу, дал им коленкой под зад, харкнул им прямо в р-рожу, прямо в р-рожу!..

Гиммер почти кричал.

Лена брезгливо смотрела на него.

XL

— Вы хорошо отдохнули? Извозчик уже здесь, но если вы чувствуете себя слабой, можете еще полежать, он подождет.

— Благодарю вас... Я поеду.

Сиделка помогла Лене одеться.

— Странно, что ваш муж или... простите... не приехал за вами... Уж эти мужчины! Даже самые любящие из них не представляют, насколько это тяжело.

— Он — военный, не мог освободиться...

— Не оправдывайте его, все они таковы!.. Когда это впервые случилось со мной,— мне казалось, я его на глаза не допущу, а не прошло и трех месяцев, как случилось то же самое. Мы, женщины, за ласку все готовы отдать, а мужчины — безжалостные. Позвольте, я вас проведу...

Лена, поддерживаемая под руку сиделкой, вышла на сверкающую солнцем улицу.

— Вам куда ехать? — с тайным любопытством спросила сиделка, подсаживая Лену на пролетку.

— Мне — к Светланской,— неопределенно сказала Лена,— благодарю вас.

— Желаю вам не так скоро снова попасть к нам. Счастливого пути!..

Лене казалось, она осязает каждый раскаленный булыжник мостовой. Отвратительное ощущение присутствия в теле чего-то постороннего, разворачивающего тело изнутри, не покидало ее, и чувство униженной злобы и боли мешалось в ней со щемящим до слез чувством утраты.

Она ехала мимо разросшихся яркой и темной листвой садов, в которых она играла еще маленькой девочкой, когда какой-нибудь яркий листочек, веточка, песчаная тропинка, солнечное пятно в аллее полны были теплого биения жизни и обещали ей что-то. Теперь там играли другие дети,— она слышала их звонкие крики и мягкий топот ног по аллее,— а она, взрослая, умная, полная зрелых сил и возможностей, глотая пыль и морщась от боли, тряслась мимо на грязной извозчичьей пролетке — одинокая, униженная и окровавленная, как сука.

XLI

Весь этот период, с момента разрыва Лены с Ланговым и до ее отъезда в деревню к отцу, навсегда запечатлелся в памяти Лены, как самый тяжелый и страшный период ее жизни — по силе осознания ею бессмысленности ее существования, по мучительным поискам выхода и полной безвыходности, по предельному беспощадному одиночеству ее в мире.

Окончательный разрыв не только с Ланговым, но и со всей окружавшей ее средой ощущался Леной не только внутренне: и внешне она оказалась выключенной теперь из той повседневной праздной суеты, которая раньше создавала видимость жизни.

Вся семья перебралась на дачу, Лена оставалась в городе. Ее никуда не приглашали, никто ее не посещал. Софья Михайловна чувствовала себя оскорбленной в лучших надеждах и чувствах и, когда приезжала в город, держалась так, словно в лице Лены господь послал ей тяжелый крест, который она готова нести до конца. Ада собиралась выйти замуж и просто забыла о существовании Лены. Старый Гиммер, который из-за вечной занятости и чувства самосохранения старался не видеть и не понимать того, что происходит в семье, изредка шу-

тил и заговаривал с Леной, но его обрюзгшее, опустившееся лицо внушало ей отвращение, и она избегала его. Книги валились из рук. Лена боялась подходить к роялю, чувствуя, что, если дотронется до клавишей, в ней прорвется такой поток страданий, что она не в состоянии будет осилить его. Иногда она замечала, что неделями не произносит ни слова.

Участие в выборах показало ей полную невозможность для нее проникнуть в тот мир, к которому принадлежали Сурков, Хлопушкина и, как она предполагала, отец и Сережа.

Выборы правительство кассировало под предлогом того, что к баллотировке был допущен список кандидатов, стоящих вне закона, и того, что большевистские элементы думы развили во время выборов преступную деятельность. Как пример преступной деятельности газеты приводили злосчастный эпизод с лишними записками в избирательном участке на Алеутской. Лена даже усмехнулась, вспомнив молодого человека с длинными семинарскими волосами и девушку в черной шляпке, говорившую: «Господи, господи!» Перевыборы были отложены на неопределенный срок, а большевистские элементы думы, олицетворявшиеся теперь для Лены в виде человека в брюках гармоникой, вышедшего к Хлопушкиной после подсчета голосов, были арестованы.

Каждые две недели Лена посылала письма Сереже, отцу, ответа не было и не было.

Иногда она внезапно просыпалась ночью и мучилась сознанием того, что она не проявила достаточной решительности, чтобы пробить стену между собой и Хлопушкиной. Надо было объяснить все, рассказать об отце и Сереже, добиться доверия, просить помощи! Она решила во что бы то ни стало отыскать Хлопушкину, но никак не могла вспомнить улицу и дом, где они жили. В адресном столе был известен только один Хлопушкин — присяжный поверенный. И все-таки Лена пошла в Голубиную падь и разыскала домик, в котором была когда-то в детстве. Ей отворил дверь незнакомый старичок со спущенными подтяжками.

— Хлопушкина?!

На лице старичка изобразился испуг, немедленно перешедший в гнев.

— Какая Хлопушкина!.. Они давно здесь не живут... У нас с ними никакой связи нет и быть не может! — распалился старичок, краснея луковичным носом с прожилками.

Каждое утро Лена со смутной надеждой разворачивала испещренный белыми квадратами листок профессиональных союзов, но там не было ничего, что могло бы практически указать ей выход. Однажды она дошла до такого отчаяния, что решила явиться прямо в центральное бюро, рассказать все и предложить свою — пусть слабую — помощь. Она разыскала по газетке адрес, лихорадочно оделась и пошла пешком через весь город; центральное бюро помещалось в подвале на одной из окраинных улиц. Но чем дальше она шла, тем яснее вырисовывалась ей наивность и необдуманность ее поступка. Если она не нашла в себе сил и слов, чтобы получить доверие Хлопушкиной, то что сможет объяснить она этим суровым, со всех сторон окруженным врагами людям? Кто поверит ей — чужой, хорошо одетой девушке, племяннице Гиммера?

Долго ходила она мимо темных и пыльных, выглядывающих из-под земли окон, за которыми проступала суровая и недоступная ей жизнь,— чувствуя на себе шильца подозрительных взглядов каких-то субъектов в демисезонах,— и медленно побрела домой.

Потом настал день, когда она уже не могла добыть и листок профессиональных союзов. Она прождала несколько дней, думая, что он, как обычно, выйдет под новым названием, но листок больше не появлялся. А когда она с бьющимся сердцем снова подошла к зданию, где помещалось центральное бюро, темные, выглядывающие из-под земли окна были уже чисто вымыты, и над пахнущей свежей масляной краской дверкой в подвал висела вывеска: «Магазин подержанной мебели».

Мир, к которому она так стремилась и который не впускал ее в себя, был уже окончательно непоправимо отрезан от нее.

И все же Лена еще раз почувствовала его, когда — уже зимой — проходили новые выборы в думу.

Всего несколько месяцев отделяло их от первых выборов, но как изменилось все вокруг!

Давно уже пал последний оплот Советской власти в крае. Давно уже рухнуло правительство Тибера —

Дербера, монотонную болтовню которого, похожую на болтовню зеленого попугая или тихопомешанного, последнее время никто не слушал. Рухнуло и сибирское временное правительство, уступив свое место «верховному правителю России», адмиралу Колчаку. Газеты трубили об успехах сибирских армий на Волге и за Уралом, о полном разгроме красных частей, предсказывали скорое падение Москвы. Власть в крае сосредоточилась сначала в руках Хорвата, пышная скобелевская борода которого была распечатана во всех газетах, потом — в руках еще какого-то генерала с надутым лицом и сивыми усами. В Хабаровске укрепился есаул Калмыков, произведенный Колчаком в генерал-лейтенанты и посаженный атаманом уссурийского казачьего войска. Залитый огнями бронепоезд атамана, как бешеный, носился по уссурийской ветке, искореняя последние остатки крамолы.

В бронепоезде атамана служил Дюдя. Изредка он навещал семью, с визгом врывался в квартиру — в сверкающем мундире с вензелем «К» на рукаве, всегда пьяный, с опухшими веками и выражением жестокой пустоты в глазах. Вениамин представительствовал интересы атамана при «верховном правителе» в Омске. Днем и ночью по улицам мчались, ревя, автомобили и мотоциклы с военными, шли, хрустя сапогами, бряцая оружием, гремя барабанами, стеная валторнами, волынками, кларнетами, разноцветные густые колонны интервентных войск — японцев, американцев, французов, англичан, канадцев, китайцев, сипаев, итальянцев, малайцев, шотландских стрелков. На рейде, отливая синей сталью, стыли их плавучие крепости с заиневшими трубами и реями. Площади и улицы ломились от парадов, от криков разноплеменных команд и меди оркестров. У воинских присутствий толпились оцепленные войсками сумрачные группы уссурийских рекрутов.

Газеты печатали петитом извещения о расстреле большевистских комиссаров при «попытке к побегу» или по военно-полевому суду и крупно — фамилии и портреты Гиммера, Герца, Скутарева, Солодовникова, с шумом жертвовавших гроши на сибирскую армию.

На горах, в Гнилом углу и на Чуркином мысу днем и ночью горели костры, оттаивавшие землю,— отстраивались новые дома, бараки и казармы для войск, госпи-

талей и пленных. Днем и ночью ледоколы, скрежеща, ломали лед на бухте, облака черного, оранжевого, розового дыма и пара стояли над бухтой. Пристани и вокзалы грохотали от сгружаемого и нагружаемого военного снаряжения. Мощные иностранные суда отчаливали, заваленные сибирской рудой, лесом, рыбой, и сухой, пронзительный морозный ветер из Верхоянска слал им вслед ржавые тучи песка и щебня с гор.

В такой обстановке проходили новые выборы в думу. И если первые выборы были сорваны поголовным участием в них рабочих, то вторые — грозным и нерушимым бойкотом. Дума шиберов и спекулянтов собралась, избранная едва тридцатью процентами населения.

В город все чаще стали прибывать эшелоны раненых, обмороженных, больных «испанкой» и тифом.

Чтобы делать хоть что-нибудь, Лена поступила на курсы сестер милосердия и пошла работать в солдатский госпиталь на Эгершельде.

Теперь она ходила в белой косынке и фартуке с красным крестом на груди, стройная и беспомощная, с детскими плечами и материнскими бедрами, с большими темными глазами, горящими сухим отраженным огнем страданий. Разбитая и измученная возвращалась она вечером или ранним утром домой, унося с собой в памяти воспаленные глаза и лица, гноящиеся раны, отнятые руки и ноги, кровавые шматки человечьего мяса, отвисающие, как конские губы. Она уставала от приставаний врачей, офицеров, фельдшеров и постоянной необходимости притворяться перед собой и ими. Ведь она была теперь просто одной из многочисленных сестер в белой косынке с красным крестом на груди, и в лице ее и в походке появилось новое выражение, которое уже не могло говорить о ее недоступности. Ее мучило ощущение боязливой вражды или лицемерного заискивания со стороны раненых солдат перед ней как одной из представительниц того мира врачей, сестер, офицеров, «господ», который распоряжался их миром, миром солдат, «простого народа». Из случайно оброненных фраз, взглядов, бредовых разговоров в ночи она могла видеть, что люди подставляли свои тела под снаряды и шашки не по своей охоте, не за свое дело.

Все, что она видела в госпитале, только подчеркивало жестокость и бессмысленность жизни и полную ее, Лены, беззащитность перед этими беспощадными слепыми силами.

XLII

Первые вести о восстаниях в области, задолго до того, как о них стали писать газеты, Лена услышала за обеденным столом от Гиммера. Гиммер сетовал на то, что восстание лишило его железных рудников в районе города Ольги и что многим промышленникам грозит та же участь: восстали Тетюхинские рудники, крестьяне в районе Спасск-Приморска и в районе Сучанских угольных копей. Он хотел добавить еще что-то, но, посмотрев на Лену, запнулся и потом на расспросы домашних отводил разговор в сторону.

Итак, местность, в которой жил ее отец, в которой умерла ее мать, в которой Лена рвала пионы и лилии и была влюблена в простоголового пастушка, охвачена восстанием... Лена начинала догадываться теперь, почему нет ответа на ее письма.

Вскоре тревожный слушок о восстании загулял по всему городу. Появились люди, выехавшие ранее из тех мест и уже не могшие вернуться туда, пассажиры поездов, подвергшихся обстрелу. Говорили о разгроме богатых имений, заимок и конских заводов на побережье Уссурийского залива. Был расклеен приказ коменданта города о том, что лица, желающие ехать дальше станции Угольной по Сучанской ветке и дальше города Никольска по Уссурийской ветке, должны запасаться пропусками от коменданта. Приказ не объяснял причин этого мероприятия.

К весне первые официальные сведения о партизанах стали проскальзывать и в газетах. Составлены они были по одному трафарету: «В районе такого-то села (или посада) появилась банда красных в столько-то штыков (обычно не больше тридцати — сорока). Банда рассеяна (или уничтожена) милицией (или правительственными войсками), руководитель убит (или захвачен в плен)».

Однажды Лена прочла, что «банда красных», оперировавшая в районе города Ольги, разгромлена, «руково-

дитель банды» Гладких убит, а его сподвижник Кудрявый захвачен в плен. А со слов Гиммера Лена знала, что «банда» эта не только не разгромлена, а захватила почти все северо-восточное побережье и угрожает городу Ольге.

Наезжавший изредка Дюдя, захлебываясь и хвастая, рассказывал о перестрелках бронепоезда с красными и о вылазках, в которых участвовал. В рассказах Дюди неизменно фигурировал какой-то неуловимый партизан Бредюк, появлявшийся почти одновременно возле Шкотова по Сучанской ветке и возле Спасск-Приморска по Уссурийской. Партизан этот поклялся, что рано или поздно взорвет бронепоезд атамана, но бронепоезд был неуловим. Дюдя с такой легкостью рассказывал о взорванных партизанами мостах и водокачках, о спущенных под откос эшелонах, что видно было, что сам он участвует хотя и в более тихих и скрытных, но более страшных вещах: о подвигах атамана ходили такие слухи, что даже в среде Гиммеров к ним относились с опаской и неодобрением.

Уезжая, Дюдя подмигнул Лене, и на лице его появилась пустая и жестокая улыбка:

— А папаша твой тоже... отличается на Сучане!..

У Лены потемнело в глазах.

Наконец в середине марта она прочла в газете, что в Сучанской долине оперирует банда красных, руководимая бывшим председателем Сучанского совета Мартемьяновым, человеком с темным прошлым, и доктором Костенецким, продавшимся большевикам, а ранее служившим в отделе здравоохранения Сучанского совета и похитившим во время бегства казенные суммы.

Несмотря на восстания в области, город жил все той же굴 буднично-праздничной жизнью: до утра работали переполненные, сияющие огнями рестораны, по улицам без конца катились разряженные толпы, пестрящие мундирами солдат и офицеров тринадцати наций, и такая вековая мощь была в грохоте этих тринадцати языков, в звоне оружия, в тяжести крейсеров и пушек, в смраде костров, вокзалов, тюрем, пристаней, госпиталей, в безумном круговращении товаров и денег, что казалось, нет и не будет такой силы, которая может своротить эту давящую людей адскую плиту из металла и крови.

XLIII

Они встретились в средних числах апреля вечером в той же гостиной, где когда-то состоялось их объяснение, и разговаривали, стоя друг против друга, как тогда.

Ланговой еще посушел и отвердел, лицо его посмуглело, но не от солнца, а внутренней нездоровой смуглотой, и на впалых щеках резче обозначились две продольных морщины. Он был в защитном полковничьем мундире, в руке держал фуражку, которую от рассеянности или волнения не оставил в передней, когда пришел.

Лена, только что вернувшаяся из госпиталя и еще не успевшая снять белой косынки, с грустным удивлением рассматривала его фуражку, погоны, длинные ресницы. Ее удивляло не то, что Ланговой спустя девять месяцев после их разрыва снова стоял перед ней, и не то, что при виде его где-то в самой глубине ее души еще стронулось что-то, а то, насколько чужим и ненужным он был теперь для нее.

— Возможно, вам неприятно видеть меня, и я никогда бы не потревожил вашего покоя и чести,— говорил Ланговой с сухим горячим блеском в глазах,— но я уезжаю завтра, и так как я не надеюсь больше когда-либо встретиться с вами, я пришел проститься...

Лена молчала.

— Я посчитал себя обязанным,— продолжал Ланговой,— сообщить вам, что я получил назначение в экспедиционный корпус, действующий против повстанцев, среди которых, как мне известно, находится ваш отец. Я еду на Сучанские рудники... Я посчитал себя обязанным сказать вам это не для того, чтобы после всего, что было, отплатить вам жестокостью этой непредвиденной ситуации... Надеюсь, вы не настолько изменились, чтобы подозревать меня в этом. Но, к сожалению, и не для того, чтобы обнадежить вас возможностью помочь вашему отцу ради вас, хотя это было бы и очень романтично, а вы, как мне пришлось убедиться, еще очень романтичны в душе...

— Вы имеете в виду пощечину? — сказала Лена.

— Нет, я имею в виду не это, а мотивы этого вашего поступка, который я, насколько это в моих силах, постарался забыть... Да, уж если говорить об этом, вы

поступили так, потому что вам было жалко этих людей, вы были потрясены их видом и судьбой, но еще больше вы были потрясены тем, что я был виновником этой их судьбы, а не абстрактным виновником,— тогда бы вы не почувствовали этого,— а делал это собственными руками на ваших глазах... Да, вы были наивного романтического представления обо мне! Я же никогда не уважал людей, которые, трубя о своей преданности долгу, выполняют его чужими руками, прячась за чужие спины, избегая ответственности... Конечно, это уже теперь все равно для вас. Но все-таки я считаю себя обязанным сказать вам, что при новом назначении я впервые в жизни приложил все силы к тому, чтобы не принять его, а получив его, буду выполнять свой долг так же, как всегда выполнял.

— Я уже имела возможность убедиться в этом,— ледяным голосом сказала Лена,— вы тогда очень удачно позировали...

— Позировал? Что ж, я имел право на это, если это так!

— Возможно. Но вам надо научиться еще лучше скрывать страх и отчасти голос совести. Право, вы оказались не так храбры и жестоки, как я надеялась!

— Что вы хотите сказать этим?

— Что вы действительно выполните это сомнительной чести дело, которое вы с таким пафосом называете своим долгом. Но нельзя одновременно выдавать векселя и на благородство и на подлость: какие-нибудь останутся неоплаченными.

— Да, очевидно, вы все-таки переменились,— помолчав, сказал Ланговой,— когда-то вы говорили, что вы сочувствуете всякому, кто искренне убежден в том, что он делает. Или вы уже не верите в мою искренность?

— Я никогда не говорила, что я сочувствую человеку, который искренне делает подлости,— с внезапной злобой сказала Лена.— И я думаю также, что подлые дела нельзя делать искренне, без внутренней фальши. Если же можно, то стопроцентные подлецы действительно более приемлемы для меня, чем подлецы, рядящиеся в благородство. К сожалению, вы даже не стопроцентный, а с оглядкой... Это очень смешно и... противно...

— Я жалею, что вы чувствуете себя вынужденной оскорблять меня. Бог с вами, Лена!.. Я должен только

сказать вам, что мои чувства и внутренние обязательства перед вами остались неизменны, и во всем, что касается вас лично, вы всегда можете рассчитывать на меня, если захотите. Я искренне желаю вам счастья, Лена... Прощайте!..

Он низко поклонился ей.

— Обождите...— тихо сказала Лена.— Вы едете на Сучанские рудники?

— Да.

— Вы едете завтра?

— Да.

— Возьмите меня с собой...

Изумление, недоверие, тайная надежда одновременно изобразились на его лице.

— Вы неправильно поняли меня,— быстро сказала Лена,— но это единственный и последний случай, когда я действительно вынуждена рассчитывать на вас, и только на вас... Возьмите меня с собой и помогите мне пробраться к отцу.

— Это безумие, Лена!..

— Вы уже начинаете не платить по своим векселям, хотя вам нужно сделать очень малое: достать мне пропуск и никому не говорить, что я еду туда... Дальнейшее я уже беру на себя.

— Боже мой, Лена, вы не знаете, о чем просите меня. Вы не знаете этих людей, вы идеализируете их... Вы на первом же шагу попадете в звериное логово — хуже, чем в звериное! Страшно подумать, что они сделают с вами!

— Нет более страшного звериного логова, чем то, в котором я нахожусь теперь,— устало сказала Лена.— И я уверена, что они ничего не сделают плохого дочери «похитившего казенные суммы» доктора Костенецкого,— нотка гордости прозвучала в ее голосе.— Пожалуй, я еще могу вам сказать, что *прошу* вас помочь мне. Если вы откажете, я уж больше ничего не скажу вам.

Ланговой некоторое время молчал. Резкая складка обозначилась на его лбу. Потом на лице его появилось выражение твердости и сухости.

— Хорошо, я сделаю это,— сказал он.— Но я оставлю за собой право сопровождать вас до тех пор, пока вы сочтете это нужным, и отговорить вас...

— Этого так называемого права я не могу отнять от вас, хотя и *считаю себя обязанной*,— подчеркнула она напыщенно, копируя Ланговего,— предупредить вас, что это безнадежно.

— Все равно. Прикажете заехать за вами?

— Я приду на вокзал. Поезд идет вечером?

— В девять утра: вечерние поезда отменены.

Последнее замечание впервые реально представило Лене тот риск, которому она подвергает себя, и, должно быть, это отразилось на ее лице, потому что Ланговой поспешно спросил:

— Может быть, вы все-таки раздумаете?

— Нет, нет,— торопливо сказала Лена.

XLIV

К поезду было прицеплено несколько вагонов с солдатами. Лена наблюдала в окно, как солдаты бегали на станциях с чайниками за кипятком. На каждой остановке приходил денщик, и Ланговой посылал его за конфетами, печеньем или цветами.

Лена смотрела в окно на только что освободившуюся от льда холодную гладь залива, на рыбачьи артели с сетями на гальке, на весенние караваны гусей и уток. Целый этап жизни остался позади. Мир двоился в глазах Лены.

В раскрытом окне домика возле станции, прямо против вагонного окна, Лена видела простую белокурую женщину в белой ситцевой блузке; женщина сидела в профиль и шила, напевая что-то; у нее была нежная золотистая кожа на лице и руках и белая тонкая шея, под узлом волос на затылке курчавился золотистый пушок. Душевным покоем, ласковым материнством веяло от этой женщины,— счастливой казалась ее жизнь из окна вагона! Но, возможно, это был и обман,— может быть, у этой женщины умирали дети, а муж был пьяница и бил ее, а мир ее был ограничен и убог.

Лена видела громадных чумазых китайцев-ломовиков, привезших уголь на станцию; у них были белые сверкающие зубы, лбы, лоснящиеся от солнца и пота; ломовики боролись на поясах, упершись в землю каменными ногами, смеясь, как гунны, как дети, и мулы ша-

рахались от них, дико кося глазами. Весенняя могучая кровь струилась в жилах этих людей, великой силой жизни, первозданной красотой мужества веяло от них. Но, должно быть, они жили в вонючих вшивых бараках, и подрядчики крали хлеб у их детей, и косная темнота неведения окутывала их мозг...

Иногда Лена со злорадством вспоминала, что уехала, не предупредив никого дома и в госпитале,— это было пока единственное, чем она могла отомстить всем этим людям.

Кроме Лены и Лангового, в купе ехали еще: полная дама — жена владельца лесопильного завода, сорокалетняя железнодорожная дама с пледами, холодными котлетами и дорожными разговорами, и горный инженер — маленький короткошеий человечек лет тридцати двух, в серой штатской тройке и форменной фуражке с молотками. Фуражку инженер снимал, только когда ложился отдыхать; перед тем как лечь, он спрашивал разрешения у дам. У него были круглая подвижная голова с темно-русым ежиком, живые умные глазки, и весь он смахивал бы на ежа, если бы не широкий, с вывернутыми ноздрями нос его. Это был типичный низовой инженер — не из тех, что управляют и проектируют, а из тех, что работают в шахтах,— в манерах его было что-то грубоватое, в разговоре он часто употреблял простонародные выражения. Но инженер, видно, любил свое дело,— всю дорогу он штудировал изрядно потрепанный курс горного искусства в двух томах, черкал красным и синим карандашом, ставил на полях вопросительные и восклицательные знаки. Впрочем, инженера интересовали и многие другие явления природы и жизни,— так, например, на станции Угольной инженер купил в буфете десяток слоеных мясных пирожков. Он принес их в засаленной газетной бумаге.

— Откушайте,— сказал он неожиданно тоненьким голоском, простовато вывернув ладошку,— чудные пирожки. Угольная всегда ими славилась. Я тут всегда их покупаю. Очень чудные пирожки... Ну, правда. теперь уже вкус в них не тот, что в царское время, при царском, так сказать, режиме, теперь уж и мясо не то, и тесто не то, и масло не то, а все же хороши,— ласково говорил он.

От пирожков все вежливо отказались; инженер сокрушенно покачал головой, выложил пирожки на столик и углубился в курс горного искусства.

Присутствие этих людей мешало Ланговому говорить с Леной, но Лена все время чувствовала на себе его горячий, вопросительный взгляд и, чтобы избежать разговора с ним, не выходила на станциях. Стоило ей выйти в коридор, Ланговой следовал за ней как тень.

— Неужели вы не послушаете меня, не поверите мне? Как мне убедить вас? — говорил он со страстью.

Однажды Лена грубо сказала ему, что он мешает ей пройти в уборную.

На станции Угольной поезд долго стоял, потом пришел кондуктор и попросил закрыть окно.

— Зачем? — наивно спросил инженер.

— Бывает, обстреливают...— с угрюмой застенчивостью сказал кондуктор.

— Какой ужас!..— воскликнула дама.— Неужели каждый поезд?

— Почти каждый, особливо, если с войсками...

— Какой ужас! Когда я уезжала от мужа, ничего этого не было. Подумать только, какой ужасной стала жизнь!.. Я гостила у сестры в Посьете, на корейской границе, и там тоже неспокойно. Говорят, корейцы восстали против японцев. Русские корейцы прячут беглых из-за границы, ночами то и дело выстрелы, грабежи,— просто ужас! — говорила она, кутаясь в плед.— Когда вы только избавите нас от всего этого!..

Она кокетливо косилась на Лангового.

Ланговой холодно смотрел на нее. Инженер весело жмурился,— дама эта почему-то всю дорогу очень забавляла инженера, он охотно вступал с ней в разговор и делал при этом какие-то мелкие жесты рукой, точно трогал даму лапкой, как котенок игрушку.

На ближайшей станции после Угольной группа военных проверила пропуска. Поезд тронулся. В купе стало напряженно тихо. Такая же напряженная тишина чувствовалась во всем вагоне и, должно быть, во всем поезде,— ни разговоров, ни хлопанья дверей,— только размеренно стучали колеса, да где-то в диване тоненько позванивала пружина. Инженер, лежа, читал свое горное искусство, дама тяжело вздыхала,— слышно было, как

у нее урчит в животе. Ланговой брезгливо и зло смотрел в одну точку. Лена, не чувствуя опасности, сидела глядя в окно, облокотившись о столик.

Поезд шел по глухим местам — синие хребты, холмы с черными и зелеными квадратами полей, голые скалы, леса с еще не распустившимися почками, озера в сухих прошлогодних камышах, редкие хутора, заимки, белые палатки военных пикетов.

Иногда поезд с грохотом врывался в ущелье,— Лена замечала собственное унылое лицо в окне и машинально припудривалась.

Поезд пересек долину,— возле моста через речку валялись под откосом сломанные теплушки, колеса; поезд, все замедляя ход, пошел на подъем по холмистой местности в кустарниках и перелесках.

Лена впоследствии так и не могла вспомнить, с какого момента началось это,— так все вышло неожиданно и неправдоподобно после этой белокурой женщины с золотистым пушком на затылке и детским шитьем в руках. Кажется, Лена увидела кучки людей с ружьями, перебегавшие с одного холма на другой, потом показались белые дымки в кустах, послышались какие-то трескучие звуки, сливавшиеся со стуком колес, и сразу вслед за этим часто и сильно затрещало в хвосте поезда. Перед Леной со звоном рассыпалось стекло, едва не поранив ее. Дама испустила вопль и, как мешок, упала на бок.

— Уйдите от окна!..— не своим голосом закричал Ланговой и с силой отдернул Лену за руку.

На мгновение она увидела его сузившиеся колючие глаза, каким-то образом он очутился на ее месте, закрывая ее своим телом,— он держал в руке револьвер и смотрел в разбитое окно, в которое явственно доносился теперь треск из кустов и из хвоста поезда. Поезд, скрипя и лязгая буферами, двигался резкими толчками, пытаясь убыстрить ход, но точно прыгал на месте.

Инженер, медленно отложив томик горного искусства, сел и внимательно посмотрел на даму, лежавшую на боку. Убедившись, что она просто лишилась чувств от испуга, он посидел некоторое время, держась руками за диванчик, скосив голову, глядя одним глазом в пол, как петух, рассматривающий зерно перед тем, как клюнуть. Потом подмостил повыше подушку, лег и снова

взял томик горного искусства. Впрочем, он тотчас же отложил его и посмотрел на Лангового.

— Вы не вздумайте стрелять,— спокойно сказал он,— дам напугаете... Ишь как пары дает,— любовно сказал он про паровоз и, покосившись на Лену, подмигнул ей.

Поезд перевалил гору и, убыстряя ход, помчался под уклон. Некоторое время слышны были еще выстрелы в хвосте поезда, где ехали солдаты Лангового, потом все смолкло. В вагоне захлопали дверьми, послышались голоса и топот ног в коридоре.

— Все живы? — спросил кто-то, отворяя дверь в купе.

— Достаньте нашатырного спирта — здесь одна дама в обмороке,— сказала Лена.

Все так быстро произошло, что Лена не успела испугаться, только в глазах ее появилось удивленное выражение. Некоторое время спустя она подумала, что среди людей, обстреливавших поезд, могли быть отец и Сережа, и мысль эта взволновала ее.

Даму привели в чувство.

— Я умираю...— говорила дама, обливаясь слезами. Краска и пудра растекались по ее увядшему лицу.

На ближайшей станции Ланговой пошел проверить, нет ли жертв среди солдат. За ним выбежал и горный инженер.

Инженер вскоре вернулся.

— Трое убито и человек с десяток ранено, двое тяжело,— с удовольствием рассказывал он, поблескивая своими живыми глазками,— а из пассажиров никто не пострадал. Только, говорят, в одном вагоне свалилась с третьей полки корзина с яйцами и контузила в голову священнослужителя...

Через некоторое время поезд прибыл в Шкотово. Инженер достал из-под изголовья бумажный сверток, накинул пальто.

— Мне тут одному знакомому на станции посылочку передать,— словоохотливо пояснил он,— вы уже присмотрите, пожалуйста, за моими вещишками...

Но, очевидно, инженер заговорился со своим знакомым: поезд простоял в Шкотово более двух часов, а инженер все не появлялся. Наконец поезд тронулся, а инженера все не было.

А когда контролер, кондуктор и проводник раскрыли оставшийся после инженера потертый чемодан, весь заклеенный багажными квитанциями и гостиничными ярлыками, обнаружилось, что чемодан набит опилками, прикрытыми сверху газетной бумагой.

XLV

От станции Шкотово поезд прошел около десяти верст и остановился посреди леса. Уже вечерело. Оказалось, что впереди разобран путь. Поезд задним ходом пошел обратно в Шкотово. Там он простоял всю ночь.

Ночью Лена часто просыпалась, вся в поту, с бьющимся сердцем. Однажды она проснулась оттого, что на станцию прибыл японский эшелон. Японские солдаты, пыхая сигаретами и поблескивая штыками, прыгали из вагонов. Люди с фонарями бегали вдоль эшелона, стучали по колесам. У одного из вагонов синим пламенем горела букса, и там тоже возились и стучали темные группы людей с фонарями. Потом эшелон отбыл в сторону станции Кангауз.

Весь следующий день поезд так медленно продвигался от станции к станции и так подолгу стоял, ожидая, пока починят мосток впереди, или пропуская вперед поезда с воинскими грузами, что Лена вовсе отчаялась — доедет ли она когда-нибудь.

На станцию Кангауз прибыли, когда уже совсем стемнело. Владелец лесопильного завода встретил свою жену. Последние пассажиры покинули поезд. Солдаты из задних вагонов строились на перроне.

Лена и Ланговой одни стояли на станционном крыльце. Денщик караулил вещи внизу. Сумрачные горы, заслоняя небо, обступали станцийку со всех сторон. Внизу, в котловине, мигали огни поселка, горели багровые костры, вырывавшие из темноты полотнища военных палаток.

— Нет, Лена, вы не можете остаться здесь одна,— глухо говорил Ланговой.— Право, пойдемте с нами. За перевалом начинается узкоколейка, и там нас ожидает специальный поезд...

— Я буду ночевать здесь,— тихо повторила Лена.

— Но где же? Вы никого не знаете, гостиницы здесь нет...

— На станции. Ночуют же другие...

— Слушайте, Лена, это просто неразумно. В конце концов, если вы не хотите ехать со мной на рудник и отказываетесь вернуться, то ведь вы же сами говорили, что вам нужно до Сицы... По крайней мере, мы проводим вас до Сицы, вам не страшно будет одной переходить перевалы, вам не придется часами ожидать поездов...

— Не хитрите, Ланговой...

— Зачем вы обижаете меня в последнюю минуту? Я никогда не хитрил с вами. Не думаете же вы, что я потащу вас силой, если вы пожелаете остаться на Сице?

— Не хитрите перед самим собой...

— Лена, сейчас не до психологии, это просто смешно. Ну, почему бы вам, действительно, не поехать с нами до Сицы?

— Вы хотите знать?..— Лена прямо посмотрела на Лангового.— Я думаю, мне *невыгодно* дальше двигаться с вами, вы можете скомпрометировать меня...

— Скомпрометировать?! Перед кем?..

— Перед партизанами.

— Вот как!..

Ланговой замолчал.

— Прикажите дать мне мой саквояж,— сказала Лена.

Ланговой молча смотрел на нее.

— Лена,— сказал он,— остались последние мгновения, когда я еще могу видеть вас и говорить с вами...

— Как вы любите драматические положения!

— Мне хочется сказать вам, что я всегда любил и люблю больше своей жизни только вас одну и что я глубоко и непоправимо несчастлив... Я прошу вас только об одном: положите себе руку на сердце и с последней силой правды скажите, не можете ли вы пересмотреть наново все то, что было, и вернуть то чувство любви и доверия ко мне, которое у вас было... вернуть хотя когда-нибудь?.. Не отвечайте сразу. Я вас прошу... Подумайте над этим...

— Дайте мой саквояж,— протяжно сказала Лена.

— Значит, кончено?..

Лена молчала.

— Тимофей! Дай саквояж Елены Владимировны...

Приняв саквояж, Ланговой некоторое время подержал его в руке,— это было последнее, что еще связывало их, потом протянул Лене.

— Прощайте, Лена...

— Прощайте, Ланговой...

Лена взялась за ручку двери и на мгновенье остановилась. Она слышала шаги Лангового по ступенькам. Шаги смолкли.

— Лена!..—позвал Ланговой.

Лена распахнула дверь и вошла в станционное помещение.

XLVI

Перекинув через руку пальто, а в другой держа саквояж, Лена стояла на перевале. Было не более шести утра. Клочья тумана ползли по склонам гор, а в долинах и распадках туман лежал еще густыми полосами. Мутное солнце только поднялось над дальним гребнем; на перевале, где стояла Лена, набухшие за ночь, готовые распуститься почки золотились в росе. Возле трех палаток под деревьями стоял американский солдат с ружьем; другой, с намыленным лицом, брился, сидя неподалеку на складном стуле, пристроив на ветке зеркальце.

Мимо Лены по узким поблескивающим колеям ползли через перевал на стальных тросах вагонетки без людей: груженные углем — в сторону Кангауза, пустые — вниз, куда смотрела Лена. Вагонетки, уголь, тросы были мокры от росы. Внизу выступали в тумане строения какой-то станцийки, будка электрического подъемника, штабеля дров и леса. Маленький паровоз «кукушка», посвистывая, сновал по путям, и дым его смешивался с туманом. Это была станция узкоколейки.

В одной из пустых вагонеток, движущихся со станции Кангауз, лежало двое рабочих с задранными кверху ногами. Увидев Лену, они быстро убрали ноги.

— Садись,— подвезем! — крикнул один, откидывая стенку.

Лена бросила им саквояж и пальто и сама вскочила на вагонетку.

— Далеко едешь, товарищ? — спросил рабочий, пригласивший ее.

— На рудник...— запнувшись, сказала Лена.

— Учителька, что ли?

— Да, учительница...

Вагонетка круто ползла книзу; золотящиеся почки и палатки американцев, казалось, повисли над головой.

...Меня маманя упреждала,
Я мамани не жалел...—

тоненько и сипло запел второй рабочий.

— Скажите, поезд на рудник скоро будет? — спросила Лена.

— Да тут ведь расписаниев нету... Однако скоро должен быть, что-нибудь уж повезут... Ну-ка, Ваня, готовься, а то под бункер уйдем... Прыгай, товарищ учителька! — сказал первый рабочий, откидывая стенку.

Лена выпрыгнула, рабочие подали ей пальто и саквояж и выпрыгнули сами,— вагонетка погрузилась в какую-то темную пасть.

Лена, не спавшая всю ночь, прикорнула на солнышке возле станции, где уже сидели группы ожидающих поезда рабочих и работниц. Проснулась она оттого, что кто-то толкнул ее в плечо.

— Вставай, девка, поезд проспишь,— говорила пожилая женщина в рваном переднике.

Женщина подхватила корзинку с проросшим картофелем и кинулась к составу из трех вагончиков, в которые, смеясь и толкаясь, лезли люди с мешками, корзинками и инструментами. Лена, не решаясь принять участие в этой давке, растерянно прошла вдоль состава со своим саквояжиком.

— Ваня! А учительку-то нашу забыли!..— раздался знакомый голос, и с площадки заднего вагона, сплошь забитой людьми, протянулись к Лене две жилистых руки.— Давай сюда свои причиндалы... Ваня, держи!..

— Да тут местов нету! — роптал кто-то.

— Ну, как нету,— гляди, кака она тоненька, учителька-то...

— А саквояж куда, на голову?

— А саквояж к тормозу привяжем,— лениво говорил Ваня.

— А ежели тормозить?

— А ежели тормозить — отвяжем,— лениво отвечал

Ваня в то время, пока первый рабочий подсаживал Лену.

Облитые солнцем хвойные леса, искрящиеся водопады, овраги с остатками почерневшего снега, нежные перья облаков, вербовый пух мчались мимо Лены; в лицо бил вольный, пахнувший смолой ветер, на сарафане оседала пыль. Сильная жилистая рука придерживала Лену, обняв ее ниже груди, но Лена не только не испытывала неловкости, но чувствовала необыкновенную благодарность и доверие к этой руке.

Ее радовало то, что никто не обращал на нее внимания и не заговаривал с ней, и то, что люди, забившие площадку позади нее, свободно, весело и безбоязненно ругали власть, хвалили партизан и хвастали их успехами, как своими, изрядно, должно быть, привирая.

— Заходит он на вокзал, прямо в буфет первого классу, кругом дамы, офицерья,— мурлыкал чей-то самодовольный голос,— ну, ведь он тоже оделся по форме, честь честью, принимают его за своего. Подходит это он к стойке, стакан водки выпил, селедочкой закусил и — прямо на телеграф. Сразу дверь на ключ, достает револьвер. «Вызови мне,— говорит телеграфисту,— по прямому самого атамана Калмыкова!..» — «А вы, извиняюсь, кто такой будете?» — «А я — партизан Бредюк, хоть это, говорит, впрочем, не ваше дело...» Телеграфист, понятно, полны штаны напустил, давай вызывать...

— Вот это — да! — засмеялись вокруг.

— Достукался он до самого атамана. Тот передает. «Я — атаман Калмыков. Кто требует?..» — «Партизан Бредюк требует».— «Что тебе надо, бандит?» — «Надо мне, ваше превосходительство, послать вас к такой матери, а поезд твой я все одно взорву и тебя, гада, белопогонника, в пролубь спущу. Точка и амба!..»

— Тю-тю! Во, проздравил атамана!..

— А как же он обратно вышел?

— Так и вышел. Телеграфиста припугнул: «Ежели ты, говорит, гнида, шум подымешь, я тебя под землей найду». Дверь с обратной стороны закрыл, на лошадь и — айда...

— Смело!

— Этот Бредюк начудит!

— Что — Бредюк! Вот под Ольгой, говорят, командир Гладких, так это командир...

— Да и уж наш Мартемьяныч, думаю, не подгадит: слыхать, скоро на рудник пойдут...

— И то пора, а то ни жратвы, ни денег, детишки с голоду пухнут...

— Детишки — что: им не впервой пухнуть. Главное дело, беляки силу набирают. Ночью опять эшелон прошел. Говорят, новый начальник гарнизона...

— Этот подвернет гайку еще чище...

На противоположном конце площадки двое внезапно и неизвестно из-за чего подрались. Их быстро уняли, но они еще долго матерились, попрекая друг друга.

С этой группой рабочих, часам к трем пополудни, пройдя еще один перевал с ползущими через него, как бурые черви, вагонетками, Лена добралась до станции Сицы. Чтобы избежать расспросов, почему она остается здесь, ей пришлось выждать за станционным сараем, пока отойдет поезд. Потом она расспросила дорогу в деревню Хмельницкую и храбро двинулась в путь.

Обливаясь пóтом, она перекладывала пальто и саквояж из одной руки в другую; наконец ей стало ясно, что она не в состоянии донести обе вещи. Тогда с небрежностью человека, которому вещи достаются без труда, Лена выбросила пальто в кусты.

Дорога шла тайгой через горы, лес стоял безмолвен; никто не обгонял Лену, никто не встречался ей; слышен был шорох каждого сухого листа. Лена перевалила одну гору, за ней виднелась другая. Дорогу обступали чудовищные нагромождения бурелома: вывороченные с пластами земли корни упавших дерев стояли, как пирамиды.

Жуть овладевала Леной. Что, если она не успеет дойти до деревни и ей придется ночевать одной в этом бору? Она убыстряла шаг, бежала, спотыкалась, падала, подбирала саквояж и снова шла, прерывисто дыша, держась рукой за сердце.

Весенний мутный поток с выступающими из него склизкими валунами с ревом перегораживал дорогу. Лена походила возле, отыскивая кладку или упавшую лесину; потом, как была, в красных сапожках вступила в ледяную воду. Вода била выше колен. Приподняв в дрожащей от напряжения руке саквояж, Лена все же

выбралась на другой берег и побежала, даже не вылив из сапожков воды.

И вдруг за поворотом дороги оборвался лес, и перед Леной раскинулся просторный, залитый вечерним солнцем луг в яркой мураве, подснежниках и фиалках. В дальнем конце его виднелась поскотина в молодых кустах, за кустами выступали тесовые и соломенные крыши изб и колодезные журавли. И Лена едва удержалась от слез, когда над одной из крыш увидела поникший красный флаг.

Из кустов вышел пожилой крестьянин в войлочной шляпе — в сопровождении мальчика-подростка лет тринадцати. Крестьянин был опоясан патронташем и в руке, как палку, держал ружье.

— Стойте! Кто такая будете? — спокойно спросил он, пощипывая пальцами козлиную серую бородку.

Лена растерялась, не зная, как назвать себя.

— Я иду из города... Мне нужен штаб или комитет партизан... Там должен быть мой отец...

— Отец? — недоверчиво переспросил крестьянин.— Кто он будет, ваш отец?..

— Доктор Костенецкий...

— Владимир Григорьевич?

— Да, да...— радостно сказала Лена.

— Ловко!..— Лицо крестьянина распустилось в улыбке.— А я и не знал, что у него дочка есть. Вы, видать, в городу жили? Учились, что ли?

— Вот-вот...

— Ловко!.. А и вымочились же вы! Вода еще больно студена, как раз заклечетеешь. Гриня! Проводи девку до избы, скажи... Да нет, видать, самому придется. Держи-ка амуницию...

Он передал мальчику ружье и патронташ.

— Значит, ты близко не подпущай, а сдалека кричи: «Стой! Кто идет?» Ты не гляди, что я вот ее до себя допустил, потому я уж видел: идет девка одна... Ежели скажет: «Свой»,— расспроси и к председателю сведи, а ежели видишь — беляки, стреляй три раза и беги в кусты, чтоб не поймали... Пойдем, девка!..

— У нас тут караул подворно,— пояснял он, шагая с Леной в деревню,— ну, старшой у меня в отряде в Перятине, а этот еще мал, а бабы к этому делу не способны — приходится самому... Так вы, значит, дочка

Владимира Григорьевича? Ловко!.. Да ведь я его хорошо знаю. И то сказать, кто его не знает... Он ведь все в Скобеевке живет. И в штабу работает, и больных лечит... Степан! — окликнул он парня, ладившего борону во дворе.— Беги к председателю, скажи, чтоб в карауле меня заменил,— у меня гости: дочка скобеевского доктора приехала. А то парнишка мой, боюсь, по коровам палить начнет...

Парень, отложив борону, побежал впереди них по улице, по которой уже ложились вечерние тени.

— Вот он, дворец мой,— сказал крестьянин, останавливаясь возле одной избы.— Не побрезгуйте...

Женщина в повойнике возилась возле печи; из темного угла глянули хмурые лики образов. Женщина вопросительно подняла голову, задержав в печи ухват.

— Вот привел тебе дочку Владимира Григорьевича, что лечил тебя, не забыла?.. Ты эти дела бросай, беги к соседке за самогоном, надо девке ноги растереть... Яйца-то у нас еще остались. Яишенку бы не грех. Садись, девушка, давай свою хурду...

— Скажите, я подводу здесь достану? — спросила Лена, садясь на скамью.

Крестьянин, став на одно колено, стащил с нее сапожки, мокрые чулки.

— Подводу как не достать... Добрые сапожки, а пропасть могут. Ну, мы в них овса насыпем, а к утру смажем, и ловко будет...

Он выспрашивал городские новости — «много ли силы этой, японцев, идет», и «можно ли купить что», и «что это за новые деньги Колчак выпустил», и «что про Советскую Россию слыхать». Лена, напрягая память, выкладывала все, что́ читала и слышала, и ей было стыдно, что она ничего не может толком рассказать ему.

Дверь в другую половину избы, с закрытыми ставнями, была приотворена; женщина в темноте однообразно качала люльку и тоненько-тоненько напевала что-то нерусское.

— Вот он, самогон! Теперь у нас дело ловко пойдет...— сказал крестьянин, принимая от жены бутыль.— Да нет, сама налей...

Он подставил свои, в коричневых мозолях, ладони.

Спускались сумерки; в печи шипела яичница; Лене покалывало ноги, жар поднимался выше колен, по всему

телу разливалась истома, смыкались веки. Крестьянин, склонившись перед Леной на коленях, все растирал и растирал ей ноги шершавыми бережными ладонями, и Лена уже сквозь дрему слышала, как позвякивает кольцо от люльки и тоненько-тоненько поет женщина:

Трансваль, Трансваль, страна моя,
Горишь ты вся в огне...

XLVII

При свете ночника и лампады они ужинали — крестьянин, его жена, сноха, дочь, вернувшаяся с огорода, сынишка, снятый с караула, и Лена. Они сидели вокруг стола и ели из общей миски деревянными ложками, подставляя куски хлеба, чтобы не капало на стол,— это походило на игру. Лена сидела с обернутыми в тулуп ногами. Брякнула щеколда, и маленький человечек переступил порог.

— Здесь, что ли, дочка Костенецкого остановилась? — выступая на свет, спросил он знакомым Лене веселым и тонким голоском.

— Здесь, здесь, милости просим! — сказал крестьянин.

Лена так и застыла с ложкой.

Перед Леной, изумленный не менее ее, стоял маленький горный инженер. Он был теперь в черной сатиновой гимнастерке и пыльных сапогах, но в той же инженерской фуражке, только уже без молотков.

— Ну, знаете ли, бывают номера!..— сказал он тоненько и покрутил ежовой своей головой.— Так вы, стало быть, и есть дочка Костенецкого?

Вся семья, оставив еду, с любопытством смотрела на них.

— Я и есть... Я вас тоже не ожидала здесь встретить,— удивленно приподняв брови, сказала Лена.— Вы так загадочно исчезли...

— Ага, стало быть, раньше видались, а теперь невзначай встрелись,— удовлетворенно сказал крестьянин, снова принимаясь за еду.— Ловко!.. Кушать с нами...

— Да я уж откушал... Действительно, ловко! Сижу я у председателя, прибегает парень — что-то насчет караула. Говорит: приехала дочка скобеевского доктора.

«Костенецкого?» — говорю. «Костенецкого». А о Костенецком я слыхал, да и о вас кое-что Хлопушкина мне рассказывала...

— Вы знаете Хлопушкину?! — с радостным изумлением воскликнула Лена и покраснела.

— Немного знаю: это, видите ли, жена моя... Правду сказать, по ее обрисовке не выходило, что вы должны бы к партизанам приехать, да ведь чего на свете не бывает... Но что вы окажетесь той самой барышней, с которой я в поезде ехал,— этого уж я никак не ожидал!.. Ну, будем знакомы наново... Алексей Чуркин,— сказал он, протягивая руку.

— Но вы все-таки инженер или не инженер? — улыбнулась Лена.

— Такой же инженер, как вы, извиняюсь, паровозный машинист,— весело поблескивая глазками, отвечал Чуркин.

— Вот оно что!.. Вы, стало быть, инженером переодеты были? — радуясь своей догадливости, спросил крестьянин.

Это показалось ему настолько смешным, что он бросил ложку и залился хохотом, падая грудью на стол.

— Вот так инженер!.. Хо-хо-хо!..— заливался он.— Ну, инженер!.. Хо-хо-хо!..

— Тю — на тебя! — сказала жена.

— Как же вы пропуск достали? — наивно спросила Лена.

— Ну, это дело нехитрое: пропуска мы сами делаем... А даму-то помните? — Чуркин подмигнул Лене.— Очень чу́дная дама. Помните, что с ней стало, когда стрелять начали? — Он тоненько засмеялся.— А офицерик-то!.. Это что за офицерик? — спросил он как бы невзначай.

— Один из знакомых Гиммера,— спокойно сказала Лена.

— Так...— Чуркин постоял в раздумье.— Этот, знаете ли, будет стрелять и вешать...

— О, он будет! — убежденно сказала Лена.— Вам, значит, Хлопушкина рассказывала про меня? — спросила она с грустью.— Если бы она знала, как мне хотелось поговорить с ней тогда, на выборах! Ведь я обо всем догадывалась... Я ее так искала потом — и в адресном столе, и дома — и не могла найти...

— Найти ее сейчас хитро,— согласился Чуркин.— А коли б было не хитро, она бы уж давно в тюрьме сидела... Ну что ж, значит — все прекрасно,— сказал он, как бы сделав какой-то внутренний вывод.— Завтра, стало быть, вместе поедем. Здесь, кстати, есть одна скобеевская подвода,— говорят, какой-то мужик возвращается с Кангауза. Я с ним пойду сговорюсь, а вы ложитесь, спите,— подыму я вас раненько. До свидания пока... Прощайте, хозяева!

И, помахав своей плотной, похожей на карасика ручкой, он вышел, оставив Лену удивленной и внутренне растревоженной.

XLVIII

Чуркин, или Алеша Маленький, как его чаще звали (в подпольном комитете был еще Алеша Большой), отыскал избу, в которой, ему сказали, остановился возвращавшийся с Кангауза скобеевский крестьянин. Это была изба зажиточного крестьянина — рубленная глаголем, с резным крыльцом и коньками. Высоко в небе стояла половинка месяца, и изба и улица лежали в серебре.

Перед самым носом Алеши распахнулись тесовые ворота, и хозяин выпустил лошадей в ночное. На передней ехал парнишка в белой рубахе. Жеребенок, подбрыкивая и звеня колокольчиком, боком-боком прошел мимо Алеши, заржал, сзади откликнулась матка. Алеша пропустил лошадей и зашел в просторный, обнесенный строениями двор.

— Скобеевский у вас ночует? — спросил он хозяина, запиравшего ворота.

— У нас...

— Мне бы сговориться с ним.

— Вон он сидит...

Хозяин кивнул в глубину двора.

Рослый, широкой кости черноголовый мужик сидел на краю телеги, свесив ноги, приподняв могучие плечи, освещенные месяцем.

— Здравствуйте,— сказал Алеша.

— Здравствуй...— медленно ответил мужик, сверкнув белками; жесткая, как проволока, черная борода обкладывала лицо мужика.

— В Скобеевку завтра едешь?

— Завтра...

— Двоих с собой можешь захватить?

Мужик каменно смотрел мимо Алеши.

— Я заплачу́,— чуть улыбнулся Алеша.

— Чего ж платить... Приходите на рассвете...

— Нам в ревком надо,— сказал Алеша, как бы извиняясь.

Мужик молчал. Дремучая, каменная сила была в этом мужике.

— Ты на Канғаузе был? — полюбопытствовал Алеша.

— Да... Китайского купца отвозил.

— Не боязно было?

— Чего ж мне бояться?..

— А если бы белые захватили?

— Я в самый поселок не въезжал.

— А хунхузы могли купца ограбить,— прикидывался наивным Алеша.

— Что ж... Они б его грабили, а я б стоял возле да смеялся,— диковато усмехнулся мужик.

Некоторое время Алеша с интересом рассматривал облитое месяцем мощное тело мужика.

— Твоя фамилия-то как? — неожиданно спросил Алеша.

Мужик помолчал, потом поднял на Алешу глаза, полные дикой печали.

— Моя фамилия — Казанок...— медленно и спокойно сказал он.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

В то время, когда Мартемьянов и Сережа сидели в Ольге на телеграфе, провожавший их до перевала крестьянин Иосиф Шпак, по прозвищу Боярин, только подходил к своей деревушке Ивановке. Вопреки его предположениям, понудившим его избрать более длинный обратный путь трактом, туман в этот день захватил только побережье. По сю сторону отрогов вечер наступил холодный, прозрачный: месяц светил так ярко, что звезды едва проступали, трава на болоте казалась покрытой инеем и блестела.

Всю дорогу Боярин мастерил шестилетнему внуку свистульки на разные голоса и так досадовал на свою опрометчивость в выборе дороги, что завалил свистульками чуть ли не полкошелки.

Занимало его, впрочем, другое дело, от которого он было увильнул, сам назвавшись в проводники, а теперь и жалел об этом, и боялся, что ему все-таки придется вернуться к этому делу. Дело это состояло в том: продавать или не продавать хуторскому молдавану, Митрию Лозе, единственную лошадь.

Ее привел в восемнадцатом году, после разгрома уссурийского фронта, старший сын Федор, служивший в ту пору в Красной гвардии в артиллерийском обозе. Первое время в семье ругались от страха, что вот придут белые, заберут-де и Федора и лошадь. Боярин даже просыпался по ночам и, удивляясь беспечности сына, вы-

ходил во двор, прислушивался. Но, видно, никому не было дела до красногвардейской лошади! Она спокойно и значительно жевала траву в слаженной для нее наспех вербовой пуньке,— и к этому привыкли. Зимой Боярин даже подработал на ней, нанявшись с соседом на возку дров для волостной больницы,— сосед дал сани и человека. А этой весной лошадь уже ходила в запашке, хотя пахать Боярину было почти нечего. Теперь трудно было представить себе жизнь без лошади. Мало того: лошадь сулила возможность иной, более богатой и счастливой жизни.

И все-таки выходило так, что лошадь нужно продать.

Дочь Боярина, по бедности засидевшаяся в девках, засидевшаяся до того, что на деревне ее из жалости начинали звать уже не Дуней, а Дуняшей, нашла наконец жениха. Жених был, правда, неказистый, маленький и после контузии на германском фронте плохо слышал, но все же не хотел брать жену без приданого: при большом выборе на девок в волости он мог найти бесприданницу помоложе и не рябую.

Боярин знал, что, если ему упустить случай, дочь так и засохнет в девках. Вдобавок ко всему она так бесстыдно набивалась к жениху, так обижала братниных детей и ревела по ночам и столько об этом было разговоров в деревне, что Боярин по-настоящему жалел ее и боялся греха. Однако достатков у него не было: справить приданое он мог, только продав лошадь.

Будь он один, он, пожалуй, решился бы на это. Но старуха, а особенно сноха были против, а сыновья ходили теперь в партизанах, и их нельзя было спросить, хотя он догадывался, что младший, холостой, сын тоже был бы против.

— Ежели бы Ванька да Федор дома были, разве бы я пожалел? — говорил он дочери с той щедростью в голосе, которая показывала, что на скорое возвращение сыновей нельзя и рассчитывать.

«А чего ей? Успеет еще... Двадцать пять лет ждала, и еще подождет,— бормотал он теперь, шагая через колдобины и ожесточенно строгая свистульки.— Да и то мало радости за глухим: лучше уж век в девках...» Но через минуту ему представлялись вздрагивающие худые плечи дочери и то, как она кричит на всех и ро-

няет горшки, и получалось так, что лошади нельзя не продать.

«Что ж — лошадь? — думал он, обиженно поглядывая по сторонам на сирые кусты, на блестящие от месяца калужины.— Жили без лошади... А она в своем праве. Тоже и старуха: сама небось, как бы взвыла, коли довелось бы так в молоды-то лета!.. Да оно и легче: травы не косить, хлеб убрать пособят,— сыновья небось не за одного меня бьются,— а там, глядишь, на что лучшее выйдет... А, продам! — решал он, принимаясь снова за свистульки.— Лишь бы только молдавана захватить...»

Решив так, он начинал рядиться: если уж продавать — так продавать умно, чтобы и самому осталось, и жениха не обидеть. Но деньги падают в цене, «сибирок» в деревнях не принимают,— мужики говорят, что их печатают на бумаге, которой корейцы оклеивают окна,— «керенки» тоже неизвестно, удержатся или нет. «Ежели бы *романовки?* А то мукой взять?.. А где я ее обменяю, муку?..» Это было так сложно, что приходилось начинать сначала. И когда он подходил к деревне, он все еще не решил вопроса, мучившего его всю дорогу.

Стояла уже та спокойная, усталая тишина, которая наступает после вечерней суеты; огни давно зажжены; ребята больше не перекликаются на улице, загоняя скот; мужики, вернувшиеся с поля и давно разувшиеся, кончают ужинать; бабы моют посуду, застилают постели, укладывают ребят; опустошенные коровы лижут влажных телят или задумчиво пережевывают жвачку, вперив фиолетовые очи во тьму; усталые лошади переступают в конюшнях,— слышно, как на болоте округло квакают лягушки, тоненько поют комары; пахнет конским пометом, сыростью, смолой, дымом, оседающей пылью.

Эти привычные мирные звуки и запахи вызвали в Боярине чувство неопределенной тоски и зависти. Ему захотелось видеть людей и длинно рассказывать этим довольным, счастливым, ничего не подозревающим людям о лошади, о молдаване, о дочери, о том, как сам он Боярин, обидно и несправедливо несчастлив. Он свернул к ближнему двору. Там горел костер, бросая на дорогу пляшущую тень от загорожи,— круглые головы ребятишек маячили перед огнем.

Это был двор Никиты Голохвоста, солдата германской службы, ходившего эту весну в председателях и сильно пострадавшего от белых за отказ сдать новобранцев и казенное оружие. Когда в деревню пришла «карательная», Голохвост едва успел скрыться от расправы. Но в то время уже вся волость стояла под ружьем. Никита ночью нагрянул в деревню с отрядом. Сонные юнкера разбежались в нижнем белье, а командира взвода и двух отделенных Никита захватил в собственном амбаре с женой. Отделенных тут же застрелили, а командира взвода схватили живьем, связали руки и поволокли по деревне,— толпа валила за ним и била его чем попало.

Боярин помнил, как жена Голохвоста, простоволосая, в разодранной юбке, за которую цеплялась плачущая девчонка, бежала сбоку и, тоже плача, крича и ругаясь самыми оскорбительными для себя словами, плевала офицеру в глаза или вдруг впивалась пальцами в его обезумевшее, окровавленное лицо. Боярин тоже бежал со всеми, также кричал и бил офицера и даже ухитрился пнуть его лаптем, когда офицер упал на землю и все бросились его топтать.

Никита с женой возили теперь лес на новый сруб (другая «карательная» спалила у них избу) и, как видно, припозднились: жена только еще доила корову. Никита стоял возле, держа одной рукой тянувшегося к вымени телка на веревке, другой он хватал его за мордочку. Корова тихо мычала и билась, поворачивая голову к телку,— жена Голохвоста уговаривала ее.

— Маятно небось с телком,— сказал Боярин, ощутив за Никиту мягкие и теплые прикосновения телячьих ноздрей в ладони.— Здравствуйте!..

— А, Осип... Здорово! — сипло отозвался Голохвост.— Ну, как? Провел?

— А чего им сделается! — Боярин пренебрежительно махнул рукой.

Но Голохвост, как видно, думал по-другому.

— Старик уж больно хороший,— сказал он с улыбкой,— правильно разъясняет... Чего там нового слыхать? Да стой ты, дьявол! Васька, иди, телка подержишь... Правду говорят, будто отряд Гладкого на Сучан уходит? Видать, здорово там заварилось!..

— Да я в Ольге не был,— нехотя сказал Боярин.

— Не был?.. Нонче Николка, Федотов сын, воротился с волости, говорит...

— Вот горе мне с ней — не дает! — со слезами сказала жена Голохвоста.— Подпускай, что ли-ча...

Голохвост отстранил подбежавшего к нему парнишку и сам подпустил телка.

— Да, воротился с волости, говорит, будто заняли наши Сучанский рудник, будто подбираются к Кангаузу...

— Очень просто,— согласился Боярин, не поверив ни одному слову.— Ишь как дорвался,— мрачно кивнул он на телка, нетерпеливо выбрасывавшего задние ножонки, как котенок, ступивший в мокрое.

— Говорит, будто мериканцы на Кангуазе за нас, только не может того быть: много их, союзников, на нашу шею!..

Боярин глядел на жилистую, откинувшуюся назад и освещенную со спины фигуру Голохвоста, на его напряженные руки, на белую хустку его жены,— баба, съежившись, сидела на корточках, оберегая ведро, чтобы телок не опрокинул его,— Боярин вспомнил вдруг, что Никита никак не может простить жене того, что было с офицерами, и мучает ее по ночам, а днем она едва скрывает синяки. «Так вот, может, и с моей дурой,— тоскливо подумал он о дочери,— радуется тоже: нашла-а жениха...»

— Прощайте покуда,— сказал он обиженным голосом и медленно пошел от ворот, вывертывая большие ступни и приседая.

Он мог бы еще обратиться со своим делом к старшему брату, но после раздела отцовского имущества, когда брату досталась лучшая доля, у них установились самые враждебные отношения. И, проходя мимо его избы,— а особенно поймав в окне кормящую грудью красивую братнину сноху,— Боярин только ускорил шаг.

Он знал, что в его несчастье ему не поможет, даже не подумает о том, что ему хорошо бы помочь, никто из людей — ни Голохвост, ни брат, ни, уж конечно, лесной подрядчик Анкудинов, братнин сосед, в доме которого — единственном богатом, с железной крышей доме в Ивановке — уже закрывали ставни: кто-то гремел болтами. А в бога Боярин так глубоко и прочно

не верил, что когда увидел через освещенное, не закрытое еще окно, как старик Анкудинов в чистой белой рубахе, сам длинный и вязкий, как червь, на коленях отбивает поклоны, вознося персты, выставив кривые пятки,— ему захотелось матерно выругаться.

«Хоть бы уж молдаван-то ушел,— тогда один конец»,— подумал он, проникаясь совершенно непереносимой жалостью к себе.

Подходя к своей неогороженной, стоящей на отлете избушке, он увидел в окне худое, унылое лицо дочери,— она сидела, охватив ладонями щеки, и, как видно, не узнала его. И последняя надежда на то, что все, может, обошлось благополучно, покинула Боярина.

Старуха в черном, выцветшем повойнике ожесточенно стирала со стола, сердито шаркая по столу опухшими руками; сноха собиралась по воду — гремела у двери ведрами. Когда Боярин вошел, она быстро взглянула на него и, выпятив брюхо (она была беременна), не поздоровавшись, вышла из избы. «Ругались, видать...» — с опаской подумал Боярин.

— Ушел молдаван-то? — спросил он, покосившись на ребятишек, сонно разметавшихся на тряпье у печи.

— Тебя дожидаться будет!..

— И брешешь, вот и брешешь! — злобно закричала дочь.— И не ушел он никуда,— сидит у Лиманихи....

— А ты... ладно... И не встревай, и думку ты эту оставь! Не будет ничего этого!..— горячилась старуха.

Боярин опустился на лавку тут же у двери. Ему сильно хотелось есть, но он не решался попросить, а старуха и не собиралась кормить его, и он с глухим раздражением наблюдал за тем, как она, ссыпав в помои картофельную шелуху, яростно размешивает ее.

«Должно, еще свинью не кормили, ну, дела-а...»

Старуха, боком распахнув дверь, с силой захлопнула ее. «Чух-чух-чу-ух...» — послышался уже за дверью ее резкий, неприятный Боярину голос...

— Батя...— вдруг тихим, дрожащим и плачущим голосом сказала дочь.— Батя!..— повторила она, подняв к нему свое рябое, длинное, осунувшееся лицо.— Ах, батя, батя!..— Она упала лицом на лавку и тоненько заплакала.— Батя, батя...— повторяла она, и все

ее худое, острое и жалкое тело сотрясалось от рыданий.

Боярин несколько секунд молча глядел на нее, хотел было сказать ей что-то утешительное, но вместо этого из горла его вырвался щенячий сдавленный звук,— он решительным движением сорвал с гвоздя шапку и, не оглянувшись на дочь, вышел из избы.

— Куда ты? — накинулась на него старуха.— И не думай, и не будет ничего этого! — закричала она, поняв, что он идет к Лиманихе.— И не дам я! Я лучше из дому уйду. Я лучше побираться пойду!..

Но Боярин, стараясь не слышать ее слов, уже шагал по деревне.

Злоба на всех людей теснилась в его груди,— он шевелил губами, борода его вздрагивала, он боялся, чтобы кто-нибудь чужой не встретился ему на пути.

II

Хуторянин Митрий Лоза, из обрусевших молдаван, усатенький говорливый мужичок с живыми, хитрыми глазками, весело и жизнерадостно выглядывавшими изпод темно-рыжих кудрей, спадавших ему на самые брови, действительно сидел у Лиманихи. Он гадал ей на картах и, как видно, говорил только что всякие неприличности, так как Лиманиха, еще не очень старая, рыхлая, белотелая женщина, лучшая в селении гадальщица и повитуха, сидела вся красная и, колыхаясь от смеха, отмахивалась от молдавана.

— А-а, пришел? — весело закричал Лоза, увидев Боярина.— А я тебя цельный день ожидаю. Утром зашел, да, говорят, ушел, а я говорю: придет. Да вот все сижу у Лиманихи, си-жу себе у Лиманихи, га-даю себе на пупе... Нет, нет, нет! — замахал он руками, когда Боярин хотел что-то сказать ему.— Бутылочку — тогда поговорим!.. Тащи бутылочку, мамонька... Ну, как, проводил начальство? Аль ты ноне сам из тех же квасов — делегат чи депутат?

Он вдруг искренне обрадовался этим новым чужим словам,— весь залился смехом, обнажив малиновые десны. Все его щуплое тело как бы само в себе, внутренне, двигалось под рубахой, он щелкал пальцами, шевелил усиками и был так явно весел, хитер и доволен

жизнью, что у Боярина сразу отлегло от сердца. «И правда — один конец, а то туда да сюда»,— подумал он, оживляясь. А когда Лиманиха принесла самогон и расставила на столе чашечки с невинными незабудками и когда выпили по одной, все дело показалось уже не таким сложным.

— Что ж — лошадь? Жили без лошади,— размышлял он вслух, быстро хмелея и выставляя вывороченное порозовевшее веко.— Только и деньги сейчас, например, какие? Сам знаешь, какие, например, сейчас деньги...

— Навоз, на-воз! — соглашался Лоза, от каждой выпитой чашки становившийся все веселей и подвижней.— Не деньги — навоз. не говори, Гордеевна!.. Да ведь-с, как сказать, не в деньгах счастье!..

Выходило так, что молдаван и не надеялся купить лошадь за деньги.

После долгих подходов они столковались на том, что вначале нужно оценить лошадь в старых довоенных рублях. Они торговались еще не меньше часа и, хотя добрый артиллерийский конь стоил верных полтораста, с трудом сошлись на шестидесяти, и то при условии, что молдаван сегодня же уведет лошадь, на чем он, незаметно для Боярина, особенно настаивал.

Предстояла самая тяжелая часть дела — определить, в чем должно заключаться приданое, которое они тоже решили исчислить в довоенных рублях и которое молдаван сам обязан был выправить и тайно от жениха доставить в избу Боярина.

Боярин не мог решить этот вопрос без старухи и самой дочери. Но он очень захмелел, и ему казалось, что все так хорошо сладилось, что теперь не только старуха, но любой человек должен ему сочувствовать. Раскрасневшийся Лоза с готовностью прихватил бутылочку, и они вместе отправились к Боярину на дом.

Там уже загасили огонь. Боярин было смутился, но в это время от избы отделилась белая фигура дочери,— она схватила отца за руку.

— Брешут, не спят они,— сказала она прерывистым шепотом.— Ты уж гляди, батя...

Он, храбрясь и сразу поюродивев, отворил дверь.

— Э, вы, тетери-етери, принимай гостей! — с фальшивой развязностью сказал он, стараясь подражать бойкому молдавану.

Сначала никто не отозвался, потом старуха, сердито бормоча, слезла с печи. Дуняша дрожащими пальцами зажгла коптилку. Внучонок Федька приподнялся на тряпье, помигал сонными глазенками и, так и не проснувшись, притулился опять к беловолосой девчонке, сладко посапывавшей у печи. Сноха, одетая, лежала на кровати, отвернувшись к стене,— она притворялась спящей.

— Сюда, сюда.— Боярин угловато засуетился.— Дарьюшка, нам бы огурчиков...

— Нет у меня никаких огурчиков,— отрезала старуха.

— Я вот скажу Федору, как ты с конем его управляисси! — завизжала сноха, внезапно срываясь с кровати.— Не твой конь-то, нет такого права!..

— Те-те-те...— залился молдаван.— Ай, молодая!.. Ну и молодая же! — кричал он восхищенно и радостно, забавляясь тем, что все так необычно и ловко получается.— Да я б с такой сто коней нажил!..— Он хотел ущипнуть ее за бок,— она взвизгнула и ударила его по руке, но он, нисколько не обидевшись, залился еще пуще: — Ай, горяча, ай, горяча!.. Не горюй, рюмочка, сама небось замуж выходила...

— А мы ж до чего ж ладно... сладились...— смущенно сияя, лепетал Боярин.

Дуняша, больше всего боявшаяся, что дело расстроится, и готовая до конца драться за свое счастье, спешно накрывала на стол. Молдаван вдруг сам бросился ей помогать.

— Выпей, мамонька!.. Откушай, красавица!..— кричал он через минуту, поднося самогон то старухе, то снохе.

Сколько они ни ругались и ни упрямились, торг все-таки начался.

Дуняша называла вещи: рубахи, полотенца, полную постельную справу (она стала вдруг жадной и расчетливой — ей уже мало было одного стеганого одеяла, она требовала и другого, уже лоскутного, заикнулась

даже насчет пикейного),— молдаван отмахивался, доказывал, что ничего нельзя достать, потом соглашался на то, что подешевле, но и это оценивал втридорога.

Сноха, бывшая до того главной противницей продажи лошади, незаметно для себя тоже влезла в спор.

— И не бери ты ситцева, Дунька, нехай сатиново...— вставляла она.— Дунька, а новины забыла?..

Боярин в счастливом опьянении только повторял:

— Нет, ты гляди же ж... чтоб ладно было, Митрий Степаныч...

Когда они кончили торговаться, стояла уже черная глухая ночь; в избе было вонько и жарко; все, не исключая беременной снохи, были порядком пьяны; молдаван до того вспотел, что на лбу у него развились кудри. Он вытащил из кармана засаленную книжечку и огрызок карандаша и стал писать расписку, перечисляя все барахло: приданое определилось в сорок два рубля и тридцать копеек,— остальное Лоза обязался додать мукой.

— Вот я тебе тут выписал химичецким,— сказал он с усталой улыбкой, протянув расписку Боярину.

— Эвона сколь... написано!..— восхитился тот, повернув расписку вверх подписью: приданое казалось ему царским.— А ну, как тебе столь и... поднять-то не под силу?

— Тю-у,— свистнул Лоза.— У Казанка небось всего хватит.

— О-о!.. То ж Казанок!..— Боярин восторженно поднял палец.

Но старуха, меньше всех выпившая, услыхав эту знаменитую в уезде фамилию, подозрительно уставилась на молдавана.

— А Казанок тебе... чего?

Лоза, сообразив, что сказал лишнее, хотел было замять это обычной веселой суетой, но вдруг почувствовал, что сильно устал, что все ему надоело и что ему уже совсем не весело.

— Пошли, пошли, давай коняку свою! — почти грубо сказал он Боярину и подтолкнул его в спину.

Боярин, заплетаясь и мигая, чувствуя, что получается как-то нехорошо, вывел из пуньки лошадь. Гривастый белолобый конь с мохнатыми надкопытьями лени-

во косился светящимся звериным зраком. Бoярин держал его за гриву, все не решаясь отпустить,— земля плыла под ногами. Но молдаван, дернув за узду и чмокнув, сразу пустил коня тяжелой рысью.

— Недели через полторы все завезу, не бойся!..— крикнул он уже из темноты.

Боярин, пошатываясь, вошел в хату. Смятенные лица баб надвинулись на него.

— Дожились, вот и дожились,— плача говорила старуха: — «У Казанка всего, говорит, хватит»... а тебе и невдомек... ай, горе, горе!..

Боярин в страхе глядел на нее,— он только теперь понял, что Лоза работал, должно быть, от Казанка, что это связано как-то с недавно зачитанным на сходе приказом ревкома, запрещавшим барышничество, а главное, что дело, с которым он так долго мучился, теперь решено бесповоротно и невыгодно. Он схватил со стола расписку и бросился из избы, сронив у двери лавку с кошелкой,— веселые детские свистульки со звоном рассыпались по полу.

— Лоза-а!.. Обожди!..— закричал Боярин и побежал по улице, нелепо размахивая распиской.— Обожди-и!.. Не надо мне бумаги твоей!..

Волосы его развевались, перед ним качались избы, деревья, сопки, вздыбленные огороды с окаймлявшими их чудовищными нагромождениями выкорчеванных пней. Деревня давно осталась позади, а он все бежал и кричал до того, что звенело в ушах:

— Обожди-и!.. Не надо мне бумаги твоей!.. Не надо мне...

Вдруг он споткнулся и упал, крепко зажав в руке расписку. И, только лежа на земле, понял, что находится уже в лесу, под сопкой. Он сел и, выпучив глаза, удивленно и испуганно посмотрел вокруг. Было удивительно тихо. Одинокий комарик несчастно и загнанно брунжал в ухе. Мохнатые ветви деревьев и черная непроходимая и страшная громада сопок двигались на Боярина, тьма разливалась вокруг, только над головой сиял торжественный купол неба, и оттуда глядели на землю холодные блистающие миры...

— ...бумаги твоей...— с тихим ужасом пролепетал Боярин.

III

Молдаван, свернув на бесколейную, совсем почти заросшую дорогу к хутору, проехал рысью версты четыре, потом дорога взяла в гору, и лошадь пошла шагом. Край заходящего месяца, выглядывавший из-за шафранных макушек дерев, освещал последние возделанные людьми прогалины. Чтобы не лазили дикие свиньи, прогалины обнесены были жестоким буреломом, карчами, принимавшими во тьме формы гигантских крабов, осьминогов, своими уродливыми страшными щупальцами напоминавших о труде, вложенном в это дело людьми. И горек был плод!

Но для молдавана зрелище это было самым привычным, обыденным,— он ехал нахохлившись и думал только о том, что он сильно запоздал и что ему придется, захватив на хуторе монгольскую кобылку, купленную неделю тому назад у китайца-арендатора, этой же ночью двинуться в верховья реки Малазы.

Угнетало его не то, что лошади эти, как большинство лошадей, сплавляемых в последнее время молдаваном, попадут в колчаковскую армию и будут направлены против тех людей, с которыми он жизненно был связан,— об этом, из боязни перед самим собой, молдаван старался не думать,— а угнетало его то, что, как бы он теперь ни торопился, Казанок, любивший спорость и чистоту в работе, все равно уже будет ругать его. Лоза представлял его себе в уютной горнице за самоваром, сильно побагровевшего, с кирпичной, потно-волосатой, обнаженной грудью, ожесточенно хлебающего с блюдца, уставившись в одну точку печальными и дикими глазами,— и то, что Казанок может пить чай в то время, когда он, Митрий Лоза, пропадает в тайге с лошадьми, это больше всего злило молдавана: «Сам бы вот погонял... А-а, брат! То-то, брат, и оно-то!..» — думал он, сердито пошевеливая усиками.

Было уже около двух часов ночи, когда к нему донесся наконец особенный, свойственный людскому жилью в тайге запах осевшей по дереву копоти, и два громадных белых пса с рычанием выкатились к нему, как мохнатые шары. Узнав хозяина, они с ласковыми подвываниями запрыгали вокруг лошади. Из-за деревьев выступили приземистые строения, и злая мош-

кара, невидно мерцавшая над навозом, облепила лицо молдавана. Пока он отворял ворота, засветились два окна, отбросив по двору желтые полосы,— скрипнула дверь, и высунулась растрепанная женская голова.

— Митрий? — спросила она певучим, хриплым от сна голосом.

— Я, я... Поесть мне собери... Цыц вы! — крикнул он на собак, заводя лошадь в сарай.

Жена молдавана в нижней юбке, в расстегнутой белой кофте — чернявая, плотная, спокойно уверенная в себе женщина — подавала и убирала миски и чугуны, ловко орудуя ухватом, сочно ступая икрастыми босыми ногами, и, видно, оттого, что редко видела людей, без умолку рассказывала мужу всякие домашние пустяки: о том, что девчонка занозила ногу, что собак заели клещи, а квочка вывела первых цыплят. Жена Митрия Лозы была кровной молдаванкой, но из-за мужа почти забыла родной язык и говорила по-русски, с цыганскими певучими интонациями. И, слушая ее сытный бабий говор, чувствуя радужное тепло, идущее от ее заспанного смуглого тела, и сам разогревшись от еды, Лоза повеселел,— насмешливо переспрашивал и про девчонку и про цыплят, поблескивая хитрыми глазками и чавкая, потом рассказал жене, как обманул Боярина. Он, впрочем, не считал это обманом. Жена пожалела Боярина, а он посмеялся, содрогаясь под рубахой.

— Не, не буду,— сказал он, отодвигая молоко, которое она подала ему,— водку пил... Да и то убьют, может, а я жру...— глаза его сделались совсем детскими.

Однако когда он надел старую, заплатанную поддевку, и жена подала ему завязанные в мешок харчи, и он в прорезь ее кофты увидел смуглый, матовый и теплый, дышащий у горла треугольник ее груди, он, забыв о смерти, крепко обнял жену и потащил за кумачовую, расшитую цветами, занавеску.

— Тише ты, детей взбудишь!.. Да хоть поддевку-то сними,— певуче, уже по-молдавански добавила она за занавеской.

Чуть посветлело на востоке и тьма сгустилась вокруг хутора и веял легкий предрассветный ветерок, когда молдаван на маленькой стриженой монгольской кобылке, похожей на лукавого ерша, ведя в поводу медлительного мерина, тронулся в путь.

Вблизи становилось все светлее. В кустах зашелестели птицы. Вскоре видны стали повисшие на ветвях, налитые росой паутины; только в глубине — должно быть, у подножия хребта — клубилась еще аспидно-серая тьма. Тропа, по которой ехал молдаван, затерялась в зарослях лимонника и виноградника, лиственный лес все больше вытеснялся хвоей,— начался крутой подъем. Лоза, спешившись, ведя в поводу лошадей и оскользаясь по иглам, проторил до самого гребня рыхлую зигзагообразную дорогу.

И только на гребне он понял, что уже совсем рассвело. Вокруг расстилалось туманное волнистое море. Лошади, вздымая бока и фыркая, пугливо косились на скрытые туманом пропасти. Из-под мшистого камня у ног молдавана выбивался прозрачный ключ. Его студеная, как железо, вода не замерзала и зимой,— ключ этот назывался «Горячий». Возле, на скрещении двух хребтов, стояла маленькая, похожая на скворечню, китайская кумирня с красной тряпкой, на которой вышито было по-китайски: «Сан-лин-чи-чжу» — «Владыке гор и лесов». Было очень росисто и холодно, но веяло уже терпким, свинцовым и сладостным запахом зацветающих рододендронов.

Вдруг из-за спины молдавана покатился матовый луч, и вырванные из тумана макушки дерев ярко и молодо зарозовели. Молдаван снял шапку и перекрестился.

В этом месте от главного Сихотэ-Алиньского становика, на который по восточному его склону поднялся молдаван, ответвлялся один из самых глухих и высоких горных отрогов, протянувшийся далеко на запад — до горного узла Да-дянь-шань. Он разделял внутреннюю страну на две неравные части. Реки, которым он давал начало северной своей стороной, вливались в могучую речную систему Амура. Реки, текущие к югу, куда шел молдаван,— Сучан, Циму, Майхе, с их многочисленными притоками, в том числе речкой Малазой, притоком Сучана,— образовали южные русские заливы Японского моря.

— Ну, с богом,— дрогнувшим голосом сказал молдаван. И, взгромоздившись на кобылку, тронулся вдоль по отрогу, по козьей, устланной иглами тропинке.

Притаившийся под кумирней полосатый бурундучок

некоторое время слышал еще редкие удары подков о камень, потом, уже совсем издалека, донесся треск сучьев, грохот сорвавшегося валуна,— должно быть, Лоза начал спускаться на южную сторону отрога,— и все стихло.

Леса и горы, горы и леса вставали вокруг все бесконечней, все гуще, все розовее и золотистей.

Горный козел, горал, легко ступая прыткими стройными ногами, вышел из кустов, повел ноздрями, чуя примеси кислых незнакомых запахов, потом склонил голову к роднику, посопел и, выставив на солнце пушистое белесовато-желтое горло, потряхивая темно-бурой гривкой, побрел по главному становику к югу. Некоторое время спустя снизу, с восточной стороны главного хребта, послышался все нарастающий хруст и шум листвы, и через скрещение хребтов, покрыв собою все, пропороло огромное многоголовое стадо кабанов — целая туча грязной вонючей щетины, сверкающих глаз и клыков.

И еще не смолкла после них чаща, когда на гребень вышел человек.

Человек этот — невысокого роста, в китайских улах и шапочке, с тяжелой поклажей за спиной, со сложенными пополам косами, крепко зашнурованными, схваченными ниже затылка кожаной перемычкой и выпущенными вперед, поверх ключиц, как два обрубка,— поднялся по распадку, соседнему с тем, по которому подымался Лоза.

— Ай-э, сколько грязных людей! — воскликнул он, быстро охватив кабаньи следы своими длинными косыми глазами, очевидно подразумевая под «грязными людьми» кабанов.

Но, заметив вдруг свежий, незатертый оттиск подковного шипа, попятился в кусты и быстро огляделся по сторонам. Однако он тут же сообразил, что, если бы лошадь была близко,— кабаны не рискнули бы пройти этой дорогой. Тогда он снял поклажу, и пригибаясь к земле, стал щупать следы.

Грунт был очень тверд, местами каменист, кроме того, много напортили свиньи, но человеку достаточно было самых незначительных примет, чтобы воображением своим восстановить несколько различных конских отпечатков. На одном из них сохранился след козлино-

го копытца. Человек размышлял: горал был здесь до того, как прошли кабаны, и после того, как топтались лошади, но пугливое животное могло прийти сюда не скоро после того, как ушли лошади; с другой стороны, оно должно было уйти не позже, чем донесся снизу первый отдаленный шум от кабанов; но лошади наследили уже после того, как выпала роса. Значит, лошади были здесь в начале солнечного восхода. Откуда они пришли?

Рассматривая следы, человек заметил дорогу, идущую из соседнего распадка. Он немного спустился, изучая ее. Одна лошадь была поменьше, кованная только на передние ноги, другая — побольше, кованная на все четыре. Вел их один — русский, судя по обуви,— человек с небольшими ступнями. Несмотря на то, что он лез в гору, он шел не на носках, как ходят молодые, сильные люди со здоровым сердцем, а ставя накось полные ступни,— человек этот был немолодой. Если он был не дурак, он мог идти этой малоудобной дорогой только из деревни Ивановки.

К западу от кумирни человеческих следов уже не попадалось, а только конские. Судя по их чередованию, русский человек ехал впереди на меньшей лошади, а бо́льшую вел сзади на коротком поводу,— она все время напирала на переднюю, сбивая ее и оступаясь.

Потом следы обрывались, и начиналась проделанная в чаще дорога вниз, в верховья Малазы. Здесь меньшая лошадь мочилась, расставив задние некованые копыта,— эта была кобыла.

Маленький, пожилой русский человек с двумя лошадьми, из которых меньшая — кобыла, прошел из района деревни Ивановки через скрещение хребтов Дзубь-Гынь мимо Горячего ключа в верховья Малазы.

Человек, изучающий следы, облегченно вздохнул и обтер рукавом лоб, вспотевший от напряжения.

Событие не грозило ни ему, ни его народу. Но все же оно было исключительным, и человек прочно отложил его в памяти, чтобы вытащить при случае.

Вернувшись к кумирне, он напился из родника, черпая узкой горстью, с наслаждением всхлипывая и искоса наблюдая за тем, как бродят по лощинам разорванные туманные клочья, которые он принимал за тени

умерших, как слева от него над зеленеющим хвойным распадком, почти на уровне хребта, кружит орел — кяаса, чуть изгибая блистающие вороные крыла. Орел вдруг ринулся в чащу и через мгновенье взвился снова с хищным клекотом, зажав в когтях какую-то сереньки пичугу.

— Тц-тц...— неодобрительно чмокнул человек и покачал головой,— впрочем, он больше жалел пичугу, чем осуждал орла.

Солнце, поднявшееся уже довольно высоко, так хорошо припекало спину, что он некоторое время еще сидел на корточках, постигая синее пространство, вспоминая приятный вкус воды, раздумывая об орле, вдыхая запахи рододендронов и тающей смолы, к которым чуть примешивался тонкий, идущий с самого низу черемуховый дух.

Потом он вскинул поклажу и начал легко и быстро, как коза, спускаться в юго-западном направлении, по течению родника. Человек этот направлялся в долину реки Инза-лаза. Человек этот был Сарл.

IV

За последние недели Сарл пережил немало значительного: продал в Шимыне панты, ходил в разведку, участвовал с отрядом Гладких во взятии Ольги, но все же самым неожиданным и потрясающим было то, что он вчера за Ольгинским перевалом встретил Мартемьянова. Весь день он находился под впечатлением этой встречи, тем более, что местность, по которой он шел вчера,— по речушке Сыдагоу, где свыше двадцати зим назад стоял удэгейский поселок, тоже напоминала ему о Мартемьянове.

Места эти, в которых уже погулял топор, в те времена мало посещались людьми и были богаты зверем, но, когда хлынула в край вторая китайская волна, племя покинуло их, распавшись по родам. Иные попали в кабалу к китайским «цайдунам», пополнив собой ту вырождавшуюся от водки, трахомы и опиума часть народа удэ, которая уже много десятилетий несла рабскую кличку «да-цзы» (или «та́зы»), что значит — не русский, не китаец, не кореец, почти не человек — иноро-

дец. Иные обратили взоры на север и голубыми таежными тропами, проторенными их несчастливыми предшественниками, ушли на Амур. Иные, с оружием в руках отстаивая свое право на жизнь, все дальше отступали в горы. И к ним-то принадлежал Сарл из рода Гялондика.

Древние, священные места эти, густо заросшие жирным белокопытником, над которым кружились темно-синие бархатные махаоны, еще хранили память о коричневых юртах, о лае собак, о тоненьком детском плаче в ночи, о мелькающих в кустах расшитых удэгейских кафтанах. Всю ночь Сарл провел у реки, без сна, согнувшись на камне, глядя в темную воду, весь отдаваясь прозрачному и легкому, очищенному от понятий потоку образов и чувств, окрашенному шепотом воды и ритмом крови.

...Из темной воды возник языкастый костер — он пламенел, он жег, он обрастал людьми, этот далекий костер юности,— и в синем мерцании его углей уже совсем явственно жила разгребающая угли кисть Сарловой руки,— кисть узкая, как у женщины, и шустрая, как ящерица... Люди, недвижно скрестившие у огня кривые, в остроконечных улах ноги, непоколебимо молчат. Сощурившись, они курят длинные китайские трубки, прижимая пепел указательными пальцами, на шапках их золотятся беличьи хвосты, и красный, идущий от костра ветер колышет над ними весеннюю листву...

Как мягок в ночи дуплистый, теплый запах дубов! Как жалобно поет женщина, укачивая ребенка: «Ба-а-ба... ба-а-ба...»

Вдруг один из сидящих изумленно вскрикивает и в волнении указывает пальцем по течению реки. Все поворачивают головы... Внизу, над рекой, занимается дымное зарево. Оно точно катится сюда по ракитам, все ближе, ближе... Вот уже кровавый отблеск его падает с ближайшей ракиты на воду, и в то же мгновение резкий крик пищухи, изданный человеком, пронзает тишину, и из-за поворота выскакивает лодка... В ее ковшеобразном носу торчит расщепленная палка с воткнутым в нее, как в пращу, багрово полыхающим смольем. В свете смолья виден отталкивающийся шестом высокий, широкоплечий старик Масенда. Длинное скуластое лицо его — в каменных морщинах, с которых

как бы стекает белая клиновидная борода,— спокойно, непроницаемо, движения быстры, уверенны, и только по дрожи его кожаных наколенников можно понять, как напрягается этот могучий старик, двигаясь против течения... Но примечательно не это, а то, что на голове Масенды нет белого платка и что едет он в нижней матерчатой рубахе, а верхний его, расшитый по борту, кафтан из изюбриной кожи покрывает лежащее позади в лодке человеческое тело...

Никто не решается снять покрывало... Тело безжизненно лежит у костра. Из-под расшитого подола нелепо торчат тяжелые, грубые русские сапоги. Из юрт сбегаются люди: полуголые мальчики с гусиными от холода коленями, узкоплечие женщины, шелестящие рубахами. Слышен сдержанный говор:

— Янчеда... за бабкой Янчедой... бегите за Янчедой...

Вскоре в свете костра появляется и она, с трудом переваливая на коротких, с крохотными ступнями ножках свое мягкое и круглое старческое тело. Пухлые руки ее, держащие глиняный тулуз, перевязаны выше локтей расписными полотенцами, как при камлании. Желтое морщинистое лицо с припухшими скулками, с наивно приподнятыми реденькими бровками хранит обычное, мирное выражение.

Она сует горшок Сарлу, и Сарл стремглав кидается по воду.

Когда он возвращается к огню, с лежащего человека уже сдернуто покрывало,— лицо у него широкое, совсем еще молодое, с обвисшими усами, глаза закрыты, одна рука перевязана у кисти платком с головы Масенды, рубашка располосована до воротника, и видно белое и мускулистое окровавленное тело с залепленной грязью раной на груди. Бабка Янчеда сидит на корточках и, кивая головой из стороны в сторону и шепча, перекатывает на круглых ладонях жаркий, попыхивающий уголек. Потом она бросает его в тулуз с водой и, макая кисть, прыскает мокрыми пальцами в лицо лежащему.

— Очнись, очнись — все сущее живет,— шепчет она быстро-быстро; Сарл с трудом улавливает ее слова.— Стены юрт имеют свой голос, шкуры, лежащие в мешках, разговаривают по ночам... маленькая серая плиска шаманит, сидя между суком и стволом... дерево плачет под ударами топора...

У человека вздрагивают скулы, ресницы,— он открывает добрые синеватые глаза и смотрит на всех с отсутствующим, сонным детским выражением...

— Ай-э, как он постарел с тех пор!..— прошептал Сарл, одиноко сидящий на камне у реки, и сразу все пропало...

Темная вода шипела у его ног; росистая капля со звоном покатилась с листа. «Пи-пи-пи»,— сонно попискивал в кустах маленький глупый поползень и шебуршал крылышками...

Но все пестрее рябит в глазах, вода все прозрачней, радужней... Да, это стелется река, но это не Сыдагоу ночью, а Инза-лаза днем... Одна ее полоса — к правому берегу — сверкает от солнца, другая — к левому, заросшему ольхой и черемухой,— отражает листву и застлана кружевом из солнечных пятен. Левый заросший берег кишит народом: высыпал чуть ли не весь поселок. В кустах пестреют узорные, вздувающиеся от ветра одежды; забравшиеся на деревья мальчики с острыми локтями свисают над водой,— все машут руками, головными покрывалами, кричат напутственные слова...

Сарл и Мартемьянов — в лодке; ее быстро несет по течению. Мартемьянов сидит не шевелясь и не оглядываясь на народ: он боится упасть. Но Сарл небрежно стоит боком по движению лодки,— это самое неустойчивое положение,— и тоже машет рукой. Среди провожающих он видит и смешную робкую девочку Янсели, которую собирался сватать, даже заготовил выкуп. Она огорчена. Она стоит, по-ребячьи расставив ноги, смотрит немножко исподлобья и изредка делает сложенной в уточку рукой неуверенный прощальный жест. Но Сарлу жаль ее не больше, чем всех остальных... Как трудно покидать родные места, близких людей!.. Что принесет будущее?.. Но никого уже нет... Солнечные пятна стекают с весла,— Сарл работает им, сохраняя тело в прямом положении, чтобы не опрокинулась лодка, только легко вращаясь в поясе, а перед ним — застывшая, ссутулившаяся спина Мартемьянова, к которой он чувствует теперь такое же доверие, как к спине родного дяди в детстве...

...И вот — длинный и мокрый угольный коридор, пахнущий сырым деревом... Желтый свет от рудничной лампы бежит по рельсам... Сарл катит пустую, холод-

ную вагонетку, прислушиваясь к ее мерному громыханию. На маленькой площадке в пересечении коридоров он чуть не сталкивается с другой, доверху нагруженной углем, которую толкает перед собою жирная и грязная от угольной пыли русская женщина со светлыми волосами.

— А, Сарлик, черт косой! — кричит она веселым, визгливым голосом. Она подбегает к нему и разражается в самое ухо: — Когда же сватать придешь?.. А-а, черт косой, любишь русский барышня? — И она бьет его по спине и долго хохочет вслед, уверенная в своей плотской красоте и неотразимости.

— О, ты противна мне, как зеленая жаба!..— брезгливо шепчет Сарл, сжимаясь от ее смеха, от угольной грязи и сырости, от собственной тоски и обреченности.

К устью забоя, едва подпертому скользкими столбами, уголь подтаскивают волокушками. Пока нагружают вагонетку, Сарл — сначала согнувшись, потом на четвереньках — проползает вглубь.

Мартемьянов — голый по пояс, тело его при свете рудничной лампы отливает, как у линя,— лежит на боку и изо всех сил рубит короткой киркой,— дыхание, свистя, вырывается из его груди.

— Не горюй — привыкнешь! — кричит он, развозя рукой грязь по лицу.— Э, брось, она не злая...

Они обмениваются еще несколькими теплыми словами, Мартемьянов треплет его по боку,— и снова длинные мокрые коридоры, грубые пинки людей: та же светловолосая женщина на перекрестке, вечером — соленая еда, от которой болит живот, ночью — мучительные сны об облаках и желтеньком тонконогом козленке в кустах, тычущем в маткино вымя лиловатыми ноздрями...

Всю ночь Сарл просидел над рекой, не сомкнув глаз, ни разу не пошевелившись,— ноги его одеревенели. Налетевшая к утру мошкара призвала его к жизни. Он развязал свой туго набитый мешок, достал кремень, огниво, трут из выпаренного древесного гриба (в Шимыне он приобрел две пачки спичек, но не хотел их тратить), развел костер.

Ел он очень аккуратно, склонившись над тряпкой, чтобы ни одна крошка не упала на землю. Хлеб не кусал, а отщипывал двумя пальцами и клал в рот; сало резал на мелкие кусочки. Напившись чаю, он сорвал

большой лист лопуха, ссыпал в него крошки и положил на гальку — для птиц. Потом, выкурив трубку, отмыл котелок от копоти, старательно очистил место вокруг костра, чтобы не случилось пожара (по поверью, костер нельзя было заливать водой), и вскоре уже шагал вверх по речушке, пересвистываясь с лазоревками и гаичками.

V

Если по ту сторону хребта голова Сарла занята была людьми и событиями, которые напомнила ему встреча с Мартемьяновым, теперь, спускаясь с крутизны, привычно выбирая дорогу, он думал только о тех живых людях, к которым шел.

Первое время он, правда, еще побаивался того, что из-за утеса появится горный дух *Какзаму* — худотелый великан на тонких кривых ногах, с головой, похожей на перевернутую редьку,— дух, ютящийся у истоков ключей и превращающий людей в камни «када-ни», охраняющие сопки. Но спустившись немного ниже, он забыл об этом.

Этой весной он добыл у корейцев семена бобов и кукурузы и, впервые в истории народа, понудил женщин возделать землю. Он не решился предложить это занятие мужчинам, но он знал, что рано или поздно так будет: леса беднеют зверем, реки — рыбой, все новые и новые места захватывают китайцы и русские,— вырождение и гибель шествуют по пятам народа. А главное — он знал, что именно теперь наступило время, когда такой переход можно осуществить.

Но стоило ему представить себе Масенду, обрабатывающим землю, как руки опускались: старик даже отказался переселиться из юрты в фанзу, которую в прошлом году Сарл построил в долине. И хотя в фанзе было теплей и просторней, чем в юртах, она почти пустовала.

Но это было только начало! А вот у сидатунских китайцев Сарл подсмотрел как-то домашнюю мельницу: сытый, ленивый мул с завязанными глазами, с подопревшими ляжками, ходил вокруг столба, вращая верхний жернов, и зернистая, как золото, кукурузная мука струилась в джутовый растопыренный зев. Сарл тща-

тельно осмотрел, как обработан камень,— такой камень не раз попадался ему в горах,— при достаточном трудолюбии его можно было обработать самим. Гладких сказал ему, что, если подать ходатайство в ольгинский штаб, лошадь могут дать с большой рассрочкой, а то и бесплатно.

Желание построить в долине такую же круглую хижину, в которой могучий конь с подопревшими ляжками будет вращать удэгейские жернова,— желание это охватило Сарла до дрожи в ногах.

В молодости его бабка Янчеда прочила его в знахари, потому что каждую вещь, каждое дело и каждого человека он видел с той особенной внутренней стороны, с какой их не видели другие.

Он и сам чувствовал в себе эту незримую ищущую и жадную — самую человеческую из всех сил — силу таланта, только он считал ее божественной. Это она понудила его в детстве, после того как ему приснилось, что он летает,— а, как все люди его народа, он верил в то, что сны исполняются,— понудила его перед целым табуном сверстников прыгнуть, распластав руки, с Серебряной скалы в воду. И сохранившееся на всю жизнь нервное подергивание его щеки было следствием того необыкновенного счастья и ужаса, которые он испытал в это мгновение, когда с диким воплем летел в кипящий под ним оранжевый водоворот. Это она, жадная, толкнула его за Мартемьяновым посмотреть, унюхать, ощупать все, что живет за пределами родных лесов и озер, и она же сделала теперь его имя самым почетным во всех местах, где только мнет траву нога удэге.

Он думал с таким напряжением, что на лбу у него вздулась багровая жила. Раз он едва не упал, прыгнув на камень с обманчивой мшистой поверхностью, но вовремя схватился за ореховый куст, успев сообразить, что нужно схватиться за него, а не за растущее рядом колючее чертово дерево.

— Вот какое ты злое существо!..— воскликнул он с искренним гневом и плюнул в сердцах на камень, едва не уронивший его.

В другом месте он чуть не наступил на ящерицу,— она зеленовато прошуршала под заплесневевшее бревнышко, откуда выглядывал еще ее фиолетовый хвостик.

— Что же ты зеваешь, быстрая? — упрекнул ее Сарл.— Охота тебе терять такой красивый хвост без нужды!..

Родник, принимая в себя другие, с змеиным шипением сочившиеся из расщелин, превратился в пенистый ручеек, спуск стал положе,— Сарл шел уже по лесистой, с густым и пестрым подлеском лощине, по бокам которой высились крутые, поросшие хвоей хребты.

У излучины ручья над упавшей лесиной метался, топорща крылышки, невзрачный сибирский соловей.

— Ай-э, как ты мечешься, желтогорлый! — поразился Сарл и даже на мгновение остановился.— Да, да,— сказал он грустно,— я вижу: упала лесина, разбила твое гнездо. Не то ли бывает со многими из нас?..

Вторую ночь он провел в заброшенном охотничьем шалаше — каунва, сложенном из кедровой коры. На этот раз он крепко уснул, но с рассветом снова был на ногах.

Солнце в третий раз после того, как он покинул Ольгу, перешло далеко за полдень, когда за поворотом ручья блеснула река, и тянувшийся по левую руку горный отрог резко оборвался высокой и голой, пронзительно белой, так что слепило глаза, скалой, отражавшейся в медленном омуте у впадения ключа в реку. Отражение было столь действительным, что казалось — омут не имеет дна. Вправо и влево меж нависающих, поросших лесом гор вилась кудрявая солнечная долина, окутанная белым черемуховым цветом.

Это была Инза-лаза-гоу: долина Серебряной скалы.

Несколько легких дымных столбов вздымались над ней. Один от костра — пушистый и тучный, как опара, остальные — тоньше и темнее — из юрт: мужчины вернулись с охоты, и женщины начали стряпать.

VI

У изгороди, сложенной из карчей, Сарл наткнулся на женщину Суан-цай, окарауливающую огород от кабанов. Она не поклонилась и ничего не сказала ему: у народа удэ не существовало знаков показной вежли-

вости. Он тоже не заговорил с ней, и она отвернулась в сторону, чтобы не тревожить человека взглядом.

Сарл несколько минут любовно смотрел на молодые, покрытые рыже-бурым ворсом побеги боба «чьингто́у», на ярко-зеленые стрелки кукурузы. Он испытывал такое чувство, точно все это росло из него...

Из-за реки доносились громкие мужские крики и взвизгивания, особенно слышен был пронзительный хохот Вадеди. По этому оживлению, необычному для молчаливого и сдержанного народа, Сарл понял, что охота была удачной.

На той стороне реки, заросшей ольхой и черемухой, видны были вытащенные на берег лодки — легкие оморочки с острыми носами и кормами, более крупные долбленные плоскодонки с загнутыми кверху лопатовидными носами. Сарл, приложив руку ко рту, издал трещотный мелодичный звук,— так кричит желна. Подросток лет четырнадцати с подвернутыми выше колен штанами — ноги его были покрыты незаживающими язвами — перегнал одну из лодок на эту сторону.

— Что так кричат? — спросил Сарл, садясь на корточки, когда мальчик оттолкнулся от берега.

— Люрл...— кратко ответил тот.

— Этакий насмешник! — улыбнулся Сарл, и улыбка больше не сходила с его губ.

На широкой вытоптанной поляне вокруг костра, разведенного между рыбными сушилками и фанзой с двухскатной тростниковой крышей, из-под которой висели оленьи выпоротки и мешочки с медвежьей желчью,— сидели, в большинстве с трубками, а некоторые еще с ружьями, в островерхих кожаных шапках с беличьими хвостами и красными шнурами, но некоторые без шапок и голые по пояс, в большинстве худощавые и среднего роста, но некоторые, выделяющиеся своим здоровьем,— взрослые мужчины, человек около двадцати, из родов Кимунка, Амуленка и Гялондика. С цветущих черемух, сквозь которые виднелись разбросанные по лесу продолговатые юрты, повевала на людей желтая плодоносная пыльца́.

Насмешник Люрл, сбросивший три своих кафтана (Сарл, подходя к костру, прежде всего увидел его мускулистую, точно плетенную из ивняка, оливковую от солнца и грязи спину), говорил что-то невозмутимо спо-

койным тоном, без единого жеста, но после каждого его слова люди, роняя трубки, покатывались от хохота:

— Ай-я-я! Да! Да! Да!..

— Ай-е-е-е!.. Ейни ая!..

Не смеялись только двое: старый Масенда, на голову возвышавшийся над остальными, не выпускавший трубки из окаменевших губ,— он смеялся одними глазами,— да еще пришлый худощавый таза в китайской кофте. Месяц тому назад он с помощью брата убил своего «цайдуна» за то, что тот продал в Китай его ребенка. Брат был пойман и живьем закопан в землю, а таза с женой скрылись в Инза-лаза-гоу. Он страдал от отсутствия опиума и, хотя был когда-то таким же удэге, ни слова не понимал по-удэгейски. От униженности он так раздвигал потрескавшиеся губы, что получалась не улыбка, а жалкая гримаса.

Неподалеку от костра возвышалась подплывшая кровью груда зверья: горбатые щетинистые кабаны с сочившимися сукровицей пятками, рыжие изюбры, вывалившие длинные малиновые языки, скорчившаяся, как спящий младенец, тонконоздрая кабарожка,— тут были одни самцы: весной не полагалось убивать самок.

Женщины — молодые, гибкие и маленькие, и постарше, уже немного грузнеющие,— в длинных, разузоренных по борту и подолу, окровавленных кожаных рубахах, растаскивали зверье по юртам; некоторые потрошили его, шустро выбрасывая локти, ловко орудуя длинными охотничьими ножами. Сухонький старичок с барсучьими ушами, склонив плоскую, невыгибающуюся спину, расправлялся с трехлетком — черным медведем, мертво оскалившим кривые пенистые зубы,— к медведю — родоначальнику народа удэ — не смела прикасаться женщина. Старик приготовлял его к празднику «съедения медвежьей головы». Лохматые поджарые псы носились вокруг или, усевшись на выщипанные в драках зады, умильно поглядывали на людей, дыша и подвывая.

— Ай-я!.. Го-го!.. Да! Да!..— дико кричали люди.

По тому, как смущенно и неуверенно, хотя и безобидно, смеялся Монгули — толстощекий, рябой и безбровый удэге с длинными, до колен, руками, прославившийся тем, что единственный в истории народа, для которого даже трахома часто бывала смертельной, не

умер от оспы,— по тому, как он смущался, Сарл понял, что потешаются над Монгули.

— Нужно удивляться силе и выносливости твоих рук,— говорил Люрл, раздувая ноздри безобразного, прямого, как у русских, носа.— Так долго, как ты, не выдержал бы никто. А какая добыча!.. Медвежий хвост прекрасен для украшения шапки!..

Сарл быстро взглянул на медведя и, заметив, что шкура на заду у медведя сорвана, весело, по-детски, взвизгнул.

— Ра-асскажи лучше,— смущенно начал Монгули (он от природы затягивал слова, и все смолкли, чтобы он мог кончить),— ра-асскажи лучше про че-еловека, который мчался верхом на лосе и вопил о помощи...

— О, это басня! — отмахнулся Люрл (он был когда-то этим человеком).— А тут недавний подвиг! Что ж — он достойно продолжает подвиги твоих отцов!..

— Да! Да! Да!..

— Правда, это уже устарело, когда есть ружья,— не унимался Люрл.— И неизвестно еще, кто кого схватил... Трудно сказать, чтобы медведь был больше испуган, чем ты!..

— Как все это было? — перебил Сарл, садясь верхом на тюк, который он сбросил на землю.

— Шел я по следу изюбря,— начал было Люрл, но вдруг, увидев заранее брызнувшее лицо Вадеди, не выдержал сам и фыркнул, и снова вокруг загоготали.— Шел я по следу изюбря,— выправившись, продолжал Люрл,— вдруг — «бум»!.. Я не успел присесть,— из кустов выскочил вот этот медведь, за ним мчался Монгули. Он держал его за хвост и наступал ему на пятки. Сначала у него во рту был нож, потом он потерял его. Медведь так вонял — невозможно терпеть! Я впервые понял, как ужасна медвежья болезнь... «Монгули! — закричал я,— да за то ли ты схватился?»

— Ай-я-я-я!..— покатились вокруг.

— Но они уже скрылись в кустах,— невозмутимо продолжал Люрл.— А когда выскочили снова, медведь скакал, как камлающий шаман, а Монгули — как молодой кузнечик, который учится прыгать. Волосы его цеплялись за деревья, рот стал шире головы... Не успел я броситься ему на помощь, меня свалило ветром: медведь и Монгули летали уже по воздуху!.. Из мед-

ведя несло, как из тучи! Когда я очнулся, Монгули стоял надо мной и поливал мне голову водой. Я взглянул на него, увидел у него в руках медвежью култышку и снова покатился на землю и очнулся уже к полудню... Я в жизни не видел медведя, который так бы хотел уйти от человека, как этот!..— закончил Люрл уже неслышно, в общем хохоте.

— Да, это была у-удивительная неудача,— скромно сказал Монгули, подавая ему кисет, и покосился на жену, возившуюся у зверья.

Но женщины были заняты своим делом, и ни одна из них не смеялась. Сарл, развязав мешок, стал раздавать по рукам все, что приобрел в Шимыне.

— Вадеди, твоя мать просила ниток.— И он сунул ему два клубка.— Родила уже твоя жена?

— Сегодня или завтра... Вон к ней идет старуха, да стыдно спрашивать,— Вадеди кивнул на сутулую женщину, проходившую мимо с тулузом в руках: по обычаям удэ, роженица помещалась в отдельной, стоящей на отлете юрте, к которой не имел права подходить никто, кроме повивалки.

— Хорошо, если бы у тебя родилась девочка,— сказал Люрл, раздувая ноздри,— а то совсем не стало женщин...

— Вот твои пуговицы, Монгули,— продолжал Сарл.— А это, отец, тебе...

Он протянул сверток листового табака Масенде: старик был братом его отца, но, по удэгейскому обозначению родства, также считался его отцом. Масенда тут же роздал все по рукам, оставив себе только на кисет.

— Вот спички, каждому по коробку... А это вот удивительная вещь.— Сарл вынул банку монпансье и откупорил ее.— На руднике мне приходилось есть такие камешки,— они кислее и слаще березового сока...

— Я думаю, это больше подходит для женщин,— сказал Люрл, пососав немного,— а то они только и знают, что табак жевать...

— А ты что же не берешь? — по-китайски спросил Сарл у тазы.

— Живот у меня...— ответил тот, униженно сморщившись.— Живот... Не принимает сладкого.

— Да, я купил это для детей,— с едва заметным вздохом сказал Сарл.— Салю! — подозвал он косматого

парнишку лет девяти, с трубкой в зубах и двумя охотничьими ножами у пояса,— парнишка дразнил собаку.— Поделите это между собой, только не обижайте девочек.

— Мы их не обижаем,— почтительно пискнул молодой удэге, вынимая изо рта трубку и сплевывая, как взрослый.

— Ты-ы очень удачно выменял па-анты,— сказал Монгули, которому понравилась конфета.

— Да, мне повезло на этот раз... Тут у меня еще порох, свинец, пистоны, чай, два охотничьих ножа, сверток полотна, бубенцы для женщин... Кому надо, тот возьмет в амбаре...

Сарл кратко рассказал обо всем, что пережил за три с половиной недели своего отсутствия. Когда он упомянул про Филиппа Мартемьянова, Масенда весь рассиял и вынул трубку,— даже клиновидная борода его, казалось, стала белее.

— Не тревожит его старая рана? — спросил он первый и последний раз за вечер.

— Нет, он не жаловался...

Старик с барсучьими ушами, возившийся над медведем, услыхав имя Филиппа, разогнул спину.

— Пусть долгой будет его жизнь,— сказал он, пришепетывая, и снова склонился над зверем.

Но когда Сарл рассказал о русском человеке с двумя лошадьми, направлявшемся в верховья реки Малазы, все заволновались. Вадеди, избранный в эту весну охотничьим старшиной, сильно скуластый, сухощавый и веселый удэге, всю жизнь лукаво подмигивавший левым глазом, вдруг перестал мигать и вытаращил глаза.

— Он спустился на Малазу?! — воскликнул он, вскакивая на колени.— Ай-я-ха-а...— протянул он и замигал еще лукавей и ожесточенней прежнего.— Боюсь, что этот человек уже мертв,— сказал он, глядя в лицо Сарлу.— По Малазе бродят хунхузы — восемнадцать ружей...

— Ие?!

— Да, да... И его уже нельзя предупредить: он достиг уже среднего течения, если он не черепаха!..

— Чьи это хунхузы? — спросил Сарл, начавший от волнения завязывать мешок, сам не замечая этого.

— Это хунхузы Ли-фу... С ними был его помощник Ка-се... Я наблюдал за ними полдня и хорошо рассмотрел его: издали он похож на Монгули...

Монгули издал какой-то протестующий звук.

— О, я знаю, это разведка, за ними придет весь отряд,— продолжал Вадеди.— Они ищут места для становища...

— За ними смотрит Логада,— вставил Люрл, хищно раздувая ноздри: он не мог забыть, что его не оставили вместо Логады, боясь, что он не вытерпит и ввяжется в драку,— ему действительно очень хотелось пострелять.

Сарл, жалея русского человека, долго не мог успокоиться, говорил «тц-тц» и качал головой.

У маленького амбарчика на сваях, куда он понес свой тюк, играли двое детей — худенькая синебровая девочка лет восьми, нянчившая в колыске тряпичную куклу, и мальчик лет пяти, со вздутым животом и морщинистыми ладошками, мастеривший лук. Это были муж и жена. Пятилетний муж еще сосал грудь матери. Лук у него не ладился.

— Какой ты мужчина,— журила его девочка,— все валится у тебя из рук, как у русского...

— Да, да, нехорошо быть таким растяпой,— сказал Сарл, просовывая голову в амбарчик, откуда повеяло на него запахом сушеной травы, употребляемой как подстилка для обуви.— Ты, наверно, не знаешь даже, что это за птица лазит по шиповнику?.. Вот она, видишь?

— Нет, я знаю — это свиристель,— угрюмо сказал мальчик.

— Ого!.. Нет, ты далеко пойдешь,— утешил его Сарл.

Но вдруг вспомнил про хунхузов и про русского с двумя лошадьми и глубоко вздохнул.

Когда он подходил к фанзе, зверье было уже убрано,— собаки с рычанием лизали черную от крови землю и растаскивали сизые потроха. Люди больше не смеялись. Вадеди, расширив глаза и мигая, растопырив пурпурные от костра пальцы, тихо говорил. Остальные внимательно слушали. Сарл сбоку заглянул в фанзу в решетчатое отверстие двери.

Робкая и хрупкая, как девочка, жена его Янсели, из рода Кимунка,— с раскрыленными тонкими черными бровями, с серьгой в носу, вся унизанная бусами, игравшими в косом, разрубленном на квадратики солнечном луче,— сидела на корточках, раздвинув острые колени, и, напевая, мерно колыхала ребенка в колыске, похожей на детские салазки. Ребенок с оплывшим книзу личиком и пухлыми губками, окутанный покрывалом, крепко притянутым к колыске кожаными ремешками, так что голова ребенка прижата была к кедровой спинке, безмятежно спал.

— ...Ба-а-ба... Ба-а-ба...— нежно и жалобно пела женщина.

Над лесом багровое садилось солнце; по небу стлались червонные полосы; скала Инза-лаза вздымалась над окутанной тенями падью, как пурпурный шатер; пахло черемухой и древним чадом пропекаемого на углях мяса. У опадающего костра сидели люди с вогнутыми носами и усеченными затылками, и один из них говорил:

— Нет, я верю в сны... Охеза-Хариус чуть не лишился жизни за то, что не верил в сны...

Вдруг тонкий, пронзительный и беспомощный крик донесся из-за черемух. Люди подняли головы. Собаки, не проявляя беспокойства, продолжали свою возню. Крик повторился и слышен был уже по всему поселку.

Это плакал только что народившийся ребенок Вадеди.

С черемух, изнемогая от тяжести, сыпалась желтая плодоносная пыльца, и люди, поднявшие головы, чувствовали себя неотъемлемой частью этого единого, могучего и неосмысленного плодотворения.

Сарл стоял у входа в жилище, не решаясь войти, и с древним благоговением слушал плач чужого ребенка и полный любви и жалобы голос своей подруги:

— ...Ба-а-ба... Ба-а-ба...

VII

Мартемьянов и Сережа провели ночь перед выступлением отряда Гладких в хоромах старовера Пóносова.

Сережа проснулся оттого, что кто-то, выходя из горницы, оглушительно, как показалось во сне, хлопнул дверью.

Еще не светало,— окна были свинцовыми от тумана. Со двора доносились смутная возня, далекий, несердитый голос Гладких,— он кого-то ругал. Мартемьянова в горнице не было.

«Что же случилось? — подумал Сережа.— Да, пора выступать... Да, приехала Лена!» — вспомнил он, садясь на койке.

Он быстро оделся и вышел на крыльцо.

На улице уже чуть развидняло. Сережу охватил бодрящий холодок. В тумане у темных строений копошились люди: вытряхивали шинели, свертывали скатки. Из сараев выводили вьючных лошадей. Мешковатый и грузный партизан слезал с чердака, цепляясь задом за перекладины лестницы и громко зевая. Сережа улыбнулся, узнав Бусырю, над которым партизаны потешались вчера на пасеке.

— Э, уже собираются,— послышался у ворот звучный и приятный Сереже тенорок.

Сын Боярина, Федор Шпак, в перетянутой патронташем шинели, с сумкой за спиной и винтовкой на ремне, прихрамывая, вошел в ворота.

— Здорово, полковник! — весело сказал он плечистому партизану, счищавшему грязь с копыта у лошади.

— Здравствуй, анафема, без ноги,— сдержанно ответил тот.

— А я думал, вы спите еще, ан, выходит, сам мало не проспал... Не знаешь, в какой меня взвод определили?

— Гладких придет, скажет... Тпрру-у, брюхатый!.. Он тебе скажет,— повторил плечистый партизан, обивая копыто.

Из черной, растворенной настежь двери сарая напротив доносились знакомые голоса: один — спокойный, строгий и грустноватый — Сережа сперва не узнал, другой же — по-детски картавый и дерзкий — он различил бы из сотни.

— Как это так — не дашь? — грустно и строго говорил первый голос.— Отряд пеший, а ты на лошади?

— Они мне не указь,— презрительно отвечал Семка Казанок.— Они, мозет, своих жалели, а я свою из дому привель...

— За это спасибо... Она и останется за тобой, мы только навьючим ее...

«Да ведь это Кудрявый!» — узнал Сережа первый голос.

— А я не дозволяю!..— запальчиво ответил Семка.

— Ну, этого не может быть, чтобы ты не дозволил...— Кудрявый высунулся из сарая и, мельком взглянув на Сережу, крикнул в туман: — Быков!.. Патроны лучше на Казанкова: этот подюжее, а на Гнедка — сухари!..

Сережа, повеселев оттого, что так унизили Казанка, вернулся в сенцы, нащупал в темноте бочку и берестяной туесок на ней и, выйдя на крыльцо, умылся, перегнувшись через перила, набирая полный рот воды и мужественно фыркая.

Туман редел и золотился, когда отряд — двести с лишним человек, построившихся по четверо в ряд, с винтовками на ремнях, с Кудрявым и Гладких во главе и двадцатью вьючными лошадьми в арьергарде,— тронулся, шоркая сапогами, по Ольгинскому тракту, провожаемый лаем староверских собак.

Голосистый Шпак, шедший, прихрамывая, в передней колонне, завел «Трансвааль» — песню, которую в эти страдные дни певали не только во всех отрядах, но даже на вечерках, даже малые ребята. Отряд стройно подхватил. Сережа, шагавший с Мартемьяновым вне рядов, тоже подтянул звенящим альтом, слыша и выделяя свой голос в общем хоре. Над ними раскрылось звонкое небо, ударило жаркое пыльное солнце, горные отроги взялись нежным паром, как конские крестцы.

Вспомнив подслушанный им разговор в сарае, Сережа оглянулся: мелкокопытный, с серебряными ноздрями конек в яблоках — собственность Казанка — шел позади серых колыхающихся колонн навьюченным. Вел его, однако, не сам Казанок, а Бусыря, тяжело ступавший медвежеватыми толстыми ногами, видать, сильно потевший под сдвинутым на затылок малахаем. Казанок шел рядом, склонив набок белую головку в американской шапочке и пыля плетью, которая болталась у него на кисти. Иногда он неожиданно хватал Бусырю за ногу или, извернувшись, бил его каблуком сапожка по заду. Бусыря неуклюже отмахивался и кричал на него, но тот-

час же его мясистое лицо расплывалось в улыбке: принимать издевательства за шутку было, очевидно, главным средством его самообороны в жизни.

Сережа с уважением поглядывал на Гладких, легко и сильно шагавшего впереди в мохнатых запыленных унтах, с закинутым за спину японским карабином. Под ворсистой рубахой, плотно облегавшей его могучие, статные плечи, перекатывались округлые мышцы. Их мягкое, атласное движение вдохновляло и радовало Сережу.

Незаметно поравнявшись с ним, Сережа попробовал вызвать его на разговор. Несмотря на то, что Сережа не раз мечтал о встрече с подобным человеком и сам хотел быть таким же, он мало представлял себе, о чем с ним можно разговаривать. Наконец он высказал предположение, что Гладких должны быть хорошо известны эти места.

— Места? — переспросил командир, повернув к нему смуглое лицо, раздувая вороные усы.— Места, малец, ничего... Места, малец, *кое-как*,— добавил он, откровенно не поняв, о чем его спрашивают.

— Ну да, вы здесь давно живете...— почтительно заметил Сережа.

— О, мы здесь самые первенькие! — сказал Гладких с усмешкой.— Старик мой приплыл сюда... Обожди... Родился я в семьдесят седьмом — как раз в этот год тигра его покарябала... жили они тут к тому времю уж лет восемнадцать... Выходит...

— В пятьдесят девятом? — подсказал Сережа.

— Да, приплыл он сюда в пятьдесят девятом — вот когда он приплыл...

Сережа вспомнил, что в это время не было еще Суэцкого канала: отец Гладких плыл вокруг мыса Доброй Надежды, и плыл под парусами. «То-то ему было о чем рассказать!» — подумал Сережа, нарочно представляя себе не того скромного сивого мужичонку, о котором говорил вчера Мартемьянов, а доблестного пионера с бронзовой волосатой грудью и трубкой в зубах.

— Да что толку,— неожиданно сказал Гладких.— Приплыли они — и сели в лесу, как дураки. А ведь тут тогда — земля-а!..— И он, сверкнув глазами, мощно повел вокруг своей тяжелой ручищей.— Староверы лет

через двадцать какие десятины подняли!.. Видал, как живут? Здорово живут, малец! — воскликнул он с зычной завистью.

— А сильно она его... покарябала? — спросил Сережа.

— Тигра-то?.. У-у, покарябала на совесть. Можно бы больше, да некуда... из кусков, можно сказать, склеили.

— Здорово!.. А вы на них тоже охотились?

— И все-то тебе нужно знать! — Гладких легонько прихлопнул его по фуражке.— Охота у нас, малец, на белок... Восемь гривен шкурка в старое время. А убивали мы их по триста, по четыреста на человека за зиму... А то один год — был я еще мальцом вроде тебя — так много их навалило, по хатам бегали. Мы их палками били... До того, стерва, очумеет,— говорил Гладких, оживившись,— приткнется к жердине, а тут ее — хрясь! — Он рубанул рукой, показывая, как они это делали.— Потом — на рябцов: птица такая, ее буржуи едят... Бьют их тоже к зиме, чтобы не провонялись...

— Я ведь потому спросил,— сухо сказал Сережа (он начинал подозревать, что Гладких насмехается над ним),— потому спросил, что у отца вашего прозвище было: «Тигриная смерть»...

— Было да сплыло: теперь уж он стар стал, в хате мочится... Вот дядька мой — тот, правда, даром, что восемьдесят лет — тот ужасно здоровый. Прошлый год кошку большим пальцем убил... Она в кринку с молоком голову встромила, а он как хватит ее под брюшину, из нее и кишки вон!.. Э-э, чего растянулись? — вдруг закричал Гладких, заметив, что колонны расстраиваются.— Подтянись! Болтуха, что смотришь? А, мать вашу!..

— Мать у меня здоро́ва была,— продолжал он, снова присоединяясь к Сереже,— детей рожала, как щенят... И, поверишь, до чего дети важкие были — фунтов по четырнадцать!

Все это было мало интересно Сереже, но в голосе командира звучали такие насмешливые нотки, что казалось — о самом главном он нарочно умалчивает.

И Сережа все ждал, что вот откроется оно, это особенное и главное, а оно все не открывалось.

VIII

К полдню отряд вышел на речушку Сыдагóу. Гладких отдал распоряжение о привале на обед. Притомившиеся и притихшие было люди повеселели и с шумом рассыпались по лесу за хворостом.

Деревья стояли, опустив от жары неподвижную матовую листву, но от реки тянуло прохладой. Там уже звенели солдатские котелки. Партизаны, сбрасывая одежду, кидались в воду, визжа и отфыркиваясь, расплескивая голубые сверкающие брызги.

Отряд за исключением трех-четырех человек «бездомных», по обыкновению распался на группки: крестьяне — по селам и волостям, рабочие — по шурфам и участкам. К «бездомным» принадлежали: вчера только поступивший в отряд Федор Шпак (которого, однако, все уже полюбили за его веселую повадку, светлые усы и хороший голос, каждая кучка тянула его к себе), рудокоп Сумкин, с неподходящим к нему прозвищем «Фартовый» — рослый разлезающийся пьяница с опухшим носом, вечно слонявшийся без пристанища, да Семка Казанок, не имевший никакого вещевого хозяйства (у него не было даже мешка), но присутствие которого в той или иной компании ввиду его боевых заслуг считалось почти за честь.

Казанок, впрочем, нисколько не нуждался в этом, приспособив в качестве своего эконома Бусырю. Мешок Бусыри всегда был полон до отказа,— иная пища до того залеживалась в нем, что протухала. Несмотря на это, Бусыря всегда попрошайничал с униженностью и нахальством глупого человека, и все так привыкли к этому, что это не считалось уже позорным: ему нигде не отказывали, а только пользовались случаем потешиться над ним, чему немало способствовал и сам Казанок.

Нужно было удивляться тому, как этот щуплый белоголовый парень, безраздельно владевший Бусырей и живший за его счет, превращал его рабскую любовь к себе и жадность по отношению к другим в средство для его унижения, увеселения других и собственного наслаждения, оставаясь в то же время в глазах у всех простым, бедовым и славным парнем.

— Ну нет, Федя, нам этого не хватит,— говорил он Бусыре, когда тот развязал перед ним свой переполненный мешок.

— Как не хватит? — удивился Бусыря, задрав к нему свое поросшее темным волосом лицо.— Вот дурак... Ну, как так не хватит?..— размышлял он вслух, начиная уже сомневаться.

— Ясно, не хватит. А дорога? Нам еще ден пять идти...

Через минуту Бусыря сидел перед одной из крестьянских «волостей» и, протягивая грязную толстую руку, нахально выпрашивал:

— Ну, дай сала... Ей-богу, я свое утром съел...

Сережа, проходивший от реки с наполненным котелком, остановился в кустах и прислушался.

— А не хочешь по заднице *выспитком?* — спросил какой-то шутник (в отряде были уже специалисты по обращению с Бусырей).

— Ну вот — выспитком! — обиделся Бусыря.— А ежели б тебя?.. Ну, дай, ну, что тебе стоит? Не с голоду же мне сдыхать?

— А коли не хочешь сдыхать — становись раком. Я тебя по мягкому, ей-богу...

Некоторое время Бусыря, сопя, наблюдал за тем, как исчезает под усами белое жирное сало; оглянулся на Казанка, но тот безразлично смотрел в сторону; люди, сдерживая улыбки, тоже не глядели на Бусырю.

— А ты не больно? — неуверенно спросил Бусыря.

— Совсем не больно,— невинно сказал шутник.— Ей-богу же, совсем не больно... Да стань, ну что тебе стоит? — вдруг начал он упрашивать.

— Ну, ладно, только смотри, чтоб не больно... Да зачем это тебе? — спохватился Бусыря.— Неужто без этого нельзя...

— Становись, не бойся, Федор Евсеич! — вмешался какой-то степенный бородач в картузе так положительно и веско, точно речь шла действительно о неприятном, но совершенно необходимом деле.

— Только смотри, чтоб не больно,— сказал Бусыря, становясь на четвереньки.

Шутник сильно замахнулся ногой, но не ударил.

— Ух!..— выдохнул Федор Евсеич, поджимая толстый зад.

— Ну-ну-ну!..— уже повелительно крикнул шутник.— Не оглядываться!..— и в то же мгновение он с силой ударил его носком сапога по заду.

Федор Евсеич ткнулся лицом в траву; люди покатились от хохота; громче всех слышен был пустой и тонкий хохоток Казанка. Сережа почувствовал вдруг, как горячая и страшная волна хлынула ему в голову, и он, расплескивая из котелка воду, с трудом удерживаясь, чтобы не вспылить, и страдая от этого, почти побежал к своему костру, где поджидали его ничего не подозревавшие Гладких, Кудрявый и Мартемьянов.

Бусыря в распахнутом полушубке сидел на земле, раскинув руки, и смеялся, поглядывая на людей маленькими похитревшими глазками.

— Совсем не больно было,— говорил он счастливым голосом.

Ему отрезали сала, и он, сопя, заковылял к Казанку. Но есть ему пришлось в одиночестве, потому что натравивший его Казанок подсел в компанию к шутникам и вместе с ними подсмеивался над Бусырей.

IX

Вверх по течению реки дороги уже никакой не было. Река все время петляла. Вьючные лошади путались в кустах. От ругани провожатых, многократно повторенной горным эхом, стоял по тайге неумолчный стон.

Гладких и Мартемьянов ушли далеко вперед, только Кудрявый то и дело отставал, проверяя лошадей и вьюки, успокаивая людей; потом он снова обгонял цепочку мелкой иноходью, цепляясь за кусты, сутулясь и обтираясь рукавом. Он всегда был так поглощен заботами, что не успевал подумать о себе: патронташи его были плохо притянуты и болтались на тощей груди; серая, мокрая под мышками суконная рубаха выбилась из-под ремня, и сзади выглядывал белый кончик нижней. Он так потел, что на впалых его щеках, едва покрытых нежным загаром, проступала нездоровая бледность.

— Сеня! Не беги так крепко — простынешь! — кричали ему вслед.

— Ты им задай, Сеня!..

— Сеня! Гляди, какую я нашел ягодку!..

Присевший в сторонку по нехитрой нужде грек Стратулато, на которого Кудрявый едва не наскочил, привет-

ливо указал ему на кусток рядом и, выкатив веселые круглые белки, сказал натужно:

— Хозяину — честь и мэсто...

Сережа часто видел перед собой усталое лицо Кудрявого с большими темно-серыми поблескивающими глазами и жалел его.

— Зачем вы так бегаете? — не выдержал он однажды.— Ведь у вас легкие нездоровы!

— Ничего... не вредит это...— сказал Кудрявый, с трудом переводя дух.— Я здесь отдыхаю еще... Все говорят: поправился...— Он посмотрел на Сережу с обычным своим грустным выражением и, все еще тяжело дыша, вдруг улыбнулся, блеснув ровными кремовыми зубами,— веселые морщинки сбежались у его глаз.— Ты бы на руднике посмотрел на меня. Вот там я, правда, чуть не сдох! — выдохнул он хриповатым смеющимся голосом.

— Вы работали на Тетюхинском? Это серебро-свинцовые? А у Гиммера вы не работали?

— Работал и у Гиммера... Мало сказать, работал,— я перед войной в собственной передней его плюху от околоточного получил, да еще и в каталажке посидел...

— Это мой дядя, между прочим,— откровенно сказал Сережа.

Он хотел добавить несколько осуждающих слов по адресу дяди, но почувствовал, что этого совсем не нужно, и ничего не добавил.

— Так это дядя твой? Ловко!..— удивился Кудрявый.— Ну, да это сейчас сплошь да рядом... У меня вон брат был эсером. Членом эсеровского областного комитета был, в белом заговоре участвовал! А в Ольге случайно узнал я, что помер он месяца два тому назад и тоже от чахотки... Видать, она эсеров сильнее пробирает! — с внезапной жесткой усмешкой сказал Кудрявый.

— Вот это странно...— задумчиво сказал Сережа.— То есть странно, что он эсер, а вы... У меня ведь, понимаете, вот в чем дело: дядя у меня, конечно, буржуй, но только я никогда с ним не был связан. А отец у меня...— Сережа запнулся,— отец, правда, формально не входил ни в какую организацию и, пожалуй, тоже больше был связан с крайними эсерами,— в девятьсот седьмом году он был выслан из Саратова как эсер,— пояснил Сережа,— но в семнадцатом году он сразу пошел с

большевиками... И, понимаете, все знакомые перестали ему руку подавать!.. Он мне рассказывал, как на крестьянском съезде в Никольске главный врач переселенческого ведомства пришел к нему в гостиницу уговаривать: «Я, говорит, хочу поговорить с вами, как *коллега с коллегой*... Вся наша *корпорация*...» — Сережа напружил шею, изображая главного врача, и сделал величественный жест рукой.— Отец посмотрел на него и говорит: «Уйдите отсюда вон...» — «То есть позвольте!..» Тут отец вспылил, да как закричал на него: «Вон!!!»

Кудрявый громко засмеялся, обнажив верхний ровный ряд зубов.

— Ему, понимаете, хотелось уж хоть уйти с достоинством,— смеясь, говорил Сережа,— а отец схватил палку, да за ним по коридору!.. Говорит, не удалось догнать — из-за ревматизма, а то бы он ему показал «корпорацию»!.. Так у нас и получилось: мы с отцом здесь, а Гиммеры там. А у вас ведь, товарищ Кудрявый, насколько я знаю...

— Вот что,— с улыбкой перебил его Кудрявый.— Нехорошо у нас получается, я тебя — на «ты» и «Сережа», а ты меня — на «вы» и «товарищ Кудрявый». Зовут меня Семеном, а в отряде все больше Сеней кличут... Да это ничего,— он виновато замахал рукой, заметив, что Сережа смутился,— это же все равно, конечно...

— Ну, «Сеня»... ну, ладно — «Сеня»...— засмеялся Сережа, только теперь обратив внимание на то, что Кудрявый еще совсем молод и что разговаривать с ним необыкновенно легко и приятно.

— Да, так об отце-то твоем я наслышан,— сказал Сеня,— и очень уважаю его. Сказать откровенно, я как узнал, что ты сын его, очень мне это приятно стало. Вот, думаю, все-таки... ну... хорошо как получается!.. А то, что брат мой эсер,— это, знаешь, не удивительно. Мастеровые мы — привозные с Урала. Отец — мастеровой у меня, дед мастеровой, прадед мастеровой, и это, братец ты мой, такая цеховщина, что меньшевиков и эсеров у нас сколько хочешь. Да недалеко ходить! Колчак целую дивизию собрал!..

— А как же вы-то...— Сережа запнулся, покрутил рукой и, смеясь, повторил по складам,— как же ты-то... Се-ня... большевик?

Кудрявый на мгновение задумался.

— А этого уж я, братец ты мой, не знаю,— сказал он, виновато разведя руками, и засмеялся вместе с Сережей, собирая у глаз веселые морщинки.

— А скажи откровенно,— вдруг спросил Сережа,— но только совсем откровенно: любил ты своего брата или нет?..

— Да, это вопрос...— Сеня помолчал.— Любил, конечно... До этого, правда, я и вспоминать его не мог без злости, а вот как узнал, что умер он, так понял, что любил. В таком разе ведь, знаешь, все ровно бы снимается, а вспоминается... ну, вот как мы с ним в шайбы на улице играли,— а он еще такой неловкий был: его все обыгрывали! Или как заблудился я в лесу, а он целую ночь искал меня и весь от слез распух... Жалко!.. И она, брат, опасная нам — жалость эта...

— Вот-вот-вот! — воскликнул Сережа, просияв большими черными глазами, не замечая своего оживления.— Ты знаешь, меня вот сейчас в Скобеевке сестра ожидает, Лена. Она у этих Гиммеров воспитывалась. Ну, ты понимаешь — такое воспитание! Но я все-таки любил ее и очень жалел, когда расставался с ней, и все боролся с этой жалостью. А теперь, как подумаю, что она все-таки приехала к нам сюда, я, понимаешь, так рад, ну просто очень, очень рад,— говорил Сережа, раскрываясь от нахлынувшей на него любви к сестре, к Кудрявому, а главное — к самому себе, и не замечая этого.

— Красивая она, должно быть, сестра твоя,— с грустью сказал Кудрявый.

— Почему ты так думаешь?

— Да если на тебя похожа, красивой должна быть.

— Ну, пустяки какие! — краснея, сказал Сережа.— Нет, она, правда, довольно красивая — на мать похожа. Мать была очень хороша в молодости... А у тебя сестры нет?..

— У меня сестры нет. А я бы хотел... Сдается, я бы тоже любил ее...

— А я, например...— начал Сережа (не замечая того, что важно для него именно «Я», а не *«я, например»*).

И меж ними завязался тот излюбленный между людьми разговор, когда каждый охотно говорит о себе, но рад слушать и другого и рад ему сочувствовать. Они перелезали через карчи, путались в кустах, липли в пау-

тине и не замечали этого, пока Сеня не вспомнил об отряде, который давно уже роптал позади, требуя отдыха.

— Что же это мы шагаем, на самом деле?.. Гладких! — крикнул он и остановился.— На привал пора, истомились люди!..

— На прива-ал!.. Правильно, Сеня!.. Крой их, Сеня!..— посыпалось сзади.

Люди, не ожидая команды, сбрасывали винтовки и сумки и падали в теплую влажную траву. Сережа, обернувшись, широко открытыми невидящими и радующимися глазами смотрел на кипевшее перед ним живое месиво из шапок, колен и зубов.

«Как хорошо... получается!» — подумал он, ложась на траву спиной и закрывая глаза.

X

Ранним утром другого дня отряд достиг вытянувшейся вдоль реки, заросшей мокрым белокопытником и окаймленной исполинскими дубами таежной поляны, где был расположен когда-то туземный поселок.

— Гляди, Сарл ночевал,— сказал Гладких, указав Мартемьянову на остатки костра у реки, по которой стлался еще утренний туман.— Гляди, как он расчистил кругом!..— Он пощупал пепел жесткими пальцами, искоса поглядывая на Мартемьянова.— А пепел уже холодный...

— А как заросло!.. Какие дубы вымахали! — говорил Мартемьянов, озираясь вокруг синими потеплевшими глазами.

Люди, тянувшиеся через прогалину, с любопытством оборачивались на них.

— Проходи, проходи, чего вы тут не видали! — закричал командир.— Сеня, веди пролетаров своих!.. Пробирает? — грубо и ласково спросил он у Мартемьянова.

— Небось и ты молодым был,— сказал Мартемьянов.

Он крякнул, поправил на спине сумку и, вывертывая ступни, нарочито бодрым и легким шагом пошел вдоль цепи, обгоняя ее.

Принадлежа к тому разряду людей, которым трудно мыслить и чувствовать в одиночестве, Мартемьянов фи-

зически страдал от невозможности поделиться сейчас с кем-либо из людей своими чувствами: чувства эти были слишком сложны для него, а в некоторых из них он боялся признаться даже самому себе.

Эти места напоминали ему о той поре его жизни, когда он на много лет был вырван из привычной нормальной жизни людей его круга, был лишен семьи, друзей, работы, веселья — всего того, что составляет видимость людского счастья. Но ему казалось теперь, что это была, может быть, лучшая пора его жизни. Ведь он был молод, здоров, он мог надеяться!.. А теперь, шагая по этим местам, он видел, что это уже прошло и не повторится: он чувствовал себя старым, одиноким и несчастливым.

Но он бодрился, прикладывал к глазам палец, шел, не замечая людей, и все твердил невесть почему привязавшееся к нему с утра слово: «Да, давненько, давненько... Да, давненько...»

К китайской кумирне он поднялся первый и долго стоял на скрещении хребтов, опустив руки, прислушиваясь к тихому журчанию родника. Все было такое же, как и в дни его молодости,— и чистый голубеющий воздух, и мощные массивы хребтов, на сотни верст простершие недвижные фиолетовые жилы, и ближние зеленые крутизны, под которыми глубоко внизу, как синие ковры-самолеты, кружились леса,— все было такое же молодое и яркое, и только сам он, Мартемьянов, был другой — старый и слабый.

Люди, подымавшиеся из сыдагоуского распадка, проходили за его спиной; иногда он чувствовал на своей шее их жаркое полнокровное дыхание. Они оседали на склонах, шумно радуясь отдыху,— они были молоды, они могли еще надеяться!.. Сережа и Кудрявый, прощаясь, говорили о чем-то вперебой и смеялись, хватая друг друга за рукава и сверкая зубами.

А Мартемьянов никак не мог отдышаться, колени у него дрожали, и он все повторял: «Давненько, давненько... Эх, давненько...» — и прикладывал к глазам палец.

А когда отряд ушел уже по отрогу на запад и Мартемьянов в сопровождении Сережи стал спускаться по течению родника, и когда смолкли вдали звуки шаркающих ног, побрякивающих котелков, конского ржания,— Мартемьянов и вовсе почувствовал себя одино-

ким. Хотел было поговорить с Сережей, но, оглянувшись, увидел, с какой беспечной легкостью прыгает с камня на камень этот стройный, полный своих приятных мыслей, шестнадцатилетний подросток, то исчезавший в кустах, то снова выказывавший из-за них свое смуглое лицо с упрямым мальчишеским подбородком и черными улыбающимися глазами,— Мартемьянов понял, что разговаривать им не о чем, и махнул рукой.

Ночевали они в двух верстах от того, слаженного из корья охотничьего балагана, в котором ночевал Сарл. На другой день Мартемьянов так спешил, что Сережа едва поспевал за ним.

Дневные тени уже сгущались под кустами, но было еще жарко, когда они достигли скалы Инза-лаза.

— Ну, вот и Инза-лаза-гóу...— со вздохом сказал Мартемьянов.

Он снял шапку, обтер голову платком, потом, растянувшись на животе, стал пить из ручья, шумно вздыхая и крякая.

Сережа с волнением и ожиданием смотрел на долину, расстилавшуюся перед ним.

Инза-лаза-гóу! Название это манило его одним своим звучанием. Инза-лаза-гóу! Она расстилалась перед ним, набухшая белыми цветами, окутанная сладкими запахами и осиянная послеполуденным солнцем.

Не прошли они и нескольких шагов, как Мартемьянов схватил Сережу за руку с таким волнением, что Сережа испугался.

— Ты ничего не видал? Вон там? — сказал он, слегка присев на своих кривоватых ногах и указывая пальцем в кусты за рекой, переливавшей теневыми и солнечными челночками.

— Нет...— шепотом сказал Сережа.

— Ай-я! — по-ребячьи воскликнул Мартемьянов и хлопнул себя по колену.— Да это ж караул у них!.. Он еще встренет нас, вот увидишь!

— Кто?

— Сарл... Кто же другой?

Действительно, они не достигли еще удэгейского огорода, когда из-за поворота тропинки показалось двое туземцев. Впереди, с радостной улыбкой, освещавшей его скуластое бронзовое лицо, быстро шел Сарл в длинной удэгейской рубахе с напуском в талии, за ним — малень-

кий плоский старичок с глубоко ввалившимися землистыми щеками, редкой бородавочной растительностью на остреньком подбородке и мелкими ушками, сходными больше всего с барсучьими. На лице его застыло серьезное и благоговейное выражение.

Мартемьянов осыпал их шумными приветствиями:

— Ах ты, Кимунка! — кричал он, тряся старика за руку, которую тот, незнакомый с рукопожатиями, подал ему, как щепочку.— Я так и знал, что встренешь нас! — говорил он Сарлу.— Ну, как вы все там? Как Масенда? Ему небось интересно про меня?.. Эх, и стар же ты стал, Кимунка! А я-то! Я-то! — Мартемьянов сокрушенно крутил головой.

Сарл с живыми и резкими, как осока, улыбающимися глазами, и старый Кимунка, с застывшим на сухоньком лице выражением радостного благоговения — из врожденной вежливости не произносили ни слова и только кивали головами. Сережа с рассеянно-счастливой улыбкой стоял возле, изредка отмахиваясь от комаров.

— Да что же это я один говорю? — Мартемьянов вдруг жалко усмехнулся.— Пойдем, пойдем к вашим...— Он, украдкой потирая глаза, увлек их по тропинке.— Давненько же я тут не был!.. Никак, семнадцать зим, а?

— Много, много, однако...— улыбнулся Сарл.

Кимунка, ни слова не понимавший по-русски, а только вежливо кивавший головой, сказал что-то Сарлу по-удэгейски, немного пришепетывая.

— Его радый — тебе на праздник поспел,— перевел Сарл своим певучим голосом,— праздник Мафа-медведя. Тебе не забывай?

— Ну, как забыть! Мы уж и торопились...

— Ай-э, тебе на Дзуб-Гынь следы не видал? Один русский люди, два лошадка ходи?

— Нет, не видали... Он куда пошел?

— Его Малаза ходи...

— Кто ж бы это мог быть?.. А ты знаешь, мы до Горячего ключа с Гладким шли! Отряд его на Сучан пошел...

— Хх-а!..— вдруг выдохнул Сарл и остановился, стиснув губы. Лицо его приняло твердое и опасное выражение.— Сучан ходи? Малаза ходи?

— А что?

— Хунхуза! — воскликнул Сарл, дико блеснув глазами.— Малаза хунхуза ходи! Тебе понимай?

И он кратко передал то, что рассказывали вчера охотившиеся на Малазе удэге.

— Видал, как оно выходит? — возбужденно сказал Мартемьянов, обернувшись к Сереже.— Ай-я-яй!.. И ведь никак не упредишь...

— Знать бы заранее, лучше бы мы с ними остались,— сурово сказал Сережа.— Все-таки две лишние винтовки...

— Там, однако, Логада кругом ходи, чего-чего смотри... Его, я думай, раньше Гладких посмотри...— сказал Сарл.

В это время Кимунка, продолжавший вежливо кивать головой, осведомился у Сарла, чем взволнованы гости, и, узнав, что дело нешуточное, снова закачал головой, выражая сочувствие и сожаление.

Известие это так расстроило Мартемьянова, что он всю дорогу до переправы только и говорил об этом. Удэгейцы в знак сочувствия его горю не произносили ни слова. И только Сережа не воспринимал это как действительную опасность, угрожающую отряду, и уже досадовал на то, что они отстали от отряда и такое интересное событие пройдет мимо него.

XI

Чем ближе они подходили к поселку, тем ощутимее становился донесшийся к ним еще издалека тошноватый запах несвежей рыбы, разлагающейся крови и чада и тот специфический острый чесночный запах, которым пахнут туземные жилища и одежды. Сережа тратил немало усилий на то, чтобы убедить себя, что запахи эти не так уж неприятны.

На той стороне реки у причала их поджидал сидящий на корточках очень старый, но еще крепкий, сухой, высокий и широкоплечий удэге с длинной китайской трубкой в зубах. Легкая сутулость еще не скрывала могучей выпуклости его груди. Глаза его под редкими, длинными белыми бровями ясно и весело блестели, но желто-оливковое лицо с клиновидной белой бородкой, рассеченное суровыми морщинами, сохраняло каменную неподвижность.

— А, Масенда!..— улыбнулся Мартемьянов, рванувшись к нему.

Лодка едва не опрокинулась. Масенда быстро протянул руки, точно желая подхватить лодку.

— Васаа адианан [1],— пробормотал он укоризненно.

— Что?.. Не понимаю — забыл по-вашему! — виновато кричал Мартемьянов.

— Тихо, тихо... Лодка упади,— с трудом выговаривая русские слова, пояснил старик.

Обмениваясь приветствиями, они поднялись по заросшему ольхой и черемухой обрывчику к фанзе. В отличие от других туземных поселков их не встретила любопытствующая толпа. Выкатились лохмоногие собаки, но какой-то женский голос отозвал их.

Несколько человек в грязных китайских кофтах сидело у костра посреди обширной поляны перед фанзой. Вид у этих людей был изможденный, забитый; у некоторых головы были в лишаях, глаза гноились от трахомы. Один из сидящих, в мокрых ватных штанах, с лицом, изъеденным паршами, сушил у огня рубаху и что-то говорил остальным по-китайски.

— Это кто такие? — спросил Мартемьянов.

— Это чжагубай [2],— ответил Сарл (это были тазы, пришедшие с низовьев реки проведать своего сбежавшего от «цайдунов» сородича).— Гости на праздник приходи... Один люди вода упади, мало-мало промок,— пояснил он, быстро показывая, как тот падал в воду, и улыбаясь.

Сережа, стараясь не дышать носом (тошнотный запах все время преследовал его), прислушивался к разговору Мартемьянова с удэгейцами, рассеянно поглядывал по сторонам.

Тростниковая крыша фанзы, рыбные сушилки, тянувшиеся по другую сторону поляны, белые, темнеющие снизу купы черемух и проступавшие из-за них продолговатые острые юрты облиты были вечерним красноватым светом. Кое-где пылали разведенные перед юртами огни, похожие на отсветы заката на стеклах.

Полуголые чумазые ребятишки, носившиеся по поселку, изредка украдкой раздвигали ветви и засматрива-

---

[1] Погоди немного. (*Прим. А. Фадеева.*)

[2] Кровосмешенные. (*Прим. А. Фадеева.*)

ли на пришедших. Слышны были их негромкие певучие голоса, сердитое рычание собак; ниже по реке журчали свиристели.

Кимунка подсел к костру, и таза, с изъеденным паршами лицом, начал что-то рассказывать ему, выкладывая из своего плотно набитого подмоченного мешка различные вещицы: две рваных рубашки, свиток тонких ремней, пучок веревок, старые унты, гильзы от ружья, пороховницу, свинец, коробочку с капсюлями, козью шкурку, банку из-под консервов, шило, маленький топор, кремень, огниво, трут, смолье для растопки, бересту, кружку, жильные нитки, сухую траву для обуви, кабанью желчь, зубы и когти медведя, копытца кабарги, кости рыси, нанизанные на веревочку. Сережа все ждал, когда он кончит, но таза все вынимал и вынимал (это было имущество его бежавшего сородича, которое тот не успел захватить с собой).

— Ничего, старшинка! — говорил Сарл.— Гладких — смелый люди. Люди, однако, много боися не надо... Ай-э, ходи сынка мой посмотри. У-у, какой здоровый сынка! — воскликнул он, озаряясь детской улыбкой.

Распеленатый ребенок, со смуглым, оплывшим книзу личиком, лежал в колыске перед фанзой, суча короткими, полными ножонками. Сидящая перед ним на корточках немолодая скуластая женщина, с тонкими черными бровями и серьгой в носу, хватала его за пупок. Ребенок смеялся беззубым ротиком, как старичок.

— Вот сын — так сын! Вот так охотник! — вскричал Мартемьянов, подхватив ребенка на руки.— Ух ты, какой веселый!.. Ух ты, какой беззубенький!..— урчал он, держа его на весу перед собой и стараясь захватить ртом его ручонки.— Ам!.. Ам!..

Ребенок смеялся, выказывая нежное малиновое нёбо. Мать, держа наготове руки, боязливо поглядывала на них.

— Тебе много ходи — кушай надо,— говорил Сарл.— Молодой люди тоже кушай надо,— с улыбкой кивнул он на Сережу.— Янсели тебе *катами намихта*[1] давай, *сяйни* давай...

— Сяйни? — Мартемьянов с улыбкой передал ребенка женщине.— Сяйни не надо, сяйни мы, русские, не кушаем... Да ты не беспокойся — у нас все свое есть...

[1] Сушеная рыба. *(Прим. А. Фадеева.)*

— А что такое «сяйни»? — спросил Сережа.

— Да так, кушанье такое, нам оно не подойдет,— подавляя улыбку, сказал Мартемьянов.— Это, знаешь, две женщины жуют — одна рыбу, другая сладкие коренья или ягоды — и плюют в одну чашку, чтобы уж, значит, гостю не жевать, а глотать прямо...

Сережа, почувствовав внезапный приступ тошноты, отвернулся.

В полутемной фанзе, куда они вошли в сопровождении Сарла, их обдал запах чеснока, пыли, застарелой копоти. Фанза с двумя глиняными *канами* [1] посредине, от которых расходились на две стороны низкие глиняные нары, устланные корьем и звериными шкурами, была очищена для гостей. На правой, женской, половине валялась кое-какая кухонная утварь, на левой, мужской, висела русская трехлинейка с обрезанным ложем.

— Не из тех ли, что я тебе на Сучане выдал? — спросил Мартемьянов, указывая на винтовку.

— Ай-э, ай-э! Спасибо! — закивал Сарл.

«Когда он мог ему выдать? Да, он был председателем Сучанского совета... Значит, они встречались тогда?»

Сидя на нарах, поджав под себя ногу, Сережа уныло глодал хлебную корку,— есть ему не хотелось, а Мартемьянов ел вкусно и много, вслух размышляя о хунхузах и договариваясь с Сарлом о завтрашнем собрании. Сарл, на корточках, держа перед собою зажженное смолье, которое он взял с одного из канов, делился с Мартемьяновым своими планами.

— Я думай, тут, однако, мельница работай надо,— серьезно говорил он.— Большой круглый фанза работай, камни привози. Тебе понимай? Лошадка кругом ходи, камни — гр-ру-у... гр-ру-у.— Он покрутил рукой, показывая, как будут вертеться жернова.

— А молоть-то что?

— Кукуруза! Земля работай буду, тебе понимай? Земля работай нету — дальше живи не могу... Тебе посмотри,— с волнением указал он на группу та́зов.— Какой бедный люди! Все равно собаки... Дацзы...— протянул он сквозь зубы с внезапной горькой ненавистью к тем, кто дал его братьям по крови это унизительное прозвище.— Кругом русский люди, китайский

---

[1] Печами. *(Прим. А. Фадеева.)*

люди рыба забирай, шкура забирай,— наша живи не могу. Земля!.. Земля работай нету — все удэге помирай!..

— Что ж, земля у вас будет,— важно сказал Мартемьянов.— Сейчас еще Колчак да японец мешают.

— О-о, я понимай! — воскликнул Сарл, дрогнув щекой, и схватился за пуговицу на рубахе тонкими подвижными пальцами.— Я понимай!.. Однако наша люди — Масенда, Кимунка, другой какой старый люди — понимай нету... Его думай, надо, как ране, живи: рыба лови, козуля стреляй!.. Я фанза работай — его не хочу фанза живи. Я говори, земля работай надо — его не понимай... Худо, худо!..

Он тряс головой и сильно жестикулировал, боясь, что Мартемьянов не поймет его — не поймет этого заветного дела его жизни, которое открылось ему в одну из бессонных звездных ночей и должно было изменить весь уклад жизни его народа. Он говорил об этом деле с тем творческим волнением, какое испытывали, наверно, и первый человек, приручивший священный огонь, чтобы готовить пищу, и первый человек, изобретший паровую машину.

— Тебе — старшинка,— говорил он, волнуясь,— каждый люди тебе слушай... Завтра, однако, все люди фанза ходи, тебе скажи: «Люди! Земля работай *надо*, мельница работай *надо, надо!..*»

— Что ж, я скажу, ты не горячись,— снисходительно урчал Мартемьянов: доверие Сарла очень ему льстило.— Это правильно, конечно... У стариков, известно, свои привычки.

Когда Мартемьянов поел, Сарл пригласил его на камлание, которое должно было состояться вечером перед жилищем шамана Есси Амуленка.

— Нашел кого пригласить! — добродушно осклабился Мартемьянов и посмотрел на Сережу с таким видом, точно хотел сказать: «Посмотри, вот бывают же дураки!» — Не верим мы в бога, дорогой мой, и вам не советуем,— убедительно сказал он Сарлу.— Сознательный народ, а дурман разводите!..

Рука Сарла, державшая смолье, задрожала, и на лице его появилось испуганное и умоляющее выражение.

— Не надо, не надо так говори!..— пробормотал он, дергая щекой.

«И правда, какая нечуткость!» — с внезапным раздражением на Мартемьянова подумал Сережа.

— Ничего, Сарл, ничего... Моя ходи,— сказал Сережа, почему-то ломая язык.— Ты на него не обижайся...

— Ишь, какой защитник выявился! — смеялся Мартемьянов.— Ну, ладно, не буду, не буду... Посмотри, посмотри, как они кривляются,— кряхтел он, расстилая шкуры, чтобы удобней расположиться.— Взрослые люда, а, право, как дети!..

XII

В поселке чувствовалось тихое оживление. Взрослые удэге, некоторые с бубнами в руках, сходились кучками и, обменявшись молчаливыми знаками, уходили по извилистой, пересеченной вечерними тенями тропинке, ведущей от реки к сопкам.

Благодаря их одинаковым одеждам и резко выраженным типовым особенностям наружности, все они казались Сереже на одно лицо — мужчины и женщины. Постепенно приглядевшись, он стал отличать женщин. Они были меньше ростом, с более скуластыми, почти пятиугольными лицами, с более ярко выраженной монгольской складкой век и в более пестрых одеждах. Их длинные, до колен, рубахи, рыбьи унты, плотно обтягивавшие маленькие стройные ножки, легкие наколенники и нарукавники разузорены были спиральными кругами, изображавшими рыб и зверей. На груди, подоле и рукавах нашиты были светлые пуговицы, раковины, бубенчики, разные медные побрякушки, отчего при ходьбе от одежд исходил тихий шелестящий звон.

У одной из юрт, отличавшейся от других своими более крупными размерами, берестяной полог у входа был откинут. Оттуда доносились детские возгласы, виден был красный свет костра, в отверстие в крыше выходили голубоватые струйки дыма. Сарл, не могший, по обычаям, пройти мимо жилища, у которого открыт вход, сделал Сереже знак идти за ним и, нагнувшись, вошел в юрту. Сережа с растерянным и напряженным выраже-

нием лица шагнул вслед за ним и, чтобы не толкнуть Сарла на огонь, невольно посунулся в сторону, опрокинув тулуз с водой, стоявший у входа.

Никто — ни четверо мальчиков, сидевших у огня на шкурах, разостланных вдоль по обеим сторонам юрты, ни старый Кимунка, возившийся в глубине юрты (он выпрастывал из чехла бубен),— не взглянул на Сережу, сильно смутившегося от своей неловкости. Только сидевший ближе ко входу мальчик постарше, с толстыми, выпущенными поверх ключиц косами, одной рукой быстро подхватил тулуз, а другой приподнял край подстилки, чтобы вода не попала на огонь.

— Ничего, садись, садись,— сказал Сарл, подбадривая Сережу своей ослепительной улыбкой.— Кимунка, ты идешь на камлание? — по-удэгейски спросил он старика.

— Да, мальчики просят, чтобы я рассказал им историю Мафа-медведя и почему мы празднуем этот праздник,— отвечал старик, пробуя кожу на бубне тонкими, сухими пальцами.

— Ейни-ая, расскажи!.. Ая, мы будем очень рады! — сбивчиво заговорили мальчики.

Теперь они украдкой поглядывали на Сережу, который, присев на шкуры, со слезящимися от дыма глазами, чувствовал себя все более неловко и втайне уже досадовал на то, что не остался с Мартемьяновым.

— Хорошо, я расскажу вам эту историю,— сказал старый Кимунка, откладывая бубен.— Пожалуй, это интересно будет и русскому гостю,— добавил он, ласково посмотрев на Сережу и забыв, что тот не понимает по-удэгейски.

Он опустился на корточки лицом к огню, затянулся из трубки и, закрыв глаза и медленно выпуская дым из тонких вывернутых ноздрей, некоторое время молчал.

— Анаа-анана [1],— начал он певуче и немного пришепетывая,— жил на этой земле человек *Егда* со своею сестрою. Других людей не было. Однажды сестра говорит брату: «Ступай, поищи себе жену». Брат пошел. Шел он долго и вдруг увидел юрту. В юрте сидела голая женщина, похожая на его сестру, как одна игла с кедра похожа на другую. «Ты моя сестра?» — спросил Егда.

---

[1] Давным-давно. *(Прим. А. Фадеева.)*

«Нет»,— отвечала она. Егда пошел назад. Дома он рассказал сестре все, что с ним случилось. Сестра ответила, что виденная им женщина чужая и в этом нет ничего удивительного, потому что все женщины похожи друг на друга. Брат пошел снова. Сестра сказала, что и она пойдет в другую сторону искать себе мужа. Но кружною тропою она обогнала брата, прибежала в ту же юрту, разделась и села на прежнее место голая. Брат женился на этой девушке и стал с нею жить. Вода в реке текла год, текла два,— у них родились мальчик и девочка. Однажды зимой, когда отец ушел на охоту, мальчик играл возле юрты и ранил стрелою птицу Куа. Она отлетела в сторону, села на ветку дерева и сказала: «Зачем ты меня ранил?» Мальчик отвечал: «Затем, что я человек, а ты птица». Тогда Куа сказала: «Напрасно ты думаешь, что ты человек. Ты родился от брата и сестры. Ты такое же животное, как все живущее». Мальчик вернулся домой и рассказал это матери. Мать испугалась и велела сыну ничего не говорить отцу, иначе он их обоих бросит в реку Яаи... Когда вернулся отец, мальчик начал было говорить о случившемся, но мать закричала на него: «Чего ты болтаешь? Отец пришел усталый, а ты говоришь глупости!» Мальчик замолчал. Ночью, когда все легли спать, Егда стал расспрашивать сына, что с ним случилось, понял, что сестра потеряла лицо[1] и обманула его. Наутро он на лыжах пошел в лес, нашел крутой овраг, раскатал дорогу и на самой лыжнице насторожил стрелу. Вернувшись домой, он сказал сестре: «Я убил сохатого, ступай по моему следу, спустись в овраг и принеси мясо...» Сестра надела лыжи, скатилась в овраг и убила сама себя стрелою. Егда взял сына и дочь и понес их в лес. Скоро в лесу он нашел дорогу, по которой часто ходил медведь Мафа, и бросил здесь девочку. Дальше он нашел дорогу, где ходила тигрица Амба, и бросил там мальчика, а сам пошел и утопился в проруби...

Кимунка затянулся из трубки и, закрыв глаза и выпуская из ноздрей дым, опять некоторое время помолчал. Мальчики, не спускавшие с него острых раскосых глаз, и Сарл, сидевший у входа на корточках и куривший трубку, тоже не произносили ни слова.

---

[1] Потеряла совесть. (*Прим. А. Фадеева.*)

— Мафа-медведь подобрал девочку и стал жить с ней, как с женой, а Амба подобрала мальчика и стала жить с ним, как с мужем,— продолжал старик.— От первого брака пошел весь наш народ, а второй брак был бездетным. Но Амба сделала из мальчика прекрасного охотника. Когда мальчик вырос и состарился, он увидел на охоте медведя и смертельно ранил его стрелой. Умирая, медведь сказал ему: «Я был мужем твоей сестры и имею много детей. Пойди научи их быть такими же охотниками, как и ты. Только смотри, чтобы сестра твоя не ела моего мяса и не спала на моей шкуре... И передай им мой последний завет,— сказал Мафа.— Счастье — сама жизнь. Иного на земле не ищите... Живите около рек, в которых найдете себе пищу, а леса доставят вам приправу и усладу... Сделайте себе лодки — это будут ваши олени. Для зимних перекочевок держите собак и ни к чему лучшему напрасно не стремитесь...»

— Этот завет, пожалуй, уже устарел,— скромно сказал Сарл, выбивая трубку.

— Да, многие люди нарушили его,— кротко ответил Кимунка,— но нельзя сказать, чтобы они стали от этого счастливее...

Сережа, не понимавший, о чем они разговаривают, и сильно страдавший от дыма и вони, тоскливо поглядывал на огонь, на закоптелые стены юрты, на заткнутые за стропила копья и самострелы, которые не вызывали в нем никаких воинственных представлений. «Когда же они пойдут на это свое камлание? — думал он, скучая.— Как глупо, что я не пошел с отрядом!..»

XIII

Солнце уже зашло, и на красноватом фоне заката видны были длинные острые тучи серо-стального цвета,— они золотились снизу, как лезвия мечей. Дальние громады сопок были еще багровы и теплы, но ближний ровный ряд гор уже чернел. По всей долине густели сумеречные тени; в кустах смолкали последние птичьи голоса.

Вдоль по тропе, по которой шли Сарл, Сережа и Кимунка, все чаще попадались белеющие на ветвях медвежьи черепа или вкопанные в землю корнями кверху

пни с изображениями уродливых человеческих фигурок. Из-за кустов, где происходило камлание, доносились глухие удары в бубен, сопровождаемые тихим звенением бубенцов и лязганьем железа. Оттуда вздымались клубы дыма, пахнущего горькой тлеющей смолой и эфирными маслами. Дым вился над кустами длинными синеватыми нитями,— они сливались с более густыми серыми пластами дыма, тянувшегося из поселка, и с белым речным туманом, и образованный этими отдельными струями медленный плавный дымный поток стлался над рекой вдоль по всей долине.

Под сопкой, на просторной лужайке перед юртой шамана, сидели, сомкнув вокруг костра узорное кольцо из белых покрывал и островерхих шапок с беличьими хвостами, почти все мужчины поселка, начиная от глубоких стариков и кончая четырехлетними мальчиками. Поодаль от них в мягком полусумраке расположилась пестрая группа женщин и девочек. Некоторые из них держали на руках грудных ребят...

Толстолицый рябой удэге с неимоверно длинными обезьяньими руками, в одной из которых он держал онизанный бубенчиками кожаный бубен, а в другой обтянутую серебристым мехом изогнутую колотушку, выделывал вокруг костра чудовищные прыжки, часто ударяя в бубен, сутулясь и сильно вращая задом; подвешенные к его поясу железные трубки издавали неистовый лязг.

Он проделывал эти телодвижения без единого возгласа, с лицом серьезным и сосредоточенно-глупым от напряжения, и люди, окаменевшие в своих покорных позах, с поджатыми ногами и руками, положенными на колени, молча следили за ним.

— Это шаман? — невольно делая такое же глупое лицо, спросил Сережа.

— Монгули,— ответил Сарл.— Сынка его,— кивнул он на Кимунку, который уже присоединился к камлающим.

— А где же шаман? — снова спросил Сережа, пугаясь своего свистящего шепота.

— Каждый люди мало-мало шаман,— тихо пояснил Сарл.— Самый большой шаман — Есси Амуленка. Его там живи,— указал он на юрту.

Люди раздвинулись, давая Сарлу место. Сережа, опустившись рядом с ним, некоторое время с любопытством разглядывал старательно пляшущего Монгули, бронзовые лица людей, одиноко темнеющую впереди юрту шамана. Перед входом в нее стояла на задних лапах, вделанных в деревянный подстав, неуклюжая фигура медведя — Мангни-Севохи. В передних раскинутых лапах он держал вырезанные из дерева ружье и охотничий нож. По обеим сторонам юрты торчали две высокие лиственницы с ободранной корой. Их голые сучья и подвешенные к ним деревянные изображения птицы Куа четко вырисовывались на алом фоне заката.

Хилый подросток с распущенными черными волосами, обдирая горстью листья багульника, сложенного у юрты, натирал ими полы разостланного на земле кафтана,— это была одежда шамана. Другой подросток с задумчивым, тихим лицом подкладывал ветви багульника в костер, следя за тем, чтобы костер не разгорался ярким пламенем. Однако листья скоро высыхали, и из-под них вздымались иногда шипучие огненные языки, отражавшиеся в железных трубках у пояса Монгули, вырывавшие из темноты то желтую бороду кого-либо из сидящих, то беличий золотой хвост, то бесстрастное лицо женщины, то асимметричное скуластое личико ребенка с застывшей на нем печатью вырождения.

Позы, которые принимал пляшущий, были так дики, нелепы и унизительны и так порой смешны, что Сереже делалось неловко за него, и он украдкой поглядывал на соседей, почти ожидая увидеть на их лицах насмешливую улыбку. Но на всех лицах стояло неизменно серьезное, бесстрастное и сосредоточенное выражение.

Монгули, обливаясь потом, вернулся в кольцо, а на его месте уже плясал другой, так же вращая задом и ударяя в бубен. Убогое однообразие его движений начало уже утомлять Сережу, но тут внимание Сережи привлек бесшумно вошедший в круг стройный меднолицый удэге с гибкой и сильной талией, с тонкими, косо поставленными хищными бровями. Он молча постоял немного и, вдруг откинув руку с бубном и дробно потрясая им, быстро пошел по кругу в сплошном звенении бубенцов, в узорном мелькании своих одежд, кося золотистым глазом и раздувая ноздри. Медным своим профилем с прямым — с трепещущими ноздрями — носом

он вызвал в памяти Сережи полузабытый образ индейца-воина: и все время, пока он танцевал, Сережа не спускал с него восхищенных глаз (Сережа не знал, что этот удэге на всю страну славился своим исключительным безобразием; это был насмешник Люрл).

Колдовские движения танцующих, мерный лязг железа, звон бубенцов постепенно стали подчинять Сережу своему однообразному ритму. Забывшись, он глядел перед собой широко открытыми глазами и ничего уже не видел: предметы и люди, как в страшном сне, приобретали иное, нереальное значение... Дальние кусты и сопки застыли в сиянии месяца. Небо было безмолвно, молочно-сине; туманно и холодно блестел простершийся над людьми далекий млечный непостижимый путь. А люди, сменяя один другого, все кружились и кружились вокруг одинокого и неуютного своего костра, стлавшего над землей дурманные, горькие запахи.

Вдруг еле слышный шепот прошел по кольцу людей, головы повернулись к юрте шамана. Сережа, очнувшись, тоже посмотрел в ту сторону.

Маленький сухонький старичок с морщинистым личиком, в короткой, отороченной по подолу цветными полосками юбке, в широких шароварах, которые болтались на его кривоватых сухоньких ножках, как на прутиках, медленно двигался от юрты к костру раздельными, мелкими шажками, косо выставляя маленькие ступни носками внутрь, как бы ощупывая почву, и в то же время сильно вращая тощим задом, отчего подвешенные к его поясу железные трубки веером разлетались во все стороны.

Это был *сагды-самани* — самый большой шаман — Есси Амуленка. Сзади к его поясу привязан был длинный широкий ремень, конец которого держал в руках (чтобы шаман не унесся в страну теней) хилый подросток с распущенными волосами.

Кольцо разомкнулось, пропуская шамана, и Сережа вдруг увидел, что у него вместо глаз зияют черные, пустые впадины: шаман был слеп.

Убыстряя неверные свои шажки, он в сопровождении держащего ремень подростка пошел по кругу, мерно ударяя в бубен сухоньким кулачком. В напряженной тишине слышно было его старческое бормотание. Изредка он останавливался и делал рукой какие-то знаки, притоп-

тывая ногами,— тогда другой подросток подавал ему тулуз с водкой. Шаман отпивал по нескольку глотков, запрокидывая голову и пошевеливая морщинистым кадычком.

Он кружил все быстрей и быстрей, чуть не задевая людей одеждами, распространяя запах водки и пота; на губах его выступила пена. Слепой и старый, в болтающихся штанишках, он был жалок и страшен. Сережа, впившись пальцами в траву, с отвращением смотрел на него.

Шаман вдруг с силой запрокинул голову и, устремив к небу незрячие свои глаза, сотрясаясь всем своим хилым тельцем, завыл. Он выл протяжно, исступленно, жалобно, и страшная желтая пена стекала по углам его губ. «Да что же это он делает?» — подумал Сережа, невольно вслед за шаманом устремляясь взглядом к высокому синему небу, мреющему в звездном тумане, и содрогаясь от пронзившего его чувства одиночества и физического страха. «Нет, это ужасно!» — вдруг подумал он, с трудом разжимая окоченевшие пальцы.

Несмотря на свой испуг, он понимал, однако, что все это как бы ненастоящее: похоже скорее на страшный сон, отвратительное очарование которого он всегда может сбросить с себя, стоит только на все взглянуть со стороны. Он сделал какое-то внутреннее движение и тотчас же вспомнил про отца, про Лену — и желание видеть их, видеть все то простое, привычное и милое, что связано с ними, властно охватило его.

Он отделился от костра и по чернеющей в кустах тропинке тихо побрел к поселку.

XIV

Всю ночь Сережу нестерпимо кусали блохи,— фанза кишела ими; он измучился и исцарапал себя до крови. Слышно было, как по тростниковой крыше фанзы шуршат мыши. Как видно, в тростнике над головой слепили себе гнездо шершни: едва мышиный шорох приближался к тому месту,— раздавалось тревожное гуденье. Мартемьянов храпел и метался во сне, подваливался к Сереже горячей спиной. Один раз Сережа даже со злобой ткнул его кулаком. Заснул Сережа уже перед самым рас-

светом, но ранняя утренняя возня разбудила его. Он встал с чувством досады и неудовлетворенности.

Мартемьянов с наслаждением умывался перед фанзой, поливая себе из берестяной кружки. Глядя на его опрятные, круглые движения, Сережа почти уже не верил в то, что с этим человеком связано что-нибудь таинственное. Наверное, в молодости охотился в этих местах,— только и всего.

— И блох же тут, у ваших приятелей! — угрюмо сказал он, выходя из фанзы.

— А где их нет? Блохи, брат, везде есть,— убежденно сказал Мартемьянов, обтираясь грязным полотенцем.— Слить тебе?

Мартемьянов велел Сереже прихватить на собрание племени несколько экземпляров воззвания о съезде.

— Они же не понимают по-русски?

— Ничего, бумага все-таки.

Сережа пожал плечами. «Он глуп и тщеславен»,— неприязненно подумал он, вспомнив, что, когда воззвания о съезде были отпечатаны на гектографе в количестве пятисот экземпляров и обнаружилось, что перед подписью Мартемьянова случайно пропущено: «Зампредревкома»,— Мартемьянов, плохо владевший пером, целые сутки от руки восполнял этот пробел.

Собрание происходило на обширной, залитой солнцем поляне, между фанзой и рыбными сушилками. В отличие от других туземных поселков, присутствовали и мужчины, и женщины, и даже подростки. Сережа, усевшись рядом с Сарлом, почти не слушая Мартемьянова, распинавшегося посередине круга, от скуки приглядывался к лицам.

Люди сдержанно, спокойно сидели на поляне, подставив солнцу покатые бронзово-оливковые лбы, покуривая трубочки,— курили и женщины,— изредка поворачивая головы к Сарлу, когда он начинал переводить слова Мартемьянова. Особо выделялись тазы в китайских кофтах: они сидели, тесно прижавшись друг к другу, глаза их были безучастны,— как видно, они чувствовали себя посторонними.

Солнце поднялось уже к полудню,— запахло горячей землей, над бровями у людей выступили бисеринки пота, а Мартемьянов все говорил,— приседал, разводил руками, потирал щетину на подбородке, важно прищури-

вал синеватые простодушные глаза. Он искренне наслаждался, плавая по расстилавшейся перед ним необъятной словесной стихии, черпая из нее пригоршни самых неожиданных и поразительных словосочетаний.

— Смерть, други мои, дело не страшное,— говорил он,— все мы однажды умрем, да, как говорится, не в одноё время. Ну, а покуда живы, будем мы все, до капли крови, не глядя и не разделяя, который по-русски, или по-китайски, или по вашему наречию, или какие у него глаза — косые, а может, и совсем глаз нету (Мартемьянов широко улыбнулся, довольный собственной шуткой),— будем мы все биться за наше право и счастье и наших, как сказать, детей...

Или:

— Понятно, заступу всякую мы вам окажем, потому, действительно, кому не лень, он каждый вас бьет и шпыняет, и нельзя этого терпеть, но только и самим вам жить дальше по старинке никак не выходит. То, что он вам, Сарл, говорил насчет земли или другой какой обработки, это он тоже не с потолка высосал, а жизнь его к тому подвела: «смотри, дескать, понимай, не сомневайся...»

«И что это он порет?» — спохватывался иногда Сережа, строго приподымая бровь. Но тут Сарл начинал переводить, быстро жестикулируя, то подаваясь вперед всем своим гибким телом, с вытянутыми руками, то откидываясь назад и хватаясь за пуговицу на рубахе тонкими, нервными пальцами,— и видно было, что он все хорошо понимает. Потом он повторял все по-китайски, чтобы поняли и тазы.

Мартемьянов наконец устал, вспотел. Начались вопросы.

Люди по очереди вынимали изо рта трубки и при глубочайшем внимании всех присутствующих произносили всего по нескольку слов. Сарл переводил:

— Дадут ли им пятизарядные ружья?

— Приглашены ли на большой совет хунхузы и китайские цайдуны?

— Будут ли семена и орудия? (Этот вопрос задала женщина Суан-цай. Она была выслушана с таким же вниманием, как все остальные.)

Мартемьянов, изрядно побагровевший, беспрерывно обтиравшийся платком, снова, в течение получаса, доб-

росовестно ругал хунхузов и цайдунов и обещал ружья, семена и орудия. Потом вынул трубку старый Масенда и, не замечая обратившихся на него почтительных взглядов, сказал о том, что великий *Онку* — владыка гор и лесов — велел им жить и умирать в тайге; но они рады принять участие в «большом совете»,— русские братья могут располагать их жизнями. Он немного оживился, сказав такую длинную речь, но тотчас же глаза его потускнели,— он опустил коричневые веки и смолк, зажав трубку меж тонких, суровых губ.

Люди почтительно закивали головами.

— А кого вы пошлете? — спросил Мартемьянов.

Все некоторое время молчали.

— Пойдут Масенда и Сарл,— сказал Кимунка, пришепетывая.

Люди снова согласно закивали головами: подобно тому как в охотничьи старшины или военачальники само собой выделялись наиболее опытные и распорядительные, так же, естественно, на съезд должны были пойти Сарл, знающий русский язык, и Масенда — как старейший. Мартемьянов дал Масенде и Сарлу по экземпляру воззвания, которые они почтительно спрятали за пазухи.

Сережа, сомлев от жары, хотел было уйти спать, но Мартемьянов, подсевший к нему и все еще обтиравшийся платком, задержал его, сказав, что сейчас начнется торжество «съедения медвежьей головы».

Женщины, шелестя рубахами, одна за другой покидали поляну. Ушли куда-то Кимунка и Монгули. Через некоторое время неуклюжий Монгули показался из-за кустов с мальчиком Салю,— они несли на палке большой дымящийся черный котел с вареным мясом; за ними ковылял Кимунка, держа перед собой завернутую в медвежью шкуру, мехом кверху, и перевязанную желтым ореховым лыком медвежью голову.

Он остановился перед Сарлом и, церемонно опустившись на одно колено и весело прищурившись, протянул ему сверток: он предлагал медвежью голову любимому зятю. На лице Сарла появилась лукавая улыбка,— он посунулся назад и отрицательно покачал головой.

— Возьми, возьми,— настойчиво говорил Кимунка.

Сарл снова отрицательно покачал головой и заслонился ладонями. Люди, придвинувшись к нему, разом заговорили, замахали руками: «Бери, не стесняйся!»

Мартемьянов посмотрел на Сережу и хитро подмигнул. Некоторое время на поляне стоял сплошной певучий гомон; все знали, что Сарл возьмет медвежью голову, но обычай превратился уже в веселую игру,— надо было настойчиво и долго упрашивать.

— Бери, бери! — кричали они, смеясь, как дети.

— Ты, наверно, думаешь, что там осиное гнездо? — сказал Люрл, раздувая ноздри.— Но это всего только медвежья голова!..

— Ты должен взять ее,— этого хочет твой сын!

— Он прожил уже целую зиму... Он будет таким же крепким и добрым, как этот медведь!..

Под общий восторженный крик Сарл взял наконец медвежью голову и, выхватив из ножен длинный охотничий нож, одним взмахом рассек связывающие голову лыки. Потом он развернул медвежью шкуру, разостлал ее на земле, чтобы ни одна капля сала не упала на землю, и взял из рук Салю заостренную тонкую палочку. Отрезая от медвежьей щеки мелкие розовые куски мяса, он насаживал их на палочку и поочередно протягивал людям. Сережа, внимательно следивший за его быстрыми движениями, невольно замечал, какие у него грязные пальцы и как замусолены рукава его рубахи.

Каждый, кому Сарл протягивал палочку, снимал с нее кусочек мяса и принимался усиленно жевать, демонстративно чавкая и жмурясь. Не получили мяса только Кимунка и Монгули: они были хозяевами праздника.

Наконец очередь дошла до Сережи. Сарл, весь осветившись улыбкой, протянул ему палочку. Сережа заставил себя улыбнуться и, взяв кусочек мяса, сделал вид, будто жует его. Но когда все перестали смотреть на него, он вынул мясо изо рта и незаметно выбросил.

Съев самый последний кусочек, Сарл взял в обе руки голый медвежий череп и стал на одно колено; против него также на одно колено опустился Кимунка. Сарл дико зарычал. Кимунка выхватил череп и, склонив свою плоскую спину, покашливая, понес его к юртам, чтобы укрепить на дереве. Остальные принялись таскать руками мясо из котла...

Сережа, сославшись на усталость, ушел в полутемную фанзу и, бросившись на шкуры и не замечая уже никаких блох, крепко уснул.

XV

Открыв глаза, он несколько минут лежал со смутным ощущением какой-то неуютности и неустроенности всего.

Грубо ругаясь вслух, он достал из сумки масленку, тряпки, протирку, ногой распахнул дверь и, выкатив за нее какой-то изрубцованный чурбанчик, усевшись на порожке, стал яростно чистить свой и без того блестевший, как новенький, винчестер.

Люди все еще сидели на поляне, сгрудившись вокруг Мартемьянова. Над ними проносились фиолетовые стрижи. Сережа, отдуваясь от комаров, яростно шоркал суконкой и щелкал затвором, пытаясь заглушить все более овладевавшее им чувство недовольства собой.

Резкий, пронзительный крик пищухи раздался где-то позади за рекой, и эхо повторило его. Свора лохмоногих псов с лаем и воем промчалась мимо фанзы. Люди побежали за ними, на ходу выбивая трубки и шлепая унтами; мелькнуло испуганное лицо Мартемьянова, Сережа с затвором в одной руке и суконкой в другой некоторое время прислушивался к треску кустарника за фанзой. Из-за реки донесся незнакомый гортанный окрик; собачий лай перешел в умильное визжание; кто-то стукнул веслом об лодку. Верхний край багрового солнечного диска погрузился в синюю чащу леса, и мягкий сумрак разлился по долине.

Наскоро собрав винчестер и сунув его под изголовье, Сережа побежал к реке. У самого обрывчика он чуть не столкнулся с Масендой, бежавшим ему навстречу. Старик мельком взглянул на него, но, как видно, не узнал. Сережа поразился жестокому, ястребиному выражению его глаз.

На берегу под ольхами было уже почти темно. Люди, цепляясь за кусты, обступали высокого, худощавого удэге, без шапки, в продранном кафтане,— остроскулое лицо и черные растрепавшиеся волосы удэгейца были мокры от пота. От него шел пар, как от лошади. Он что-то говорил, тяжело дыша и указывая за реку. Сережа сообразил, что это стороживший хунхузов удэгеец Логада.

— Что случилось? — с бьющимся сердцем спросил Сережа, схватив Мартемьянова за рукав.

Тот повернул к нему свое посеревшее лицо,— глаза его блестели.

— А то случилось,— сказал он возбужденно,— на Малазу Ли-фу пришел, главный хунхузский начальник... Привел отряд в триста винтовок... Того человека с двумя лошадьми, что Сарл вчера сказывал, зарезали и в реку бросили!..

— А наших он не встретил? — холодея, спросил Сережа.

— Кто? Логада?.. Какой там! — Мартемьянов безнадежно махнул рукой.— Он оттуда двое суток бежал прямо через сопки... Он и не знал, что наши туда идут. Наши, видать, только еще с верховьев спускались, когда он там был... В аккурат они сегодня к ним в лапы и влезут...

Масенда, увешанный патронташами, неслышно спустился на берег. За спиной у него был кожаный мешок, в громадной руке он нес винтовку с отвисшим ремнем... Ни на кого не глядя, он прошел в лодку и опустился на корточки; за ним, на ходу столкнув лодку с берега, впрыгнул подросток. Люди провожали их молчаливыми взглядами.

— Куда он?

— За хунхузами глядеть... У него с Ли-фу с этим кровная месть: тот лет тридцать тому назад всю семью его ка́знил,— жену, трех сыновей с ребятами малыми живьем в землю зарыл...

Сережу передернуло.

Лодка подошла к тому берегу. Рослая фигура Масенды скрылась в лозняке. Подросток погнал лодку обратно.

— Вот они, дела! — Со вздохом сказал Мартемьянов, сердито и жалобно взглянув на Сережу, как будто Сережа был виноват во всем том, что случилось.

XVI

В эту ночь в поселке долго не ложились спать; слышен был плач грудных детей. От костра на поляне проползали по внутренней стене фанзы огненные языки. В тростнике над головой снова шуршали мыши.

Сережа лежал на спине, глядя во тьму под стропилами, и не мог заснуть. Мартемьянов ворочался, тяжело вздыхал. Сереже было почему-то жаль его и немножко стыдно за то, что он весь день сердился на него.

— Вы не спите? — тихо спросил Сережа.

— Какой уж сон!..

— Я думаю, может, обойдется?..

— Все может быть...

— А мы теперь как пойдем? По другой дороге?

— Что — мы? Они нас по реке спустят... Ежели все обойдется, мы в Скобеевку почти вровень с отрядом придем...

— Скажите,— приподнимаясь на локте, робко сказал Сережа,— вы здесь жили, что ли?..

В тростнике снова прошуршали мыши, и вдруг над самой головой приглушенно и угрожающе загудели шершни.

— Видать, гнездо у них,— тихо сказал Мартемьянов.— Да, я жил здесь,— ответил он после некоторой паузы и тоже приподнялся на локте.

Лицо его было совсем близко от Сережиного, и Сережа чувствовал, что Мартемьянов расскажет ему сейчас что-то очень важное для них обоих.

— Три года жил я на Сыдагоу,— раньше их поселок там был,— да пять лет здесь...

— Как же это вышло?

— А так это вышло, что пришлось мне от людей скрываться, как зверю, и ежели бы не случай один, где мне Гладких помог, тут бы я, может, и помер... Трудно только все это рассказать...

— Нет, вы расскажите...

— А и правда, блохи здесь! — сказал Мартемьянов, схватившись пониже спины, и сел.— Фамилия моя, если хочешь знать, не Мартемьянов совсем, а Новиков — Филипп Андреевич Новиков. В Самарской губернии у нас, откуда я родом, почти вся волость — Новиковы... В девяносто третьем году был у нас голод. Об этом, если рассказать тебе, как люди у нас с голоду пухли, да как у меня сестренка померла, да как у брата и отца все зубы выпали,— об этом я тебе даже не скажу... Ведь это же как голодали! Не только что хлеба ни крошки,— какой уж там хлеб,— ни черта

не было! Даже мухи перевелись!.. Одним словом, пошел у нас к весне слух, будто дает казна ссуду,— переселяться на новые земли, на Дальний Восток. Земли будто дают очень хорошие, наделы — большие, и будто из других уездов многие уже не то собираются, не то повыезжали...

Сережа смутно вспомнил, что кто-то уже рассказывал ему про это,— но кто именно рассказывал, он не мог вспомнить. Однако мысль эта почему-то беспокоила его, и он, слушая Мартемьянова, все время возвращался к ней.

— Судили, рядили,— продолжал Мартемьянов,— целую неделю. Ну, как тут бросишь все!.. Отец был за то, чтобы ехать, но одному боязно, а другие и вовсе на подъем тяжелы... Кончилось тем: послать ходоков. Вопрос: кого?.. «Ты,— говорят отцу,— больше всех кричал, тебе и идти...» Отец говорит: «Я-то, говорит, от семьи своей ходока выставлю... (Умысел у него на меня был: в губернии он узнал, что кто на переселение идет, а срок ему, скажем, в солдаты, дают тому освобождение, а я как раз перед голодом женился.) Только, говорит, не страдать же мне одному за всю деревню!» Совсем уж было опять все расстроилось. Потом вызвался один — мужик уже в годах, полная изба сыновей, а в земле он был утесненный, фамилия ему тоже Новиков, а звать его Иваном. «Я, говорит, пойду...» На том и порешили. Справили нам паспорта, одели нас кое-как сообща, зашили мы в порты казенные денежки и...

Мартемьянов покрутил рукой и свистнул.

— Я ведь тогда какой парень был! — сказал он, улыбаясь в темноте.— Я тогда еще и железной дороги не видал!.. Как сели мы в поезд, стал я, брат ты мой, возле двери, и пошла она мимо меня, Россия наша, зеленая да голубая: поля да леса, да небо... да еще мужики и телята... Ехали мы в товарном; вагон полный: оказывается, многие туда же едут, другие с семьями и со всем барахлишком,— накурено, наплевано, ребята плачут, кто на гармошке играет, мужички в очко наяривают... Жизнь!.. Сказать по совести, и меня на очко подмывало. Стою я, и нет-нет да денежки пощупаю,— до карт я был очень азартный. И не то меня держало, что деньги-то не мои, а то, что боялся я Ивана Новикова: мужик честный, строгий,— нельзя! И вот, поди ж

ты, как оно дальше получилось! Захворал мой Иван Осипович... Пока до Одессы добрались, он уже и ходить не мог,— сволокли его в больницу. Тут я, правду сказать, сдрейфил: не с того, что одному ехать,— я хотя и нигде не бывал, а парень был самостоятельный,— а главное дело, думаю: поеду я один, а вернусь назад, мужики не поверят, скажут: «Что он в двадцать один год понимает, несмысель?» А Иван Осипович говорит: «Езжай, там помогут: в случае чего — отпишут с тобой, как и что». А главное было его убеждение, что мы, дескать, с тобой уже несколько целковых истратили да на обратный путь истратим, а все без толку — убьют нас мужики!.. Одним словом, забрал я у него его половину,— оставил он себе, как сейчас помню, два целковых,— и началась моя жизнь вовсе самостоятельная...

— С чего же она началась? — помолчав немного, с удивлением спросил себя Мартемьянов.— А с того она началась, что купил я себе сапоги и бутылку водки: давали, думаю, на двоих, а на одного мне хватит!.. Переселенцев, надо тебе сказать, скопилось тогда в Одессе до черта, и все с Волги. Были и ходоки, вроде меня, а то все семейные, с ребятами да с люльками... Пока сели мы на пароход, до того намытарились, что, как вспомню, и сейчас кровь закипает! Начальства много, каждый по шее норовит, а я еще парень был непокорный, с норовом, мне за всех перепадало. Отплывали мы ночью. Ночь темная, машина под ногами гудит, гудит, народ весь на борту, ребята плачут, а она плывет перед нами, Одесса-мама, вся в огнях, кругом вода кипит золотая, а впереди все черное, черное да чужое,— многие тут всплакнули... Тут даже и я...

Мартемьянов крякнул.

— Скажите, а Иосифа Шпака среди вас не было? — тихо спросил Сережа, вспомнив наконец, что именно Боярин рассказывал ему о своем переселении.

— Ах, Сережа, Сережа! — не слушая его, с внезапной тоской и злобой выдохнул Мартемьянов.— И что же это была за дорога! Народу битком — и в трюме, и на палубе; жара — аж глотки пересыхают; вши; ребята под себя ходят; бабы ссорятся... В качке все валом лежат, блюют; никто за этим не следит, не убирает; вонь, мухи; каждый тебя ногами пихает, как последнюю скотину!.. Возьми хотя бы матросов! Ведь свой же брат

Савка, нет: он уже мужика и за человека не считает, нос воротит. Помню, один матрос к бабе подсыпался, а муж у нее оказался ревнивый,— и что же он, муж, с ней выделывал! При всем народе последними словами, а потом — бить ее, груди щипать, да за волосы, да сапогом в живот — раз ее, раз!.. Ай-я-яй!..— с отчаянием сказал Мартемьянов и схватился за голову.— Много проехали мы стран и городов, не упомнить и названий. И чего я тогда не насмотрелся, и чего я только не передумал!.. Сколь велик мир! Сколь богат! Сколь много людей — разных цветов и языков — населяют его! Сколь непомерно много труда людского вложено в него — и в землю, и в сталь, и в камень! И сколь же нищеты, обмана, зверства в жизни нашей, сколь темноты, грязи! А ради кого? Ради кого, я спрашиваю?..— повторил он со страшной силой, и какие-то лающие нотки прозвучали в его голосе.— Знаешь ли ты, например, что есть такие места, где на людях ездиют, как на лошадях?! Садится барин в белом костюмчике, а человек его везет, а он его зонтиком погоняет!.. Нет, ты па-нимаешь? На людях ездиют!..— весь сотрясаясь и багровея от гнева, говорил Мартемьянов.

Сережа, не спускавший с него глаз, не замечал того, что сам, впившись пальцами в мех, давно уже сидит на нарах.

— Так вот и проехали мы полтора месяца,— со вздохом продолжал Мартемьянов.— Прибыли мы в Ольгу в середине мая. Народ измученный, обовшивел весь. Свалили нас в общие бараки, и пошел нас тиф косить. Стали тогда отделять больных от здоровых, но из поселка никого не выпускают. Люди мрут, как мухи!.. Помощи, конечно, мало, мордобою много... Исхудал я, устал, озлобился. Что делать?.. Китайцы из Шимыня водку к нам возили, и пил я тогда, как уж никогда в жизни... И тут вот и случилось то, из-за чего мне скрываться пришлось,— глухо сказал Мартемьянов.— С вечера я пьянствовал. Утром пошел в управление требовать документы: пустите, дескать, ждать больше нельзя. «А мы, говорят, тоже допустить не можем, чтобы ты по селениям заразу разносил...» Поругался я в дым. Иду обратно в бараки — злой-презлой. Подхожу, смотрю: у барака у нашего народ сгрудился и кто-то — по фуражке видать — пристав — кого-то лупит. Втерся

я в толпу, вижу: лупит он парнишку. Парнишка лет восьми, такой желтоволосый, худенький, а он его до того хлещет, что у того кровь из носу... А отец, понимаешь, рядом стоит да приговаривает: «Так, мол, ему и надо...» — «За что он его?» — спрашиваю. «А за то, говорят, что он у сына пристава, у гимназиста, удочки украл». Не знаю тут, что меня взяло, только подошел я к нему и говорю: «Нехорошо, говорю, за пустяк такой так мальчика бить».— «Что-о?!» — Оборотился он ко мне: лицо у него красное, один ус выше другого... Ка-ак даст мне по скуле, я — на четвереньки. Невзвидел я себя, схватил какую-то каменюку, да как ахнул его!..— с видимым наслаждением сказал Мартемьянов.

Сережа ляскнул зубами.

— Прямо в висок и угодил. Он так на землю и брякнулся. Народ — бежать, я — к нему, а он уж и усами не шевелит... Пометался я туда-сюда, да в лес. Тогда он еще гуще был и подходил до самой Ольги. Поднялся я на отрожек. Ольга — как на ладони... Смотрю: барак уже солдатами оцеплен, по кустам шарят. Я снова бежать... Ну, местности я тогда не знал, плутал, плутал,— уже стемнело, как вышел я по отрожку на Ольгинский перевал, на тракт, и прямо на солдат: там уж, оказывается, кругом дозоры выставили... Они: «Стой, стой!» — я кубарем в кусты. Они стрелять... Ранили сначала вот сюда, в левую руку пониже локтя, потом как жигануло под лопатку, у меня аж дыхание захватило, смотрю — кровь по груди. «Ну, думаю, конец». И уж ничего не помню... Очухался я уж совсем ночью и сначала подумал, будто все еще сплю: лежу я, понимаешь, у огня, небо темное, возле меня старуха какая-то, кругом люди, морды у них в красном свету, на наших они не похожие и вроде не китайцы... Хотел я что-то спросить у них, только рот раскрыл, и опять все передо мной поплыло...

Мартемьянов передохнул, как после трудного перехода; закурил.

Все, о чем он дальше говорил, казалось, должно было наиболее интересовать Сережу, но Сережа уже почти не слушал его, а не отрываясь глядел на ползающие по стене фанзы огненные языки и мучительно думал что-то о себе.

— Оказывается, что же получилось? — пыхтя ци-

гаркой, продолжал Мартемьянов.— Старик вот этот ихний, Масенда, был в Шимыне. На обратном пути видит дозор на перевале: «Не по нашей ли, думает, части прохлаждаются?» Весь день он следил за ними и все как раз видел. Солдаты меня потом долго искали, но уж темно было, а кусты густые... Так и не нашли. Он меня подобрал и привез к своим в лодке... Лечился я у них до осени. Трудно мне в первое время было: языка не знаю, люди не наши, даже грязь у них какая-то нерусская, да и мысли у меня свои— пропала жизнь... Идти некуда! В родной деревне убийцей и вором почитают!.. Но ухаживали они за мной, как за своим, ничего не жалели. Ведь это же что за люди? Ты не смотри, что они дикие, ведь это же люди — братья. Они не считают, что это вот мое, а это чужое: один, что добыл, всегда другим даст. Когда из какого поселка ихнего долго вестей нет, они посылают своего узнать: как, живы ли, здоровы, не нужно ли чего? И начальства у них нет никакого. Только русские наши и китайцы на них наседают, а особливо хунхузы эти. Народ они храбрый, а сил у них мало — многие в кабалу попадают, и сразу все их обличье теряется. Старики рассказывали — была у них один год оспа. Больше всего она тазов косила. Китайцы их боялись хоронить и сжигали на кострах. Как в какой юрте покойник, выволакивают крючьями заодно уж и живых, чтоб заразы не было, и — в огонь... Так и мытарился я с ними: и на охоту, и рыбу лучить, и с хунхузами воевать! А особо я с этим Сарлом подружил. Когда я попал к ним, было ему всего лет шестнадцать, и сразу я его отметил: парнишка смышленый, все ему расскажи да покажи. Стал я его своему языку обучать, а он меня — своему. Привязался я к нему, как к брату... С Гладким же, стариком, познакомились мы на охоте. У него с народом этим тоже дружба была. Приехал он в эти края, когда русских тут почти не было, выходит, ссориться ему с народом этим никакого расчета не было, да и не из-за чего. А через него я и с сыном его Антоном, что отрядом командует, подружил... Да ты уж, наверное, спать хочешь?

— Нет, я слушаю,— хрипло сказал Сережа.

— Он-то мне, Антон, и подсобил... Случилось так, что русский тут один, промысленник, убил в тайге ихнего удэгея. Промысленник тут — это такая профессия:

ходит он по тайге, высматривает бродячих манз, или корейцев, которые, скажем, с мехами идут, или с пантами, или с корнем женьшенем, и постреливает их полегоньку. Называется это — охота за «синими фазанами» да за «белыми лебедями», потому китайцы всегда в синем ходят, а корейцы в белом. И вот убил такой промысленник ихнего удэгея. А у них закон такой: кровь должна быть отомщенной, иначе душа убитого на тот свет не попадет. Пошли они его выслеживать. Антон пошел с ними для интересу. Когда они его убили, стал его Антон обыскивать, смотрит — паспорт: *«Филипп Андреевич Мартемьянов, тридцати лет от роду...»* Он как увидел, что имя и отчество у него мое, тут его и надоумило: почему бы, дескать, Новикову не стать Мартемьяновым?.. Целый совет у нас был: куда мне с этим паспортом податься? Гладких-старик и посоветовал: «Ступай, говорит, на Сучанские рудники. Там, говорит, русских рабочих не хватает, они уж не станут допытываться, кто и откуда». Сарл, как узнал, что я уходить должен, до того заскучал, до того загрустил! И сделал я тут одну глупость, за которую долго потом пришлось каяться. Стал я его сманивать с собой. Друзей, думаю, не скоро найду, а к нему я привык, да и он, думаю, парень смышленый,— жизнь увидит, в люди выйдет... И, понимаешь, сманил! Конечно, промаялся он на руднике года полтора и сбежал. А для меня эта жизнь была совсем новая, и глядел уже я на все открытыми глазами... Только об этом что уж рассказывать... Потом уж, после революции, когда выбрали меня председателем Сучанского совета и уж наша власть была, прибегает ко мне один паренек: «Тебя, говорит, Филипп Андреевич, какой-то китаец по руднику разыскивает...» Что, думаю, за китаец? Оказалось — Сарл... Прослышал ведь, понимаешь! — с гордостью сказал Мартемьянов.— Обрадовался я ему, как сыну или брату... Целую ночь мы с ним проговорили. На другой день выдал я ему из нашего красногвардейского отряда десять трехлинеек и грамоту на них. «Только, говорю, грамота — грамотой, а ты лучше их ночью унеси, а то отберут у тебя мужики!..» За ружья за эти они мне теперь всю жизнь благодарные... У них ведь что за ружья? — говорил он, укладываясь на нарах и кряхтя.— Китайские какие-то, со времени царя Гороха.

Некоторое время слышно было его умиротворенное сопенье.

— Это, знаешь, хорошо: о себе рассказать,— проурчал он снова, зевая и улыбаясь,— вроде какую тяжесть с души сымаешь...

И уже засыпая, он еще ласково бубнил что-то,— кажется, беспокоился об отряде, но Сережа, прилегший на спину, уже совсем не слушал его. Образы, навеянные рассказом Мартемьянова, не давали ему уснуть,— они были как бы продолжением всего того, что Сережа видел во время похода, но не того, что он считал наиболее интересным и обещающим, а как раз того, что он старался не замечать, но что, помимо его воли, входило в его сознание и теперь властно давило на него. Какие-то изможденные, изъеденные паршами, гноящиеся лица осаждали его,— сухонький слепой старичок в болтающихся штанишках плясал среди них, брызгая пеной, завывая... Вдруг Сережа увидел Бояринa с грязной бородой и вывороченным веком,— он сидел на траве и разминал пальцами свои потные белые, нечеловеческие ступни... Неуклюжий и глупый Бусыря тыкался волосатым лицом в землю,— люди смеялись вокруг, оскаливая жестокие зубастые пасти... Это были те самые люди, о которых рассказывал Мартемьянов, это они населяли страну, по которой больше месяца бродил Сережа, в сущности не интересуясь ими, рассматривая их как что-то внешнее, что создано для того, чтобы украшать его жизнь, оттенять его чувства и преклоняться перед его поступками. Жизнь их пока что не стала светлее и чище, они по-прежнему дрались за корку хлеба, не уважая и обманывая друг друга, жизнь их была жестока и отвратительно несчастна.

«А Гладких?» — думал Сережа, пытаясь как бы заслониться тем образом мужественности и цельности, который всю дорогу внутренне сопутствовал ему, который делал его жизнь наполненной, по-особенному осмысливал ее и украшал ее. «Зачем ты обманываешь себя?» — вдруг спросил он себя и сел и снова услышал мышиный шорох и храп Мартемьянова, увидел ползающие по стене фанзы огненные языки. «Затем, что я хочу быть сильным, счастливым, хочу выделяться среди людей и быть прославленным ими... Да, но ведь это же ложь, то, что ты думаешь о себе и о людях,—

ведь это же совсем не такое?.. Но разве можно жить без этого? Чем же тогда жить?» — спросил он себя.

В реке за фанзой звонко всплеснула рыба. Сереже стало душно. Он вышел из фанзы, и, как это бывает в горных долинах, по рукам его повеял холодный воздух, а по лицу — теплый, пахнущий росой и цветами. Теперь, ночью, запахи эти могуче заглушали все людские. Было свежо, прозрачно, тихо. Долина лежала в голубоватом призрачном свете, и, ровно искрясь и блистая, возвышалась, царствовала над ней Серебряная скала — вся точно из голубого сахара.

У костра, в багряном его полыхании, застыл, поджав ноги, рябой толстолицый человек с прислоненной к плечу винтовкой и опущенными на колени руками, длинными, как у обезьяны. Голубоватая звезда Капелла сияла над ним. Сережа, не замечая человека, долго смотрел в его сторону.

XVII

Отряд Гладких уже третий день продвигался по течению реки Малазы.

Места здесь были на редкость глухие и тихие. Солнце почти не пробивалось сквозь чащу. Свежие медвежьи лежанки встречались у самой тропы. Утиные выводки спокойно плавали в осоченых, тинистых заводях; тут же в траве можно было нащупать гнездовья с нежным, еще теплым пухом утят.

Совсем недавно этим путем прошел человек с лошадьми. Человек хорошо знал дорогу. Гладких все время вел отряд по его следам.

Изучая их, он так далеко ушел от отряда, что Сеня, замешкавшийся со взводами, едва настиг его.

— Ты понимаешь,— возбужденно сказал командир, распрямив спину и обдав Сеню стремительным блеском своих орлиных глаз,— он, видать, гад, не в первый раз тут ходит!..

— Кто ходит? — рассеянно спросил Кудрявый.

— А кто ж его знает! По чьим следам идем...

«И все-то ему следы, чурбашке!» — подумал Сеня. Он относился к командиру с той шутливой, в сущности, нежной, привязанностью, с какой нередко физически

слабые люди со сложной душевной организацией относятся к людям физически здоровым, не обременяющим себя мыслями.

— И дались они тебе!

— Та-ак...— насмешливо протянул Гладких. — А ежели дымом тянет, как это на твое мнение?

— Дымом?

Сеня принюхался. В воздухе стоял легкий, едва ощутимый запах горящей хвои.

— Лес где горит, верно,— раздумчиво сказал Сеня.

Изредка они останавливались, поджидая отряд, но когда показывалась из кустов голова цепочки, снова незаметно уходили вперед. Уже вечерело, тени сгущались и лиловели, по кустам разносилось предсумеречное оживление птиц.

Тропа неожиданно оборвалась за речным коленом,— река повернула вправо,— и перед Кудрявым и Гладких открылась большая, освещенная закатным солнцем, кишевшая людьми прогалина. Посредине ее тянулся длинный, только что покрытый корой барак из свежих, обтекающих смолою бревен.

Перед входом в барак слабо курился небольшой костер,— дым вился над прогалиной и оседал в ветвях тонкими синеватыми пластами. Множество китайцев в белых грязных рубахах и синих кофтах, обвитых крест-накрест матерчатыми патронташами, молча сидело и лежало вокруг составленных по три, по четыре в козлы ружей. Некоторые, задумавшись, курили трубки, некоторые, голые по пояс, разложив на коленях рубахи, искали вшей; двое с трубками в зубах сидели на порожке барака. Слева, на опушке, стояли привязанные к дереву две разномастных лошади.

В первое мгновение Кудрявый и Гладких не успели даже удивиться, ступили еще несколько шагов; люди на прогалине тоже не проявили никакого беспокойства. Но уже через секунду двое сидевших на порожке барака, выронив трубки, прыгнули врозь и застыли по обе стороны костра, направив на пришедших выхваченные из болтающихся у бедер кобур револьверы. Гладких и сильно побледневший Кудрявый сделали то же самое.

Прогалина мгновенно ожила, козлы исчезли. Ружейные дула уставились на пришедших. Партизаны, накатывавшиеся сзади, с возгласами испуга и удивле-

ния срывали с плеч винтовки и растягивались полукругом в обе стороны от командиров; слышалась чья-то приглушенная команда, слева сильно трещали кусты,— партизаны оцепляли прогалину.

Некоторое время люди стояли друг против друга в угрожающих позах, безмолвно ощерившись оружием.

Наружность человека с револьвером в руке, застывшего против Сени, была так незаурядна, что Сеня никогда уже не смог бы забыть его.

Сильно пожилой, с седыми редкими бровями, человек этот в поношенной форме китайского офицера, но без погонов, так прочно стоял на земле, точно он врос в нее своими кривыми ногами. Скуластое большелобое лицо его со шрамом на подбородке, с неподвижными, без ресниц, с красными веками, глазами, из которых по его сухим щекам безостановочно катились слезы, выражало одновременно и какую-то мучительную жалобу и жестокое бесстрастие.

Несколько секунд слезоточащие жалобные глаза его смотрели на Сеню, многократно отражая его в себе и в то же время не впуская его в себя, потом глаза его скосились в сторону Гладких, и уголки бровей у человека чуть шевельнулись.

— Антон? — спросил он вкрадчивым голосом, с легким китайским акцентом.

— Ли-фу? — хрипло отозвался Гладких.

Они разом опустили револьверы. Слышно было, как вздохнула и зашуршала, опуская ружья, вся прогалина.

— Вот уж кого не ждал, признаться! — с усмешкой сказал Гладких, шагнув к Ли-фу.

Ли-фу, ступив навстречу к нему несколько шажков, легонько, по-стариковски, встряхнул протянутую ему большую смуглую ладонь Гладких пальцами обеих своих рук.

— Я думаю, мы оба не ждали,— старательно и чисто выговаривая русские слова, ответил он.— Вы можете, как дома, располагаться...

Он быстро обернулся к высокому тучному китайцу, вместе с ним соскочившему с порожка барака, и что-то тихо сказал ему. Тот, пряча револьвер в кобуру, тяже-

ло переваливаясь, пошел к своим, повелительно крича им что-то тонким гортанным голосом и обводя рукой прогалину.

— Помощник мой, Ка-се зовут,— пояснил Ли-фу.

— Мой товарищок, Кудрявый Сеня,— сказал Гладких, указывая на Сеню, который, оправившись от первоначального испуга и уже забыв о том, что он сильно испугался, с грустным удивлением наблюдал за хунхузами.

Хунхузы, подбирая разбросанные по траве патронташи и рубахи, отходили в дальнюю половину прогалины. Несколько человек присели на корточках возле костерка перед бараком. По обе стороны от них — к реке направо и к опушке налево, где привязаны были лошади,— расположились на небольшом расстоянии друг от друга такие же, как бы случайные группки, образовав поперек прогалины сторожевую линию.

Партизаны, по знаку Гладких, сбрасывая с плеч походные мешки, с беспечным и шумным гомоном растекались по очищенному для них пространству, тоже не переходя, однако, какой-то черты: между передней линией хунхузов и передней линией партизан все время оставалась незанятая, сажени в две, полоса.

В этой полосе, отчужденно-вежливо и молча глядя друг на друга, стояли Гладких, Ли-фу и Сеня.

— Ваня-а! Хо-хо-о! С хунхузьями дружбу завели! — мальчишеским голосом кричал кто-то за спиной Сени, не смущаясь тем, что хунхузы могут его слышать: кричавший, видно, не считал их за людей.

— Ну, дружба,— басисто отозвался другой,— тайга, глушь, тьфу! Какая там дружба!..

— А, не любишь? — захлебывался первый.— Ух! — Послышался глухой звук удара мешком по спине.

— Ну, и дурак,— спокойно ответствовал пострадавший.

Сеня, недовольно обернувшись, узнал бурильщика Ивана Ложкина, молчаливого, сухопарого, незлобивого человека, прозванного в отряде Судьей, и его племянника и подручного по руднику Митю Ложкина, хвастливого и озорного паренька с большими ушами.

— Веселые у вас ребята,— старательно выговорил Ли-фу и улыбнулся одним ртом.— Это хорошо. Веселье дороже богатства. Э?..

Он достал из кармашка френча платочек, отер слезы, медленно катившиеся по его щекам, и, посмотрев на Сеню своим неподвижным, прямым и жалобным взглядом, добавил:

— У нас нет веселых людей...

В глазах у него промелькнуло выражение наивного и жестокого любопытства, подобного тому, какое бывает у человека, мучающего животное, но тотчас же лицо Ли-фу вновь окаменело. Он спрятал платочек в карман.

— Не знаешь, случаем, что за человек проходил тут с двумя лошадями? — спросил Гладких, косясь на лошадей, привязанных слева у опушки.

— Это мой один человек,— уклончиво сказал Ли-фу.— Вы можете, как дома, располагаться...

Он вежливо поклонился им и заковылял к бараку, отпихнув ногой сидящего у костерка китайца, не успевшего дать ему дорогу.

XVIII

Сеня впервые так близко столкнулся с хунхузами, но он был уже достаточно наслышан о них, особенно о Ли-фу. О налетах Ли-фу на корейские деревни и туземные поселки много болтали в деревнях и по рудникам. Человек этот слыл за вездесущего, неуловимого,— о нем ходили легенды.

Из простого опыта своей жизни Сеня знал, что вездесущих и неуловимых людей нет, что легенды всегда распространяются о людях, занимающихся какой-либо выходящей из обычного ряда деятельностью, жизнь которых не протекает на виду у всех, и что распространяются эти легенды людьми, которые, живя сами так называемой обыкновенной жизнью и скучая от нее, хотят верить в то, что есть на свете другая жизнь, необыкновенная. Но Мартемьянов, передавая Сене свой разговор с Сурковым по прямому проводу, вскользь сообщил о том, что у партизанского командования в Скобеевке возникли какие-то осложнения с хунхузами. И это обстоятельство, которому Сеня не придал тогда большого значения, теперь сильно встревожило его.

Он стал выспрашивать у Гладких все, что тот знал о хунхузах, но оказалось, что, хотя Гладких не раз в своей жизни встречался с хунхузами и даже, заблудившись однажды на охоте, ночевал с Ли-фу в одном зимовье, он не мог сказать о них ничего определенного. Гладких помнил, что сегодня они грабят китайских купцов и цайдунов, а завтра вместе с купцами и цайдунами грабят туземцев и корейцев, но сам он никогда не пытался разобраться в этом: жизнь людей, непохожих на русских по своему обличью и говору, втайне души казалась ему какой-то ненастоящей.

Посовещавшись, они решили заночевать здесь: выгоднее было иметь врага перед собой. Они расположили половину отряда не на прогалине, а возле, в лесу, и выставили усиленные караулы. Взводным командирам велено было не ложиться спать.

В лесу становилось все темнее, и все ярче разгорались на прогалине искрастые костры, освещавшие лица людей, сумрачные стволы деревьев. Головные костры партизан и хунхузов образовали две сплошных линии огней, между которыми по-прежнему оставалась незанятая, ярко освещенная полоса.

Гладких и Сеня развели свой костер позади, на опушке. Они только-только сварили кашу и начали ужинать, когда со стороны барака к ним подошел партизан в мохнатой шапке и, заслонясь ладонью от света, доложил:

— К вам хунхузский начальник пройти хотит. Пустить?

Сеня и Гладких переглянулись.

— Что ж, идет пускай...— нерешительно сказал Сеня.

Но скуластое лицо Ли-фу с блестящими по лицу слезами уже появилось из-за спины партизана.

— Отдыхаете? — сказал хунхуз, улыбнувшись одним ртом, и опустился на корточки возле костра.

Он некоторое время сидел молча, делая вид, что не замечает неловкости неожиданного своего появления, подбирая с земли сучочки тонкими желтыми пальцами. Потом, один за другим побросав сучочки в огонь, он внимательно и жалобно посмотрел на Сеню.

— Не будете ли в наш барак зайти? — спросил он.— Мои командиры имеют с вами говорить. Э?..

Сеня в замешательстве провел рукой по редким кольцам своих волос и покосился на Гладких.

— Поговорить — так поговорить,— сказал командир, с сожалением взглянув на дымящуюся кашу.

Они миновали обе линии головных костров и вошли в барак вслед за Ли-фу. Посредине полутемного барака стояли приставленные в ряд один к другому низенькие столики с китайскими плоскими чашечками и остатками еды. Хунхузы, отужинав, сидели на корточках двумя рядами вдоль столиков, попыхивая трубками. Первым от входа справа сидел тучный Ка-се. У стены слева стояло двое китайцев; в руках у них горело смолье; было чадно. Свет и тени ползали по бревенчатым стенам и чередовались на лицах сидящих.

Вошедшим поставили два чурбанчика. Гладких, к которому вернулся обычный насмешливый вид, и Сеня, все еще не нащупавший, как ему нужно держаться, и беспокойно поглядывавший вокруг, сели поближе к выходу. Ли-фу, закурив трубку, опустился на корточки подле Ка-се.

— Вы много шли... вы устали,— затянувшись из трубки, сказал Ли-фу.— Мошка не даст вам на воле уснуть. Мы имеем уступить барак для вас и ваших командиров.

Он подсовывал им невыгодную позицию на ночь.

— Спасибо на хорошем слове,— сказал Гладких,— да уж не стоит, видать: мы люди привычные.

— Привычные, правда,— согласился Ли-фу.— Такие же, как мы, все равно,— добавил он, улыбнувшись одним ртом.— Все люди одинаковые, не правда ли? Мне говорили, по вашему учению нет ни благородных, ни низких — все равны. Э?..

— Ну, это так, да не совсем,— неожиданно блеснув кремовыми зубами, сказал Сеня.— Где это вы так по-русски научились?

— Йе, не только по-русски! — многозначительно сказал Ли-фу.— Три европейских и японский языки известны мне... Я был переводчиком в штабе мукденских войск. Давно — в тысяча восемьсот восемьдесят седьмом году, если вам интересно знать. Тогда я не имел седых волос, шрама на подбородке. Я был в чести. Но служба в армии оказалась не по мне. Если случится вам побывать в провинции Хейлудзян, вы много о моих де-

лах услышите. . Конечно, купцы и цайдуны не скажут вам хороших слов о Ли-фу. Но каждый крестьянин скажет вам о моей справедливости. Матери учат своих детей молиться, чтобы бог послал мне удачи...

И Ли-фу, достав из кармана френча платочек, отер слезы, все время катившиеся по его щекам.

Он говорил с тем выражением загадочности, упора на какой-то иной, сокровенный смысл своих слов, выражением, за которым на самом деле ничего не крылось, но которое, он знал, должно возвышать его в глазах людей иного, чем он, образа жизни. Но Сеня все время чувствовал в словах и жестах хунхуза что-то натянутое, деланное и не придавал его словам никакого другого значения, кроме того, что хунхуз старается обмануть их.

— Нам смешно враждовать,— говорил Ли-фу, холодно истекая слезами.— Мы деремся за одно дело. К сожалению, не все ваши это понимают. На Сучане было несколько случаев нападения партизан на мои отряды. Это очень нехорошо. Это невыгодно вам. Это невыгодно мне. Если вы будете нападать на нас, у вас не будет обеспеченного тыла. Вы не сможете прятаться от врага в тайгу,— разве в тайге вы не встретите хунхуза за каждым деревом? Э?..

— Где ж нападали на тебя? — спросил Гладких.

— Один такой случай в Хмыловке имел место. Другой — возле Николаевки, корейской деревни...

— Может, то самочинно было? — спросил Сеня.

— Нет, мне известно, отряды рассылаются против нас по распоряжению вашего штаба.

— Нам не сообщали о том...

— Это не моя вина,— улыбнувшись одним ртом, сказал Ли-фу.— Вы скоро на Сучане будете. Скажите, я не хочу с вами враждовать. Нам нужен союз. Нам нужен договор. Вот какие пункты договора я буду предложить...

Он достал из бокового кармана сложенную в узкую полоску красную бумажку и протянул Сене. Гладких, расправив усы, склонился к Сене и сделал вид, что тоже читает (он был неграмотен). Десятки пар глаз смотрели на них из темноты барака.

На бумажке черной тушью было старательно выписано следующее:

Начальнику штаба русских партизан.

На имевший место недоразумений между русскими партизанами и революционными китайскими отрядами возле деревни Хмыловки и Николаевки, корейской деревни, я, Ли-фу, начальник революционных войск китайского народа, предлагаю нижеследующий договор принять и подписать как русскому партизанскому командованию, так и командованию китайских революционных войск:

1. Русское партизанское командование и командование китайских революционных войск обязуются никаких дальнейших выводов из столкновения под Хмыловкой и Николаевкой не сделать.

2. Русские партизаны и китайские революционные отряды полный нейтралитет сохраняют относительно одни другим и обратно.

3. Русские партизаны обязуются жизнь и интересы китайского населения своей деятельности не затрагивать. Китайские революционные отряды обязуются жизнь и интересы русского населения своей деятельности не затрагивать.

4. Русские партизаны права не имеют помогать врагам китайских революционных отрядов никаких формах. Китайские революционные отряды права не имеют помогать врагам русских партизан никаких формах.

5. Настоящий договор на русских партизан и китайские революционные отряды помогать своей деятельности один другим и обратно не накладывает.

С искренним уважением и сочувствием вашему делу
начальник революционных войск китайского народа

Ли-фу.

«Тоже мне революционеры, прости господи... Хитер, хитер, братец ты мой»,— думал Сеня, с трудом при свете смолья разбирая расплывающиеся строчки письма.

XIX

Пока в бараке шло это совещание, на прогалине, там, где расположились партизаны, становилось все оживленней; весело потрескивали костры, запахло супами и кулешами, громче становился человечий гомон.

Хотя каждый думал о хунхузах, никто почти не говорил о них: шли обычные лагерные разговоры.

У одного из костров партизаны выпаривали вшей, и кто-то рассказал о том, как на германском фронте солдаты устраивали вшивые гонки на деньги: на кругло вырезанную газетину каждый из участников пускал вошь со своего тела, и чья вошь ранее других сползала с листа, тот выигрывал кон. Рассказчик с удовольствием вспоминал про то, какие попадались иногда большие и медлительные и, наоборот, маленькие и прыткие вши, и какой овладевал людьми азарт, и как некоторые проигрывали свое скудное солдатское жалованье.

У другого костра Митя Ложкин, с оттопыренными, просвечивающими от костра ушами, врал что-то о своих подвигах. Все знали, что он врет, и Митя знал, что все знают это, но в том-то и состоял главный интерес. Он врал, а все слушали его и покатывались от хохота,— народ всегда с охотой слушает вралей и балагуров, складно бы только врали. В особо закрученных местах дядя его, Иван Ложкин, чинивший штаны, сидевший на земле без штанов, вытянув худые волосатые ноги, на которые садились комары,— подымал от работы голову и говорил укоризненно:

— Врешь ты все, дурак...

В третьем месте спорили о боге. Подстриженный в скобку бородач в картузе (тот, что три дня назад уговорил Бусырю стать на четвереньки) доказывал существование бога, а тонкошеий русявый паренек, с синяками под глазами, утверждал, что бога нет. Паренек был совершенно убежден в этом, но доводов у него не было, поэтому на все обходы бородача (бородач спорил, как чернокнижник) паренек только презрительно сплевывал и все повторял, стараясь быть ядовитым:

— Бога ему — эк куда хватил!..

— ...А я так за семью свою вовсе не скучаю,— говорил по соседству от них Федор Шпак, беспечно пошевеливая аржаным усом,— да и отвык я от работы, признаться... Думается, на наш век еще войны хватит.

— А не хватит если? — насмешливо спросил кто-то.

— Ну, если не хватит...— смутился Шпак.— Там видно будет! — И он засмеялся.

— И правда, отвыкают от работы люди,— задумчиво сказал беленький парнишка в ватном пиджаке.—

И чего это, когда поверх огня глядишь,— неожиданно сказал он,— так все черно, и лес и небо, а отвернешься от огня — ан, небо светлое, и звезды на небе...

В той половине прогалины, где расположились хунхузы, было тихо. Хунхузы молча и почти недвижимо сидели у своих костров. Изредка то тот, то другой из хунхузов протягивал руку в огонь и, выхватив голыми пальцами уголек, раскуривал трубку. Иногда на фоне костра четко вырисовывался силуэт часового в круглой китайской шапочке с ружьем на ремне. При вспышках хвои то ярче, то слитней выступали из темноты крупы двух лошадей на опушке.

Стена барака, обращенная к партизанам, была ярко освещена костром, разведенным у самого входа. У этого костра сидела большая группа китайцев, человек около двадцати. Соответственно этому у партизанского костра напротив расположился почти целый взвод горняков.

Зарубщик Никон Кирпичев, тяжелый сорокалетний дядя с землистыми щеками, с проваленной верхней губой (на работе ему как-то выбило все передние зубы), рассказывал о нападении хунхузов на корейскую деревушку Коровенку осенью прошлого года. После разгрома уссурийского фронта, скрываясь от колчаковской милиции в верховьях Фудзина, Кирпичев спустился в деревню за мукой и вместо желтых соломенных фанз увидел дымящиеся головни и обгорелые, изуродованные трупы. В осыпанной пеплом дорожной пыли валялся трупик грудного ребенка без головы. Женщины в разодранных белых халатах, как белые тени, бродили по пепелищу; иные, покачиваясь из стороны в сторону, прижимая к груди ребят, сидели у разрушенных очагов.

— Они не плакали... Если бы они хотя плакали или жаловались,— шепелявя, говорил Кирпичев,— а то ни слова, ни стонышка: одни бродят, другие сидят... Тишь такая, дело к вечеру, там и здесь дымок курит — никогда не забуду... Этот Ли-фу завсегда плачет,— мрачно сказал Кирпичев,— только слеза его холоднее льду...

— Э, землячки! Табачку не разживусь? — своим приятным звучным тенорком сказал Федор Шпак, в накинутой на плечи шинели появляясь у костра.

— А, Федя!..

— Здорово, кенарь!

— Садись к нашему огоньку! — весело закричали ему.

— Да я закурить только...

— А нечего, брат, весь вышел. Сами не курёмши сидим...

— Вот те неладно,— засмеялся Шпак,— весь отряд обестабачился... А я к хунхузам пойду! — вдруг сказал он, сам удивляясь своей мысли и веселея.— Ей-богу, пойду...

Он помялся немного, потом, махнув рукой, сильно прихрамывая и развевая полы своей шинели, решительно зашагал к костру напротив.

Весь взвод, смолкнув, напряженно смотрел ему вслед. Некоторые повставали.

— Э, земляки! — послышался уже у костра хунхузов звучный голос Федора Шпака.— Табачку не разживусь?

Видно было, как он, оглядывая всех, несколько раз сунул в рот палец.

Худой старик-китаец с редкой козлиной бородкой и таким плоским носом, что казалось, будто старик вовсе без носа, молча распустил перед ним кисет. Шпак присел возле на корточки.

— Курит? — с любопытством спросил Кирпичев, которому из-за вставшего соседа не видно было, что там происходит.

— Курит! — восхищенно сказал тот.

— Смотри, смотри, он уже говорит с ним!

— Ну, парень!

— А ну и я сбегаю, хлопцы,— сказал маленького роста горнячок в солдатской фуфайке.

И, виновато оглядываясь на товарищей, он тоже потрусил к хунхузам. Через некоторое время он уже махал оттуда рукой, призывая остальных. Еще несколько человек перешло туда.

— ...С чего же она, други мои, может родить, земля,— с азартом говорил Федор Шпак, сидя на корточках в раскинутой шинели и разводя руками, подаваясь вперед к так же, на корточках, сидящему перед ним веселому, круглому, с очень чистой кожей лица и черны-

ми хитрыми, умными глазами китайцу, единственному из присутствующих китайцев говорящему по-русски,— с чего она у нас может родить, ежели ее у нас, как заладили пахать, так и пашут ее — и все-то ее одну — без отдыху и сроку, без всякого, можно сказать, удобрению.

— Тц-тц...аха-йя,— качая головой, сочувственно чмокал китаец.

Он переводил слова Федора Шпака своим товарищам, сгрудившимся вокруг него и внимательно поглядывавшим то на него, то на Шпака, то на партизан, все время подходивших к костру.

Старик с козлиной бородкой и плоским носом быстро заговорил что-то.

— Его говори,— сказал круглый китаец с хитрыми глазами,— его говори, русский люди плохо земля работай. Китайский люди не могу плохо земля работай. Китайский земля много-много миллиона люди живи — земля мало. Один люди два-три сажня работай, год живи. Много-много люди совсем земля нету — люди помирай...

— А ты сам что, земля работал? — спросил Шпак.

— Маленький был, земля работай, потом аренда плати нету, папа-мама помирай, моя повара служил... Его тоже повара служил,— указал он на другого китайца.— Его, однако, давно хунхуз,— с улыбкой указал он на третьего.— Старик земля работай,— указал он на старика с плоским носом.— Его портной был... Его земля работай... Его морской капуста лови... Его краба, трепанга лови... Его земля работай... Его жемчуга лови... Его женьшень собирай...

Он указывал то на того, то на другого китайца. Одни смущенно улыбались, другие прятали головы, третьи по-прежнему спокойно сосали трубки.

— Земля мало, работа мало, чего-чего куши о-очень мало! — продолжал китаец с хитрыми глазами.— Большой капитана — джангуйда [1] — все на свете себе забирай!..

— А вы бы с ими вот как сделали, с большими капитанами,— придавив ноготь к ногтю, сказал Кирпичев, только что подошедший к костру и присевший подле Шпака.— Наши капитаны-помещики тоже всю

[1] Хозяева. (*Прим. А. Фадеева.*)

землю держали, а мы их вот как! — И он повторил свой жест.

Китаец засмеялся, всплеснул руками, потом, обернувшись к своим, сильно жестикулируя, перевел им слова Кирпичева.

— Хо!.. Хо!..— послышались возгласы хунхузов.

Старик с плоским носом заговорил быстро и оживленно, поглядывая на Кирпичева.

— Его говори — помещика, купеза мы так делай... чжжик! — И китаец с хитрыми глазами чиркнул пальцем по горлу.

— Да, а деньги в карман... В карман ведь деньги-то? — лукаво прищурившись, спросил Кирпичев.

— Как? — переспросил китаец.

— В карман, говорю, денежки-то,— засмеялся Кирпичев.— Зарежете купца, а денежки в карман! Разве не правда?

Китаец смешался.

— Поддел ты его! — воскликнул маленький горнячок в фуфайке.

— Во балачка пошла, братцы!

— Вот тебе и хунхузы! — смеясь, заговорили партизаны.

Теперь весь костер был облеплен людьми. Хунхузы от других костров перебегали сюда, к бараку. Услышав, что наши разговаривают с хунхузами и что у хунхузов можно разжиться табачком, партизаны кучками стали переходить сторожевую линию. Вскоре и хунхузы стали переходить на партизанскую половину. Все перемешалось. Хунхузы угощали партизан табаком, партизаны их — салом и сухарями. Кто-то менял уже свою флягу на хунхузский котелок. У одного из костров китаец с широким улыбающимся лицом, блестевшим от пота, расстелив на траве разрисованный драконами платок, начал показывать фокусы.

— Как же так получается? — говорил Кирпичев, недовольно косясь на голые ноги бурильщика Ивана Ложкина, который в начале разговора тоже подошел к костру со штанами в руках и винтовкой за плечами.— Как же так получается? Трудящие люди, а занимаетесь вы разбоем... Ведь это же разбой, други мои!..

— Уэй!..— Китаец с хитрыми глазами поморщился.— Нету разбойник! Зачем разбойник?.. Наша большевик!

— Хороши большевики! — усмехнулся маленький горнячок в фуфайке.

— А зачем корейцев грабите? — дрогнув проваленной губой, сказал Кирпичев.— До чего народ тихий, а вы их грабите...

— Это от ихнего начальника, от Ли-фу, зависить,— самоуверенно и самодовольно сказал кто-то из крестьянского взвода.— Он, конечно, живеть этим, а им, конечно, деваться некуда, они ему, конечно, и служать...

— Это с их вины не сымает,— сердито сказал Кирпичев.

— Нет, вам бы сложиться всем гуртом,— вмешался еще кто-то из партизан,— сложиться бы вам всем, да как вжахнуть, ка-ак вж-жахнуть по вашей по всей власти!..

— Ха! — воскликнул рябой хунхуз с вырванной ноздрей.— Солдата ходи! Пынь!.. Пынь!..

Он сделал руками жест, как будто стреляет.

— Тю... солдат боятся! — презрительно сказал Кирпичев.— А солдат разве не человек?..

Федор Шпак, вначале принимавший самое деятельное участие в споре, сам не заметил, как отстал, и теперь сидел, распустив чуб, рассеянно слушал других. Задумавшись, он смотрел в черноту леса, туда, где при вспышках крайнего слева костра хунхузов выступали из темноты крупы двух лошадей.

Оттого, что было темно, и оттого, что трудно было представить себе, что лошадь, которую он осенью прошлого года привел домой с уссурийского фронта, может оказаться здесь, у хунхузов, Федор Шпак не узнавал своей лошади. Но по необъяснимым для себя причинам он все время смотрел в эту сторону, и чем больше смотрел, тем беспокойней и грустней ему становилось. Вопреки его словам, что он по семье своей вовсе не скучает, ему было теперь беспокойно и грустно оттого, что вот он сидит ночью в тайге, а старики его маются дома одни в тяжелой работе, а дети его растут без ласки и призора, а жена его беременна, вот-вот родит, и он даже не скоро узнает, кого она родила — мальчика или девочку.

XX

Жаркий, но дружественный спор у костра был прерван необычно прозвучавшей здесь, в таежной обстановке, одинокой пьяной песней где-то за бараком. Хунхузы и партизаны вопросительно подняли головы. Кругом все разом смолкло. Слышен был только один хриплый пьяный голос, тянувший песню.

— Фартовый это! — уверенно сказал маленький горнячок в фуфайке.

— Много водка пий,— улыбнулся китаец с хитрыми глазами.

— И где он достал? Не иначе, у вас разжился...

— Обожди,— сердито остановил его Кирпичев.

С правой стороны барака в свете ближнего костра хунхузов показался рудокоп Сумкин, без шапки и пояса. Он шел, заплетаясь ногами, упершись одной рукой в бок, а другой водя перед собой, и пел, мрачно крутя громадной своей головой. Семка Казанок с серьезным выражением лица шел сзади, держа его за рубаху, и накручивал рукой за его задом, как будто вертел ручку шарманки. К ним, смеясь, сбегались хунхузы и партизаны.

Кирпичев, вдруг страшно засопев, поднялся с места и сквозь расступившееся перед ним кольцо партизан и хунхузов тяжело зашагал навстречу к Сумкину. Сумкин мутно уставился на него, не переставая петь. Кирпичев, не глядя, отстранил его рукой и, надвинувшись на Казанка всем своим коротким тяжелым телом, с силой отшвырнул его от себя. Казанок, всплеснув руками, шлепнулся на землю. Американская шапочка слетела с его головы.

— Сволочь...— шипя, сказал Кирпичев.— Сволочь ты!.. Разве это товарищи! Сволочи вы! — повторил он. оглядывая всех и подрагивая своей проваленной губой.

Казанок, привстав на одно колено, нагнув белую головку и держась обеими руками за живот, покачивался из стороны в сторону, скрипел зубами. Вдруг рука его скользнула за голенище,— он выхватил нож и ринулся к Кирпичеву. Несколько человек подскочило к Казанку, его схватили за руки, кто-то крепко обнял его сзади. Но такая сила злобы сотрясала его щуплое

тельце, что он, извиваясь и рыча, едва не повалил четырех державших его людей.

— Пустите,— свистел он сквозь зубы, плача слезами обиды,— пустите!..

— Своих резать? Ах ты, сукин ты сын! Да тебя связать надо,— удивленно говорил один из горняков, державший его.

— А он его за что вдарил? — в сердцах сказал партизан из крестьянского взвода, державший Казанка за руку.— Ведь он его как зызнул!.. Тиха, тиха, Сема... Пьянствуете сами, а тады деретесь...

— Кто пьянствует? Ты кто... ты про кого сказал? — вспылил горняк, отпустив Казанка и надвигаясь на партизана.

— А ты что за спрос? — взбеленился тот.— Что ему Семка сделал, что он его зызнул эдак?

— Нет, ты про кого сказал?!

Они, сомкнувшись грудьми, стояли друг против друга, сами вот-вот готовые подраться.

Крестьяне одного села с партизаном из крестьянского взвода полезли сквозь толпу на помощь к нему. Горняки оттаскивали своего за руки.

— Я ему покажу, кто пьянствует!— кричал горняк, порываясь к партизану.

— Нет, то у вас по рудниках людей режут!.. То у вас по рудниках головорезы!..— отругивался партизан.

— Да будет вам! И еще при хунхузах...

— Во, петухи!..

— Я его все одно зарезю,— дрожащим голосом говорил Казанок, отряхивая свою шапочку.— Все одно зарезю... Не уйдет он от меня...

Кирпичев, обозленный тем, что весь этот скандал разыгрался на глазах у хунхузов, и боясь, что из барака вот-вот выскочат командиры, грубо схватил под руку присмиревшего Сумкина и потащил его на партизанскую половину.

— Скотина ты, а не человек,— шепелявя, гневно говорил он ему.— Ах ты, скотина, скотина...

Дверь барака распахнулась, и Гладких, Сеня и Лифу, за ними Ка-се и еще несколько хунхузов вышли из барака. Хунхузы, завидев начальника, врассыпную, втя-

гивая головы в плечи, некоторые даже на четвереньках, бросились к своим кострам. Казанок, воспользовавшись суматохой, тоже скрылся куда-то...

— Что тут такое? — удивленно спросил Сеня, глядя на первого попавшегося ему на глаза Судью — Ивана Ложкина, который в одной рубахе, держа в руках штаны, не мигая смотрел на него.

— Табачку трошки разжились... ничего,— смущенным басом сказал Судья.

— Табачку? Что?! — взревел Гладких.— По местам! Н-ну?!

Партизаны, виновато подталкивая друг друга, уходили на свою половину. Из-за барака донесся тонкий гортанный голос Ка-се, послышались звуки ударов.

— Что у вас было тут? — подходя к головному костру, строго спросил Сеня у Кирпичева, который при его приближении быстро накрыл пиджаком голову распластавшегося у костра Сумкина.

— Хунхузов малость поагитировали,— сказал Кирпичев, выказывая в улыбке свой беззубый рот.— Ты, ничего, не бойся... худого не было...

— Кто это?

— Сумкин. Хворает чего-то.

— Что же вы его, хворого, на переднюю линию? — укоризненно сказал Сеня.— Вы его в лес уведите...

— И то, и то...— торопливо сказал Кирпичев.

XXI

Было уже около полуночи; в тайге все стихло; партизаны укладывались спать; в передней линии Гладких сердито выговаривал кому-то.

Пока Сеня добрел до своего костра, ноги его промокли от росы. Каша совсем остыла, да и есть расхотелось. Сеня подложил в огонь хворосту, подсушил ноги, потом, подмостив под голову сумку и завернувшись в шинель, растянулся подле костра.

И только он лег,— разрозненные впечатления дня нахлынули на него. Слышны стали тайные лесные шумы; в костре шипели мокрые валежины, река звенела по галькам. Откуда-то от барака потянуло запахом свежей щепы. Сеня увидел небо с яркими звездами и долго

смотрел на звезды, чувствуя, как усталость колышет его тело. Лицо Ли-фу — такое, какое было у него, когда он подошел к их костру, с блестящими по лицу слезами,— всплыло перед Сеней. Лицо это неестественно улыбалось, шевелило губами, по нему катились одна за другой блестящие слезинки, сквозь лицо проступали звезды, и звезды тоже катились куда-то, звезды были слезинки, но это был уже сон. Сеня, борясь с ним, но не имея сил открыть глаза, старался снова вызвать лицо с катящимися по нему слезами, и он вызвал его, но это было уже не лицо Ли-фу, а другое, женское, рано постаревшее, худое и доброе,— это было лицо матери Сени. Худая и сутулая, она стояла возле плиты и жарила лепешки на сковороде, поворачивая их ножом. Она плакала. Сеня был где-то тут же, маленький, но он не видел себя, он чувствовал только жар от плиты. Он понимал, что мать плачет оттого, что узнала о смерти старшего сына, оттого, что отец бьет ее, и оттого, что жизнь ее прошла. Ему хотелось, как в детстве, прижаться к ее подолу и утешить ее, погладить ее жилистую руку, и он все тянулся к ней, но от плиты шел такой жар, что подойти нельзя было.

Тут кто-то толкнул его в плечо, он открыл глаза и снова увидел яркие звезды и лицо Гладких со сросшимися бровями, наклонившееся над ним.

— Подвинься, шинель спалишь,— тихо сказал Гладких.— Заснул? Да ты спи,— быстро сказал он, заметив смущение на его лице,— я посижу...

— Ну вот — ты сидеть, а я спать? — улыбнулся Сеня.

— Они нас не тронут,— уверенно сказал Гладких.— Спи... И чего это наши сучанские заварились с ими? Нам бы, правда, их не трогать. На черта они нам сдались, на самом деле?

«Да что ж там вышло у них?» — подумал Сеня.

Чтобы не заснуть больше, он старался думать о столкновении между партизанами и хунхузами, но веки его снова сомкнулись. Что-то молодое, мягкое и теплое придвинулось к нему и любовно коснулось его лба. Это была девушка, у нее не было лица, но Сеня узнал и ждал ее. «Я знал, что ты придешь»,— с грустью сказал он ей и прямо перед собой увидел ее большие черные

глаза. Он силился вспомнить, чьи это глаза, и вдруг вспомнил, что это глаза того паренька Сережи, с которым они так хорошо сошлись и разговаривали. «Ты сестра его?» —удивленно спросил Сеня, но ее уже не было, а было смеющееся лицо Сережи. «А как же ты-то... Сеня... большевик?» — спрашивал Сережа.

«Славный паренек какой,— подумал Сеня, просыпаясь и вновь постигая небо с яркими звездами.— Почему я тогда не ответил ему?.. Я сказал, будто не знаю, но я ведь знаю. Фронт ведь, вот откуда это, фронт открыл глаза мне... Да, Сурков на фронте открыл глаза мне»,— мысленно сказал он, обращаясь к Сереже.

Ему вспомнилось, как осенью семнадцатого года он ехал из своей части, в которой служил вместе с Сурковым, в Петроград на съезд солдатских депутатов. Теплушка была набита солдатами; шел дождь со снегом; какая-то баба с мешком просилась взять ее; у начальника на разъезде были смешные рыбьи глаза; начальник держал флаг; на нарах дребезжал котелок; гармонист с седой прядью на темени играл что-то; потом гармонист стал расплываться, и Сеня, как тогда, в теплушке, испытывая радостное чувство освобождения от того мучительного и страшного, что осталось позади, на фронте, снова стал задремывать...

...С какими-то людьми в шинелях, пиджаках, матросских бушлатах он бежал по ступенькам,— это были ступеньки фольварка, из которого они на фронте выбили немцев, но Сеня знал, что это не фольварк, а Зимний дворец, потому что человек, который стоял выше на площадке, подняв руки, был тот юнкер, которого он арестовал в Зимнем дворце. Тогда, в живой жизни, Сеня не испытывал ничего, кроме злобы к юнкеру, и едва не заколол его, а сейчас, во сне, Сеня взбежал к нему на площадку и замахнулся штыком —и вдруг увидел, что юнкер совсем не страшен, а очень молод и сильно напуган, и лицо у него простое, как у подпаска. Он был так напуган и молод, этот юнкер, и так походил на подпаска, что его совсем нельзя было колоть, его нужно было погладить по голове. Сеня даже протянул руку, но он все же не мог забыть, что это юнкер, а не подпасок. «Нет, это опасно нам...— сказал он себе и отдернул руку.— Что опасно? —вдруг мучительно подумал он.— Да, опасно спать!» —почти выговорил он,

разлепляя веки и прислушиваясь к тому, что творится в расположении хунхузов.

У соседнего костра кто-то разбивал головешку, и искры летели в небо. В передней линии тихо разговаривали. В лесу хрустел валежник. Гладких в насунутой на лоб барсучьей папахе сидел у костра, обхватив руками колени, и прямо, не мигая, смотрел в огонь. У ног его валялся опрокинутый котелок: Гладких все-таки съел кашу.

— А и впрямь сосну я —мочи нет,— приподымаясь на локте, сказал Сеня и виновато, по-детски, улыбнулся.

— Спи, спи...— не оборачиваясь, ответил Гладких.

XXII

Отряд выступил в поход, когда еще не слышно было птичьих голосов. Было чуть-чуть туманно от росы, с туманом слился дым от сникших уже костров, с ветвей и крыши барака капало.

Хунхузы, толпясь и тихо переговариваясь между собой, смотрели, как партизаны, потягиваясь со сна и ежась от сырости, строились во взводы. Передняя шеренга тронулась, и партизаны, примыкая в затылок, один за другим потекли в чащу. Ли-фу, Ка-се и подошедшие к ним прощаться Гладких и Сеня стояли возле барака и провожали цепочку глазами.

Веселый круглый, с хитрыми глазами китаец, стоявший впереди крайней у опушки кучки хунхузов, узнав проходившего мимо в цепочке Кирпичева, сделал ему приветливый знак рукой, оглядываясь на начальников, не заметили ли они. Кирпичев, улыбнувшись всем своим беззубым ртом, так же неприметно ответил ему.

Когда мимо барака прошла последняя вьючная лошадь, Гладких и Сеня тронулись вслед за отрядом.

В последнее время Сеню почти не покидало состояние беспокойства и неуверенности, которое он объяснял себе тем, что давно уже оторван от руководящего партизанского центра. Он не знал всей обстановки движения, а потому не мог определить в нем своего места и места отряда.

До последнего времени движение развивалось успеш-

но: почти вся область от моря и до железной дороги была очищена от белых. Но те новые сведения — о сосредоточении японских войск на Сучанском руднике, о стычках под рудником,— которые сообщил Сене Мартемьянов из своего разговора с Сурковым по прямому проводу, говорили о возможном переломе к худшему. Не этим ли вызвана переброска отряда? Но почему тогда областной съезд созывается в Скобеевке? И что это еще за новые осложнения с хунхузами?

Но особенно беспокоили Сеню разногласия между партизанским командованием и подпольным областным комитетом.

Поскольку он мог судить о них из третьих уст, они сводились к тому, что командование стояло за создание Советской власти по всей области, организацию регулярных частей и наступление на города, а комитет предлагал не заниматься никакими гражданскими делами, создавать мелкие отряды и расстраивать колчаковский тыл. Наверно, комитет и командование по-разному оценивали силы интервенции и успехи советских войск в Сибири. Но каковы они, эти силы и эти успехи (и успехи ли), на самом деле?

Как большинство руководителей движения, Сеня испытывал на себе давление воль и желаний десятков и сотен тысяч людей, и, как большинство руководителей, Сеня склонен был преуменьшать силы интервенции и преувеличивать силы движения и успехи советских войск. Поэтому в глубине души он больше сочувствовал партизанскому командованию. Но с другой стороны, он привык доверять и подчиняться своему комитету: комитет был выше, ему было виднее.

Правда, начальник Ольгинского штаба Крынкин, а потом и Мартемьянов уверяли его, что все крупные работники в городе арестованы и комитетом заправляют «мальчишки».

Крынкин и Мартемьянов, каждый по-своему, упрекали Сеню в отсутствии собственного мнения. Но после споров с Мартемьяновым у Сени осталось такое впечатление, что старик легко воспринимает настроения крестьян и с чистой совестью выдает их за свое мнение, а Крынкин, судя по всему, был вообще человек непостоянный и только делал вид, будто имеет свои мнения. Действительно, неизвестно, кто теперь сидит в комитете.

Но комитет — это комитет: приказы его нужно исполнять.

Сеня мучился оттого, что в таком важном споре он вынужден находиться посредине.

Обгоняя цепочку, Сеня поравнялся с горняцким взводом. Люди, сгорбившись, один за другим неуклюже шагали через валежины, побрякивая котелками. Никон Кирпичев, Сенин земляк еще по Уралу, отойдя в сторонку, закуривал, держа перед собой кисет. По рассказам отца Сени, Кирпичев был в молодости уличен в краже, и старики всенародно, как в деревне, пороли его розгами. Теперь никто уже не вспоминал об этом: Кирпичев, так же как и Сеня, был в четырнадцатом году одним из руководителей забастовки на железных рудниках Гиммера. На уссурийском фронте Кирпичев был дважды ранен в боях с японцами, а семья его, скрывавшаяся в ту пору в деревне, была начисто вырезана атамановцами.

— Закуривай, Сеня,— сказал он, вскинув на Кудрявого свои песчаные глаза, шепелявя.

— А мне нельзя ведь, знаешь...— Сеня виновато развел руками и остановился возле него.

— Дико здесь, Сеня,— облизывая цигарку, сказал Кирпичев.— Очень здесь дико,— повторил он и чуть улыбнулся своей проваленной губой.

Сеня только теперь почувствовал, что ему беспокойно еще и потому, что они пятый день идут по тайге, и тайга давит на них: мало солнца.

— Я вот, знаешь, в Ольге целую пачку газет раздобыл,— продолжал Кирпичев,— и все читал. И как они ни врут, газеты эти, а видно: у мадьяров почти не хуже нашего заварилось, в Германии тоже, а в Корее — восстание... Я вот чего думаю: пока мы тут по этой глухмени лазим...— Кирпичев набрал полную грудь воздуха и, видно, смеясь над самим собой, но все же веря в свои слова, смущенно докончил: — вдруг там это все как раз и сделается? А?.. Приходим это мы в Скобеевку, а нам говорят: нате, ребята, получайте! Все на свете ваше, и никаких пискарей, а?..— Он вопросительно отвернул кверху ладонью свою большую с изуродованными суставами руку, и проваленная губа его дрогнула.

— Ишь что надумал? Ах ты, Никеша! — Сеня вдруг крепко стиснул ему локоть; большие темно-серые глаза Сени влажно заблестели.— Ты кури, кури,— засуетился он, не зная, как еще выразить ему свое сочувствие.

И, махнув рукой, побежал вдоль по цепи, не оглядываясь на Кирпичева.

Впереди вдруг послышались крики, треск кустарника, по цепи побежал удивленный гомон, цепочка стала; задние полезли на передних, потом вся цепочка позади и впереди Сени, спотыкаясь о валежины и ломая кустарник, ринулась направо к реке.

— Куда вы? Что такое там?.. Куда ты? — Сеня ухватил за руку одного из обгонявших его партизан.

— Человека, сказывают, в реке нашли...

Сеня, отпустив его, тоже побежал к реке.

Весь заросший кустами берег был осыпан партизанами. Впереди, через реку, перегородив ее, лежало опрокинутое дерево; река была запружена нагромоздившимися возле бревна карчами и валежинами. На берегу возле бревна и на самом бревне, толкая друг друга и едва не падая в воду, копошились партизаны. Гладких и еще несколько человек, стоя на бревне и держа в руках валежины, старались вытащить что-то из воды.

Сеня, проталкиваясь меж людьми и кустами, побежал к поваленному дереву.

— А, бери руками! — с досадой сказал Гладких в тот самый момент, когда Сеня, раздвинув партизан, снова высунулся на реку.

Гладких и еще несколько человек, присев, сунули руки в воду и с трудом, оттого, что трудно было тащить, не теряя равновесия, вытащили из воды человеческое тело в нижнем белье, облипавшем его.

— Уйдите с бревна, ну! — сердито крикнул Гладких.

Сквозь расступавшуюся перед ними толпу партизан, жадно заглядывавших через плечи друг друга на мертвое тело, они вынесли тело на берег и положили на траву. Это был небольшого роста человек с длинными, кое-где еще вьющимися темно-рыжими волосами и тонкими усиками. Горло его было рассечено до самых позвонков. Сеня, болезненно морщась, смотрел на рану, чисто промытую водой.

— Вот он, кто лошадей вел,— сказал Гладких, сердито оглядываясь на Сеню.

— Ишь, как они его полоснули! — сетовал кто-то.

— Не с нашего ли села? Да нет, безвестный какой...

— И не старый еще...

— Один еще сказывал: мы, говорит, большаки а они вот каки большаки!

— Пока мы у их табачком угощались, они и нас так-то могли, чик-чирик!..— переговаривались партизаны.

— Где он тут, зарезанный? — спрашивал Казанок, протискиваясь сквозь толпу.

— Чистая работа,— сюсюкая, сказал он, вглядываясь в лицо лежащего на земле человека,— не всякий так-то...— Вдруг он осекся и побледнел и воровато оглянулся вокруг, но никто не заметил происшедшей с ним перемены.— Не всякий так-то сумеет,— спокойно докончил он, подымая на людей свой ясный, пустой и дерзкий взгляд и усмехаясь.

— Закопать его надо,— сказал Сеня.

— А ну, беги за лопатами,— распорядился Гладких. Несколько человек побежало к вьючным лошадям за лопатами.

— Здорово порезанный? — спрашивал у партизан, возвращавшихся на тропу, Федор Шпак, который вместе с небольшой кучкой партизан не ходил смотреть труп.

— Мало голову не отхватили...

— У!..— содрогнулся Шпак.— Не могу я их глядеть, резаных. Пулей убитых я сколь в своей жизни нагляделся, а резаных — ну никак не могу,— говорил он, как бы оправдываясь за свое малодушие и утешая себя в том, что ему так и не удалось посмотреть труп, который все видели и который ему тоже хотелось бы посмотреть.

XXIII

На седьмой день пути ранним утром отряд набрел на старую, заросшую желтоватым пырником зимнюю дорогу. Долина раздалась, лес поредел; все чаще попадались старые и свежие порубки; чувствовалась бли-

зость жилья, дорога поднялась на лесистый увал и превратилась в летнюю, езженую.

Казалось, увалу этому конца-краю не будет, но, как всегда бывает после длинного таежного похода, лес неожиданно оборвался, и с увала открылась огромная, зеленевшая всходами и блестевшая росой на утреннем солнце Сучанская долина.

На полях не видно было работающих баб и мужиков, и все вдруг вспомнили, что сегодня воскресенье.

По той стороне долины, вдоль реки, не видной отсюда из-за кудрявившейся по ее берегу вербы, простирался крутой и высокий хребет, отделявший долину от Сучанского рудника. Слева долину перегораживал лесистый горный отрог, вырвавшийся из той семьи Сихотэ-Алиньских отрогов, откуда пришел отряд. Отрог этот тянулся под прямым углом к хребту за рекой, но в том месте, где они должны были сомкнуться, зиял провал, проделанный рекой. Из этого угла, возле самого провала, вдоль реки и вдоль по-над отрогом раскинулось глаголем большое, дворов на семьсот, село с белой каменной церковью, отливавшими на солнце прудами, железными, деревянными и соломенными крышами, выступавшими из зелени садов.

Партизаны, весело крича, вздымая ружья и шапки, гурьбой побежали с увала, полого спускавшегося в долину. Из полыней у подножия увала взвился фазаний табунок и, пестря на солнце многоцветным своим опереньем, улетел в долину.

Построившись во взводы, по двое, отряд вышел на тракт и здесь построился колоннами по четыре.

— Знамя, знамя!..— закричали впереди.

Из торок вынули красный флаг и прикрепили его к древку, которое один из партизан всю дорогу нес в руках.

— Давай, я понесу!.. Я понесу! — кричал Бусыря, догоняя партизана, бежавшего наперед со знаменем.— Можно? — спросил он у Гладких, равняясь с ним.

— Пускай понесет, правда,— сказал Сеня, весело глядя на заросшее темным волосом, расплывшееся в счастливой улыбке мясистое лицо Бусыри.

Во главе с Бусырей, с неуклюжей важностью вышагивающим перед колоннами со знаменем в руках, отряд тронулся к селу.

— «Трансваль», а ну, «Трансваль»!.. Где Федя Шпак? — закричали в передней колонне.— Заводи!..

Федор Шпак, шедший в передней колонне, закрыл на секунду глаза, потом, вскинув чубатую голову, дрогнув бровями и усами, начал звучным тенорком:

Трансваль, Трансваль, страна моя,
Ты вся горишь в огне...

И вся передняя колонна, за ней, примыкая, другие разноголосо и мощно подхватили:

Под деревцем развесистым
Задумчив бур сидел...

...Сынов всех девять у меня.
Троих уж нет в живых,—

как бы жаловался Шпак, а колонны отвечали ему:

А за свободу борются
Шесть юных остальных...

Далеко еще до поскотины их встретил конный патруль: два всадника с красными лентами на фуражках.

— Что за отряд? — свешиваясь с лошади, стараясь перекричать песню, спрашивал передний.

— Тетюхинцы,— отвечал Сеня.

— Тетюхинцы и вай-фудинцы! — с усмешкой поправил Гладких.

— Нас, тетюхинцев, больше! — смеялся Сеня.

— Все одно: по командиру считается...

Один из всадников, вздымая пыль, поскакал в село готовить квартиры, другой, сдерживая свою, плясавшую и поводившую ушами от песни лошадь, поехал вместе с отрядом.

— Что нового у вас? — напрягаясь во весь голос, спрашивал Сеня.— Японцы не жмут?

...А младший сын в двенадцать лет
Просился на войну,—

жаловался Шпак.

— Ну-у...— пренебрежительно ответил патрульный, всем своим видом и посадкой опровергая тревожные предположения Сени.— Они было сунулись с рудника, да куда там...

...Но я сказал, что нет, нет, нет,—
Малютку не возьму...

гремели колонны.

— А?.. Чего?..— приставив ладонь к уху и свешиваясь с лошади, переспрашивал патрульный.

— Хунхузы, говорю! Про хунхузов слышно что?..

— А, хунхузы... Да что ж хунхузы. Под Николаевкой, бают, поцапались с ими, это что ж...

— Сурков как там? Здоров ли?

— Под рудником раненный был, а теперь уж поправился, ходит... Да что там говорить,— сказал патрульный, поняв вдруг общий смысл вопросов Сени,— весь народ поднялся, теперь не удержишь!..

Малютка на позиции
Ползком патрон принес...—

могущественно гремели колонны.

— Верно... верно...— сказал Сеня, помаргивая от слез, выступивших ему на глаза.

С песней, с Бусырей, несущим знамя, с патрульным, плясавшим на своей лошади, с примыкавшими с боков ребятишками и собаками — мимо партизан, высыпавших из изб, мимо празднично разодетых девчат и парней — отряд зашагал по селу.

Из проулка навстречу им, запыхавшись, выбежал широкоплечий невысокий мужик в сапогах, в полотняной рубахе, без шапки, со светлой курчавой бородой.

— Ху-у... успел! — радостно закричал он, переводя дух.— Меня со сходу вызвали, сход у нас идет... Сюда, сюда, в этот проулок! — зазывал он, весело кланяясь и приседая.— Десятский я в проулке этом. Борисов фамелия моя... Брат я тому Борисову, что с четырьмя сынами в партизаны пошел, да одного-то уж убили у них. Чудесные люди! Мой старшой тоже с ими... Сюда, сюда! Расходись по двое, по трое — тут вам и квартеры... Ху-у, усищи же у тебя, братец ты мой, соколик! — восхитился он, взглянув на Гладких, и весь рассиял своими лучистыми синими глазами.— Командир, что ли? Ну, прямо, как у гусара! Прямой расчет тебе в избу ко мне,— не с того, что начальник, не-ет...— смеялся он,— мне все одно, начальник ли, кто ли, да у меня старуха таких-то с усами во как любит!.. А это кто,

помощник твой? Чудесный какой парень!.. Вот вы вместях ко мне, да еще кого прихватите... Расходись по хатам, ребята, устали, видно?.. Ах, до чего ж чудесные все люди!..— радостно говорил он, суетясь возле отряда.

Слова легко и свободно вылетали из его широкой груди. Он нисколько не заискивал, а был действительно рад всем и всему — и сам он, с курчавой своей овсяного цвета бородой и ясными синими глазами, сразу понравился и Сене, и Гладких, и всему отряду.

Радуясь тому, что поход кончился, что можно будет разуться и помыться в бане, партизаны, весело переговариваясь и смеясь, расходились по избам.

— Сюда, сюда, миленькие! — зазывали бабы.

— А куда уж вам делиться, идите уж все четверо...

— Ишь ты, какой молоденький,— играя карими глазами, говорила грудастая молодуха тонкошеему пареньку с синяками под глазами.— А и худу-щий же ты!.. Иди к нам, мы тебя молочком отпоим...

— Ты, может, и своего отпустишь? — отшучивался он.

— Коли не захлебнешься...— смеялась она.

Здесь, как и в большинстве сел и деревень, где сыновья, мужья и отцы ходили в партизанах, охотно брали партизан на постой, надеясь расспросить о своих — не встречались ли где,— стараясь получше накормить и обходить, чтобы где-нибудь так же обхаживали и кормили их сыновей, мужей и отцов.

Желая скорее повидать Суркова, который, как сказал десятский, был в школе на корейском съезде, Сеня, мурлыча «Трансвааль», рысцой побежал в избу, указанную ему десятским,— умыться и повытаскать клещей, от которых зудело все тело.

Когда Гладких в сопровождении Казанка и десятского тоже вошел в избу, Сеня голый (старуха, жена десятского, и две маленькие девочки вышли в другую половину) стоял возле русской печи, на загнетке которой горел маленький костерок из лучинок, и, напевая, обирал с платья клещей. Парнишка, лет десяти, сын десятского, с такими же, как у отца, овсяными волосами и с такими же ясными синими глазами, вытаскивал клещей из тощей смуглой спины Сени, там где Сеня не мог достать сам.

— Наган, сказывают, дальше берет?..— говорил парнишка.— Ишь как напился!..— сказал он про клеща, бросая его в огонь.

— Ну-у, наган много дальше берет,— уважительно говорил Сеня.— «Малютка на позиции та ну-та ну-у та-та-а...» — напевал он.

— Ху-у!.. Вон они чем занимаются! — весело закричал десятский.— Да их, правда, весной столько по лесу — не убережешься.

— Ты сейчас в штаб пойдешь? — спросил Гладких.— Скажи Суркову, чтоб Казанка к нам в отряд отписали. Скажешь?.. Он тебя и проводит, в аккурат.

— Ладно, скажу,— сказал Сеня, с улыбкой оглянувшись на Казанка, молча стоявшего у притолоки. Сеня так рад был концу похода, веселому десятскому, чистой избе, что даже Казанок, которого он недолюбливал, был ему теперь приятен.

XXIV

Испытывая взаимную неловкость, как только они остались вдвоем, но и не пытаясь найти общей темы для разговора, они молча шли по селу. Казанок не глядел на Сеню и, как бы подчеркивая свою независимость от него, небрежно пощелкивал плетью пыль на дороге. Сеня, умывшийся, причесавшийся и похорошевший и оттого еще более чувствовавший несвежесть своего белья, которое он не стал менять до бани, щурился от солнца и с интересом человека, давно оторванного от людных мест, наблюдал за кипящей жизнью села.

Оттого, что был воскресный день, и оттого, что в Скобеевке находился центр всего партизанского движения области, улицы полны были народа.

Группы партизан с красными бантами и лентами на фуражках слонялись по селу. В тени садов, тучно выпиравших через плетни, судачили бабы. Девочки в цветастых платочках нянчили белоголовых ребят. Стаи мальчишек, игравших с равным увлечением и в партизан, и в лапту, и в чижика, с криками, раздувая рубашонки, носились по улицам. Пестро одетые девчата и парни в сатиновых рубахах, сидя на бревнах, распевали

песни под гармонь, лузгали семя. Возле каждой такой группы во множестве толпились партизаны — иные с бомбами и револьверными кобурами у поясов, иные с плетьми в руках и драгунками за плечами. Двое партизан, бывших, как видно, ночью в карауле, спали, разметавшись на придорожной мураве на самом солнцепеке.

Китайские и кооперативные лавки были открыты, народ толкался на крыльцах. Закопченные двери кузниц были распахнуты настежь; слышны были перестуки молотков, шипенье мехов, грузные удары больших молотов. Могучие бородатые люди ковали бившихся в станках партизанских коней. Веселая чумазая девчонка ногой раздувала мех, выказывая из-под юбки полное грязное колено; белокурый партизан, прислонясь плечом к двери, заигрывал с девчонкой.

Навстречу Сене и Казанку валила толпа мужиков,— они ожесточенно переругивались между собой: кончился сход, о котором говорил десятский. Мужики, узнавая Казанка, здоровались с ним, уважительно снимая шапки. Казанок в ответ только потряхивал своей белой головкой.

Миновав народный дом в глубине большой, поросшей ярко-зеленой травкой площади с деревянной трибуной, возле которой еще толкались группы спорящих между собой мужиков, Сеня и Казанок подошли к высокому одноэтажному зданию с цинковой крышей.

— Школа и есть? — спросил Сеня, увидев на крыльце двух вооруженных корейцев.— Ты домой сейчас?

— Я только помоюсь да белье сменю...

— Так поговорю я с Сурковым.

— Ну, просцевайте покуда,— сказал Казанок, приподняв свою американскую шапочку.

Сеня на цыпочках вошел в класс и притворил за собой дверь. Его обдал какой-то нерусский, пряный и чистый запах. На тесно составленных партах спиной к Сене сидели делегаты-корейцы в белых халатах, некоторые в русских одеждах. Никто не оглянулся на Сеню.

Молодая стройная кореянка в черном платье со стоячим воротом, с ровно подстриженной челкой черных блестящих волос, спадавших ей на лоб, говорила что-то обок стола президиума голосом, полным сдержанной

страсти и напряжения, но почти без жестов, изредка только подымая над головой вытянутую руку.

За длинным столом президиума среди нескольких человек корейцев и русских сидел в синей косоворотке предревкома Петр Сурков, выложив одна на другую тяжелые кисти рук и полуобернув к говорящей кореянке моложавое, в крупных порах лицо с могучими надбровными буграми. Короткие светлые густые волосы его были плотно зачесаны назад. Сеня сразу узнал крутой постанов его головы. Сурков нисколько не изменился с той поры, как Сеня больше года назад видел его. Обаяние скованной силы исходило от всей его широкой плотной фигуры.

Сидевший рядом с ним маленький коротношеий человечек с ежовой головой, которого Сеня тоже сразу узнал, увидев Сеню, шепнул что-то Суркову на ухо. Сурков, вопросительно подняв одну бровь, обернул лицо к Сене, радостно просиявшему навстречу всеми добрыми морщинками своего лица. Глаза Суркова приветливо, но сдержанно блеснули, и улыбка чуть тронула его плотно сжатые полные губы. Он поискал глазами место для Сени и, не найдя места, кивнул Сене на окно. потом на кореянку. Сеня понял это как предложение подождать, пока не кончит кореянка.

Он на цыпочках подошел к ближнему окну и сел на подоконник и снова повернул к Суркову свое улыбающееся лицо, но Сурков уже не смотрел на него.

Сеня, приняв обычное грустное выражение, с удовольствием вслушивался в чем-то приятные ему страстные интонации в голосе кореянки; в то же время спокойные, внимательные глаза его переходили с одного лица на другое и все запоминали.

Маленький, с ежовой головой, человек, сидевший рядом с Сурковым, был один из работников подпольного комитета Алексей Чуркин. Сеня сталкивался с ним в восемнадцатом году на партийных и профессиональных съездах. Сеня рад был тому, что Алеша Маленький, которого все любили в организации, не арестован.

Председательствовал на съезде кореец средних лет, стриженый, с интеллигентным лицом и в европейском платье,— из учителей. Кроме него, за столом сидели еще старик в белом халате, с седыми волосами, собранными

в замысловатый узел, и немолодая, сильно робеющая кореянка, тоже в белом халате, перетянутом под самыми грудями.

Среди делегатов, в большинстве молодых, были две-три женщины. Желтолицые старики в проволочных шляпах, подавшись вперед и приложив к уху свернутые трубочкой ладони, внимательно слушали кореянку. Она продолжала быстро и страстно говорить, изредка подымая над головой руку в черном рукаве.

Сурков все чаще поглядывал на нее из-под бугристых бровей, досадливо хмурился, недовольный тем, что она говорит так долго. Наконец он не выдержал, шепнул что-то Алеше Маленькому и, тяжело ступая на носки давно не чищенных сапог, слегка раскачиваясь квадратным туловищем и чуть заметно прихрамывая, подошел к Сене. Хотя Сеня знал, что Сурков всегда прихрамывает немного, и что прихрамывает он оттого, что в детстве отец его, сталевар военного порта, пьяный, ударил его по бедру поленом, теперь хромота Суркова напомнила Сене о том, что он ранен в бою под рудником.

— Как рана твоя? — шепотом спросил Сеня.

— Пойдем на крыльцо, посидим: она век не кончит,— шепнул Сурков, крепко сжав руку Сени своей широкой плотной ладонью.— Давно ли прибыли? — заговорил он грубым отрывистым голосом, когда они вышли на залитое солнцем крыльцо, на котором все еще стояли два вооруженных корейца. Он схватил Сеню за плечи своими большими руками и скорее по-хозяйски, чем дружески, осмотрел худощавую и сутулую фигуру Сени от кончиков унтов до редких колец волос.— Ты ничего: лучше выглядишь... Сядем на ступеньки. Давно ли прибыли? Как разместились?

— Прибыли мы только что и разместились лучше не надо,— садясь рядом с ним, радостно заговорил Сеня.— Под рудником ты раненный был, говорят?

— В бок. Под самые кишки. Заросло, как на собаке... Это, видишь ли, они пробную вылазку с рудника делали. Старого начальника гарнизона у них сменили за военные неуспехи. Прислали нового — полковника Лангового. Может, слыхал?.. Хотел прощупать нас,— усмехнулся Сурков.— Рад, что вы пришли. Большой отряд?

— Двести тридцать два...

— Мало... Гладких кто?
— Охотник тамошний.
— Уросливый, говорят?
— Да нет, он слушает меня,— с улыбкой сказал Сеня,— командир он хороший... Что нового у вас?
— Что нового у *вас?*
Сеня стал рассказывать о положении дел в Ольгинском районе. Он выкладывал Суркову все свои сомнения и колебания. Он жаловался на отсутствие информации и директив ревкома, на то, что, хотя в Ольгинском районе подъем у населения не меньший, чем здесь, разворот движения поневоле слабый: нет организаторов. Потом он рассказал о встрече с Мартемьяновым, о работе, проделанной Мартемьяновым, и о том, что еще осталось проделать.
— От Ольги на север и не слыхали еще о съезде областном,— говорил Сеня.— Крынкин сказывал...
— Крынкин — задница,— неожиданно сказал Сурков.
— Нет, он человек преданный, по-моему, но...
— Я не сказал, что он не преданный. Я сказал, что он задница,— повторил Сурков.— Организаторов! — передразнил он.— Разве ревком рожает организаторов? Организаторов создают из рядовых людей. Странно слышать такую жалобу от представителя Тетюхинского *рудника,*— он подчеркнул: рудника.— Организаторов движения в Ольгинском районе должны дать вы, тетюхинцы, и только вы... Так что говорит Крынкин?
— Да это не суть важно, пожалуй,— засмеялся Сеня.— Ты прав. И моя вина тут... Тебе вот письмо от Ли-фу. Слыхал такого?
— От Ли-фу? — Сурков развернул красную бумажку, которую Сеня подал ему.— «...Имевший место недоразумений... войск китайского народа...— забубнил он,— ...дальнейших выводов не сделать»... Сволочь...— сказал он, отчеркивая ногтем то место, где Ли-фу писал о том, что партизаны не имеют права помогать врагам «китайских революционных отрядов» ни в каких формах.— Ты знаешь, что это значит? Это значит, мы не имеем права вызывать туземцев на наш областной съезд, не имеем права созывать корейский съезд, не имеем права защищать Николаевку, когда они пришли ее жечь, не имеем права вооружать южных гольдов и тазов, когда

они отказались платить дань хунхузам и цайдунам... Сволочь!.. Вы где их встретили?

Сеня рассказал о встрече с хунхузами, о своем разговоре с Ли-фу и о найденном в реке трупе человека с перерезанным горлом.

— Очень хорошо,— злобно фыркнул Сурков.— Сегодня же пошлем роту — передавить к чертовой матери... По-русски понимает кто? — обернулся он к корейцам на крыльце.

— По-русики я понимай,— сказал один, почтительно склоняясь к Суркову.

— Сбегай к командиру Новолитовской роты,— знаешь, где они стоят? — скажи, чтоб зашел через полчаса на квартиру ко мне. Не переврешь?

— Нет, нет,— осклабился кореец.

— Повтори.

Кореец повторил.

— Умница,— похвалил Сурков, снова уткнувшись в бумажку.— Они отчего волнуются? — сказал он, комкая бумажку и засовывая ее в карман.— Мы подрубили их под корень. Они жили за счет дани: корейцы и туземцы платили. Теперь мы вооружили тех и других. Первыми всполошились китайские купцы и цайдуны, потом хунхузы. Они даже помирились на этом деле. Теперь купцы и цайдуны используют хунхузов как вооруженную силу... Ничего союзники!

— А ведь немало их,— сказал Сеня.

— Верно. Но какие солдаты? За что им умирать?

— Силы отымут все-таки...

— Так, может, договор подписать? — насмешливо спросил Сурков, устремляя на Сеню из-под бугров на лбу свои холодноватые, финского разреза глаза, в которых время от времени точно взрывалось что-то.

«И злой же, братец ты мой»,— весело подумал Сеня.

— Силы, силы! — передразнил Сурков.— Ни у кого нет столько сил, сколь у нас. Из одного Ольгинского района целые полки двинуты... вашими стараниями...

— Крынкин там...— начал было Сеня.

— Крынкина снять надо,— холодно сказал Сурков.— Сам посуди: готовим наступление на Сучанский рудник, подняли здесь все, что можно. Рабочие идут на

стачку. Мало сказать — идут: с трудом удерживаем, чтоб не выступили раньше времени. У меня сейчас сидят представители рудничного комитета,— сам услышишь... Я даю ему телеграмму за телеграммой: «Высылай отряды»,— отрядов нет... Упустили самое золотое время, когда на руднике было мало войск. Теперь туда стягиваются японские эшелоны. Будь мы на руднике, город и железная дорога без угля... Правда, дело еще поправимо, потому что Бредюк под Шкотовом задерживает передвижение японцев, и рудник мы возьмем,— убеждая скорее самого себя, чем Сеню, говорил Сурков,— но Крынкин твой задница: его бы в кашевары...

— А Алеша Маленький как смотрит?

— Алеша Маленький привез дурацкую директиву облаcткома, что все, что мы делаем, это не то, что нужно делать, а нужно делать то, что надумали они в облаcткоме,— язвительно сказал Сурков.

— Понятно объяснил! — засмеялся Сеня.

— А на самом деле... На заседаниях ревкома, где, кстати сказать, два левых эсера, он виляет, а смысл таков: «Вы зарываетесь, больших отрядов не нужно, мужицкими делами заниматься не нужно, никаких съездов не нужно...» А сам разъезжает по селам и приветствует и мужиков, и отряды, и съезды, то есть благословляет все, что мы делаем. Политика, нечего сказать!

— А я, по совести, еще не все тут схватываю,— сказал Сеня, огорчаясь, что не может согласиться с Сурковым.— Сам же говоришь, японцы...

— И прекрасно. Алеша рад будет союзничку...

— Я ж не говорю, что согласен с ним,— улыбнулся Сеня.

— Если не со мной, так с ним...

— С комитетом областным? — лукаво переспросил Сеня.

— С тем, что осталось от областного комитета... Впрочем, у Алеши там тоже какой-то свой оттеночек.

— Да я за съезд во всяком разе...

— Спасибо.

— А ты не злись,— блеснув кремовыми зубами, сказал Сеня,— умрешь от злости.

— Умирают от доброты,— усмехнулся Сурков.

— Расскажи лучше, как арестовали тебя и как убежал,— примирительно сказал Сеня.— А кто говорит

это? — перебил он себя, прислушиваясь к доносившемуся из распахнутых окон страстному голосу кореянки.

— О чем же сначала: как арестовали или кто говорит?

— Сначала арестовали как...

— Говорит корейская революционерка Мария Цой... Из русских подданных: русскую гимназию кончила. Докладывает о восстании в Корее, она только что оттуда... Рад, рад, что вы пришли. Тебе рад, — в первый раз широко улыбнулся Сурков и крепко сжал Сенину руку.

Из окон донеслись гомон одобрения, шумные сморкания, скрип отодвигаемых парт.

— Могу хорошим обедом угостить, — говорил Сурков. — Мы на квартире у местного врача стоим...

— Знаю уж — сына его с Мартемьяновым встретили. Славный паренек, по-моему...

—Мог бы быть, коли б не портили.

— А портит кто?

— Добряки вроде тебя. Людей в его годы нужно больше ругать, а вы его хвалите, — сказал Сурков, грузно подымаясь навстречу выходящим из школы корейцам. — Вот и Алеша... Вот тебе союзничек, Алеша, — Сеня Кудрявый...

— Ну не совсем союзничек, — смеялся Сеня.

— У него оттеночек от твоего оттенка, — издевался Сурков.

— Видал сумасшедшего дурака?.. — весело и тоненько сказал Алеша Маленький, указывая на Суркова большим пальцем и взглядывая на Сеню своими живыми умными глазами. — Пусть-ка он лучше тебе расскажет, как его американцы подвели...

— А что американцы? — спросил Сеня.

— Он всю свою тактику строил на противоречиях между американцами и японцами, — пояснил Алеша, — а они сейчас вместе с японцами громят под Шкотовом Бредюка...

— Глупости все это, — отмахнулся Сурков.

— Ну как, интересно на съезде? — спрашивал Сеня у Алеши.

— А я не понял ни слова, кроме как сам говорил... Ежели по моей речи судить, так интересно, — тоненько отвечал Алеша Маленький.

— Цой, обедать с нами,— сказал Сурков кореянке, с группой окружавших ее корейцев тоже вышедшей на крыльцо.

— Обедать с вами? — Она на мгновение заколебалась, ее быстрые темно-карие глаза чуть-чуть задержались на Суркове.— Нет, я обещалась в корейскую роту,— со вздохом сказала она и тряхнула челкой.— У них несчастье: караульный шалил с ружьем и нечаянно убил русского мальчика. Они постановили расстрелять его. А я думаю, он уже и так наказан смертью мальчика...

— Недобрый, недобрый народ,— усмехнулся Сурков.— Ты скажи им, чтоб они его лучше из отряда выгнали, коли он с винтовкой обращаться не умеет... Пошли обедать.

XXV

Алеша Маленький, сильно соскучившийся и проголодавшийся на съезде, весело крутил ежовой своей головой и без умолку говорил о том, какой им Аксинья Наумовна, должно быть, приготовила обед и какой Сеня, видать, умник, если не согласен с Сурковым, и что хорошо бы поспать после обеда.

Сеня, пересмеиваясь с ним, расспрашивал Суркова о его жизни за год, что они не видались, но Сурков или отвык от Сени, или был слишком занят своими мыслями, только он все время переводил разговор на дела или на Сеню.

Справа от них потянулся редкий дощатый заборчик, за которым виднелись уходящие в глубь двора, заросшего ярко-зеленой муравой, одноэтажные деревянные корпуса больницы, за ними виднелись лесистые, пробрызнутые солнцем склоны горного отрога. Потом они поравнялись с каменным зданьицем, тоже в глубине двора, с ведущей к зданьицу липовой аллейкой и большой цветочной клумбой перед зданьицем. В тени аллейки на скамьях сидели больные и раненые с костылями, с забинтованными ногами или руками.

Возле распахнутой калитки партизан с рукой на перевязи другой, здоровой рукой, держал за кофту красивую, статную сиделку в белой косынке, шедшей к ее черноглазому, с острым подбородком лицу.

— Не уходи, Фроська! — просил он.— А то, ей-богу, за тобой пойду...

— Больным и раненым на улицу ход воспрещается! — смеялась она.— Да ну, пусти, меня дома дети ждут... Здравствуйте, Петр Андреевич! — поздоровалась она с Сурковым, стрельнув в него своими черными глазами.

— Здравствуйте,— ответил он, не глядя.

— Эх, нет в тебе, Петя, обращения,— шутил Алеша Маленький.— Эдакая красота, а ты: «Здравствуйте»... А она еще выхаживала тебя раненого.

— А что ж мне прикажешь делать?

— Я бы нашел, что делать, ежели б она на меня так поглядела. Да куда там! Не глядит. Я хоть и красивый, да маленький... Вот и квартира наша,— сказал Алеша Сене, указывая на обширный деревянный дом с резными карнизами и высоким резным крыльцом, выходящим на улицу.

Прямо за домом, видный с улицы, раскинулся до самого отрога большой плодовый сад — гордость Владимира Григорьевича Костенецкого: сад этот был разбит и посажен им по специально выписанному из Германии руководству для садоводов-любителей.

Они вошли в полутемный коридорчик, деливший дом пополам. Дверь в конце коридора была открыта: виден был угол русской печи; тянуло запахом всяческого варева и жаренья. Простоволосая, худая, чисто одетая старуха в белом переднике, с засученными рукавами, высунулась в дверь.

— Пришли? — радушно сказала она.— И то заждались. Сейчас подаю...

— Я подсоблю тебе, Аксинья Наумовна!

Алеша Маленький, подмигнув Сене, побежал на кухню. В просторной угловой комнате, с громадным буфетом у стены, стоял застланный клеенкой стол, накрытый на семь человек.

Высокий и чудаковатый старик в сапогах, со свернутой набок черной с проседью бородкой, которую он каким-то беспокойным движением то и дело захватывал горстью, ходил по комнате нетвердой, ревматической походкой и оживленно говорил что-то двум сидевшим на стульях горнякам в брезентовых блузах.

— ...Это такой народ, вокруг пальца обведут...—

простуженным голосом сказал горняк с пышными русыми усами в тот момент, как Сурков и Сеня вошли в комнату.

Другой горняк, с веснушчатым лицом и жидкими серыми волосиками, завидев Суркова, робко привстал, теребя в руках фуражку, но, покосившись на своего развалившегося на стуле товарища, снова сел на краешек стула.

— Какой народ? — спросил Сурков.

— Владимир Григорьевич о сходе вот рассказывает...

Сурков, не дослушав, прихрамывая, прошел в соседнюю комнату.

— Вон вы живете как!..— Сеня оглядел приборы в две тарелки, вилки, ножи, металлические ложки, стеклянные солонки — предметы, от которых он давно уже отвык.— По-буржуйски живете,— шутливо говорил он хрипловатым смеющимся голосом, здороваясь со всеми за руку.

— Остатки прежней роскоши, так сказать... Костенецкий,— назвал себя старик со свернутой набок бородкой и по-совиному поглядел на Сеню.

— Вот и хорошо... А я, в аккурат, с сыном вашим познакомился...

— Но-о, Сережу видели? — вдруг по-детски рассияв, воскликнул Владимир Григорьевич.— И что? Как он чувствует себя, этот юноша?

— Здорово чувствует, по-моему. Мы с ним прямо, можно сказать, подружили...

— А кончился сход? — спросил Сурков, с мылом и полотенцем в руках появляясь в дверях из соседней комнаты.

— Как же, как же...— торопливо сказал Владимир Григорьевич.

— Как выборы?

— Да я вот рассказывал товарищам...— Владимир Григорьевич беспокойно схватился за бороду.— Благополучно, в общем... Список наш почти целиком прошел, но Казанка они все-таки вставили и выбрали небольшим, правда, большинством...

— Как же вы допустили? — холодно спросил Сурков.

— Позвольте, как же не допустить, если барышничество он оставил, и сын у него в партизанах, и он бесплат-

но снабжает партизан мясом? — сказал Владимир Григорьевич, не замечая того, что он приводит те самые доказательства о необходимости выбрать Казанка, которые на сходе приводили ему сторонники Казанка и которые на сходе он яростно опровергал.

— Сдали, значит? — усмехнулся Сурков.

— Сдал? — покраснев носом, сердито сказал Владимир Григорьевич.— Я считаю неуместным это замечание. Я сделал все, что мог...— Он обиженно отвернулся к окну.

— Какой Казанок это? — спросил Сеня, вспомнив просьбу Гладких.

— Местный кулак, барышник,— резко сказал Сурков,— а теперь вот делегат повстанческого съезда. Очень хорошо...

— А я скажу, товарищ Сурков, его и, правда, трудно было не допустить,— вставил горняк с пышными усами.— Я его очень даже знаю и все село их знаю. Первый он человек у них. В старое время у кого скорей всего мужик подмогу находил? У Казанка. Он, понятно, наживался на том, да разве они понимают? И перед начальством он первый был заступник. Приставов он, правду сказать, не терпел...

— Достойный человек, что говорить...— фыркнул Сурков.

— Сын его в отряде у нас,— сказал Сеня.— Очень отличался... Его полюбили у нас. А я, по совести, хотя и не знал, как отец его, а все доверия к нему не было. Но Гладких горой за него, просит, чтоб совсем в отряде у нас оставили...

— Отличался, говоришь? — переспросил Сурков.— Ну-ну... Он приемный сын, говорят? Пускай остается. Умыться хочешь?

Дверь из коридора распахнулась, и Алеша Маленький, тоненький голосок которого слышен был еще в коридоре, вошел в комнату с дымящейся суповой миской в руках. За ним шла Аксинья Наумовна с хлебом и какими-то салатами.

— Еще прибор, Аксинья Наумовна, гость у нас,— сказал Сурков, проходя с Сеней на кухню.

— Да ведь Леночки-то нету! — крикнула она вслед.

XXVI

Горняка с пышными усами звали Яков Бутов. Он был из тех новых руководителей, которые выдвинулись уже после переворота. Сеня, знавший некоторых старых руководителей на Сучанском руднике, часть из которых погибла, часть сидела в тюрьме, а часть возглавляла партизанское движение, совсем не знал Якова Бутова.

Обсасывая намокшие в супе усы и раздувая щеки, Бутов рассказывал о грубом обращении японской охраны с рабочими, о новой волне арестов, связанной с назначением нового начальника гарнизона, о продовольственном кризисе. Подвоза из деревень не было, город не в состоянии был обслужить рудник. Кое-какие запасы продуктов сохранились еще в рудничных столовках, но и эти запасы иссякали: рабочие ходили в столовки семьями. Три месяца не выдавалась заработная плата, а вчера пришла только за один месяц сибирками, вдвое упавшими в цене. На руднике поднялось такое возмущение, что Бутов не мог поручиться за то, что он не застанет рудник уже не работающим.

Яков Бутов не был сторонником немедленной стачки. Он считал, что лучше было бы оттянуть выступление рабочих до того, как партизаны начнут новое наступление на рудник. Но так как все на руднике требовали немедленной стачки, и в отдельных шахтах вспыхивали самочинные забастовки, и вся многотысячная масса давила на рудничный комитет, обвиняя его в бездеятельности, трусости, а наиболее горячие даже в предательстве, и всем этим пользовались левые эсеры и анархисты, то Яков Бутов так освещал положение дел на руднике, что получалось, что нужно или немедленно наступать на рудник или, если это даже невозможно, немедленно объявить стачку.

— Ишь, куда гнет!..— раздувая свои широкие волосатые ноздри, посверкивая глазками, говорил Алеша Маленький.— До сих пор мы, грешные люди, думали, что надо идти в голове массы, учить ее, коли нужно, сдерживать ее. А у вас на руднике считают, видать, что надо плестись в заду у массы... В слабости своей расписываетесь, товарищи...

— А я скажу, товарищ Чуркин, что, ежели в кабинетах сидеть да не знать, чего масса требует, это тоже

никакая политика...— с раздражением на Алешу Маленького отвечал Яков Бутов.

— Знамо дело, в кабинетах,— беззлобно соглашался Алеша Маленький.— «Они там пируют, карманы набивают»,— чисто вы об областном комитете мыслите... Шутники вы все там. Еще полтарелочки, Аксинья Наумовна...

Сурков, не вмешиваясь в спор, сосредоточенно и жадно ел, похоже было — он и не слушает их. Но Сеня, зная о разногласиях Суркова с Алешей Маленьким и о том, что Сурков не согласен также с Яковом Бутовым, догадывался, что Сурков молчит для того, чтобы сначала Бутов и Алеша Маленький побили друг друга,— чтобы потом самому побить и Бутова и Алешу Маленького.

Во время обеда в столовую несколько раз заходили партизаны и посыльные из штаба с различными делами. Сурков, отрываясь от еды, подписывал бумаги, отдавал устные распоряжения. Пришел командир Новолитовской роты, и Сурков распорядился, чтобы завтра чуть свет рота выступила против хунхузов.

Обед возглавляла Аксинья Наумовна. Она давно уже не получала никакого жалованья, но не хотела уходить от Костенецких и обслуживала теперь чуть ли не весь ревком.

Сколько раз во время обедов за этим столом обсуждались планы наступлений, ниспровергался тот или иной член ревкома,— иной раз спорщики до того воспламенялись, что стучали кулаками по столу, хватались за револьверы,— Аксинья Наумовна никогда и ни во что не вмешивалась. Ее спокойные смуглые худые руки сновали над столом, резали хлеб, крошили огурцы, разливали суп и правым и виноватым. Иногда какой-либо член ревкома, не понятый всеми и никем уже не слушаемый, обращался к ней с горестными объяснениями своей позиции.

— А ты кушай, кушай,— радушно говорила она,— давай-ка вот я тебе от косточки...

Однако она вовсе не была беспристрастна. У нее были свои любимчики. Выбрав среди обедающих самого лядащего и робкого, она окружала его исключительным вниманием. Счастливцу перепадали лучшие куски, тарелка его наливалась до краев, каждое желание его угадывалось.

На этот раз предметом забот Аксиньи Наумовны был горняк с веснушчатым лицом и жидкими серыми волосиками. Он действительно чувствовал себя неважно. Вилка и нож не слушались его. Он казался себе неожиданно большим, не умещающимся за этим столом. Ему казалось, что он задевает всех и вот-вот опрокинет что-нибудь. Он весь раскраснелся, волосики его вспотели. Иногда он вспоминал, что он как-никак представитель рудничного комитета, и пытался возразить что-то своему товарищу и издавал какой-то неопределенный звук, но тотчас же им овладевала такая робость, что он уже рад был тому, что звук его не услышан никем.

Сеня, сидевший против него и сразу его полюбивший,— чтобы подбодрить его, обращался к нему со всеми своими замечаниями по поводу дел на руднике.

Но весь этот спор за столом был совсем не то, что нужно было Сене и чего он ожидал, когда входил с отрядом в Скобеевку. К тому настроению подъема, с которым они, распевая «Трансвааль», входили в Скобеевку, примешивалось еще радостное ожидание чего-то приятного и важного лично для Сени. Он не отдавал себе отчета в том, что это такое, но и теперь, за столом, он ждал этого, и когда он ловил себя на этом, мотив «Трансвааля» снова радостно возникал в нем.

Владимир Григорьевич, обиженный Сурковым, суховато расспросив Сеню о Сереже, молчал до конца обеда, сердито жуя передними зубами.

Владимир Григорьевич был обижен тем, что Сурков не хотел понимать, насколько он, Владимир Григорьевич, *честно выполнил свой долг*, выступая на сходе против Казанка, с которым до революции они работали вместе в кредитном товариществе и которому в те времена Владимир Григорьевич часто должал. Кроме того, Владимир Григорьевич был недоволен позицией Алеши Маленького и стоял на той *точке зрения*, что нельзя *угашать энтузиазма масс*.

Однако часть своего радостного ожидания Сеня распространял и на Владимира Григорьевича и иногда участливо спрашивал его: много ли раненых в больнице и часто ли обращается за помощью местное население.

— Немного... Бывает наплыв...— жуя передними зубами, сердито отвечал Владимир Григорьевич.

— Ну, уж как хотите, дорогие товарищи, а только масса требует!..— говорил Бутов, вконец обозленный Алешей Маленьким.

— Масса требует! — вдруг сказал Сурков, вздымая из-под бугров на лбу свои холодноватые и злые глаза.— Масса требует!.. Не доказывает ли это, какая у нас хорошая масса и какие мы плохие руководители? — сказал он, объединяя под словом «мы» и Якова Бутова и Алешу Маленького.— Сами судите... Один сдерживанье масс объявляет чуть ли не партийной добродетелью...

— Ничего похожего...— тоненько сказал Алеша Маленький.

— ...а другой готов подставить под удар основной костяк движения, чтобы сначала был разгромлен этот рабочий костяк, а потом и все движение, и считает почему-то, что он выполняет требование масс. Уж лучше бы нам, право, помолчать о массах...

— Правильно, вот правильно! — надтреснутым голоском воскликнул вдруг горняк с жидкими волосиками и покраснел до слез.

— Ну, чего правильно-то? — недовольно протянул Бутов.— Поглядим, что на руднике споешь... И неужто ты, товарищ Сурков, считаешь, мы не понимаем, что нужно! Да трудно нам... Попробовали бы вот сами поговорили!..

— А я так и думаю сделать,— спокойно сказал Сурков.— Почему бы, к примеру, Сене не пойти? Как ты смотришь? — обратился он к Сене.

— А отряд как?..— растерялся Сеня.— Да надо если, пойду. Много ли только сделаю? Мне ведь хорониться придется— узнают меня там...

— Да, уж там теперь бережно надо: полковник Ланговой чисто метет! — усмехнулся Бутов.

— Если б со мной еще парня какого толкового,— размышлял Сеня,— чтоб мог свободно и по столовкам походить, и в квартиры заглянуть.

— Парня толкового?.. А Мартемьянов с Сережей когда придут? — спросил Сурков.

— А верно ведь! — воскликнул Сеня, обрадовавшись возможности пойти с Сережей.— Не сегодня-завтра придут...

— И прекрасно...

— Это другой разговор, это я понимаю! — обрадовался и Бутов.

— У меня на квартирке можно стать...— шепотом через стол говорил Сене горняк с жиденькими волосиками.— Квартирка моя под самой под тайгой и без подозрения... Только вот девчонка у меня Наташка, больная она...— добавил он с застенчивой и жалостливой улыбкой.

— Не стеснит она нас, лишь бы мы ее...— ответно улыбался Сеня.

— А вы как? — спрашивал Сурков Владимира Григорьевича.— Ничего, что Сережа пойдет?

— Он человек вполне самостоятельный,— сухо ответил Владимир Григорьевич.

— Да вы уж не обиделись ли? А может, огорчились, что Казанок прошел? — Сурков чуть заметно улыбнулся.— Стоит ли?.. А где Елена Владимировна? — вдруг спросил он.

— Гуляет, наверно, она сегодня не дежурная...

Сеня, услышав это имя, быстро поднял голову и взглянул на Суркова.

— Кто такая Елена Владимировна?

— Сережина сестра...— отвернувшись от Сени, сказал Сурков...

«Что с ним?» — подумал Сеня, с удивлением замечая, что лицо Суркова вдруг по-мальчишески густо покраснело. «Вон оно что!..— вдруг подумал он.— Вон оно что...»

И мотив «Трансвааля» снова зазвучал в Сене.

XXVII

Семка Казанок, простившись у школы с Кудрявым, шел по улице, знакомой ему до каждой травинки.

Кучки людей у ворот при его приближении начинали перешептываться и поворачивались к нему. Встречные здоровались с ним с различными оттенками уважения и заискивания. Иногда он сам подходил к знакомым парням и девчатам, обменивался новостями, ловя на лицах девчат выражение застенчивой покорности и робости, на лицах парней — угодливости, недоброжелательства,

поисков дружеского расположения. Самые смелые размашисто здоровались с ним, выказывая перед другими свое панибратство, но и в их глазах он замечал то же выражение покорности, недоброжелательства и подчинения ему.

И то, что все эти люди были тем самым противопоставлены ему, то, что он был одинок среди этих людей и как бы стоял над ними, не только не пугало и не огорчало Семку, а наоборот — именно это и составляло главный интерес его жизни и двигало всеми его поступками. Вне такого отношения людей к нему жизнь теряла для него всякую цену и смысл. Он всегда ощущал в себе ту внутреннюю силу презрения к людям и к человеческой жизни, силу, которая могла толкнуть его на что угодно, даже на уничтожение себя, лишь бы не сравняться с другими людьми и не дать им восторжествовать над ним.

Двор старого Казанка находился неподалеку от больницы. Двор был обнесен высоким, в два человеческих роста, сплошным забором, над которым выступали только железная крыша большого жилого здания и деревянные крыши служб и сараев. В былые времена ворота были всегда на запоре, двор был полон злых, некормленых псов. Теперь в главном доме жили партизаны, собак они перестреляли на шапки, ворота были распахнуты настежь.

Когда Семка вошел во двор, в глаза ему бросилась картина общего беспорядка. Снятая с передка телега валялась у самых ворот, двор был давно не метен, засорен щепками и отбросами пищи. На крыльце главного дома сидело несколько партизан. Один, прищурив глаз от дыма цигарки, которую он держал в углу рта, играл на гармони. Неподалеку от крыльца партизан в потной рубахе колол дрова, высоко взмахивая колуном. Под длинным навесом, отбрасывавшим тень во двор, двое партизан снимали шкуру с громадного мускулистого быка, подвешенного за ноги под стропила. Со шкуры капала кровь, руки партизан были в крови, и земля под быком тоже была залита кровью.

Весь этот беспорядок на дворе, то, что чужие люди хозяйничают в доме, то, что партизан колет отцовы дрова, а другие свежуют лучшего голландского произво-

дителя «Гартвига» из отцова стада,— все это очень развеселило Семку.

— Неплёхо, вижу, зивёте,— сказал он весело.— Здравствуйте, хозяева!..

И он небрежно покрутил тонкой, девичьей своей ручкой.

— Гляди-ка — Семка...

— Ходи-ко к нам на крылечко!..

— Что под Ольгой слыхать?

— Некогда мне,— я целовек подневольный... Помыться бы только да вшей вытряхнуть...

И он, склонив набок свою белую головку и волоча плеть, небрежной мелкой походочкой, вразвалку, прошел на задний двор. Со времени восстания отец, сам предложивший свой дом партизанам, жил на заднем дворе в старой избе, поставленной в год переселения, около тридцати лет назад.

Окна в избе были закрыты, но оттуда доносился гомон многих людей. Мачеха, прямая и строгая, как монашка, сидела на завалинке. Рядом с ней, опершись на клюку, сидела нищенка в черном платке и пыльной черной ряске. У ног нищенки лежал мешок с подаянием. У нищенки было загорелое морщинистое лицо, исполненное святости. Она говорила то самое, что испокон веков говорят все святые нищенки,— что ей было видение, что наш грешный и суетный свет кончается.

Мачеха, уже лет пятнадцать как отрешившаяся от всех мирских забот, водилась только с бродячими монашками и нищенками. Она была бездетна и это несчастье свое возвела в добродетель. Семка, подкидыш знакомцу-лавочнику в городе, был взят на воспитание старым Казанком и вопреки ее воле. Она ненавидела Семку, и он отвечал ей тем же, со злорадством подмечая, что, несмотря на свою святость, она много и неопрятно ест и, когда отец, избегая ее, не ночует в избе, сама ходит к нему на сено.

— Здравствуйте, мамаша! — сказал Семка и, брезгливо сощурившись, прошел мимо в горницу.

В горнице сидело человек двенадцать мужиков, все знакомые Семке. Они пришли со схода, и шумный разговор их вертелся вокруг того, чем занят был сход. Все они уже сильно выпили. На столе стояли четверть самогона, жбан с медовухой, чашки, тарелки с кислыми

помидорами, валялись ломти нарезанного хлеба. Девка с бельмом на глазу подавала им.

Старый Казанок, тоже уже сильно выпивший, но, как всегда, опьяневший больше телом, чем разумом, сидел под божницей. Несмотря на свои пятьдесят восемь лет, он был еще ладен; лицо его хранило следы былой красоты. Шапка черных, смоляных, всегда спутанных волос и жесткая, проволочная борода, обкладывавшая его загорелое кремневое лицо, почти не тронуты были сединой. Такие же черные волосы курчавились в прорези рубашки на его кирпичной груди. Он был мощен и диковат.

— А, Семушка! — густо и ровно сказал он, взглянув на Семку своими печальными и дикими глазами.

— Здравствуй, папаша!..

— А ну, посунься, Степан Аникеич...

Казанок, привстав под божницей и качнувшись слегка своим статным еще телом, полез из-за стола.

— Наливайте, наливайте...— сказал он, беря Семку за локоть и оборачиваясь к мужикам, и вместе с Семкой вышел в соседнюю горницу.

Когда, больше месяца назад, Семка был послан под Ольгу, еще не занятую партизанами, отца не было дома: он подрядился отвезти на станцию Кангауз китайского купца, покидавшего село с разрешения ревкома. Но Семка знал, что отец потому взялся отвозить купца, что под Кангаузом стояла на заимке знакомого мужика партия скупленных уполномоченными Казанка по области лошадей, которых он должен был перепродать в армию.

Семка всегда чувствовал особенную среди других людей, бескорыстную любовь отца к нему и оттого, не интересуясь его делами, был ему предан, а оттого, что был предан, немного боялся его.

— Бычка-то подариль? — сказал Семка, почтительно и весело глядя на отчима.

— Все одно б отобрали,— улыбнулся Казанок.

— Как съездилось тебе? — спросил Семка.

— Хорошо съездилось... Такого человека нет, чтоб пымал меня, такой человек еще не родился,— сказал Казанок, как всегда во время сильной выпивки начиная хвастаться.— На обратном путе в Хмельницкой подса-

дил большевицкое начальство с города,— замухрышчатый такой, а умен, умен, не переговоришь,— и дочку Владимира Григорьевича. Ладная краля, только руки тонки... А как он седни, Владимир Григорьевич, на сходе меня громил. Слаба у людей память на доброе... Такая жарня была, а я все отмалкивался, а все и я к власти выхожу — на съезд попал... Вот выпиваем сидим,— сказал он с виноватой улыбкой, дико покосившись на дверь.— А тебе как съездилось?

— А мне что сделают? Я против тебя коротенький,— усмехнулся Семка.— Друзька твоего, Митрия Лозу, хунхузы прирезали.

Он рассказал о том, как от неожиданности чуть не выдал себя, признав в человеке с перерезанным горлом одного из уполномоченных отца.

— Одну лошадку он ничего вёль, крепенькая лошадка...

— Жалко... Веселый был человек,— сказал Казанок.— Ладно, хоть концы в воду... С начальством ладишь?

— Смотря с каким... Гладкого вай-фудинского знаесь?

— Старика знавал...

— Сын его... В отряд к себе взяль. А другой у них в отряде есть, Кудрявый Семен,— не больно рад. Святой такой, вроде старуськи, что у мамаши сидит,— презрительно сказал Семка.

— Как Ольгу брали, там был?

— Сам браль...

— Совался, поди, куда надо и не надо?

— Да не хорониться,— усмехнулся Семка.

— И дурачок... Жить дома будешь?

— Чего мне у тебя жить,— Семка лукаво прищурился,— я с партизанами.

— Умен, хвалю, умен...— засмеялся Казанок.— Гляди только, когда их вешать будут, чтоб и тебя не прихватили.

— Такой целовек еще не родиться,— повторил Семка его слова.— Разве вот ты? Я против тебя коротенький,— снова сказал он.

— Пожалею, может...

— А ты сейчас пожалей. Скажи, чтоб бельмастая баньку стопила, да покормили чтоб...

— Пойдем тогда, выпьем с нами,— сказал старый Казанок и, качнувшись своим статным телом, вместе с Семкой вошел в горницу, в которой шумели мужики.

XXVIII

Умывшись в баньке, перекусив и надев чистую голубую рубаху с горошком, сам весь чистенький и порозовевший, Семка отправился обратно в отряд.

Чтобы сократить путь и избежать скучных разговоров с партизанами в отцовском дворе, он пошел задами, вдоль заросшей ряской проточки под отрогом. Проточка эта впадала в реку у самого провала. Вечернее солнце над дальним синевшим хребтом за рекой било вдоль по проточке, золотило макушки деревьев на склоне отрога и листья ольхи по эту сторону проточки. Под ольхами было уже темновато; пахло сыростью; пели вечерние комары.

Семка шел, хватаясь руками за дощатый заборчик, огораживавший выходящий к проточке сад Костенецких. Слева, впереди от себя, по той стороне проточки, он услышал какой-то всплеск и шорох. Сквозь ольху видна была часть лодки, и что-то белело и двигалось в ней. Семка осторожно раздвинул ольху и высунулся на проточку.

Нос лодки был вытащен на противоположный берег. На широкой корме вполуоборот к Семке сидела девушка в нижней городской рубашке. Она, видно, только что выкупалась: одежда ее лежала возле в лодке; голова была обвязана полотенцем, чтобы во время купания не замочить волос. Волосы у нее были большие: тюрбан на голове был велик. Что-то зверушечье и детское было в ее тонких руках и острых плечиках и в том, как она, сполоснув одну ногу и помотав ею в воздухе, сняла с головы полотенце, освободив большую темно-русую косу, упавшую ей через плечо, и, обтерев ногу полотенцем, стала натягивать чулок.

Натянув один чулок, она так же сполоснула и вытерла полотенцем другую ногу и, держа ее на весу, стала искать другой чулок, перетряхивая одежду, и, неосторожным движением встряхнув что-то, выронила чулок в воду. Она было подхватила его голой ногой, но чулок

уже отплыл; тогда она, сильно перегнувшись с лодки, попробовала достать его рукой, но чулок медленно уплывал.

Семка, с шумом раздвинув ольховник, как был в сапогах и в одежде — вступил в воду и, даже в воде сохраняя небрежное изящество своей походки, пошел за чулком. Ближе к той стороне вода достигла ему по грудь, но он все же схватил чулок и, подняв руки, с одной из которых свисала плеть, а с другой чулок, преодолевая несильное течение, подошел к лодке и протянул девушке чулок.

Она не испугалась, не вздрогнула, когда он неожиданно вошел в воду, только неторопливо поправила рубашку на плече и на коленках.

Взяв чулок, удивленно приподняв широкие темные брови, она сверху смотрела на него из-под длинных ресниц большими темно-серыми глазами.

— Вы... кто? — медленно, как бы в раздумье, спросила она.

— Я Казанок,— ответил он, по-мальчишечьи просто глядя ей в лицо.

— Казанок — это что?

— Что? — удивился он.— Это я Казанок, фамилия моя...

— Хорошая фамилия... очень...— в раздумье сказала она.— Вот что: перегоните лодку на ту сторону.

Он, взявшись рукой за корму, стащил лодку с берега.

— У вас очень белая голова,— сидя к нему спиной и натягивая чулок, говорила она, пока он переводил лодку,— как меховая, ее хочется пощупать... Вам не жалко было сапог, когда вы полезли в воду?

— Очень... А особливо рубаську,— она у меня с гороськом,— усмехнулся Семка.

— Нет, правда?

— А то нет? Рубаська новая...

Он повернул лодку и вытащил ее носом на берег.

— Вы не смотрите, пока я оденусь,— говорила она. держась обеими руками за края лодки.

— Все одно я уже видель все,— наивно и дерзко сказал Семка, выпрямляясь и прямо глядя на нее.

— Ну, это не считается. Отвернитесь.

Семка отвернулся. Вода стекала с него, и сапоги его были полны воды.

— Вы похожи на мальчика,— говорила она. Голос ее звучал невнятно, она, видно, держала зубами шпильку.— Это хорошо так сохраниться... Я вот все хожу по этим местам, и мне все хочется стать такой же, какой я была когда-то здесь же, девочкой...— Она вынула шпильку, и голос ее снова ясно зазвучал.— Да, я хотела бы стать такой же, как тогда, и все чувствовать так же, как я чувствовала тогда, но, видно, это уже невозможно.

Семка вспомнил, какой она была девочкой, и нашел, что она была некрасивой девочкой, а теперь стала хороша, но он не знал, как выразить ей это, и смолчал.

— Вот я и готова,— сказала она, выходя из лодки.— Спасибо, что помогли...

Они некоторое время молча, без смущения, как могут стоять только дети, стояли друг против друга, не стесняясь встречаться глазами,— он весь мокрый, со свисающей с руки плетью,— она свежая после купанья с полотенцем через плечо.

— Мне — сюда,— указала она на дыру в заборе.

Она вдруг протянула руку, и он почувствовал нежное прикосновение ее ладони между ухом и американской шапочкой.

— Совсем меховая,— серьезно сказала она.— До свидания, Казанок...

Она просунулась в дыру в заборе и, не оглянувшись на Семку, исчезла в кустах.

Он еще стоял возле забора, когда она с полотенцем через плечо, в туфельках без каблуков, шла по аллее к дому. Солнце золотило полные уже листья яблонь и обмазанные известкой стволы, грело ей щеку. Стучал дятлик. С улицы чуть доносились звуки гармони.

Окно на кухне было открыто. Аксинья Наумовна гремела посудой, напевая что-то.

— Вот она, запропащая... А мы уж отобедали...

— Папа в больнице?

— Давно ушел.

— А Петр Андреевич обедал?

— Обедал... Иди, я подам тебе.

— Да я сама, здесь, на кухне...

Она с полотенцем через плечо вошла в коридор. Дверь с улицы отворилась, и в полном закатного солнца прямоугольнике двери показалась сильно выросшая и возмужавшая, но все еще хранившая знакомые милые очертания стройная фигура подростка-юноши, лица которого нельзя было разглядеть из-за темноты в коридоре. Еще какие-то люди всходили на крыльцо.

— Сережа! — вдруг крикнула она, бросаясь к подростку.

— Лена!..

Обнявшись, они целовали друг друга, куда попадали в темноте, и смеялись над этим. Она чувствовала исходящий от него запах хвои и солнечного загара.

— Как ты возмужал! — говорила она.

Люди, которым они мешали пройти, стояли на крыльце, и Лена, не глядя на них и целуя Сережу, все время чувствовала тяжелое присутствие среди них человека, который вошел в ее жизнь и в то же время был непонятен и недоступен Лене.

Конец первого тома

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ СПРАВКА

РАЗГРОМ

Отдельные главы романа (за исключением последней) были опубликованы в периодической печати в 1925—1926 годах: газета «Советский Юг» (№ 163, 19 июля 1925 г.; № 19, 24 января 1926 г.), журналы «Октябрь» (№№ 7, 12 за 1925 г.), «Молодая гвардия» (№№ 7, 12 за 1926 г.), «Комсомолия» (№ 7 за 1925 г.), «Лава» (№№ 2—3, 4 за 1925 г.; № 2 за 1926 г.). В 1927 году «Разгром» А. Фадеева впервые выпущен отдельной книгой в ленинградском издательстве «Прибой».

Замысел «Разгрома» восходит к 1921—1922 годам и имеет общие корни с замыслом романа «Последний из удэге». Тогда, вспоминал А. Фадеев, темы двух вещей «очень сильно переплетались в моем представлении: я не думал... что это будут два произведения, а думал писать один роман. В процессе отбора материала я понял, что это два произведения, и сознательно начал работать в обоих направлениях, стараясь оформить главную мысль, идею каждого из них и найти средства для их художественного выражения» [1].

Основное время создания «Разгрома» — 1924-1926 годы, период партийной работы А. Фадеева в Краснодаре и Ростове-на-Дону. «Я люблю вспоминать все, что связано с Краснодаром и Ростовом,— говорил Фадеев.— там началась моя серьезная творческая работа, там я начал писать «Разгром» (Н. Веленгурин. Молодой Фадеев. Краснодар, 1972, стр. 120). На первых порах писатель был увлечен несколькими темами. По его словам, он «начал писать роман «Последний из удэге», писал отдельные главы из «Разгрома», начал писать повесть, которая не увидела света». «Все, что я писал тогда, меня не удовлетворяло. В результате раз-

---

[1] Здесь и далее цитируется статья А. Фадеева «Мой литературный опыт — начинающему автору».

думий и работы меня увлекла тема романа «Разгром», который я начал писать в 1925 году уже систематически».

Фадеев подчеркивал, что в «Разгроме» он стремился не к фактографическому изображению людей и событий эпохи гражданской войны, а к созданию образов большой социально-психологической насыщенности. Большое значение в создании романа имела партийная работа писателя, его постоянное общение с людьми, знакомство с жизнью деревни, заводских коллективов, студенческой молодежи.

Что касается основной сюжетной канвы и главных действующих лиц произведения, то здесь нашли отражение впечатления периода гражданской войны. Описывая историю одного партизанского отряда, автор строил свои обобщения на большом фактическом материале. В бытность свою партизаном А. Фадеев—Булыга воевал в Новолитовской роте Сучанского отряда, в партизанском отряде Мелехина, затем в Свиягинском отряде, который со временем получил название Особого коммунистического. Он стоял близко к руководству партизанским движением в Приморье, знал командиров многих отрядов, состояние партизанских дел в целом. Естественно поэтому, что главные герои «Разгрома» имели своих прототипов. Прообразом Левинсона был, по признанию самого автора, И. М. Певзнер — командир Особого коммунистического отряда, Бакланова — юный помощник И. М. Певзнера Баранов; в фигуре «увертливого и рыжего» Канунникова соратники А. Фадеева узнавали партизанского курьера Кононова. Были также прототипы у Дубова, Гончаренко, Сташинского.

Детали кульминационного момента романа — встреча дозорного Морозки с белоказачьей засадой — совпадают с описанием реального случая, о котором идет речь в донесении от 7 ноября 1919 года командира партизанского отряда Петрова-Тетерина в штаб партизанских отрядов Приморья. Наряду с перечислением проведенных отрядом операций Петров-Тетерин сообщает: «В деревне Орехово я наскочил на засаду противника; ехавшие в дозоре Морозов и Ещенко убиты. Белые подпустили Морозова и Ещенко вплотную. Морозов выхватил наган и дал два выстрела в офицера. Бандиты дали залп из засады и убили моих бойцов. Своею смертью тт. Ещенко и Морозов спасли отряд. В тумане, который был в то утро, мы также наскочили бы на них» (М. И. Губельман. Лазо. М. 1947, стр. 172).

Писатель относился к работе над «Разгромом» с большой требовательностью. «...В отличие от вычурности языка первого произведения («Разлив»), я старался писать как можно проще. выражать мысль наиболее ясно...— писал он впоследствии.— Навыки

прежней работы сказывались в особенности в первых главах: я тогда не научился еще пренебрегать внешней словесной красивостью. В процессе работы я стал все более и более от этого освобождаться». По мере работы над романом претерпели изменение его название и композиция. Первоначально роман назывался «Враги» и был разбит на три части; в ходе работы определилась более четкая структура — деление на семнадцать имеющих наименование глав; «Враги» стало названием седьмой главы.

Текст «Разгрома» отделывался автором самым тщательным образом. «Есть главы, которые я переписывал свыше двадцати раз (например, главы «Пути-дороги» и «Груз»). Главы, переписанной мною менее четырех-пяти раз, в романе нет».

Определяя основную мысль произведения как мысль об отборе в гражданской войне «человеческого материала», когда «все враждебное сметается революцией... а все поднявшееся из подлинных корней революции, из миллионных масс народа, закаляется, растет, развивается в этой борьбе», писатель придавал также особое значение раскрытию «организующей роли большевиков-рабочих» в партизанском движении. «Разгром» создавался А. Фадеевым в какой-то степени «в опровержение» произведений, в которых партизанская война изображалась «как чисто стихийное движение, как самостоятельное крестьянское движение, при очень слабом влиянии города и рабочих».

Основная идея «Разгрома» — создание новой, рождающейся в революционном бытии личности,— способствовала установлению внутренней взаимообусловленности образов. Характерный пример — образы Левинсона и Метелицы, вдруг «открывшиеся» автору при написании последних глав с новой стороны. Как вспоминают товарищи, близко знавшие Фадеева в этот период, писателю долго не давались некоторые места «Разгрома». Он признался друзьям: «...чувствую, что мне не хватает еще одной фигуры. Рядом с Левинсоном должен стоять герой, в котором бы буйствовала неистраченная сила народа, проявилась его красота. Морозка не восполнит этот недостаток, хотя я его и люблю...» (Н. Веленгурин. Молодой Фадеев, стр. 143). Но наконец Фадеев решил, что этим новым героем будет Метелица. «В первых главах я только упомянул о нем. И это мне развяжет руки, даст больше свободы для творческой фантазии. Правда, придется кое-что уточнить и снять мрачноватый колорит с эт[illegible] образа». В тот же вечер Фадеев ра[illegible] это [illegible] сказал нам,— вспоминает Н. Веленгурин,— что [illegible] знал человека по фамилии Метелица. Это был друг Сергея Лазо, комиссар Амгуньского полка... Комиссар Метелица тоже погиб в боях с семеновцами. Саша сказал, что

его герой будет несколько иного склада, из самых глубин народа. «Пусть он будет пастух»,— говорил он. И тогда же с увлечением начал работать над новыми главами» (т а м ж е). Примерно то же объяснение имеется в собственном комментарии Фадеева. «В образе Метелицы,— писал он,— мне показалось необходимым воплотить те черты характера, которых не хватает у Левинсона. Если бы Левинсон имел вдобавок к имеющимся у него качествам и качества характера Метелицы, он был бы идеальным человеком. Поэтому для полноты изображения идеального характера потребовался такой образ, который воплотил бы в себе черты, отсутствующие в Левинсоне...»

А. Фадеев стремился к тому, чтобы у героев «Разгрома» была «собственная логика» поведения, пусть даже не совпадающая с первоначальным замыслом. «...Если — герой задуман верно, взят из жизни,— говорил писатель,— обязательно доверься ему, а не плану, хотя и то и другое родилось в одной голове» (В а с. С м и р н о в. О молодости и литературе. «Дружба народов», 1962, № 9, стр. 14). Речь в данном случае шла о Мечике, который, согласно предварительным наметкам, должен был застрелиться. Однако по мере «саморазвития» образа выяснилось, что «покончить с собой он не в состоянии. Самоубийство придало бы несоответствующий всему его облику какой-то ореол мелкобуржуазного «героизма» или «страдания», на самом же деле он человек мелкий, трусливый, и страдания его чрезвычайно поверхностны, мелки, ничтожны».

После выхода в свет роман А. Фадеева оказался в центре острых литературно-критических дискуссий. В этом была определенная закономерность. По своей актуальности и решению гуманистических проблем «Разгром» стоял на главном направлении развития советской литературы. Однако понимание целей и задач творчества у разных литературных группировок было неидентичным, отсюда и неодинаковое понимание художественных особенностей фадеевского «Разгрома» и их трактовка. Так, критики из литературной группы «Перевал» положительно оценили точность психологической мотивации поступков героев, однако отрывали психологизм от классового подхода, сводили его к «подсознательному» началу в психике человека. Другой односторонностью отличались суждения представителей группы «ЛЕФ», объ-
[illegible] неперспективным, устарелым психологический подход к
являвш[illegible] в «Разгроме», и ратовавших за
явлениям жизни, проявивши[illegible]
так называемую «литературу фактов».

Правильная оценка романа Фадеева была дана в тех критических статьях, где произведение рассматривалось с точки зрения но-

вого художественного метода — социалистического реализма. При таком взгляде четче проступала новаторская сущность «Разгрома» и одновременно его прочная связь с предшествующим периодом художественной литературы. Изображение действительности в «формах самой жизни», большая психологическая достоверность созданных характеров, даже встречающиеся порою в тексте усложненные конструкции типа «не оттого ... а оттого», «не потому... а потому» и др.— все это утвердило за А. Фадеевым репутацию писателя, прошедшего «толстовскую» школу мастерства.

Наряду с этим прослеживается глубокая преемственность между А. Фадеевым и родоначальником литературы социалистического реализма А. М. Горьким. Последняя проявляется прежде всего в плане идейно-эстетическом, идет по линии активного, требовательного отношения к человеку и ни в коей мере не противоречит толстовской традиции. А. М. Горькому и А. Фадееву как писателям новой литературной формации свойственно пристальное внимание к процессу пробуждения народных низов, выпрямления и роста простого человека, воспитания в нем качеств борца и созидателя. Отсюда же характерное для советских художников неприятие индивидуалистической концепции развития личности, которая в корне противоречит принципу активного отношения к обстоятельствам, мешает выработке социалистического сознания. Литературоведы находят сходство между образом Клима Самгина («Жизнь Клима Самгина» А. М. Горького) и образом Павла Мечика. Последнего по своей социальной и духовной сущности называли «младшим братом Самгина» (А. Бушмин. Александр Фадеев. Л., 1971, стр. 78). Не следует под этим понимать прямое воздействие горьковского образа на фадеевский уже хотя бы потому, что главы «Разгрома» появились в печати раньше первой части «Жизни Клима Самгина» А. М. Горького. Но несомненно влияние горьковской линии развенчания людей «самгинской породы», начатой пролетарским художником еще на заре XX столетия.

«Разгром» А. Фадеева популярен не только в СССР, он широко известен и за рубежом. Наряду с систематическими переизданиями полного текста советскими издательствами начиная с 1933 года выпускается также отрывок из романа под названием «Метелица», пользующийся неизменной популярностью среди читателей младшего и среднего школьного возраста.

По роману «Разгром» А. Фадеева снято два кинофильма, осуществлен ряд театральных постановок.

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Александрович
ФАДЕЕВ

Собрание сочинений
в четырех томах

Том I

Редактор тома
Л. Г. Краснюк

Оформление художника
Р. И. Боролина

Технический редактор
А. И. Шагарина

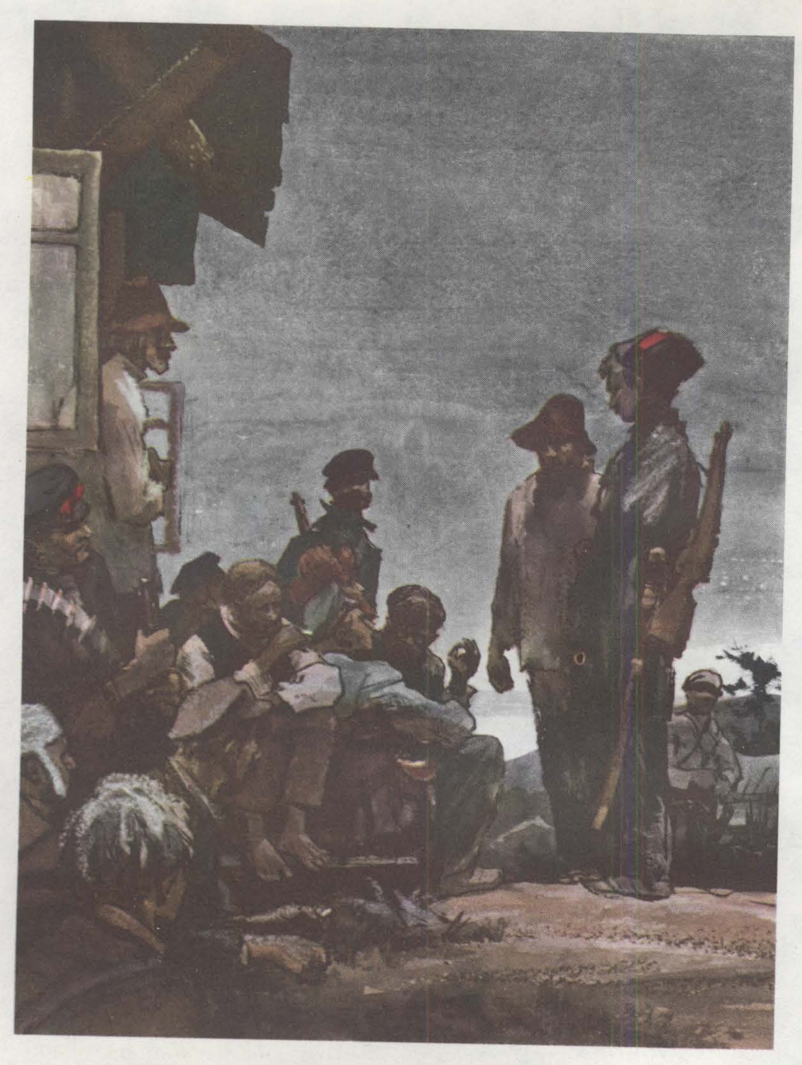
Сдано в набор 24.08.79. Подписано к печати 09.01.80.
Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 27,30. Уч.-изд. л. 28,93. Тираж 600 000 экз.
Изд. № 2830. Заказ № 1158. Цена 1 р. 40 к.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
125865. Москва А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

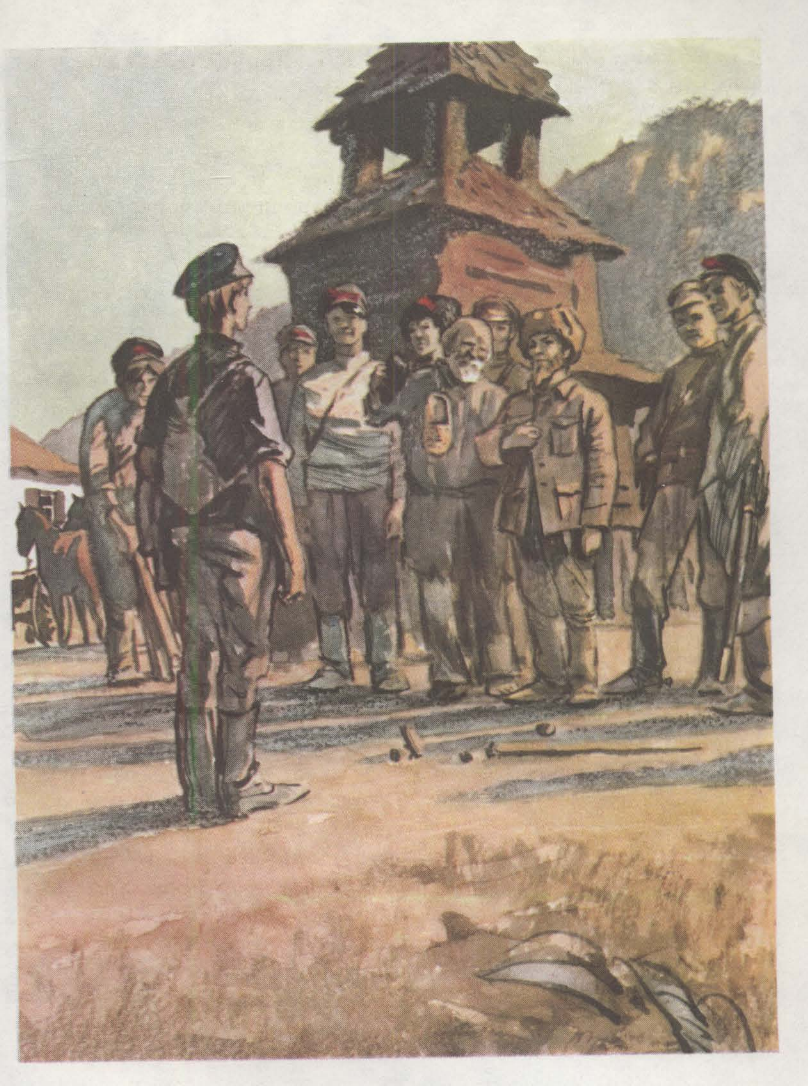
Индекс 70684



«РАЗГРОМ» (гл. «Шестое чувство»).



«РАЗГРОМ» (гл. «Мужики и «угольное племя»).



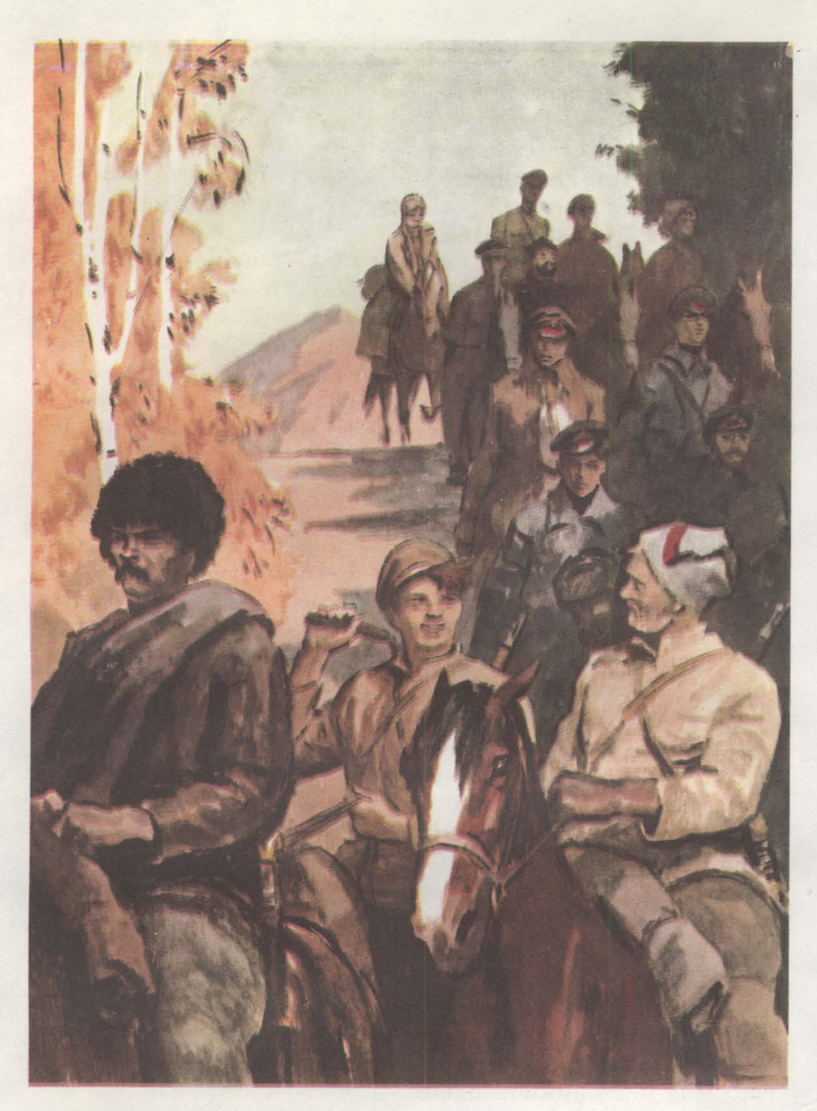
«РАЗГРОМ» (гл. «Мечик в отряде»).



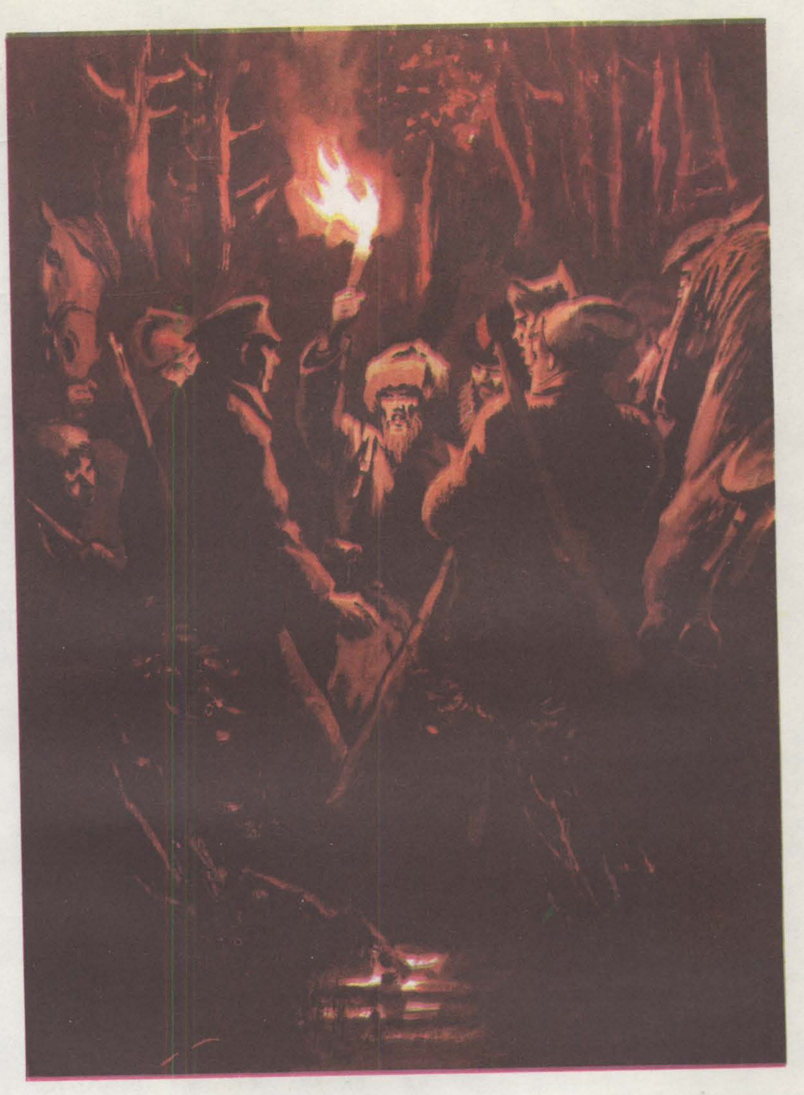
«РАЗГРОМ» (гл. «Страда»).



«РАЗГРОМ» (гл. «Три смерти»).



«РАЗГРОМ» (гл. «Груз»).



«РАЗГРОМ» (гл. «Трясина»).



«РАЗГРОМ» (гл. «Три смерти»).

